ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ТОМ 101

Николай Гаврилович ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 2

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
« МЫСЛЬ »
МОСКВА — 1987

ББК 87.3(2)
Ч-49

РЕДАКЦИИ
ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Редколлегия серии:

акад. *М. Б. МИТИН* (председатель), д-р филос. наук *В. В. СОКОЛОВ* (зам. председателя , канд. филос. наук *В. А. ЖУЧКОВ* (ученый секретарь), д-р филос. наук *В. В. БОГАТОВ*, д-р филос. наук *А. И. ВОЛОДИН*, д-р филос. наук *А. В. ГУЛЫГА*, чл.-кор. АН СССР *Д. А. КЕРИМОВ*, д-р филос. наук *В. Н. КУЗНЕЦОВ*, д-р филос. наук *Г. Г. МАЙОРОВ*, д-р филос. наук *Х. Н. МОМДЖЯН*, д-р филос. наук *И. С. НАРСКИЙ*, д-р юрид. наук *В. С. НЕРСЕСЯНЦ*, д-р филос. наук *М. Ф. ОВСЯННИКОВ*, акад. *Т. И. ОЙЗЕРМАН*, д-р филос. наук *В. Ф. ПУСТАРНАКОВ*, д-р филос. наук *М. Т. СТЕПАНЯНЦ*, д-р филос. наук *А. Л. СУББОТИН*, чл.-кор. АН УзССР *М. М. ХАЙРУЛЛАЕВ*

Редактор издания
И. К. ПАНТИН

Составление и примечания
Л. В. ПОЛЯКОВ

Ч $\frac{0302010000\text{-}090}{004(01)\text{-}87}$ подписное

© Издательство «Мысль». 1987

КАПИТАЛ И ТРУД

(**«Начала политической экономии»**, сочинение *Ивана Горлова.* Том первый, С.-Петербург, 1859).

Читателю известно, что мы не очень усердно поклоняемся той системе политической экономии, которая, по незаслуженному счастью, до сих пор считается у нас единственною и полною представительницею всей науки [1]. Если мы скажем, что г. Горлов ни на шаг не дерзает отступать от этой системы, читатель может предположить, что наша статья будет содержать жестокое нападение на сочинение г. Горлова. Нет, мы не находим, чтобы эта книга заслуживала такой участи или такого внимания.

Г. Горлов излагает систему, которую мы не одобряем; но он, как из всего видно, держится этой системы только потому, что гораздо легче знать вещи, о которых толкуют во всех книгах уже целых сто лет, нежели усвоить себе понятия, явившиеся не очень давно. Ломоносов был великий писатель — кому это не известно? А то, что Гоголь также великий писатель, еще далеко не всем понятно. За что же нападать на человека, который, вечно толкуя о Ломоносове, не ценит Гоголя потому только, что родился «в настоящее время, когда», чтобы понимать Гоголя, надобно следить за литературою, а не через пятьдесят лет, когда слава Гоголя войдет в рутину? Это просто отсталый человек; отсталость должна в чувствительной душе возбуждать сожаление, а не гнев.

Порицать книгу г. Горлова мы не находим надобности; хвалить ее мы, пожалуй, были бы готовы, но, как ни старались набрать в ней материалы для похвал, набрали их не много. Изложение книги не очень дурно; хорошим назвать его нельзя, потому что оно вяло и скучно. Мыслей, которые считаются дурными у людей, взятых г. Горловым за руководителей, у г. Горлова нет; но зато нет и ни одной сколько-нибудь свежей или самостоятельной мысли,— а мы могли бы ожидать найти хотя две-три таких мысли, потому что некоторая (умеренная) свежесть и некоторая (мелочная) самостоятельность допускаются даже школою, к ко-

торой принадлежит г. Горлов. Ученость — и того мы не нашли. Есть заимствования из Рошера, Рау, Милля, Мак-Куллоха, показывающие знакомство с этими писателями; но их книги не такая редкость, чтобы уже и превозносить того, кому случится познакомиться с ними. Главным ресурсом для г. Горлова служит, по-видимому, «Словарь политической экономии» Гильйомена[2],— книга хорошая, спору нет, но вовсе не имеющая своим назначением служить источником для ученых сооружений. За что же можно похвалить г. Горлова? Разве за спокойствие, умеренность и скромность тона? Правда, это не составляет особенного достоинства при вялости изложения, а должно считаться только следствием вялости; но, так и быть, похвалим его книгу за отсутствие излишних претензий.

Говоря без тонкостей, это значит: мы не намерены нападать на книгу г. Горлова потому, что, при всей своей почтенности, она не заслуживает внимания. Есть читатели очень мнительные, которым все надобно доказывать. К числу их в настоящем случае, без сомнения, будет принадлежать и г. Горлов. «Вы говорите, что моя книга не заслуживает внимания,— извольте же доказать это». Пожалуй. В доказательство возьмем, чтобы не ходить далеко, хотя предисловие к «Началам политической экономии». Вот оно, все вполне. Читатель, который поверит нам на слово, может пропустить эту выписку, потому что, предупреждаем его, он не найдет в ней ничего, заслуживающего труда быть прочтенным.

В настоящее время в России поднято много весьма важных вопросов, тесно соединенных с народным благосостоянием. Чтоб прояснить свои понятия об этих вопросах, общество обратилось к науке, дотоле находившейся у нас в совершенном забвении,— к государственной экономии. Тогда оказалось, что хотя наука эта прежде и не была разработываема в нашей литературе, но что начала ее были более или менее распространены между многими образованными людьми чрез университетское преподавание или чрез изучение иностранных сочинений. Ибо, по первому призыву общественного мнения, возбужденного вопросами о свободе труда в сельском хозяйстве и торговле, о способах владения землею, о монополиях и других предметах, появились не только особые отделы в журналах, им посвященные, но даже основались специальные журналы, назначенные для разработки экономических идей и руководимые людьми весьма сведущими. При таком направлении нашего времени и при таких его потребностях, напрасно было бы оправдывать появление книги, заключающей в себе изложение начал государственной экономии.

Однакоже те ошиблись бы, которые, имея в виду вопросы современности, стали бы искать в этой книге практических правил и способов действия в данных случаях. В настоящее время появляется в России много разных планов и экономических проектов. Но не такова задача этой книги; она чужда всякого прожектерства и не есть собрание каких-нибудь политико-экономических рецептов и способов. В ней только излага-

ются естественные законы экономии народов, и мы почти могли бы сказать вместе с французским экономистом К. Дюнойэ: *«Je n'impose rien, je ne propose même rien, j'expose»*[3]. Но живая потребность ощущается, и именно теперь, в изучении этих естественных законов. И в самом деле, если прежние искусственные организации народной экономии, произведенные историческими обстоятельствами, удаляются со сцены, то надобно знать, каким естественным законам будет следовать народная экономия, когда она будет предоставлена самой себе.

При этом случае так называемые практики, конечно, упрекнут нас в ограниченности взгляда, который довольствуется старою, заброшенною формулою *laissez faire*[4] и полагается на естественные законы. Мы же, с своей стороны, находим, что эта формула есть великое, хотя и не исключительное начало, что она уже принесла и принесет еще огромную пользу всякий раз, когда заставит общество убедиться в бесполезности разных искусственных организаций, вроде *glebae adscriptio*[5] и тому подобных. А естественные законы установлены тою же великою силою, которая управляет целым миром; следовательно, по натуре своей, они не могут быть бедственны и разрушительны, и рассмотрение их всегда может сделаться достойным предметом весьма важной науки.

Нам скажут, что под влиянием естественных законов человек не только живет, но страдает и погибает. Это справедливо; так что же из этого? По естественным законам человек может впадать в бедность и расстроивать свое экономическое положение. Из этого выходит только то, что ему необходимо законы эти изучать, чтоб из них извлекать все пользу и, напротив, избегать зла. С последнею целию общество принимает некоторые меры; но это не показывает, что надлежит отвергнуть формулу *laissez faire*; это показывает только, что надлежит в известных случаях ее дополнять. Какова была бы медицина, если б она утверждала, что для поддержания здоровья человека надлежит постоянно возбуждать искусственными средствами его аппетит и таковыми же очищать его тело и что природа этого сделать не может, будучи предоставлена самой себе? И однакоже прежние экономические системы были проникнуты духом именно подобной медицины, ибо они искусственно возбуждали производство и потребление ценностей в обществах, не понимая, что для них существуют естественные законы. Таких-то экономических систем мы не признаем и желаем, чтобы они от прежней сложности действия и искусственности обратились к потерянной простоте и естественности.

Итак, мы излагаем теорию, естественные законы экономии народов. Но теория была бы жалкою и бесплодною отвлеченностию, если б она отвращалась от явлений современности, которые совершаются пред глазами всех и живо занимают всех, кому дороги важнейшие интересы человечества. В объяснении именно этих явлений лежит практическое значение теорий, излагаемых в науке. Современные экономисты, Мекколлок и Рошер, справедливо заметили, что важнейшая задача теоретика состоит в том, чтобы выразить и рассмотреть с надлежащей основательностию потребности своего времени. Мы старались не выпускать из виду эту точку зрения, излагая отвлеченные истины экономической науки, и, может быть, это-то придаст нашей книге некоторую особенность и практичность, несмотря на то, что в ней нет готовых планов действия и экономических проектов.

Обращаемся теперь к недоверчивым читателям, которые были своею мнительностью принуждены прочесть выписанное нами предисловие г. Горлова, и спрашиваем их: чего должно ожидать от книги, имеющей подобное предисловие? От него веет шестидесятилетнею рутиною,

вы по крайней мере двадцать раз читали в разных книгах все то, что сказано на этих страницах,— и каким рутинным тоном изложены эти всем и всякому давно наскучившие мысли! Обратите внимание хотя на начало: «В настоящее время в России поднято весьма много важных вопросов» — ведь этими самыми словами начинает ныне решительно каждый, что бы ни начинал писать,— фельетон о загородных гуляньях или пении г-жи Лагруа в «Норме»[6], об освобождении крепостных крестьян или о новоизобретенной помаде для рощения волос. Итак, «в настоящее время» появление «Начал политической экономии» своевременно. Почему же? Вероятно, потому, что она дает решения для «вопросов», поднятых в настоящее время? Нет, она «не есть собрание политико-экономических рецептов и способов (к чему?).— В ней не найдется практических правил и способов действия в данных случаях». Она только описывает, а не предписывает,— прекрасно; но в таком случае, к чему же начинать фразою «в настоящее время»? И какою ветхостью пахнет мысль, что наука только описывает факты, а не предлагает правил! Неужели из таких фраз можно составлять предисловия? И кто придумал эту мысль? Несчастный Жан-Батист Сэ, как уловку для смягчения Наполеона, не любившего, чтобы «идеологи»[7] мешали ему воевать! Это — отговорка, избитая уловка, а г. Горлов принимает ее за чистую монету. Где вы найдете книгу о политической экономии, которая не требовала бы свободы труда и отменения протекционной системы? Сам г. Горлов требует этих вещей. Почему же он не замечает, что книга его противоречит своему предисловию? — Потому не замечает, что и содержание книги, и содержание предисловия им составлены просто по рутине. Довольно будет того, говорит он, если наука убедит в бесполезности искусственных организаций «вроде glebae adscriptio» — какая скромность в прелестном выражении glebae adscriptio вместо «крепостное право»! Книга подписана г. цензором 6 апреля и 11 августа 1859 года, когда уже свободно позволялось говорить о вреде крепостного права, а г. Горлов все еще не решился употребить этот прямой термин в предисловии к ней, как будто писал пятнадцать лет тому назад. И будто бы крепостное право — искусственная организация? Просмотрите книгу ле-Пле «Les ouvriers»[8] или хотя Рошера,— вы увидите, что оно возникает так же естественно, как впоследствии возникает отношение наемного работника к капиталисту. Естественность известного явления, к сожалению, вовсе не ручается за его сообразность с здравыми экономическими

понятиями. У древних, например, естественно развилось в теории понятие, а в практике явился обычай, что свободному гражданину неприлично работать — ну что тут хорошего? Начитавшись Бастиа, который особенно много разыгрывал вариаций на слово искусственность, г. Горлов забыл, что искусственным образом не производится в общественной жизни ровно ничего, а все создается естественным образом[9],— дело не в том, чтобы сказать «это естественно», а в том, чтобы разобрать, ко вреду или к пользе общества это служит. Ведь и протекционная система — явление совершенно естественное в известных обстоятельствах (то есть, когда масса не имеет здравых экономических понятий, проникнута завистью к иноземцам, думает, что богатство состоит главным образом в деньгах и т. д.),— а по словам самого г. Горлова, в ней нет ничего хорошего. Война тоже дело самое естественное и останется самым естественным делом в истории, пока массы не будут перевоспитаны. Г. Горлов вслед за своими учителями говорит о естественности и искусственности, но сами его учители не знают хорошенько смысла употребляемых ими понятий; мы на следующих страницах поговорим об этом подробнее, а теперь заметим еще один милый факт все о том же деликатном glebae adscriptio. «В настоящее время, когда поднято так много вопросов», ведется дело, между прочим, и об уничтожении у нас крепостного права. У нас некоторые полагают, что освобождаемые крестьяне будут лениться, не захотят наниматься на обработку полей, и земледелие упадет, количество производимого Россией хлеба уменьшится от освобождения крестьян. Интересно было бы знать, подтверждаются ли такие опасения последствиями подобных реформ в других странах. О том, каковы были экономические последствия освобождения крестьян во Франции, Пруссии, Австрии и других европейских землях — г. Горлов ничего не говорит; единственный пример освобождения, экономические результаты которого подробно пояснены у него,— уничтожение рабства в английских и французских колониях. К чему же привела эманципация английских вест-индских невольников?[10] Вот к чему, по словам г. Горлова (стр. 145 и 146): «Для плантаторов оказались неудобства, состоявшие в том, что рабочих нельзя было находить без большого затруднения. Негры не хотели заниматься прежними работами, а стали возделывать пустопорожние земли, или заниматься мелкими промыслами, или предаваться праздности. Только огромная плата могла привлечь их на плантации, так что во время жатвы поденщики по-

лучали до 3 и даже 4 рублей. Это положение, проистекавшее от недостатка рук, через несколько месяцев было причиною того, что работа на многих плантациях была совершенно прекращена. Разумеется, и производство сахара соответственно уменьшилось». Затем следует ссылка, разумеется, на «Dictionnaire de l'économie politique»[11], служащий главным ресурсом для г. Горлова, и приводится из этого словаря таблица, показывающая, по словам г. Горлова, что «производство сахара, постепенно уменьшаясь, дошло только до двух третей в период 1842—1846 годов» сравнительно с тем количеством, какое производилось в 1827–1831 годах, до освобождения негров. Далее г. Горлов подробно объясняет, «до какой степени пострадали колонии» от освобождения негров. В Гвиане, например, по его словам, «цена многих плантаций чрезвычайно упала», и заключает свое рассуждение словами: «Итак, с экономической точки зрения и имея в виду одни только настоящие, современные интересы, эманципация была делом разорительным» (стр. 147). На той же и следующей страницах говорится, опять по свидетельству того же драгоценного ученого пособия, «Dictionnaire de l'économie politique», что «те же хозяйственные последствия, которые обнаружились в английских владениях, оказались и во французских колониях», и до сих пор, в течение целых одиннадцати лет, «благосостояние колоний все еще не восстановилось» (стр. 148). «Dictionnaire de l'économie politique», изданный для французской публики, может безопасно говорить ей об этом предмете какой угодно вздор, потому что освобождение там — уже дело конченное и безвозвратное. Но русский автор, пишущий для общества, в котором вопрос об освобождении еще не покончен, не должен был бы без всякой критики заимствовать всякое пустословие о вредных последствиях освобождения из французских книжек или книжищ с дурным направлением, потому что у нас нелепые суждения об этом предмете могут иметь дурное влияние. Если бы г. Горлов потрудился справиться с отчетами о совещаниях французского конституционного собрания 1848 года, провозгласившего освобождение негров во французских колониях, он увидел бы, что та партия, которая писала статьи «Dictionnaire de l'économie politique», была партиею плантаторов, противилась освобождению негров, и увидел бы, как опровергались мнения этих почтенных людей Шёльхером, главным двигателем освобождения негров[12]. Он понял бы тогда, что бедствия, на которые жалуются французские плантаторы, были произведены не освобождением негров, а безрассуд-

ным поведением самих плантаторов, противившихся освобождению, раздраживших негров и не захотевших вести свое хозяйство рациональным образом. Он мог бы оценить тогда справедливость их жалоб на леность негров. Дело очень просто: плантаторы не хотели по освобождении негров изменить порядка работ, существовавшего при невольничестве, не хотели обращаться с неграми, как с людьми свободными, хотели сохранить на работах бич как поощрение к труду, не хотели ни платить неграм за работу, ни изменить устройства своих плантаций так, как требовали новые условия труда. Само собою разумеется, что и в Пруссии разорился бы тот помещик, который захотел бы теперь сохранять в своем поместьи барщину и плеть[13]. Совершенно неизвинительно легкомыслие, с которым г. Горлов также повторяет жалобы английских вест-индских плантаторов. Если бы он потрудился прочесть полемику, которая велась об этом предмете в английских газетах много раз, и между прочим в начале нынешнего года, он увидел бы, что жалобы плантаторов на неохоту негров работать лишены всякого основания,— да, повторяем: лишены *всякого* основания. Плантаторы в большей части колоний просто не хотят платить им порядочного жалованья,— это доказано официальным образом, об этом свидетельствуют сами губернаторы колоний. А в тех колониях, где плантаторы отказались от вражды против негров, где они нанимают их по добровольному соглашению, как нанимаются работники в Западной Европе, *никакого* недостатка в рабочих силах не чувствуется и негры работают как нельзя усерднее. Напрасно г. Горлов принял без критики пустословие «Dictionnaire de l'économie politique», напрасно он не потрудился справиться с подлинными документами. Вопрос о том, действительно ли освобождение в вест-индских колониях имело те следствия, как утверждают плантаторы, слова которых легковерно повторяет г. Горлов, слишком важен для нас; потому в одной из следующих книжек «Современника» мы переведем статью *Edinburgh Review*, подробно излагающую ход дела в английских вест-индских колониях[14]. Документы, в ней приводимые, доказывают, что экономическое падение колоний началось задолго до уничтожения невольничества; что главною причиною его было самое существование невольничества; что производство сахара в колониях начало уменьшаться до уничтожения невольничества; что эманципация не усилила этого явления, происходившего от других причин; что, напротив, выгодные последствия его, наконец, одолели силу причин, уменьшавших производ-

ство сахара, что свободный труд дал плантаторам возможность выдержать соперничество с другими производящими сахар странами, которые совершенно задавили бы производство английских колоний, если бы эти колонии сохранили невольничество,— одним словом, что освобождение негров имело последствия, совершенно противные тем, какие приписываются ему неразумною злобою плантаторов: не разорило колонии, а спасло их от совершенного разорения, являвшегося следствием невольничества.

Понятие, сообщаемое нам книгою г. Горлова о последствиях эманципаций, может служить примером того, до какой степени оправдываются содержанием его книги слова его, будто бы он «не выпускал из виду точку зрения», по которой «важнейшая задача теоретика состоит в том, чтобы выразить и рассмотреть с надлежащею основательностью потребности своего времени». Надобно ли говорить о том, сколько свежести и занимательности имеет столь удачно осуществляемая им мысль, что «теория», «не давая готовых планов действия», не должна, однакоже, «отвращаться от явлений современности, которые совершаются перед глазами всех и живо занимают всех, кому дороги важнейшие интересы человечества»?

Таким образом, предисловие г. Горлова составлено из мыслей, которые, быть может, имели свежесть лет пятьдесят тому назад, но составлять из которых предисловие к сочинению, издаваемому «в настоящее время», быть может, значит наводить читателя на предположение, что он в самой книге не найдет ничего, кроме истертой школьной рутины. Вдобавок сличение этих обещаний предисловия с содержанием книги показало нам, что г. Горлов набирает ветхие взгляды из своих учителей, не думая о том, оправдываются ли они подробностями той самой теории, которую он излагает. Он восстает против искусственности и не замечает, что, например, меркантильная система[15], которую главным образом имеет он в виду («прежние экономические системы», которые «искусственно возбуждали производство и потребление ценностей в обществах»,— эти слова явно служат характеристикою меркантильной системы),— не замечает того, что меркантильная система была в свое время явлением самым естественным, да и никогда не бывало ничего искусственного в экономических явлениях; он заимствует слово искусственность из Бастиа́, не замечая, что оно годилось только для полемики, а серьезного смысла в себе не заключает. Он обещает надлежащим образом рассматривать живые вопросы и по важнейшему из них, по эманципации, без всякой критики

повторяет ложные уверения людей, защищавших рабство и озлобленных его уничтожением.

Нам кажется, что нет надобности подробно разбирать книгу, снабженную таким ветхим предисловием. Нам кажется, что нет оснований и нападать на такую книгу: бог с ней, она не привлечет к себе ничьего внимания; потому чем меньше говорить о ней, тем сообразнее будет с ее достоинством.

Если бы нам следовало всю эту статью посвятить собственно книге г. Горлова, статья была бы, как видим, очень коротка. Но мы вздумали воспользоваться появлением его ветхого труда, чтобы поговорить об отношениях нашего взгляда на экономические явления к той системе, учеником которой является г. Горлов. Мы часто спорим против нее, смеемся над нею; но до сих пор наши споры и насмешки относились к разным частным вопросам экономической жизни — к теории невмешательства общественной власти в экономические явления, к отвержению общинной поземельной собственности и т. д.[16] Теперь мы хотим взглянуть на дело в его общем характере.

Если мы называем отсталыми, неверными и вредными многие мнения той школы, учение которой у нас исключительно называется политическою экономиею, то из этого еще вовсе не следует, чтобы мы не признавали за неоспоримые и благотворные истины очень многих существенных положений школы, называющей своим основателем Адама Смита. Например, без всякого сомнения, постоянная меновая ценность продукта определяется издержками его производства, а рыночная, ежедневно колеблющаяся цена его — отношением запроса к предложению; без всякого сомнения также, разделение труда служит одним из могущественнейших условий для увеличения и усовершенствования производства. Мы могли бы насчитать множество подобных положений, с которыми мы вполне согласны; но такой список подробностей всегда остался бы неполон, а между тем был бы слишком утомителен; мы думаем, что лучше определим отношение своего взгляда к господствующей школе политической экономии, если вместо перечисления подробностей, в которых согласны с нею, выскажем свою мысль об основной идее, которая составляет общий источник всех этих частных мыслей. Мы удивим многих так называемых экономистов, если скажем, что вполне принимаем основную идею их системы. «Как? вы признаете принцип laissez faire, laissez passer[17]? — скажут с изумлением так называемые экономисты, воображающие, что понимают теорию, которой держатся

и против которой мы постоянно спорим. «Если так, зачем же вы защищаете столь противоречащие этому принципу мысли, как законодательное определение экономических отношений и общинное владение землею?» — прибавят они с негодованием. Из такого понятия о принципе laissez faire, laissez passer следует только, что так называемые экономисты сами не разумеют оснований теории, которой следуют. Чтобы объяснить им их ошибку в этом случае, мы должны будем коснуться мыслей, которые относятся не к одной политической экономии, а принадлежат к общей теории какой бы ни было науки. Читатель увидит, что многие из соображений, на которых основан наш взгляд на экономические вопросы, имеют подобный характер.

Идеи, предписывающие что-нибудь делать, стремиться к чему-нибудь, словом, имеющие практический характер, по обширности своего применения разделяются на два разные рода. Одни имеют значение общее, требуют применения ко всякому данному случаю, всегда и везде. Таковы, например, принципы: человек обязан искать истины, поступать честно; общество обязано стремиться к водворению в себе справедливости, законности. Цель действия указывается такими принципами; но говорят ли они о способе, которым надобно стремиться к ней? Нет, способ исполнения задачи нимало не определяется ими. Как скоро мысль указывает способ исполнения, она теряет характер всеобщей, безысключительной применимости. Возьмем, например, самое общее определение способа к исполнению обязанности поступать честно. Оно будет: не лги. На первый раз может показаться, что это правило не допускает исключения. Но Муций Сцевола сказал Порсене: «Таких людей, как я, в Риме триста человек»; он солгал,— он был один; но кто осудит его, когда он своим обманом спас отечество?[18] В одной из сербских песен о битве на Косовом поле[19], сербы посылают своих витязей осмотреть силы врага. Витязи возвратились; «много ли войска у турок?» — спрашивают их. «Нет, войска у турок не очень много; мы можем одолеть его»,— отвечают они войску; потом отводят в сторону князя Лазаря и говорят: «У турок бесчисленное войско; победить их нет возможности; мы сказали, что турок немного, чтобы не оробели сербы». Кто осудит этих витязей? А ведь они солгали. Они поступили бы нечестно, если бы сказали войску правду. Мы нарочно взяли такой способ действия, который представляется имеющим самый высокий характер безысключительности. Но и он, как видим, встречает случаи, в которых не соответствует общей обязанности человека поступать честно,

когда его нарушение составляет высокую доблесть. Всякое другое правило о способе действия допускает еще гораздо больше исключений. Надобно ли говорить, почему это так,— почему мысль, определяющая способ действия, никак не может иметь характера всеобщности, и характер этот может принадлежать только мыслям, определяющим цели действия? Цель практической деятельности постановляется природою человека, то есть элементом, присутствующим постоянно. Способ действия есть элемент, зависящий от обстоятельств, а обстоятельства имеют характер временный и местный, разнородный и переменчивый. «Поступай честно» — это можно и должно соблюдать всегда, потому что нарушение этого правила противоречит благу человека, противоречит его натуре; условие, из которого вытекает эта обязанность, неразлучно с человеком, как неразлучен с ним его организм. Но в чем состоят требования честности,— это определяется частным характером каждого данного положения; иногда честность требует сказать правду, иногда — отказаться от личной выгоды, иногда она требует стать во вражду с кем-нибудь другим, поступающим нечестно, иногда помочь ближнему; нельзя перечислить всех тех способов, которыми должна быть осуществляема в разных обстоятельствах обязанность поступать честно; мы видели, что эти способы при противоположности обстоятельств могут даже иметь характер взаимного противоречия. В большей части случаев, почти всегда, но только *почти* всегда, а не абсолютно всегда, честность требует соблюдения истины; но мы видели, что иногда она требует ее нарушения *.

Теперь мы спросим так называемых экономистов: какой смысл имеет их обожаемая фраза: laissez faire, laissez passer, что́ хотят они определять ею: цель экономических учреждений или способ достижения этой цели? Что́ они хотят сказать, когда произносят эти слова? Говорят ли они

---

* Нет надобности замечать, что случаи, в которых нарушение истины может допускаться, принадлежат исключительно практической сфере, жизни действия, а не жизни мысли, не теоретической сфере. В теории, в исследовании принцип: «ищи истины, распространяй истину» определяет задачу, цель деятельности, а не способ исполнения этой задачи. Потому этот принцип абсолютен. Но как осуществлять его? На это опять есть разные способы, из которых ни один не может претендовать на безысключительность. Иногда и от некоторых людей служение истине требует заботы о новых исследованиях в области науки; иногда нарушил бы человек свои обязанности перед истиною, если бы отдал свои силы на новые исследования,— это бывает тогда, когда он может оказать истине больше услуг простым распространением уже найденных наукою истин в массе, нежели какими-нибудь учеными изысканиями.

только то, что экономические учреждения должны стремиться к доставлению наибольшей возможной свободы человеку,— или полагают сказать, что устранение законодательных определений, стеснений и запрещений есть единственный способ к водворению наилучшего экономического порядка? В первом случае, если бы знаменитая фраза хотела определять только цель экономических учреждений, в ней не было бы очевидного противоречия с характером принципов, могущих иметь всеобщность. Нужно было бы исследовать, действительно ли это правило верно, действительно ли оно составляет результат изысканий политической экономии; но не было бы еще причины, без всяких исследований, с первого же взгляда называть его несоответствующим придаваемой ему претензии. Но в таком случае принцип laissez faire, laissez passer теряет всякую определительность и становится решительно неспособен к полемическому употреблению, какое придают ему так называемые экономисты. Тогда и меркантилист, и коммунист, и регламентатор одинаково с экономистом могут говорить, что система каждого из них служит осуществлением этого принципа. «Цель экономических учреждений есть наибольшая возможная свобода,— скажет, например, меркантилист.— Мне кажется, что при запретительном тарифе цель эта достигается полнее, нежели при ограничении пошлин чисто фискальною целью. Без запретительных пошлин житель Франции не мог бы делать свекловичного сахара, а запретительный тариф дает каждому французу эту возможность,— следовательно, расширяет круг его выбора между экономическими деятельностями — следовательно, дает ему больше свободы». Регламентатор в свою очередь сказал бы: «свободен только тот, кто безопасен; определим же ширину коленкора, определим, сколько ниток должен иметь дюйм каждого сорта этой ткани, сколько веса должен иметь каждый кусок каждого сорта и по какой цене должен продаваться; тогда покупщик обеспечен от плутовства фабрикантов,— следовательно, свободен». Что̀ сказал бы коммунист,— мы не хотим объяснять. Без всякого сомнения, экономист мог бы опровергнуть приведенные нами рассуждения регламентатора и меркантилиста; но он мог бы опровергнуть их только со стороны фактических ошибок, а не мог бы упрекнуть их в недостатке любви к принципу laissez faire, laissez passer, если этот принцип определяет только цель учреждений, а не способ достижения цели. Они могли бы говорить, что, по их мнению, регламентация или запретительный тариф служат способами

к достижению этой цели. Итак, очевидно, что если фраза laissez faire, laissez passer служит девизом одной из спорящих теорий, то она определяет не только цель (в этом смысле могли бы принять ее все без исключения экономические школы), а указывает также способ исполнения задачи. Действительно, в таком смысле понимают эту фразу все ее приверженцы. Когда они произносят ее, они говорят не то одно, что экономические учреждения должны стремиться к водворению наибольшей свободы в обществе,— они говорят также, что какова бы ни была цель общественных учреждений, эта цель может быть достигаема исключительно одним способом: отстранением законодательного вмешательства в экономические отношения. Экономисты не могут указать ни одного сочинения своей школы, в котором их любимая фраза не употреблялась бы постоянно именно в этом определительном смысле, как указание исключительного способа к исполнению требований науки.

После наших предыдущих объяснений читатель видит, что даже без всяких исследований, уже по одному своему характеру, фраза laissez faire, laissez passer, определяющая способ действия, выказывает себя лишенной возможности служить основным принципам науки. Характер науки есть всеобщность; она должна иметь истину для всякого времени и места, для всякого данного случая. Когда нравственная философия говорит «поступай честно», она дает правило, которое прилагалось и в допотопные времена и будет применяться во все бесконечное продолжение будущего. Когда юриспруденция говорит «оправдывай невинного и осуждай виновного», она также дает правило, от применения которого не должен быть исключен никакой случай, никогда и нигде. Если политическая экономия имеет претензию принадлежать к области наук, то есть заключать в себе хотя малейшую частицу теоретической истины, она также должна иметь своим основным принципом такую мысль, которая применялась бы во всякое время ко всякому данному случаю. Мы видели, что мысли, определяющие способ действия, никак не могут иметь такой всеобщности. Если бы так называемые экономисты были знакомы с архитектоникою наук, они поняли бы, что, придавая фразе laissez faire, laissez passer смысл, определяющий способ действия, они отнимают у своей теории всякий научный характер, когда ставят основным принципом ее эту фразу.

Но предположим, что мы исправили эту слишком резкую сторону их ошибки, извиняемую только недостатком

философского образования в представителях школы, над которой мы так часто смеемся. Попробуем принять их обожаемую фразу в таком смысле, который не показывал бы на первый же взгляд свою несообразность с претензией служить общим принципом науки. Положим, что выражение laissez faire, laissez passer не имеет претензии определять способа, а говорит только о цели. Пусть оно значит только: целью экономических учреждений и должно быть водворение наибольшей возможной свободы. В таком смысле оно имеет всеобщность значения. Мы видели, что в этом случае оно уже не может служить девизом какой-нибудь одной из враждующих школ, а принимается за истину всеми без исключения честными людьми, к какой бы школе кто из них ни принадлежал. Оно уже становится непригодным для полемического употребления в спорах между порядочными людьми; но может ли оно, хотя в этом своем всеобщем смысле, служить основным принципом политической экономии, как отдельной науки, занимающейся исследованиями о производстве и распределении ценностей? Опять для каждого, знакомого с общими понятиями о науке, очевидно, что политическая экономия никак не может удовлетвориться подобным принципом. Каждый предмет имеет свой собственный характер, которым отличается от других предметов, или, как говорится, имеет свою индивидуальность. Потому основной принцип каждой науки должен иметь в себе особенность, должен быть таков, чтобы принадлежал именно этой науке; например: нравственная философия говорит «поступай честно», юриспруденция — «заботься об оправдании невинного и осуждении виновного»; это две мысли решительно различные. Но говорила ли бы что-нибудь свое, что-нибудь специальное политическая экономия, если бы сущность ее выражалась правилом «водворяй свободу»? Это одна из задач, равно принадлежащих всем нравственным и общественным наукам. Общий принцип всех их: служить благу человека. Свобода, подобно истине (или, лучше сказать, просвещению, потому что здесь имеется в виду субъективное развитие истины в индивидуумах), не составляет какого-нибудь частного вида человеческих благ, а служит одним из необходимых элементов, входящих в состав каждого частного блага; свобода и просвещение — это кислород и водород, которые не могут быть предметами особенных наук, потому что и сами по себе не составляют отдельных предметов, не могут существовать в природе независимым, самостоятельным образом, отделяются от других элементов только искусственным ана-

лизом, но без которых не существует в природе никакая жизнь. Какое благо ни возьмете вы, вы увидите, что условием его существования служит свобода; потому она составляет общий предмет всех нравственных и общественных наук,— водворение свободы служит общим принципом их. Для чего юриспруденция старается оградить личность и собственность своими гражданскими и уголовными законами и своими приговорами? Для того, чтобы человеку свободнее было жить на свете. Могут ли быть хороши гражданские или уголовные законы, которые клонятся не к увеличению, а к уменьшению свободы? Никак не могут быть хороши. Возьмем какую угодно другую нравственную или общественную науку,— о предмете и цели каждой из них вы должны сказать то же самое. В числе других наук, это надобно сказать и о политической экономии. Но точно такую же роль в нравственных науках играет, как мы заметили, и просвещение. Его интересы также служат неизменною нормою того, хорошо или худо какое бы то ни было общественное учреждение, хорошо или дурно какое бы то ни было правило, имеющее претензию определять жизнь частного человека или общества. Но где же отдельная наука о просвещении? Для какой науки может служить специальным принципом правило: «водворяй просвещение»? Это общий принцип всех нравственных и общественных наук. В числе их, и о политической экономии должно сказать: соответствие интересам просвещения служит нормою ее правил, распространение просвещения верховною целью забот ее. Итак, если говорить laissez faire, laissez passer, то надобно также сказать: laissez éclairer, laissez être intelligent[20],— давайте свободу, давайте просвещение. Без этих двух вещей ничего хорошего не бывает; потому обе они равно должны служить принципами для политической экономии, которая, разумеется, должна стремиться к тому, чтобы на свете становилось не хуже, а лучше. Но должно прибавить, что к этому же стремятся все нравственные и общественные науки, и потому у всех у них общий девиз: свобода и просвещение.

Если выражение laissez faire, laissez passer не может быть принципом никакой науки в смысле, определяющем способ действия; если в смысле, определяющем только цель научных исследований, это выражение не может служить специальным принципом ни одной из нравственных и общественных наук, будучи одинаковою нормою для успешности исследований во всех в них, то какой же принцип надобно назвать основною идеею политической экономии,— идеею, специально принадлежащею этой на-

уке? Если так называемые экономисты доказывают только свое незнакомство с общими философскими понятиями, забавным образом поставляя гордость свою в выражении, не имеющем специальной связи ни с какой частною наукою и отнимающем у их теории всякое научное достоинство, то в какой же формуле надобно видеть основной вывод всех их частных исследований? Если бы они были сколько-нибудь знакомы с философскими приемами, для них было бы очень легко разрешить задачу, которую теперь мы хотим объяснить для них по состраданию к их философской беспомощности.

Предмет политической экономии, по общему решению всех экономистов, составляет изучение условий производства и распределения ценностей, или предметов потребления, или предметов, нужных для материального благосостояния человека. Экономисты говорят, что политическая экономия распадается поэтому на две главные части: о производстве и о распределении продуктов. Все они согласны, что двигателем производства служит личный интерес; все они говорят, что счет и мера должны служить постоянным руководством для всех соображений в политической экономии. Кажется, эти вещи очень знакомы каждому из них; посмотрим же теперь, не достаточно ли будет этих основных понятий для отыскания верховного принципа политико-экономических стремлений? Для облегчения дела мы сначала взглянем на решение задачи для каждой из двух главных частей политической экономии в отдельности.

Личный интерес есть главный двигатель производства. Энергия производства, служащая мерилом для его успешности, бывает всегда строго пропорциональна степени участия личного интереса в производстве. Кажется, мы говорим мысли, от которых никогда не отступался ни один экономист. В чем же состоит личный интерес? Он состоит в стремлении владеть вещью. Полное владение вещью называется правом собственности над вещью. Итак, личный интерес вполне удовлетворяется поступлением вещи в собственность. Поэтому энергия труда, то есть энергия производства, соразмерна праву собственности производителя на продукт. Из этого следует, что производство находится в наивыгоднейших условиях тогда, когда продукт бывает собственностью трудившегося над его производством. Иными словами,— работник должен быть собственником вещи, которая выходит из его рук.

Мы не знаем, нужно ли объяснять примерами эту очень простую истину. На своем огороде каждый работает усер-

днее, нежели на чужом; поэтому самое выгоднейшее дело бывает тогда, когда огород принадлежит человеку, копающему в нем гряды. Избу для себя каждый строит усерднее, чем для другого; поэтому самое выгодное дело бывает тогда, когда изба принадлежит тому, кто обтесывал лес и пилил доски для ее постройки.

Теперь обратимся к закону наивыгоднейшего распределения ценностей. Тут нужно руководиться счетом и мерой; но вычисления будут очень простые: четыре правила арифметики будут достаточны для разрешения задачи. В статье «Экономическая деятельность и законодательство» мы уже говорили, как она решается, и здесь кратко повторим наши тогдашние слова. Наивыгоднейшее распределение ценностей есть то, при котором данная масса ценностей производит наибольшую массу благосостояния или наслаждения. Будем выражать степень его цифрами. Предположим, что сумма ценностей есть 1000, а число лиц, составляющих общество, есть 100. Предположим сначала, что в руках одного сосредоточилась ценность 604; тогда на остальных 99 лиц осталось 396, то есть на каждого по 4. Предположим теперь, что распределение ценностей изменилось, и в руках одного сосредоточилось, вместо 604 — сумма 802, тогда прочим 99 лицам остается только 198, то есть на каждого из них приходится только ценность 2. Сравним это положение с прежним и посмотрим, увеличилась или уменьшилась сумма благосостояния в обществе. Выиграл один, и его благосостояние увеличилось на одну третью часть против прежнего; проиграли 99, и благосостояние каждого из них уменьшилось на половину. Итак, мы имеем одну третью часть единицы выигрыша и 99 половин единицы проигрыша, то есть за вычетом плюса из минуса мы имеем ровно $49^1/_6$ единиц чистого проигрыша. Это значит: общество пострадало на столько, как будто изо 100 человек 49 лишились всякого пропитания.

Теперь взглянем на перемену в противоположном направлении. Предположим такое распределение ценностей, что у единицы, у которой сосредоточивалась ценность 604, осталась только ценность 406; тогда на остальных 99 приходится 594, то есть на каждого по 6. Это значит, что у одного благосостояние уменьшилось на половину, а у 99 других возросло у каждого на половину. Вычитая минус из плюса, мы имеем 49 чистого выигрыша. Это значит: общество выиграло на столько, как будто изо 100 человек 49 от совершенной нищеты перешли к благосостоянию. Из этого следует, что наивыгоднейшее распределение цен-

ностей производится такими отношениями и учреждениями, при которых общество идет к соразмерности между количеством ценностей, действительно принадлежащих каждому лицу, и тою долею ценностей, какая приходилась бы на его часть по отношению количества лиц, составляющих общество, к массе ценностей, находящихся в этом обществе.

Итак, основною идеею учения о производстве мы находим полное совпадение идеи труда с правом собственности над продуктом труда; иначе сказать, полное соединение качеств собственника и работника в одном и том же лице. Основной идеей учения о распределении ценностей мы находим стремление к достижению, если можно так выразиться, такого порядка, при котором частное число (количество ценностей, принадлежащих лицу) определялось бы посредством арифметического действия, где делителем ставилась бы цифра населения, а делимым — цифра ценностей.

Читатель, привыкший к философским приемам, без труда увидит, что оба найденные нами принципа служат выражением совершенно одной и той же идеи стремления к одному и тому же факту, только с разных сторон. Действительно, когда мы берем значительную массу людей, то все индивидуальные различия сливаются в средней цифре. Иван может быть вдвое сильнее или умнее Петра; но, вообще говоря, в каждом обществе существует известный уровень умственных и физических сил и масса индивидуумов очень близка к этому уровню, а замечательных исключений из него в дурную или хорошую сторону так немного, что при общих соображениях о порядке дел в целом обществе они составляют элемент решительно незначительный. Притом же эти уклонения, эти слишком сильные или слишком слабые индивидуумы являются разбросанными по разным группам родственных и других гражданских отношений, так что в каждой сколько-нибудь значительной группе взаимно уравновешиваются. Таким образом, надобно принимать, что в каждой группе родства или в каждой группе соседства сумма физической и умственной способности к труду очень близка к общему уровню этой способности для целого общества. Потому из принципа о соединении труда и собственности в одних и тех же лицах и из права собственности каждого лица на продукты его труда прямо следует распределение ценностей, совпадающее с найденным нами мерилом наивыгоднейшего распределения, то есть с распределением по средней цифре. С практической точки зрения почти все

равно, которому из этих двух принципов отдать первое место. Но в теории принцип производства, то есть соединение собственности в одном лице с трудом, представляется как преобразование, или вывод, или как частный случай принципа о наивыгоднейшем распределении ценностей, имеющего более общее значение. Действительно, труд предполагает материю, над которой производится; продукт предполагает существование предшествующего ему продукта, из которого он происходит через приложение труда; таким образом, распределение существующих ценностей представляется условием производства. Кроме того, ценность сама по себе есть понятие более обширное, нежели понятие производства, которое составляет только один из моментов, проходимых ценностью: всякое производство обращено на созидание ценности, но ценность не есть предмет одного производства, она служит также предметом сохранения, мены и потребления. Прибавим, что производство имеет свою цель не в самом себе, а в потреблении, а потребление имеет своею основою распределение ценностей, потому и основной предмет исследований политической экономии находится в теории распределения; производство занимает ее только как подготовление материала для распределения.

Читатель, привыкший к анализу общих понятий, конечно, улыбается, читая такие азбучные рассуждения, слишком знакомые «каждому, даже не учившемуся в семинарии». Но для большинства так называемых экономистов, решительно незнакомых с философскими терминами и приемами, они должны показаться столь же трудною абстрактностью, как для обыкновенного человека теория эллиптических функций. Желая как-нибудь повразумительнее для их непривычных мыслительных сил растолковать изложенные нами азбучные понятия, мы скажем, что они могут уразуметь, в чем дело, если потрудятся подумать о фактах, которые находятся в каждой из книг, написанных их учителями или даже ими самими.

Например, Плиний как-то сказал: «большепоместность разорила Италию» — latifundia perdidere Italiam[21]. Экономисты с восторгом от своей учености тычут эту фразу в подлинных латинских словах в глаза каждому читателю, кстати и некстати: смотри, дескать,— мы и по-латыни знаем, и Плиния читали. Это хорошо. Но в чем смысл слов Плиния, приводящих в восхищение каждого экономиста? В том, что распределение поземельной собственности в Италии удалилось от средней цифры, происходившей из

отношения числа югеров[22]* к числу семейств, населявших Италию. Пока были в действии благотворные законы об общественной земле, ager publicus, из которой каждому гражданину давался небольшой участок, достаточный для прокормления его семейства, пока Цинциннат и Регул, командовавшие войсками, сами пахали землю, до тех пор Рим был и честен, и благосостоятелен, и могуществен. Когда «умнейшие и лучшие люди», «optimates», убедили римлян, что общественная земля — бесплодное бремя, что частная поземельная собственность производительнее, когда ager publicus перешел в частную собственность, Италия разорилась и Рим погиб. Мы советуем экономистам прочесть, что́ говорит Нибур о законах Лициния Столона[23], оградивших на некоторое время общественную землю от вторжения частной собственности и бывших источником всего римского величия, всех гражданских и частных добродетелей, всего благосостояния для римлян.

Экономисты с большим удовольствием рассуждают также об экономической невыгодности рабства; они удивляют в этом случае необыкновенным благородством, с которым изобличают чужие недостатки. Пусть они подумают об основных чертах рабства,— они увидят повторение всех этих невыгодных обстоятельств при таком порядке вещей, где собственность и труд не соединены в одном лице. Невольник получает за свой труд пищу, жилище и т. д.,— то, что необходимо для поддержания его жизни, а продукт его труда принадлежит не ему. Вот существенная черта невольничества. Пусть же экономисты припомнят собственные свои слова о норме заработной платы: нормою заработной платы служит возможность поддержания жизни; она не может ни далеко, ни надолго подняться выше этой нормы,— это их собственные слова. Итак, со стороны отношения труда к вознаграждению за труд вся разница между невольником и наемным работником заключается в том, что невольник получает вознаграждение натурой, а наемный работник — деньгами; невольнику дается жилище, работнику даются деньги, на которые он сам должен приискать себе жилище; но количество вознаграждения в обоих случаях совершенно одинаково: оно определяется возможностью поддержать существование. Велика или мала ценность продуктов, производимых, например, в течение недели трудом наемного работника, это все равно

---

* Просим читателя удивиться и нашей учености: мы нарочно оставили слово югер, чтобы он видел громадность наших сведений: мы знаем, что у римлян земля измерялась не десятинами, а югерами. О, бездна учености!

для него, как и для невольника: во всяком случае он, подобно невольнику, получит за свой труд ни больше, ни меньше того, сколько нужно для поддержания его существования. Поэтому мы говорим, что между состоянием невольника и наемного рабочего существует огромная разница в нравственном и в юридическом отношениях; но специальной экономической разницы в их отношениях к производству нет никакой. Если труд свободного наемного работника производительней, нежели труд невольника,— это зависит от того, что свободный человек выше невольника по нравственному и умственному развитию; потому и работает несколько умнее и несколько добросовестнее. Но эта причина превосходства, как видим, совершенно чужда экономическому его отношению к производству; потому мы и говорим, что если нравственная философия и юриспруденция удовлетворяются уничтожением невольничества, то политическая экономия удовлетворяться этим никак не может; она должна стремиться к тому, чтобы в экономической области была произведена в отношениях труда к собственности перемена, соответствующая перемене, производимой в нравственной и юридической области освобождением личности. Эта перемена должна состоять в том, чтобы сам работник был и хозяином. Только тогда энергия производства поднимется в такой же мере, как уничтожением невольничества поднимается чувство личного достоинства.

Эти два примера могут показать экономистам, в чем состоит смысл средней цифры в распределении ценностей, которая служит основною идеею политической экономии. Эти примеры могут также показать им, что они сами обыкновенно не понимают смысла фактов, о которых так много кричат. Мы привели два факта: один прямо свидетельствует в пользу общинного поземельного владения, другой прямо говорит о необходимости сделать работника хозяином, антрепренером. Оба эти вывода повергают в ужас и в негодование так называемых экономистов, а между тем, они прямо следуют из фактов, которыми сами экономисты без ума восхищаются, которыми они тычут в глаза читателей чуть не на каждой странице своих произведений. Если бы у нас было время и место, подобные сюрпризы можно было бы выводить решительно из каждого факта, приводимого в подтверждение теории laissez faire, laissez passer. Когда так называемые экономисты обыкновенно не умеют сообразить даже частных выводов из отдельных фактов, то нельзя уже удивляться тому, что они не умеют сообразить, какой общий принцип выходит

из всей совокупности их любимых фактов и отдельных наблюдений. Этот общий вывод мы уже выразили. Повторяем его: наивыгоднейшее для общественного благосостояния распределение ценностей состоит в том, чтобы пропорция ценностей, принадлежащих каждому члену общества, как можно ближе соответствовала средней цифре, даваемой отношением между суммой ценностей, находящихся в данном обществе, и числом членов, его составляющих.

Мы вообще не имеем никакой претензии представлять читателю что-нибудь новое, делать ученые открытия или высказывать истины, постижение которых требует какой-нибудь учености. Так и о выводе, который мы сейчас представили, мы должны сказать, что давным-давно было множество писателей, превосходно объяснявших эту мысль. Даже из людей, которых хвалят экономисты (хвалят, впрочем, больше по непониманию, чем с умыслом), можно указать довольно многих, представлявших такой вывод. Мы назовем одного Бентама. Думаем, что не трудно найти такую же мысль и у Рикардо; быть может, отыщется она даже у Мальтуса; об Адаме Смите нечего и говорить: известно, что хорошие экономисты считают его страшным еретиком и превозносят только из приличия. Но у всех этих знаменитостей политической экономии взгляд, нами изложенный, подавлен исследованиями о частных явлениях, анализ которых составлял главную их задачу. Только у Бентама средняя цифра прямо и решительно выставлена, как формула наивыгоднейшего распределения ценностей. Мы упомянули о великих людях политической экономии. Нам приходит в голову, что все они уже давно умерли; нам приходит в голову спросить, какие открытия сделаны в науке после них людьми, которые называют себя верными их учениками? Адам Смит, например, был основателем новой науки: показал отношение труда к ценности, участие капитала в производстве, норму вознаграждения за труд, важность разделения труда, и мало ли каких новых открытий ни сделал он! На нескольких страницах не перечтешь и десятой части их. Мальтус разобрал вопрос о народонаселении. Рикардо объяснил вопрос о ренте. Оба эти открытия послужили основными камнями для экономической теории. Кто не знает трудов Мальтуса и Рикардо, не может говорить ни о чем правильным образом. Но интересно было бы нам знать, какую новую мысль можно найти у кого бы то ни было из экономистов, славившихся после Мальтуса и Рикардо или процветающих ныне? Какое открытие в науке сделал Мишель

Шевалье, или Бастиа́, или Воловский, или Рошер, или Рау, или хотя бы даже сам Жан-Батист Сэ? Некоторые из них были люди умные, например Сэ (впрочем, мы едва ли не сделали ошибку, употребив множественное число. Кажется, что грех было бы сказать о ком-нибудь из названных нами, кроме одного Сэ, что он человек с замечательной головой); некоторые из них люди очень ученые, например Рошер и Рау; некоторые замечательны способностью болтать легко и изящно, например Бастиа̀ и Мишель Шевалье; а Воловский считается диковинкою между членами парижского общества экономистов, потому что знает по-немецки. Но любопытно было бы узнать, что̀ они сделали для развития науки? Жан-Батист Сэ ввел политическую экономию во Франции и прекрасно популяризировал мысли, открытые англичанами,— заслуга великая, но заслуга перед французской публикой, а не перед наукой. Мишель Шевалье хорошо описал Северо-Американские Штаты и отлично доказал, что когда по открытии калифорнских и австралийских россыпей стали добывать золота вдесятеро больше против прежнего, а количество добываемого серебра не увеличилось, то золото должно понизиться в цене сравнительно с серебром,— вещи хорошие, что и говорить,— но для науки нового в них разве немногим больше, чем в книге г. Горлова. Бастиа̀ писал памфлеты против протекционистов и коммунистов, и памфлеты очень бойкие, но в них он только рабски развивал отдельные фразы из своих учителей. Он также, прослышав о возражениях американца Кери против теории ренты Рикардо, сам сочинил против нее возражения, как две капли воды сходные с мыслями Кери, которые лишены всякой основательности; это тоже похвально, но повторить понаслышке чужие и притом неосновательные мысли, не значит еще двинуть вперед науку. Что̀ еще он сделал? — Да, вот что: несмотря на свою историю с Кери, он был человек честный — это похвально. Мы едва не забыли о главном. Он написал «Harmonies économiques»[24] — в них он доказывал, что все на земле устроено премудро и промысл направляет все к лучшему, и, на чем свет стоит, бранил Жан-Жака Руссо. Относится ли это к политической экономии, мы не умеем решить; но если относится, то должно быть очень полезно для нее. Воловский перевел Рошера,— труд похвальный, и объяснил, что крестьян в России надобно освободить без земли,— мысль тоже хорошая, но не новая после статей г. Бланка и разных сотрудников «Журнала землевладельцев»[25]. Рау в коротеньких параграфах крупным шрифтом повторил то, что

нашел у своих предшественников, и сделал к этим параграфам длинные примечания, напечатанные мелким шрифтом, в которых набрал миллионы мелких фактов, иногда очень любопытных; таким образом, вышла книга неоцененная для приискивания справок и цитат. Рошер сделал то же самое с трудолюбием, быть может, еще колоссальнейшим и вдобавок постарался расположить набранные им факты в хронологическом порядке. Оба они, как видим, компиляторы очень почтенные, не щадившие ни глаз, ни поясницы для служения науке. Но где же во всех этих книгах, начиная от Сэ и кончая Рошером, хотя что-нибудь похожее на разрешение чего-нибудь, оставшегося нерешенным после Мальтуса и Рикардо? Ничего такого и не ищите: если вы не читали ни одной из книг всех этих знаменитых писателей, и в том числе вовсе не знаменитого писателя Воловского, вы остались, быть может, не знающими некоторых фактов, полезных для соображения, но наверное не лишили себя ни одной важной мысли, когда прочтены вами Адам Смит, Мальтус, Бентам и Рикардо.

Теперь мы подумали: какое доверие можно иметь к удовлетворительности теории, ни на шаг не подвинувшейся вперед в течение целых сорока или сорока пяти лет? Если бы экономисты подумали об этом и, вдобавок, если бы они знали хотя основные понятия из истории развития наук, они сообразили бы, что, даже не вникая в их доктрину, по этому одному признаку можно решить, что она для нашего времени несостоятельна. Постоянно имея в виду быть назидательными для экономистов, мы просим у читателя позволения кратко изложить здесь вещи, конечно, давным-давно ему известные, но, к великому состраданию и смеху нашему, неизвестные так называемым экономистам.

Начнем с того, что даже предмет, в котором не происходит никаких изменений, неистощим для науки, и каждый даровитый наблюдатель открывает в нем новые стороны, не замеченные или не понятые прежними исследователями. Лучшим примером тому может служить история и археология классического мира. Источники для их изучения остаются одни и те же вот уже четыреста лет. Со времен Петрарки не открыто слишком важных греческих или римских писателей. Гомер, Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Полибий, Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит, Плиний — все эти книги с возрождения наук были в руках ученых почти в таком же виде, в каком имеем их мы. Некоторые новые книги и отрывки отысканы,— это правда; но все они не доставляют и тысячной доли нового матери-

ала для изучения классической древности по сравнению с тем запасом сведений, какой представлялся латинистам и гелленистам XV века. Что же мы видим? Каждое новое поколение делает новые открытия в понимании жизни древнего мира. Взгляд на греческую и римскую историю разъясняется, расширяется с каждым новым десятилетием. Древняя жизнь каждому новому исследователю открывает новые стороны. Каждая новая книга, доставляющая своему автору известность между латинистами и гелленистами, богата новыми мыслями.

Разумеется, еще поразительнее перемены, которым быстро подвергаются науки, занимающиеся предметами, для изучения которых являются новые материалы. Вспомним об истории древнего востока. Что общего в содержании и взгляде на предмет между книгами, писанными, например, о персидском царстве тридцать лет тому назад, и теперь, когда изучили зендский язык, стали читать клинообразные надписи и ближе познакомились с нынешним востоком? Но еще радикальнее перевороты в воззрениях на предмет, когда не только открываются новые материалы для его изучения, но и сам он продолжает жить и изменяться. Возьмем в пример историю какого угодно из нынешних народов и какое угодно событие в этой истории, например французскую революцию. В эпоху Наполеона I понимали некоторые стороны этого события; когда возвратились Бурбоны, она представилась в новом виде; в июльскую монархию поняли ее гораздо полнее, чем при Бурбонах и при Наполеоне I; теперь опять видят, что взгляд времен Орлеанской династии был далеко не удовлетворителен, и понимают предмет многостороннее и глубже.

Каждому известно, отчего это происходит и почему не может быть иначе. Жизнь и науки развиваются с каждым поколением. Когда изменились понятия общества от развития жизни и всей совокупности наук, от этого самого должен уже измениться взгляд на предмет каждой частной науки, хотя бы этот предмет был неподвижен и новых материалов к его изучению не было. Когда прибавились новые материалы, перемена будет еще значительнее. Но что сказать, когда и самый предмет растет, когда он сам с каждым годом все полнее объясняет себя развитием новых явлений и сторон своей натуры?

Именно таково дело политической экономии. Мы видим, что каждое новое издание книги Бёка «О государственном хозяйстве древних афинян»[26] было значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим изданием, хотя

предмет был мертв и новых источников к его изучению представлялось мало по сравнению с запасом прежних материалов. А предмет политической экономии — не древние Афины, а живое общество, и в нем быстрее всего остального развивается именно та сфера, которая составляет специальный предмет политической экономии. Что общего между экономическим бытом Англии или Франции во время Адама Смита, или хотя бы во время Рикардо, и нынешним положением дел? Артур Юнг, путешествовавший по Франции всего 70 лет тому назад[27], изображает нам быт, о котором сами экономисты говорят, что он составляет такую же допотопную картину, как экономическая жизнь какого-нибудь древнего Египта или гомеровского Аргоса. Когда мы читаем первые романы Жоржа-Занда, писанные 25 лет тому назад, или «Пиквикский клуб» Диккенса, писанный после «Индианы», мы видим, что вся обстановка жизни, все экономические отношения сословий изменились в эти немногие годы. Да что говорить об Англии или Франции? Посмотрим хоть на себя, идущих очень тихо за другими народами. И у нас, воротившись через 20 лет в знакомую вам губернию, вы не узнаете ее: купцы не те, и торгуют не так, и не тем торгуют, и не на тех условиях покупают, как прежде. И помещики живут не так, не такие имеют доходы, не на такие вещи тратят их, как прежде. И чиновники переменились, и мужики переменились, и все не так, и все не то, что прежде.

А какое сравнение между материалами, бывшими в руках у Адама Смита и у Мальтуса, и нынешними материалами? Адам Смит не знал даже числа жителей в своем королевстве; Мальтус, когда писал свой трактат о народонаселении[28], единственным достоверным документом о числе рождений и смертей и о прибыли населения имел шведские таблицы. Через 15 лет по издании книги Адама Смита не было еще известно количество земли, возделываемой в Англии или во Франции. Словом сказать, великие люди, которым политическая экономия обязана своим нынешним развитием, не имели в руках и миллионной части тех статистических сведений, которыми владеем теперь мы. Надобно прибавить, что они не имели описаний народного быта и экономических учреждений даже в своих странах. Тем больше славы для них, что они сумели найти так много истин при столь скудных средствах; но что̀ сказать о положении теории, которая до сих пор не умела воспользоваться безмерно возросшим богатством сведений? Нечего говорить о том, каковы были знания об экономической жизни отдаленных стран, доступные великим

деятелям политической экономии, если свои собственные земли они с экономической и статистической стороны едва ли не хуже знали, чем теперь мы знаем тибетские и туркестанские учреждения. Даже о Германии и об Испании они имели самое смутное понятие. России они вовсе не знали. Не далее как 30 лет тому назад никто в целой Англии не мог понять характера поземельной собственности в Ост-Индии.

Что ж теперь сказать, если кто-нибудь воображает, что теория, которая могла существовать во время Мальтуса и Рикардо, сколько-нибудь соответствует нынешнему развитию экономической жизни, нынешнему запасу статистических и этнографических сведений? Вы приходите к господину, который сидит и очень усердно пишет. Что это вы пишете? спрашиваете вы его. «Я пишу историю Петра Великого».— Какие же у вас материалы и как вы смотрите на ваш предмет? —«Я нахожу, что у Голикова несколько устарел слог, но взгляд совершенно правилен, и, собственно, я только переделываю Голикова по вкусу нынешней публики»[29]. Что̀ вы скажете такому господину? или, лучше сказать, можно ли говорить с таким господином? Это какой-то урод, какое-то неправдоподобное допотопное чудовище. Но из того, что он невежда или идиот, что его книги будут заслуживать только презрение или насмешки, вовсе еще не следует, чтобы Голиков не был человеком, заслуживающим величайшей похвалы. Он сделал все, что мог сделать в свое время; но для нашего времени нужны совершенно иные вещи.

40 лет неподвижности в теории такого предмета, как политическая экономия! Это нечто неудобомыслимое, неправдоподобное, невероятное. Какое единственное объяснение может быть такому нелепому явлению? какое предположение неизбежно вызывается в уме таким странным фактом? Не в одной политической экономии, а во всех науках есть школы, остающиеся при окаменелых теориях. До сих пор пишут исторические книги в духе «Рассуждения о всеобщей истории» Боссюэта[30]; до сих пор есть историки, например, французской литературы, полагающие, что Корнель с Расином выше Шекспира, или историки русской литературы, восхищающиеся Княжниным и Озеровым. Мы очень хорошо знаем, что̀ думать о таких школах, и знаем, как объяснять отсутствие замечательных деятелей по таким теориям. Что̀ отжило свой век, к тому не обратятся живые силы, то будет предметом любви и насыщения для людей тупых или своекорыстных; около трупа собираются только коршуны и кишат в нем только черви.

Люди с свежими силами необходимо должны делать что-нибудь новое и свежее. Новиков, издавший словарь русской литературы, был человек великого ума и благородства[31]; но когда занялся историею русской литературы такой же человек следующего поколения, Н. А. Полевой[32], он не стал повторять мнений Новикова, и хотя продолжал его дело, но во многом прямо противоречил ему и почти во всем расходился с ним. Когда после Полевого занялся тем же делом новый человек, Белинский, он опять заговорил совершенно новое,— и что̀ значит теперь оставаться при мнениях, которые были хороши 35 лет тому назад, при основании «Телеграфа», мы, к несчастию, видим на брате Н. А. Полевого, г. Ксенофонте Полевом. А ведь и г. Ксенофонт Полевой был в свое время человеком полезным, писал благородно и вовсе не глупо. Не дай только бог никому пережить себя, служить посмешищем для новых поколений и самому пятнать свое имя и свою школу.

Мы очень хорошо знаем, что̀ думать, например, о нынешнем значении теории и деятельности г. Ксенофонта Полевого; знаем, как понимать его слова, что он и его литературные сподвижники исключительно защищают чистоту вкуса, здравый смысл и благородство в литературе, и что все люди, которых они порицают, должны считаться злодеями; мы очень хорошо знаем, как объяснять то явление, что вот уже 30 лет школа, к которой принадлежит г. Ксенофонт Полевой, не производила ни одного замечательного человека. Мы говорим: истинной критики и здравого взгляда на литературные явления надобно искать в других школах. Школа г. Ксенофонта Полевого потеряла способность производить что-нибудь замечательное, потому что отстала от времени.

То же самое по необходимости предполагаешь и о школе так называемых экономистов, когда видишь, что она утратила способность иметь в своих рядах людей великого ума, утратила способность открывать что-нибудь новое и развивать науку. При виде такого явления необходимо предполагаешь, что вне ее круга, вероятно, возникло какое-нибудь новое направление науки, привлекающее к себе все свежие силы. Действительно, мы видим, что все умы, способные открывать в предмете новые стороны, все гениальные писатели, занимавшиеся экономическими вопросами после Мальтуса и Рикардо, принадлежат к противникам так называемых экономистов. Мнения этих гениальных людей во многом расходятся одно с другим, потому что никогда не может в двух самостоятельных головах развиться совершенно одинаковый взгляд: само-

стоятельные и даровитые люди именно тем отличаются от бездарных и тупых, что у каждого из них есть оригинальность, особенность в образе мыслей. Мы не имеем охоты говорить, чьих именно мнений мы держимся, и скажем только, что, читая книги замечательных противников господствующей школы, вы бываете поражены безмерным превосходством каждого из этих людей над нынешними так называемыми экономистами по отношению к силе ума. Укажем в пример хотя на Сисмонди, чтобы не говорить о других, более гениальных. Сисмонди занимался не одною политическою экономиею. Он, между прочим, написал многотомную историю Франции[33]. В этой книге вы находите его человеком бесспорно очень умным и ученым; но, сравнивая с другими современными ему историками, с Гизо, Огюстеном Тьерри, Нибуром, вы не видите в нем гениальности: перед этими действительно великими историками он кажется человеком второстепенным. Зато какая разница, если вы сравниваете его «Новые принципы политической экономии»[34] с сочинениями учеников Смита, Мальтуса и Рикардо,— он кажется гигантом по отношению к ним. Его книга во многом очевидно ошибочна; но сколько в ней новых, свежих мыслей, какая сила ума, какое богатство новых фактов, ведущих к новым взглядам, какая в ней оригинальность и свежесть по сравнению с монотонными произведениями так называемых экономистов, с этими бесцветными повторениями произведений Адама Смита, Мальтуса и Рикардо! Что же надобно думать об умственной силе писателей, перед которыми кажется гением человек, далеко не имевший силы быть первостепенным мыслителем в такой науке, которая имела деятелей действительно великого ума? Невольно рождается мысль, что жалка и мертва та школа, деятели которой ничтожны по уму в сравнении даже с человеком второстепенного таланта. Мы назвали Сисмонди потому, что хвалить его очень удобно; но читатель знает, что между противниками так называемых экономистов он — человек далеко не самый замечательный. Каждый вспомнит многие имена гораздо более знаменитые. Мы упомянем из них одно: в «Современнике» недавно была помещена статья о Роберте Овене[35]. Вот, например, мыслитель действительно великий. Читатель знает, что у него были сподвижники и остаются продолжатели, достойные стоять с ним рядом и по гениальности, и по благородству стремлений.

Мы спрашиваем теперь: когда нам представляются в исследовании известного предмета два направления, из

которых одно служит только бесцветным повторением старины, не имеет между своими деятелями ни одного человека с замечательным умом, а к другому принадлежат без исключения все люди гениальные, то в котором направлении мы естественно должны предполагать ближайшее родство с потребностями времени, наибольшую теоретическую справедливость и практическую благотворность? Повторяем наше сравнение: если главою одной школы вы видите г. Ксенофонта Полевого, а в другой школе таких людей, как Белинский,— которую из двух школ вы естественно должны предполагать истинною представительницею науки?

Мы не имеем охоты излагать мнения тех людей, которых считаем истинными представителями экономической науки в наше время. Мы говорили, что хотим только показать отношение нашего взгляда на экономические явления к теории так называемых экономистов, которых теперь мы имеем право назвать отсталыми экономистами. Мы перечислили причины, по которым необходимо предполагать, что их теория неудовлетворительна для нынешнего времени. Теперь из обстоятельств самого дела мы постараемся вывести заключение о том, какого характера надобно ожидать от теории, соответствующей нынешнему положению общества в цивилизованных странах.

Известно, что сущность исторического развития в новом мире служит как бы повторением того самого процесса, который шел в Афинах и в Риме; только повторяется он гораздо в обширнейших размерах и имеет более глубокое содержание. Разные классы, на которые распадается население государства, один за другим входят в управление делами до тех пор, пока, наконец, водворится одинаковость прав и общественных выгод для всего населения. В Афинах мы замечаем почти исключительное преобладание чисто-политического элемента: эвпатриды и демос[36] спорят почти только из-за допущения или недопущения демоса к политическим правам. В Риме является уже гораздо сильнейшая примесь экономических вопросов: спор о сохранении общественной земли, об ограждении пользования ею для всех имеющих на нее право идет рядом с борьбою за участие в политических правах и наполняет собою всю римскую историю до самого конца республики. Лициний Столон и Гракхи имели продолжателей в Марии и Цезаре. В новом мире экономическая сторона равноправности достигает, наконец, полного своего значения, и в последнее время политические формы главную свою важность имеют уже не самостоятельным образом,

а только по своему отношению к экономической стороне дела, как средство помочь экономическим реформам или задержать их.

В новом мире процесс развития не только обширнее и глубже, но и многосложнее, чем в классической древности. В Афинах мы видим только эвпатридов и демос, в Риме только патрициев и плебеев; в новом обществе мы находим не два, а три сословия. Каждое из них имеет свою политическую и свою экономическую систему. О политических формах мы не будем говорить, а займемся только характером экономических учреждений. Высшее сословие, с экономической стороны, представляется сословием поземельных собственников. При его владычестве господствует теория приобретения богатств посредством насилия. В отношении к чужим народам эта цель достигается войною, в своей собственной стране — посредством права владельца на собственность людей, населяющих его землю, словом сказать — посредством того, что в Западной Европе называлось феодальными учреждениями. Характер этого быта не допускал высокого экономического развития, потому и экономическая наука была мало развита; но все-таки те времена имели свою экономическую теорию. Она выражалась в том, что человеку свободному (свободным человеком, по-настоящему, был тогда только феодал) не следует заниматься производством. Он должен быть только потребителем. Масса его соотечественников и все остальные народы существуют только для того, чтобы производить для него, а не для себя, предметы потребления. Обширного научного развития достигла только одна часть этой системы, называющаяся меркантильной теорией. Сущность ее состоит в том, чтобы брать у других, не давая им ничего взамен. В те времена, при слабом развитии кредита, звонкая монета, конечно, должна была иметь всю ту важность, какая ныне принадлежит биржам, банкирам и вексельным оборотам. Натурально было, что накоплением драгоценных металлов дорожили тогда точно так же, как ныне дорожат упрочением и возвышением кредита. Меркантильная система, вытекавшая из понятия «надобно брать, не давая ничего в обмен», натурально, должна была применять эту идею к драгоценным металлам, и потому говорила, что надобно всячески стараться, чтобы ввоз серебра и золота был как можно больше, а вывоз как можно меньше.

Феодальные учреждения были низвергнуты, когда среднее сословие достигло участия в государственных правах и по своей многочисленности, конечно, стало пре-

обладать над высшим, лишь только было допущено к разделению власти. В Англии среднее сословие достигло такого положения в половине XVII века, и только в это время были низвергнуты значительнейшие из феодальных учреждений *. Благодаря особенному стечению обстоятельств, вынуждавшему английскую аристократию к уступчивости, среднее сословие до последнего времени само обращалось с нею снисходительнее, чем во Франции, потому она сохранила огромную политическую силу. Соответственно сохранению очень сильного влияния высшего сословия на политические дела, в Англии сохранились и феодальные учреждения в значительной степени. Земля осталась в руках аристократии; аристократы, как ленд-лорды, сохранили господство над общественными делами сельского населения и огромное участие в составе палаты общин, которая стала верховною властью. По уступчивости аристократии долго сохранялось фактическое преобладание ее в государстве, и только после целого века непрерывных маленьких приобретений все большего и большего участия в делах, среднее сословие действительно стало господствовать над ними, хотя юридически могло господствовать с половины XVII века. К тому времени, когда среднее сословие приобрело фактический перевес над высшим в государственных делах, то есть к последней половине прошлого столетия, относится и возникновение новой экономической теории, до сих пор пользующейся привилегиею на имя политической экономии, как будто она единственная теория экономических учреждений. Дух ее совершенно соответствует положению среднего сословия в обществе и роду его занятий. Среднее сословие составляют хозяева промышленных заведений и торговцы; потому важнейшими из экономических явлений школа Адама Смита признает расширение размера фабрик, заводов и вообще промышленных заведений, имеющих одного хозяина с толпою наемных работников, и развитие обмена.

Для отсталых экономистов, которые сами не понимают духа своей теории, может показаться странным, что мы заботою их теории ставим не развитие производства вообще, а именно развитие той формы его, успехи которой измеряются расширением оборотов каждого отдельного хозяина. Читатель, привыкший наблюдать точные черты

---

* Важнейшие из феодальных повинностей были отменены при Кромвеле, и главным условием при возвращении Стюартов было то, чтобы они признали законность этой экономической реформы.

явлений, не ограничиваясь отвлеченностями, не составляющими их специальности, легко поймет, почему мы выразились именно таким образом. Возьмем в пример хлопчатобумажную промышленность, которая справедливо составляет любимый предмет панегириков отсталой школы. Кто не знает, что возрастание хлопчатобумажной промышленности состояло не в увеличении числа хлопчатобумажных фабрик, а в расширении объема каждой из них? Здесь было бы слишком длинно объяснять, почему такое явление принадлежит всем отраслям промышленности, развивающимся при господстве среднего сословия. Притом каждому читателю известно, что чем значительнее капитал известного лица, тем меньшими процентами может оно довольствоваться; что чем обширнее размер промышленного заведения, тем дешевле и лучше производство благодаря полнейшему разделению труда и действию более сильных и совершенных машин. Итак, мы сказали, что расширение размера промышленных заведений и развитие обмена составляет главную заботу господствующей политико-экономической теории. Эта забота совершенно соответствует положению людей, господствующих над общественною жизнию в цивилизованных странах. Люди эти, как мы уже сказали,— хозяева промышленных заведений и купцы. Разумеется, дела каждого купца развиваются пропорционально общему развитию торговли, а богатства промышленника возрастают пропорционально обширности его заведения. Для достижения той и другой цели могущественнейшим пособием служат биржевые обороты, банки и банкирские дома, потому их интересы также чрезвычайно дороги для господствующей теории. Соответственно этим главным предметам внимания, господствующая экономическая теория в своем чистом виде почти исключительно занимается вопросами: о разделении труда, как пути, которым расширяются промышленные заведения, о свободной торговле, о банковых оборотах, об отношении звонкой монеты к бумажным ценностям разного рода. Успешность занятий банкира, купца и хозяина промышленного заведения зависит не от собственных его потребностей, а просто от обширности круга людей, требующих его посредничества или покупающих его произведения. Потому главная забота каждого из них состоит в том, чтобы расширить свой рынок.

Из этого возникают два противоположные направления: с одной стороны, потребность мирных отношений со всеми посторонними его ремеслу людьми, нерасположение к войне, затрудняющей доступ на иностранные рынки,

ведущей к коммерческим кризисам, с другой стороны, стремление отбить покупателей у других промышленников, занимающихся тем же делом, как он, то есть в сущности заменение физической иноземной войны коммерческою междоусобною войною внутри каждого промысла: в банкирских оборотах — между домами, встречающимися на одной бирже; в торговле — между купцами одного торгового округа и одного рода торговли; в промышленности — между фабрикантами или заводчиками одного рода занятий. Сообразно этому, господствующая экономическая теория провозглашает владычество конкуренции, то есть заботы каждого производителя о том, чтобы подорвать других производителей; но с тем вместе она доказывает, что благосостояние каждого народа возвышается от благосостояния других народов, потому что чем богаче они, тем больше покупают у него товаров. Подобным образом она доказывает, что чем успешнее идут промыслы в народе вообще, тем выгоднее для каждого отдельного промысла, для продуктов которого внутренний рынок становится тем обширнее, чем больше благосостояния в обществе. Но, проповедуя такую заботливость об иностранцах и посторонних людях как потребителях, господствующая политико-экономическая теория не видит возможности отвратить разорительную междоусобицу производителей, занимающихся одним делом. Соперничество, как орудие этой междоусобной войны, принимает, между прочим, форму спекуляции, которая постоянно стремится к безрассудному риску и к коммерческому обману; это стремление промышленной и торговой деятельности периодически производит кризисы, в которых погибает значительная часть произведенных ценностей и во время которых подвергается страшным страданиям масса, живущая заработною платою. Но такой характер производства и торговли неизбежен при нынешнем экономическом устройстве, когда производство находится под властью хозяев и купцов, благосостояние которых зависит не от потребления, а просто только от сбыта товаров из своих рук; при таком порядке дел производство рассчитывается не по истинной своей цели, а только по одному из посредствующих фазисов. Политическая экономия, замечая неизбежную связь спекуляции и коммерческих кризисов с нынешним порядком дел, выставляет их вещами неизбежными и неотвратимыми.

Из трех элементов, участвующих в производстве ценностей, недвижимая собственность, и в особенности земля, принадлежит высшему классу, не участвующему прямым

образом в производстве; оборотный капитал вносится в производство средним классом, так называемыми антрепренёрами, мануфактуристами, заводчиками и фермерами; труд почти весь совершается простым народом, который в политическом отношении до сих пор служил только орудием для среднего и высшего сословий в их взаимной борьбе, не сохраняя постоянного независимого положения в политической истории. Среднее сословие, естественно, придает наибольшее значение тому элементу производства, которым владеет само. Сообразно этому, господствующая теория выставляет интереснейшим элементом производства оборотный капитал, доказывая, что без него невозможно успешное приложение труда к материи, то есть земля останется непроизводительной, а работники не найдут себе занятия. Но с высшим сословием средний класс, несмотря на взаимную борьбу, находится в отношениях более приязненных, нежели с простым народом. Во-первых, если средний класс еще не совершенно уничтожил всякую самобытность в высшем сословии и не совершенно поглотил его в себе, если все еще должен вести с ним борьбу, то уже очень хорошо чувствует, что имеет решительный перевес в ней; с каждым годом во всех странах средний класс торжествует экономические победы и часто наносит политические поражения своему сопернику. Выигрывающий и побеждающий, натурально, расположен быть снисходительным к изнемогающему противнику, близкую смерть которого предвидит. Кроме того, банкиры, купцы и мануфактуристы имеют с высшим сословием много личных связей; они равны ему по богатству, ведут одинаковый образ жизни, встречаются в одних и тех же салонах, сидят рядом в театрах; почти все лица одного сословия имеют родственников и приятелей в другом; и, наконец, это слияние дошло уже до того, что множество лиц, принадлежащих по происхождению к высшему сословию, занялись промышленной деятельностью, а множество лиц среднего сословия обратили часть своих движимых капиталов в недвижимую собственность. Все эти обстоятельства чрезвычайно смягчают враждебность среднего сословия против высшего; но еще сильнее действует в том же смысле существенная одинаковость их положения в деле распределения ценностей при нынешнем порядке. Мы видели противоположность их отношений к производству: собственник-феодал пользуется рентой и получает, ничего не давая в обмен; купец и хозяин промышленного заведения приобретают богатство посредством обмена: они покупают один предмет и продают другой,

берут сырой материал и возвращают обработанный продукт, меняют товары на деньги, меняют кредит на деньги и на товары, дают простолюдину деньги, покупая его труд. В этом отношении между антрепренёром и собственником большая разница. Но сходство между ними то, что часть ценностей, поступающая к собственнику без обмена или остающаяся в руках антрепренёра после обмена, далеко превышает своим размером то количество ценностей, какое производится в этом обществе трудом одного семейства или, точнее говоря в экономическом смысле, трудом одного работника. Фабрикант, получающий, например, в Англии тысячу фунтов ежегодного дохода, принадлежит к самым мелким фабрикантам; а между тем для произведения прибыли в тысячу фунтов нужен труд десяти и двадцати работников. Таким образом, по распределению ценностей общество распадается на два разряда: экономическое положение одного из них основывается на том, что в руках каждого из его членов остается количество ценностей, производимое трудом многих лиц второго разряда; экономическое положение людей второго разряда состоит в том, что часть ценностей, производимых трудом каждого из его членов, переходит в руки лиц первого разряда. Очевидно, каково должно быть отношение интересов между этими разрядами: один должен желать увеличения, а другой — уменьшения и приведения к нулю той части ценностей, которая переходит от лиц второго разряда к лицам первого. Эта общность интересов высшего и среднего сословия по отношению к массе служит самым твердым залогом снисходительности промышленников к собственникам. Сообразно этой мирной основе, лежащей под оболочкою враждебности, господствующая теория признает экономическое достоинство собственности, как наследственного факта, который дает право на часть производимых ценностей без всякого деятельного участия в производстве их со стороны собственника. Тот факт, что известное лицо получило известную недвижимую собственность, уже вменяется этому лицу в заслугу, за которую оно должно получать постоянное вознаграждение, называемое рентой. Уступая такую привилегию недвижимой собственности, принадлежащей главным образом высшему сословию, средний класс, натурально, должен был выставлять делом совершенно необходимым подобную же выгоду от простого, бездеятельного обладания движимою собственностью (деньгами и кредитными бумагами), принадлежащею главным образом ему самому. Сообразно этому, господствующая теория принимает неизбежность процентов и до-

казывает, что человек должен считаться очень полезным членом экономического общества, когда, получив движимый или недвижимый капитал, проводит свою жизнь как потребитель, не принимая деятельного участия в производстве, и видит свой капитал не уменьшающимся; она говорит, что рента и проценты имеют свойство содержать собственника или капиталиста без убытка для общества, хотя бы он только потреблял, а сам не производил ничего. При таких понятиях об участии собственности и оборотного капитала в производстве, конечно, не очень много места остается в теории на долю труда. Мы видели, что в политической жизни простой народ до сих пор служил только орудием для высшего и среднего сословий, не имея прочного самостоятельного значения; точно так и господствующая экономическая теория смотрит на труд, принадлежность простого народа, только как на орудие, которым пользуются для своего увеличения собственность и оборотный капитал. Мы видели, что высшее и среднее сословия имеют в распределении ценностей прямой интерес уменьшать долю труда, потому что их собственную долю составляет сумма продуктов, за вычетом части, отдаваемой труду; точно так и теория говорит, что продукты должны принадлежать владельцам собственности и оборотного капитала, а работникам может быть выдаваема на продовольствие лишь такая часть из производимых ими ценностей, какая будет найдена возможной по интересам собственности и оборотного капитала, под влиянием соперничества.

Последователи господствующей системы могут быть недовольны таким изложением характера своей теории; но читатель, знакомый с их сочинениями, видит, что все черты, нами исчисленные, действительно принадлежат этой теории. Определить сущность ее, по нашему мнению, очень легко: эта теория выражает взгляд и интересы капиталистов, ведущих промышленные и торговые дела и отчасти уже сделавшихся владельцами недвижимой собственности, а вообще проникнутых снисходительностью к побеждаемому врагу, феодальному сословию, которое оказывается их союзником в вопросе о распределении ценностей. Теория самих феодалов выражала интересы людей, совершенно чуждых производству и понятию обмена; потому мало найдется в ней пригодного для экономических потребностей общества, и мы совершенно согласны с отсталыми экономистами в том, что меркантильная система была ошибочна в своих основаниях. Этого нельзя сказать о теории отсталых экономистов. В ней есть

элементы совершенно справедливые, и, для того чтобы получить теорию, удовлетворяющую истинным условиям общественного благосостояния, нужно только со всею точностью развить основные идеи, из которых выходит господствующая система, но которые или не хочет она развивать, или подавляет примесью враждебных с ними понятий.

Мы видели, что господствующая теория соответствует потребностям среднего сословия, существенную принадлежность которого составляет оборотный капитал и которое источником своих богатств имеет участие в производстве. При таком основании теория капиталистов должна была начать анализом понятий производства и капитала. Результатом анализа был вывод, что всякая ценность создается трудом и что самый капитал есть произведение труда. Нужно не бог знает какое глубокое знакомство с философскими приемами, чтобы видеть, к чему приводит развитие этих положений. Если всякая ценность и всякий капитал производятся трудом, то очевидно, что труд есть единственный виновник всякого производства, и всякие фразы об участии движимого или недвижимого капитала в производстве служат только изменениями мысли о труде, как единственном производителе. Если так, то труд должен быть единственным владельцем производимых ценностей. Вывода, нами представленного, конечно, не хотят принять отсталые экономисты, но он необходимо следует из основных понятий о ценности, капитале и труде, найденных Адамом Смитом. Нет ничего удивительного, если результат принципа не был замечен тем мыслителем, который высказал принцип: в истории наук самое обыкновенное явление то, что у одного человека недостает силы и открыть принцип, и последовательно развить его; по принципу разделения труда, принимаемому отсталыми экономистами, так и должно быть. Одни люди кладут фундамент, другие — строят стены, третьи — кладут крышу и уже четвертые отделывают дом так, чтобы он был пригоден для жилья. Адаму Смиту тем легче было не предвидеть логических последствий найденного им принципа, что в те времена у сословия, которому принадлежит труд, не было, ни в Англии, ни во Франции, никаких стремлений к самостоятельному историческому действованию и оно было в тесном союзе с средним сословием, с владельцами оборотного капитала, пользовавшимися помощью простолюдинов для своей борьбы с высшим сословием. Это были времена, когда Вольтер и Даламбер покровительствовали Жан-Жаку Руссо; когда откупщик

Эльвесиус был амфитрионом всех прогрессистов[37]. Адам Смит был в сущности учеником французских энциклопедистов; и как они воображали, что народу не нужно ничего иного, кроме тех вещей, которые были нужны для буржуазии, и как народ сам не замечал еще тогда, что его потребности не во всем сходны с интересами среднего сословия, шедшего тогда во главе его на общую борьбу против феодалов, так и Адам Смит не заметил разницы между содержанием своей теории, соответствовавшей экономическому положению среднего сословия, с основным своим учением о труде как источнике всякой ценности. То были времена, когда требования среднего сословия выводились из демократических принципов и оживлялись мыслями, говорившими о человеке вообще, а не о торговце, фабриканте или банкире.

Читателю известно не хуже нас, что с той поры положение дел изменилось. Возьмем в пример историю Франции. В 1789 году ученики Монтескьё подавали руку ученикам Руссо и аплодировали парижским простолюдинам, штурмовавшим Бастилию. Через несколько лет они уже составляли заговоры для восстановления Бурбонов. Во время реставрации они опять соединились на некоторое время с народом для низвержения воскресавшего феодализма, но с 1830 года разрыв стал окончательным и безвозвратным. В 1848 году среднее сословие постоянно действовало заодно с аристократиею. В Англии разрыв не до такой степени заметен для поверхностного наблюдателя, потому что победа среднего сословия над феодалами еще не так полна, и оно принуждено было прибегать к помощи простого народа при проведении парламентской реформы в 1832 году и при уничтожении хлебных законов в 1846-м. Но и в Англии мы видим, что работники составляют между собой громадные союзы[38] для самостоятельного действования в политических и особенно экономических вопросах. Партия хартистов[39] иногда примыкает к парламентским либералам, и крайние парламентские либералы бывают иногда ораторами простонародных требований если не в экономическом, то в политическом отношении. Но, несмотря на эти союзы, среднее сословие и работники издавна держат себя, уже и в Англии, как две разные партии, требования которых различны. Открытая ненависть между простолюдинами и средним сословием во Франции произвела в экономической теории коммунизм. Английские писатели утверждают, что после Овена коммунизм не находил значительных представителей в их литературе, и это отсутствие смертельной вражды между теоретиками

соответствует отсутствию непримиримой ненависти между английскими работниками и средним сословием. Но если английские экономисты не находят в своей литературе современных мыслителей, подобных Прудону, то в практике промышленные союзы (Trade's Unions) работников представляют очень много соответствующего теориям, которые у французов называются коммунистическими. В Англии, где не любят давать громких имен вещам, эти союзы подвергаются упреку в коммунистических стремлениях только при особенных случаях, каковы, например, колоссальные отказы от работы для принуждения фабрикантов к повышению заработной платы. При взгляде на дело более спокойном, чем во Франции, могут в английской литературе сохранять, благодаря своему спокойному тону, название экономистов, верных системе Адама Смита и Рикардо, такие писатели, идеи которых, если бы выражены были на французском языке с полемическою горячностью, подвергли бы своих авторов проклятию всех так называемых экономистов Франции. Замечательнейший из этих английских писателей, без особенного шума вводящих в науку новые взгляды,— Джон Стюарт Милль. Мы никак не думаем, чтобы его теория была вполне удовлетворительна. Он человек бесспорно очень замечательного ума и безмерно выше всех французских экономистов; но ум его силен только в логическом развитии подробностей. Он превосходно разъясняет частные истины, но создать новую систему, дойти до поверки основных принципов и пополнить их он не в состоянии. Он говорит, например, что все возражения экономистов против коммунизма не выдерживают критики; а между тем он только исправляет и дополняет в частных случаях ту теорию, односторонность которой доказана писателями, по его собственным словам, неопровержимыми в сущности своих мыслей. Почему же он не перестроил всю теорию с самых оснований? Очевидно, у него нет силы отделить сущность новых мыслей от их полемической и декламаторской формы, перевести французское ораторство на холодную теоретическую речь и согласить новые мысли со старыми. Во всяком случае политическая экономия у него далеко не похожа по своему духу на то, что называется политической экономией у отсталых французских экономистов.

Мы говорили, что у французских экономистов, следовавших за Жаном Батистом Сэ, нельзя найти ни одной свежей мысли, что их сочинения содержат только бесцветное повторение мыслей, высказанных Адамом Смитом, Мальтусом и Рикардо. Но каким бы раболепным

переписчиком старых книг ни был новый писатель, он никак не может остеречься от влияния некоторых мыслей, принадлежащих его собственному времени; потому у французских экономистов та теория, верность которой думают они соблюсти, представляется с искажениями двойного рода. Адам Смит и Рикардо, когда писали свои произведения, вовсе не думали о коммунистических теориях, которые во время Смита не существовали, а во время Рикардо казались невинною шуткою, не обращавшею на себя ничьего серьезного внимания. Нынешний французский экономист, которому каждая блуза, встречаемая на улице, представляется символом коммунизма, грозящего разрушением французскому обществу, который был несколько раз в пух и прах побит Прудоном, осмеявшим его, выставившим его перед публикой за идиота и невежду,— французский экономист не может ни одной буквы написать, не думая о коммунизме. Как победить этого ненавистного врага? Он сам не одарен такими умственными силами, чтобы составить теорию, которая удовлетворяла бы его желанию опровергнуть коммунизм; он может только переписывать старую теорию. Но при этом он вычеркивает из нее все, что, по его мнению, может служить подтверждением коммунизму: он искажает и определения, и факты, чтобы предохранить своих читателей от коммунистической заразы; особенно отличался в этом Бастиа. Адам Смит или Рикардо ужаснулись бы, увидев себя в его переделках. Но с тем вместе французский экономист не в силах разобрать, что в его собственной голове засели разные клочки коммунистических теорий, и среди искаженного повторения мыслей, например Адама Смита, вы вдруг находите страницу, от которой так и веет коммунизмом, впрочем, также искаженным *. Французские экономисты, вклеивающие в свои книги все больше и больше страниц из коммунистической теории, нимало не сообразных с общим направлением сочинений, показывают невозможность охранить прежнюю теорию от новых идей. Английские экономисты, и особенно Милль, прямо говорят о необходимости переделать ее, хотя и не имеют сил для исполнения такой задачи. Но из их переделок и вставок можно видеть, в каком направлении следует искать полной переделки. Мы попробуем представить краткий очерк теории, которая рождается из последовательного, логического развития идей

* В пример укажем на определение ценности у Бастиа. Он страшно ратует против Прудона и, сам того не замечая, принимает определение, данное Прудоном, только уродует его так, что вместо внутренней цен-

Адама Смита о труде, как о единственном производителе всякой ценности. Читатель, конечно, не будет удивлен, если наши определения будут иногда отличаться от определений, обычных для отсталой экономической школы.

Надобно начать с разъяснения понятий о труде производительном и непроизводительном. Производительным трудом мы называем тот, результатом которого бывают продукты, нужные для благосостояния человека; непроизводительным — тот, результатом которого не увеличивается благосостояние. Очевидно, что тут многое зависит от того, чье благосостояние ставится мерилом производительности. Воровство — очень производительный промысел для ловкого вора; но благосостояние общества не увеличивается от воровства, потому для него это дело непроизводительно, с каким бы усердием, и ловкостью, и прибылью ни велось ворами. Политическая экономия, если имеет претензию на имя науки, конечно, должна рассматривать предмет с общей точки зрения, иметь в виду выгоды общества, нации, человечества, а не какой-нибудь частной корпорации. Потому производительным трудом называем только такой, продуктами которого возвышается благосостояние общества. Благосостояние может возвышаться только при расчетливости, а расчетливость находит убыточным всякое дело, которым отнято время и силы от другого, более выгодного дела. Например, если плотник, который может получать один рубль в сутки, займется мастерством, приносящим только восемьдесят копеек, он поступит нерасчетливо и займется работою, убыточною для него. Чтобы видеть, какого рода труд может считаться выгодным для общества, то есть производительным, надобно знать положение и потребности общества. Известно, что потребности человека разделяются на необходимые и прихотливые. Если, например, иметь за обедом мясо составляет потребность действительную, то иметь мясо, приправленное трюфелями, есть уже прихоть. Список первых существенных потребностей человека не очень длинен; в наших климатах для здоровья необходимо: довольно просторное и опрятное жилище, хорошее отопление, теплая одежда и пища, которая бы своим питательным достоинством равнялась пшенице и мясу. Итак, пока все члены общества не имеют удовлетворения этим первым

ности (valeur en usage) выходит у него меновая ценность (valeur en échange); перепутав эти вещи, он начинает излагать теорию обмена услуг таким образом, что можно только удивляться, как он сам не заметил ее несообразности ни с его собственными намерениями, ни с самыми простыми понятиями о внутренней ценности и об издержках производства.

потребностям, труд, обращаемый на производство предметов, служащих на удовлетворение потребностей более изысканных и менее важных для здоровья, употребляется нерасчетливо, убыточно, непроизводительно. Положим, например, что в известном обществе не все имеют крепкое и теплое платье; положим, что на производство такого платья для одного человека на целый год нужно десять рабочих дней или, оценяя каждый день в один рубль серебром, годичная ценность удовлетворительного платья составляет 10 руб. сер. Положим, что это общество состоит из ста человек и употребляет на производство платья 1000 рабочих дней. Теперь, если один из членов этого общества будет носить такое платье, что станет расходовать на него 50 руб., это значит, что труд для удовлетворения его потребности одеваться занимает в обществе 50 рабочих дней. Это значит, что на производство одежды для остальных членов общества остается только 950 дней, между тем как нужно было бы 990 дней, чтобы одеть их удовлетворительным образом. Ясно, что первая потребность некоторых членов общества не будет удовлетворена надлежащим образом, что они будут нуждаться в платье. Из этого надобно заключить, что работники, употребившие 50 дней на изготовление платья, трудились непроизводительным для общества образом, хотя бы и получили за свой труд надлежащее вознаграждение. Их труд имел направление, невыгодное для общества, и из 50 рабочих дней, употребленных ими на этот труд, 40 дней составляют чистую потерю для общества.

Из этого надобно выводить такое правило: весь труд, употребленный на производство продуктов, стоимость которых выше другого сорта тех же продуктов, удовлетворительного для здоровья, надобно называть непроизводительным при настоящем положении общества, когда некоторые из членов его еще имеют недостаток в продуктах, необходимых для здорового образа жизни. Каждая индейка, покупаемая в Петербурге за 3 руб. сер., отнимает у общества пуд говядины, потому что ее производство взяло столько же времени, сколько бы нужно для произведения пуда говядины. Каждый аршин сукна, ценою в 10 руб. сер., отнимает у кого-нибудь теплую шубу, потому что на производство этого аршина сукна потрачено время, которое было бы достаточно для производства простой, но теплой шубы.

Господствующая экономическая теория очень близка к подобному воззрению, но никак не умеет достичь до того, чтобы ясно сознать его. Она запутывается в соображениях,

которые имеют какой-то меркантильный характер. Деньги, обмен, плата за услугу, удовлетворительность вознаграждения для работавших,— эти второстепенные понятия затемняют для нее коренную сущность дела, а сущность дела состоит просто вот в чем: нация, имеющая известное число людей, способных к работе, располагает известным числом рабочих дней. Каждый рабочий день, употребленный на удовлетворение прихоти или роскоши, пропал для производства продуктов, удовлетворяющих первым потребностям. Если нация употребляет половину своего рабочего времени на производство предметов роскоши,— а предметами роскоши надобно назвать все те, которые не идут на удовлетворение первых потребностей или хотя идут на удовлетворение их, но имеют стоимость, превышающую ценность производства другого сорта тех же предметов, удовлетворяющего условиям гигиены,— если нация употребляет половину своего рабочего времени на производство предметов роскоши, когда не удовлетворены надлежащим образом первые потребности всех ее членов, она расточает половину своего времени непроизводительным образом, она поступает подобно человеку, который стал бы голодать половину дней, чтобы иметь роскошный стол в другие дни, который тратил бы на перчатки половину своего дохода и мерзнул бы зимою без теплой одежды.

Если хотите, вся сущность новой теории заключается в таком взгляде на различные роды экономической деятельности. Все остальное служит в ней или развитием этого основного требования, вовсе не чуждого и прежней теории, или определением средств для того, чтобы приблизиться к его исполнению.

Само собою разумеется, что средств этих нужно искать в порядке распределения ценностей. Если я имею средства платить 40 рублей в зиму за абонемент кресла в опере, никто не запретит мне нанимать это кресло, и какое мне дело до того, что труд, употребленный на производство ценностей в 40 рублей, потребляемых мною на мое развлечение в течение нескольких вечеров,— какое мне дело до того, что этот труд, употребленный на вещи более необходимые, доставил бы приличную одежду или приличное жилище каким-нибудь людям, которые теперь терпят лишения? Моя совесть так же спокойна, как тогда, когда я кладу в чашку кусок сахара, произведенного трудом невольников: не я, так другой занял бы это кресло, купил бы этот сахар, и не смешон ли я буду, если я стану отказывать себе в невинном или даже благородном удовольствии для каких-то абстрактных понятий о труде и времени?

Действительно, теория трудящихся (так будем называть мы теорию, соответствующую потребностям нового времени, в противоположность отсталой, но господствующей теории, которую будем называть теорией капиталистов) главное свое внимание обращает на задачу о распределении ценностей. Принцип наивыгоднейшего распределения дан словами Адама Смита, что всякая ценность есть исключительное произведение труда, и правилом здравого смысла, что произведение должно принадлежать тому, кто произвел его. Задача состоит только в том, чтобы открыть способы экономического устройства, при которых исполнялось бы это требование здравого смысла.

Тут мы встречаем дикое, но чрезвычайно распространенное понятие об отношениях естественности и искусственности в экономических учреждениях. Как, вы хотите преобразовывать экономическое устройство искусственным образом? говорят последователи теории капитала. Вы теоретически придумываете какие-нибудь планы и хотите строить по ним общество? — Это искусственность. Общество живет естественною жизнью, и все должно совершаться в нем естественно. Публика, состоящая из людей, не имеющих ясного понятия ни об искусственности, ни об естественности, громким хором повторяет: да, они хотят нарушать естественные законы. О, какие они безумцы!

Обыкновенно называют естественным экономическим порядком такой, который входит в общество сам собою, незаметно, без помощи законодательной власти и держится точно так же. Определение прекрасное,— только жаль, что ни одно важное экономическое учреждение не подходит под него. Например, введение свободной торговли вместо протекционной системы, конечно, составляет, по мнению отсталых экономистов, возвращение к естественному порядку от искусственного. Каким же образом оно происходит? Правительство, убеждаемое теоретическими соображениями ученых людей, объявляет уничтоженным прежний высокий тариф и велит повиноваться распоряжениям нового низкого тарифа. Только правительственная власть заставляет мануфактуристов, враждебных новому тарифу, терпеть его; если бы они имели силу, они готовы были бы собрать войско, овладеть таможнями и поставить в них свою стражу, которая собирала бы высокие пошлины с одних товаров и запрещала ввоз других. Величайшее торжество естественности составляет, по мнению экономистов, отмена хлебных законов в Англии. Но ведь она также была произведена по предварительному плану, составленному Кобденом и его товарищами, была произве-

дена парламентским актом, и много лет новый порядок вещей поддерживался только беспрестанными, упорными объявлениями законодательной власти, что она не потерпит никаких попыток к восстановлению прежнего порядка. Уничтожение навигационного акта[40], возвратившее свободу морской торговле между Англией и другими странами, экономисты также назовут возвращением от искусственности к естественности; но и оно было произведено также, в исполнение теоретических соображений, решением законодательной власти, и английские судохозяева до сих пор так неистовствуют против свободы, данной иностранным флагам, что если бы не правительственная защита новому учреждению, оно было бы уничтожено завтра же. Таким образом, признаком естественности вовсе не должно считаться то, что для ее водворения не нужны ученые теории или законодательные распоряжения. Никакая важная новость не может утвердиться в обществе без предварительной теории и без содействия общественной власти: нужно же объяснить потребности времени, признать законность нового и дать ему юридическое ограждение. Если мы захотим в чем бы то ни было важном обходиться без этого, мы просто не имеем понятия об отношении общества и его учреждений к человеческой мысли и к общественной власти. Нет ни одной части общественного устройства, которая утвердилась бы без теоретического объяснения и без охранения от правительственной власти. Возьмем вещь самую натуральную: существование семейства. Если бы европейские законы не определяли семейных отношений, могло ли бы утвердиться наше понятие, например, о единоженстве или о праве наследства? Различие в праве наследства, существующее между нациями равно образованными, доказывает важность законодательных определений в этих вопросах. В чем же заключается действительный смысл понятий о естественности, как о чем-то независимом от законодательных постановлений? Он заключается в том, что законы для своей прочности и благотворности должны быть сообразны с потребностями известной нации в известное время. В противном случае законы оставались бы бессильны и недолговечны. Таким образом, законодательное определение вовсе не служит нормою естественности; может называться естественным такое учреждение, которое ограждено законами, и могут называться неестественными такие учреждения, которые также ограждены законами. Дело состоит только в том, сообразны ли будут законы с потребностями нации.

Это говорит здравый смысл и беспристрастие; но не то говорят эгоистические интересы. У чехов есть превосходная древняя песня о суде Любуши. Она относится к тому времени, когда чехи были еще язычниками, но уже начали чувствовать немецкое влияние. По старому чешскому обычаю, который был у всех славян, недвижимая собственность оставалась в общем владении сыновей. В крайних случаях, при невозможности мирных отношений между братьями-сонаследниками, допускался ровный раздел между всеми сыновьями. Вот умер на «Кривой Отаве» владелец, как видно, очень важный и богатый. Двое сыновей его не могли поладить между собою в вопросе о наследстве. Дело доходит до княжны, она созывает народный сейм для его решения. Чтó нам делать с братьями? спрашивает она:

Вадита се круто мезу собу *(о дедине отне)*;
Будета им оба в едно власти,
Чи се разделита ровну меру? —

«Ссорятся они жестоко между собою (из-за поместий отцовских); будут ли они ими оба заодно владеть, или разделятся ровной мерой?» Сейм отвечает:

Будета им оба в едно власти,—

«Должны они оба ими заодно владеть». Едва услышал это решение старший брат, Хрудош, он встал. «Тряслись у него от ярости все члены; махнул он рукой, заревел, как дикий бык: горе птенцам, к которым залезет змея! горе мужчинам, которыми управляет женщина! Мужчинами должен управлять мужчина; старшему сыну по справедливости должно отдать поместье».

Встану Хрудош от Отаве Криве,
Трясехусе яростю вси уди;
Махну руку, зарве ярим турем:
«Горе птенцем, к ним-жь се змия внори,
Горе мужем, им же жена владе!
Мужу власти мужем заподобно,
Первенцу дедину дати правда!»

Экономисты не любят нераздельного владения, но еще меньше одобряют они право первородства; а между тем Хрудош находит натуральным и справедливым, чтобы старший сын получал все поместье. Точно так во всех делах и вопросах; каждый называет естественным то, что сообразно с его выгодами: североамериканские плантаторы находят естественным, чтобы черная раса была в невольничестве у белой; английские землевладельцы находили естественным, чтобы английское земледелие охранялось пошлинами от иностранного соперничества; банкиры на-

ходят естественным такой порядок, по которому они владычествуют над денежным рынком; мануфактуристы находят естественным, чтобы фабрика имела хозяина, в пользу которого шли бы выгоды предприятия; я могу находить естественным, чтобы публика поклонялась мне за мои статьи; г. Горлов может находить естественным, чтобы его книгу называли очень хорошей: что сказать обо всех этих претензиях? Обо всех одинаково надобно сказать, что личный интерес облекает иллюзиею естественности все дела без разбора, которые для него выгодны.

С этой точки зрения наука, которая должна быть представительницею человека вообще, должна признавать естественным только то, что выгодно для человека вообще, когда предлагает общие теории. Если она обращает внимание на дела какой-нибудь нации в отдельности, она должна признавать естественными те экономические учреждения, которые выгодны для этой нации, то есть, в случае разделения между интересами разых членов нации, выгодны для большинства ее членов. Если так, то совершенно напрасно говорить о естественности или искусственности учреждений,— гораздо прямее и проще будет рассуждать только о выгодности или невыгодности их для большинства нации или для человека вообще: искусственно то, что невыгодно. Заменять точный термин другим, произвольно выбранным, значит только запутывать смысл дела.

Мы старались найти смысл во фразах о естественности, которая будто бы должна служить необходимой принадлежностью экономических учреждений, и, наконец, успели найти точку зрения, с которой эти фразы могут казаться не совершенным пустословием; но точка зрения, нами найденная,— чисто субъективная, производимая иллюзиею личной выгоды. Нет надобности говорить, что наука не должна смотреть на предметы таким образом; она должна стараться понимать их в том виде, какой они действительно имеют, а не в таком, какой обыкновенно придается им страстями. Теперь спросим каждого, имеющего хотя какое-нибудь понятие о законах природы, может ли что-нибудь на свете, важное или неважное, происходить неестественным образом? Действие не бывает без причины; когда есть причина, действие непременно будет; все на свете происходит по причинной связи. Это известно каждому школьнику. Связь причины и действия естественна и неизменна; ничего противного ей не может случиться, все требуемое ею непременно должно произойти. После этого, кажется, ясно должно быть, что неестественного

ничего никогда в мире не было и не будет. Финикийцы приносили своих детей в жертву Молоху; это они делали очень дурно; но если вы разберете их понятия, то есть их суеверия, то вы увидите, что дело это было для них совершенно естественно, что люди с такими понятиями не могли не бросать своих детей в огонь для умилостивления Молоха. Отчего же у них были такие дикие понятия? Опять-таки, разберите их историю, и вы увидите, что им естественно было иметь такие понятия. Феодальный рыцарь убивал и грабил еврея, да и не только еврея, а всякого, не принадлежащего к рыцарскому обществу, с таким же спокойствием совести, как вы пьете чашку чая. В его положении, с его понятиями естественно было ему поступать и чувствовать таким образом. То положение общества, которым произведены были такие понятия и поступки, возникло также самым естественным образом. Судя по этому, очень легко угадать, что́ скажут о нынешнем естественном порядке дел наши потомки.

Впрочем, нет надобности этому естественному порядку дел ждать мнений потомства, чтобы услышать приговор себе. Каково бы ни было положение и понятия общества, все-таки тем же самым естественным путем являются в нем или отдельные лица, или целые сословия, которые судят о делах не по временным и местным преданиям и предупреждениям, а просто по здравому смыслу и по чувству справедливости к человеку вообще, а не к рыцарю или вассалу, не к фабриканту или работнику. Каким путем развивается в них сознание о правах человека вообще, без всяких подразделений,— все равно; в иных производится оно высоким развитием мысли; таков, например, был Мильтон, провозглашавший свободу совести во времена смертельной религиозной вражды, когда честные пуритане и бесчестные иезуиты одинаково думали, что должны казнить друг друга. Иногда это сознание развивается невыносимостью личного положения; так родился средневековый припев, который повторялся крестьянами на всех европейских языках, от английского и французского до польского и чешского: «когда Адам пахал, а Ева пряла шерсть, не было тогда рабов». Задолго до уничтожения рабства был произнесен над ним этот приговор, и стоит только сделать ряд вопросов, чтобы получить суждение о нынешнем естественном порядке вещей. Мы не будем предлагать этих вопросов; они приходят в голову каждому, в ком есть искра человеческого чувства, или кто подвергся несправедливости, или кто терпит лишения. Мы скажем

только, что все естественно: и хорошее, и дурное. Естественность — не рекомендация.

Зато и искусственность тоже не должна служить ни порицанием, ни похвалою, потому что ни к одной мысли, ни к одному действию даже отдельного человека, не только к какому-нибудь плану, принимаемому многими людьми, или к какому бы то ни было учреждению, обнимающему многих людей, эпитет неестественности или искусственности не может относиться на точном научном языке. Вы скажете, например, что какой-нибудь жеманный франт говорит искусственным языком, делает искусственные ужимки. В житейском языке, в котором слова имеют условный смысл и в котором, например, выражение «ваш покорнейший слуга» означает просто «я кончил свое письмо»,— в житейском языке почему и не выразиться таким образом? Но если вы хотите говорить языком науки, вы не имеете права сказать, чтобы франт, делающий нелепые ужимки, держал себя искусственно; по его понятиям об изяществе манер, он естественно должен делать такие ужимки; а его понятия естественно получили такой характер от его воспитания и от его отношений к обществу. Само собою разумеется, что о таких пустых вещах, как ужимки какого-нибудь франта, смешно и глупо выражаться научным языком; но в ученых книгах о таких важных вещах, как экономические учреждения, говорить языком, не соответствующим научной точности, значит также поступать глупо и, позвольте прибавить, значит поступать недобросовестно. Извинять подобные выражения можно только отсутствием философского образования; потому они, конечно, извинительны, например, для Бастиа́, который в знаменитом споре о даровом кредите обнаружил совершенное незнакомство с самыми элементарными приемами и терминами гегелевской диалектики. Мы не говорим, чтобы гегелевская диалектика была хороша; мы только думаем, что человек, не имеющий понятия о таком важном факте, как, например, Гегелева философия, не может считаться просвещенным человеком, и становится смешон, когда принимается рассуждать об ученых предметах. И вот этакой господин полюбил слово естественность и вздумал клеймить словом искусственность все, что́ ему не нравилось. И вот господа экономисты с восхищением схватились за эти слова; это не делает чести их ученому образованию.

Как в истории общества каждый последующий фазис бывает развитием того, что составляло сущность предыдущего фазиса, и только отбрасывает факты, мешавшие

более полному проявлению основных стремлений, принадлежащих природе человека, так и в развитии теории позднейшая школа обыкновенно берет существенный вывод, к которому пришла прежняя школа, и развивает его, отбрасывая противоречившие ему понятия, несообразность которых не замечалась прежнею теориею. Мы видели основные идеи, до которых дошла теория капиталистов: наивыгоднейшее положение производства то, в котором продукты труда принадлежат трудившемуся; наивыгоднейшее распределение ценностей то, в котором часть каждого члена общества, по возможности, близка к средней цифре, получаемой из отношения массы ценностей к числу членов общества. Мы видели, что теория трудящихся, принимая эти основные идеи, точнейшим образом развивает понятие о производительном труде и говорит, что труд, обращенный на производство продуктов, не соответствующих настоятельнейшим потребностям человеческого организма, должен в нынешнее время считаться непроизводительным, пропадающим для общества; мы говорили, что средств к развитию производительного и к уменьшению непроизводительного труда новая теория ищет в учреждениях, которыми давалось бы наивыгоднейшее для общества распределение ценностей. Дух этих учреждений легко определится, если мы сообразим экономические качества лиц, интересам которых должна удовлетворять новая теория. Важнейшее различие между лицом, вносящим в производство труд, и лицом, которому принадлежит капитал, определяется следующими чертами: в производстве трудящийся действует только собственными силами, между тем как капиталист располагает силами многих лиц; в распределении ценностей трудящийся не может иметь более того, что произведено им самим, а капиталист приобретает сумму ценностей, производимую трудом многих; цель производства для трудящегося есть потребление произведенных ценностей, а для капиталиста — сбыт их в другие руки для выигрыша через обмен. Мерилом производства для трудящегося служат надобности его собственного потребления (если труд в один день доставлял бы ему все, что нужно для потребления в целую неделю, он стал бы трудиться только один день в неделю), а мерилом производства для капиталиста служит только размер сбыта.

Таким образом, трудящийся не находится к другим лицам, занимающимся тою же работою, во враждебном отношении, как капиталист. Он может только желать, чтобы в других промыслах производилось больше, но не

имеет интереса желать, чтобы уменьшилось производство других трудящихся, занимающихся тем же промыслом, как он. Ныне, когда трудящийся не имеет самостоятельности, подчинен расчетам и оборотам капиталиста, этот существенный характер отношения к другим трудящимся затемняется соперничеством между работниками для получения работы. Но вникнем в чувства и рассмотрим круг деятельности тех трудящихся, которые работают самостоятельно,— мы увидим, что для них, даже при нынешнем порядке распределения ценностей, нет интереса действовать во вред другим трудящимся того же промысла. Представим себе, например, русскую или французскую деревню, в которой у каждого домохозяина есть свой участок земли и которая лежит в таком глухом месте, что наемных земледельческих работников нельзя там найти *. Представим, что экономический округ, к которому принадлежит эта деревня, имеет самый малый объем, хотя бы даже только одну милю в поперечнике. Представим, что он населен очень мало; все-таки эта квадратная миля будет иметь несколько сот человек населения. Предположим сохранение нынешнего определения продажной цены не по стоимости производства, а по отношению между запросом и предложением. Все-таки разорение соседа не может принести никакой выгоды земледельцу этой деревни: для продовольствия жителей нужен земледельческий труд нескольких десятков семейств, и устранение одного или двух из числа земледельцев нисколько не поднимет цены на хлеб. Когда было, например, пятьдесят семейств, производивших по десяти четвертей хлеба, производство было 500 четвертей. Если Ивану удалось разорить Петра и осталось только 49 производителей, количество хлеба уменьшилось только на одну 50-ю долю, и цена его не могла повыситься от этой ничтожной перемены. Иван, не имея наемных работников, не может производить хлеба больше прежнего, и, продавая по-прежнему 10 четвертей по

* Экономисты, с обыкновенной своей проницательностью, обратятся на выражение «глухая местность» и скажут, что предполагаемый нами быт возможен только при неразвитости экономического быта. Действительно, работник при нынешнем порядке дел может сохранять самостоятельность только в тех местах и промыслах, которые не охвачены биржевым коммерческим духом. Но читатель знает, что теория трудящихся именно к тому и стремится, чтобы дух спекуляции, то есть отчаянного риска, заменился духом производительного труда, который расчетлив и потому враждебен спекуляции. Через несколько строк мы скажем, каким образом выгодная сторона нынешнего производительного развития сохраняется и даже усиливается в теории трудящихся с устранением убыточной своей стороны, то есть направления к рискованному и непроизводительному труду.

прежней цене, не найдет себе никакой выгоды от разорения Петра. Конечно, дело иное, если б разоренный поступил к нему в наемные работники: тогда он увеличил бы свое производство и получил бы больше выгоды; но тогда он занял бы уже положение капиталиста, и это показывает нам, каким образом и по какому расчету возникает особенный класс капиталистов. Но читатель заметит, что возникновение капиталиста основывается на разорении другого человека, то есть на предварительной потере некоторого количества ценностей, находившихся в обществе. Теория, дух которой мы определяем теперь, стремится именно к тому, чтобы предотвратить всякую потерю ценностей; а из этого следует, что если она может найти средства для своей цели, то и превращение Ивана в капиталиста не будет допускаться экономическим порядком, ею излагаемым.

Итак, трудящийся, пока остается трудящимся, не имеет выгоды себе в подрыве людей, занимающихся тем же производством, как он. Число рук, требуемых каждым производством, так велико, что цена продуктов не может изменяться от происков, направленных против того или другого человека, трудящегося в этом производстве. Даже при нынешнем порядке мы видим, что земледельцы, имеющие свое хозяйство, проникнуты взаимным доброжелательством; между ними нет соперничества в том виде, какое существует между фабрикантами, торговцами или большими фермерами. В чем же может состоять конкуренция по теории трудящихся, если она не имеет в ней стремления подорвать друг друга, какое принадлежит ей в теории капиталистов? Она просто состоит в выгоде производить наибольшее количество продуктов в данное время. Выгода капиталиста требует увеличивать число своих покупателей, то есть при данном размере рынка отбивать покупателей у своих соперников. Выгода трудящегося требует наработать побольше в каждый день. Из этого мы видим, что по ней сохраняют всю свою привлекательность средства к усовершенствованию производства. Трудящийся не хуже капиталиста должен чувствовать выгодность усовершенствованного инструмента, если трудится в свою пользу. Разница только в том, что выгода, приносимая этим усовершенствованием, производится различным образом по отношению к другим людям, занимающимся тою же отраслью производства: выгода, получаемая трудящимся, остается его выгодою и только; выгода, получаемая капиталистом, происходит из подрыва других.

До сих пор мы говорили о ходе дел при нынешнем порядке. Но для того, чтобы изложить дело яснее, надобно отбросить понятие денег и говорить только о продуктах, как делает и господствующая экономическая теория. Представим себе общество, для удовлетворения нуждам которого потребно в год 1000 пар платья, производимых трудом 6000 рабочих дней; считая по 300 рабочих дней в году, мы видим, что производством платья должны заниматься 20 человек. Представим себе, что ни один из этих 20 человек не находит выгоды или возможности расширить свое производство на счет других. Должен ли будет он и при таком порядке дел желать усовершенствований в производстве платья? Он производит 50 пар платья и на каждую пару употребляет 6 рабочих дней. Выгодно ли будет для него введение какого-нибудь нового инструмента, сокращающего работу на одну треть? Разумеется, выгодно. Тогда он произведет свои 50 пар платья, по 4 дня на каждую пару, не в 300, а только в 200 дней, и 100 дней будет у него выиграно. Он может употребить их на отдых или на какое-нибудь новое занятие, для которого общество до сих пор не имело времени.

Читателю могут показаться совершенно излишними эти рассуждения. Может ли в здоровой голове родиться мысль о том, что усовершенствование производства, то есть сокращение труда, бывает приятно человеку только тогда, когда служит ему средством приобрести себе новых покупателей, и перестанет казаться ему приятным и выгодным, если число покупателей останется у него прежнее? Да, трудно вообразить себе такую нескладицу, но экономисты с важностью провозглашают ее, когда уверяют, что соперничество в нынешнем своем виде необходимо для усовершенствования производства. Им кажется, будто человеку хлеб вкусен бывает только тогда, когда отнят у другого.

Не имея причин зложелательствовать друг против друга, трудящиеся не имеют побуждений держаться каждый особняком. Напротив, они имеют прямую экономическую необходимость искать взаимного союза. Почти каждое производство для своей успешности требует размеров, превышающих рабочие силы одного семейства. Капиталист не нуждается в союзе с другими, потому что располагает силами множества людей. Трудящийся, располагая силами только своей семьи, должен вступать в товарищество с другими трудящимися. Это для него легко, потому что нет ему причины враждовать против

них. Таким образом, форма, находимая для производства теорией трудящихся, есть товарищество.

Тут мы опять встречаем возражение, забавность которого может быть сравнена только с самодовольствием, с каким экономисты повторяют его, как будто бы неопровержимый аргумент. Дело, имеющее одного хозяина, идет успешнее, нежели дело, производимое товариществом, говорят они. Это возражение до того несообразно с сущностью вопроса, что может свидетельствовать только о рутинной тупости, лишенной способности понимать новые идеи, или о недобросовестности, нагло рассчитывающей на незнакомство большинства публики с сущностью дела.

Во-первых, можно отдавать предпочтение одной форме дела над другою только тогда, когда обе формы возможны при данных условиях дела. Например, можно спорить о том, что́ выгоднее для английского лендлорда: делить свою землю на крупные или на мелкие фермы. Но невозможно рассуждать в Англии о том, должен ли лендлорд сам быть фермером, или отдавать свою землю в аренду. При условии английской жизни и при обширности поместий, лендлорду невозможно быть самому своим фермером. Потому, хотя с абстрактной точки зрения собственнику выгоднее самому возделывать свою землю, но в Англии преобладает отдача ферм внаймы, и ратовать против такого стремления английских лендлордов — вещь совершенно напрасная, пока остаются нынешние обычаи и нынешнее распределение поземельной собственности. Точно так, все равно, выгоднее ли ведется дело одним хозяином или товариществом, если трудящиеся имеют стремление и выгоду быть самостоятельными: самостоятельность в производстве возможна для них только при форме товарищества, потому возражать против стремления их теории к товариществу в производстве — дело совершенно напрасное. Если вам угодно опровергать эту форму, доказывайте, что трудящиеся не должны иметь стремления к самостоятельности. А если вы не хотите говорить этого, потому что говорить это значило бы отвергать свободу труда, объявлять себя защитником несамостоятельности труда, защитником крепостного состояния и рабства, вы не имеете логического основания для возражений против товарищества.

Мы не знаем, выгоднее ли шла бы постройка железных дорог, если бы эти предприятия принадлежали отдельным хозяевам, а не акционерным компаниям; экономнее ли было бы управление построенными железными дорогами,

если бы каждая дорога принадлежала одному хозяину. Но дело в том, что железная дорога не может быть построена иначе, как акционерным обществом (если не строится государством); это дело превышает силы отдельного капиталиста. Итак, спрашивается только: выигрывает ли общество через постройку железных дорог, нужны ли они? — Да. Могут ли они быть строимы отдельными капиталистами? — Нет. После этого всякая речь о сравнительной выгодности строения железных дорог отдельными капиталистами, а не товариществами капиталистов, становится пустословием. Так точно мы спрашиваем: выигрывает ли трудящийся, если приобретает самостоятельность в труде, должен ли он хотеть, чтобы все продукты его труда оставались в его руках? — Да. Каждый неизбежно желает своей выгоды, и общество не может не выигрывать, когда выигрывает вся масса населения, которая состоит из трудящихся. Могут ли трудящиеся достичь этой цели иначе, как посредством товарищества в производстве? — Нет. После этого всякая речь о выгодах одиночного хозяйства над товариществом становится пустословием.

Теория трудящихся имеет полное право говорить, что не принимает возражения о выгодах одиночного хозяйства, как возражения, не применяющегося к сущности данных положений. При каком порядке дел производство идет успешнее: при рабстве или при свободе? Я этого не знаю и не хочу знать; я знаю только, что рабство противно врожденным стремлениям раба, что свобода соответствует им, и потому я говорю, что производство должно иметь форму свободы. На какой фабрике больше производится продуктов: на фабрике, принадлежащей одному хозяину-капиталисту, или на фабрике, принадлежащей товариществу трудящихся? Я этого не знаю и не хочу знать; я знаю только, что товарищество есть единственная форма, при которой возможно удовлетворение стремлению трудящихся к самостоятельности, и потому говорю, что производство должно иметь форму товарищества трудящихся.

Мы говорим: все равно, увеличивается или уменьшается успешность производства через заменение рабства свободой и одиночного хозяина товариществом трудящихся,— все равно, потребности человека заставляют утверждать, что самостоятельность трудящихся, даваемая только формою товарищества, выгоднее для общества, нежели хозяйство отдельного капиталиста, как свобода выгоднее рабства для общества. Но как при свободе успешнее идет и самое производство, точно так же при форме това-

рищества оно должно идти успешнее, нежели при хозяйстве отдельного капиталиста.

Одну из причин этого мы видели, когда говорили об общем принципе производства, указываемом самою теориею капиталистов: успешность производства пропорциональна энергии труда, а энергия труда пропорциональна степени участия трудящегося в продуктах; потому наивыгоднейшее для производства положение дел то, когда весь продукт труда принадлежит трудящемуся. Форма товарищества трудящихся одна дает такое положение дел, потому должна быть признана формою самого успешного производства.

Другая причина заключается в направлении производства, в характере продуктов, на которые будет обращен труд. Мы видели, что производительным трудом должен называться только тот, который обращен на производство предметов нужных,— таких предметов, потребление которых одобряется расчетливостью и благоразумием. С точки зрения трудящихся, такие продукты — вещи, удовлетворяющие необходимейшим потребностям человеческого организма. Пусть каждый рабочий день производит ценностей на один рубль. Пусть для благосостояния трудящегося с его семейством нужно потребление ценностей первой необходимости на 200 рублей в год. Пусть общество состоит из 100 человек трудящихся. Пусть в этом обществе 40 человек заняты производством продуктов роскоши. Тогда для производства предметов первой необходимости остается 60 трудящихся. Они производят по 1 руб. в 300 дней — всего на 15 000 рублей продуктов первой необходимости, то есть для потребления каждого трудящегося производится ценностей только на 150 рублей, между тем как для его благосостояния нужно 200. Ясно, что трудящиеся должны нуждаться.

Самостоятельность трудящихся имеет тот экономический смысл, что они трудятся для собственного потребления. Потому, пока не достаточно продуктов первой надобности для их потребления, они не займутся производством других продуктов. Положим, что форма товарищества уменьшает успешность их труда, так что в рабочий день производится ценностей только на 70 копеек. Но зато все 100 трудящихся работают над производством предметов первой необходимости, и в каждый день производится их на 70 руб., а в 300 дней на 21 000. Ясно, что каждый трудящийся будет иметь предметов первой необходимости на 210 руб., когда для благосостояния нужно только 200. Ясно, что общество трудящихся имело бы избыток даже

при предполагаемом уменьшении успешности труда, тогда как прежде оно терпело нужду даже при предполагаемой большей успешности его.

Это значит вот что: если из двух работников только один занят, например, земледелием, а другой — производством бронзовых украшений, то общество и в том числе они скорее подвергнутся недостатку хлеба, нежели когда оба они заняты производством хлеба, хотя бы, работая оба над производством хлеба, они производили только по 10 четвертей, а при занятии одного производством бронзовых украшений — другой оставшийся при земледелии производил по 15 четвертей в год. Во втором случае, при работе более успешной, общество имеет только 15 четвертей хлеба, а в первом случае, при работе даже менее успешной, оно имеет 20 четвертей.

Но мы видели, что успешность труда в каждый рабочий день должна не уменьшиться, а увеличиться; потому избыток, производимый формою товарищества, должен быть гораздо более значителен.

Есть еще третья причина большей успешности труда при форме товарищества. Мы видели, что мерилом производства для трудящегося служит не сбыт продуктов, а надобность собственного потребления. Потребление имеет в себе элемент постоянства, которого лишен сбыт. Вы можете наверное рассчитывать, сколько хлеба нужно для известного семейства на неделю, на месяц, на год; обед должен быть и ныне, и завтра. Не то в вопросе о сбыте: ныне на бирже требуются сотни тысяч четвертей хлеба или тюков хлопчатой бумаги, через неделю не потребуется, быть может, ни одной четверти, ни одного тюка. Сбыт не идет размеренным шагом, как потребление; он вечно находится в лихорадочных пароксизмах, и крайняя энергия сменяется в нем совершенным бессилием. К довершению гибельности, невозможно заблаговременно предусматривать ни времени, ни продолжительности этих перемен, ни интенсивности каждой из них. Потому производство капиталиста подвержено беспрерывным застоям, а весь экономический порядок, основанный не на потреблении, а на сбыте, подвержен неизбежным промышленным и торговым кризисам, из которых каждый состоит в потере миллионов и десятков миллионов рабочих дней. Эти кризисы, эта насильственная утрата рабочего времени невозможна при производстве, мерилом которого служит потребление. Пусть производство капиталиста, основанное на сбыте, может бежать с быстротой Ахиллеса; пусть производство товарищества трудящихся идет с медленностью черепахи;

но мы еще в детстве узнали, что черепаха, шедшая безостановочно, опередила Ахиллеса, который, с изумительною быстротою сделав несколько шагов, садился и терял даром время.

Если мы сообразим все эти обстоятельства, дающие перевес производству под формою товарищества трудящихся над производством отдельного капиталиста, если мы вникнем в громадную силу каждого из этих обстоятельств и подумаем, в какой громадной пропорции должна возрастать она от дружной помощи двух других обстоятельств, то мы должны будем сказать, что степень возвышения, которую должна произвести в благосостоянии общества эта форма, далеко превосходит все ожидания, к каким мы способны теперь, при нашем рутинном понятии об идеале общественного благосостояния. Как самые жаркие проповедники уничтожения феодальных учреждений остались со всеми своими панегириками призываемому новому веку далеко ниже действительности, которую принес он людям, так и мы теперь, какого благосостояния ни ожидали бы от формы товарищества между трудящимися, не в силах вообразить себе ничего равного высокому благосостоянию, которое произведет она в действительности.

Думая о том, что люди, называющиеся учеными, воображающие себя доброжелательными и честными, напрягают все свои силы, чтобы пустозвонными декламациями и тупыми возражениями, не идущими к делу, задержать реформу столь благотворную, мы не можем не иметь к ним того чувства, которое человек, желающий улучшений в жизни, имеет к обскурантам и ретроградам. Они говорят о своей добросовестности, об искренности своих убеждений. Но разве огромное число всяких вообще обскурантов не состоит также из людей добросовестных? Мало того, чтобы быть человеком честным; нужно также думать о том, чтобы не отстать от потребностей века в своем образе мыслей. Тяжко грешит против общества тот, кто воображает, что не нужно ему проверять понятий, бог знает как и бог знает когда зашедших к нему в голову и принадлежащих положению общества, далеко не похожему на нынешнее. Но если таково наше мнение о так называемых экономистах, то читатель видел, что мы вовсе не подвергаем безусловному осуждению теорию Адама Смита и Рикардо, которой они до сих пор продолжают держаться. Нам кажется, что отличие новой теории от этой устарелой состоит только в том, что новая теория, овладевая существенными выводами старой, развивает их с полнотой и по-

следовательностью, которых не могла достигать прежняя теория. Прежняя теория провозглашала товарищество между народами, потому что благосостояние одного народа нужно для благосостояния других. Новая теория проводит тот же принцип товарищества для каждой группы трудящихся. Прежняя теория говорит: все производится трудом; новая теория прибавляет: и потому все должно принадлежать труду; прежняя теория говорила: непроизводительно никакое занятие, которое не увеличивает массу ценностей в обществе своими продуктами; новая теория прибавляет: непроизводителен никакой труд, кроме того, который дает продукты, нужные для удовлетворения потребностей общества, согласных с расчетливою экономиею. Прежняя теория говорит: свобода труда; новая теория прибавляет: и самостоятельность трудящегося.

Мы все говорили только о духе экономического порядка, требуемого теориею трудящихся, но не говорили о тех способах, которыми она предполагает достичь своей цели. Если читатель припомнит сказанное нами в начале статьи о характере правил, представляющих способ исполнения, он не будет ожидать, чтобы мы предложили какой-нибудь способ, как неизбежный и непременный. Способ зависит от нравов народа и обстоятельств государственной жизни его. Англичанину кажется удобным расположение квартиры в два или три этажа, о чем и не думают другие народы. Строить его дом по одному плану с русским или французским значило бы напрасно тревожить его привычки. Можно сказать вообще только то, что каждый дом должен быть опрятен, сух и тепл. Различных планов для исполнения требований новой теории находится много, и который из них вы захотите предпочитать другому, почти все равно, потому что каждый из них в существенных чертах своих сходен с другими и удовлетворителен, и из каждого легко могут быть удалены те подробности, которые составляют причину споров между его приверженцами и защитниками других планов. Экономисты и обскуранты всякого рода, либеральные и нелиберальные, говорят, что всеми этими планами стесняется индивидуальная свобода. Мы теперь не можем читать без улыбки такой упрек, потому что припоминаем о том, как случалось нам потешаться над ним в изустных спорах. Мы употребляли военную хитрость такого рода: когда говорили нам, что теория, нами защищаемая, стесняет индивидуальную свободу, мы спрашивали: о ком же, например, из главных мыслителей этой теории может сказать это наш противник? Он называл несколько имен. Мы спрашивали, которое из них

принадлежит самому злейшему стеснителю свободы? Узнав, кто именно жесточайший тиран, мы говорили, что не можем защищать его, и переменяли разговор. Через четверть часа мы, под именем плана, составленного собственно нами, излагали теорию писателя, защищать которого отказывались прежде, и спрашивали у нашего противника замечаний о недостатках, какие могут быть в нашем плане; он делал разные замечания, но никогда не случалось нам слышать в числе их, чтобы изложенный план стеснял свободу. Выслушав до конца, мы говорили, обращаясь к другим собеседникам: «изложенный мною план, в котором г. такой-то, находя всякие недостатки, не нашел стеснительности для свободы, принадлежит именно тому мыслителю, идеи которого он называл стеснительными для свободы». После этого защитник свободы, разумеется, не мог продолжать спора: оказывалось, что он не имел понятия о том, что осуждал. Это средство очень верное. Действительно, почти ни один из людей, нападающих на так называемые утопические планы, не знает хорошенько сущности ни одного из этих планов. Да и удивительно ли, что экономисты не имеют отчетливого понятия об идеях своих противников, если обыкновенно остаются незнакомы хорошенько даже с Адамом Смитом, которого называют своим учителем?

Пользуясь способом, о котором мы сейчас говорили, мы предлагаем *свой* план осуществления теории трудящихся, прося[41] читателей обратить внимание на то, стесняется ли свобода этим планом, который приспособлен к нравам стран, потерявших всякое сознание о прежнем общинном быте и только теперь начинающих возвращаться к давно забытой идее товарищества трудящихся в производстве. Надобно сказать также, что в государстве, для которого предназначался этот план, правительство ежегодно бросает десятки миллионов на покровительство сахарным заводчикам и оптовым торговцам. Кроме того, оно дает десятки миллионов взаймы компаниям железных дорог и тратит десятки миллионов на разные великолепные постройки.

Правительство назначает такую сумму, какая сообразна с его финансовою возможностью, для первоначального пособия основанию промышленно-земледельческих товариществ. За эту ссуду оно получает обыкновенные проценты, и ссуда погашается постепенными взносами в казну из прибыли товариществ.

Само собою разумеется, что пособия от казны предполагаются только для ускорения дела. Теперь есть много примеров, что товарищества основывались без всякой по-

сторонней помощи. Но если оптовые торговцы и компании железных дорог получают пособия, то нельзя назвать излишней притязательностью предположение, что трудящийся класс также имеет некоторое право ожидать от государства такого содействия, которое не будет стоить ни одной копейки казне: получая проценты и постепенно возвращая выданный капитал, она тут не жертвовательница, а просто посредница между биржею и трудящимся классом.

Теперь идея товарищества дело еще новое, и для ее осуществления нужна некоторая теоретическая подготовленность. Потому на первый раз ведение дела поручается человеку, которого правительство признает представляющим надлежащие гарантии знания и добросовестности.

Приглашаются желающие участвовать в составлении товарищества. Число участников в каждом товариществе полагается от 1 500 до 2 000 человек обоего пола; они принимаются в товарищество с согласия директора, который отдает предпочтение семейным людям над бессемейными. Таким образом, товарищество состоит из 400 и 500 семейств, в которых будет до 500 или больше взрослых работников и столько же работниц. Как поступили они в товарищество по своему желанию, так и выходить из него каждый может, когда ему вздумается.

В государстве, к которому относится план, находится среди полей множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок. Для товарищества всего выгодней будет купить одно из таких зданий, поправка которого не требовала бы особенных расходов. Но если оно найдет выгоднейшим, то можно построить новые здания; словом сказать, дело это ведется совершенно по такому же расчету, как постройка или покупка здания для какого-нибудь обыкновенного промышленного заведения. Надобно только, чтобы при здании было такое количество полей и других угодий, какое нужно для земледелия по расчету рабочих сил товарищества.

Разница от обыкновенных фабрик и домов для помещения работников состоит в том, что квартиры устроиваются с теми удобствами, какие нужны по понятиям самих работников, которые будут жить в них. Так, например, квартира для семейного человека должна иметь число комнат, нужное для скромной, но приличной жизни. Число квартир устроивается приблизительно соразмерное с числом желающих пользоваться такими квартирами. Но кому не угодно жить в этом большом здании, тот может

нанимать себе квартиру, где найдет удобным. Обязательного правила тут нет никакого.

При здании находятся принадлежности, которые требуются нравами или пользою членов товарищества. По нравам того народа и его потребностям такими принадлежностями считаются: церковь, школа, зала для театра, концертов и вечеров, библиотека. Кроме того, разумеется, должна быть больница.

По архитектурным сметам, то есть по цифрам, точность которых каждый может проверить, оказывается, что такое здание, со всеми своими принадлежностями и удобствами, будет стоить такую сумму, что лица, поселившиеся в нем, получат квартиру и гораздо лучше и гораздо дешевле помещений, в каких живут ныне. Цена за квартиры полагается такая, чтобы за вычетом ремонта капитал, затраченный на здание, давал процент, обычный в том государстве.

Товарищество будет заниматься и земледелием, и промыслами или фабричными делами, какие удобны в той местности. Инструменты, машины и материалы, нужные для этого, покупаются на счет товарищества.

Словом сказать, товарищество находится относительно своих членов в таком же положении, как фабрикант и домохозяин относительно своих работников и жильцов. Оно ведет с ними совершенно такие же счеты, как фабрикант с работниками, домохозяин с жильцами. Нового и неудобоисполнимого тут очень мало, как видим.

Теперь, когда здание готово и все нужное для работ приобретено, начинается дело.

Одним из важных экономических расчетов служит то, что земледелие требует громадного количества рук в недолгие периоды посева и уборки, а в остальное время представляет мало занятий. Товарищество должно пользоваться временем как можно расчетливее, потому во время горячих земледельческих работ все члены его приглашаются заниматься земледелием, а другими промыслами и работами занимаются в свободное от земледелия время. Впрочем, обязательности и тут нет никакой: кто чем хочет, тот тем и занимается. В каждом промысле, для каждого разряда работников существует та самая плата, какая обычна для него в тех местах. Какое же средство привлечь все руки к земледелию, когда оно требует наибольшего числа рук? Товарищество знает, что количество работы составляет сущность дела, потому во время посева и уборки назначает за земледельческую работу такую плату, чтобы огромное большинство членов его, занимающихся обыкновенно промыслами, увидело для себя выгоду обра-

титься на время к земледелию. Как видим, товарищество держится в этом случае обыкновенных в нынешнее время средств: оно держится их и во всех других случаях. Работники, не занимавшиеся до той поры земледелием, на первый год, конечно, будут пахать или косить хуже записных земледельцев; но под их руководством исполнят новое дело сносным образом, а на следующие годы и вовсе привыкнут к нему.

Мы говорили, что каждый занимается тою работою, какую знал или какую хочет выбрать. Разумеется, однакож, что товарищество и в этом случае руководится расчетом. Сапожники, портные, столяры, конечно, для него нужны, и оно найдет выгодным иметь такие мастерские. Но если бы иной член вздумал заняться производством ювелирных вещей, товарищество рассудит, нужна ли ему такая работа: если нужна, оно заведет ювелирную мастерскую, если нет, то скажет ювелиру, что когда он непременно хочет заниматься только ювелирством, а не другим чем-нибудь, то пусть ищет себе работы где ему угодно, а оно, товарищество, не может доставить ему мастерской такого рода. На первый раз этот разбор возможного и невозможного зависит от благоразумия директора, который набирает членов.

Но власть директора не ограничена только до того времени, пока записываются поступающие члены; как только состав товарищества определился, члены его по каждому промыслу выбирают из своего числа административный совет, согласие которого нужно во всех важных делах и вопросах, относящихся к этому промыслу; а все члены товарищества выбирают общий административный совет, который постоянно контролирует директора и выбранных им помощников и без согласия которого не делается в товариществе ничего важного.

Но вот прошел год; члены товарищества успели достаточно узнать друг друга и приобрести опытность в том, как ведутся дела. Власть прежнего директора, назначенного правительством, становится уже излишней и совершенно прекращается. Со второго года все управление делами товарищества переходит к самому товариществу; оно выбирает всех своих управителей, как акционерная компания выбирает директоров. Быть может, опыт и наклонности членов товарищества указали неудобства некоторых определений устава, которым управлялось товарищество в первый год. В таком случае что же мешает товариществу изменить их по своим надобностям и желаниям? Конечно, если первоначальный директор был человек рассудитель-

ный, если он принимал людей в члены товарищества с осмотрительностью, то члены набрались такие, которые понимают, в чем сущность дела, к которому они присоединились. Они, вероятно, понимают, что товарищество существует для возможно большего удобства и благосостояния своих членов, что сущность его состоит в устройстве, по которому каждый работник был бы свободным человеком и трудился в свою пользу, а не в пользу какого-нибудь хозяина. Вероятно также, что эти люди будут люди, а не звери, то есть не станут забывать, что общество обязано, по возможности, заботиться о сиротах и других беспомощных своих членах; вероятно, они не захотят уничтожить ни школы, ни больницы, видя, что есть у товарищества достаточно средств для их содержания. А если так, то они останутся верны духу и цели своего товарищества и тогда, когда от них будет зависеть изменять, как им самим угодно, устав его. А если так, то надобно полагать, что устав этот они не испортят, а разве усовершенствуют. Что именно сделают они для его усовершенствования, это уже их дело, а наше дело только рассказать, какой порядок заводится в товариществе первоначальным уставом, действовавшим в первый год; одну часть его, относящуюся к производству, мы изложили; теперь займемся другою, относящеюся к распределению и потреблению.

Можно, кажется, предположить, что работники, получая от товарищества обыкновенную плату обыкновенным порядком, будут работать не хуже обыкновенного. Мы предполагаем, что управлению товарищества едва ли понадобится прибегать к исключению какого-нибудь члена товарищества за леность; а если понадобится — что делать! — оно исключит его, как отпускает фабрикант слишком ленивого работника. Но ленивых работников будет в товариществе меньше, нежели на частных фабриках: имея, как мы увидим, более прямую выгоду от усердия в работе, члены товарищества, вероятно, останутся верны общему качеству человеческой природы, по которому усердие к делу измеряется выгодностью его, и потому надобно полагать, что работа в товариществе пойдет успешнее, чем на частных фермах и фабриках, где наемные рабочие не участвуют в прибыли от своего труда.

Если у фабриканта остается значительная прибыль, за вычетом заработной платы и других издержек производства, то остается она и у товарищества. Одна часть этой прибыли пойдет на содержание церкви, школы, больницы и других общественных учреждений, находящихся при товариществе; другая — на уплату процентов по ссуде из

казны и на ее погашение; третья — на запасный капитал, который будет служить, так сказать, застрахованием товарищества от разных случайностей. (Если товариществ много, этот запасный капитал служит основанием для их взаимного застрахования от разных невзгод. Когда же возрастание его представит возможность, он также обращается на пособие вновь основываемым товариществам.) За покрытием всех этих расходов должна остаться значительная сумма, которая пойдет в дивиденд всем членам товарищества, каждому по числу его рабочих дней.

Наш устав написан именно в том предположении, что эта сумма, остающаяся для дивиденда, будет значительна. Почему мы так думаем? Просто потому, что хозяин частной фабрики также имеет все расходы, которые мы вычитали из прибыли товарищества: он также платит проценты по своим долгам и погашает их, также содержит, если только он человек честный, и церковь, и школу, и больницу (и надобно заметить, что, чем больше он тратит на эти учреждения, требуемые понятиями или пользами его работников, тем больше остается у него чистой прибыли); наконец, он также застраховывает свою фабрику,— издержка, соответствующая образованию запасного капитала в товариществе,— и за всеми этими расходами у него все еще остается значительная сумма, которая одна собственно и составляет его прибыль: он бросил бы свою фабрику, если бы эта сумма, остающаяся у него в руках, не была значительна. Нет причины полагать, чтобы работа у товарищества шла менее успешно, нежели у него, а есть причина полагать, что она пойдет успешнее; потому-то и мы говорим, что дивиденд в товариществе будет значителен.

Этот дивиденд составляет одну сторону выгодности товарищества для его членов; он возникает из производства. Другую сторону выгодности доставляет посредничество товарищества в расходах его членов на потребление.

Мы уже говорили, что все желающие члены пользуются в общественном здании квартирами, которые лучше и дешевле обыкновенных. Точно так же они могут брать, если захотят, всякие нужные им вещи из магазинов товарищества по оптовой цене, которая гораздо дешевле обыкновенной, розничной. Кому, например, кажется удобным покупать сахар по 20 коп. за фунт, а не по 30, как он продается в маленьких лавках, тот может брать его из магазина товарищества, которое покупает сахар прямо с биржи, стало быть, имеет его 30-ю процентами дешевле, чем получается он из мелких лавок. Но, разумеется, кому

угодно платить не 20, а 30 коп. за фунт, тот может покупать его, где ему угодно. Для людей небогатых главный расход составляет пища. Кому угодно самому готовить свой обед, может готовить его, как хочет. Но кто захочет, тот может брать кушанья к себе на квартиру из общей кухни, которая отпускает их дешевле, нежели обходятся они в отдельном маленьком хозяйстве; а кому угодно, тот может обедать за общим столом, который стоит еще дешевле, нежели покупка порций из общей кухни на квартиру.

Нам кажется, что во всем этом нет пока ровно ничего особенно ужасного или стеснительного. Живи где хочешь, живи как хочешь, только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и кроме обыкновенной платы получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказываться от дивиденда.

Вот именно этот самый план имеет свойство возбуждать в экономистах отсталой школы неимоверное негодование своею ужасною притеснительностью, своим противоречием со всеми правилами коммерческого расчета, своею противоестественностью и своим пренебрежением к личному интересу, без которого нет энергии в труде. Хороший отсталый экономист скорее согласится пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры, нежели сказать, что в плане этом нет ничего слишком дурного или неудобоисполнимого.

Почему же такая простая и легкая мысль до сих пор не осуществилась и, по всей вероятности, долго не осуществится? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных? Это вопросы интересные. Но ими мы займемся когда-нибудь в другой раз.

«ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» [Д. С. Милля] (кн. 1)

ЗАМЕЧАНИЯ К ТРЕМ ПЕРВЫМ ГЛАВАМ ПЕРВОЙ КНИГИ

I. Гипотетический метод исследования

Мы видели уже много примеров тому, какими приемами пользуется политическая экономия при решении своих задач. Эти приемы математические. Иначе и быть не может, потому что предмет науки — количества, подлежащие счету и мере, понимаемые только через вычисление и измерение. Например, спрашивается: полезно ли было для Англии отменение хлебных законов, то есть дозволение беспошлинно ввозить иностранный хлеб?[1] Тотчас же вычисляется, сколько фунтов хлеба средним числом приходилось в Англии, до отменения хлебных законов, на потребление человеку, сколько приходится теперь; оказывается, что теперь средняя цифра потребления хлеба больше, и дело решено безвозвратно: отмена хлебных законов была полезна.

Цифры, доставляемые статистикою, чрезвычайно важны. Но они часто бывают недостаточны для решения именно самых коренных вопросов, вопросов о вредном или полезном влиянии каждого из основных элементов общественной жизни, рассматриваемой со стороны материального благосостояния. Статистический факт обыкновенно бывает явлением очень многосложным, зависящим от действия многочисленных элементов, перепутывающихся в нем своими влияниями так, что трудно бывает без особенных, облегчающих дело, способов распознать, какая роль принадлежит в нем известному элементу; кроме того, является вопрос: не играет ли этот элемент иной роли в других фактах? — надобно было бы перебрать все те факты, в произведении которых он участвует, а это очень трудно: все факты общественной жизни так перепутаны взаимным влиянием, все элементы ее так разветвляются своими последствиями по всем отраслям ее, что нельзя быть уверену, приняты ли в соображение все факты, на которых отразилось действие известного элемента, не

ускользнули ли от внимания некоторые и, быть может, самые важные действия этого элемента. Например: были ли полезны для Англии войны, которые вела она с Францией в конце прошедшего и начале нынешнего века? Очень многие находят до сих пор, что они были полезны, развили английское земледелие, английскую мануфактурную промышленность и торговлю. Большинству читателей такое мнение, конечно, кажется нелепостью. Но в подтверждение ему приводятся тысячи статистических данных. Разумеется, люди, опровергающие его, также приводят против него тысячи статистических данных. При такой многочисленности статистических данных с обеих сторон спор запутывается до того, что невозможно было бы принять тот или другой взгляд иначе, как по произволу, по личному образу мыслей, словом сказать, произносить решение по капризу, наудачу, если бы для получения точного, несомненного, бесспорного ответа не существовал иной метод, кроме метода разбора статистических данных. Но такой метод существует.

Этот метод состоит в том, что, когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаружил бы свой характер самым несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего состава. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он и в запутанной задаче, отложенной нами до этой поры.

Например, вместо многосложной задачи: были ли войны с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века полезны для Англии, берется простейший вопрос, не запутанный никакими побочными обстоятельствами: может ли война быть полезна не для какой-нибудь шайки, а для многочисленной нации?

Теперь как же решить этот вопрос? Дело идет о выгоде, то есть о количестве благосостояния или богатства, об уменьшении или увеличении его, то есть о величинах, которые измеряются цифрами. Откуда же мы возьмем цифры? Никакой исторический факт не дает нам этих цифр в том виде, какой нам нужен, то есть в простейшем виде, так чтобы они зависели единственно от определяемого нами элемента, от войны; — во всяком историческом факте, как в той войне, которая возбудила этот вопрос, статистические явления и цифры определялись не одним элементом войны, а также множеством всевозможных других условий и обстоятельств.

Итак, из области исторических событий мы должны перенестись в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, представляемых историею, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно и которые назначаются просто по удобству.

Например, оно поступает так.

Предположим, что общество имеет 5 000 человек населения, в том числе 1 000 взрослых мужчин, трудом которых содержится все общество. Предположим, что 200 из них пошли на войну. Спрашивается, каково экономическое отношение этой войны к обществу? Увеличила или уменьшила она благосостояние общества?

Лишь только мы произвели такое простейшее построение вопроса, решение становится столь просто и бесспорно, что может быть очень легко отыскано каждым и не может быть опровергнуто никем и ничем.

Каждый, кто умеет производить умножение и деление, не задумавшись, скажет: до войны каждому работнику приходилось содержать пять человек, а во время войны, когда 200 работников отвлечены от труда, осталось 800 работников; они должны содержать себя, 4 000 человек остального населения и кроме того еще 200 бывших работников, пошедших на войну, всего 5 000 человек; стало быть, каждому приходится содержать 6,25 человек (иначе говоря, прежде 100 работников содержали 500 человек, теперь содержат 625 человек),— ясно, что положение работников стало тяжелее и что остальные члены общества не могут быть содержимы в прежнем изобилии. Ясно, что война вредна для благосостояния общества.

Читатель видит, что абсолютной величине цифр не приписывается тут никакой важности: важность только в том, увеличилась или уменьшилась известная пропорция от перемены в цифре того элемента, характер которого мы хотим узнать. Больше будет или меньше будет, вот все, что нам нужно знать, чему мы придаем важность. Если выходит «больше», оно все-таки останется «больше», какие бы цифры мы ни взяли, а если выходит «меньше», то все-таки выйдет «меньше», какие бы цифры мы ни взяли.

Например, положим, что в обществе не 5 000, а 600 000 человек; положим, что в нем не 1 000, а 150 000 работников; положим, что на войну пошли не 200 человек, а 50 000 человек, вывод будет все тот же.

До войны работник содержал 4 человек; во время войны оставалось из 150 000 человек работников только 100 000; стало быть, каждому приходится содержать по 6 человек. То же самое, что и прежде: работникам стало

тяжелее прежнего, а всему населению общества хуже прежнего.

Мы видим также, что в какой именно пропорции стало хуже, это уже зависит от величины взятых нами цифр; они брались нами предположительно, потому мы и не придавали важности точной величине пропорции. Но мы видим также, что чем бóльшая пропорция людей посылается на войну, тем больше вред, приносимый войною обществу, и потому говорим: убыточность войны для общества прямо пропорциональна числу людей, идущих на войну.

Эти выводы сохраняют свою совершенную бесспорность, полную математическую достоверность, хотя цифры брались нами просто «по предположению», просто сопровождались словом «предположим».

По этому термину, «предположение», «гипотеза», самый метод называется гипотетическим.

Возвращаемся теперь к частному, фактическому вопросу, на время отложенному нами: полезна ли была для Англии война с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века? — мы видим, что он уже разрешен, что он допускает одно только решение: если война вообще не может быть полезна, если от нее всегда вообще беднеет общество, то, конечно, и ряд войн, о котором мы говорим, был вреден для Англии.

В этом общем смысле политико-экономические вопросы решаются посредством гипотетического метода с математическою достоверностью, лишь бы только были поставлены правильно, лишь бы только обращены были в уравнения верным образом. Решение получается в словах «увеличивается» и «уменьшается», то есть «польза» и «вред», «выгода» и «убыток».

Иное дело, если мы хотим узнать, как именно велико было вредное или полезное действие определенного нами элемента на данное общество в данном случае, как именно велик был вред, нанесенный Англии войнами с Францией в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Это уже дело истории и статистики; они должны отвечать на него своими не гипотетическими, а положительными рассказами и цифрами. Трактат, нами переводимый, занимается почти исключительно вопросами в самом общем их виде; потому к помощи истории и статистики нам реже понадобится прибегать, нежели к гипотетическому методу. Но как надобно думать о тех случаях, когда на общее решение вопроса, находимое гипотетическим способом, возражают фактами и цифрами, относящимися к одному или нескольким отдельным событиям, когда, например, на ре-

шение «война убыточна» возражают цифрами о развитии английской торговли и промышленности во время войн с Францией при республике и Наполеоне? Если эти цифры достоверны, то естественно является надобность проверить, могут ли они считаться следствиями того элемента, действию которого приписываются, или произведены были влиянием других элементов. В результате мы всегда находим, что это так, что если при существовании известного элемента были в обществе факты, противоречившие общему характеру его, найденному нами посредством гипотетического метода, то они производились действием других, противоположных ему элементов, которые могли даже пересиливать его влияние, но которых действие ослаблялось его влиянием.

Имея математический характер, гипотетический метод в сущности всегда действует цифрами; но часто уравнения, составляемые по его правилам, так немногосложны, что писатель предоставляет самому читателю вообразить в своем уме какие-нибудь цифры, а сам ограничивается только неопределенными словами «больше» и «меньше». Например: чем больше пропорция работников или взрослых мужчин в числе населения, тем благосостояние общества значительнее. Если подобные соображения относить, как и следует, к гипотетическому методу, мы увидим, что решительно вся политическая экономия развивается его помощью[2]. Конечно, такие неопределенные выражения, такие короткие доводы читаются легче, нежели те несколько длинные расчеты, в которых действительно выставляются цифры. Если в наших замечаниях будет довольно много расчетов и цифр, это происходит не от того, чтобы мы не понимали утомительности их для читателя; но мы обращаем внимание читателя на такие вопросы, которые слишком многими писателями решались ошибочно, фальшивое мнение о которых сильно распространено. Говорить о них только неопределенными словами «много» и «мало», «больше» и «меньше» было бы неудовлетворительно; а выводы из их правильного решения так важны, что заслуживают употребления некоторой напряженной внимательности при их исследовании. [...]

III. О неприятности труда

«В понятии труда заключаются кроме самой деятельности и все те неприятные или тяжелые ощущения, которые соединены с этой деятельностью», говорит Милль[3],— кто станет спорить с этим? Но одни ли неприятные ощу-

щения соединены с деятельностью, которая называется трудом? Милль об этом не говорит. Очень может быть, что во времена Адама Смита не представлял никакой важности вопрос о том, одну ли только неприятную сторону имеет в себе труд, или, кроме неприятных ощущений, он производит также приятные. Но теперь вопрос этот поставлен, и объяснено, что тот или иной ответ на него имеет последствия, совершенно различные для направления экономической теории.

Есть теория, утверждающая, что неприятные ощущения, производимые трудом в трудящемся человеке, проистекают не из сущности самой деятельности, имеющей имя труда, а из случайных, внешних обстоятельств, обыкновенно сопровождающих эту деятельность при нынешнем состоянии общества, но устраняющихся от нее другим экономическим устройством. Теория эта прибавляет, что, напротив, сам по себе труд есть деятельность приятная, или по термину, принятому этою теориею, деятельность привлекательная, так что, если отстраняется внешняя неблагоприятная для труда обстановка, он составляет наслаждение для трудящегося.

Мы должны предоставить личному мнению читателя суждение о том, справедлива ли изложенная нами теория в абсолютном своем развитии, когда она утверждает, что *никакой* род труда не заключает сам в себе ничего неприятного. Экономическое устройство, которое считается рациональным в этой теории, до сих пор еще не осуществлено, и потому нельзя с достоверностью знать, в том ли именно размере изменится при этом устройстве характер *всякого* труда, как предполагает она.

Но если при нынешнем состоянии общественных учреждений и знаний нельзя с математическою точностью доказать, чтобы *никакой* род труда не имел в своей сущности ничего неприятного, то еще менее можно сказать, чтобы наука давала нам право утверждать противное. Вопрос этот принадлежит к тем очень многочисленным вопросам, на которые при нынешнем состоянии знаний невозможно давать ответов, имеющих математическую безусловную точность, а можно отвечать только с приблизительною точностью, впрочем совершенно удовлетворительною для практики.

Действительно ли во всех *без исключения* родах труда неприятные ощущения происходят *единственно* от внешней неблагоприятной обстановки? Действительно ли *никакой* род труда не заключает сам в себе абсолютно *ничего* неприятного? Этого нельзя решить при нынешнем состоя-

нии знаний; но и при нынешнем состоянии знаний уже положительно надобно сказать, что *почти* во всех родах труда, и в том числе *во всех важнейших* по экономическому значению, *почти* все неприятные ощущения производятся не самою сущностью труда, а только внешнею, случайною обстановкою его; что почти все роды труда, и в том числе все важные роды его, имеют по своей сущности приятность или привлекательность, которая далеко превышает их неприятную сторону, если даже есть в их сущности неприятная сторона (существование которой сомнительно), так что при отстранении неблагоприятной, случайной и внешней обстановки почти всякий, и в том числе всякий важный в экономическом отношении, труд составляет для трудящегося не неприятность, а удовольствие.

Это подтверждается ежедневным опытом и естественными науками. Каждый на себе и на других может замечать, что труд часто доставляет ему наслаждение. Анализируя эти случаи и случаи противного, когда труд составляет не удовольствие, а обременение, каждый может видеть, что ощущение приятное производится трудом всегда, когда существуют следующие три условия: во-первых, когда труду не препятствуют слишком сильные внешние помехи; во-вторых, когда человек совершает его по собственному соображению о его надобности или полезности для него самого, а не по внешнему принуждению; в-третьих, когда труд не продолжается долее того времени, пока мускулы совершают его без изнурения, вредного организму, разрушающего организм. Анализ показывает, что неприятность труда всегда происходит от неисполнения этих условий.

Легко заметить, что труд не отличается в этом отношении ни от какой другой органической деятельности. Каждая из них становится неприятной при неисполнении условий, перечисленных нами. Например, никто не скажет, чтобы еда хорошей пищи или слушание хорошей музыки, или какие-нибудь гимнастические развлечения вроде танцев, прогулки и т. п. были сами по себе неприятны; напротив, сами по себе они составляют удовольствие, наслаждение. Но если человек танцует не потому, чтобы ему самому вздумалось танцовать, а по какому-нибудь внешнему понуждению, танцы уже составят для него обременение, скуку, досаду. Точно так же они становятся неприятны, когда продолжаются более, нежели сколько времени может заниматься ими организм без изнурения. Это мы постоянно замечаем на балетных танцовщицах; заме-

чаем на самых любящих танцы молодых людях, когда бал происходит или в неудобное для них время, или они отправляются на него не по собственному желанию, или когда он тянется слишком долго. Самый приятный концерт, самый приятный спектакль становится неприятен для меломанов и театралов, если бывает слишком продолжительным. Когда желудок уже пресыщен пищею, самое вкусное блюдо становится отвратительным, и если нельзя от него отказаться, то еда бывает большою неприятностью.

Из этого мы видим, что приятность или неприятность труда подчинена тем же самым условиям, как приятность или неприятность всех других органических деятельностей. Труд различается в этом смысле от светских развлечений и разных родов физического или умственного наслаждения не тем, чтобы его неприятность происходила не точно от таких же внешних обстоятельств, от каких получают неприятность еда, танцы, слушание концертов и т. д., а просто только тем, что при труде гораздо чаще бывают эти неблагоприятные внешние обстоятельства, нежели при собственно так называемых удовольствиях или занятиях, обыкновенно называемых приятными. Чрезвычайно редко бывает, чтобы человек ел по внешнему принуждению или больше, чем приятно для него; но чрезвычайно часто бывает, что человек трудится по внешнему принуждению, или больше, нежели удобно для его организма.

Из этого возникает новый вопрос: отчего же происходит, что труд гораздо чаще совершается под условиями, дающими ему неприятность, нежели совершаются те органические деятельности, которые собственно называются удовольствиями? Происходит ли эта слишком частая неблагоприятность внешней обстановки от самых предметов, на которые обращен труд, или от причин, столь же посторонних, как те, которыми производится неприятность удовольствий? Подробное исследование этого вопроса найдет свое место в учении о распределении продуктов труда, составляющем вторую книгу в трактате Милля. Здесь мы предварительно, и только мимоходом, заметим лишь одно обстоятельство: те явления общественной жизни, которые называются удовольствиями, бывают обыкновенно производимы обращением человеческой мысли и воли собственно на произведение именно этих явлений. Например, если происходит спектакль, он происходит собственно оттого, что люди, составлявшие его, хотели устроить именно спектакль, а не что-нибудь другое. Поэтому они и устраивали дело так, чтобы оно происходило

с наивозможно лучшим устранением всех невыгодных для него обстоятельств. Например, они устроили спектакль в удобном для зрителей здании, чтобы ветер, дождь или холод не мешал публике заниматься собственно тем делом, за которым она пришла в театр, то есть смотрением на сцену; время для спектакля выбрано такое, в какое удобнее всего публике заниматься спектаклем. Словом сказать, приняты все возможные меры для удобства дела. Невозможно сомневаться в том, что именно только сосредоточением забот собственно на этом пункте достигается приятность спектакля для публики. Попробуйте снять крышу с оперы, и все уйдут из нее с негодованием, и разве только палкою загоните вы публику в оперу, пока крыша остается раскрытой. Попробуйте назначить начало оперы в три часа дня, когда всем хочется обедать, или в три часа утра, когда всем хочется спать, а не ехать в спектакль, и почти никто не пойдет в оперу добровольно, да и те немногие, которые пойдут, уйдут из нее с недовольством.

Подумаем же теперь о том, с какими целями, по каким соображениям, для каких дел организовано общество во всех странах? Руководились ли народы заботою о наивыгоднейшей обстановке труда, когда давали обществам своим то устройство, которое до сих пор сохраняется в существенных и важнейших чертах? Подробное исследование об этом дело истории, а не политической экономии; мы можем здесь представить только готовый вывод, даваемый историею и несомненный для людей, сколько-нибудь знакомых с нею. Для ясности возьмем определенный факт, например, хотя Францию, история которой наиболее известна у нас. Франки, основавшие нынешнее французское общество, пришли в страну, овладели ею и дали ей известное устройство не для того, чтобы трудиться, а чтобы воевать, грабить и праздношатательствовать. Надобно сказать, что устройство, ими данное Франции, прекрасно соответствовало этой цели. Но политическая экономия находит, что условия, нужные для такой цели, совершенно противоположны условиям, какие нужны для удобства труда. С X или XI века (до той поры продолжалось без всяких перемен положение вещей, созданное в IV и V веках) Франция испытала много изменений в своем общественном устройстве. Нам нет нужды рассматривать, как велика произошедшая от этих перемен разница между XI и XIX веком в нравственном, умственном, юридическом отношениях; но об экономической сфере французского быта надобно сказать, что мы можем сколько нашей душе угодно восхищаться громадностью произошедших пере-

мен, а по точном исследовании они все-таки оказываются преобразовавшими до сих пор только некоторые второстепенные подробности быта, существовавшего в XI веке, а вовсе не существенные черты его, не коренные его основания. Доказывать это — дело не политической экономии, а истории и статистики. Но так как вывод, приводимый нами из этих наук, покажется нов для многих, то мы обратим внимание, для пробы, хотя на одну черту, едва ли не самую важную, на состояние поземельной собственности. Можно сколько угодно говорить об огромности конфискаций, произведенных в конце прошлого века, об упадке французской аристократии по материальному богатству и т. д., но статистика говорит, что почти вся та масса земли во Франции, которою владело потомство франков в XI столетии, до сих пор остается в руках их потомков. Массу населения во Франции составляют потомки кельтов и латинских племен; но едва ли не половина земли во Франции и ныне, в 1860 году, принадлежит малочисленным потомкам тех малочисленных франков, которые взяли себе эту землю при Хлодвиге и его преемниках. Ни один французский статистик не отваживается утверждать, чтобы больше половины земли принадлежало во Франции людям, ее возделывающим, и все согласны в том, что другая половина принадлежит людям не земледельческого сословия. Этого одного факта уже довольно. Ясно, что весь порядок земледельческого производства должен определяться во Франции надобностями и удобствами людей, которые живут доходом с земли, не возделывая ее; потому что, когда половина производства зависит прямо от людей сильных, то и другая половина должна подчиняться косвенному их влиянию. Землепашец, владеющий 5 или 6 гектарами земли, по необходимости должен оставаться при таком характере производства и при таких условиях труда, какие налагаются на французское общество удобствами больших землевладельцев, поместьями которых окружен его ничтожный участок и в зависимости от которых он сам находится по всевозможным общественным отношениям. Повторяем, что доказательств нашим словам надобно искать в истории и статистике; мы берем здесь уже готовый результат исследований из этих наук, и кто знаком с ними, для того справедливость представляемого нами вывода несомненна. Экономический быт Франции с XI века изменился в очень значительной степени; но все-таки перемены до сих пор не так велики, чтобы экономическое устройство французского общества ныне существенно отличалось по отношению к обстановке труда от того устрой-

ства, какое Франция имела в XI или даже V веке. Перемены значительны и хороши, мы против этого не спорим; мы говорим только, что они еще не получили до сих пор такой значительности, чтобы условия труда во Франции соответствовали, хотя сколько-нибудь требованиям науки. В сущности остается во Франции порядок дел, устроенный для войны, для праздности, но не для труда.

То, что мы сказали о Франции, применяется еще в гораздо большей степени к другим странам Западной Европы. Северная Америка до сих пор жила европейскими преданиями. Обстановка труда до сих пор везде чрезвычайно неблагоприятна, потому что дается ему такою организациею общества, которая была устроена для деятельностей, совершенно не похожих на труд и требующих характера отношений, противоположного тому, какой нужен для труда.

Если от этой обстановки, неудобной для труда, мы обратимся к самой сущности труда, то естественные науки заставляют нас утверждать, что труд по своей сущности составляет для человека приятность. Мы говорим это собственно о физическом или мускульном труде, потому что привлекательность умственного или нервного труда известна по опыту каждому, в чьей голове труд этот достигает или когда-нибудь достигал какой-нибудь энергии. Мускульный труд, по прекрасному разъяснению Милля, состоит исключительно в движении, и мускулы имеют движение единственным родом деятельности, к какой способны. Выражаясь техническим языком, движение составляет функцию мускулов, как зрение составляет функцию глаза, слушание — функцию ушей, мышление — функцию головного мозга, пищеварение — функцию желудка. Естественные науки говорят, что приятное ощущение получается каждым из наших органов тогда, когда он с известною степенью энергии занят своею функциею. Например, зрение доставляет нам приятность, когда предмет, на который смотрит наш глаз, занимателен для нас, то есть когда он возбуждает в глазе довольно значительную энергию деятельности; мы имеем приятное ощущение в желудке, когда он приобрел достаточное количество материала, нужного для его деятельности. Неприятное ощущение от известной части организма производится или отсутствием материала для ее деятельности, или внешним препятствием совершать эту деятельность. Одним из препятствий бывает чрезмерность материала, который массою своею превышает силы организма. Например, такое количество света, при котором глазу удобно

смотреть, доставляет глазу удовольствие; но когда свет слишком ярок, то есть когда глаз получает такое количество его, которого не в силах переработать удобным для себя образом, глаз страдает; точно так же желудку неприятно, когда пищи в нем уже слишком много. Но недостаток материала, то есть невозможность заниматься своею функциею с надлежащей энергией, также производит в органе неприятное чувство. Когда зрению нечем заняться, мы чувствуем скуку; когда нечем заняться желудку, мы чувствуем голод[4].

Прилагая эти общие выводы естественных наук к мускулам и к их функции, то есть к движению, то есть к труду, мы должны сказать, что отсутствие нужного количества труда должно производить в мускулах чувство неудовлетворенности, соответствующее чувствам скуки, тоски, голода; должны сказать, что, наоборот, чрезмерностью труда должно производиться в мускулах также неприятное чувство изнурения, соответствующее рези в глазу и чувству обремененности в желудке; а таким количеством труда, которое не превышает сил мускулов, должно производиться в них ощущение приятное, какое производится не чрезмерным количеством света на глаз, не чрезмерным количеством пищи на желудок *.

Мы видим, что из этого длинного рассуждения получается краткий вывод, до того простой, что когда придешь к нему, удивительно становится, каким образом могла явиться односторонность или ошибка, вызвавшая нужду в исследовании и доказывании того, что для всех всегда было ясно и понятно без всяких исследований. Мы пришли к выводу, что труд должен быть сообразен с силами человека и что он дурен, то есть неприятен, тогда, когда превышает их. О чем тут рассуждать, что тут доказывать? Но мы еще будем иметь много случаев видеть, как важна практическая разница между истиною, очевидною до на-

---

* Мы берем понятие о функции мускулов, движении, за понятие, равносильное понятию физического труда, состоящего исключительно в движении. Движение, составляющее труд, отличается от других родов мускульного движения, как, например, от игры, гигиенического моциона и т. д., только тем, что совершается по внушению расчета о своей полезности для материального благосостояния. Нет надобности говорить, что взрослый и рассудительный человек отдает этому расчету преимущество над всеми другими личными своими побуждениями, и потому скучным и глупым кажется ему всякое движение, производимое не по расчету о материальном благосостоянии. Политическая экономия признает личный интерес сильнейшим или даже единственным важным двигателем человеческой жизни. Чем более важное место мы приписываем ему, тем полнее охватывает труд всякую мускульную деятельность.

чала научных исследований о ней, и тою же истиною, уже выдержавшею отрицание и подтвержденною научным исследованием. [...]

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ ПЕРВОЙ КНИГИ МИЛЛЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА МАЛЬТУСОВОЙ ТЕОРИИ

I. 〈История Мальтусовой теоремы

Обстоятельства, породившие теорию Мальтуса, вероятно известны каждому читателю; но мы все-таки припомним их здесь, потому что это поможет разъяснению сущности дела.

Идеи, выразившиеся событиями французской революции, имели себе сильный отголосок и в Англии, откуда были принесены во Францию первые зародыши их. Масса английского общества в первые годы революции сильно сочувствовала ей, и поэтому приобрели большое общественное значение в Англии демократические писатели. Самым замечательным из них по таланту был Годвин. Его «Исследование о политической справедливости»[5] имело громадный успех. В то время, когда явилось оно (1793 г.), в Англии уже начиналась реакция, но большинство образованной публики еще сочувствовало идеям, начавшим подвергаться правительственному преследованию. Реакция еще не окрепла настолько, чтобы иметь замечательных теоретических защитников. Благодаря войне с Франциею, она быстро росла в следующие годы, и под ее влиянием английское общество начало находить, что идеи, еще недавно очаровавшие его, непрактичны, гибельны и преступны. Пока не было этого расположения умов, не могло являться таких апологий старины, которые имели бы теоретическое достоинство. Берк и другие бесчисленные панегиристы прежнего порядка писали только воззвания к предрассудкам, 〈которые〉 могли нравиться лишь невеждам или людям, заинтересованным в сохранении злоупотреблений. Теперь пришла иная пора. Люди рассудительные, люди нерасположенные защищать злоупотреблений, друзья прогресса стали думать, что французская революция — отвратительное безумство, а принципы ее ложны. Этим новым расположением умов скоро было (в 1798 году) порождено и теоретическое опровержение покинутого обществом увлечения. Этому внутреннему от-

ношению идей соответствовал даже и внешний повод, из которого возникла книга Мальтуса. Чтение одной из статей Годвина, «О скупости и расточительности» (она явилась в 1797 году в периодическом издании Годвина «Исследователь», Inquirer), возбудило в Мальтусе потребность заняться защитою учреждений, против которых восставали революционные писатели[6].

Старые учреждения никогда не имели недостатка в защитниках. Но политические тенденции той части английского общества, публицистом которой явился Мальтус, были таковы, что все прежние возражения против революционных идей казались ей неудовлетворительны; неудовлетворительными казались они и самому Мальтусу. Он принадлежал к партии умеренных либералов, которые рассуждают очень свободно, пока дело идет о второстепенных учреждениях, очень любят личный и почтенный прогресс и становятся консерваторами лишь тогда, когда усиливаются в обществе революционеры, не ограничивающиеся критикою маловажных подробностей, а стремящиеся изменить самые основания существующего порядка. Прежде противниками демократических идей в Англии были только приверженцы застоя, защитники средневековых учреждений; их возражения против демократов основывались на реакционных принципах, вели к провозглашению справедливости и пользы средневековых учреждений; партия, к которой принадлежал Мальтус, была враждебна тем особенностям, которыми XIII век отличался от XVIII; она считала благом те принципы, на которых основывался общественный порядок в прежние все периоды высокого общественного развития. Аргументы реакционеров защищали не сущность этих принципов, а средневековые формы их; для умеренных либералов нужна была другая теория, которая отвергала бы стеснительные средневековые подробности, показывала бы необходимость только коренных принципов и допускала бы некоторый прогресс в их развитии. Такая теория и оказалась результатом исследований Мальтуса.

Дух книги Мальтуса таков: надобно заботиться об улучшении существующих учреждений, а не разрушать их, не стремиться к основанию общественного устройства на иных принципах, потому что никакие иные принципы не могут дать обществу большего благосостояния, чем какое дается нынешним коренным его принципом, частной собственностью.

Но умеренно-либеральное настроение не может неизменно господствовать над общественным мнением: оно

чередуется с радикальным и реакционным настроением. Умственная история общества состоит в постоянной смене этих трех расположений. Недостатки существующего вызывают критику; она сначала обращается лишь на недостатки, заметные с первого взгляда; это пора умеренных либералов; но критическая мысль, развиваясь далее, находит, что под явлениями, очевидно неудовлетворительными, лежат принципы, на которых построен весь общественный порядок, что второстепенных явлений нельзя устранить, не устраняя этих коренных причин; тогда умеренно-либеральная критика переходит в радикальную; так, за Монтескье явился Руссо; за Мирабо — Робеспьер. Привычка к коренным принципам общественного устройства чрезвычайно сильна в массе, и огромное большинство общества скоро замечает, что радикалы, увлекшие его, идут гораздо дальше, чем может оно идти по своим понятиям, что вместе с недостатками, которыми оно тяготилось, ниспровергают они вещи, которыми оно очень дорожит. Тогда начинается другое настроение мыслей: касаться оснований общественного устройства — это злодейство или безумие; довольно устранить второстепенные недостатки. Опять настает пора умеренного либерализма: за конвентом следуют директория и консульство; законы для Франции снова составляются под влиянием Сиеса, Талейрана и других, замолкавших во время конвента. Но мысль, породившая переход от радикализма к умеренному либерализму, продолжает развиваться, и общество начинает думать: «не в том дело, дурны или хороши, сами по себе, второстепенные явления, против которых восстают умеренные либералы, защищающие неприкосновенность основных принципов; дело в том, что эти явления неразлучны с основными принципами, что уничтожать их значит подрывать и основные принципы; а этих основных принципов нельзя касаться, следовательно, надобно также сохранить или восстановить явления, необходимые для них». Это период крайней реакции; Наполеон с насмешкою отталкивает Сиеса и перестает слушать Талейрана; конституционный порядок директории, ставший почти только призраком во время консульства, переходит в полный абсолютизм империи. Тут опять начинается прежняя история. Общество, увлекшееся реакциею, начинает тяготиться ею; оно думает: «основания существующего порядка хороши, но есть в нем второстепенные тяжелые неудобства и надобно отстранить их». С этим опять настает пора умеренного либерализма, поднимают голос против Наполеона Бенжамен Констан и Лафайэт, бывшие бес-

сильными во время увлечения общества империей: она падает, и никакие усилия эмигрантов не могут обратить ее падения в пользу новой реакции, потому что поток мыслей стремится по противоположному направлению, от реакции к либерализму. Сначала либерализм очень умерен: Бенжамен Констан, Ройе Колар и Гизо совершенно удовлетворяют требованиям большинства, и Франция живет под конституционною хартиею 1814 года; но развитие критики идет дальше, реставрация сменяется июльской монархией, потом дело доходит и до февральской революции, и опять за революционным периодом следует либерализм Кавеньяка, кончающийся абсолютизмом новой империи[7]

Такова вечная смена господствующих настроений общественного мнения: реакция ведет к умеренной, потом к радикальной критике; радикализм ведет к умеренному, потом к реакционному консерватизму, и опять от этой крайности общественная мысль переходит в противоположную крайность через умеренный либерализм. Этим переменам подверглась и теория, возникающая из факта, резко выставленного вперед Мальтусом.

Мы видели, что книга Мальтуса принадлежала первой половине движения общественного мнения от радикальных стремлений к реакции. Мальтус говорил: основания экономического устройства не должны быть изменяемы, но должно заботиться о частных улучшениях. Разумеется, факт, им указанный, повел к иным заключениям, когда восторжествовало совершенно реакционное расположение мыслей.

Мальтус говорил: главная масса бедствий, которым подвергает людей нищета, происходит не от человеческих учреждений, против которых восстают радикалы; нищета с своими последствиями производится законом самой природы, действие которого не усиливается, а, напротив, смягчается учреждениями, основанными на частной собственности; ввести равенство и общность имуществ значило бы только дать больше простора действию естественного закона, вносящего в массу всякого общества нищету со всеми ее страданиями и пороками. Реакционеры вывели из этого заключение, очень логическое и совершенно отвергавшее либеральную примесь, которая у самого Мальтуса сглаживала жесткость основной мысли. Если нищета и страдания происходят от естественного закона, непобедимого никакими человеческими учреждениями, сказали они; если уменьшать неравенство в распределении собственности значит только увеличивать массу нуждающихся, то не напрасны ли или, лучше сказать, не

вредны ли всякие заботы об улучшении общественного быта? Его недостатки спасительны; учреждения и обычаи, против которых восстают либералы, охраняют общество от бедствий, гораздо больших, чем какие приносят. Эти выводы, возмущавшие людей слабохарактерных, неопровержимо вытекали из коренной мысли Мальтуса. Порок — дурная вещь, но он задерживает размножение людей, которое наделало бы несчастий, гораздо больших, чем порок, если бы не задерживалось им; война истребляет множество людей, но если б не было войны, люди стали бы размножаться так, что от голода умирало бы их больше, чем умирает от войны. Вообще все, что считается бедственным, служит предохранением от гораздо больших бедствий, и потому должно в сущности считаться благодетельным. Преступления, разврат, насилия всякого рода,— это ножи, которыми рука природы прочищает ветви дерева, беспрестанно разрастающиеся до излишней густоты, так что все дерево заглохло бы, засохло бы без этой прочистки. Если бы люди, говорившие это, были вполне последовательны, они должны были бы сказать, что надобно заботиться не об уменьшении, а об увеличении страданий массы людей: надобно не противодействовать, а покровительствовать всяческим порокам. Но перед таким выводом они останавливались, и вместо того, чтобы говорить: «надобно делать общественные учреждения и обычаи как можно более дурными», они говорили только: «напрасно исправлять их».

Сам Мальтус вовсе не хотел такого вывода. Он был друг улучшений, лишь бы не коренных улучшений. Но принципы, высказываемые людьми умеренными, всегда ведут к следствиям гораздо более резким, чем хотят сами эти люди: когда общество от умеренно-либерального расположения переходит к реакционному или радикальному настроению, оно открывает в мыслях, имевших умеренный тон, принципы реакционных или радикальных теорий.〉

«ОЧЕРКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ (ПО МИЛЛЮ)»

[...] Мы не намерены здесь излагать ни так называемых социалистических, ни так называемых коммунистических теорий. Мы ограничимся только несколькими словами о тоне, которым говорит о них Милль, и о последних словах приведенного нами отрывка. К этому мы прибавим разве только одно, да и то не теоретическое, а чисто историческое пополнение.

Общепринятый тон политико-экономических отзывов о коммунистах и социалистах не один раз изменялся с той поры, как эти тенденции заняли постоянное и видное место в умственной жизни. До 1848 года масса умеренных прогрессистов, в том числе и почти все политико-экономы, говорили о коммунистах и социалистах с любезною снисходительностью, как о мечтателях благонамеренных, хотя и заблуждающихся, но самыми своими заблуждениями отчасти содействовавших им, умеренным прогрессистам, в разъяснении истины. Над коммунистами и социалистами при случае подсмеивались с приятными претензиями на остроумие, без ожесточения, больше для препровождения времени, но говорилось это о них лишь при случае, не слишком часто и не слишком помногу. Они казались людьми неважными.

В 1848 году повсюду, где был переворот , бывали в нем более или менее заметны или у всей массы простонародья или у довольно больших отделов ее какие-то отчасти неясные тенденции, клонившиеся к коренному ниспровержению существующего экономического порядка, тенденции, казавшиеся сходными с коммунизмом. В то же время обнаруживалось, что бывшие защитники коммунизма и социализма в литературе думают воспользоваться этими тенденциями, которые были порицаемы даже и самыми радикальными из демократов, не бывших коммунистами или социалистами. Таким образом, раскрылось для всех, что между коммунистами и социалистами и всеми другими

партиями есть коренная разница, гораздо значительнее даже той, какая существует между самыми далекими друг от друга из остальных партий. Приверженец абсолютизма и красный республиканец чувствовали в это время, что у них у обоих есть что-то общее, против чего идут социалисты и коммунисты. А эти люди, оказавшиеся идущими против учреждений, равно драгоценных и для реакционера и для огромного большинства революционеров, оказались в некоторых местах довольно близкими к получению власти над обществом. Например, предводители баденских инсургентов Геккер и Струве были социалисты, а ведь они успели овладеть Баденом и были побеждены уже только двинутыми на них прусскими войсками[2]. Но главным источником страха была, разумеется, Франция. Временное правительство нашло нужным льстить коммунистам и социалистам, чтобы выиграть время. Эти ловкие маневры имели вид такой искренности, что казалось, будто оно дает социалистам и коммунистам участие в управлении страною. На самом деле ничего такого не было сделано. Но имя Луи-Блана в числе членов временного правительства и люксембургские конференции, которыми или обманули этого тщеславного труса (если он тщеславный трус), или обольстили этого самоотверженного гражданина (если он был самоотверженный гражданин, не хотевший вести свою партию к победе путем междоусобной войны),— но национальные мастерские[3], устроенные врагами коммунизма, как лагерь против коммунистов, и однакоже очень хитро выставлявшиеся за создание коммунистов,— этого было уже довольно, чтобы вся Европа кричала: «коммунисты овладевают правительством во Франции!» А тут поднялось громадное июньское восстание, подавленное лишь после такой упорной битвы, какой еще никогда не бывало даже и в парижских междоусобицах. Под влиянием этих событий все стали трепетать при одной мысли о коммунистах и социалистах, и ни на минуту не мог никто избавиться от мысли о них. В ту эпоху не в силах был человек написать ни одной страницы без того, чтобы не попали туда социалисты или коммунисты с приставкою надлежащих проклятий. Политическая экономия заразилась социализмофобией и коммунизмофобией (разумеется, в тех странах, которые подвергались перевороту, и в странах, повторяющих все с голоса тех стран. Англичане сохранили некоторое хладнокровие). Брань — настроение духа, одаренное очень большою живучестью. Трусость также. Раз принявшись бранить и трусить социалистов и коммунистов, континентальные политико-экономы еще не успели опра-

виться от своего истерического припадка. Но 10 или 12 лет — порядочный срок времени, и нельзя, чтобы не случилось в такой срок ничего, могущего подействовать даже и на людей, упражняющихся в истерике. Оно и действительно возникли в это время два явления, отчасти подействовавшие на континентальных политико-экономов. Очень видное место в литературе занял писатель очень крутого нрава, Прудон. Кто он такой, социалист или не социалист, коммунист или не коммунист — этого никто из континентальных политико-экономов не умеет разобрать, да и сам Прудон, быть может, не знает определенно[4]. Но одно всем заметно: он ужасно бранится, и так бранится, что на кого набросится, безвозвратно выставит глупцом. Бранит он социалистов и коммунистов — это хорошо; но попробуй кто-нибудь сказать что-нибудь против них, он так отделает этого господина, что тот жизни будет не рад: «если, говорит, я их называю глупцами, так другое дело — я понимаю их; а вы, милостивый государь, не понимаете их, вы сами гораздо глупее их, да и в политической экономии вы ни аза в глаза не знаете; какой вы политико-эконом! вы просто ахинею городите». Вот от страха перед таким чудовищем иной раз и боится политико-эконом не сделать милой улыбки коммунизму в извинение за то, что тут же выбранил коммунистов. А тут есть еще другое обстоятельство, коммунизм популярен: кому не хочется уловить частичку популярности? Вот политико-эконом, выбранивши коммунизм, и прибавляет для партера: «что это я, дескать, только так говорю против крайностей и утопий, а что касается до здоровой части новых стремлений, так я до-нельзя люблю ее», и пойдет хвалить ассоциации, предрекать им великую будущность, заболтается до того, что сам уже ничего не разбирает, что говорит. Таким образом нынешний обыкновенный тон отзывов о коммунизме — смесь неистовств с сладкими улыбочками, проклятий с комплиментами.

Ничего такого нет у Милля. Он смотрит на ужасающие крайности других теорий очень спокойно и не видит в них ничего возмутительного. Пересматривая возражения, какие делаются против коммунизма, он не находит между ними ни одного основательного. Решительный вывод его о коммунизме тот, что, если система собственности будет усовершенствована, она,— почему знать? — может быть, окажется и лучше коммунизма, но в нынешнем своем виде далеко уступает ему. К социализму он обнаруживает еще более сочувствия и не видит в нем уже ровно ничего не только дурного, но и неудобного. Одно только сомнение

выставляет он: нынешний уровень общественной нравственности очень низок; способны ли люди к принятию какого-нибудь хорошего устройства при этом нынешнем своем состоянии? Разумеется, это сомнение очень основательно, и надобно сказать, что оно применяется не к одному вопросу о коммунизме или социализме, а решительно ко всякому вопросу о каком бы то ни было существенном улучшении. Например, англичане владеют Ост-Индиею; можно ли ввести у индийцев цивилизованный порядок вещей, который был бы для них несравненно полезнее нынешнего? «При нынешнем состоянии общественной нравственности в Ост-Индии это очень сомнительно!» Можно ли уничтожить вывоз негров из Африки в Америку, чтобы негритянские племена не воевали между собою с целью захватывать пленных и продавать их на вывоз? «При нынешнем состоянии негритянских племен это очень сомнительно!» Можно ли устроить, чтобы друзы и мароните[5] не резали друг друга, если не будут удерживаться от резни страшными строгостями Фуад-Паши? «При нынешнем состоянии нравов их это очень сомнительно». Но то дикие или полудикие страны, не угодно ли подумать вам о цивилизованных? Можно ли ждать, чтобы иезуитская партия потеряла всякое влияние на значительную часть французов? Или, чтобы английские простолюдины стали обращаться с своими женами хотя так, как обращаются французские? Или, чтобы немцы бросили свою дрянную кухню, развивающую между ними золотушные болезни? На все эти вопросы ответ тот же самый.— «При нынешнем состоянии это очень сомнительно».

Да это ли одно? В одних ли вещах важных сомнительна возможность скорой, полной перемены к лучшему? Возьмите какие хотите пустяки, во всяких пустяках она сомнительна. Например, можно ли быстро сделать, чтобы петербургские или московские вывески не отличались безграмотностью? или, чтобы общие собрания акционеров русских акционерных компаний стали держать себя благоразумно? или, чтобы русские журналы приняли одинаковую орфографию, чтобы не писались одни и те же слова в одних журналах большими буквами, а в других маленькими, чтобы во всех журналах писалось как-нибудь поодному: или «телѣга», или «тѣлега»? или, чтобы англичане, вместо нынешнего своего неудобного способа делать чай, завели самовары, которые сами они находят очень удобною посудою? или, чтобы бросили они в газетах некрасивый обычай печатать собственные имена особенным шрифтом, так называемой капителью? Или, чтобы немцы

бросили дикое правило писать каждое существительное имя с большой буквы? или, чтобы французы, вместо своих никуда негодных каминов, с которыми страшно мерзнут, завели у себя порядочные камины вроде английских или порядочные печи вроде немецких? Кажется, все эти желания и удобоисполнимые, а между тем о каждом из них надобно решительно сказать, что очень скорого исполнения его ожидать нельзя.

«Разумеется, ничто на свете вдруг не делается!» И хорошо еще, если дело идет хотя медленно, но без остановок, без неудач, без поворотов к старому. Только идут так лишь неважные дела. В делах важных успех достигается после длинного ряда неудач, и за каждым движением вперед следует реакция, теснящая дело назад с таким упорством, что преодолевается только чрезвычайным напряжением сил, за которым, конечно, следует утомление с новым преобладанием реакции.

Есть люди, которые не ждут успеха ни при каком отдельном факте, а знают только, что в окончательном результате будет успех,— знают потому, что сомневаться в нем нельзя: неизбежность его доказывает себя математически. Распространяется ли грамотность в России? Сомневаться в этом просто глупо. Но если хотите, можете ждать неудачи при основании каждой воскресной школы[6], можете, если хотите, ждать, что и все нынешнее движение в пользу воскресных школ потерпит как-нибудь неудачу — что ж из этого? Только то, что от неудач унывать нечего, их надо предвидеть. Но если ждать неудачи, то как же браться за дело? Ведь и охота к нему пропадет. Полноте, будто это от наших мыслей зависит: станем ли мы иметь охоту? и будто, если скажет себе человек: «не стану я делать этого», так уж и точно не станет делать? Полноте; посмотрите на свои ежедневные поступки: сколько раз каждый из нас давал себе зарок, например, хотя бы не спорить о теоретических вопросах? Разве удавалось кому-нибудь переубедить противника в один вечер? Разве, расходясь, не говорил он себе каждый раз: «как однакоже я глуп, что спорил!» или разве не давал себе каждый из нас зарока не верить никому на свете или не любить никого на свете? И однакоже: разве исполняются эти зароки? Да, исполняются до первого случая, а как случай представился, натура и берет верх — и опять споришь и опять привязываешься, пока не износишься весь. А покуда ты износишься, подрастают другие на твое место терпеть те же неудачи, давать те же зароки и точно так же пробиваться по той же дороге. Стало быть, взгляд, нами из-

ложенный, нимало не мешает усердию практических хлопот у людей, разделяющих его. А надобно заметить, что мы вовсе не полагаем, будто бы в какую бы то ни было данную минуту большинство людей, убежденных в известной истине, могло не находить, что она готова вполне осуществиться при первом несколько удобном случае силою одной попытки. Хладнокровно рассуждать о шансах любимого дела в то самое время, когда стараешься об исполнении его,— это возможно только или при сильной большой опытности, или при особенном темпераменте, в котором холодность ума соединяется с горячностью воли. Людей того и другого рода всегда бывает довольно мало. Остальных не разубедишь: им все будет казаться, что вот-вот представляется один из тех, почти беспримерных в истории случаев, когда с одного раза прочно приобреталось многое. Стало быть, взгляд наш на шансы близкого будущего не охладит никого. Кто разделяет или будет разделять его, тот уже не способен охлаждаться перспективою или полных неудач, или удач, слишком неполных, потому что он давно свыкся с этой перспективой, и деятельность его происходит из необходимой потребности всей его натуры, а не из юношеской веры в свое счастье или в свое время. А кого оживляет доверчивость к своему счастью или своему времени, кто охладился бы, утратив ее, тот и не примет нашего сурового взгляда. Но он позволит нам не высказывать надежд, которых мы не имеем, и рассуждать о вещах не с угождением ему, а сообразно своему взгляду. Мы совершенно согласны с Миллем, что нельзя ждать скорого заменения нынешней коренной институции экономического быта порядком дел, основанным на ином принципе. Но следует ли из этого, что «политико-эконом долго должен будет заниматься условиями быта и прогресса», принадлежащими нынешнему господствующему принципу? Оно так, только не в том смысле, какой дает этому Милль. Разумеется, всего больше человек должен заниматься настоящим своим положением и будущим очень близким, но как он будет судить о нем? На основании ли того, что принимает он за истину, или должен забывать эту норму, если она вполне неосуществима завтра или послезавтра.

У вас есть сын, мальчик лет девяти или десяти, едва начинающий учиться. Скоро ли он может попасть в университет? Но ведь вы думаете, что когда-нибудь ему следует быть в университете; вы находите, что это будет всего лучше для него; что ж теперь, разве вы не располагаете все его воспитание так, чтобы он стал способен поступить

в университет и чтобы избежал лишних задержек, и разве, когда он спрашивает вас, к чему полезнее для него готовиться,— разве вы не рассказываете ему об университете? и если, сбиваемый с толку глупостями, которые слышит беспрестанно и от товарищей, а еще больше от людей, которых считает умнее себя,— он прибегает к вам с вопросом: не лучше ли быть гусарским юнкером, чем студентом? — разве вы отпускаете его с удовлетворительным решением: «мы, дескать, потолкуем с тобой об этом лет через семь». Благоразумно вы поступаете в подобном случае! Или, быть может, вы поступаете еще рассудительнее, поддакиваете мальчику, что точно, если студентом быть недурно, то быть гусарским юнкером еще полезнее для него: «пусть, дескать, в самом деле попробует, может быть, в самом деле хорошо, а увидит, что нехорошо, станет ходить в университет».

Кажется, что рассудительные люди так не поступают. Близка или далека цель, все равно, нельзя выпускать ее из мысли, нельзя, потому что, как бы далеко ни была она, ежеминутно представляются и в нынешний день случаи, в которых надобно поступить одним способом, если вы имеете эту цель, и другим способом, если вы не имеете ее. Разумеется, не доедете вы в один день ни до Казани, ни до Берлина, но ведь на самом первом шагу путь разветвляется: в Казань одна дорога, а в Берлин — совершенно другая. Так не будете ли вы рассуждать так: «станция Московской дороги к моей квартире ближе, извозчик ближе, да и торцовая мостовая по Невскому удобнее, так проедусь я сперва несколько станций по дороге в Казань, а там где-нибудь сворочу на берлинскую дорогу. А то, может быть, и не сворочу — что ж, ведь и Казань хороший город!»

Мы ничего не говорим — выбирайте себе цель, какую хотите, Казань ли, Берлин ли, только выбирайте же, и если вы находите, что в Берлине быть вам лучше, чем в Казани, то уж так и направляйтесь. Но а с Казанью что ж делать в таком случае? неужели забыть о ней? Разумеется, всего проще было бы не заниматься ею слишком много. Но, быть может, есть у вас приятели и советники, которые тянут вас в Казань. Если так, нечего делать, вам приходится рассуждать о Казани очень много; но в каком смысле, позвольте вас спросить, станете вы рассуждать о ней? Вы станете доказывать вашим приятелям и советникам, что ехать вам туда не следует, а следует вам ехать в другую сторону.

Или, быть может, вы еще не знаете, куда вам следует ехать? Да как же не знаете, вы уже едете? Ведь история не на диване, на котором лежит человек, не двигаясь с места, ведь она мчит вас куда-то, а вы еще не знаете куда? Так уж вы поскорее разузнайте, куда это она вас мчит? Туда ли, куда вам нужно? и если туда, куда вам нужно, то напрасно вы и толкуете о других дорогах, а если не туда, куда вам нужно, то сворачивайте.

Милль рассуждает не совсем так: судя по всему, говорит он, надобно ехать в Берлин, однакож махнемте на нем рукою и поедем в Казань.

Заключение не совсем логическое. Мы уже видели, на каком соображении делается оно: при нынешнем низком состоянии умственного развития и нравственных понятий в обществе рано еще думать об осуществлении идей, которые хороши сами по себе. Мы видели, что, если и правда, что рано ждать полного их осуществления, это нимало не избавляет от надобности внимательно и подробно изучать их, потому что иначе мы будем сбиваться с дороги. Но рано в нынешнее время ждать осуществления лишь тех систем окончательного устройства экономических отношений, о которых об одних и говорил Милль. А разве не случается, что мыслитель, развивающий свою идею с одною заботою о справедливости и последовательности системы в своих чисто теоретических трудах, умеет ограничивать свои советы в практических делах настоящего лишь одною частью своей системы, удобоисполнимою и для настоящего? Спросили бы вы, например, Роберта Пиля, что ему кажется наилучшим по вопросу о заграничной торговле? Наверно он отвечал бы: совершенное уничтожение и таможенных пошлин и таможен. Да он и говорил это много раз. Что ж, значит, он был фантазер, и от его мыслей можно отделаться словами: «хорошо, но еще слишком рано думать нам об этом»... Нет, вы знаете, что Роберт Пиль, кроме рассуждения о безусловно и окончательно наилучшем, рассуждал и о том, в какой мере, какую часть этого наилучшего можно исполнить и теперь; он вовсе и не предлагал парламенту — раз, два, три, хлоп! и отменить все пошлины и разорить таможни. Известно, что в парламенте он предлагал вещи совершенно практические, исполнение которых оказалось и легко и полезно.

Вот то же самое и по вопросу, занимающему нас. Полное теоретическое изложение системы известного быта, основанного на известном принципе,— вещь необходимая: нужно же знать, что в самом деле хорошо и справедливо,

а сверх того, у кого не уяснены принципы во всей логической полноте и последовательности, у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха. Но если были на свете гениальные мыслители и нашли себе достойных учеников и приобрели популярность, то ведь надобно же положить, что или сами они, или некоторые из учеников их догадались же, кроме этих рассуждений об отвлеченной теории, поговорить и о возможном в современной действительности.

Оно так и было. Размеры статьи не допускают нам говорить о всех таких предложениях, имеющих в виду границы возможного для нынешней эпохи, да оно, может быть, и лишнее было бы перечислить много таких программ, потому что в существенном все они сходны. Ограничимся же одним примером, который приводил я в одной из прежних своих статей (Труд и капитал, «Современник», 1860 год, № 1, Русская литература, стр. 60—66).

Нам вздумалось взять в пример тогда Луи-Блана.

Не мешает сделать небольшую оговорку. Луи-Блан человек вовсе не из тех первоклассных мыслителей, каковы были Сен-Симон, Фурье, Роберт Овен. Он только человек очень даровитый, вроде Милля; выше Милля он в том отношении, что умел стать на почву новую и прочную, но далеко уступает он Миллю солидностью образования: он учился на медные деньги, не имел даже куска хлеба от черной работы, которая дала Прудону время долго учиться хотя на медные деньги. Стало быть, если хотите, можете ставить его, как теоретика, далеко ниже и Прудона и Милля. Значит, мы обращаем именно здесь внимание на него не потому, чтобы он сам по себе был выше других,— куда, далеко нет. Но литературный талант у него очень большой и притом совершенно такого рода, какой всего больше нравится французам: он пишет патетично (от этого чуть ли не больше всего и не пользуется он популярностью у нас, для которых более привычен теперь иронический тон)[7] Благодаря этому он оказался популярнейшим человеком из всех людей новых экономических школ в 1848 году, и ему, а не другому кому привелось быть тогда представителем требований парижских работников во временном правительстве. Плохо ли, хорошо ли исполнял он эту обязанность, здесь для нас все равно. Фактически верно только одно: пока он сохранял хотя тень участия в правительстве, междоусобной войны в Париже не было. А может быть, он и был виноват этим, судите, как хотите. Но только все-таки он был представителем требований парижских работников, стало быть, на его голову и обру-

шилась вся ненависть к этим требованиям, и в тысяче книг подробно объяснено, что он злодей вроде Ваньки Каина: хотел перерезать половину французов, заграбить имущество перерезанных и т. д., и все это, видите ли, по мелкому тщеславию и по злобной трусливой завистливости. Оно, может быть, и правда. Но дело не в том, что он за человек сам,— мы хотели только сказать, что по особенному историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе и не имели бы, оттого что оригинального в них мало.

Оно, впрочем, тем и удобнее для нас взять его в пример, что оригинального у него мало. Посмотрим же, что такое он предлагал.

У Милля мы прочли, что он коммунист[8], требующий совершенного равенства,— не имуществ: какие уж имущества при коммунизме, отрицающем всякую собственность,— а доходов или выдачи содержания каждому члену нации. Ну, действительно, это вещь не слишком-то удобоисполнимая не только при нас, а и при внуках наших, да и при праправнуках. Да нет, прибавляет Милль, это еще не все, это еще только на первый раз думает он так сделать, а собственно требует он, чтобы каждый посвящал все свои силы на работу в пользу коммунистической кассы, а получал содержание, какое она положит ему по рассмотрении его надобностей, то есть это значит, что если она рассудит, что я могу существовать черным хлебом и толокном, то буду я работать, как вол, и будут посторонние мне люди кушать возделанный мною белый хлеб и говядину из выкормленного мною скота, а мне и понюхать никогда не дадут ни говядины, ни белого хлеба; ну, это еще неудобоисполнимое в нынешнее время; ведь нужно перевоспитать несколько поколений, чтобы соблюдаема была людьми справедливость при распределении доходов без всякой другой нормы, кроме общественной добросовестности. Ну, видно, что и глуп же этот Луи-Блан! Да и парижские работники что за олухи, что носили на руках такого фантазерного идиота.

Может быть, вы рассудите так, а может быть, наверпется вам на ум другая догадка: если масса людей грамотных, довольно много читавших и очень опытных в житейском деле — а ведь парижские работники таковы,— выводила вперед своим представителем Луи-Блана, то, вероятно, его требования не были же до такой осязательности неудобоисполнимы для нынешнего времени. Обманет ли вас эта догадка, вы решите, прочитав следующий отрывок из статьи, на которую мы ссылались. Надобно

сказать, что в том месте статьи, откуда берется он, мы рассматривали одно из обыкновенных возражений против новых экономических теорий,— говорят, будто ими стесняется свобода человека. Заметьте кстати, что у Милля если нет этого пошлого возражения, то слегка высказывается мнение, что при тех усовершенствованиях принципа личной собственности, какие предполагает в будущем Милль, принцип этот давал бы человеку больше свободы, чем возможно при другом принципе, о котором теперь идет речь. Как там было бы в отдаленном будущем при усовершенствовании, предлагаемом Миллем, об этом мы поговорим ниже, когда будем рассматривать, могут ли довести до цели, выставляемой Миллем, реформы, им предлагаемые. А теперь мы пока просим читателя не делать сравнений, а просто без всяких сравнений сказать: находится ли хотя малейшее стеснение для свободы человека в плане, который он сейчас будет читать,— если в нем нет ни малейшей тени стеснения, то можно будет, кажется, сказать нам впоследствии, что противоположный принцип уже ни при каких усовершенствованиях не превзойдет его своею просторностью для свободы[9].[...]

В плане, нами представленном, дело, ведущееся совершенно самостоятельно, в первый год при самом слабом правительственном вмешательстве, ограниченном лишь выбором директора, который и тут ничего не значит без административного совета, избираемого самими участниками предприятия, со второго года уже решительно без всякой тени какого бы то ни было правительственного вмешательства, начинается однако же при пособии ссуды, даваемой правительством. Мы уже говорили в приведенном отрывке, что, кажется, тут нет ничего чрезмерно гибельного для свободы соучастников, но толпа французских экономистов вопиет: «ужасно, ужасно! общество ставится в азиатскую зависимость от правительства! вводится демократическая централизация[10], пред которой ничто нынешняя чрезмерная французская административная опека!» Когда вы сами знаете произведение писателя, обвиняемого в таком злостном намерении, вы только пожимаете плечами, слыша этот вопль. Ведь он принадлежит к партии, которая хочет обратить нацию в собрание самобытных федераций, так чтобы каждый округ был федерациею независимых городов и сел, департамент — федерациею округов, Франция — федерациею департаментов, откуда же могло возникнуть порицание за любовь к опекунствующей централизации, порицание вроде того, как если бы кто вздумал порицать кошек за любовь к собакам?

Главное основание тут вот какое: Луи-Блан — не теоретик, занятый отвлеченными соображениями о своих собственных симпатиях или антипатиях, а публицист или государственный человек, думающий почти исключительно о настоящем. Что же мы видим в настоящем у французов? Видим административное устройство, прямо противоположное английскому: в Англии правительство не может помешать частному человеку решительно ни в каком деле, кроме фактического преступления. Во Франции решительно нет возможности устоять коммерческому, промышленному, какому хотите предприятию, если администрация захочет помешать ему. Формальности бесчисленны; по контролю за исполнением каждой формальности полиция имеет очень широкий произвол, имеет не только что теперь, при восстановленной империи; нет, точно столько же произвола имела и при Луи-Филиппе и при Бурбонах. Не то, что какой-нибудь опыт нового промышленного порядка с неизбежными при всяком опыте колебаниями, не то, что какое-нибудь дело, имеющее против себя биржу и всех капиталистов, нет, самая солидная купеческая фирма обанкротится через полгода, если захочет того администрация. Крайний случай будет такой: управляющий делами подозревается в неисправном ведении книг; он берется под арест, и на место его назначается администрациею новый управляющий делами, который находит и докладывает префекту или министру, что дела фирмы следует ликвидировать, они и ликвидируются. Но до этой крайности едва ли когда понадобится дойти: есть сотни способов расстроить предприятие и без нее.

Нравится или не нравится это вам ли, другому ли кому, например хоть Луи-Блану, не о том речь. Речь о том, что французы с незапамятных времен привыкли к такому порядку вещей, они привыкали к нему по крайней мере со времен Ришелье, если не раньше, и в какие-нибудь 30 лет, прошедших между первою и второю империею[11], разумеется, не могли много отвыкнуть от него. Что укоренялось в понятиях в течение многих поколений, то не изгладится из нравов иначе, как сменою нескольких поколений. Что же теперь делать? Политические формы могут сменяться,— они и сменялись во Франции; одни из них могут быть удобнее других для развития в народе известных привычек, для изглажения других; одни из них могут ближе соответствовать существующим привычкам, другие по своей тенденции быть дальше от них; но все-таки масса действий администрации при каких бы то ни было политических формах будет в духе народных привычек. Попробуйте за-

вести в Азии европейские политические формы, какие хотите: очень долго при таких формах администрация будет действовать в духе, очень мало различном от прежнего. В доказательство посмотрите на английское управление в Ост-Индии,— чистое азиатство, или на французское в Алжире,— тот же самый Египет. Разумеется, администрация может получить другие цели, например, при Алексее Михайловиче она отстраняла от нас европейские формы, при Петре Великом вводила их; в Англии при Стюартах старалась распространять католичество, при ганноверской династии[12] стеснять его, во Франции в первую республику уничтожать аристократию, в первую империю — создавать новую аристократию с возможным сохранением нового порядка вещей, при Бурбонах — восстановлять старинную аристократию с восстановлением по возможности старого порядка вещей; все это так, цели могут быть очень различны, но характер действий изменяется очень медленно: быстро измениться он не может; народные привычки не дают ни материалов, ни опоры. Сделайте дровосека столяром, с первой же минуты он станет делать новое дело, а скоро ли приобретет он осторожные, осмотрительные приемы столяра? нет, долго будет по-прежнему махать сплеча. Или посадите ювелира бить камни для шоссе: скоро ли он приобретет размашистые привычки к полновесным ударам со всего плеча?

На что же теперь должен рассчитывать во Франции человек рассудительный, каких бы мнений сам ни был? По французским привычкам, какие хотите заводите формы, администрация долго останется так привязчива ко всему и сохранит такую власть над всяким частным делом, что против нее никакого частного дела нельзя вести; а не вмешиваться в него, этого она уже не может. Мало ли чего будет через 40, через 50 лет, а теперь, кого хотите определяйте префектом ли, мэром ли, полицейским ли комиссаром, полевым ли сторожем, каждый говорит одно: «я не могу не заботиться об общественном благе, поэтому мне до каждого дела есть дело; я буду изменник родине и своей обязанности, если останусь в стороне от чего-нибудь; нет, если что хорошо, я должен помогать, если что дурно, я должен останавливать». А вздумай кто из этих администраторов оплошать, не вмешаться во что-нибудь, весь город закричит: «плохо, сударь, не исполняете своей обязанности! посмотрите-ка, вон в том переулке человек табаку понюхал, а вы ему не сделали ни помощи, ни задержки!» ну и застыдят человека: восчувствует совесть, вмешается, сделает помощь или задержку.

Что же вы прикажете делать с таким народцем? Не о том спрашивается, к чему его направлять в будущем, а как устроить с ним какое хотите дело теперь? Администрация во Франции не может оставаться равнодушною ни к чему; она каждому делу непременно хочет и принуждается общественным мнением или помогать, или мешать; этого свойства вы никакими силами у нее в скором времени отнять не можете, и никакими средствами не можете вы в скором времени сделать, чтобы она не сохраняла чрезвычайного могущества над частными делами, так что не может идти никакое частное предприятие, которому она мешает. А всему, чему она не помогает, она мешает.

Но что же, скажите на милость, почтет нужным какой хотите заклятой англоман или американофил при таком положении, если он человек рассудительный, а не фантазер, воображающий, что вот завтра же французы обратятся в англичан? Разумеется, он рассудит: «если я хочу успеха своему делу, я должен иметь на своей стороне администрацию».

Только? Только и есть. Думай Луи-Блан вести свое дело у англичан, он и не подумал бы об администрации. Но что же ему было делать, когда он хотел вести свое дело у французов? Разумеется, ему приходилось видеть, что нужно содействие администрации. И если он высказывал это, видно только, что был не лгун и не совершенно лишен здравого смысла.

Нужно же иметь каплю здравого смысла и не автору только или оратору, а также и людям, которые берутся судить о нем.

«Но принцип невмешательства, о котором так прекрасно говорит политическая экономия?» Да сообразите же вы, из какого народа были, в какой стране жили, для кого писали Адам Смит, Мальтус, Рикардо: ведь они были англичане, писали для англичан. Виноваты ли были эти умные люди в том, что не привелось ни одному из их последователей в других странах быть таким же умным человеком, иметь самостоятельное соображение, чтобы понимать, какие результаты для практических способов ведения дел происходят от разности, пожалуй, неудовлетворительности континентальных привычек сравнительно с английскими? Английские политико-экономы говорят, например, что самая выгодная для простолюдина одежда — миткалевая и ситцевая. Ну чем они будут виноваты, если у нас кто-нибудь, не разобрав дела, начнет твердить, что наши мужики нерасчетливы тем, что вместо миткаля и ситца носят обыкновенно холст? Чем английские ученые

виноваты, что этот господин повторяет их слова, не разобрав дела, не разобрав, что у нас миткаль и ситец остаются еще дороже холста? Другое дело, если вы только говорите, что следует желать удешевления хлопчатобумажных тканей у нас; и что, когда они подешевеют так же, как в Англии, нашему мужику откроется возможность покупать их для будничной носки, подобно английскому. Но ведь это еще когда-то будет, а пока еще совсем не то.

Словом сказать: теория административного содействия плану ли, изложенному нами, другому ли какому общественному делу, или частному предприятию,— не принадлежит к самой сущности мысли говорящего о том человека, а происходит лишь из соображений местных обстоятельств и народных привычек. Кажется вам, что в данном месте в данное время общественные привычки и практическая возможность ведения дел сходны с английскими, ну что ж, вы можете находить, что административного содействия не нужно для вашего дела, а если находите вы иное, тогда нечего делать, должны вы чувствовать нужду в том, что не было бы вам нужно при других обстоятельствах. [...]

При патриархальном расчете остается на произвол производителя принимать или не принимать даже и те усовершенствования, с которыми он знакомится из скудных источников сведений того быта. А в человеке, кроме экономического расчета, кроме стремления к выгоде, существуют наклонности, прямо противоположные этому стремлению. Из них главные: наклонность пристращаться к рутине и обольщаться фальшивым самолюбием. «Э, проживем по-прежнему. Отцы и деды не глупее нас были» и т. д.— «Славны бубны за горами. Я сам не глупее других» и т. д. Нет надобности говорить, как часто эти враждебные прогрессу наклонности подчиняют себе человека до того, что не дозволяют ему учиться и изменять способ своих действий сообразно его выгоде. При форме соперничества расчет выгоды приобретает силу физической необходимости; в этой форме он довольно быстро одолевает и рутину и фальшивое самолюбие.

Мы не распространяемся об этих преимуществах, потому что они очень подробно и резко выставляются на вид в каждом рутинном курсе политической экономии. Но, признавая громадный перевес формы соперничества над формами патриархального расчета, мы не можем скрыть, что она все еще далеко не представляет удобств, требуемых теориею науки. Просим читателя не приписывать нам того направления мыслей, которое ясно отвергается всем

ходом нашего изложения. Когда кто-нибудь находит недостатки в настоящем или новом, консервативная толпа возражателей кричит, что он хочет возвратить старину. В большей части случаев крик этот поднимается только от ослепления. Но действительно случается довольно часто и то, что экономические реформаторы или употребляют неосторожные выражения, или даже и на самом деле допускают в своих понятиях примесь предубеждений о достоинствах старины. Например, доказывая неудовлетворительность соперничества, выражаются или думают так, как будто лучше его были формы, им вытесняемые. Мы не имеем ничего подобного такому взгляду в своих мыслях и стараемся (не знаем, успеваем ли) выражаться так, чтобы не возбуждать ошибочных мыслей в этом отношении. Настоящее нимало не представляется для нас удовлетворительным; новое не представляется идеалом совершенства. Но, кажется, ясно бывает из наших слов, что мы судим тут по требованиям науки, по средствам, какими снабжает она человека, а не по старинному еще менее удовлетворительному быту. Не о том речь, лучше ли старого новое, удовлетворительнее ли настоящее прошедшего; речь о том, не следует ли искать еще лучшего и не имеет ли человек уже и теперь средств ввести в свой быт принципы, которые были бы на столько же лучше нынешних, на сколько нынешние лучше каких-нибудь чисто варварских старинных. Например: если мы видим, что положение наемного работника неудовлетворительно, а работа его слишком неуспешна, разумеется, тут нет у нас ничего подобного пристрастию к какой бы то ни было форме невольничества,— наемный труд гораздо лучше невольнического, тут и рассуждать нечего, это доказывается в каждом курсе политической экономии,— нет, у нас ввиду другое положение, положение хозяина. Точно так же мы говорим о принципе соперничества. Его недостатки — недостатки не по сравнению с патриархальными формами расчета, а с теми формами, каких требует разум.

Посмотрим же, удовлетворительно ли действуют даже те стороны соперничества, в которых состоит его преимущество над патриархальными формами расчета.

Оно облегчает производителю узнавать усовершенствования, сделанные в производстве другими, и оценивать их. Но каким способом получаются эти сведения? — прямым ли, самым ли простым и верным? Простота и верность способа, конечно, требуются теорией. Простейший и вернейший способ распространения сведений об известном деле — то, когда человек знакомится прямо с самим делом,

а не с одними его результатами. Например, что лучше и выгоднее: знать тот факт, что известный производитель разбогател или сверх того знать также метод производства, которым он разбогател? Знать, что английские стальные инструменты хороши или знать метод их выделки? Соперничество знакомит только с результатом, а не с методом, которым достигается результат. Это — своего рода Пинетти: извольте смотреть, вот какие удивительные вещи умеет делать этот искусник; а как он их делает, какие приемы употребляет и по какому методу развил в себе способность к таким приемам, этого вы извольте доискиваться сами. Да, соперничество держится метода секретности. То, что уже придумано одним, должны придумывать после него еще сотни тысяч лиц. Экономно ли это? Способ распространения сведений по принципу соперничества неудовлетворителен. При неудовлетворительности способа, по которому распространяются сведения, конечно, должны быть неудовлетворительны и средства к практическому их применению. Лучше всего устраивается дело человеком, научившимся устраивать его. Моя польза в том, чтобы становился моим руководителем тот, кто искуснее меня. При соперничестве практическое искусство — такой же секрет, как и теоретическое знание. Кто выучился пользоваться изобретением, выгода того требует, чтобы другие как можно дольше не пользовались им. Мы не говорим о вещах нечестных (и очень убыточных для общества), до которых слишком часто доводит такое отношение: фабрикант старается мешать другому в заведении фабрики, ремесленник старается расстроить дела другого ремесленника; тут бывают бесчисленные интриги, обманы и т. д. Обратим внимание лишь на те черты дела, которых необходимо держаться каждому производителю, как бы ни был он честен. Он стал бы действовать во вред себе, то есть изменил бы своей обязанности к своему семейству, если бы помогал другим производителям принять усовершенствованный процесс, следовать которому научился. Он в положении нашей знахарки, лекарство которой теряет силу, как только она научит кого-нибудь другого его употреблению. Таким образом, при соперничестве искусство должно осуществляться неискусными руками, знание должно распространяться незнанием.

Каковы способы и средства, точно такова же и норма оценки. Она ставится вне предмета, в его случайной принадлежности,— в продаже и в цене. Об этом мы уже говорили, заметили, что связь между стоимостью предмета и его продажною ценою слишком не верна, а для успеш-

ности производства необходимо, чтобы расчет производился по стоимости предмета.

Таким образом, принцип соперничества действует далеко не удовлетворительно в облегчении производителю знакомства с усовершенствованиями и суждения о них; точно так же действует он и в том отношении, чтобы ставить производителя в необходимость руководиться в производстве приобретенным знакомством с улучшениями. То правда, что руководиться этим знакомством производитель будет принужден при соперничестве, но в каком смысле необходимо ему руководиться знакомством с улучшениями, в хорошем или дурном, в выгодном или убыточном для общества смысле, этого принцип соперничества не решает или, лучше сказать, часто решает это в убыточном смысле. Он внушает только ту заботу, чтобы производить успешнее других, иметь преимущество над другими; это преимущество достигается худою успешностью работы других, точно так же как и усилением успешности собственной работы. Если взять верх усовершенствованием собственной работы нетрудно, производитель будет заботиться об этом; если же это окажется ему трудно, он обращается к легчайшему способу,— старается мешать другим.

Мы рассматривали неудовлетворительность принципа соперничества с теоретической точки зрения, излагали его недостатки в отвлеченных понятиях. Какими результатами отражается теоретическая неудовлетворительность его на практике, очень подробно изложено во многих книгах. Каждый читатель знаком с этою практическою стороною: промышленная неприязнь между разными странами, разными провинциями одной страны, разными производителями одной провинции; экономическая неприязнь между сословиями; слишком рискованные обороты, кончающиеся промышленными кризисами,— обо всем этом говорили мыслители, после которых наши слова о том же были бы слишком слабы. Мы хотели обратить внимание читателя на то, что все эти вредные явления практической жизни коренятся в самом принципе, в самой логике соперничества, никак не могут быть устранены от него, и обратим внимание лишь на одно из этих практических отношений по элементу, который с особенной силою выставляется Миллем при каждом удобном случае.

Курс Милля весь проникнут глубоким сознанием важности Мальтусовой теоремы. Если размножение идет быстрее, чем следовало бы по прогрессу промышленного развития страны, масса населения необходимо терпит нужду; положение массы может улучшиться только тогда,

если сократится размножение,— вот мысли, которые постоянно твердит Милль. Мы старались доказать, что коренная причина нужды теперь не в чрезмерности размножения, а в элементах, более фундаментальных; что при устранении этих элементов, зависящих от самого человека, размножение ни теперь, ни в течение долгих веков еще не могло бы вредить благосостоянию массы. Но если эти элементы остаются, то Мальтус вполне прав. Когда человек нездоров, ему необходимо воздерживаться от пищи, которая была бы не вредна, а здорова ему, здоровому. Так, при нынешних экономических отношениях вредно обществу размножение. Посмотрим же, какую связь с размножением имеет принцип соперничества.

Соперничество имеет в виду цену. Цена продукта слагается из разных элементов, из которых большая часть в последнем анализе оказывается только видоизменением рабочей платы. Следовательно, при соперничестве все наниматели труда влекутся понижать рабочую плату. Рабочая плата определяется уравнением запроса и снабжения. Чем больше людей, ищущих работы, тем ниже рабочая плата; следовательно, прямая выгода каждого нанимателя труда состоит в том, чтобы людей, ищущих работы, являлось как можно больше, то есть чтобы простонародье размножалось как можно быстрее. Смотрите же теперь, какое противоречие: чтобы улучшилось положение работника, должно уменьшиться размножение; чем меньше будет масса простонародья, тем лучше будет каждому простолюдину; но чем больше будет размножаться простонародье, тем выгоднее нанимателю труда; следовательно, на сколько размножение убыточно целому обществу и каждому простолюдину, на столько же оно выгодно сословию, господствующему над экономическими явлениями.

Почему Милль не выставляет этот результат соперничества так же настойчиво, как выставляет Мальтусову теорему? Просто потому, что он не надеется на возможность формы экономического расчета, которая заменила бы собою соперничество. Надобно действительно сказать, что практическое принятие обществом такой формы экономического расчета, которая была бы удовлетворительнее соперничества,— дело очень трудное при наших привычках, требующее очень большого прогресса в понятиях и обычаях. Это мы должны видеть из характера тех самых недостатков, которые нашли в соперничестве.

Коренной недостаток соперничества тот, что нормою расчета берет оно не сущность дела, а внешнюю принадлежность его (не стоимость, а цену). Следовательно, чтобы

принцип соперничества заменился хорошею формою расчета, нужна очень твердая привычка судить о вещах по их натуре, а не по внешним признакам или случайным последствиям. Чтобы сознательно и твердо держаться такого принципа, людям нужно приобрести гораздо большую твердость мыслей, чем к какой способно теперь огромное большинство не одних простолюдинов, но и образованных сословий. Если бы не существовало в массе общества элементов, сильно ведущих к такому укреплению, надобно было бы сказать, что перспектива эта слишком еще далека от нашего времени. Но существуют экономические элементы, сильно помогающие прогрессу расчетливости, требуемой теориею. Общество разделяется в экономическом отношении на две части. Одну, конечно, всегда малочисленную по количеству, составляют люди, из которых у каждого доход получается в последнем анализе не столько от его собственного труда, сколько от поступления в его пользу части труда нескольких или многих других людей. Человеку в таком положении невыгодна была бы оценка вещей и заслуг по их сущности. Весь или почти весь доход его извлекается из преувеличенной оценки его трудов или заслуг по какому-нибудь предубеждению, или по рутине, или по какому-нибудь фальшивому признаку. Не таков интерес другой, несравненно многочисленнейшей части общества, составляемой людьми, из которых каждый не только не получает в свою пользу часть труда или продукта других, но и продуктом своего труда или заслуг пользуется не вполне, оставляя большую или меньшую долю его в пользу кого-нибудь из первой части общества. Для человека, который должен рассчитывать лишь на свой труд, лишь на свои действительные заслуги, оценка вещей по их существенному достоинству выгодна. Как только кто из таких людей приобретает привычку мыслить, он влечется своими мыслями к переоценке предметов по их сущности, находя под возбуждением личного интереса неосновательными те оценки, какие установились по интересу классов, живущих чужим трудом. Необходимость честной трудовой жизни делает человека нерасположенным к обольщению. А масса нации в каждой цивилизованной стране просвещается теперь если и не с восхитительною быстротою, то все-таки довольно заметно, и не очень далеко время, когда она приобретет способность судить о вещах своим умом по своим интересам. Соразмерно успехам ее умственной жизни, будет входить в экономические дела и норма расчета, сообразная с выгодами человечества.

Другой недостаток соперничества,— то, что оно, кроме хорошего способа приобретать выгоду, оставляет человеку и противоположный, дурной способ: человек выигрывает при соперничестве не только от успешности своей работы, но и от неуспешности работы других. Очевидно, что этот второй вред происходит из первого коренного недостатка, о котором мы сейчас говорили. Существенное достоинство предмета находится в качествах самого предмета, а не в том, лучше или хуже его другие предметы того же разряда. Говорят: «годность предмета узнается по сравнению». Действительно, но по сравнению с чем? С требованиями, какие надобно иметь от этого предмета, с потребностями человеческой натуры, которые должны быть удовлетворяемы этим предметом. Хорошая ли для торговых дел река — река Темза? Очень хорошая, потому что самые большие суда ходят по ней свободно, и настолько она широка, что просторно на ней всем судам, сколько бы ни пришло их. После этого какая же надобность рассуждать, что Миссисипи гораздо шире Темзы, а какая-нибудь речка Безъимянка гораздо уже и мельче ее? От этих сравнений Темза нисколько не оказывается более удобною или менее удобною для торговли, чем без них. Хорошая ли река — река Темза по снабжению людей водою для питья? Решительно негодная река, потому что вода в ней грязная и вонючая. Что же может она проиграть в этом отношении чрез сравнение с Невой, в которой вода для питья прекрасная? Ведь и без этого сравнения вода Темзы уже оказывалась совершенно непригодною для питья. Или что она выиграет от сравнения с той же речкой Безъимянкой, которая завалена навозом, так что вода в ней не просто грязная и вонючая вода, а густейший навозный настой? Разве меньше грязи и вони будет в воде Темзы, если мы скажем, что существуют речки, еще более вонючие? Норма сравнения для предмета — потребности того человеческого дела, на которые должен служить предмет. По степени своей пригодности к делу предметы одного разряда распределяются на хорошие и дурные, очень или просто хорошие или дурные. Но самое отношение известного предмета к делу, то есть существенное достоинство этого предмета, нимало не выигрывает и не проигрывает от того, много ли предметов находится в классах высших, чем он, и в классах низших, чем он. Вам угодно судить об этом куске сукна, продающегося по два рубля за аршин. На что вам нужно это сукно? На то, чтоб иметь платье теплее бумажного, или полотняного, или шелкового? Если так, вы не найдете сукна, которое лучше этого куска удовлетво-

рило бы вашей надобности: оно плотно, прочно, нетяжело, мягко. Всеми этими качествами обладает оно, если говорить практически, в совершенстве. Сравнивайте его с каким хотите сукном, эти его качества не увеличатся и не уменьшатся. Рассматривайте со всевозможною внимательностью самый этот кусок, чтобы убедиться в его качествах, а сравнивать его ни с сермягою, ни с высшими сортами сукна нет вам никакой надобности.

Или нет, есть надобность: надобно удостовериться, стоит ли он по 2 рубля аршин. Но эта надобность не принадлежит к сущности дела; она происходит оттого, что вы не знаете ни стоимости этого сукна, ни того, правильно ли назначается купцом цена. Следовательно, чтобы судить о продукте по его собственным качествам, а не по сравнению с другими предметами того же рода, нужны два условия: надобно, чтобы производство предмета велось открыто, как ведутся счетные книги акционерных обществ; надобно также, чтобы предметы оценивались столь же открыто по этой явной для всех стоимости. Вот условия, без которых невозможно заменение принципа соперничества формою экономического расчета, более удовлетворительною. Чтобы производство велось открыто, для этого нужно, чтобы сам потребитель был хозяином-производителем. Счеты по коммерческому делу открыты лишь хозяевам дела. Чтобы оценка продукта делалась по его стоимости, для этого опять нужно, чтобы некому было выигрывать от оценки предмета выше его стоимости, то есть опять нужно, чтобы потребитель сам был и производителем. А при нынешних формах производства, при нынешнем экономическом устройстве это чистая невозможность. Подумайте только: ведь тут предполагается, что кто пашет землю, тот имеет на своем столе хлеб, лучше которого нет ни у кого в целой нации; а кому угодно носить бархатное платье, тот сам должен сидеть за станком, чтобы выткать бархат (мимоходом говоря, надобно думать, что при таком условии мало нашлось бы охотников до бархата). Читателю известны формы экономического устройства, посредством которых должны быть достигнуты эти условия. Тут главное дело в том, чтобы работники приобрели искусство сами управлять предприятиями, в которых работают: цель новых форм та, чтобы работники сделались из наемных людей хозяевами; а хозяин, разумеется, должен сам иметь неослабный надзор за предприятием и за всеми его людьми, которые заведывают тою или другою стороною его. При нынешнем своем развитии большинство простолюдинов, даже и в передовых странах, еще слишком мало под-

готовлено к этому. Но и здесь опять мы должны сказать, что время подготовки значительно сокращается очевидностью большой выгоды новых форм для простолюдинов.

После этих разъяснений уже сам собою ясен становится характер той высшей формы экономического расчета, которою должно замениться соперничество, когда заинтересованные в этой замене сословия приобретут самостоятельность мысли и привычку к ведению промышленных предприятий. Нормою расчета по требованию теории должна быть самая сущность рассчитываемого дела, то есть стоимость продукта. Производители, работая сами на себя, будут, конечно, соображать не случайную принадлежность продукта, цену, потому что главная масса их продуктов вовсе и не пойдет на рынок, не будет выходить из их рук, стало быть, и не будет искать себе цены; работая на собственное потребление, они будут соображать коренные элементы дела: мы располагаем известным количеством рабочего времени и рабочих сил; в какой пропорции выгоднее всего для нас распределить эти силы, это время между разными производствами на удовлетворение разных своих надобностей? Основанием расчета тут будет служить классификация надобностей с соображением того, какая доля труда может быть обращена на удовлетворение известной надобности без вреда для других надобностей, не менее или более настоятельных. [...]

(С.) ТРЕХЧЛЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА (гл. XI — XVI)

Господствующая экономическая теория возникла и развилась, как мы видели из предшествующего очерка, в таком обществе, которое не знало о существовании поселян-собственников. Французские и немецкие политико-экономы знали этот быт, и многие из них очень высоко ценили его. Но не было из них ни одного человека, равнявшегося умом Адаму Смиту, Мальтусу и Рикардо; все они оказывались бессильны проникнуть до самых оснований теории, чтобы восполнить, на основании знакомого им факта, пробел, вкравшийся в нее у Адама Смита и не пополненный ни Мальтусом, ни Рикардо. Сочувствие быту поселян-собственников оставалось у них как будто бы делом внешним, не успевало войти в самую теорию. Они были только популяризаторами (например, Жан Батист Сэ) и учеными компиляторами (например, Рау и Рошер), а творческого духа не было в них: они умели только растолковывать чужие мысли или подбирать к ним факты. Милль несравненно выше их логическою силою, но и он не из тех людей, которые бывают в состоянии переработать науку. Главная сила его в том, что он — мыслитель совершенно честный и человек, сочувствующий добру[13]. Сойти с точки зрения, на какую он поставлен своими учителями, Мальтусом и в особенности Рикардо, он не может. Он умеет только ценить все хорошее, что успевает заметить с этой точки зрения. Он заметил, что есть мыслители, считающие положение работников-хозяев единственным нормальным. Как человек добросовестный, он вник в этот взгляд и нашел его справедливым. Поэтому он при всяком удобном случае выражает желание, чтобы работник возвысился до положения хозяина. Но он не в силах пересоздать по одобряемой им идее теорию, созданную людьми, не имевшими этого принципа. Потому остается у него почти бесплоден разбор разных форм распределения продукта. Мы видели, что в этом разборе он с благородным восторгом

учит англичан понимать все экономическое превосходство быта поселян-собственников над другими формами общественного быта. Но за разбором разных существующих форм общественного устройства следует у него анализ распределения продукта по трем элементам производства,— анализ в духе Адама Смита и Рикардо, которые, не имея идеала, замеченного Миллем, рассуждали в том предположении, что это распределение продукта по трем разным классам составляет совершеннейшую форму экономического устройства,— точка зрения, не согласная с мыслями самого Милля о поселянах-собственниках.

Мы не к тому ведем речь, что не нужен в науке разбор участия, какое принадлежит при производстве продукта каждому из трех элементов производства; и не к тому мы ведем речь, что не нужно было в науке раздробление продукта на три части (ренту, прибыль и рабочую плату), соответственно каждому из трех элементов производства (земле, капиталу и труду). Напротив, это очень нужно, совершенно необходимо для теории. Теория непременно должна стараться о разложении факта на самые коренные, простейшие элементы. Геодезия непременно раздробляет всякую местность на простейшие составные части, треугольники: пока многоугольник не разбит на треугольники, его нельзя вычислить. Так и политическая экономия непременно должна разлагать продукт на доли, соответствующие разным элементам производства, ренту, прибыль и рабочую плату. Мы увидим, что не бесполезно для науки провести дробление еще дальше, различить в каждой из этих трех долей еще новые доли по разным разрядам ренты, капитала и труда. Но этою частью дела, на которой останавливается господствующая теория, еще не исчерпывается вся задача науки. Геометрия не ограничивает своих соображений геодезическим раздроблением данной плоскости на треугольники: она рассуждает также о том, какое сочетание треугольников наиболее удовлетворительно для разных надобностей человека; например, она показывает, что если нужно иметь как можно меньшую периферию при данной вместимости, то надобно строить правильный многоугольник с возможно большим числом сторон, так что десятиугольник тут будет удовлетворительнее треугольника, стоугольник еще удовлетворительнее, а идеальная фигура с этой точки зрения — круг; геометрия прибавляет, что с математическою точностью этого идеала нельзя достигнуть в практике: совершенно правильного круга нет в природе и не может он быть начерчен человеком; но с тем вместе она говорит, что этою

недостижимостью идеала не нужно огорчаться и не следует ставить ее возражением против надобности округлять данную площадь: если безусловно точного круга человек начертить не может, то легко человеку начертить фигуру, которая не будет иметь никакой заметной разницы от круга, так что в практике она ничем не будет отличаться от математически совершенного круга; а пока заметно в практике различие начерченной фигуры от круга, человек не должен успокоиваться, должен видоизменять фигуру, пока приблизится она к кругу до совершенной незаметности различия от него в практическом отношении.

Точно такова же задача и требовательность экономической теории. Разложив продукт на доли, соответствующие разным элементам производства, она должна искать, какое сочетание этих элементов и долей дает наивыгоднейший практический результат. В чем тут состоит задача, понятно каждому: надобно отыскать, при каком сочетании элементов производства данное количество производительных сил дает наибольший продукт. Когда теория покажет такую форму сочетания, то само собою будет разуметься, что безусловного совершенства в осуществлении формы этой достичь невозможно человеку не только теперь, но и решительно никогда: таково уже общее свойство всех требований всякой науки; ни одно из них не может быть осуществлено в безусловном совершенстве, потому что безусловного совершенства вообще никогда ни в чем не бывает и не может быть: нельзя начертить безусловно правильного круга; нельзя начертить ни безусловно правильного квадрата, ни безусловно правильного трехугольника с какими бы то ни было углами, ни вообще какой бы то ни было геометрической фигуры. Точно так же невозможно безусловное совершенство ни в каком другом деле: невозможно получить безусловно чистую воду или умыться до безусловной чистоты лица или рук или до безусловного совершенства овладеть хотя бы своим родным языком. Что же из этого следует? То ли, что заботы о получении чистой воды или заботы об опрятности надобно назвать утопиею и бросить как химеру и что не надобно мыть рук и изучать языки? Каждому понятно, что если бы человек высказал такое заключение, он высказал бы лишь свое тупоумие (когда сам верил бы тому, что говорит) или свою недобросовестность (когда употребляет такой аргумент лишь для полемических целей, сам понимая, какую пошлость говорит, но рассчитывая на непривычку большинства к научному мышлению). Каждому известно, что во всех этих делах легко достигается человеком та степень

совершенства, какую по свойствам данного случая принимает человек на практике за абсолютное совершенство. На что вам вода? для питья? Во многих реках и родниках она имеет ту степень чистоты, что вы не можете заметить на вкус никаких нечистот; а всякая вода может быть доведена фильтровкою до этой степени чистоты, не различаемой вами от абсолютной чистоты по критериуму, даваемому вашими невооруженными чувствами. Но, быть может, у вас другая потребность, для химических занятий вам нужна вода, несравненно более чистая, без всяких примесей. Такой воды нет готовой в природе; и фильтровка тут недостаточна; вы должны дистиллировать воду, и легко получите ее в такой чистоте, что никакими реагентами не откроете в ней уже никакой примеси. Значит ли это, что вы получили воду абсолютно чистою? Вовсе нет: как бы хорошо ни была она дистиллирована, в ней все-таки будет некоторое количество газов и минеральных частиц. Но что же вам огорчаться этим, когда они незаметны и для ваших вооруженных чувств, когда вода эта не различается заметным образом от абсолютно чистой воды. Для чего вы умываетесь? для опрятности? Этой степени совершенства каждый день достигает каждый опрятный человек. Под микроскопом вы заметите некоторый пот, некоторую пыль на его руках. Но ведь вы не смотрите на них в микроскоп, вы не замечаете этого. Следовательно, чистота его рук в практике равнозначительна абсолютной чистоте. Но, быть может, вам представилась особенная надобность, требующая гораздо высшей степени чистоты,— быть может, вы хотите наблюдать в микроскоп ход физиологических процессов в сосудах кожи. И до такой степени можно очистить руку, нужно только употребить технические средства для достижения технической цели: взять для мытья рук препараты, более тонкие, чем мыло. То же самое и с искусством говорить на каком-нибудь языке. Вы хотите говорить на родном языке. Вы хотите говорить так, чтобы круг общества, в котором вы живете, не замечал никаких недостатков в ваших разговорах со стороны правильности языка. Этой степени совершенства достигает каждый: каждый говорит на своем языке так, что речь его кажется совершенно правильною кругу, в котором он выучился говорить. Вам угодно достичь высшего совершенства? Для этого уже нужны технические средства: займитесь грамматикою, изучайте книги, писанные хорошим языком, следите внимательно за оборотами вашей речи, и вы легко достигнете того, что люди, говорящие самым

правильным языком, будут находить вашу речь совершенно правильною.

Так во всяком деле; так и в деле о сочетании элементов производства наивыгоднейшим образом. Абсолютное совершенство недостижимо, но достижима всякая степень совершенства, какая потребуется на практике соответственно надобностям человека, так чтобы не чувствовал он практически разницы между идеальным совершенством и фактическим положением дела. Если это еще не достигнуто, если практически заметно несовершенство данного положения, значит, человек еще не позаботился сделать всего, что нужно для усовершенствования дела, значит, ему нужно думать и работать над усовершенствованием дела.

Само собою разумеется, что на каждой данной степени этого прогресса усовершенствований дело будет идти в некоторых случаях успешнее, чем в других, так что случаи второго рода будут оказываться практически неудовлетворительными по сравнению с случаями первого рода, которые в ту эпоху прогресса практически представляются сходными с идеалом совершенства. Для уравнения менее удовлетворительных случаев с этими вполне удовлетворительными человек будет придумывать новые улучшения; от приложения этих новых улучшений к случаям, бывшим прежде наиболее успешными, сами эти случаи окажутся лучше прежнего, и оттого поднимется норма, считающаяся практическим совершенством. Сравнительно с нею будут казаться несовершенными менее удовлетворительные случаи, хотя бы и доведены они были произведенными улучшениями до высоты, прежде казавшейся практическим совершенством. Разумеется, от этого возникнет охота придумывать новые улучшения, и таким образом ход прогресса бесконечен: вечно будут оказываться случаи менее других удовлетворительные, и от придумывания средств к их улучшению будут улучшаться также удовлетворительнейшие случаи, и от этого вечно будет оставаться разница успешнейшего и менее успешного хода дел,— разница, требующая новых улучшений. Но если постоянно будет являться надобность в новых улучшениях, из этого вовсе не следует, чтобы чувство неудовлетворенности менее успешными случаями оставалось без уменьшения, иначе сказать, чтобы человек не чувствовал себя все довольнее и счастливее с каждым усовершенствованием. Расстояние между безусловным совершенством и достигнутою степенью совершенства остается все меньше и меньше; а человеческие потребности удовлетворяют-

ся все полнее и полнее с каждым новым успехом. А чем меньше остается разница между безусловной и достигнутой полнотой удовлетворения, тем менее болезненно становится чувство этой разницы, и очень скоро достигается в серьезных потребностях такая степень удовлетворения, что болезненность или прискорбность разницы между абсолютною и достигнутою полнотою удовлетворения совершенно исчезает, и впечатление, ощущаемое человеком от этой разницы, принимает другой характер,— характер светлого состояния души, когда человек чувствует; «мне и теперь хорошо, а если я буду работать над улучшением, будет мне еще лучше». Серьезные, реальные потребности человека удовлетворяются до такой степени светлого наслаждения не слишком высокою степенью совершенства. Например, до бесконечности может простираться усовершенствование качества в породах рогатого скота, воспитываемых для мяса; точно так же до бесконечности может простираться усовершенствование кухонного искусства. Но очень легко получить такую говядину, из которой можно приготовить уже очень вкусное блюдо, и очень легко приготовить эту говядину так, чтобы блюдо было очень вкусно. Точно то же во всяком другом сорте порядочной пищи; точно то же и в одежде и в помещении; точно то же и в удовлетворении всех других реальных, серьезных потребностей,— тех потребностей, которые вытекают из органического устройства, которые признаются рассудком за потребности основательные, разумные, неудовлетворенность которых производит в человеке физическое или нравственное страдание серьезного рода, признаваемое за действительное страдание добрыми и умными людьми. Другое дело — те фальшивые потребности, при неудовлетворенности которых в известном человеке рассудительные люди не сочувствуют его жалобе, а смеются над ним или презирают его. Эти потребности никогда не могут быть удовлетворены настолько, чтобы допускали постоянное светлое наслаждение в человеке, ими заразившемся: они всегда приносят ему больше огорчений, чем удовольствия. Но не об удовлетворении таких потребностей рассуждает наука. Она рассуждает об искоренении обстоятельств, подвергающих человека этим нравственным болезням.

Все это мы говорим к тому, что формулу абсолютно выгоднейшего сочетания элементов производства наука может давать лишь самым отвлеченным образом, лишь в самых общих выражениях, не представляющих никакой определенной картины нашему воображению. Силы вооб-

ражения совершенно недостаточны для того, чтобы представились нам в отчетливой картине подробности, которыми определялся бы реальный очерк не только этого математического совершенства, но хотя бы какой-нибудь степени совершенства, довольно близкого к нему сравнительно с нынешнею действительностью. Фантазия — способность очень слабая, она не в силах отдаляться от действительности. Она не в силах создать для своих картин ни одного элемента, кроме даваемых ей действительностью. В действительности по вопросу о пользовании продуктом труда высший элемент, знакомый нашему воображению,— положение поселянина-собственника. Все теории коренных улучшений человеческого быта построены на этом понятии. Со временем, конечно, будет представлять действительность данные для идеалов, более совершенных; но теперь никто не в силах отчетливым образом описать для других или хотя бы представить самому себе иное общественное устройство, которое имело бы своим основанием идеал более высокий. Да, из этого скромного основания возникают и только эту скромную цель действительно имеют в виду все так называемые утопии: дайте нам такой быт, в котором каждый человек мог бы занимать положение поселянина-собственника или другое положение, равнозначительное ему, в котором каждый человек мог бы работать действительно в свою пользу. Судите же теперь сами, до какой степени следует называть утопиею такое скромное требование.

Конечно, люди, у которых доставало силы соображения, чтобы отчетливо представить себе результаты удовлетворения этому скромному требованию, предвидели, что с его осуществлением уровень благосостояния чрезвычайно возвысится; конечно, некоторые из них очень яркими красками описывали довольство, какого следует ожидать от предполагаемой ими реформы; конечно, были и такие, которые старались во всех подробностях предугадать перемену чувств, какая произойдет от столь значительной перемены экономического положения; конечно, в подобных случаях краски выходили иногда слишком блистательны, подробности оказывались иногда соображенными не безошибочно. Но что ж такое? Разве не случается того же самого с каждым, успевшим понять выгоду какого бы то ни было полезного дела? Разве каждый изобретатель или нововводитель в каком бы то ни было деле от cachenez[14] до электрических телеграфов, от хромолитографии до воскресных школ не преувеличивает некоторых сторон пользы, какую принесет его дело, и не ошибается в неко-

торых подробностях при развитии своей мысли? Что же из этого?

Конечно, для осуществления самого простого, скромного и практического требования нужна бывает иногда очень большая переделка обстановки. Но если эта переделка и представляется вам трудною, трудность находится не в характере самого требования, а в обстановке, какая была у известного человека или у известного общества. Например, что может быть проще и скромнее того требования, чтобы люди не продавали пленных в рабство? Мы видим, что это требование безусловно принято всеми сколько-нибудь цивилизованными народами, принято до того, что ненатурально им кажется и подумать о его нарушении. Попробуйте же рассудить, какая переделка быта понадобится у племен западного берега Африки, чтобы осуществилось у них это требование. Им нужно совершенно перевоспитаться, отбросить большую часть своих нынешних понятий и обычаев, приобрести совершенно новые для них мысли и привычки. Очень может быть, что для них ваше скромное требование представится утопией. Смутит ли вас такое возражение? Разве не готов у вас неопровержимый ответ на него? Вы, наверное, скажете: «чем труднее западноафриканским племенам осуществить это требование при своем нынешнем быте, тем, значит, хуже их нынешний быт и тем сильнее выказывается надобность переделки его». К этому вы, конечно, прибавите, что переделка эта — необходимость, налагаемая на них историею, и что от этой необходимости не уйти им ни в каком случае, как бы ни были кому-нибудь из них милы нынешние их порядки. Да, есть возражения, которые служат только сильнейшим подтверждением пользы и неизбежности дела, против которого выставляются. Если, например, вы полагаете, что человеку не следует быть пьяницей, и если какой-нибудь человек станет спорить против вас, у вас только появляется мнение, что именно к нему-то и применяется сильнейшим образом ваша мысль: по всей вероятности, он — или несчастный пьяница, или стоит в каком-нибудь вредном для общества положении, в котором получает пользу от существования пьяниц. Чем упрямее спорит он с вами, тем больше утверждаетесь вы в мысли, что надобно ему изменить обстановку, влияние которой мешает ему принять мысль, что пьяница вреден себе и другим.

Но мы выходим от предположения, что возможно сочетание элементов производства более выгодное, чем принимаемая господствующею теориею форма, при которой

существуют три разные класса, делящие между собою продукт по трем элементам производства, так что один класс получает ренту, другой — прибыль, третий — рабочую плату. Мы видели, что даже из последователей господствующей теории предпочитают этому устройству другой порядок дел все те, которые знакомы с бытом поселянина-собственника и одарены самостоятельным рассудком на столько, чтобы не оставаться попугаями, повторяющими слова первых основателей политической экономии, не знавших этого быта. Но с тем вместе мы видели, что даже у Милля, самого сильного из них по уму, сочувствие к быту поселянина-собственника остается почти бесплодным или по крайней мере не имеющим влияния на общий характер теории. Не следует ли заключить из этого, что симпатия к положению поселянина-собственника происходит лишь от филантропии, бессильной перед необходимостью вещей? Не надобно ли думать, что, каковы бы то ни были результаты трехчленного деления продукта по трем классам, это деление неизбежно требуется промышленным прогрессом, и всякая другая форма, хотя бы и казалась благотворнее для массы, должна неминуемо уступать место трехчленному делению? Ответ на это легко найти в самой господствующей теории. Мы видели, что трехчленное деление сама господствующая теория находит только в земледелии. Мы спрашиваем теперь: почему же нет подобного трехчленного деления в заводской и фабричной промышленности? Ведь и в ней есть элементы, на которых мог бы построиться подобный порядок. Здание фабрики с находящеюся под ней землею и с долговечными машинами могло бы принадлежать собственнику, отдельному от капиталиста, снимающего в аренду ведение фабрикации на свой оборотный капитал. Но ведь не существует же такого раздела: выгоднее для производства оказывается, чтобы капиталист, ведущий фабрикацию, был и собственником фабрики. А между тем фабричная промышленность стоит гораздо выше земледелия по техническому совершенству своих процессов, и ее обороты гораздо ближе соответствуют условиям экономической теории, чем земледельческие обороты. Из этого мы можем заключить, что есть такие формы двухчленного деления продукта, которые должны и по господствующей теории считаться выше трехчленного деления, применяющегося в значительном размере лишь к самой отсталой по техническому совершенству отрасли производства. Если же при известном способе сочетания двух элементов в руках одного класса производство становится совершеннее, чем при

трехчленном делении, то естественно является предрасположение думать, что для дальнейшего усовершенствования производства нужно сочетание всех трех элементов в одних и тех же руках. [...]

〈[...] Мы совершенно признаем основательность соображений, которыми доказывает Милль, что надобно желать возможного ограничения правительственных вмешательств в экономическую жизнь, и〉, к немалому удивлению людей, верящих полемическим фразам наших обличителей о нашей зараженности регламентационными наклонностями, мы скажем, что вполне принимаем общий вывод Милля: 〈невмешательство должно быть общим правилом, а вмешательство только исключением. Сказать по правде, мы даже идем гораздо дальше Милля и в общих соображениях, ограничивающих сферу вмешательства, и в выводе из них. Относительно вывода речь у нас будет впереди; а что касается соображений, говорящих о надобности ограничивать вмешательство случаями крайней необходимости, мы готовы сейчас же прибавить новые аргументы к тем, которые целиком принимаем от Милля; и, если не ошибаемся, наши доводы имеют объем, гораздо более обширный, чем соображения Милля.

Коренною нормою вопроса о правительственном вмешательстве в экономическую жизнь мы ставим основной принцип экономической науки: не надобно делать ничего лишнего, потому что расходование сил на всякое лишнее дело или всякую лишнюю часть дела составляет напрасную растрату, от которой уменьшаются средства для деятельности нужной и полезной. Если одна лошадь хорошо повезет телегу с известным грузом, то не надобно припрягать к ней другую лошадь. Если известная вещь стоит два рубля, то не надобно давать за нее трех. Если человек может хорошо идти без посторонней поддержки, то не надобно подсовывать ему ненужную руку помощи. По этому общему правилу не должно и правительство заниматься такими делами, которые хорошо идут без его содействия или контроля〉.

Но приняв такой принцип, мы возлагаем на себя обязанность внимательно рассматривать каждый представляющийся случай и отнимаем у себя право решать дела голословными фразами какого бы то ни было рода, в пользу ли вмешательства или против него. Возьмем не то что денежные отношения между людьми, посторонними друг другу, а интимную часть отношений между людьми самыми близкими,— например, мужа и жены или родителей и детей. Мы самым энергическим образом утверждаем,

что эти отношения должны быть до высочайшей степени неприкосновенны никакому постороннему вмешательству. Прекрасно; но положим, что вы, посторонний человек, входите в комнату и видите мужчину, который таскает за волосы женщину. По всей вероятности, вы не сочтете преступлением укротить этого мужчину. Если вы не частный человек, а официальное лицо, от этого не уменьшается ваша обязанность прекратить побои. Кроме драки, существует множество других обстоятельств, в которых ваше вмешательство будет совершенно основательно. Потому во всех государствах признается за правительством право вмешиваться даже в семейную жизнь. Разумеется, вмешательство должно тут ограничиваться случаями крайней необходимости.

〈Имеет ли кто-нибудь право назвать нас регламентаторами, если мы скажем, что дозволительно правительству вмешиваться в экономические дела между посторонними людьми настолько же, нисколько не больше, насколько допускается это право относительно семейной жизни? А большего мы не требуем и готовы спорить против того, кто потребовал бы большего〉

Но будучи столь умеренны в принципе, мы зато хотим, чтобы смотрели на эти вещи серьезно. Если муж обращается с женою жестоко, закон дает жене право отделиться от мужа; если ей нужна правительственная помощь, чтобы воспользоваться этим правом, оно посылает официальных защитников. Если дети слишком сильно страдают от родителей, правительство берет на себя заботу о воспитании детей и управлении их имуществом. Видите ли, как серьезно вмешивается оно в эту интимную сферу, когда нужно? Оно коренным образом изменяет существовавшие отношения, если требует того польза людей.

Конечно, оно делает это только в случаях необходимости. Но ведь мы с того и начали, что не нужно делать вещей, без которых можно обойтись. Только не надобно забывать одного важного обстоятельства: смотря по различию ролей, играемых различными лицами в известном деле, бывают различны и мнения их о надобности или ненадобности постороннего вмешательства в дело. Если, например, пьяный муж бьет жену, то, по всей вероятности, ему кажется не нужным чье бы то ни было вмешательство для защиты жены. Если отец проигрывает в карты имущество детей, то, вероятно, не считает он нужным, чтобы лишали его управления этим имуществом. Останавливается ли закон протестациями этих людей?

Известное экономическое отношение хорошо для одних, тяжело для других. Если первые говорят, что правительству не нужно вмешиваться в это дело, их мнение еще ничего не доказывает.

Если же коренной принцип, выставляющий невмешательство общим правилом, еще недостаточен для решения частных случаев действительной жизни, то еще меньше могут уничтожать надобность в серьезном рассмотрении каждого данного случая частные замечания, которые приводятся Миллем. Например: деньги для правительственного вмешательства доставляются налогом; из этого, конечно, следует, что необходима бережливость. Но что же из этого-то следует? Правительство не должно тратить денег на такие дела экономического вмешательства, которые не стоят требуемого ими расхода. Конечно, так; но и вообще на всякие другие дела ⟨правительство не должно⟩ тратить денег, если цель не стоит расходов. Из факта, что деньги получаются правительством через налог, выводится только общее правило о бережливости во всех делах, а не какое-нибудь особенное заключение о правительственном вмешательстве в экономические дела.

Далее Милль говорит о надобности развивать самобытную и оригинальную жизнь в отдельных людях. Это превосходно. Но самобытность и оригинальность, подобно здоровью, образованию и всяким другим хорошим качествам, требуют известных средств; и если правительственное вмешательство направляется к обеспечению этих средств отдельному человеку, оно содействует развитию самостоятельности в нем.

Экономические дела в руках правительства (продолжает Милль) вообще идут хуже, чем дела частных лиц. Он приписывает это действию принципа разделения труда. Но насколько зависит от этого принципа указываемая им невыгода, она может быть устранена, как замечает и сам он. Обыкновенно говорят также о недостатке личной заинтересованности правительственных агентов в успехе дела. Но это обстоятельство подходит под общий вопрос о сравнительных невыгодах большого и малого хозяйства: при нынешнем порядке в каждом большом предприятии частного человека управители и работники так же не заинтересованы успехом предприятия, как и в правительственном предприятии; между тем большое хозяйство все-таки имеет огромное экономическое преимущество перед малым предприятием. Из этого следует, что, если правительственные предприятия идут хуже частных, причина разницы находится не в сущности отношений, а в каких-нибудь

случайных недостатках, которые могут быть устранены. Вопрос о правительственном ведении экономических дел, сообразном с принципами науки,— вопрос новый, и немудрено, что еще не приобретено достаточно опытности для хорошего практического его решения. Это тем натуральнее, что в прежние времена государственное хозяйство велось на основаниях совершенно ошибочных, отделаться от которых трудно. 〈Но во всех тех случаях, когда правительственное ведение экономических предприятий устроивается сообразно экономическим принципам, оно дает хорошие экономические результаты. В пример можно указать на администрацию государственных железных дорог в Бельгии. Мы думаем, что мнение о неспособности правительства удовлетворительно вести экономические дела основано главным образом на впечатлении, производимом теми бесчисленными случаями, когда дела эти устроивались по ошибочным принципам, при которых и частные предприятия идут так же дурно. Но если частный человек заводит предприятие с нарушением здравых экономических понятий и его предприятие падает, эта частная неудача остается незамеченной по своей ничтожности, между тем как каждая неудача правительственного предприятия служит предметом всеобщего внимания. «Но отчего же〉 правительственные предприятия вообще не выдерживают соперничества с частными при свободе соперничества?» Между прочим вот отчего. Возьмем оружейное дело. Частных оружейных фабрик существует множество. На одних дела идут хорошо; эти фабрики расширяются и захватывают рынок. Другие фабрики, на которых дела идут плохо, подвергаются банкротству и уничтожаются; затраченный на них капитал погибает. Но если фабрикант А потерял 100 тысяч рублей, фабрикант В, ведущий свои дела хорошо, нисколько не потерял от неудачи своего соперника. Напротив, правительственная фабрикация имеет общий счет по оборотам всех своих распорядителей, и если у одного из них дела идут так же успешно, как у фабриканта В, то из выгод, доставляемых его операциями, должны покрываться убытки, нанесенные делу другим распорядителем, подобно фабриканту А. Поэтому, если результат правительственной фабрикации оказывается менее успешен, чем обороты частных фабрикантов, пользующихся успехом, не следует еще заключать о меньшей успешности правительственной фабрикации: ее надобно сравнивать не с делами одних фабрикантов, пользующихся успехом, как сравнивают обыкновенно, а с общею суммою дел всех частных фабрикантов —

и пользующихся успехом, и разоряющихся. Такого сравнения еще никто не делал, и мы до сих пор не имеем данных, чтобы основательно решить вопрос, в какой фабрикации меньше бывает напрасных растрат, в частной (если брать всю сумму ее предприятий) или в правительственной (когда администрация устроивается с надлежащею внимательностью).

«Класс правительственных агентов соединяет в себе только часть знаний и способностей, существующих в целом обществе», говорит Милль. Конечно, так; но ведь и дела, управляемые этими агентами, составляют только часть дел, производящихся в обществе. Для знаний и талантов, принадлежащих лицам, остающимся частными людьми, остаются частные дела. Мы не видим, каким же образом тут для общества уменьшается польза, приносимая талантами и знаниями.— «Многоразличие способов производства полезнее для экономического прогресса, чем однообразие». Конечно, так; но ведь эта выгода отнимается только в том случае, когда правительство присвоивает себе монополию; если же оно оставляет свободу соперничеству частных предпринимателей, правительственная фабрика нимало не мешает разнообразию способов производства.

«Для нации очень полезна привычка к самобытной деятельности», продолжает Милль. Конечно, так; но мы не видим, чем разнится это замечание от одного из тех, которые нами уже рассмотрены. Правительственное содействие в экономических делах может быть направлено прямо к тому, чтобы отдельные люди приобретали возможность самостоятельного действования. Если когда-нибудь бывали противоположные результаты, это происходило только от ошибочного направления, которое одинаково возможно во всяких сферах деятельности: ошибочные принципы и дурные меры могут существовать и в гражданской администрации, и в судопроизводстве, точно так же как и в экономической жизни. О всех этих случаях надобно говорить только об изменении принципов деятельности, а не о ее прекращении.

Трудно было бы понять, как могли политико-экономы господствующей школы дойти до безусловного отрицания пользы правительственных забот об экономической жизни общества, если бы не знали мы, как многочисленны и обременительны для общества были ошибки тех времен, когда правительства не имели верных понятий о законах экономической жизни. Только чрезмерность вреда от этих заблуждений заставила думать, что для блага общества

нужно совершенное прекращение правительственных забот об экономических делах.

[...] Пора и нам кончить ряд статей, получивших уже размер, едва ли не слишком обременительный для журнала. Не успела войти в наши очерки та часть теории, которая, по нашему мнению, наиболее важна в науке. Критикою господствующих понятий нам удавалось приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей. Но мы не успели изложить, в каких главных подробностях должны некогда осуществиться эти принципы и какими переходными ступенями могут уже теперь люди приближаться к наилучшему устройству своих материальных отношений. Нам пришлось в этом отношении довольствоваться неопределенными очерками, представленными у Милля в главе о вероятной будущности рабочих сословий. Мысли его верны, но слишком бледны. И мы очень жалеем о том, что не успели дополнить их очерками, более точными. Но что же делать! 〈Будем довольствоваться тем, что удалось нам сделать, хотя эта исполненная часть задачи незначительна по сравнению с неисполненною.

Итак, не теряя времени на сожаления о невыполнении задуманного плана, обратим внимание на ту часть дела, которою удалось нам заняться в этот последний раз. Во всем длинном отрывке, которым закончились наши выписки из Милля, существенно несправедливы только три или четыре строки, подтверждающие, будто бы теоретически полон представляемый Миллем перечень главных исключений из правила, предписывающего оставлять отдельным людям самим всю заботу об их экономических делах. Милль прямым образом имеет в виду только Англию, и очень может быть, что он не позабыл ни одного из предметов, в которых особенно важно правительственное вмешательство для нее при нынешнем ее положении. Но если Англия имеет очень сильные надобности, до которых еще не дошли другие страны,— например, для Австрии, для Франции, Испании, России нет еще надобности так много заботиться о колонизации, как для Англии,— то в каждой из этих стран могут быть свои особенные обстоятельства, по которым очень важно правительственное влияние на дела, или не существующие в Англии или не имеющие для нее особенной важности. Если, например, справедливо, что испанцами овладела леность, то очень полезно было бы, когда бы испанское правительство позаботилось об увеличении побуждений к энергическому труду, недостаток которого более всего виноват в бедности

испанцев по известиям, принимаемым нами здесь на веру. О некоторых частях Австрии — в особенности о Тироле — говорят, будто бы народ там слишком пристрастен к старине; если это правда, очень важны были бы правительственные заботы о разъяснении пользы новых вещей, познакомиться с которыми не думают сами тирольцы. Мы не разбираем здесь основательности приводимых нами мнений об испанцах и тирольцах: мы приводим их только для примера тому, что могут существовать в той или другой стране потребности, не имеющие важного значения для Англии, в которой народ трудолюбив и не слишком ослеплен пристрастием к старине. Эти примеры служат нам только для того, чтобы не представилось читателю странным, когда мы скажем, что, например, и в России могут существовать особенные случаи большой надобности правительственного влияния,— случаи, не вошедшие в перечень Милля. Теперь все у нас согласны в том, что крепостные отношения были делом, требовавшим правительственного влияния для своей развязки. Нам кажется, что, насколько нужно было оно для их прекращения, настолько же нужно оно для поддержания другой черты нашего экономического быта. Мы говорим о нашем обычном способе землевладения, по которому земля, принадлежащая поселянам, не разделена отдельными лицами в полную последовательную собственность, а остается общественным имуществом, пользование которым равномерно распределяется между всеми членами общества. Много статей было написано нами в защиту общинного землевладения, и нет нам надобности вновь перечислять здесь[15] его преимущества. Мы хотим только сказать, что если это учреждение на самом деле полезно, то для его сохранения нужна правительственная забота, потому что без законодательного охранения оно не может удержаться против частных интересов. Этот случай подходит под принцип, выставляемый Миллем по поводу законодательного определения рабочих часов на фабриках. Просим читателя внимательнее пересмотреть доводы, которыми тут Милль доказывает, что есть общеполезные учреждения и обычаи, не могущие сохраниться без прямого законодательного ограждения. Совершенно в том же духе, в каком рассуждает он о часах работы, мы скажем про общинное землевладение: для целого общества оно полезно, но каждому из членов общества может представляться временная выгода от превращения своего пользования частью общественной земли в полную собственность над этою частью ее. Эта мимолетная выгода несомненно приведет

в худшее положение почти каждого из людей, которые соблазнились бы ею, но она может иметь столько соблазнительности, что приведет к разрушению выгоднейшего для всех порядка, если достаточен будет минутный интерес отдельного члена общины, чтобы участок, находящийся в его пользовании, был выделен ему в полную собственность). [...]

Пятую и последнюю книгу трактата Милля составляет исследование вопросов об участии правительства в экономической жизни общества[16]. Каким образом проистекает такая программа пятой книги из четырех первых, Милль не говорит. Первые три книги излагают три момента, проходимые экономическим продуктом, четвертая обозревает историю экономической жизни,— связь тут ясна,— но в какой связи с общими элементами экономической жизни находится частный вопрос о правительственном влиянии на нее? Нам кажется, что если бы Милль вздумал разъяснить для себя надобность, заставившую его так подробно излагать этот предмет, он пришел бы к воззрению, при котором изменилось бы у него изложение общих понятий о предмете, частные случаи которого составляют содержание пятой его книги.

Почему нельзя оставить без разбора участие правительства в экономической жизни? Оно очень важно. Так; но очень важное влияние на нее имеют и некоторые другие элементы общественного быта. Например, характер религии несомненно дает довольно сильное направление экономической деятельности в ту или другую сторону деятельности, развивает или расслабляет ее. Так исповедания, предписывающие значительное число постных дней, конечно, способствуют развитию известных отраслей земледелия и уменьшают надобность в развитии некоторых отраслей скотоводства. Еще значительнее экономическая разница между религиею, ставящей в главную заслугу человеку усердие к работе (какова, например, религия Зороастра), и религиями, ставящими выше всего созерцательную жизнь (как, например, буддизм). Еще гораздо осязательнее влияние государственного устройства. Милль, подобно другим политико-экономам, разбирает лишь одну форму политического быта, ту, при которой существует невольничество, но очень многое зависит и от того, существует ли в обществе юридическое различение сословий, какие формы имеет законодательная власть и администрация.

Почему же Милль не считает нужным подробно разбирать влияние разных религиозных и политических

форм, а говорит только о влиянии правительства, составляющем один частный случай из множества других влияний? Причина та, что другие влияния действуют на экономическую жизнь лишь косвенным образом, через развитие тех или других наклонностей в человеке, а правительство прямо является экономическим деятелем, производящим известные продукты. А если так, то, по нашему мнению, следовало бы начать с действительного начала, и, прежде чем рассматривать отдельные вопросы о правительственном влиянии, надобно было бы сделать общее замечание о разных формах человеческой деятельности, бывающих производительными силами. При этом тотчас же открылась бы важность разницы между личными потребностями отдельного человека, удовлетворением которых не открывается прямая возможность такого же удовлетворения другим людям, и между потребностями, которые надобно назвать собирательными, общими или общественными и которые удовлетворяются с удобством не иначе, как у целого круга людей вдруг.

Странно было бы ожидать, чтобы кто-нибудь посторонний хорошо заботился об удовлетворении исключительных потребностей отдельного человека. Чувство голода или сытости чувствуется лишь самим отдельным человеком, и никто другой не может хлопотать по этому предмету удовлетворительным для него образом. Вся политическая экономия построена на принципе: «Каждое дело удовлетворительно ведется только тем лицом, которому нужно, и только в том направлении, в каком ему полезно». Но если так, каков же может быть единственный удовлетворительный способ ведения дел по коллективным потребностям? Если известное дело нужно для целого округа, то может ли удовлетворительно вести его отдельное лицо? По принципу, нами принимаемому от политико-экономов господствующей школы, дело это будет исполняться отдельным лицом лишь настолько, насколько ему нужно, и лишь в том направлении, в каком для него полезно. Будет ли такое ведение соответствовать надобностям жителей округа? Это как случится. Может быть — будет, может быть — нет, смотря по тому, находится ли в интересе отдельного лица все, находящееся в интересе округа, и не находится ли в интересе этого лица что-нибудь иное, чем в интересе округа. Кто захочет подумать о свойстве всяких житейских отношений, увидит, что очень велик, почти неизбежен тут шанс большего или меньшего несоответствия частного интереса с общественным. Ведь каждый из нас знает, что нет на свете двух лю-

дей с совершенно одинаковыми понятиями или желаниями; еще ненатуральнее было бы совершенное тождество понятий и желаний между отдельным человеком и населением целой местности. Интерес округа есть, так сказать, средняя цифра, выходящая из сочетания множества отдельных цифр; а мы знаем, что между этими частными цифрами слишком немногие совершенно одинаковы с средней: почти всегда каждая из них больше или меньше отступает от нее. Значит, что же нужно для ведения какого-нибудь общего дела соответствующим общим интересам способом! Нужно, чтобы способ его ведения определялся волею всего общества, которому оно нужно, и чтобы отдельное лицо при исполнении этого дела находилось под общественным контролем, который состоит в трех вещах. Во-первых, общий интерес всех прикосновенных к делу лиц должен определять, нужно ли для них дело, во-вторых, он же должен определять, в каком виде нужно исполнять дело, он должен следить за ходом его исполнения. Но по принципу, также принимаемому всеми писателями господствующей школы, расходы предприятия должны лежать на том, в чью пользу ведется предприятие. Из этого следует, что дела, предпринимаемые для общественного интереса, должны вестись на общественный счет. По другому принципу, также принимаемому всеми писателями господствующей школы, продукт дела должен принадлежать тому, на чей счет оно ведется. Следовательно, предметы, относящиеся к общественным надобностям и долженствующие поэтому производиться на общественный счет, должны быть собственностью общества.

Кому из последователей господствующей политико-экономической теории угодно, тот может называть эти заключения неосновательными или вредоносными, но всякий беспристрастный человек видит, что они прямо вытекают из принципов, принимаемых господствующею теориею. Она же сама выставляет на вид и тот факт, что соразмерно развитию просвещения и прогрессу экономического быта все усиливается число дел, в которых замешан общественный интерес, и все уменьшается число случаев, в которых тот или другой способ действий отдельного человека был бы безразличен для общества. Чтобы пояснить перемену, происходящую в этом отношении, возьмем в пример опрятность. Пока нет больших городов с тесною постройкою, никому постороннему нет вреда, если известный человек не заботится о чистоте своего жилища. Но когда жилища сближаются, грязное жилище одного заражает воздух и у соседей. Точно так же во всем

другом. Увеличивающаяся близость сношений между людьми производит, что жизнь одного отражается удобством или неудобством на жизни других и в таких вещах, по которым прежде не существовало взаимного влияния. Но еще гораздо больше, чем от перемены отношений, изменяются выводы от перемены размера наших сведений о взаимном влиянии жизни одного на жизнь всех. Пока наука не успела овладеть известным кругом фактов, они представляются разрозненными и случайными, но при более точном разборе оказывается между ними связь. Теперь общество уже достигает того убеждения, что нет ни одного факта в жизни отдельного человека, который оставался бы без всякого влияния на ход общественной жизни,— не содействовал бы или не мешал бы общественному благосостоянию. Например. Каждый невежественный, безнравственный или ленивый человек, кроме того что сам ведет жизнь, сообразную своим недостаткам, служит препятствием улучшению общественной жизни. В юриспруденции уже давно установился тот принцип, что преступление, совершенное над отдельным лицом, не есть преступление только перед лицом, прямо от него пострадавшим, но и перед целым обществом. На этом основывается принятое всеми законодательствами правило, что в известных случаях отказ пострадавшего лица от преследований преступника не останавливает уголовного процесса и не отстраняет наказания. Прежде смотрели на эти вещи иначе. Если, например, убийца успевал примириться с родственниками убитого, или вор получал прощение от обокраденного, общество оставляло его поступок безнаказанно.

Подобная перемена происходит и во взгляде на экономические дела. Например. Нет никакого сомнения, что если в известной мастерской работа идет небрежно и лениво, то страдает не одна эта мастерская, а до известной степени понижается ее влиянием успешность труда и в целом городе; и, наоборот, если увеличивается искусство и усердие работы в одном промышленном заведении, оно действует в известной степени на улучшение работы в целом городе. Пример одного работника влечет других к дурному или хорошему; привычки одного действуют на других.

Таким образом мы доходим до понятия, что нет в экономической жизни ни одного факта, который следовало бы считать исключительным фактом индивидуальной жизни, который был бы совершенно безразличен для общества, в котором общество нисколько не было бы заинтересовано.

А сама господствующая теория говорит, что, где замешан чей интерес, там должна быть и степень влияния, соразмерная интересу. Следовательно, по господствующей теории, должно оказываться, что по принципу нет ни одного экономического дела, которое не должно было бы находиться под большею или меньшею властью общества.

Конечно, все тут, как и во всей экономической жизни, зависит от расчета выгоды. Найдется бесчисленное множество дел, в которых доля общественной заинтересованности чрезвычайно мала сравнительно с долею личного интереса; найдется также множество случаев, в которых обществу выгоднее не пользоваться своим правом влияния; наконец, общество не нашло физической возможности заниматься всеми делами, над которыми, по принципу, имеет оно известную долю власти. Мы вовсе не то говорим, что возможно или полезно такое состояние общества, в котором никакое дело не происходило бы без прямого вмешательств общества. Напротив, экономический расчет и в этом отношении внушает обществу, как внушает всякому человеку или всякой группе людей во всяких отношениях, не заниматься тем, что не стоит хлопот, и не пользоваться своим правом в тех случаях, когда пользование правом было бы невыгодно. Но расчет об удобстве или выгоде оставлять без общественного вмешательства все те дела, которые могут обойтись без него, нимало не противоречит принципу, что все тут зависит от мнения самого общества о своей выгоде. Вопрос о границах, предписываемых благоразумием, совершенно различен от вопроса о границах абстрактного права. Например. Человек, у которого на руках нет семейства, имеет полное право не принимать предосторожностей для сохранения своего здоровья; благоразумно ли ему пользоваться таким правом — рисковать своим здоровьем, в том или другом случае,— совершенно иное дело; в бесчисленном большинстве случаев это было бы неблагоразумно, и сравнительно с этою массою не велико число случаев, в которых риск допускается или даже предписывается рассудком. Точно так же может быть невелико и число дел, в которые благоразумно обществу вмешиваться, хотя оно имеет право вмешиваться во все дела. Теперь мы говорим только об отвлеченном праве, оставляя до следующих страниц показание границ, полагаемых ему выгодою самого общества при различных общественных состояниях.

А в смысле отвлеченного права власть общества над отдельным человеком чрезвычайно обширна по принципам, принимаемым господствующею теориею. По этой те-

ории лицо или собрание лиц имеет безусловное право располагать тем, что само приобрело. Если оно передает приобретенное им в пользование или в собственность другого лица, оно делает это по своему усмотрению и всегда может поступить иначе. Получающее лицо тут не имеет права на получение. Например, если известный человек приобрел своими усилиями какой-нибудь продукт, он может не давать никакому другому лицу пользование этим продуктом. Свой хлеб он может держать под замком, сколько ему угодно; может, если захочет, потопить или сжечь этот хлеб. Точно такое же право распространяется и на нравственные или умственные приобретения. Если, например, человек приобрел житейскую опытность, он вправе не помогать никому своими советами; если он приобрел известные знания, он может никому не сообщать их. Конечно, то же самое право принадлежит и собранию лиц: если в отдельности каждый член собрания имеет известное право, то все собрание не может не иметь такого же права. Через соединение прав права, конечно, не уменьшаются. Посмотрим же, как определяется отвлеченная граница власти общества над отдельным лицом по этому принципу господствующей теории.

Часть жизни отдельного человека состоит в действии сил, ему самому принадлежащих. Это так называемые личные свойства человека: известный характер, известные мысли. Довольно многосложен вопрос о том, в какой степени составляют они его личное приобретение. Без известной обстановки, даваемой обществом, человек не имел бы ни того характера, ни тех понятий, какие имеет. Собственно говоря, в независимости от общества, внутренними силами самого человека приобретается только анатомическая и физиологическая сторона его существа. Во всех остальных личных своих свойствах он уже чрезвычайно много зависит от общественного влияния. Но все-таки и участие его личных сил тут очень значительно. Потому мы с первого же взгляда должны признать, что она тут имеет очень тесные границы, поставляемые очень значительным, независимым от него участием самого человека в приобретении этих принадлежностей.

Но совершенно иное дело все те принадлежности отдельного человека, которые не сливаются с самым его организмом, не составляют физиологической части его: все внешние продукты и вообще всякие могущие принадлежать ему внешние предметы. В состоянии совершенно разрозненной дикости человек приобретает их действительно только сам, независимо от общества,— но только

потому, что еще нет и самого общества. А в быте сколько-нибудь развитом содействие общества подобному приобретению несоизмеримо значительнее личных усилий самого человека. Начать с того, что самая возможность приобретать какое-нибудь имущество дается отдельному человеку только заботою общества о его охранении. Точно так же только этою заботою общества и сохраняется приобретенное имущество в собственности или пользовании отдельного человека. Имеет ли право отдельный человек отказаться от сношений с другим человеком? Если имеет, тем более имеет такое же право целое общество. Но достаточно было бы одного нежелания общества сохранять связь с известным человеком, чтобы лишился он всякой возможности приобретать или сохранять имущество. Таким образом, он с этой стороны находится в безграничной зависимости от общества. Общественная защита безусловно необходима ему, и общество, оказывая ему эту услугу, может полагать, какие хочет, условия для ее оказывания[17] И это не одна теория, это — повсеместный факт. Известно, например, что за пользование своею защитою общество требует от отдельного лица известной доли его приобретений в виде налогов. Имеет ли отдельное лицо возможность отказывать обществу в этой уплате? А величина налога определяется волею общества. Если налог составляет только десять процентов, это потому, что общество не захотело определить его в двадцать; а если бы захотело, могло бы увеличить его и до тридцати процентов, и до пятидесяти и более. Таким образом, право установления налогов, признаваемое всеми за обществом, простирается до того, что может почти равняться конфискации, не переставая быть только установлением налога, т. е. бесспорным правом общества.

Но необходимость общественной защиты для отдельного лица не единственный источник права общественной власти над имуществом лица. Общество содействует приобретению и сохранению внешних предметов не одною своей защитою, а также и положительным пособием. Вся обстановка для труда, производящего или сохраняющего внешний предмет, создана обществом, и отдельный человек своими личными усилиями не мог бы создать ни одной тысячной доли того, что нужно ему для занятия, приобретающего или сохраняющего предмет. Возьмем самый крайний случай наименьшего содействия общественной обстановки труду отдельного человека,— труд поселенца на «далеком западе» Североамериканских Штатов. Этот человек сам расчистил свое поле, бывшее до того частью совершенно девственной пустыни; сам без всякого по-

стороннего содействия построил свое жилище и так далее, и так далее. Но разберите дело повнимательнее, и вы увидите, что все его труды не имели бы и тысячной доли результата, какой имеют, если бы он не пользовался при них пособием общества. Начать с того, что он принес с собою топор, плуг и семена для посева. Ни одного из этих предметов не мог бы он произвести своими личными усилиями. Хлебные семена составляют результат труда целого ряда поколений над выбором и улучшением диких растений. Кто не взял их с собою уже готовых, тот никогда не добьется хлебной жатвы. В топоре и плуге важно с этой стороны не столько то, что они, плуг и топор, орудия, сделанные для известного употребления, сколько самый материал этих орудий. Положим, мог бы этот человек научиться сам кузнечному искусству; но откуда он добыл бы железо, если бы оно не приобреталось для него обществом? Силы отдельного человека недостаточны для получения железа. Оно добывается только обществом. Точно так возьмите вы результат какого хотите труда отдельного человека, вы найдете, что неизмеримо велико пособие, оказанное ему обществом.

Смотрите же, до какого заключения довел нас принцип, принимаемый господствующею теориею. Доля участия отдельного человека в получении продукта, добываемого трудом этого человека, совершенно ничтожна сравнительно с участием общества в этом труде. А право на продукт соразмерно участию его в приобретении. Потому право отдельного человека на продукт его труда совершенно ничтожно сравнительно с правом общества на этот продукт. С этой точки зрения, приготовленной для нас господствующими теориями, наш поселенец дальнего запада Северной Америки имеет право лишь на одно зерно из нескольких возов возделанного им хлеба. За исключением этого зерна всю остальную жатву может по праву присвоить себе общество.

Таково право общества на внешние предметы: оно безгранично сравнительно с правом отдельного лица. Но мы оставляем без рассмотрения степень общественного права на личные свойства человека. Нам показалось, на первый взгляд, что в этой сфере оно должно иметь довольно тесные границы. Теперь, получивши опытность в делании выводов из принципов господствующей теории, мы предвидим, что и эти границы разрушаются. Учитель имеет бесспорное право получать вознаграждение от ученика. Но все понятия и знания отдельного человека приобретены только благодаря общественной обстановке. Лишенный

всякого ее содействия, человек остается дикарем, более похожим на животное, чем на человека. Из этого следует, что каждый отдельный человек должник общества за свое умственное развитие. Если же мы перейдем к техническим искусствам и применим сюда принцип о принадлежности результата лицу или собранию лиц, создавшему этот результат, мы увидим, что все находящиеся в отдельном человеке производительные знания принадлежат обществу, вложившему их в него. Наконец, не должен ли принадлежать обществу и самый организм отдельного человека, который вырос и сохранился только благодаря общественному охранению? Мы видим, что, если ставить верховным принципом в вопрос об общественной власти правило господствующей теории о принадлежности результата лицу или собранию лиц, создавшему результат, это правило приведет нас к выводу, прямо противоположному тем понятиям, которых держится господствующая теория. Рутинные политико-экономы воображают, что на этом правиле опирается система общественного невмешательства в частные дела; на самом же деле оно ведет к провозглашению безграничной власти общества не только над имуществом, но и над самою личностью отдельного человека. Если решать вопрос о правах лица на внешние предметы и даже на свободу распоряжения своими личными силами по происхождению этих предметов и сил, все исчезает перед поглощающим правом общества.

Но принцип, выводы из которого мы изложили, не может сохранить за собою права считаться верховною нормою устройства человеческих отношений. Господствующая теория забывает, что сама она показывает другую, высшую и более общую норму экономической жизни,— заботу человека об удовлетворении своих потребностей или расчет экономической выгоды. Если мы будем твердо держаться этого основного начала, лежащего в природе человека, мы должны будем считать все другие правила экономического быта только частными способами применения этой основной идеи к различным обстоятельствам. Очень часто бывает, что человек и общество получают наиболее пользы, когда отдельный человек работает исключительно в свою пользу; в таких случаях принцип человеческой пользы является нам под формою правила: определяйте принадлежность продукта по его происхождению. Эти случаи чрезвычайно часты; но ошибка господствующей теории в том, что она приняла их за единственно возможное. Да и в них, как мы видели, нельзя проводить правила о принадлежности продукта по происхождению с полною стро-

гостию. Исследование по происхождению должно останавливаться тут на первом ближайшем деятеле, оставлять без внимания зависимость его продукта от всей совокупности деятелей, предшествующих прямому деятелю и окружающих его. Они должны отказываться от своей доли в происхождении продукта,— доли несравненно большей, чем доля прямого деятеля. Но бывают другие случаи, в которых недостаточно и этого ограничения правила о принадлежности продукта по происхождению; иногда полезно бывает человеку и обществу прямо руководиться расчетом пользы без этого посредствующего звена. Возьмем в пример принимаемый всеми случай необходимости содержать людей, не способных к работе по старости, болезни или разным органическим недостаткам; тут принцип принадлежности по происхождению прямо устраняется расчетом пользы. Ни для кого не было бы выгодно такое состояние общества, в котором слишком многие люди не имели бы средств к существованию. От этого общество подверглось бы беспорядкам, и энергия труда в нем упала бы. Выгода прямого производителя требует, чтобы известная часть продукта не поступала в принадлежность ему, а шла в руки других лиц для предотвращения такого невыгодного ему самому состояния.

Впрочем, и посредством всеобщего приложения мысли о принадлежности продукта производителю мы дойдем до вывода, согласного с здравым смыслом, если будем помнить, что во всех человеческих делах расчет пользы должен служить верховною нормою. Мы видели, что в вопросе о принадлежности продукта встречаются между собою два противоположные права: право отдельного человека, непосредственно работавшего над продуктом, и право общества, имевшего в производстве продукта косвенное, но несравненно большее участие. Очевидно, что продукт должен быть разделен между этими двумя участниками его производства. Но в какой пропорции он должен делиться между ними? Мы видели, что, если основанием раздела принять участие в производстве, доля отдельного лица, прямо работавшего над продуктом оказывается чрезвычайно мала, а доля общества поглощает почти весь продукт за исключением самой незначительной части. Но сообразна ли такая пропорция с выгодами самого общества? Если бы оказалось, что она не сообразна, принцип расчета пользы обязывал бы общество отказываться от такой доли своей части, какая должна быть предоставляема отдельному лицу для достижения наибольшей общественной выгоды. Тут все зависит от частных свойств того или

другого существующего экономического быта. При известном состоянии экономических отношений, чем меньше может брать общество из продукта, тем выгоднее для общего благосостояния. Это вообще надобно сказать о формах быта, в которых общественное внимание не обращено на содействие экономическому прогрессу, а поглощается делами, составляющими безвозвратную трату средств. Наоборот, могут быть также формы быта, в которых и очень значительный вычет из продукта на общественные дела нимало не вредит энергии труда, а, напротив, содействует ее возвышению. Это будет в том случае, если отдельный человек сам видит, что личное распоряжение взимаемою от него частью продукта не принесло бы ему самому столько выгоды, сколько получает он от употребления этой части на дела, полезные всему обществу, в том числе и лично ему. Бесспорным примером тому при нынешнем устройстве могут служить значительные расходы Англии на содержание военного флота. Каждый англичанин видит, что этот флот приносит ему очень значительную пользу, охраняя морскую торговлю Англии; видит также, что поставить ее в такую безопасность никак не могли бы усилия частных лиц, даже и с гораздо большими пожертвованиями; он видит, что полезное для него дело ведется наиболее экономическим способом, посредством взимания известной части из его доходов, и потому нимало не претендует на этот вычет, требуя только, чтобы собираемая сумма употреблялась расчетливо. Если же с охотою подчиняется отдельный человек вычету для такой отрицательной пользы делу, выгода которого доходит до него только отдаленным путем через удешевление товара,— если возможно человеку дойти до сознания пользы окончательного результата пожертвований в таком многосложном процессе. то гораздо легче убедится он в пользе предоставления известной части продукта общественному распоряжению, когда часть эта будет обращаться на дела, гораздо прямее касающиеся его и приносящие ему не отрицательную, а положительную выгоду. Что, например, если бы общество убедилось, что некоторая часть налогов обращается на застрахование человека от крайней нужды в случаях болезни или разорения? Конечно, при существующем экономическом быте очень трудно дойти до такого убеждения, если б и действительно обращены были некоторые суммы на этот предмет. Явилась бы мысль, что такого же результата можно достигнуть не установлением особенного налога, а сбережением в обыкновенных расходах на другие пред-

меты. Явилась бы и другая мысль: вместо того чтобы употреблять специальные средства для пособия мне, когда я дойду до нужды, позаботьтесь лучше о том, чтобы не доводить меня до нужды чрезмерными расходами на бесполезные предметы. Оба эти раздражения очень натуральны при существующем порядке. Но если предположить порядок, при котором не было бы этих лишних расходов на бесполезные предметы, дело имело бы совершенно иной вид. Мы даже имеем и при существующем порядке примеры мнения, о котором говорим. Дело очевидно для всякого, что если общество употребляет часть своих средств на выдачу пенсий, то остается у него меньше средств на жалованье. Пенсия во всяком случае есть уменьшение жалованья, все равно, существует ли или не существует формальным образом вычет из жалования для составления пенсии. Но мы не замечаем, чтобы кто-нибудь из лиц, находящихся на общественной службе, тяготился существованием пенсий: напротив, оно считается ими за обстоятельство выгодное для них, и они совершенно чужды желания, чтобы пенсия уничтожалась. Все это мы говорим только к тому, что могут существовать очень различные обстоятельства: при одних каждый вычет из продукта на общественные дела может представляться отдельному лицу обременением, при других оно само может видеть в нем источник облегчения и пользы для себя. Все тут зависит от двух вещей: во-первых, от того, какие дела признаются в известном обществе подлежащими общественному заведыванию; во-вторых, какое мнение будет существовать у людей о степени расчетливости в общественном ведении дел этих.

Что касается первого вопроса, то при нынешнем умственном развитии просвещенной части цивилизованных обществ не будет чрезмерною идеализациею, если мы предположим возможность следующего взгляда на вещи: благосостояние общества уменьшается существованием невежественных, безнравственных или ленивых людей в обществе; эти вредные качества в людях могут быть устранены только двумя способами: заботою о том, чтобы каждый человек получал надлежащее воспитание, и обеспечением человека от нужды. Достаточны или недостаточны средства известного общества для полного достижения таких целей, об этом каждый может думать, как ему угодно; но против того никто не может спорить, что выгода общества требует всевозможных усилий для наилучшего возможного достижения этих целей. А мы знаем, из господствующей теории, что ведение дела должно при-

надлежать тому, кто в нем заинтересован. Следовательно, общество может ставить своим делом заботу о том, чтобы ни один из его членов не остался без воспитания и без правильных средств к жизни. Если относительно некоторых людей оно убеждено, что и без его вмешательства они обеспечены от вредного для него недостатка с этих сторон, оно может оставлять их дела без своего вмешательства. Но мы видим, что без его вмешательства масса людей вовсе не обеспечена с этих двух сторон. Следовательно, его вмешательство тут равнозначительно пренебрежению его к собственной выгоде.

Тут мы встречаемся с двумя рутинными возражениями: вы хотите стеснения личной свободы; ваша теория — опекунство, ведет к ослаблению энергии индивидуальных усилий[18] [...].

[ПОДСТРОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ МИЛЛЯ]

[24] Относительно всех даже и второстепенных подробностей результата, который должен осуществиться еще в более или менее отдаленном будущем, надобно иметь особенный темперамент, которым природа не всякого наделяет. Есть люди, не способные по природе безусловно принимать никакое готовое мнение, а наклонные все переделывать на свой лад; есть люди, расположенные думать, что подробностей будущего нельзя предусмотреть, а можно предугадывать только его общий характер; наконец, есть люди, расположенные пренебрегать отдаленными идеалами, обращать все внимание лишь на ближайшее, непосредственно возможное. Такие люди уже по природе своей не могут сделаться фурьеристами в точном смысле слова; а сумма людей таких темпераментов гораздо больше числа людей, в которых соединяются условия, при которых только и возможно стать последователем Фурье: сочетание скептицизма с доверчивостью, практичности с идеальностью. Потому выше мы сказали, что фурьеристы составляют лишь один отдел в числе социалистов, сходящихся с ними во всем существенном.

Кроме этой, основанной на различии натур, разницы между фурьеристами и массою социалистов, есть другая разница, основанная на ходе времени. Фурье создал свою систему лет 50 тому назад[1]; его школа окончательно установилась лет 20 тому назад. А общий ход исторических явлений состоит в том, что основные мотивы движения выступают по мере его развития все ярче и ярче на первый план и затемняют собою те хотя и сродные с ним, но не прямо принадлежащие к нему элементы, из которых оно еще не выделялось в первое время. Сущность социализма относится собственно к экономической жизни. Но не в одном экономическом быте должны произойти коренные перемены: им подвергается вся жизнь человека: и его отно-

шения к другим людям по кровным или душевным привязанностям, и его воспитание, и его национальные отношения и т. д. Все эти перемены будут вести к цели, сходной с целью социализма, к улучшению жизни человека. Но тем не менее задача о переменах чисто экономических есть задача очень различная от усилий к улучшению других сторон жизни. У сен-симонистов эта экономическая задача еще расплывалась в неопределенной экзальтированной жажде пересоздать вообще всю жизнь человека. Характеристическою чертою их учения были пылкие тирады о какой-то «любви». Конечно, в сущности следовало тут разуметь просто любовь к ближнему, замену нынешнего враждебного эгоизма добрым расположением между людьми, и не трудно было бы истолковать эту обязанность любви в таком смысле, чтобы более всего думать о таком экономическом устройстве, при котором людям не было бы надобности враждовать, а была бы выгода желать добра друг другу. Но прямой житейский смысл слова любовь не тот, и сен-симонисты не замедлили понять всю свою идею именно с такой стороны, с которой эротический смысл стал господствовать над экономическим и всяким другим. Вопросы о браке и о свободной любви скоро привлекли к себе главное их внимание. Таким образом, в сен-симонизме элемент, собственно называющийся социализмом, был еще под владычеством стремлений, принадлежащих не экономической жизни, а так называемой жизни сердца. Фурьеризм уже прямо занимается всего более экономическою стороною жизни. Но она в нем рассматривается нераздельно от всех других научных, нравственных и общественных вопросов: в систему Фурье входят и теория планетной жизни земного шара с астрономиею, геологиею, и психология, и вопрос о семейных отношениях, и вопрос о воспитании и т. д. Надобно даже сказать, что экономическая часть системы, хотя и составляет самый обширный предмет исследования, исследуется у фурьеристов на основании психологической их теории, которая и служит корнем всего учения. Мы не говорим, что это неосновательно в безусловном теоретическом смысле — напротив, основанием всему, что мы говорим о какой-нибудь специальной отрасли жизни, действительно должны служить общие понятия о натуре человека, находящихся в ней побуждениях к деятельности и ее потребностях. Мы вовсе не думаем также сомневаться в надобности или достоинстве такой науки, которая была бы сводом или экстрактом всех частных наук. Но нельзя не сказать, что эта энциклопедия не уничтожает собою надобности в отдель-

ной разработке частных наук и что она скорее должна называться философиею, нежели наукою о народном хозяйстве или политическою экономиею или социализмом. Мы хотим сказать, что фурьеризм еще имеет характер слишком энциклопедический или философский, и социалистическое движение при дальнейшем своем развитии должно было получить вид более частный или специальный, чем какой имеется в фурьеризме.

Оно так уже есть теперь. Нынешние социалисты говорят: мы имеем свои убеждения о натуре человека вообще, думаем известным образом о семейных или педагогических вопросах, как имеем известный образ мыслей о политических делах. Но когда мы пишем трактат об экономическом устройстве, мы не должны распространяться о предметах, посторонних этому частному исследованию[2]; когда мы обращаемся из писателей в практических деятелей, мы не хотим раздроблять своих сил и усложнять своего дела смешиванием его заботами о реформах по другим отраслям жизни. О педагогических, семейных, нравственных реформах пусть заботятся другие, или будем заботиться и мы сами, только уже в других книгах или в других проектах законов. Разделение труда нужно для его успешности.

Потому нынешний социализм все свое содержание ограничивает экономическою стороною жизни, точно так же как политическая экономия. Например, в проектах о социалистических брошюрах Луи Блана вы не найдете ровно ничего о вопросах, не входящих в сферу экономической науки[3].

25. Не должно забывать разницу между обязанностями писателя как теоретика и того же писателя как практического деятеля. В очень многих делах обстоятельства заставляют человека ограничиваться усилиями о практическом осуществлении только малейшей части того, что принимает и доказывает он как справедливое и нужное. Кто может отрицать, что война — дело вредное и безнравственное? На практике все мы принуждены пока ограничиваться стараньем, чтобы войны велись несколько реже, чем прежде, законы войны несколько смягчались,— например, было бы отменено каперство[4], было бы ограничено понятие действительной блокады и т. п. Но следует ли выводить из этого, что «при нынешнем состоянии человеческого развития главным предметом наших забот должно быть не уничтожение войны, а только улучшение военных обычаев?». Мало ли чего при каком состоянии общества нельзя осуществить в скорое время. Например, нельзя

скоро достичь и того, чтобы люди не воровали,— должны ли мы поэтому лишать себя права называть воровство вещью, противоречащей общественному спокойствию и благоустройству?

Конечно, и в экономических делах, как во всяких других, надобно в данное время предлагать только такие реформы, которые возможны. Но характер, направление, общий смысл и самые подробности этих возможных и большею частью очень мелких улучшений должны определяться[5] нашими понятиями о том, что хорошо само по себе, независимо от своей осуществимости или неосуществимости в данное время в данной стране. Иначе мы будем беспрестанно сбиваться с дороги и портить без всякой надобности не только будущее, но и настоящее. Когда Торвальдсен принимался, например, во вторник за свою работу,— за какую-нибудь статую,— он знал, что не кончит ее ни в этот вторник, ни в следующий, ни через месяц. Он должен был знать, что в первый день работы и в первую неделю работы и, может быть, гораздо дольше ему придется работать над придаванием куску мрамора тех грубых очертаний, которые все исчезнут, снимутся дальнейшим ходом работы. Но разве все-таки не было нужно ему с первого же дня знать, какой окончательный вид должен получить кусок мрамора, над которым начинает он работать? Ведь если его понятия об этом не установились заранее и если в первые дни работы он думал: «теперь мне еще не нужно соображаться с моим идеалом, который реализируется еще бог знает через сколько недель и месяцев,— ведь если б так, он в первый же день испортил бы свою работу. Отплывает из Англии в Америку пароход; он не сделает своего пути ни в один день, ни в два дня, но ведь с первой же минуты надобно капитану знать и помнить, куда должен приплыть пароход? Говорят: «у каждого дня своя забота» или еще ближе к подлиннику: «каждому дню довольно своей заботы». Так и у этого капитана всякий день довольно хлопот, возникающих именно из особенных обстоятельств этого дня; так каждый день плаванья разнится от других. Но скажите же, важностью у этих ежедневных хлопот уменьшается ли сколько-нибудь необходимость знать окончательное назначение парохода?

Быть может, здесь нелишне будет сделать общую заметку о том, в каком виде представляется нам вероятнейший ход будущей истории экономического быта.

Коммунизм, по справедливому замечанию Милля, берет за основание общественного устройства идеал более

высокий, чем каковы принципы социализма. По этому самому эпоха коммунистических форм жизни, вероятно, принадлежит будущему, еще гораздо более отдаленному, чем те, быть может, также очень далекие времена, когда сделается возможным полное осуществление социализма.

Но, с другой стороны, коммунистическая теория гораздо проще социалистической. Поэтому неразвитая масса усваивает себе коммунистические стремления гораздо легче, чем социалистические, когда по стечению обстоятельств устремляется на переделку общественных отношений. Чтобы сочувствовать социализму, надобно быть приготовлену к довольно сложным комбинациям идей; чтобы сочувствовать коммунизму, достаточно чувствовать на себе отяготительность существующих экономических отношений и иметь обыкновенное человеческое сознание, что несправедливо терпеть нужду человеку, работающему или готовому работать, когда пользуются благосостоянием или богатством люди праздные. Но нечего обольщаться этою легкостью, с какою овладевают мыслями массы коммунистические идеи во время общественных потрясений. Нравы, обычаи, понятия, нужные для коммунистического быта, чрезвычайно далеки от понятий, обычаев, нравов нынешних людей, и при первых же попытках устроить свою жизнь по своим коммунистическим тенденциям люди находят, что эти тенденции, быстро увлекшие их, нимало для них не пригодны. Выражаясь вульгарно, масса тотчас же чувствует, что напросилась с ковшом на брагу. Так, развратник очень скоро находит, что сделал глупость, женившись на порядочной девушке, красота которой казалась ему так заманчива перед свадьбой: эта скромная женщина не может заменить ему подруг, столь же испорченных, как он сам, и он покидает красавицу-жену для лореток, вовсе некрасивых, а часто даже и вовсе дурных лицом. Социализм — кокетка, очень много заимствовавшая у лореток, но все-таки державшая себя прилично женщина порядочного круга. Она гораздо скорее сумеет удержать в своем сожительстве мужа, бывшего развратником до сочетания с ней, и при своей хитрости, быть может, сумеет удержать от распутства сына, которого приживет с этим мужем; вот этот сын, быть может, уже годится для жизни с женою действительно хорошею.

Но мы не думаем, чтобы и самый социализм скоро приобрел господство в экономической жизни. Мы видим в истории, что очень долгого времени требовало порядочное осуществление перемен, совершенно ничтожных перед этою[6]. Посмотрите, например, сколько десятков лет тяну-

лась в Англии и тянется теперь в других странах борьба[7] между протекционизмом и свободою торговли. А что такое эта перемена перед изменением, какое соединено с социализмом? — не больше как поправка одной очевидной опечатки перед полною переработкою всей книги, устаревшей по своему содержанию.

Замена аристократического феодализма господством среднего сословия оказалась в истории делом, требующим нескольких веков, да и это дело после нескольких веков все еще не покончено в самых передовых странах. Не говоря уже об Англии, не говоря о Франции (в которой, по мнению Бокля, аристократизм все еще сохраняет больше сил, чем в Англии,— мнение, противоречащее обыкновенному поверхностному взгляду, но в сущности разве немного утрированное), даже вон в Соединенных Штатах, где как будто вовсе и не существовало аристократии, она[8] обнаружила изумительную силу, подняв южные штаты на войну для сохранения своего господства над Союзом. Сколько же времени понадобится, чтобы приобрел господство в исторической жизни простой народ, которому одному и выгодно и нужно устройство, называющееся социалистическим! По всей вероятности, это будет история очень длинная. Но ведь если 30-летняя война[9] продолжалась 30 лет, из этого еще не следует, что не было сражений и в первый год этой войны. По одному большому сражению в начинающейся вековой борьбе за социализм было уже дано в обеих передовых странах Западной Европы. Во Франции это была июньская битва на улицах Парижа; в Англии колоссальная апрельская процессия хартистов по лондонским улицам. Обе битвы были даны в 1848 г. Обе были проиграны. Но на нашем веку еще будут новые битвы,— с каким успехом, мы увидим. А впрочем, с каким бы успехом ни были даны они, мы должны вперед знать, что проигрыш только возвращает дело к положению, из которого должны возникать новые битвы, а выигрыш,— не только первый, который и сам когда-то еще будет,— но и второй, и третий, и, может быть, десятый еще не дает окончательного торжества, потому что интересы, охраняющие нынешнюю экономическую организацию, страшно сильны. Разве одним ударом или двумя ударами была разрушена Римская империя?

Этот взгляд многие принимают за безнадежность, отчаяние. Но какая же тут безнадежность, если я полагаю, что не с первого же приема выучились люди строить пароходы так хорошо, как строят теперь. Другие, напротив, называют тот же взгляд фанатическим или утопическим.

Но трудно согласиться, что нужен фанатизм или утопизм, чтобы иметь непоколебимое убеждение в неотразимости силы распространяющегося просвещения: неужели нельзя быть человеком хладнокровным и рассудительным тому, кто утверждает, что грамотность и образованность в народе постепенно увеличивается, что благодаря этому народ постепенно привыкает понимать свое человеческое достоинство, распознавать невыгодные для него вещи и учреждения от выгодных и обдумывать свои надобности?[10] Да что тут сомнительного-то? А если из этого несомненного исторического закона возникают какие-нибудь непривычные для нашей рутины или невыгодные для наших интересов последствия, то сколько хотите отворачивайтесь от них, а все-таки хода истории не остановите.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ФИЛОСОФИИ

(**«Очерки вопросов практической философии»**. Сочинение *П. Л. Лаврова*. I. Личность. СПб. 1860).

I

Если бы брошюра г. Лаврова могла служить только предметом критического разбора, и если бы мы стали читать ее с мыслью написать потом разбор понятий, излагаемых в ней, мы с первых же страниц отказались бы от ее чтения, потому что — скажем откровенно — мы не читали большей части тех многочисленных книг, которые приняты в соображение автором, и даже думаем, что никогда не прочтем их; а без знакомства с ними нельзя с точностью оценить специального достоинства брошюры г. Лаврова. Но она не только прочтена нами,— она даже послужила причиною того, что мы написали довольно длинную статью, имеющую самые тесные отношения к ней.

Исследования г. Лаврова прямо начинаются ссылкою на писателя, из книг которого ни одна не прочтена нами,— цитатою из Жюля Симона, очень известного французского теоретика. Если бы мы не знали, к какому направлению принадлежит этот писатель, довольно бы было нам увидеть две строки, приводимые из него в самом начале брошюры, чтобы лишиться охоты знакомиться с ним: «сочинение, относящееся к политической теории и чуждое текущей политики, есть теперь почти новость»,— говорит Жюль Симон, по свидетельству г. Лаврова, в начале своей книги «Свобода». Этого десятка слов, приведенных из него, достаточно, чтобы заметить в их авторе совершенное непонимание того порядка, по которому происходят все дела на свете и, между прочим, пишутся теоретические сочинения. Ныне политические теории создаются под влиянием текущих событий и ученые трактаты служат отголосками исторической борьбы, имеют целью задержать или ускорить ход событий. По мнению Жюля Симона, прежде было не так — иначе он не употребил бы слова «теперь». Этого мало: Жюлю Симону кажется также, что все люди нашей эпохи, а в том числе и ученые, поступают не совсем хорошо, являясь не простыми представителями или последо-

вателями абстрактных учений, не имеющими никакого родства с страстями своей страны в свое время, а истолкователями и защитниками стремлений каждый своей партии: если б он не порицал их за это, он не называл бы свою книгу сочинением, «чуждым текущей политики». Наконец он воображает, что может обмануть читателей, или чистосердечно полагает сам, что говорит правду, титулуя свою книгу сочинением, «чуждым текущей политики». Под влиянием трех этих воззрений написаны слова, приведенные из Жюля Симона г. Лавровым, и все эти три воззрения ошибочны до такой очевидности, что свидетельствуют или о необыкновенной наивности и недальновидности Жюля Симона, или о совершенном недостатке правдивости в его языке. Мы склоняемся к первому предположению, потому что человек хитрый умеет хитрить, а Жюль Симон говорит несообразности слишком явные, которые могут внушаться только крайнею наивностью.

Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политическою стороною жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббз был абсолютист, Локк был виг, Мильтон — республиканец, Монтескьё — либерал в английском вкусе, Руссо — революционный демократ, Бентам — просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг — представитель партии, запуганной революциею, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы в надежде не до-

пустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди,— это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто бы не было и прежде всегда того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений,— это чрезвычайная наивность, а еще наивнее выражать такую мысль о тех мыслителях, которые занимались в особенности политическим отделом философской науки.

Но пусть себе будут похожи или непохожи на прежних мыслителей нынешние мыслители тем, что служат представителями политических партий; как бы там ни было в старину, а теперь мы видим, что каждый человек с развитою головою очень сильно интересуется политическими событиями: газету читают даже те люди, которые не в состоянии читать книг сколько-нибудь серьезных: чем же виноваты мыслители нашей эпохи, когда не отстают в умственном развитии от офицеров и чиновников, помещиков и фабрикантов, лавочных сидельцев и мастеровых? Разве мыслителю необходимо быть тупоумнее и слепее каждого грамотного человека? Всякий, достигший какой-нибудь умственной самостоятельности, имеет политические убеждения, судит обо всем по соображению с ними,— чем же виноват философ или политический теоретик, когда его образ мыслей не лишен смысла, какой есть в образе мыслей каждого из людей, просвещать которых он берется? Неужели учитель должен быть невежественнее ученика? Неужели человек, пишущий о предмете, должен интересоваться им меньше, чем интересуются люди, не принимающие на себя претензии печатать теорию этого предмета? Нужна баранья наивность, чтобы порицать ученого за то, что он не глупее и не тупее неученых людей.

Но забавнее всего простодушие, с каким Жюль Симон хочет убедить публику или успел убедить даже самого себя, будто бы его книга чужда текущей политики. Мы слыхивали о характере теоретических книг, писанных Жюлем Симоном в разные годы. При июльской монархии его доктрина отличалась умеренным духом свободы и снисходительными полуодобрениями, полупорицаниями людям действительно прогрессивным. Во время республики элемент свободы припрятался у него под ожесточенною реакциею против решительных прогрессистов, которые тогда

едва не захватили власть в свои руки. Когда упрочилась империя и решительные прогрессисты стали казаться бессильными, а реакция совершенно восторжествовала, Жюль Симон стал писать в духе очень яростного свободолюбия. Из этого мы видим, что его теории отражали на себе не просто только убеждения его партии, а подчинялись даже каждому кратковременному состоянию чувства этой партии. Если б мы и не читали об этом факте, мы наверное могли бы знать, что дело происходило таким образом: для нас довольно было бы знать, что Жюль Симон пользуется во Франции некоторою репутациею и, следовательно, не совершенно лишен ума: умный человек не может не замечать событий, происходящих около него, не принимать их в соображение,— стало быть, и его система не может не отражать на себе хода событий. Это понимает всякий, кроме немногих, слишком наивных людей. Г. Лавров прямо замечает, что цитуемый им автор не сдержал своего несбыточного обещания. А если так, к чему было Жюлю Симону взводить на себя неправдоподобную небылицу уверением в изолированности своей системы от влияния текущей политики?

Человек, который говорит такие наивные несообразности, может быть добродетельным семьянином, хорошим гражданином, приятным болтуном; но мыслителем он быть не может, потому что у него в голове нет логики. Если он сделается писателем, его произведения могут иметь достоинства беллетристические, археологические и всякие другие, но не могут иметь ровно никакого философского значения. Поэтому мы лишаем себя всякой надежды прочесть философские сочинения Жюля Симона. Если бы мы захотели фельетонных достоинств, мы прямо стали бы читать фельетоны г-жи Эмиль Жирарден, Луи-Дюнойе, Теофиля Готье; если бы мы захотели наслаждаться поэзиею, мы стали бы читать романы Жоржа Занда, песни Беранже; если бы, наконец, мы захотели просто читать пустую болтовню, мы взялись бы за романы Александра Дюма-старшего или, пожалуй, младшего, или даже маркиза Фудраса; но какая охота была бы нам читать философские книги Жюля Симона, в которых может быть много приятной болтовни, фельетонной соли или даже поэзии, но которые все-таки по самому своему предмету далеко отстают этими достоинствами от порядочных фельетонов, хороших и даже плохих романов, а не имеют того достоинства, из-за которого становится интересным философское сочинение,— не имеют логики?

Точно так же мы не думаем, чтобы нам удалось прочесть сочинения нынешнего Фихте, о котором известно нам то, что о нем всегда выражаются: «сын знаменитого Фихте». Такая рекомендация напоминает нам анекдот, случившийся в Петербурге лет пять или шесть тому назад. Встретились где-то на вечере два незнакомые господина и, потолковав между собой, почувствовали желание познакомиться. «С кем я имею удовольствие говорить?» — спросил один из них. Другой назвал свою фамилию и в свою очередь спросил: «а с кем я имею удовольствие говорить?» — «Я муж г-жи Тедеско», отвечал его собеседник. Мы никогда не имели охоты слушать пение мужа г-жи Тедеско.

По тем же самым основаниям, которые отнимают у нас возможность познакомиться с сочинениями Жюля Симона и Фихте-сына, мы не читали и не прочтем философских произведений Шопенгауэра и Фрауэнштета. Они, по всей вероятности, прекрасные люди, но в философии они то же самое, что в поэзии г-жа К. Павлова, одно из произведений которой, «Разговор в Кремле», также цитуется г. Лавровым.

По недостатку знакомства с многими из источников, которыми пользовался г. Лавров, мы, конечно, не можем в точности оценить достоинство его произведения. Мы можем предполагать только одно: если бы он не имел бо́льшего философского дарования, чем Жюль Симон, Фихте-сын, то в его брошюре был бы тот же самый вовсе не философский дух, какой находится в их произведениях, и его «Теория личности» была бы так же плоха, как их теории. Но его брошюра должна быть положительно признана хорошею. Из этого надобно заключать, что г. Лавров заметил многие ошибки тех посредственных философов, которых изучал, что он умел понять многие вещи гораздо лучше, нежели они, словом сказать, что недостатки его брошюры произошли из других книг, каковы книги Жюля Симона и Фихте-сына, а достоинствами своими брошюра обязана в очень значительной степени самому автору. Мы думаем, что это предположение верно, и потому желаем, чтобы г. Лавров продолжал писать статьи о философии.

Точно так же в большую заслугу ему надобно вменить и то, что он изучает философию не по одним мыслителям такого разряда, как Шопенгауэр и Жюль Симон. В нашем обществе, которое так мало знакомо с истинно великими нынешними мыслителями Западной Европы, которое считает лучшими руководствами к изучению философии или произведения людей нынешнего поколения, далеко от-

ставших от современного развития мысли, или творения мыслителей великих, но уже слишком давних и переставших быть удовлетворительными при нынешнем развитии наук и общественных отношений,— в нашем обществе за великую заслугу надобно считать то, когда человек, кроме плохих или обветшалых руководств, рекомендуемых ему всеми встречными и особенно всеми специалистами, сам доискивается до лучших руководств, умеет найти их, умеет понять их. Г. Лавров бо̀льшую часть пути ведет своих читателей по прямой и хорошей дороге вперед: это делает ему большую честь, потому что никто в нашем обществе не показывал ему этой дороги, а, вероятно, все, когда-нибудь служившие ему советниками, толкали его на разные кривые тропинки, ведущие по болоту и большею частию назад, а не вперед.

Мы высоко ценим обе эти заслуги: и ту, что г. Лавров имел силу додуматься до результатов гораздо лучших того, что давали ему какие-нибудь Фихте-сыновья и Жюли Симоны; и ту заслугу, что он умел найти для своих философских исследований руководства, гораздо лучшие посредственных и отсталых книг. Но соединение прекрасных мыслей, заимствованных из действительно великих и современных мыслителей или внушенных собственным умом, с понятиями или не совсем современными, или принадлежащими не тому образу мыслей, какого в сущности держится г. Лавров, или, наконец, принадлежащими особенному положению мыслителя среди публики, не похожей на нашу, и потому получающими неверный колорит при повторении у нас,— это соединение собственных достоинств с чужими недостатками придает, если мы не ошибаемся, системе г. Лаврова характер эклектизма, который производит неудовлетворительное впечатление на читателя, знакомого с требованиями философского мышления. В брошюре г. Лаврова встречаются мысли, которые едва ли совместны между собою. Мы приведем один пример тому.

Г. Лавров — мыслитель прогрессивный, в этом нет никакого сомнения. По всему видно, что он проникнут искренним желанием содействовать своему обществу в приобретении тех нравственных и общественных благ ⟨,которых мы до сих пор лишены по своему невежеству, мешающему нам сознать цели для своих стремлений и понять средства, необходимые для достижения этих целей⟩. Между тем на первой же странице книжки мы встречаем фразу «общественный деспотизм Соединенных Штатов», и к этой фразе прибавлена для подтверждения цитата из

книги Милля «On liberty»[1]: «Утверждают, что в Соединенных Штатах чувствования большинства, которому неприятно обнаружение более заметного или более богатого образа жизни, чем образ жизни, доступный этому большинству, действуют как довольно действительный закон против роскоши, и во многих местах Союза для лица, имеющего значительный доход, действительно трудно найти средства его тратить, не навлекая на себя народного неудовольствия». Миллю хорошо говорить это: английская публика знает, как понимать его слова, а наша публика подумает бог знает что, услышав их без объяснений. Г. Лавров приводит отрывок из Милля не для какой-нибудь важной цели, а просто для того, чтобы увеличить четырьмя словами «общественный деспотизм Соединенных Штатов» длинный список разных политических или общественных форм, пережитых или переживаемых западным человечеством. Для такой неважной надобности, как представление 27 указаний вместо 26, не стоило затрогивать факта, требующего слишком длинных рассуждений. Напрасно г. Лавров привел его; но еще хуже, по нашему мнению, вышло оттого, что он, указав на факт, не сказал нашей публике о его смысле. Мы должны дополнить этот недостаток. Во-первых, факт, называемый у г. Лаврова общественным деспотизмом, существует не во всех Соединенных Штатах, а почти исключительно в одной части их, в так называемых штатах Новой Англии и главным образом в городе Бостоне. Во-вторых, этот факт, вовсе, как видим, не повсеместный, составляет не последствие североамериканских учреждений, как думают поверхностные наблюдатели, а просто остаток пуританства, ослабевающий с каждым годом: известно, что штаты Новой Англии были основаны пуританами, которые считали роскошь грехом. В-третьих, даже и между потомками пуритан стеснение существует вовсе не в такой значительной степени, как полагают доверчивые люди, принимающие за чистую монету слова богатых скряг: скряги везде ищут предлога для извинения своей чрезмерной скупости; обыкновенно они жалуются на свое безденежье, на тяжелые времена, а в штатах Новой Англии приискали еще новый предлог — мнимую стеснительность какого-то поверья, почти уже переставшего существовать.

Если уже говорить об общественном деспотизме в Северной Америке, то следовало бы указать не на эту ничтожную черту отживающей старины, а на другое явление, которым производятся теперь такие сильные смуты в Соединенных Штатах: в той части их, которая сохранила

невольничество, общественное мнение, находясь под владычеством плантаторов, не допускает ни одного слова, похожего на аболиционизм, люди, говорящие против невольничества, подвергаются грабежу, изгнанию и уголовным наказаниям. Но довольно сказать, что в этой половине Союза, в южных или невольнических штатах, господствует аристократия: вся власть фактически принадлежит нескольким десяткам тысяч богатых плантаторов, которые держат в невежестве и нищете не только своих негров, но и массу белого населения этих штатов. Известно, что вся земля в Виргинии и других старинных невольничьих штатах принадлежит потомкам старинных вельмож, получивших ее по пожалованью при Стюартах. Они постепенно расширяли свои владения и на те страны, в которых основаны новые невольничьи штаты; они держат шайки бандитов, подобных знаменитому Уокеру. Вообще, разница между Неаполем и Швейцариею не так велика, как разница между южною и северною половинами Соединенных Штатов. Северные (свободные) штаты только в последнее время стали сознавать, что до сих пор сохраняли над Союзом преобладание аристократы южных (невольничьих) штатов, и коренной смысл нынешней борьбы между аболиционистами и плантаторами заключается в том, что демократия, господствующая в северных штатах, хочет вырвать политическую власть над Союзом из рук аристократов-плантаторов *.

Западная Европа очень богата политическими опытами, политическими теориями, говорит г. Лавров, но к чему же она пришла, так дорого заплатив за опыты, употребив так много умственных сил на оценку их? Она пришла только к чувству неудовлетворенности своим настоящим, к страху за свое будущее: «Везде критика и критика; надежды, недавно кипевшие с такою силою, ослабели; будущее

* В Северной Америке многие слова, относящиеся к политической жизни, употребляются не в таком смысле, как в Европе; от этого происходят чрезвычайно частые ошибки в европейских суждениях о североамериканских делах. Аболиционисты, которых по европейским понятиям следует называть демократами, называются теперь в Северной Америке просто республиканцами; их противники, аристократы, присвоили себе имя демократов. Как произошло такое превращение имен, рассказывать здесь было бы неуместно, и мы замечаем о нем только для того, чтобы читатель видел, что мы, приписывая аристократический характер защитникам невольничества в Соединенных Штатах, не забыли о названии демократов, которое они фальшиво себе присвоили. Такие превращения в смысле политических слов встречаются очень часто и в европейской истории. Например, во Франции патриотами в конце прошлого века назывались республиканцы, а в Германии в начале нынешнего века тем же именем звали себя защитники феодальных учреждений.

страшно для всех». Этот вывод г. Лавров подтверждает выписками из Жюля Симона, Милля и из автора книги «De la Justice»[2]. О мнениях Жюля Симона мы не станем говорить, но обратим внимание на взгляды двух других писателей, цитуемых г. Лавровым, потому что они люди действительно очень умные и совершенно честные.

Милля мы очень уважаем; он один из самых сильных мыслителей нынешней эпохи и сильнейший мыслитель между экономистами, которые остались верны учению Смита. Впрочем, последняя рекомендация сама по себе еще не могла бы служить меркою ума, потому что других сколько-нибудь сильных в логике людей это экономическое направление решительно не имеет. Но, говоря не по сравнению с другими экономистами смитовской школы, с которыми неприлично сравнивать людей большого ума, а по сравнению вообще с учеными людьми по всем наукам, Милля можно назвать принадлежащим к разряду тех второстепенных, но все-таки очень замечательных мыслителей, силу мысли которых мы яснее всего определим, если скажем, что она так же велика, как, например, сила поэтического таланта у лучших из нынешних наших беллетристов. Г. Писемский, например, вовсе не Гоголь, но все-таки его талант далеко не дюжинный. Точно так и Миллю далеко до таких людей, как Адам Смит или Гегель, или Лавуазье — до людей, вводивших в науку новые основные идеи; но довольно самостоятельно развивать идеи, уже получившие господство, пройти несколько шагов вперед по направлению, уже указанному другими, это дело таких людей, как Милль. Они заслуживают большого уважения. Посмотрим же, что̀ говорит Милль и почему он так говорит.

Его можно характеризовать одним недавним делом. Читателю известно, что в Англии стоит теперь на очереди вопрос о понижении избирательного ценза. Самые отсталые консерваторы согласны, что это — дело неизбежное. Они всячески стараются затянуть его, стараются уменьшить размер его, говорят о рискованности больших перемен, об опасностях, угрожающих конституции; но сознаются, что какую-нибудь уступку надобно сделать. В начале прошлого года, когда умы, еще мало развлеченные внешними делами, были сильно заняты понижением ценза, Милль издал брошюру и напечатал письмо, в которых объяснял, что прежде, нежели давать права людям какого-нибудь сословия, надобно сделать точные ученые исследования об умственных, нравственных и политических качествах людей этого сословия. Мы не знаем, говорил он,

каковы политические убеждения разных разрядов работников, мелких лавочников и других людей, не пользующихся теперь политическими правами: кого они будут выбирать своими представителями, на какой путь повлекут их представители палаты общин? Но главным предметом его замечаний был вопрос о замене открытой подачи голосов на выборах тайною баллотировкою. Консерваторы говорят, что открытая подача голосов развивает в человеке гражданскую доблесть, прямодушие и всевозможные другие добродетели, а тайная баллотировка нужна только трусам, которые лучше пусть и не участвуют в общественных делах, пока не приучатся быть доблестными гражданами, или людям двоедушным, которые на словах будут обещать свой голос одному кандидату, а подадут голос за другого. Все прогрессисты, напротив, требуют тайной баллотировки, говоря, что только ею ограждается независимость избирателя. Милль, хотя сам большой прогрессист в теории, не побоялся высказать, что не разделяет в этом случае мнения своих политических друзей. Это делает ему, как человеку, тем больше чести, что прежде он думал иначе и теперь с откровенным благородством прямо говорит, что принужден отказаться от своего прежнего мнения, как неосновательного. Значила ли эта брошюра, восхитившая собою всех консерваторов, что Милль перестал быть прогрессистом? Нет, в теории он попрежнему защищает предоставление избирательного голоса всем взрослым людям; он идет тут гораздо далее самих хартистов, доказывая, что голос на выборах должен быть дан и женщинам, тогда как даже хартисты говорят только о мужчинах. Но дело в том, что к живому вопросу Милль приступает с идеальным желанием повести его путем действительно наилучшим, по научному взгляду: прежде чем сделать перемену, конечно, надобно собрать самые лучшие и полные данные о качествах предмета, к которому относится перемена, чтобы с математическою точностью можно было предсказать ее результаты. Так и делают, например, в таможенных реформах: высчитают до последней копейки, насколько уменьшится в первый год таможенный сбор от понижения пошлины, с какою быстротою начнет он потом возрастать, во сколько лет и до какой цифры возвысится. Милль хотел бы, чтобы и парламентская реформа была произведена таким же разумным и осмотрительным порядком. Не собрано статистических данных о том, какое число людей честных и вовсе не трусливых поставлены своими житейскими обстоятельствами в такую зависимость, что при открытой подаче

голосов принуждены или вовсе не являться на выборы, или подавать голос не за того кандидата, которого предпочитают в душе. Сведений этих не собрано, потому и Милль после многолетнего обдумывания решил наконец, что нет достаточных оснований предпочесть тайную баллотировку открытой подаче голосов. А если бы собрать доказательства, достаточные для возведения наклонности прогрессистов к тайной баллотировке в научную истину, Милль был бы очень рад разделять желания своих политических друзей. Словом сказать, он в своей брошюре явился человеком очень честным и таким же прогрессистом, как прежде, только выставил непрактичные требования. От чего же эта непрактичность? Просто от слишком сильного желания, чтобы развитие общественной жизни шло путем совершенно рассудительным. На деле этого не бывает в важных вещах ни в жизни отдельного человека, ни в народной жизни. Совершенно хладнокровно, спокойно, обдуманно, рассудительно делаются только вещи не слишком важные. Посмотрите на человека, с какой обдуманностью, как умно выбирает он, какую девицу ангажировать на кадриль или мазурку: как зорко оценивает он и красоту, и нарядность, и приятность в разговоре, и ловкость в танцах избираемой им дамы, прежде чем подойдет к ней с предложением. Но ведь это потому, что дело тут неважное для него. Так ли он поступит при выборе невесты? Дело известное, что почти все порядочные люди становятся женихами, сами не зная, как это случилось: кровь разгорячена, сорвалось с языка слово — и кончено. Правда, и при выборе невесты поступают обдуманно, благоразумно очень многие; но ведь это бывает лишь в тех случаях, когда женитьба представляется решающемуся на нее делом простого комфорта, то есть разве немногим поважнее, чем приискивание удобной квартиры или хорошего повара. Даже из людей, женящихся просто с корыстными целями, слишком часто делают нерассудительный выбор те, у которых желание обогатиться доходит до страсти. Где замешана страсть, там обдуманность и хладнокровие невозможны: это истина, известная по прописям. Каждый важный общественный вопрос возбуждает страсти — это дело также известное. Если реформа касается только небольшой части общества или, затрогивая интересы всех, представляет для каждого риск лишь незначительного убытка или выигрыша, словом сказать, если реформа не очень важна, она может производиться хладнокровным путем. Так, например, понижение пошлины на чай или сахар произведено было в Англии очень спокойно

и рационально: кому охота была волноваться из-за того, что уменьшится несколькими пенсами цена фунта чая или несколькими шиллингами цена центнера сахара? Каждому было приятно получить через это возможность сберечь десятка полтора или два шиллингов в год; но кому надобность горячиться из-за такой мелочи? Убытка не приносила реформа никому. Но большой убыток приносила английским судохозяевам другая реформа, также очень полезная: отмена навигационного акта, по которому английские суда пользовались в английских гаванях таможенными преимуществами перед иностранными. Сословие судохозяев доходило до ярости в то время и до сих пор кипит злостью, с неистовством требует, чтобы восстановили навигационный акт. Зато это сословие составляет лишь ничтожную часть в торговом классе, который, за исключением судохозяев, весь выигрывал через реформу. Люди раздраженные были бессильны, и потому дело велось обществом очень холодно. Но так ли были отменены хлебные законы, когда теряли привилегию люди сильные в английском обществе? Читатель знает, что людям, хотевшим этого полезного дела, только тогда удалось побороть могущественную оппозицию, когда разыгрались страсти в большинстве общества, много выигрывавшего от важной реформы; а когда общество взволновалось страстью, холодное ведение дела невозможно. Разве у Роберта Пиля достало времени на многолетние статистические изыскания, когда подошла неизбежность перемены?[3] Нет, какие сведения были, теми и воспользовались, медлить было нельзя. А ведь это не совсем рационально: почему знать, если бы глубже вникнуть в дело, быть может, некоторые подробности закона обработались бы лучше? Быть может, представилась бы возможность вполне достичь цели, не повредив выгодам многих противников реформы, действительно подвергнувшихся через нее убытку? Конечно, так, но очень важные для общества дела никогда так не делались. Посмотрите, каким путем уничтожался феодализм или обращалась в ничтожество инквизиция, или получались права средним сословием, вообще уничтожалось какое-нибудь важное зло или вводилось какое-нибудь важное благо. Милль очень хорошо понимает это как научную истину, как общий принцип исторического развития; но когда пришлось видеть на опыте приложение этого принципа, он смутился и стал говорить бог знает что. Отчего же смущение перед фактом у человека, ясно понимающего и отважно допускающего принцип, из которого родился этот факт? Просто от разницы

впечатления, производимого отвлеченной мыслью и фактом, действующим на чувства. Осязаемый предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем. Человек, хладнокровно рассуждающий о том, что он сделает в данном случае, редко имеет силу сохранить все спокойное присутствие духа при действительном появлении этого случая, если он сколько-нибудь действительно важен. Когда он приятен, при первых признаках его появления нами овладевает радостное волнение; когда он неприятен — тяжелый трепет, и ощущения эти возбуждаются так легко, что очень часто производятся даже простым обманом чувств; действительных признаков еще нет, но мы уже радуемся или тоскуем по наклонности отыскивать во всем следы занимающего нас предмета, принимая за признаки приближающегося факта такие явления, которые на самом деле нимало не относятся к нему. Оттого-то каждая политическая партия постоянно видит приближение своего идеала, истолковывая каждая по-своему одни и те же явления, как признаки совершенно противоположных одна другой перемен. Как бы то ни было, основательно или неосновательно бывает ожидание великих перемен, с радостью или тоскою ждут их заинтересованные люди, но дело в том, что их суждение, справедливое или несправедливое, никак не может быть хладнокровно. Мы видели, с какими чувствами принял Милль фактические признаки приближения парламентской реформы, необходимость которой он сам признает в теории. Отвлеченным образом он желает ее, но факт навел на него некоторую робость. Это значит, что в сущности лично для него перемена неприятна, что у него достало нравственного мужества побороть эту неприятность в теории, но недостало силы победить более сильное впечатление, производимое фактом.

Теперь мы можем обратиться к тому общему суждению о положении дел в Западной Европе, которое берет из Милля г. Лавров. Вот слова Милля: «Современное направление общественного мнения представляет то же самое в неорганизованном виде, что мы видим организованным в китайской политической и педагогической системе; и если личности не будут способны успешно восстать против этого ярма, то в Европе, несмотря на ее благородное прошедшее и на исповедуемое ею христианство, разовьется второй Китай». У нас многие с большим удовольствием схватились за эти слова, принимая их за чистую монету; другие сильно огорчились от них. Западная Европа идет к состоянию китаизма, она уже не в силах выработать но-

вых форм жизни, она будет только заканчивать систематическую постройку прежних форм, уже оказывающихся неудовлетворительными; потребности настоящего, несовместные с ними, будут подавлены преданием, и на всем Западе водворяется однообразная методичность насильственной рутины, какую мы видим в Китае. Так говорят некоторые даже из самых лучших наших людей и указывают на грустный приговор Милля, как на подтверждение очень сильное. Но легко сообразить, какого доверия заслуживают в подобных вещах впечатления человека, смутившегося даже такою частною переменою, как парламентская реформа, и притом переменою, являющеюся в таком умеренном объеме, какой принадлежит требованиям даже радикальной партии парламента в лице ее представителя Брайта, который притом лишен надежды достичь осуществления даже своих предложений в самом смягченном и ослабленном их виде. Если Милль смутился от парламентской реформы, то можно ли ожидать, чтобы он хладнокровно рассудил о признаках перемены, которая стремится обнять всю общественную и частную жизнь Западной Европы, изменить все учреждения и нравы, начиная с государственных форм и кончая семейными отношениями и экономическими постановлениями? Что мудреного, если от признаков такой громадной перемены затмится холодная ясность суждения у человека, который может без особенного трепета анализировать отвлеченные понятия, но которому лично неприятны факты, соответствующие этим понятиям? В приведенных г. Лавровым словах Милля мы видим не анализ сущности дела, а только впечатление, производимое этим делом на человека, имеющего благородный образ мыслей, но по своим личным обстоятельствам принадлежащего к сословиям, ожидающим себе потерь от перемены, выгодной для всего общества. Когда он говорит: Западная Европа находится в кризисе, исход которого сомнителен; отвратить этот кризис, остановить развитие вещей, вернуться к прошлому невозможно; но неизвестно, чем кончится кризис: приведет ли он Западную Европу к развитию более высоких форм жизни или к китаизму, к деспотизму под формою свободы, к застою под формою прогресса, к варварству под формою цивилизации,— когда он говорит это, нам припоминаются чувства и слова честной части английских лендлордов во время отмены хлебных законов. Те лендлорды, которые имели благородный образ мыслей, также говорили тогда: да, мы видим, что отменить хлебные законы необходимо; всякое сопротивление останется напрасно и может

только увеличить размер окончательной победы Кобдена с его товарищами, но к чему приведет эта неизбежная перемена? Не убьет ли она английское земледелие? Не разорит ли она наше сословие? — это бы еще ничего: свою беду мы перенесли бы безропотно,— но не разорит ли она и фермеров, не пустит ли по миру голодными и миллионы деревенских рабочих, пашущих поля для наших фермеров? Эти люди говорили добросовестно; однакоже факт показал неосновательность их мрачных сомнений, и постороннему зрителю с самого начала было видно, что подобные опасения за будущность внушались этим людям только невыгодностью перемены для сословия, к которому они принадлежали. Точно таково же происхождение боязни Милля за будущность Западной Европы: его сомнение о предстоящей судьбе цивилизованных стран не больше, как возведенное личным чувством в общую формулу предчувствие того, что дальнейшее развитие цивилизации будет уменьшать привилегии, присвоенные сословием, к которому сам он принадлежит. Постороннему человеку очень заметна неосновательность силлогизма, обращающего в опасность для всего общества потерю привилегий.

В Милле мы видим представителя чувств, с которыми благородные люди богатых сословий Западной Европы встречают предстоящую перемену общественных отношений. Не менее любопытен характер воззрений другого мыслителя, служащего представителем умственного положения простолюдинов Западной Европы. Автор книги «De la Justice» был сын деревенского бочара,— не какого-нибудь хозяина большой мастерской,— нет, простого деревенского мужика, который сам и один, без всяких наемных работников, набивал обручи на мужицкие бочки и жил так же бедно, как все мужики той деревни. В детстве своем мыслитель отчасти служил пастухом, отчасти помогал отцу набивать обручи. Некоторые добрые люди зажиточного сословия, заметив ум мальчика, помогли отцу отдать его в безансонскую гимназию. Но книг покупать ученику было не на что, и он учил уроки уже в классной комнате, в немногие минуты перед начатием класса, по книгам своих товарищей. Бедность семейства скоро заставила его бросить гимназию, чтобы снова стать работником; на 19-м году удалось ему поступить в одну из безансонских типографий наборщиком; через несколько лет сделался он корректором, а потом достиг должности фактора. Так прошло целых 15 лет; молодой наборщик читал книги, думал, пробовал сам писать кое-что, и за одно из своих сочинений получил трехлетнюю стипендию в

1 500 франков от безансонской академии (общества любителей словесности). Это помогло ему в занятиях. Он продолжал писать, оставаясь типографским работником; но безансонская академия уже отвергала его новые труды, заметив, какой неблагонамеренный характер обнаруживается в образе мыслей ее стипендиата, который сначала представился ей человеком самых консервативных понятий. Между тем автор, оказавшийся очень дельным человеком по управлению коммерческими делами, приискал себе место комиссионера (управляющего) в конторе водяной и сухопутной транспортировки братьев Готье в Лионе. В этой конторе служил он до самого 1848 года, который доставил ему возможность жить уже одними литературными трудами. Управляя конторой Готье, он был дельцом очень распорядительным и практичным, так что привел в цветущее положение фирму, в которой служил.

Эта внешняя сторона жизни автора книги «De la Justice» служит верным отражением общих отношений западного простонародья в его трудовой жизни. Простонародье должно выбиваться из самого жалкого положения; благосостоятельным классам сначала бывает жалко видеть людей умных, честных, трудолюбивых находящимися в безвыходной бедности и в унижении; сильные мира помогают по чистому человеческому чувству своим менее счастливым братьям; благодаря сострадательной заботливости зажиточных людей, сын бедного мастерового, пастух и ученик бочара поступает в школу, выводится на дорогу, по которой и придет к почету и выйдет из бедности. Но помощь эта, при всей своей похвальности, недостаточна, заботливость эта, при всей своей гуманности, не довольно внимательна: мальчик, прежде чем обратился в юношу, уже остается без хлеба, должен бросить путь к хорошему положению в обществе, чтобы кормить себя и свою семью черной работой. Много гибнет тут сил и времени в неблагодарном труде поденщика, живущего со дня на день, работающего 14 часов в сутки, чтобы иметь неверную и скудную пищу. Но природные дарования велики у него; он еще ничему не выучился, зато узнал, по крайней мере, что спасение может быть дано ему только наукой: он уже не отстанет от умственного труда, как бы ни стесняли его обстоятельства. Притом же он хочет знать правду. Кроме материальной потребности знания, в нем уже развита любознательность. И вот, урывая время от сна, отказывая себе во всяком развлечении, даже в отдыхе, он посвящает час или полчаса позднего вечера чтению, как бы ни чрезмерна была черная работа, занимавшая его целый день.

Таким образом, учится он много; а мыслит он еще больше: голова его думает над общечеловеческими вопросами и над вопросами о положении целого его сословия, пока руки его исполняют черную работу. Тяжел и длинен этот путь: пятнадцать лет нужно ему на то, чтобы приобрести сведения, которые при лучших условиях приобрел бы он в два-три года. Зато было у него время глубоко обдумывать все, что узнает он, и мысль его получила великую проницательность. Вот он знает уже все, что знают ученые люди, а судит он яснее их; он может сообщить им нечто достойное их внимания: в его мыслях есть нечто новое, потому что порождены они жизнью, какой не испытывают классы, имеющие ученых людей. На первый раз это новое так же нравится ученым порядочного общества, как нравилась прежде даровитость деревенского мальчика: они одобряют труженика; он продолжает свой умственный труд, развивает свои мысли; но тут догадываются наконец его покровители, что есть какая-то вредная сторона в его мыслях, показавшихся сначала такими невинными. Прежнее довольно гордое участие к нему заменяется в них подозрительностью, она усиливается, подтверждается, переходит в положительную нелюбовь, потом в ненависть к нему за его вредный образ мыслей, за его гибельные стремления; он отвергнут всеми, кто имеет хорошее положение в обществе, подвергается гонениям; но уже поздно: он уже не нуждается в покровительстве, он уже сильнее преследователей, он знаменит, и все его трепещут, потому что он сокрушает каждого, на кого принужден поднять руку. Эта биография отдельного человека — история сословия, к которому он принадлежит.

Этот человек интересен, как полный представитель умственного положения, до которого возвышается на Западе простолюдин. Переходя к его теориям, мы также найдем, что история его развития отразилась в них всеми своими сторонами и в том числе своими недостатками. Он — самоучка; по каким книгам он учился? Знал ли он, какие книги выбирать, знал ли он, на какие учения обращать внимание, как на учения действительно современные? Нет, он учился по книгам, какие попадались ему в руки, а чаще всего попадаются книги, написанные в духе теорий, уже получивших господство в обществе, то есть теорий уже довольно старых и значительно устаревших. Такова судьба всякого самоучки. Если кто-нибудь из нас, не учившихся, например, химии, вздумает заняться этой наукой и не будет вовремя иметь хороших руководителей, он, наверное, возьмется или за школьные руководства, слу-

жащие вместилищем всякого хлама, или за книги химических знаменитостей, слава которых уже распространилась в обществе: за Либиха, может быть даже за старика Берцелиуса; а люди, знакомые с химиею в нынешнем ее виде, говорят, что понятие не только Берцелиуса, но Либиха уже устарели, уже не годятся в руководство человеку, который хотел бы узнать химию в нынешнем ее виде; что науку эту надобно теперь изучать по другим писателям, а книги Либиха могут служить с пользою только уже для справок, только уже человеку, усвоившему себе другой взгляд на дело.

Г. Лавров занят философскою стороною системы автора книги «De la Justice», и мы обратим внимание здесь также на эту сторону, хотя для экономической науки его сочинения гораздо важнее, чем для философии. Автор книги «De la Justice» далеко превосходит всех своих французских соперников тем, что знаком с немецкою философиею. Ни о каком другом французском философе нельзя сказать, чтобы он владел этим знанием. Говорят, будто бы Кузен изучал Шеллинга и Гегеля; но они оба находили, что он решительно не понимает духа их учений, под именем их систем воображает себе какую-то нелепицу, составившуюся в его голове из смеси непонятых немецких выражений с принципами, противоречащими не только немецкой философии, но и духу всякого научного исследования. Следовавшие за Кузеном французские знаменитости по части философии точно так же, как он, оставались чужды духу великих немецких мыслителей или даже и вовсе незнакомы с ними. Об авторе книги «De la Justice» надобно сказать не то: он глубоко проникнут принципами немецкой философии. Мы читали, будто бы он не знает по-немецки; если это правда, то все еще ничего не значит. Белинский также не знал по-немецки, а между тем знал немецкую философию так, что не наберется в самой Германии десяти человек, понимающих ее столь же глубоко и ясно. Мы слышали, что главный источник знакомства с этою наукою у автора книги «De la Justice» и у Белинского был одинаков: разговоры с людьми, занимавшимися немецкою философиею; говорят, что даже эти люди были одни и те же[4]. Можно полагать, что такие известия справедливы. Но как бы то ни было, Прудон проникся духом немецкой философии. Это составляет одну из сильнейших его сторон. Надобно прибавить, что одна из причин неудовлетворительности или, по крайней мере, неясности его понятий также заключается в этом знакомстве, именно в том обстоятельстве, что он узнал немецкую философию под формою

системы Гегеля и остановился на этой форме, как на окончательном выводе, между тем как в Германии наука развивалась дальше. Система Гегеля, проникнутая духом, господствовавшим над общественным мнением во время Реставрации и получившим свое начало во время Первой империи, сама по себе уже не соответствует нынешнему состоянию знаний. Надобно еще прибавить, что Гегель по своей натуре или, быть может, по расчету облекал свои принципы в одежду очень консервативную, когда говорил о политических и теологических предметах. Смелый французский простолюдин, усвоив себе его метод, не [мог] остаться доволен его выводами и стал приискивать для принципов Гегеля развитие, более сообразное с их собственным духом и с своим личным образом мыслей, чем какое получили они у самого Гегеля. Если бы он заблаговременно был познакомлен с последующим развитием науки в Германии, он нашел бы в нем то, чего искал. Но не имея этого пособия, он был предоставлен своим собственным силам; а история его умственного развития помешала этим силам сохранить или приобрести качества, нужные для построения связной и однородной философской системы. Он слишком много начитался новых французских философов, прежде чем стал учеником Гегеля. Когда он переделывал его систему, он слишком часто упадал под влияние мыслей, какие прежде были привычны ему по французским книгам. Таким образом, его собственная система составлялась из соединения гегелевской философии с понятиями французских философов, часто не имеющими научного духа. Повсюду видна у него чрезвычайная сила ума, но слишком часто заметно, что ум этот связывался воззрениями, не имеющими никакого научного основания. Результатом столь неблагоприятных условий была темнота; он сам заметил ее и хотел выйти из нее или страстными порывами ненависти к преданию, против его воли опутывавшему его, или усилиями придать ему разумный смысл.

Во всем этом мы опять видим общие черты того умственного положения, в котором находится теперь западноевропейский простолюдин. Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западноевропейский простолюдин в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые наиболее соответствуют его положению, наклонностям, потребностям и, ⟨как нам кажется, наиболее соответствуют истине, а во всяком случае⟩ сообразны

с нынешним положением знаний. При незнакомстве с этими понятиями он принужден учиться по книгам или положительно дурным, или устарелым, оставаться под влиянием ошибочных мнений, господствующих в так называемой образованной публике, в которой достигает господства только то, что уже отжило свое время в науке, принужден истощать свои силы на борьбу с предрассудками, уже разоблаченными истинно современной наукой, еще не дошедшей до него, или подчиняться этим предрассудкам, переходить от гнева на них к покорности им, вместо того чтобы холодно отстранить их, как разоблаченную ложь, которая стала бы для него неопасна, как скоро он понял бы, что она чистейший вздор.

Вот почему мы думаем, что ни автор книги «De la Justice», ни Милль не могут быть авторитетами в философии. Оба они чрезвычайно важны для человека, желающего узнать расположение мыслей в известных сословиях западноевропейского общества: из Милля он узнает, как благородная часть западноевропейских привилегированных классов смущается духом при виде осуществления тех идей, теоретическую справедливость которых сама она защищает, признавая их логически неотразимыми и ведущими к общему благу, но которые невыгодны для этих сословий. Автор книги «De la Justice» показывает, как простолюдины, жаждущие перемен, затрудняются в их осуществлении тем, что воспитались в понятиях старины, не познакомились еще с воззрениями, соответствующими их потребностям. Но представителями этих воззрений, развитых современною наукою, ни Милль, ни Прудон не могут считаться *. Истинных представителей ее надобно и теперь, как прежде, искать в Германии. Быть может, мы ошибаемся, но нам кажется, что г. Лавров принужден был собственными силами доискиваться тех решений, которые уже найдены нынешнею немецкою философиею. Нам кажется, что изучение отживших форм немецкой философии

* Конечно, когда мы говорим, что Милль не представитель современной философии, мы разумеем собственно ту часть науки, которую принято у нас называть философиею,— теорию решения самых общих вопросов науки, обыкновенно называемых метафизическими,— например, вопросов об отношении духа к материи, о свободе человеческой воли, о бессмертии души и т. д. Этою частью науки Милль даже вовсе не занимался прямым образом; он преднамеренно отклоняется от высказывания всякого мнения о подобных предметах, как будто считая их недоступными точному исследованию. Он, собственно, не философ в том смысле слова, по которому философами называются у нас Кант и Гегель, но не называются Кювье или Либих (по-английски Кювье и Либих также называются философами).

и книг, написанных мыслителями английскими и французскими, предшествовало у него знакомству с новейшими немецкими мыслителями, и что будь иначе, прочти он несколькими годами позже те книги, которые прочтены им раньше, прочти он несколькими годами раньше те книги, которые прочтены им уже только по окончании внутренней его работы над построением своего образа мыслей, он писал бы несколько иначе. Мы не говорим, что он пришел бы к другим воззрениям,— нам кажется, что сущность его воззрений справедлива,— но они представлялись бы ему в виде более простом; быть может, мы выразились не так, и точнее было бы сказать: он решительнее находил бы, что отвергаемая им ложь — совершенно пустая ложь, могущая вызывать только улыбку сострадания, а не серьезное раздумье о том, можно ли безусловно отвергнуть ее. Очень может быть, что убеждение в простоте истины и в основательности совершенного разрыва современных воззрений с пустою софистикою, в которую одета древняя грубая ложь, отразилась бы и на его изложении большею доступностью для большинства публики; быть может, его статьи, которые теперь всеми уважаются, более читались бы тою частью публики, которая слишком наклонна оставлять непрочтенными книги и статьи, внушающие ей слишком большое уважение. Не входя в критику воззрений г. Лаврова, мы попробуем изложить наши понятия о тех же предметах; нам кажется, что они в сущности сходны с образом мыслей г. Лаврова; разница будет почти только в изложении и в приемах постановки вопроса.

Основанием для той части философии, которая рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе. Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет. 〈Это доказательство имеет совершенную несомненность.〉 Убедитель-

ность [его] равняется убедительности тех оснований, по которым, например, вы, читатель, уверены, что, например, в эту минуту, когда вы читаете эту книгу, в той комнате, где вы сидите, нет льва. Вы так думаете, во-первых, потому, что не видите его глазами, не слышите его рыкания; но это ли одно ручается вам за то, что льва нет в вашей комнате? Нет, есть у вас второе ручательство за то: ручательством служит тот самый факт, что вы живы; если бы в вашей комнате находился лев, он бросился бы на вас и растерзал бы вас. Нет последствий, которыми неизбежно сопровождалось бы присутствие льва, потому вы знаете, что нет тут и льва. Скажите также, почему вы убеждены, что собака не умеет говорить? Вы не слышали, чтобы она когда-нибудь говорила; само по себе это было бы еще недостаточно: вы видели многих людей, которые молчали в то время, как вы их видели; они просто не хотели, а не то чтобы не умели говорить: быть может, и собака только не хочет говорить, а не то что не умеет говорить? Так и думают люди с неразвитым умом, верящие сказкам, в которых разговаривают животные, и объясняющие свое предположение таким способом: собака очень умна и хитра, она знает, что слова часто доводят до беды, оттого и молчит, рассчитав, что молчать гораздо безопаснее, чем говорить. Вы смеетесь над такими замысловатыми объяснениями и понимаете дело проще: вы видели случаи, в которых собака не могла бы не говорить, если бы имела эту способность; например, убивают собаку; она визжит изо всех сил, ей, очевидно, невозможно удержаться от выражения своей мысли о том, что ей больно, о том, что с нею поступают жестоко. Она ищет всяких средств выразить это и находит одно средство — визг, а слов не находит; значит, в ней нет дара слова; если б он был в ней, она действовала бы иначе. Дано обстоятельство, в котором существование известного элемента в известном предмете непременно имело бы известный результат; этого результата нет, потому нет и этого элемента. Возьмем еще случай. Почему вы знаете, что, например, г. Юм, наделавший у нас в Петербурге такого шума года два тому назад своими фокусами,— действительно только фокусник, а не может в самом деле знать будущего, знать тайн, которых ему не сказывали, читать книг и бумаг, которые не находятся у него перед глазами? Вы знаете это вот почему: если бы он мог знать будущее, он был бы сделан дипломатическим советником при каком-нибудь дворе и рассказывал бы министерству этого двора все, что произойдет в данных случаях: например, он сказал бы Рехбергу в прошлом марте,

что если австрийцы начнут войну, то они будут побиты при Палестро, Маджента и Сольферино и потеряют Ломбардию[5]. Тогда австрийцы не начали бы войны, и не было бы ничего из того, что произошло в прошлом году в Италии, Франции, Австрии, а происходило бы что-нибудь совершенно иное. Если бы он мог читать книги, не находящиеся у него под глазами, тогда правительства и ученые общества не стали бы посылать ученых на восток отыскивать древние рукописи, а обратились бы с просьбой к нему, и он из Парижа прочел бы и продиктовал бы им какого-нибудь неизвестного нам теперь древнего греческого писателя, список которого уцелел в каком-нибудь сирийском захолустье. Этого нет, г. Юм и его собратья по искусству не открыли ровно ничего ни дипломатам, ни ученым; а непременно открывали бы им важные вещи, если бы могли, потому что это было бы для них и несравненно выгоднее, и несравненно почетнее фокусничества; потому они и не имеют той способности, которую приписывают им легковерные люди. О всех таких случаях не довольно сказать: мы не знаем, существует ли известный элемент; нет, рассудок обязывает нас прямо сказать: мы знаем, что этого элемента нет; если б он был, то происходило бы не то, что происходит.

Но при единстве натуры мы замечаем в человеке два различные ряда явлений: явления так называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так называемого нравственного порядка (человек думает, чувствует, желает). В каком же отношении между собою находятся эти два порядка явлений? Не противоречит ли их различие единству натуры человека, показываемому естественными науками? Естественные науки опять отвечают, что делать такую гипотезу мы не имеем основания, потому что нет предмета, который имел бы только одно качество,— напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений, которые мы для удобства суждения о нем подводим под разные разряды, давая каждому разряду имя качества, так что в каждом предмете очень много разных качеств. Например, дерево растет, горит; мы говорим, что оно имеет два качества: растительную силу и удобосгораемость. В чем сходство между этими качествами? Они совершенно различны; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба эти качества, кроме общего понятия *качество*; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба ряда явлений, соответствующих этим качествам, кроме понятия *явление*. Или, например, лед тверд и блестящ; что общего

между твердостью и блеском? Логическое расстояние от одного из этих качеств до другого безмерно велико, или, лучше сказать, нет между ними никакого, близкого или далекого, логического расстояния, потому что нет между ними никакого логического отношения. Из этого мы видим, что соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей. Но в этом разнообразии естественные науки открывают и связь,— не по формам обнаружения, не по явлениям, которые решительно несходны, а по способу происхождения разнородных явлений из одного и того же элемента при напряжении или ослаблении энергичности в его действовании. Например, в воде есть свойство иметь температуру — свойство, общее всем телам. В чем бы ни состояло свойство предметов, называемое нами теплотою, но оно при разных обстоятельствах обнаруживается с очень различными величинами. Иногда один и тот же предмет очень холоден, то есть обнаруживает очень мало тепла; иногда он очень горяч, то есть обнаруживает его очень много. Когда вода, по каким бы то ни было обстоятельствам, обнаруживает очень мало теплоты, она бывает твердым телом — льдом; обнаруживая несколько больше теплоты, она бывает жидкостью; а когда в ней теплоты очень много, она становится паром. В этих трех состояниях одно и то же качество обнаруживается тремя порядками совершенно различных явлений, так что одно качество принимает форму трех разных качеств, разветвляется на три качества просто по различию количества, в каком обнаруживается: количественное различие переходит в качественное различие.

Но разные предметы различаются между собою своею способностью обнаруживать известные общие им качества в очень различных количествах. Например, железо, серебро, золото обнаруживают очень значительное количество того качества, которое называется тяжестью и мерилом которого у нас на земле служит вес. Воздух обнаруживает это качество в таком малом количестве, что только особенными учеными исследованиями оно открыто в нем, а каждый человек, не знакомый с наукою, по необходимости предполагает, будто бы в воздухе вовсе нет тяжести. Точно так же думали о всех газообразных телах. Возьмем другое качество — способность сжиматься от давления. Без особенных средств анализа, даваемых только наукою, никто не заметит, чтобы жидкости сжимались от какого бы то ни было давления: кажется, будто бы вода сохраняет совершенно прежний объем под самым сильным давлением. Но наука отыскала факты, показывающие, что

и вода в некоторой степени сжимается от давления. Из этого надобно заключать, что когда нам представляется какое-нибудь тело, не имеющее, по-видимому, известного качества, то надобно употребить научный анализ для проверки этого впечатления, и если он скажет, что качество это находится в теле, то надобно не твердить упорно: наши не вооруженные научными средствами чувства говорят противное, а надобно просто сказать: результат, полученный при помощи исследования предмета с нужными научными средствами, показывает неудовлетворительность впечатления, получаемого чувствами, лишенными нужных в этом деле пособий.

С другой стороны, когда кажется, будто бы известный предмет имеет какое-нибудь особенное качество, которого будто бы совершенно нет в других предметах, то надобно опять исследовать дело научным образом. Например, нам кажется, что дерево имеет способность совершенно особенную, какой нет в большей части других тел: оно горит, а камень, глина, железо не горят. Но когда мы исследуем при помощи научных пособий процесс, называемый горением, то мы найдем, что он состоит в соединении некоторых элементов известного тела с кислородом; вместе с этим наука показывает, что в большей части так называемых негорючих тел постоянно происходит точно тот же процесс соединения всех или некоторых из составных их частей с кислородом. Например, железо постоянно окисляется,— на разговорном языке этот вид процесса называется особенным словом «ржаветь»; но наука открывает, что ржавенье и горение — совершенно один и тот же процесс и что эти два случая его представляются различными для нашего впечатления только оттого, что в одном случае процесс происходит гораздо быстрее, гораздо интенсивнее, нежели в другом.

Отчего же теперь разные предметы имеют различную величину интенсивности в обнаружении известного качества при одинаковых условиях? Отчего камень в обыкновенных житейских условиях обнаруживает очень сильную степень качества, называемого тяжестью, а воздух не обнаруживает его иначе, как при пособии особенных научных средств, увеличивающих проницательность наших чувств? Отчего окисление железа происходит в обыкновенной атмосфере гораздо медленнее, чем окисление дерева, когда оба предмета положены в одну и ту же горящую печь? Наука говорит, что она еще не успела исследовать законов, от которых зависит эта разница в немногих телах, остающихся в химии пока под именем простых, но

что во всех остальных телах, которые успела она разложить, эта разница происходит от различия в составе или от различия состояний, в которых находятся составные части сложного тела. Например, разнице между водою и маслом или водяным паром и камнем соответствует разница в составе этих тел. Разнице между углем и алмазом соответствует то различие, что составные части угля находятся в некристаллизованном, а составные части алмаза в кристаллизованном состоянии. Естественные науки замечают также, что простые или составленные из них сложные тела, входя между собою в химические соединения, вообще дают в продукте тело, обнаруживающее такие качества, каких не обнаруживали составные его части, когда находились порознь. Так, например, из соединения в известной пропорции водорода и кислорода образуется вода, имеющая множество таких качеств, которых не было заметно ни в кислороде, ни в водороде. Об этих комбинациях химия замечает, что многосложные из них вообще отличаются большею переменчивостью, так сказать подвижностью. Так, например, железная ржавчина, состоящая только из соединения железа с кислородом в очень простой пропорции, очень постоянна, так что нужно действовать на нее чрезвычайно высокою температурою или чрезвычайно сильными реагентами, чтобы произвести перемену в этом теле. Но кровяной шарик, в котором железная окись служит только одним из элементов многосложной химической комбинации с примесями разных других тел, например воды, никак не может долго сохранять своего состава: он, можно сказать, не существует в постоянном виде, как существуют частички ржавчины, а беспрестанно изменяется, приобретая новые частицы и теряя прежние. То же надобно сказать о всех многосложных химических комбинациях: они имеют очень сильную наклонность существовать постоянным возникновением, возрастанием, обновлением и, наконец, уничтожаться среди обыкновенных обстоятельств, так что существование предмета, состоящего из таких комбинаций, состоит в беспрестанном возобновлении частей и представляется непрерывным химическим процессом.

Многосложные химические комбинации, имеющие этот характер, одинаково обнаруживают его, находятся ли в так называемых органических телах или возникают и существуют вне их, в так называемой неорганической природе. Еще не очень давно казалось, что так называемые органические вещества (например, уксусная кислота) существуют только в органических телах; но теперь извест-

но, что при известных условиях они возникают и вне органических тел, так что разница между органическою и неорганическою комбинациею элементов несущественна и так называемые органические комбинации возникают и существуют по одним и тем же законам и все они одинаково возникают из неорганических веществ. Например, дерево отличается от какой-нибудь неорганической кислоты собственно тем, что кислота эта — комбинация немногосложная, а дерево — соединение многих многосложных комбинаций. Это как будто разница между 2 и 200,— разница количественная, не больше.

Итак, естественные науки видят в существовании органического тела, каково, например, растение или насекомое, химический процесс. Об этом явлении вообще замечают естественные науки, что во время химического процесса тела обнаруживают такие качества, каких совершенно незаметно в них при состоянии неподвижного соединения. Например, дерево само по себе не жжет; трут, кремень и огниво также не жгут; но если частичка стали, раскаленная трением (ударом) о кремень и оторванная от огнива, попадает в трут и, чрезвычайно возвысивши температуру некоторой частички этого трута, дает условие, нужное для начала в этой частичке трута химического процесса, называемого горением, то постепенно весь кусок трута, вовлекаясь в этот химический процесс, начинает жечь, чего не делал, когда в нем не было химического процесса; будучи пододвинут к дереву во время этого процесса, он также вовлекает его в свой химический процесс горения, и дерево во время этого процесса также жжет, светит и обнаруживает другие качества, каких не замечалось в нем до начала процесса. Возьмем какой угодно другой химический процесс, мы увидим то же самое: тело, находящееся в нем, обнаруживает качества, каких не обнаруживало до начала процесса. Возьмем, например, процесс брожения. Пивное сусло стоит спокойно в своем чану; дрожжи также неподвижны в своей кружке. Положите дрожжи в сусло, начинается химический процесс, называемый брожением: сусло бурлит, пенится, бьется в своем сосуде. Разумеется, когда мы говорим о различии состояния тел во время химического процесса и в такое время, когда не находятся они в процессе, мы говорим только о количественной разнице между сильным, быстрым ходом процесса и очень медленным, слабым ходом его. Собственно говоря, каждое тело постоянно находится в состоянии химического процесса; например, бревно, если и не будет зажжено, не сгорит в печи, а будет спокойно, как

будто без всяких перемен лежать в стене дома, все-таки когда-нибудь придет к тому же концу, к какому приводит его горение: оно постепенно истлеет, и от него останется тоже только пепел (пыль гнилушки, которая наконец оставит от себя на прежнем месте только минеральные частицы пепла). Но если этот процесс, как, например, при обыкновенном тлении бревна в стене дома, происходит чрезвычайно медленно и слабо, то и качества, свойственные телу, находящемуся в процессе, обнаруживаются с микроскопической слабостью, которая в житейском быту совершенно неуловима. Например, при медленном истлевании дерева, лежащего в стене дома, также развивается теплота; но то количество ее, которое при горении сосредоточилось бы в течение нескольких часов, тут разжижается (если можно так выразиться) на несколько десятков лет, так что не достигает никакого результата, удобоуловимого на практике: существование этой теплоты ничтожно для практических суждений. Это то же самое, как винный вкус в целом пруде воды, в который брошена одна капля вина: с научной точки зрения этот пруд содержит в себе смесь воды с вином, но в практике надобно принимать, что вина в нем как будто вовсе нет.

Читатель, вероятно, скажет, что все наши рассуждения так же справедливы, как справедливы были бы рассуждения об обращении земли около солнца, о холоде на полюсах, о жаре под тропиками, и столь же мало идут к делу. Читатель, без всякого сомнения, будет прав, сказав, что мы занимаемся теперь пустословием. Но гораздо легче заметить в себе недостаток или согласиться с словами людей, указывающих его, нежели исправиться от него. Вообще люди наклонны щегольнуть знакомством с такими вещами, с которыми, в сущности, мало знакомы, любят выказывать это свое мнимое знакомство кстати и некстати; почему же нам следовало бы не иметь этого недостатка? А если мы уже имеем его, то почему же и не выказываться ему? Пусть же себе выказывается, и будем заниматься не идущими к делу рассуждениями о естественных науках, мало нам знакомых, пока надоест нам это щегольство,— тогда мы займемся чем-нибудь другим, чего, быть может, также вовсе не знаем, например, хоть нравственною философиею. Читатель подумает: однакоже труден будет переход от химии к общественным учреждениям. Ну вот, будто бы уже и трудно найти фразу, которой бы связывались совершенно несвязные части рассуждения? Когда придет нам охота говорить о философии вместо химии, мы просто напишем: «итак, до сих пор мы рассуждали вот

о чем, а теперь будем рассуждать вот о чем»; и дело будет кончено — удовлетворительный переход сделан. Разве не делают беспрестанно точно таких же переходов очень знаменитые авторитеты: напишут две фразы, решительно не клеящиеся между собою, поставят между ними «итак» или «следовательно»,— и силлогизм готов, и все доказано.

Но мы чувствуем, что еще на несколько страниц хватит у нас желания толковать вместо философии о естественных науках, совершенно не идущих к делу, по справедливому замечанию читателя. Смутило было нас одно обстоятельство: мы уже истощили весь скудный запас наших сведений о химических комбинациях и процессах; мы не имеем что́ тут больше сказать, а говорить нам охота страшная. Вот она-то и выручает нас из беды: «сказал все, что знаешь об одном, шепчет нам она, кидайся на другое, что подвернется под язык». Мы послушались доброго совета. Давайте же говорить хоть о царствах природы: кое-что каждый о них знает, хоть иной и маловато; кое-что знаем и мы, и уже сами чувствуем, что маловато, а все-таки на несколько страниц достанет. Но тут в другое ухо желание как можно дольше уклоняться от настоящего предмета речи, чтобы наговорить как можно больше не идущего к делу, подшепнуло нам другой совет: «из трех царств природы, минерального, растительного и животного, вы пока ничего не говорите о том, которое одно могло бы представлять примеры хотя некоторой аналогии с человеческою жизнью, о жизни муравьев, пчел, бобров,— не говорите ничего о царстве животных». Мы слушаемся и этого совета, хотя он очевидно нелеп: нелепостей в жизни делаешь так много, что одною больше или одною меньше — не составит ровно никакой разницы, как не составляет ровно никакой разницы в температуре присутствие какой-нибудь сгнивающей щепы. Будем же говорить о неорганической природе и о растительном царстве.

Нам нравится эта новая тема, собственно, потому, что, и независимо от недостаточности наших знаний о ней, нельзя было бы сказать о ней ничего дельного, потому что она сама по себе чужда всякой реальности, вводя в природу подразделение, которого в природе вовсе нет. Оно только кажется незнающему человеку, что камень — сам по себе, а растение — вещь совершенно другого рода; на самом же деле открывается, что оба эти предмета, столь несходные, состоят из одинаковых частей, соединившихся по одним и тем же законам, только соединившихся в разной пропорции. Разлагаем камень и находим, что он составился из газов и металлов; разлагаем растение и в нем

тоже находим газы и металлы. В камнях металлы находятся не в чистом своем виде, а в разных соединениях с кислородом; в растениях — тоже. В камнях газы находятся не каждый особо, не сам по себе, а в разных соединениях с другими газами и металлами; в растениях — тоже. Больше всего в растении таких частей, которые прямо состоят из голого камня: в живом растении этот камень составляет две трети или три четверти всей массы растения или даже больше; этот камень — вода. От вещей, которые называются камнями в обыкновенном языке, этот камень отличается лишь тем, что плавится при температуре очень низкой, между тем как обыкновенные камни плавятся только при чрезвычайно высокой температуре. Но если расплавленный кварц не перестает быть кварцем, камнем, то и минерал, бывающий в расплавленном виде водою (лед), не перестает, расплавившись, быть минералом. Итак, от обыкновенных руд, камней и других неорганических тел растение отличается, собственно, тем, что представляет комбинацию элементов гораздо более сложную и потому гораздо быстрее проходящую химический процесс в обыкновенной атмосфере, чем неорганические тела, и притом по самой своей многосложности проходящую процесс гораздо более сложный. В неорганическом теле происходит, например, окисление только одного рода, а в растении одновременно совершается окисление в нескольких степенях, и притом в неорганическом теле окислению подвергаются один или два элемента его однообразной комбинации, а в растении — вдруг несколько химических соединений, из которых каждое довольно многосложно. Само собою разумеется, что, находясь в таком быстром и многосложном химическом процессе, тела обнаруживают такие качества, которых не проявляют при процессах менее быстрых и сложных. Словом сказать, разница между царством неорганической природы и растительным царством подобна различию между маленькою травкою и огромным деревом — это разница по количеству, по интенсивности, по многосложности, а не по основным свойствам явления: былинка состоит из тех же частиц и живет по тем же законам, как дуб; только дуб гораздо многосложнее былинки: на нем десятки тысяч листьев, а на былинке всего два или три. Опять само собою разумеется, что одинаковость тут существует для теоретического знания о предмете, а не для житейского обращения с ним: из былинок нельзя строить домов, а из дубов можно. В житейском быту мы совершенно правы, когда считаем руду и растения предметами, принадлежащими

к совершенно разным разрядам вещей; но точно так же мы правы в житейском быту, считая лес вещью совершенно иного разряда, чем трава. Теоретический анализ приходит к другому результату: он находит, что эти вещи, столь различные по своему житейскому отношению к нам, должны считаться только разными состояниями одних и тех же элементов, входящих в разные химические комбинации по одним и тем же законам. Для открытия этого тождества между травою и дубом был достаточен анализ ума, не обогащенного большим запасом наблюдений и тонкими средствами исследования; для открытия одинаковости между неорганическим веществом и растением нужен был гораздо больший умственный труд при помощи гораздо сильнейших средств исследования. Химия составляет едва ли не лучшую славу нашего века.

Впрочем, громадный запас наблюдений и особенно тонкие средства анализа нужны не столько затем, чтобы гениальный ум мог увидеть истину, открытие которой требует глубоких соображений,— чаще всего бывает, по крайней мере в общих философских вопросах, что истина заметна с первого взгляда человеку пытливого и логичного ума,— обширные исследования и громадные научные средства в этих случаях приносят, собственно, ту пользу, что без них истина, открытая гениальным человеком, остается его личным соображением, которого он не в силах доказать точным ученым образом, и потому или остается не принята другими людьми, продолжающими страдать от своих ошибочных мнений, или, что едва ли не хуже еще, принимается другими людьми не на разумном основании, а по слепому доверию к словам авторитета. Принципы, разъясненные и доказанные теперь естественными науками, были найдены и приняты за истину еще греческими философами, а еще гораздо раньше их — индийскими мыслителями, и, вероятно, были открываемы людьми сильного логического ума во все времена, во всех племенах. Но развить и доказать истину логическим путем прежние гениальные люди не могли. Она известна была всегда повсюду, но стала наукою только в последние десятилетия. Природу сравнивают с книгою, заключающею в себе всю истину, но написанною языком, которому нужно учиться, чтобы понять книгу. Пользуясь этим уподоблением, мы скажем, что очень легко можно выучиться каждому языку настолько, чтобы понимать общий смысл написанных им книг; но очень много и долго нужно учиться ему, чтобы уметь отстранить все сомнения в основательности смысла, какой мы находим в словах

книги, уметь объяснить каждое отдельное выражение в ней и написать хорошую грамматику этого языка.

Единство законов природы было понято очень давно гениальными людьми; но только в последние десятилетия наше знание достигло таких размеров, что доказывает научным образом основательность этого истолкования явлений природы.

Говорят: естественные науки еще не достигли такого развития, чтобы удовлетворительно объяснить все важные явления природы. Это — совершенная правда; но противники научного направления в философии делают из этой правды вывод вовсе не логический, когда говорят, что пробелы, остающиеся в научном объяснении натуральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь остатков фантастического миросозерцания. Дело в том, что характер результатов, доставленных анализом объясненных наукою частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые еще не вполне объяснены: если бы в этих необъясненных частях и явлениях было что-нибудь иное кроме того, что найдено в объясненных частях, тогда и объясненные части имели бы не такой характер, какой имеют. Возьмем какую угодно отрасль естественных наук — положим, хотя географию или геологию — и посмотрим, какой характер могут иметь, какого характера не могут иметь сведения, которых мы еще не приобрели по разным частям предмета, исследуемого этими науками. При нынешнем развитии географии мы еще не имеем удовлетворительных сведений о странах около полюсов, о внутренности Африки, о внутренности Австралии. Без сомнения, эти пробелы в географическом знании очень прискорбны для науки и, по всей вероятности, даже для практической жизни было бы нужно пополнить их, потому что очень может быть, что в этих странах найдется что-нибудь новое и пригодное для жизни: очень может быть, что во внутренности Австралии найдутся новые золотые россыпи или рудники еще обильнее тех, какие найдены на ее прибрежье; очень может быть, что во внутренности Африки найдутся какие-нибудь новые горные породы, новые растения, новые метеорологические явления; все это очень может быть, и пока не будет произведено точное исследование этих стран, никак нельзя с точностью сказать, какие именно вещи и явления найдутся в них: но можно уже и теперь с достоверностью сказать, каких вещей и каких явлений никак не будет в них найдено. Под полюсами, например, не найдется

жаркого климата и роскошной растительности. Этот отрицательный вывод несомненен, потому что, если бы под полюсами средняя температура была высока или хотя умеренна, не таково было бы состояние северной Сибири, северной части английских владений в Америке, морей, соседних с полюсами. В Центральной Африке также не найдется полярного холода, потому что, если бы центральная часть африканского материка имела климат холодный, не таково было бы климатическое состояние южной полосы Алжирии, верхнего Египта и других земель, окружающих центр Африки. Какие именно реки найдутся в Центральной Африке или Австралии, мы этого не знаем, но наверное можно сказать, что если найдутся там реки, то течение в них будет сверху вниз, а не снизу вверх. Точно то же надобно сказать и о тех частях земного шара, которых еще не успела исследовать геология. Мы исследовали только один очень тонкий слой земной коры, не составляющий и одной тысячной части всего шара; в безмерной массе вещества, скрывающегося под этою корою, конечно, находится много тел и явлений, не встречающихся в доступной нам ничтожной части его. Но по этой одной части мы уже достоверно знаем, какой характер имеют и какого характера не имеют предметы и феномены, заключенные в недоступных нам недрах шара. Мы знаем, что там температура страшно высокая,— если бы она не была так высока, не то было бы на поверхности земли, что находится и происходит теперь; мы знаем, что в такой высокой температуре не могут удерживаться те химические соединения, которые составляют так называемое органическое царство; потому мы знаем, что в недрах земли нет растительной и животной жизни, какая существует на поверхности земли. Там нет никаких организмов, сколько-нибудь подобных нашим растениям или животным. Если мы захотим сказать, что на полюсах, или в Центральной Африке, или в недрах земли находятся тела именно вот такого разряда, что там происходят феномены именно вот такого вида, это будет только гипотезою, может быть и ошибочною; мы не можем отгадать, вода или земля находится под полюсами; покрыто льдами или иногда бывает чисто от них море под полюсами, если там море; покрыта вечным льдом или имеет по временам какую-нибудь растительность земля под полюсами, если там земля,— эти положительные заключения были бы только догадками, не имеющими научной достоверности; но отрицательные выводы, каковые, например, то, что под полюсами не может расти виноград или дуб, что не могут там жить обезьяны

или попугаи,— эти отрицательные выводы имеют совершенную научную достоверность; это уже не гипотезы, не догадки, это — достоверное знание, основанное на отношении явлений, происходящих в известных нам странах земной поверхности, к не исследованным нами феноменам неизвестных частей ее. Возможно ли, в самом деле, усомниться в том, что под полюсами не живут попугаи? Для попугаев нужна средняя годичная температура в 15 или 18 градусов выше точки замерзания, а если бы на северном полюсе была такая температура, то Гренландия имела бы климат, по крайней мере, столь же теплый, как Италия. Или возможно ли сомневаться в том, что в слоях земного шара, близких к центру его, нет растительных организмов? Чтобы они могли там существовать, нужна была бы там температура не выше точки кипения воды, потому что без воды нет никаких растений; а если бы там была температура ниже точки кипения воды, тогда не находили бы мы, что, чем дальше вглубь, тем выше температура слоев исследованной нами оболочки земного шара.

К чему мы так долго останавливаемся на явлениях и заключениях, каждому известных? Просто оттого, что по непривычке к систематическому мышлению слишком многие люди слишком наклонны не замечать смысл общих законов, который одинаков со смыслом отдельных феноменов, ими понимаемых. Мы хотели как можно сильнее выставить силу одного из таких общих законов: если при нынешнем состоянии научного наведения (индуктивной логики) мы в бóльшей части случаев еще не можем с достоверностью определить по исследованной нами части предмета, какой именно характер имеет неисследованная часть его, то уже всегда можем с достоверностью определять, какого характера не может иметь она. Наши положительные заключения от характера известного к характеру неизвестного при нынешнем состоянии наук находятся еще на степени догадок, подлежащих спору, доступных ошибкам; но отрицательные заключения уже имеют полную достоверность. Мы не можем сказать, чем именно окажется неизвестное нам; но мы уже знаем, чем оно не оказывается[6].

Фантастические гипотезы, разрушаемые этими отрицательными выводами, в химии, в географии, в геологии уже не заслуживают никакой борьбы, потому что всеми и каждым сколько-нибудь образованным человеком признаются за бредни. Географ не имеет нужды доказывать, что под полюсами не найдется обезьян, в Центральной Африке не найдется безголовых людей, в Центральной

Австралии — рек, текущих снизу вверх, в недрах земли — сказочных садов и циклопов, кующих оружие Ахиллесу под надзором Вулкана. Но человек с логическим умом точно так же смотрит на фантастические гипотезы и в других науках: он так же видит, что все это бредни, несовместные с нынешним состоянием знаний. Говорят, что открытия, сделанные Коперником в астрономии, произвели перемену в образе человеческих мыслей о предметах, по-видимому очень далеких от астрономии. Точно такую же перемену и точно в том же направлении, только в гораздо обширнейшем размере, производят ныне химические и физиологические открытия: от них изменяется образ мыслей о предметах, по-видимому очень далеких от химии. Теперь, чтобы сколько-нибудь свести конец этой статьи с ее началом, мы опять обратимся мыслью к будущим судьбам Западной Европы, о которых были принуждены говорить по поводу приводимых г. Лавровым из Милля и Прудона цитат о прискорбной будто бы перспективе, грозящей западному человечеству. Химия, геология и потом, вдруг, рассуждения о политических партиях в Англии или Франции, о западноевропейских нравах, о надеждах и опасениях разных сословий и разных публицистов — какой произвольный переход, какое отсутствие логики! Что ж делать, читатель: чем богаты, тем и рады; ничего другого вы и не должны были ждать от нашей статьи. Попробуемте приложить к ее характеру метод отрицательных заключений о характере неизвестного по характеру известного и посмотрим, чего никак не должны были бы вы ожидать от этой статьи, если бы потрудились употребить в дело этот метод перед тем, как начали читать ее. Статья написана по-русски, для русской публики: это вам было известно по самой обертке журнала. Статья эта хочет говорить о философских вопросах,— это также было видно по ее заглавию на обертке книжки. Теперь рассудите сами: есть ли какая-нибудь логика в этих двух известных вам фактах? Какой-то господин написал статью для русской публики; нужны ли для русской публики журнальные статьи? Судя по всему, решительно не нужны; потому что, если б были нужны, они были бы не таковы, какие бывают теперь. Итак, этот неизвестный вам господин, автор этой статьи, поступил вовсе не логично, сделал то, чего не нужно публике,— написал статью. Но вы, по своему великодушию, допустили эту нелепость без порицания: вздумал он делать то, чего никому не нужно,— ну, так и быть — написал статью, так пусть написал. Теперь другой вопрос: о чем же он написал ее? о философии. О фи-

лософии! Господи, твоя воля! да кто же в русском обществе думает о философских вопросах? Разве г. Лавров,— да и то сомнительно: быть может, и самому г. Лаврову гораздо интереснее всевозможных философских вопросов наши житейские и общественные дела. Выбор предмета для такого нелогического поступка, как написание журнальной статьи, еще нелогичнее самого этого поступка. Чего же вы могли ожидать от статьи, к самому началу которой приложены две такие крупные печати с надписью: отсутствие логики? При нынешнем состоянии наук в России нельзя достоверно сказать, какие вещи можно было ожидать найти в этой статье вам, судившим о ней по ее заглавию; но можно достоверно сказать, что никак нельзя было ожидать найти в ней логику. А где нет логики, там бессвязность. Вот вам небольшой опыт приложения теории отрицательных выводов от характера известного к характеру неизвестного. Не правда ли, принцип достоверности этого метода блистательно подтвердился прочтенною вами статьею? Мы говорим не по увлечению авторским самолюбием,— мы говорим по искреннему и верному убеждению, что эта статья своею бессвязностью, бестолковостью возвышается над всеми другими читанными вами статьями, по крайней мере, на столько же, на сколько интенсивность химического процесса в растительной жизни возвышается над его интенсивностью в неорганической природе. Скажите же теперь, не должны ли мы, чтобы выдержать характер статьи, перебросится к рассуждениям о будущности Западной Европы от химических рассуждений?

Мы видели, какой характер принадлежит образу мыслей в благородной части тех сословий Западной Европы, которые ждут себе потерь от перемен, признаваемых ими самими за неизбежные и справедливые. Скорбь о своей предстоящей судьбе производит смущение в их уме. У них нет сил применить к близкому для них факту принцип, принимаемый ими в его общем, отвлеченном виде. Мы видели, на какой ступени развития находится образ мыслей простолюдина Западной Европы. До него еще не дошла общая идея нынешней науки, выводы которой согласны с его потребностями. Он еще держится устарелых принципов, но видит совершенную несостоятельность выводов, сделанных из них его учителями, людьми старых систем, и беспрестанно переходит от желчного отрицания их к подчиненности им. В этом смирении он не может удержаться надолго и опять изливается в едких тирадах, чтобы опять смириться перед рутиною. Эта желчная переменчивость, это колебание вовсе не принадлежит духу новых

идей: напротив, шаткость воззрений, выражающаяся смесью скептицизма с излишнею доверчивостью, происходит именно от недостаточного знакомства с идеями, выработанными нынешнею наукой. Читатель видит, какой характер имеют ее принципы и выводы. Основаниями своих теорий она берет истины, открытые естественными науками посредством самого точного анализа фактов, истины столь же достоверные, как обращение земли вокруг солнца, закон тяготения, действие химического сродства. Из этих принципов, не подлежащих никакому спору или сомнению, современная наука делает свои выводы путем столь же осмотрительным, как и тот, которым дошла до них. Она не принимает ничего без строжайшей, всесторонней поверки и не выводит из принятого никаких заключений, кроме тех, которые сами собою неотразимо следуют из фактов и законов, отвергать которых нет никакой логической возможности. При таком характере новых идей человеку, раз принявшему их, не остается уже никакой дороги к отступлению назад или к каким-нибудь сделкам с фантастическими заблуждениями.

Таким образом существенный характер нынешних философских воззрений состоит в непоколебимой достоверности, исключающей всякую шаткость убеждений. Из этого легко заключить, какая судьба ждет человечество Западной Европы. Свойство каждого нового учения состоит в том, что нужно ему довольно много времени на распространение в массах, на то, чтобы стать господствующим убеждением. Новое и в идеях, как в жизни, распространяется довольно медленно; но зато и нет никакого сомнения в том, что оно распространяется, постепенно проникая все глубже и глубже в разные слои населения, начиная, конечно, с более развитых. Нет никакого сомнения, что и простолюдины Западной Европы ознакомятся с философскими воззрениями, соответствующими их потребностям ⟨и, по нашему мнению, соответствующими истине⟩. Тогда найдутся у них представители не совсем такие, как Прудон: найдутся писатели, мысль которых не будет, как мысль Прудона, спутываться преданиями или задерживаться устарелыми формами науки в анализе общественного положения и полезных для общества реформ. Когда придет такая пора, когда представители элементов, стремящихся теперь к пересозданию западноевропейской жизни, будут являться уже непоколебимыми в своих философских воззрениях, это будет признаком скорого торжества новых начал и в общественной жизни Западной Европы.

〈Очень может быть, что мы ошибаемся, находя, что такая пора уже началась в годы, следовавшие за первым онемением мысли от реакции после событий 1848 года; очень может быть, что мы ошибаемся, думая, что поколение, воспитанное событиями последних двенадцати лет в Западной Европе, уже приобретает ясность и твердость мысли, нужную для преобразования западноевропейской жизни. Но если мы и ошибаемся, то разве во времени: не в наше, так в следующее поколение придет результат, лежащий в натуре вещей, стало быть неизбежный; и если нашему поколению еще не удастся совершить его, то во всяком случае оно много делает для облегчения полезного дела своим детям.〉

Теперь мы замечаем,— жаль, что заметили слишком поздно,— что эта статья, при всей своей бессвязности, может служить предисловием к изложению понятий нынешней науки о человеке, как отдельной личности. Если б это замечено было нами раньше, мы постарались бы сократить окольные наши отступления из философии в естественные науки; тогда предисловие не имело бы такой излишней длинноты и осталось бы нам довольно страниц для очерка теории личности, как понимает ее нынешняя наука. Но теперь уже поздно поправлять дело, и нам остается только надежда, что нынешняя статья, могущая, как мы видим, служить предисловием к очерку философских понятий о человеке, в самом деле послужит предисловием к нему.

II

Словом «наука» (science) у англичан называются далеко не все те отрасли знания, которые у нас и у других континентальных народов обнимаются этим выражением. Англичане называют науками математику, астрономию, физику, химию, ботанику, зоологию, географию,— те отрасли знаний, которые называются у нас «точными» науками, и те, которые очень близко подходят к ним по своему характеру; но они не разумеют под выражением «наука» ни истории, ни психологии, ни нравственной философии, ни метафизики. Надобно сказать, что действительно существует громадная разница между этими двумя половинами знаний по качеству понятий, господствующих в той или другой. Из одной половины каждый сколько-нибудь просвещенный человек уже удалил всякие неосновательные предубеждения, и все рассудительные люди уже держатся в этих предметах одинаковых коренных по-

нятий. Знания наши и по этим отраслям бытия очень неполны; но, по крайней мере, каждый тут знает, что́ нам известно основательным образом, что́ еще неизвестно и что́, наконец, несомненным образом опровергнуто точными исследованиями. Попробуйте, например, сказать, что человеческому организму нужна пища или нужен воздух,— с вами никто не будет спорить; попробуйте сказать, что еще неизвестно, те ли одни вещества могут служить пищею человеку, какими теперь он питается, и что, может быть, найдутся новые вещества, пригодные для этой цели,— с вами также никто из просвещенных людей не станет спорить и каждый прибавит только, что если новые вещества для пищи и будут найдены, если и очень вероятно, что они будут найдены, то до сих пор они еще не найдены, и человек пока может питаться только известными веществами, вроде хлебных растений, мяса, молока или рыбы; вы, в свою очередь, совершенно согласитесь с этим замечанием, и спора тут у вас быть не может. Спорить вы можете только о том, как велика или мала вероятность скорого открытия новых питательных веществ и к какому роду вещей скорее всего могут принадлежать эти новые, еще не открытые вещества; но в этом споре вы и ваш противник одинаково будет знать и признаваться, что выражаете только догадки, не имеющие полной достоверности, могущие оказаться более или менее полезными для науки впоследствии времени (потому что догадки, гипотезы дают направление ученым исследованиям и ведут к открытию истины, подтверждающей или опровергающей их), но еще вовсе не входящие в число научных истин. Попробуйте сказать, наконец, что без пищи человек существовать не может,— и тут каждый с вами согласится, и каждый понимает, что это отрицательное суждение находится в неразрывной логической связи с положительным суждением: «человеческому организму нужна пища»; каждый понимает, что если принять одно из этих двух суждений, то непременно надобно принять и другое. Совсем не то, например, в нравственной философии. Попробуйте сказать, что́ хотите — всегда найдутся люди умные и образованные, которые станут говорить противное. Скажите, например, что бедность вредно действует на ум и сердце человека,— множество умных людей возразят вам: «нет, бедность изощряет ум, принуждая его приискивать средства к ее отвращению; она облагораживает сердце, направляя наши мысли от суетных наслаждений к доблестям терпения, самоотвержения, сочувствия чужим нуждам и бедам». Хорошо; попробуйте сказать наоборот,

что бедность выгодно действует на человека,— опять такое же множество или еще бóльшее множество умных людей возразят: «нет, бедность лишает средств к умственному развитию, мешает развитию самостоятельного характера, влечет к неразборчивости в употреблении средств для ее отвращения или для простого поддержания жизни; она главный источник невежества, пороков и преступлений». Словом сказать, какой бы вывод ни вздумали вы сделать в нравственных науках, вы всегда найдете, что и он, и другой, противоположный ему, вывод и, кроме того, множество других выводов, не клеящихся ни с вашим, ни с противоположным ему выводом, ни друг с другом, имеют искренних защитников между умными и просвещенными людьми. То же самое в метафизике, то же самое в истории, без которой ни нравственные науки, ни метафизика не могут обойтись.

Такое положение дел в истории, нравственных науках и метафизике заставляет многих думать, что эти отрасли знания не дают или даже и вовсе не могут никогда дать нам ничего столь достоверного, как математика, астрономия и химия. Хорошо, что нам случилось употребить слово «бедность»: оно наводит нас на память о житейском факте, совершающемся ежедневно. Как только какой-нибудь господин или какая-нибудь госпожа из многочисленного семейства достигнет хорошего положения в обществе, он или она тотчас же начинает вытягивать из бедности, из ничтожества своих родственников и родственниц: около важного или богатого лица появляются братья и сестры, племянники и племянницы, все примыкают к нему и, держась за него, вылезают в люди. Припоминают родство свое с важным или богатым лицом даже такие господа и госпожи, которые не хотели и знаться с ним, пока оно было не важно и не богато. Иных оно в глубине души и недолюбливает, а все-таки помогает им,— нельзя, ведь все же родственники и родственницы,— и с любовью к родным или с досадой на них, оно все-таки изменяет их положение к лучшему. Точно такое же дело происходит в области знаний теперь, когда некоторые науки успели из жалкого положения выбиться до великого совершенства, до ученого богатства, до умственной знатности. Эти богачки, помогающие своим жалким родственницам,— математика и естественные науки. Математика была в хорошем положении давно, но чрезвычайно много времени было у ней занято заботою об одной ближайшей ее родственнице — астрономии. Тысячи четыре лет, если не больше, прошло в этой возне. Наконец во время Коперника астро-

номия была поставлена на ноги математикою, а с Ньютона она получила блистательное положение в умственном мире. Едва перестав сокрушаться день и ночь о бедственном состоянии своей сестры — астрономии, едва получив по некотором устройстве ее судьбы несколько свободы подумать о других родственницах, математика принялась помогать разным членам семейства, до сих пор остающегося в нераздельном владении родовым имуществом под именем физики: акустика, оптика и некоторые другие из сестер, носящих родовое имя физики, особенно воспользовались милостями математики; очень недурно стало положение и многих других членов той же многолюдной семьи. Дело тут шло уже гораздо быстрее, чем с выведением астрономии из жалкого положения: помогать другим математика уже выучилась, возившись с своею ближайшею родственницею, и, кроме того, хлопотала теперь уже не одна, а имела в ней хорошую адъютантку. Когда они вдвоем придали человеческий вид многочисленным особам семейства физики, пресмыкавшимся прежде в жалчайшей нищете и погрязавшим в гнуснейших научных пороках, математика уже имела в своем распоряжении целое племя, стала президентшею довольно большого и благоденствующего государства. В конце прошлого века это умственное государство было в таком же состоянии, как Соединенные Штаты в политическом мире около того же времени. Оба общества растут с той поры одинаково быстро. Чуть не каждый год прибавляется какая-нибудь новая область к молодому Северо-Американскому государству, становится из дикой пустыни цветущим штатом, и все дальше и дальше оттесняются просвещенным и деятельным народом жалкие племена, не хотящие принимать цивилизации, и все больше и больше захватывает он в свой союз другие племена, ищущие цивилизации, но не умевшие найти ее без его помощи: луизианские французы и испанцы Северной Мехики уже присоединились и в немногие годы уже прониклись духом нового общества, так что не отличить их от потомков Вашингтона и Джефферсона. Миллионы пьяных ирландцев и не менее жалких немцев стали в Союзе людьми порядочными и зажиточными. Так и союз точных наук под управлением математики, то есть счета, меры и веса, с каждым годом расширяется на новые области знания, увеличивается новыми пришельцами. После химии к нему постепенно присоединились все науки о растительных и животных организмах: физиология, сравнительная анатомия, разные отрасли ботаники и зоологии; теперь входят в него нравственные науки. С ними делается

ныне то самое, что мы видим над людьми тщеславными, но погрязавшими в нищете и невежестве, когда какой-нибудь дальний родственник, не гордящийся, как они, высоким происхождением и неслыханными добродетелями, а просто человек простой и честный, приобретает богатство: кичливые гидальго долго усиливаются смотреть на него свысока, но бедность заставляет их пользоваться его подачками; долго они живут этой милостыней, считая низким для себя обратиться при его помощи к честному труду, которым он вышел в люди; но с улучшением их пищи и одежды пробуждаются в них мало-помалу рассудительные мысли, слабеет прежнее пустое хвастовство, они понемногу становятся людьми порядочными, понимают, наконец, что стыд не в труде, а в хвастовстве, и напоследок принимают нравы, которыми вышел в люди их родственник; тогда, опираясь на его помощь, они быстро приобретают хорошее положение и начинают пользоваться уважением рассудительных людей не за фантастические достоинства, которыми прежде хвастались, не имея их, а за свои новые действительные качества, полезные для общества,— за свою трудовую деятельность.

Еще не так далеко от нас время, когда нравственные науки в самом деле не могли иметь содержания, которым бы оправдывался титул науки, им принадлежавший, и англичане были тогда совершенно правы, отняв у них это имя, которого они не были достойны. Теперь положение дел значительно изменилось. Естественные науки уже развились настолько, что дают много материалов для точного решения нравственных вопросов. Из мыслителей, занимающихся нравственными науками, все передовые люди стали разработывать их при помощи точных приемов, подобных тем, по каким разработываются естественные науки. Когда мы говорили о противоречиях между разными людьми по каждому нравственному вопросу, мы говорили только о давнишних, наиболее распространенных, но уже оказывающихся отсталыми, понятиях и способах исследования, а не о том характере, какой получают нравственные науки у передовых мыслителей; о прежнем, рутинном характере этих знаний, а не о нынешнем их виде. По нынешнему своему виду нравственные науки различаются от так называемых естественных, собственно, только тем, что начали разработываться истинно научным образом позже их, и потому разработаны еще не в таком совершенстве, как они. Тут разница лишь в степени: химия моложе астрономии и не достигла еще такого совершенства; физиология еще моложе химии и еще дальше от совершенства;

психология, как точная наука, еще моложе физиологии и разработана еще меньше. Но, различаясь между собою по количеству приобретенных точных знаний, химия и астрономия не различаются ни по достоверности того, что́ узнали, ни по способу, которым идут к точному знанию своих предметов: факты и законы, открываемые химиею, так же достоверны, как факты и законы, открываемые астрономиею. То же надобно сказать о результатах нынешних точных исследований в нравственных науках. Очерки предметов, даваемые астрономиею, физиологиею и психологиею,— это все равно, что карты Англии, Европейской России и Азиатской России: Англия вся снята превосходными тригонометрическими измерениями; в Европейской России тригонометрия покрыла своею сетью еще только половину пространства, другая половина снята способами, не столь совершенными; в Азиатской России остаются пространства, в которых только мимоездом определено положение нескольких главных пунктов, а все лежащее между ними наносится на карту по глазомеру, способу очень неудовлетворительному. Но тригонометрическая сеть с каждым годом растягивается все дальше и дальше, уже не очень далеко время, когда она охватит и Азиатскую Россию. А до той поры мы все-таки уже знаем об этой стране многое довольно хорошо, некоторые пункты даже очень хорошо, и всю ее уже знаем настолько, что легко открыть слишком грубые промахи в старинных картах ее; а если бы кто-нибудь вздумал нас уверять, что Иртыш течет к югу, а не к северу, или что Иркутск лежит под тропиками, мы только пожали бы плечами. Кому угодно, тот может и до сих пор повторять рассказы наших старинных космографий о народах предела Симова и о «немых языках», живущих за Печёрою, заклепанных в горах Александром Македонским и запертых синклитовыми воротами, не поддающимися ни огню, ни железу[7]; но мы уже знаем, что́ надобно думать об этих рассказах, основанных только на фантазии.

Первым следствием вступления нравственных знаний в область точных наук было строгое различение того, что́ мы знаем, от того, чего не знаем. Астроном знает, что ему известна величина планеты Марса, и столь же положительно знает, что ему неизвестен геологический состав этой планеты, характер растительной или животной жизни на ней и самое то, существует ли на ней растительная или животная жизнь. Если бы кто-нибудь вздумал утверждать, что на Марсе находится глина или гранит, существуют птицы или моллюски, астроном сказал бы ему: вы утвер-

ждаете то, чего не знаете. Если бы фантазер зашел в своих предположениях дальше и сказал бы, например, что живущие на Марсе птицы не подвержены болезням, а моллюски не нуждаются в пище, астроном при помощи химика и физиолога доказал бы ему, что этого даже и быть не может. Точно так же и в нравственных науках теперь строго разграничено известное от неизвестного, и на основании известного доказана несостоятельность некоторых прежних предположений о том, что еще остается неизвестным. Положительно известно, например, что все явления нравственного мира проистекают одно из другого и из внешних обстоятельств по закону причинности, и на этом основании признано фальшивым всякое предположение о возникновении какого-нибудь явления, не произведенного предыдущими явлениями и внешними обстоятельствами. Поэтому нынешняя психология не допускает, например, таких предположений: «человек поступил в данном случае дурно, потому что захотел поступить дурно, а в другом случае хорошо, потому что захотел поступить хорошо». Она говорит, что дурной поступок или хороший поступок был произведен непременно каким-нибудь нравственным или материальным фактом или сочетанием фактов, а «хотение» было тут только субъективным впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании возникновение мыслей или поступков из предшествующих мыслей, поступков или внешних фактов. Самым обыкновенным примером действий, ни на чем не основанных, кроме нашей воли, представляется такой факт: я встаю с постели; на какую ногу я встану? захочу — на левую, захочу — на правую. Но это только так представляется поверхностному взгляду. На самом деле факты и впечатления производят то, на какую ногу встанет человек. Если нет никаких особенных обстоятельств и мыслей, он встает на ту ногу, на которую удобнее ему встать по анатомическому положению его тела на постели. Если явятся особенные побуждения, превосходящие своею силою это физиологическое удобство, результат изменится сообразно перемене обстоятельств. Если, например, в человеке явится мысль: «стану не на правую ногу, а на левую», он сделает это; но тут произошла только простая замена одной причины (физиологического удобства) другою причиною (мысль доказать свою независимость) или, лучше сказать, победа второй причины, более сильной, над первою. Но откуда явилась эта вторая причина, откуда явилась мысль показать свою независимость от внешних условий? Она не могла явиться без причины, она произве-

дена или словами собеседника, или воспоминанием о прежнем споре, или чем-нибудь подобным. Таким образом тот факт, что человек, когда захочет, может ступить с постели не на ту ногу, на которую удобно ему ступить по анатомическому положению тела на постели, а на другую ногу,— этот факт свидетельствует вовсе не то, чтобы человек без всякой причины мог ступить на ту или другую ногу, а только то, что вставание с постели может совершаться под влиянием причин более сильных, чем влияние анатомического положения его тела перед актом вставания. То явление, которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинною связью. Очень часто ближайшею причиною появления в нас воли на известный поступок бывает мысль. Но определенное расположение воли производится также только определенною мыслью: какова мысль, такова и воля[8]; будь мысль не такова, была бы не такова и воля. Но почему же явилась именно такая, а не другая мысль? Опять от какой-нибудь мысли, от какого-нибудь факта, словом сказать, от какой-нибудь причины. Психология говорит в этом случае то же самое, что говорит в подобных случаях физика или химия: если произошло известное явление, то надобно искать ему причины, а не удовлетворяться пустым ответом: оно произошло само собою, без всякой особенной причины — «я так сделал, потому что так захотел». Прекрасно, но почему же вы так захотели? Если вы отвечаете: «просто, потому что захотел», это значит то же, что говорить: «тарелка разбилась, потому что разбилась; дом сгорел, потому что сгорел». Такие ответы — вовсе не ответы: ими только прикрывается леность доискиваться подлинной причины, недостаток желания знать истину.

Если при нынешнем состоянии химии кто-нибудь спросит, почему золото имеет желтый цвет, а серебро — белый, химики прямо отвечают, что до сих пор еще не знают этой причины, то есть еще не знают, в какой связи находится желтизна золота или белизна серебра с другими качествами этих металлов, по какому закону, от каких обстоятельств произошло, что вещество, принявшее форму золота или серебра, приобрело в этой форме качество производить на наш глаз впечатление желтизны или белизны. Это — прямой, честный ответ; но он, как видим, состоит просто в признании своего незнания. Богатому человеку легко сознаваться, что у него в данном случае не нашлось денег, но легко в этом сознаваться только тогда, когда все уверены, что он действительно богат; напротив, человеку, который хочет прослыть за богача, будучи в сущности бе-

ден, или человеку, кредит которого поколебался, не легко сказать, что у него в нынешнее время не случилось денег: он всяческими хитростями будет скрывать истину. Таково было до недавнего времени состояние нравственных наук: они стыдились говорить: у нас нет об этом достаточных знаний. Теперь, к счастию, не то: психология и нравственная философия выходят из прежней своей научной нищеты, у них уже больше запас богатства, и они прямо могут говорить: «мы еще не знаем этого», если действительно не знают.

Но если нравственные науки на очень многие вопросы должны еще отвечать теперь: «мы этого не знаем», то ошибемся мы, предположив, что к числу вопросов, остающихся для них не разрешенными ныне, принадлежат те вопросы, которые по одному из господствующих мнений признаются неразрешимыми. Нет, незнание этих наук совершенно не таково. Чего не знает, например, химия? Она не знает теперь, чем будет водород, перешедший из газообразного состояния в твердое,— металлом или неметаллом; есть сильная вероятность предполагать, что он будет металлом, но справедлива ли такая догадка, это еще неизвестно. Химия не знает также, действительно ли простое тело фосфор или сера, или они будут со временем разложены на простейшие элементы. Это — случаи теоретического незнания. Другой род вопросов, неразрешимых для нее теперь, представляют многочисленные случаи неуменья исполнить практические требования. Химия умеет изготовлять синильную кислоту, уксусную кислоту, но изготовить фибрин она еще не умеет. Те и другие неразрешимые для нее ныне вопросы имеют, как видим, характер совершенно специальный, характер такой специальный, что и в голову они приходят только людям, уже порядочно знакомым с химией. Точно таковы же вопросы, остающиеся ныне еще не разрешенными для нравственных наук. Психология, например, открывает следующий факт: при слабом умственном развитии человек не в состоянии понимать жизни, различной от его собственной жизни; чем сильнее развивается его ум, тем легче ему бывает представлять себе жизнь, не похожую на его жизнь. Как объяснить этот факт? При нынешнем состоянии науки строго научного ответа еще не найдено, а существуют только разные догадки. Скажите теперь, кому из людей, не знакомых с нынешним состоянием психологии, приходил в голову такой вопрос? Почти никто, кроме ученых, даже не замечал и факта, к которому относится этот вопрос: это все равно, что вопрос о металличности или неметаллич-

ности водорода: люди, не знакомые с химией, не знают не только этого вопроса о водороде, но не знают и самого водорода. А для химии чрезвычайно важен этот водород, существование которого было бы незаметно без нее. Точно так для психологии чрезвычайно важен факт неспособности неразвитого человека и способности развитого понимать жизнь, различную от его жизни. Как открытие водорода повело к усовершенствованию химической теории, так и открытие этого психологического факта имело своим последствием построение теории антропоморфизма, без которой ни шагу теперь нельзя ступить в метафизике. Вот другой психологический вопрос, также не разрешимый точным образом при нынешнем состоянии науки: дети имеют наклонность ломать свои игрушки; отчего это происходит? Надобно ли считать эту ломку только неловкою формою желания пересоздавать вещи по своим надобностям, неловкою формою так называемой творческой деятельности человека, или тут есть след чистой наклонности к разрушению, приписываемой человеку некоторыми писателями? Таковы почти все теоретические вопросы, точного решения которых еще не дает наука. Читатель видит, что они принадлежат к разряду вопросов, надобность и важность которых открывается только наукою, понятна только для ученых, к разряду так называемых технических или специальных вопросов, которые вовсе не интересны для простых людей, часто кажутся им даже ничтожными. Это все вопросы вроде тех, из какого старославянского звука произошло *у* в слове «рука»: из простого *у* или из *юса*, и по какому закону образуется существительное «воз» из глагола «везу»: зачем тут буква *е* заменилась буквою *о*? Для филолога эти вопросы очень важны, а для нас, нефилологов[9], они, можно сказать, не существуют. Но не будем опрометчиво смеяться над учеными, которые заняты исследованием таких мелочных, по-видимому, вещей: от открытия истины в подобных, по-видимому, неважных фактах возникали результаты важные и для нас, простых людей: разъяснялись понятия о целом ряде важных фактов, изменялись важные житейские отношения. Из того, что некоторые люди разъяснили нашу фонетику открытием значения юсов, явилось более разумное обучение грамматике, и наших детей будут меньше мучить за нею, чем мучили нас, и будут лучше выучивать ей, чем выучивали нас.

Итак, теоретические вопросы, остающиеся не разрешенными при нынешнем состоянии нравственных наук, вообще таковы, что даже не приходят в голову почти ни-

кому, кроме специалистов; неспециалист с трудом понимает даже, как могут ученые люди заниматься исследованием таких мелочей. Напротив, те теоретические вопросы, которые обыкновенно представляются важными и трудными для неспециалистов, вообще перестали быть вопросами для нынешних мыслителей, потому что чрезвычайно легко разрешаются несомненным образом при первом прикосновении к ним могущественных средств научного анализа. Половина таких вопросов оказывается происходящими просто от непривычки к мышлению, другая половина находит себе ответ в явлениях, знакомых каждому. Куда девается пламя, носящееся над светильнею горящей свечи, когда мы гасим свечу? Неужели химик согласится назвать эти слова вопросом? Он просто называет их бессмысленным набором слов, возникающим из незнакомства с самыми коренными, самыми простыми фактами науки. Он говорит: горение свечи есть химический процесс; пламя есть одно из явлений этого процесса, одна из сторон его, одно из качеств его, выражаясь простым языком; когда мы гасим свечу, мы прекращаем химический процесс; само собою разумеется, что с его прекращением исчезают и его качества; спрашивать, что̀ делается с пламенем свечи, когда гаснет свеча, значит то же самое, что спрашивать о том, что осталось от цифры 2 в числе 25, когда мы зачеркнем все число,— ровно ничего не осталось ни от цифры 2, ни от цифры 5: ведь они обе зачеркнуты; спрашивать это может только тот, кто сам не понимает, что значит написать цифру и что значит зачеркнуть ее; на все вопросы таких людей существует один ответ: друг мой! вы не имеете понятия об арифметике и сделаете хорошо, если станете учиться ей. Предлагается, например, очень головоломный вопрос: доброе или злое существо человек? Множество людей потеют над разрешением этого вопроса, почти половина потеющих решает: человек по натуре добр; другие, составляющие также почти целую половину потеющих, решают иначе: человек по натуре зол. За исключением этих двух противоположных догматических партий, остаются несколько человек скептиков, которые смеются над теми и другими и решают: вопрос этот неразрешим. Но при первом приложении научного анализа вся штука оказывается простою до крайности. Человек любит приятное и не любит неприятного,— это, кажется, не подлежит сомнению, потому что в сказуемом тут просто повторяется подлежащее: *А* есть *А*, приятное для человека есть приятное для человека, неприятное для человека есть неприятное для человека. Добр тот, кто делает хорошее

для других, зол — кто делает дурное для других,— кажется, это также просто и ясно. Соединим теперь эти простые истины и в выводе получим: добрым человек бывает тогда, когда для получения приятного себе он должен делать приятное другим; злым бывает он тогда, когда принужден извлекать приятность себе из нанесения неприятности другим. Человеческой натуры нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое; все зависит от обстоятельств, отношений 〈,учреждений〉. Если известные отношения имеют характер постоянства, в человеке, сформировавшемся под ними, оказывается сформировавшеюся привычка к сообразному с ними способу действий. Потому можно находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще, как прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще понятия о привычке тесать доски, уметь ковать и т. д. Иван — плотник, но нельзя сказать, что такое человек вообще: плотник или не плотник; Петр умеет ковать железо, но нельзя сказать о человеке вообще, кузнец он или не кузнец. Тот факт, что Иван стал плотником, а Петр — кузнецом, показывает только, что при известных обстоятельствах, бывших в жизни Ивана, человек становится плотником, а при известных обстоятельствах, бывших в жизни Петра, становится кузнецом. Точно так при известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол.

Таким образом с теоретической стороны вопрос о добрых и злых качествах человеческой натуры разрешается столь легко, что даже и не может быть назван вопросом: он сам в себе уже заключает полный ответ. Но другое дело, если вы возьмете практическую сторону дела, если, например, вам кажется, что для самого человека и для всех окружающих его людей гораздо лучше ему быть добрым, чем злым, и если вы захотели бы позаботиться, чтобы каждый стал добр: с этой стороны дело представляет очень большие трудности; но они, как заметит читатель, относятся уже не к науке, а только к практическому исполнению средств, указываемых наукой. Психология и нравственная философия находятся тут опять точно в таком же положении, как естественные науки. Климат в северной Сибири слишком холоден; если бы мы спросили, каким способом можно сделать его теплее, естественные науки не затруднятся ответом на это: Сибирь закрыта горами от теплой южной атмосферы и открыта своим склоном к северу холодной северной атмосфере: если бы горы шли по северной границе ее, а на южной не было гор, страна эта

была бы гораздо теплее. Но у нас еще недостает средств исполнить на практике это теоретическое решение вопроса. Точно так же и у нравственных наук готов теоретический ответ почти на все вопросы, важные для жизни, но во многих случаях у людей недостает еще средств для практического исполнения того, что указывает теория. Впрочем, нравственные науки имеют в этом случае преимущество над естественными. В естественных науках все средства принадлежат области так называемой внешней природы; в нравственных науках только одна половина средств принадлежит этому разряду, а другая половина средств заключается в самом человеке; стало быть, половина дела зависит только от того, чтобы человек с достаточною силою почувствовал надобность в известном улучшении: это чувство уже дает ему очень значительную часть условий, нужных для улучшения. Но мы видели, что одних этих условий, зависящих от состояния впечатлений самого человека, еще недостаточно: нужны также материальные средства. Относительно этой половины условий, относительно материальных средств практические вопросы нравственных наук находятся в положении еще гораздо выгоднейшем, нежели относительно условий, лежащих в самом человеке. Прежде, при неразвитости естественных наук, могли встречаться во внешней природе непреодолимые затруднения к исполнению нравственных потребностей человека. Теперь не то: естественные науки уже предлагают ему столь сильные средства располагать внешнею природою, что затруднений в этом отношении не представляется. Возвратимся для примера к практическому вопросу о том, каким бы способом люди могли стать добрыми, так чтобы недобрые люди стали на свете чрезвычайной редкостью и чтобы злые качества потеряли всякую заметную важность в жизни по чрезвычайной малочисленности случаев, в которых обнаруживались бы людьми. Психология говорит, что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, то есть вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишить их чего-нибудь, чтобы не остаться самому без вещи для него нужной. Например, в случае неурожая, когда пищи не достаточно для всех, число преступлений и всяких дурных поступков чрезмерно возрастает: люди обижают и обманывают друг друга из-за куска хлеба. Психология прибавляет также, что человеческие потребности разделяются на чрезвычайно различные степени по своей силе; самая настоятельнейшая по-

требность каждого человеческого организма состоит в том, чтобы дышать; но предмет, нужный для ее удовлетворения, находится человеком почти во всех положениях в достаточном изобилии, потому из потребности воздуха почти никогда не возникает дурных поступков. Но если встретится исключительное положение, когда этого предмета оказывается мало для всех, то возникают также ссоры и обиды; например, если много людей будет заперто в душном помещении с одним окном, то почти всегда возникают ссоры и драки, могут даже совершаться убийства из-за приобретения места у этого окна. После потребности дышать (продолжает психология) самая настоятельная потребность человека — есть и пить. В предметах для порядочного удовлетворения этой потребности очень часто, очень у многих людей встречается недостаток, и он служит источником самого большого числа всех дурных поступков, почти всех положений и учреждений, бывающих постоянными причинами дурных поступков. Если бы устранить одну эту причину зла, быстро исчезло бы из человеческого общества, по крайней мере, девять десятых всего дурного: число преступлений уменьшилось бы в десять раз, грубые нравы и понятия в течение одного поколения заменились бы человечественными, отнялась бы и опора у стеснительных учреждений, основанных на грубости нравов и невежестве, и скоро уничтожилось бы почти всякое стеснение. Прежде исполнить такое указание теории было, как нас уверяют, невозможно по несовершенству технических искусств; не знаем, справедливо ли говорят это о старине, но бесспорно то, что при нынешнем состоянии механики и химии, при средствах, даваемых этими науками сельскому хозяйству, земля могла бы производить в каждой стране умеренного пояса несравненно больше пищи, чем сколько нужно для изобильного продовольствия числа жителей, в десять и двадцать раз бóльшего, чем нынешнее население этой страны *. Таким образом со стороны внешней природы уже не представляется никакого препятствия к снабжению всего населения каждой цивилизованной страны изобильною пищею; задача остается только в том, чтобы люди сознали возможность

* В самой Англии земля может прокормить, по крайней мере, 150 000 000 человек. Панегирики удивительному совершенству английского сельского хозяйства справедливы в том отношении, что дело это там быстро улучшается; но ошибочно было бы думать, что оно и теперь пользуется в удовлетворительном размере пособиями науки; это только что еще начинается, и девять десятых частей земли, возделываемой в Англии, возделывается по рутине, совершенно не соответствующей нынешнему состоянию сельскохозяйственных знаний.

и надобность энергически устремиться к этой цели. В реторическом слоге можно говорить, будто они на самом деле заботятся об этом как следует; но точный и холодный анализ науки показывает пустоту пышных фраз, часто слышимых нами об этом предмете. В действительности еще ни одно человеческое общество не приняло в сколько-нибудь обширном размере тех средств, какие указываются для придания успешности сельскому хозяйству естественными науками и наукою о народном благосостоянии. Отчего это происходит, почему в человеческих обществах господствует беззаботность об исполнении научных указаний для удовлетворения такой настоятельной потребности, как потребность пищи, почему это так, какими обстоятельствами и отношениями производится и поддерживается дурное хозяйство, как надобно изменить обстоятельства и отношения для замены дурного хозяйства хорошим,— это опять новые вопросы, теоретическое решение которых очень легко; и опять практическое осуществление научных решений обусловливается тем, чтобы человек проникся известными впечатлениями. Мы, впрочем, не станем здесь излагать ни теоретического решения, ни практических затруднений по этим вопросам; это завело бы нас слишком далеко, а нам кажется, что уже довольно и предыдущих замечаний для разъяснения того, в каком положении находятся теперь нравственные науки. Мы хотели сказать, что разработка нравственных знаний точным, научным образом только еще начинается; что поэтому еще не найдено точного теоретического решения очень многих чрезвычайно важных нравственных вопросов; но что эти вопросы, теоретическое решение которых еще не найдено, имеют характер чисто технический, так что интересны только для специалистов, и что, наоборот, те психологические и нравственные вопросы, которые представляются очень интересными и кажутся чрезвычайно трудными для неспециалистов, уже с точностью разрешены и притом разрешены чрезвычайно легко и просто, самыми первыми приложениями точного научного анализа, так что теоретический ответ на них уже найден; мы прибавляли, что из этих несомненных теоретических решений возникают очень важные и полезные научные указания о том, какие средства надобно употребить для улучшения человеческого быта; что из этих средств некоторые должны быть взяты во внешней природе, и при нынешнем развитии естественных знаний внешняя природа уже не представляет этого препятствия, а другие должны быть доставлены рассудительною энергиею самого человека,

и ныне только в ее возбуждении могут встречаться трудности по невежеству и апатии ⟨одних⟩ людей, ⟨по расчетливому сопротивлению других,⟩ и вообще по власти предрассудков над огромным большинством людей в каждом обществе.

Все эти рассуждения имели целью объяснить, каким образом нынешнее высокое развитие естественных наук помогает возникновению точных наук по таким отраслям бытия и по таким отделам теоретических вопросов, которые прежде были только предметом догадок, иногда основательных, иногда неосновательных, но ни в каком случае не дававших точного знания. Таковы нравственные и метафизические вопросы. Ближайшим предметом наших статей служит теперь человек как отдельная личность, и мы попробуем изложить, какие решения вопросов, относящихся к этому предмету, найдены точною научною разработкою психологии и нравственной философии. Если читатель помнит характер нашей первой статьи, он, конечно, будет ожидать, что лишь только мы дали это обещание, как тотчас же изменим ему и вдадимся в длинное отступление, вовсе не идущее к делу. Читатель не ошибется. Мы отлагаем на время в сторону психологические и нравственно-философские вопросы о человеке, займемся физиологическими, медицинскими, какими вам угодно другими, и вовсе не будем касаться человека как существа нравственного, а попробуем прежде сказать, что мы знаем о нем как о существе, имеющем желудок и голову, кости, жилы, мускулы и нервы. Мы будем смотреть на него пока только с той стороны, какую находят в нем естественные науки; другими сторонами его жизни мы займемся после, если позволит нам время.

Физиология и медицина находят, что человеческий организм есть очень многосложная химическая комбинация, находящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью. Процесс этот так многосложен, а предмет его так важен для нас, что отрасль химии, занимающаяся его исследованием, удостоена за свою важность титула особенной науки и названа физиологиею. Отношение физиологии к химии можно сравнить с отношением отечественной истории к всеобщей истории. Разумеется, русская история составляет только часть всеобщей; но предмет этой части особенно близок нам, потому она сделана как будто особенною наукою: курс русской истории в учебных заведениях читается отдельно от курса всеобщей, воспитанники получают на экзаменах особенный бал из русской истории; но не следует забывать, что

эта внешняя раздельность служит только для практического удобства, а не основана на теоретическом различии характера этой отрасли знания от других частей того же самого знания. Русская история понятна только в связи с всеобщею, объясняется ею и представляет только видоизменения тех же самых сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории. Так и физиология — только видоизменение химии, а предмет ее — только видоизменение предметов, рассматриваемых в химии. Сама физиология не удержала всех своих отделов в полном единстве под одним именем: некоторые стороны исследуемого ею предмета, то есть химического процесса, происходящего в человеческом организме, имеют такую особенную интересность для человека, что исследования о них, составляющие часть физиологии, сами удостоились имени особенных наук. Из этих сторон мы назовем одну: исследование явлений, производящих и сопровождающих разные уклонения этого химического процесса от нормального его вида; эта часть физиологии названа особенным именем — медицина; медицина в свою очередь разветвляется на множество наук с особенными именами. Таким образом часть, выделившаяся из химии, выделила из себя новые части, которые опять разделяются на новые части. Но это — явление точно того же порядка, как разделение одного города на кварталы, кварталов на улицы: это делается только для практического удобства, и не должно забывать, что все улицы и кварталы города составляют одно целое. Когда мы говорим: «Васильевский Остров» или «Невский проспект», мы вовсе не говорим, чтобы дома Васильевского Острова и Невского проспекта не входили в состав Петербурга. Точно так медицинские явления входят в систему физиологических явлений, а вся система физиологических явлений входит в еще обширнейшую систему химических явлений.

Когда исследуемый предмет очень многосложен, то для удобства исследования полезно делить его на части; потому физиология разделяет многосложный процесс, происходящий в живом человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные: дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение; подобно всякому другому химическому процессу, вся эта система явлений имеет возникновение, возрастание, ослабление и конец. Поэтому физиология рассматривает, будто бы особые предметы, процессы дыхания, питания, кровообращения, движения, ощущения и т. д., зачатия, или оплодотворения, роста, дряхления и смерти. Но тут опять надобно помнить,

что эти разные периоды процесса и разные стороны его разделяются только теориею, чтобы облегчить теоретический анализ, а в действительности составляют одно неразрывное целое. Так геометрия разлагает круг на окружность, радиусы и центр, но, в сущности, радиуса нет без центра и окружности, центра нет без радиуса и окружности, да и окружности нет без радиуса и центра,— эти три понятия, эти три части геометрического исследования о круге составляют все вместе одно целое. Некоторые из частей физиологии разработаны уже очень хорошо; таковы, например, исследования процессов дыхания, питания, кровообращения, зачатия, роста и одряхления; процесс движения разъяснен еще не так подробно, а процесс ощущения — еще меньше; довольно странно может показаться, что так же мало исследован процесс нормальной смерти, происходящей не от каких-нибудь чрезвычайных случаев или специальных расстройств (болезни), а просто от истощения организма самым течением жизни. Но это потому, во-первых, что наблюдениям медиков и физиологов представляется не очень много случаев такой смерти: из тысячи человек разве один умирает ею, организм остальных преждевременно разрушается болезнями и гибельными внешними случаями; во-вторых, и на эти немногие случаи нормальной смерти ученые до сих пор не имели досуга обратить такое внимание, какое привлекают болезни и случаи насильственной смерти: силы науки по вопросу о разрушении организма до сих пор поглощаются приисканием средств к устранению преждевременной смерти.

Мы сказали, что некоторые части процесса жизни еще не разъяснены так подробно, как другие; но из этого вовсе не следует, чтобы мы уже не знали положительным образом очень многого и о тех частях его, исследование которых находится теперь даже в самом несовершенном виде. Во-первых, если даже предположить, что какая-нибудь сторона жизненного процесса в своей особенной специальности остается до сих пор и совершенно недоступною точному анализу в духе математики и естественных наук, то характер ее приблизительно был бы нам уже известен из характера других частей, которые уже довольно хорошо исследованы. Это был бы случай такого же рода, как определение вида головы млекопитающего по костям его ног: известно, что по одной какой-нибудь лопатке или ключице животного наука довольно точно воссоздает всю его фигуру и в том числе голову, так что, когда находится потом полный скелет, он подтверждает верность научного

вывода о целом по одной его части. Мы знаем, в чем состоит, например, питание; из этого мы уже знаем приблизительно, в чем состоит, например, ощущение: питание и ощущение так тесно связаны между собою, что характером одного определяется характер другого. В прошлой статье мы уже говорили, что такие заключения о неизвестных частях по известным частям имеют и особенную достоверность, и особенную важность в отрицательной форме: *A* тесно связано с *X*; *A* есть *B*; из этого следует, что *X* не может быть ни *C*, ни *Д*, ни *E*. Например, найдена лопатка какого-то допотопного животного; к какому именно разряду млекопитающих оно принадлежало, этого, может быть, мы не сумеем определить безошибочно; быть может, ошибемся, если причислим его к породе кошек или лошадей; но уже по одной найденной нами лопатке мы безошибочно знаем, что оно не было ни птицею, ни рыбою, ни черепокожим. Мы сказали, что эти отрицательные выводы имеют большую важность во всех науках. Но в особенности они важны в нравственных науках и в метафизике, потому что уничтожаемые ими ошибки имели особенную практическую гибельность в этих науках. Если в старину, по плохому развитию естественных наук, ошибочно считали кита рыбой, а летучую мышь птицей, от этого, вероятно, не пострадал ни один человек; но от ошибок, имевших такой же источник, то есть происходивших от неумения подвергнуть предмет точному анализу, произошли в метафизике и в нравственных науках ошибочные мнения, наделавшие людям гораздо больше зла, чем холера, чума и все заразительные болезни. Сделаем, например гипотезу, что праздность приятна, а труд неприятен; если эта гипотеза станет господствующим мнением, каждый человек будет пользоваться всеми случаями, чтобы обеспечить себе праздную жизнь, заставив других работать за себя; из этого произойдут все виды порабощения и грабежа, начиная от собственно так называемого рабства и от завоевательной войны до нынешних более тонких форм тех же явлений. Эта гипотеза действительно была сделана людьми, действительно стала господствующим мнением ⟨и господствует до сих пор⟩, и действительно произвела ⟨столько⟩ страданий ⟨,что нет им ни числа, ни меры⟩. Теперь попробуем приложить к понятию приятности или удовольствия выводы из точного анализа жизненного процесса. Феномен приятности или удовольствия принадлежит той части жизненного процесса, которая называется ощущением. Предположим пока, что собственно об этой части жизненного процесса, как об отдельной части, еще

нет у нас точных исследований. Посмотрим, нельзя ли чего-нибудь заключить о ней из тех точных сведений, какие приобрела наука о питании, дыхании, кровообращении. Мы видим, что каждое из этих явлений составляет деятельность некоторых частей нашего организма. Какие части действуют при феноменах дыхания, питания и кровообращения, это мы знаем; знаем и то, как они действуют; быть может, мы ошиблись бы, если бы стали из этих сведений делать выводы о том, какие именно части организма и каким именно образом действуют при феномене приятного ощущения; но мы уже прямо видели, что только деятельность какой-нибудь части организма дает возникновение тому, что называется явлениями человеческой жизни; мы видим, что когда есть деятельность, то есть и феномен, а когда нет деятельности, то нет и феномена; из этого видим, что и для приятного ощущения непременно нужна какая-нибудь деятельность организма. Теперь анализируем понятие деятельности. Для деятельности необходимо существование двух предметов — действующего и подвергающегося действию, и деятельность состоит в том, что действующий предмет обращает свои силы на переработку предмета, подвергающегося действию. Например, грудь и легкие перемещают и разлагают воздух при феномене дыхания, желудок перерабатывает пищу при феномене питания. Итак, приятное ощущение также должно непременно состоять в том, что силою человеческого организма переделывается какой-нибудь внешний предмет; какой именно предмет и каким именно способом перерабатывается, этого мы еще не знаем, но мы уже видим, что источником удовольствия непременно должна быть какая-нибудь деятельность человеческого организма над внешними предметами. Попробуем теперь сделать отрицательный вывод из этого результата. Праздность есть отсутствие деятельности; очевидно, что она не может производить феноменов так называемого приятного ощущения. Теперь становится нам совершенно понятно, почему во всех цивилизованных странах зажиточные классы общества жалуются на постоянную скуку, на неприятность жизни. Эта жалоба совершенно справедлива. Богачу так же неприятно жить, как и бедняку, потому что по обычаю, внесенному в общество ошибочною гипотезою, с богатством соединена праздность,— то есть вещи, которые должны были бы служить источником удовольствия, лишены этою гипотезою возможности составлять удовольствие. Кто привык к отвлеченному мышлению, тот вперед уверен, что наблюдение над житейскими отношениями не

будет противоречить результатам научного анализа. Но и люди, непривычные к мышлению, будут приведены к такому же заключению соображением смысла тех фактов, которые представляет так называемая светская жизнь: в ней нет нормальной деятельности, то есть такой деятельности, в которой объективная сторона дела соответствовала бы субъективной его роли, нет деятельности, которая заслуживала бы имени серьезной деятельности; чтобы избежать субъективного расстройства в организме, избежать происходящих от неподвижности болезней, избежать тоски, светский человек принужден создавать себе взамен нормальной деятельности фиктивную: он лишен движения, имеющего объективную разумную цель, и потому «делает моцион», то есть убивает на пустое размахивание ногами столько же времени, сколько следовало употреблять на деловую ходьбу; он лишен физического труда и потому «занимается гимнастикой для гигиены», то есть машет руками и качается корпусом (за бильярдом, за токарным станком, если не в гимнастической зале) столько же времени, сколько следовало бы ему заниматься физической работой; он лишен дельных забот о себе и своих близких, потому занимается сплетнями и интригами, то есть хлопочет мысленно над вздором столько же, сколько следовало бы хлопотать о дельных вещах. Но все эти искусственные средства никак не могут доставить потребностям организма такого удовлетворения, какое нужно для здоровья. Жизнь проходит у нынешнего богача так, как идет она у китайца, курящего опиум: противоестественное раздражение сменяется летаргиею, напряженное пресыщение — пустою деятельностью, оставляя после себя все ту же пустую тоску, спасения от которой ищут в нем.

Мы видим, что если даже предположить совершенный недостаток точных исследований о какой-нибудь части жизненного процесса, как об отдельной специальной части, то нынешнее состояние точных знаний о других частях того же самого жизненного процесса уже дает нам приблизительное понятие об общем характере этой неизвестной части, дает нам прочную опору для важных положительных и для еще более важных отрицательных выводов о ней. Но, конечно, мы только для разъяснения дела, argumenti causa[10], предположили совершенное отсутствие точных исследований по некоторым частям жизненного процесса; на самом же деле нет ни одной части жизненного процесса, о которой наука не приобрела более или менее обширных и точных знаний, специально относящихся именно к этой части. Так, например, мы знаем, что ощу-

щение принадлежит известным нервам, движение — другим. Результатами этих специальных изысканий подтверждаются выводы, получаемые из общих наблюдений над целым жизненным процессом и над частями его, более исследованными.

До сих пор мы говорили о физиологии как о науке, занимающейся исследованием жизненного процесса в человеческом организме. Но читатель знает, что физиология человеческого организма составляет только часть физиологии или, точнее сказать, часть одного ее отдела — зоологической физиологии. Заметив это, мы поправим ошибку, сделанную на предыдущих страницах: напрасно мы говорили, что феномены дыхания, питания и других частей жизненного процесса в человеке составляют предмет физиологии: предмет ее составляют явления этого процесса во всех живых существах. Физиология человека существует только в том смысле, в каком существует география Англии, в смысле одной главы из состава целой книги,— главы, которая может сама разрастаться в целую книгу.

Когда мы поверхностным образом обозреваем две стороны, очень далекие по развитию одна от другой, страну дикарей и страну высокоцивилизованного народа, нам кажется, будто бы в одной из них нет даже и следа тех явлений, какие поражают нас своим колоссальным размером в другой. В Англии мы видим Лондон и Манчестер, доки, наполненные пароходами, и железные дороги, а у каких-нибудь якутов нет, по-видимому, ничего соответствующего этим явлениям. Но загляните в основательное описание жизни якутов, и оно уже самым оглавлением своим наведет нас на мысль, что поверхностное заключение наше было ошибочно; оглавление книги о якутах точно таково же, как оглавление книги об англичанах: почва и климат; способы добывания пищи; жилища; одежда; пути сообщения; торговля и т. д. Как? — спрашиваете вы себя: — неужели у якутов есть и пути сообщения, и торговля? Да, разумеется есть, как и у англичан; разница только та, что у англичан эти явления общественной жизни сильно развиты, а у якутов они развиты слабо. У англичан есть Лондон, но и у якутов есть явления, возникающие из того же самого принципа, которым создан Лондон: на зиму якуты, бросая кочевую жизнь, поселяются в землянках; эти землянки вырыты по соседству одна от другой, так что составляют какую-то группу,— вот вам и зародыш города; в самой Англии дело началось с того же: зародыш Лондона была такая же группа таких же землянок. У англичан есть

Манчестер с гигантскими машинами, которые называются бумагопрядильною фабрикою; но ведь и якуты не довольствуются звериными шкурами в их натуральном виде, они сшивают их, они делают из шерсти войлок; от валяния войлока уже недалеко до тканья, от иголки недалеко до веретена, а Манчестер составляется просто накоплением десятков миллионов веретен с удобною для них обстановкою; в работе якутского семейства над изготовлением одежды лежит уже зародыш Манчестера, как в якутской землянке — зародыш Лондона. Дело иного рода, насколько где развилось известное явление; но явления всех разрядов в разных степенях развития существуют у каждого народа. Зародыш один и тот же; он развивается повсюду по одним и тем же законам, только обстановка у него в разных местах различна, оттого различно и развитие: берлинский кислый виноград — тот же самый виноград, какой растет в Шампани и в Венгрии; только климат разный, потому с практической точки зрения можно говорить, что берлинский виноград, который ни на что не годится, вещь совершенно иного рода, чем виноград Токая или Эперне, из которого делают дивные вина; так, разница огромная, явная для всякого, но согласитесь, что ученые люди поступают справедливо, утверждая, что нет в токайском винограде таких элементов, которых не нашлось бы в берлинском винограде.

Нам нужно обозреть всю область природы, чтобы дойти до человека; а до сих пор мы говорили только о так называемой неорганической природе и о царстве растений, еще ничего не сказав о царстве животных. В наиболее развитых формах своих животный организм чрезвычайно отличается от растения; но читатель знает, что млекопитающее и птица связаны с растительным царством множеством переходных форм, по которым можно проследить все степени развития так называемой животной жизни из растительной: есть растения и животные, почти ничем не отличающиеся друг от друга, так что трудно сказать, к какому царству отнести их. Если некоторые животные почти ничем не отличаются от растений в эпоху полного развития своего организма, то в первое время своего существования все животные почти одинаковы с растениями в первой поре их роста; зародышем животного и растения одинаково служит ячейка; ячейка, служащая зародышем животного, так похожа на ячейку, служащую зародышем растения, что трудно и отличить их. Итак, мы видим, что все животные организмы начинают с того же самого, с чего начинает растение, и только впоследствии некоторые животные

организмы приобретают вид очень различный от растений и в очень высокой степени проявляют такие качества, которые в растении так слабы, что открываются только при помощи научных пособий. Так, например, и в дереве есть зародыш движения: соки в нем движутся, как в животных; корни и ветви тянутся в разные стороны; правда, это перемещение происходит только в частях, а целый организм растения не переменяет места; но и полип также не переменяет места: полипняк способностью перемещения не превосходит дерево. Но есть даже и такие растения, которые переменяют свое место: сюда принадлежат некоторые виды семейства Mimosa.

Не надобно обижать никого; мы нанесли бы животным обиду, если бы, заметив, что они не должны считать себя существами иной природы, чем растения, понизив их на степень только особенной формы той же жизни, какая видна в растениях, не сказали нескольких слов и в честь им. Действительно, научный анализ открывает несправедливость голословных фраз, будто животные вовсе лишены разных почетных качеств, как, например, некоторой способности к прогрессу. Обыкновенно говорят: животное всю жизнь остается тем, чем родилось, ничему не научается, нейдет вперед в умственном развитии. Такое мнение разрушается фактами, известными каждому: медведя научают плясать и выкидывать разные штуки, собак подавать поноску и танцовать; слонов даже выучивают ходить по канату, даже рыб приучают собираться в данное место по звонку,— этого всего обученные животные не делали без ученья; ученье дает им качества, которых без него не имели бы они. Не только человек учит животных — сами животные учат друг друга; известно, что хищные животные учат своих детей ловить добычу; птицы учат своих детей летать. Но, говорят нам, это научение, это развитие имеет известный предел, дальше которого нейдет животное, так что каждая порода неподвижна в своем развитии, которое относится только к отдельным членам ее; отдельное животное может иметь свою историю, но порода остается без истории, понимая под историею прогрессивное движение. Это также несправедливо; на наших глазах совершенствуются целые породы животных: например, улучшается порода лошадей или рогатого скота в известной стране. Человек имеет пользу от развития одних только экономических качеств животного: от увеличения силы у лошади, шерсти у овцы, молока и мяса у коровы и быка; потому мы и совершенствуем целые породы животных только в этих внешних качествах. Но все-таки из

этого уже видно, что животные доступны развитию не только индивидуумами, а целыми породами. Этого одного факта было бы уже достаточно для несомненного заключения о том, что и умственные способности животных каждой породы не стоят неподвижно на одной данной точке, а также изменяются: естественные науки говорят, что причина, производящая перемену в мускулах, то есть изменение качеств крови, непременно производит некоторую перемену и в нервной системе; если при перемене в составе крови, питающей мускулы и нервы, изменяется питание мускулов, то должно изменяться и питание нервной системы; а при различии в питании непременно изменяются качества и действия питающейся части организма. Лошадь улучшенной породы непременно должна иметь впечатления несколько иные, чем простая лошадь: вы видите, что ее глаз блещет более живым огнем; это значит, что зрительный нерв ее восприимчивее, чувствительнее; если так изменился зрительный нерв, то произошла некоторая перемена и во всей нервной системе. Это вовсе не гипотеза, это — положительный факт, известный, например, из того, что жеребенок от домашней лошади, от благовоспитанной лошади, если можно так выразиться, гораздо скорее и легче приучается ходить в упряжи, чем жеребенок от табунной лошади, от дикой, невоспитанной лошади; это значит, что умственные способности у одного более развиты в известном отношении, чем у другого. Но тут дело идет для целей человека, а не для потребности самого животного; это развитие касается только низших сторон умственной жизни, как всякое развитие, налагаемое целями, посторонними самому развивающемуся. Гораздо яснее обнаруживается в животных способность к прогрессу, когда они развиваются по собственной надобности, по собственному побуждению. Наши домашние животные, привыкшие к своему рабству, развившись в тех отношениях, которые нужны для их господина, вообще поглупели от рабства. Они стали трусливы, ненаходчивы в непредвиденных обстоятельствах. Но, выходя на свободу, они возвращаются к находчивости и смелости вольного состояния. Одичавшие лошади приучаются защищаться от волков, приучаются выбивать траву из-под снега зимой. Дикие животные вообще умеют приспособляться к новым обстоятельствам: книги о нравах животных наполнены рассказами о том, как умеют приноровлять свою жизнь к новой обстановке осы, пауки и другие насекомые, посаженные под стеклянный колпак. Сначала насекомое пробует поступать по-прежнему; постепенные неудачи по-

казывают ему неудовлетворительность прежнего метода, оно пробует новые методы, и если обстоятельства не губят его, оно, наконец, устраивает свою жизнь по новому способу. Медведь, нашедши бочонок с вином, умеет, наконец, догадаться, как выбить дно. Мы не станем приводить бесчисленных отдельных анекдотов о находчивости животных и заметим, только один общий факт, относящийся к целым породам: при появлении человека в пустынной стране птицы еще не умеют остерегаться его; но постепенно опыт научает их быть осторожными, предусмотрительными относительно этого нового врага, и все породы дичи научаются обходиться с охотником умнее прежнего, избегать его, обманывать его.

Мы употребляли выражение «умственные способности», говоря о животных. В самом деле, нельзя отрицать в них ни памяти, ни воображения, ни мышления. О памяти нечего и говорить: каждому известно, что нет ни одного млекопитающего, ни одной птицы без этой способности, и у некоторых пород она развита очень сильно; памятливость собаки чрезвычайно велика: она узнает человека, виденного ею очень давно, умеет находить дорогу в хозяйский дом из очень отдаленного места. Воображение непременно должно существовать, если есть память, потому что оно только соединяет в новые группы разные представления, хранимые памятью. Если существует нервная деятельность, то есть если происходит беспрерывная смена ощущений и впечатлений, то прежние представления непременно должны беспрестанно попадать в сочетания с новыми, а этот феномен уже и есть то самое, что называется воображением. Положительным образом существование фантазии в животном доказывается тем, что кошка видит сны: она во сне часто бывает похожа на лунатика: то сердится, то радуется. Впрочем, нет надобности слишком дорожить этим частным фактом, способностью кошки иметь сновидения: существование фантазии у животных обнаруживается другим, гораздо более общим фактом — расположением всех молодых животных забавляться посредством игры над внешними предметами, которые не могли бы служить предметом такой игры, если бы не представлялись играющему животному чем-то вроде кукол. Молодая кошка забавляется какой-нибудь щепочкою или кусочком шерсти, как будто мышью: она бросает клочок шерсти, чтобы он как будто бежал, сама принимает подстерегающее положение, потом прыгает и ловит воображаемую мышь,— это прямо игра в куклы, только кукла тут имеет роль не жениха и невесты, не барышни и слу-

жанки, а роль мышки: что делать, каждое существо дает предметам такую роль, какая для него интересна.

Мышление состоит в том, чтобы из разных комбинаций ощущений и представлений, изготовляемых воображением при помощи памяти, выбирать такие, которые соответствуют потребности мыслящего организма в данную минуту, в выборе средств для действия, в выборе представлений, посредством которых можно было бы дойти до известного результата. В этом состоит не только мышление о житейских предметах, но и так называемое отвлеченное мышление. Возьмем в пример самое отвлеченное дело: решение математической задачи. У Ньютона, заинтересованного вопросом о законе качества или силы, проявляющейся в обращении небесных тел, накопилось в памяти очень много математических формул и астрономических данных. Чувства его (главным образом одно чувство — зрение) беспрестанно приобретали новые формулы и астрономические данные из чтения и собственных наблюдений; от сочетания этих новых впечатлений с прежними возникали в его голове разные комбинации, формулы цифр; его внимание останавливалось на тех, которые казались подходящими к его цели, соответствующими его потребности найти формулу данного явления; от обращения внимания на эти комбинации, то есть от усиления энергии в нервном процессе при их появлении, они развивались и разрастались, пока, наконец, разными сменами и превращениями их произведен был результат, к которому стремился нервный процесс, то есть найдена была искомая формула. Это явление, то есть, сосредоточение нервного процесса на удовлетворяющих его желанию в данную минуту комбинациях ощущений и представлений, непременно должно происходить, как скоро существуют комбинации ощущений и представлений, иначе сказать — как скоро существует нервный процесс, который сам и состоит именно в ряде разных комбинаций ощущения и представления. Каждое существо, каждое явление разрастается, усиливается при появлении данных, удовлетворяющих его потребности, прилепляется к ним, питается ими, а собственно в этом и состоит то, что мы назвали выбором представлений и ощущений в мышлении; а в этом выборе их, в прилеплении к ним и состоит сущность мышления.

Само собою разумеется, что когда мы находим одинаковость теоретической формулы, посредством которой выражается процесс, происходивший в нервной системе Ньютона при открытии закона тяготения, и процесс того, что происходит в нервной системе курицы, отыскивающей

овсяные зерна в куче сора и пыли, то не надобно забывать, что формула выражает собою только одинаковую сущность процесса, а вовсе не то, чтобы размер процесса был одинаков, чтобы одинаково было впечатление, производимое на людей явлениями этого процесса, или чтобы обе формы его могли производить одинаковый внешний результат. Мы говорили, например, в прошлой статье, что хотя трава и дуб растут по одному закону, из одних элементов, но все-таки трава никак не может производить таких действий, давать таких результатов, как дуб: из дуба человек может строить себе огромные дома и корабли, а из травы можно только маленькой птичке свить свое гнездо; или, например, в куче гнилушки происходит тот же самый процесс, как в печи громадной паровой машины; но куча гнилушки никого не перевезет из Москвы в Петербург, а паровик со своей печью перевозит тысячи людей и десятки тысяч пудов товаров. Муха летает тою же самою силою, по тому же самому закону, как орел; но, конечно, из этого не следует, чтобы она взлетала так высоко, как орел.

Говорят, будто бы животные не рассуждают. Это чистый вздор. Вы поднимаете палку на собаку, собака поджимает хвост и бежит от вас; отчего это? Оттого, что у ней в голове построился следующий силлогизм: когда меня бьют палкою, мне бывает неприятно; этот человек хочет побить меня палкою, итак, удалюсь от него, чтобы не получить болезненного ощущения от его палки. Смешно и слышать, когда говорят, будто собака в этом случае убежала только по инстинкту, машинально, а не по рассуждению, не сознательно: нет, инстинкт, машинальность есть тут, но не все дело произошло инстинктивно, машинально: по инстинкту, по машинальной привычке собака поджала хвост, когда побежала от вас, а побежала она по сознательной мысли. В действиях каждого живого существа есть сторона бессознательной привычки или бессознательного движения органов; но это не мешает участию сознательной мысли в том действии, которое сопровождается и некоторыми движениями, происходящими бессознательно. Когда человек испугается, мускулы его лица бессознательно, инстинктивно принимают выражение испуга; но тем не менее происходит в голове этого человека другая часть явления, принадлежащая области сознания: он сознает, что он испуган, он сознает, что сделал движение, выражающее испуг; от этой сознательной стороны факта происходят новые последствия: человек, может быть, постыдится себя за то, что испугался, может быть, примет

меры к обороне от испугавшего предмета, а может быть, поспешит удалиться от него.

Но мы забыли: ведь говорят, что у животных нет сознания, что они не сознают своих ощущений, своих мыслей, умозаключений, а только имеют их. Каким образом понять это, каким образом могут понимать эти слова сами те люди, которые говорят их, всегда было для нас загадкою. Не сознавать своего ощущения — скажите, есть ли смысл в этой фразе? Скажите, каким образом можно составить себе отчетливое представление о комбинации понятий, которую хочет она возбудить? Ощущением ведь именно и называется такое явление, которое чувствуется; иметь бессознательное ощущение значило бы иметь нечувствуемое чувство, значило бы то же самое, что видеть невидимый предмет или, по знаменитому выражению, «слышать молчание». Есть очень много выражений совершенно бессмысленных, составленных из сочетания слов, соответствующих неклеящимся между собою понятиям; произносить их каждый может, но каждый, кто произносит их, тем самым свидетельствует, что или сам не понимает, что говорит, или хочет шарлатанить. Говорят, например, «невесомая жидкость»; но что такое жидкость, какая бы то ни была? Она все-таки тело, все-таки нечто материальное; всякое вещество имеет свойство, называемое притяжением или тяготением, состоящее в том, что каждая частичка материи притягивает к себе другие частицы и сама притягивается ими; на земле это свойство обнаруживается весом, то есть тяготением к центру земли; итак, всякая жидкость непременно имеет вес, а «невесомая жидкость» — бессмысленное сочетание звуков, вроде выражений: синий звук, сахарная селитра и т. п. Если в физике так долго употреблялось бессмысленное выражение «невесомая жидкость», то неудивительно изобилие подобных выражений в психологии, которая разработана меньше физики; научный анализ показывает вздорность их, и одна из сторон развития науки состоит в том, чтобы отбрасывать их.

Еще забавнее становится пустая гипотеза об отсутствии сознания в животных, когда принимает какой-то нелепо возвышенный тон, подразделяя феномен сознания на два разряда: простое сознание и самосознание, говоря, что животные имеют простое сознание, а самосознания не имеют. Тут дело доходит до такой мудрости, с которой может сравниться лишь следующая дистинкция: скрипка издает только синий звук, а самосинего звука издавать не может, его издает виолончель. Кто поймет этот тонкий

вывод о качествах звука скрипки и виолончеля, для того будет совершенно ясно, что ощущение в животных сопровождается сознанием, но не сопровождается самосознанием,— иначе сказать, что животные имеют ощущение о внешних предметах, но не чувствуют, что имеют ощущение,— иначе сказать, имеют чувства, которых не чувствуют. После этого следует заключить: вероятно, животные едят зубами, которыми не едят, ходят ногами, которыми не ходят. Теперь для нас очевидно существование птичьего молока: птицы имеют молоко, которого не имеют; так как они его имеют, то оно существует, а так как они его не имеют, то простонародная поговорка справедливо полагает, что достать его нигде нельзя. Кто убежден в справедливости всех этих столь основательных мнений, тому остается только просидеть Иванову ночь над папоротником, и он получит цветок-невидимку.

Прикоснемся точным анализом к факту ощущения, и вся фантасмагория исчезает от первого прикосновения. Ощущение по самой натуре своей непременно предполагает существование двух элементов мысли, связанных в одну мысль: во-первых, тут есть внешний предмет, производящий ощущение; во-вторых, существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение; чувствуя свое ощущение, оно чувствует известное свое состояние; а когда чувствуется состояние какого-нибудь предмета, то, разумеется, чувствуется и самый предмет. Например, я чувствую боль в левой руке; вместе с этим я чувствую и то, что у меня есть правая рука; вместе с этим я чувствую, что существую я, часть которого составляет эта левая рука, и, по всей вероятности, чувствую также, что эта рука болит у меня; или я не чувствую, что она болит у меня? или, когда я чувствую боль в руке, то я чувствую, что рука болит не у меня, а у какого-нибудь китайца в Кантоне? Не смешно ли рассуждать о подобных вещах, рассуждать о том, солнце ли есть солнце, рука ли есть рука, и о тому подобных мудреных задачах?

Чем отличается Ротшильд от бедняка? тем ли, что двугривенный в кармане бедняка есть простое серебро, а груды серебряной монеты, лежащие в подвалах Ротшильда, вычеканены из самосеребра, которое гораздо лучше серебра? Если бы Ротшильд был человек не богатый, а только тщеславный, он мог бы придумывать подобные вздоры в доказательство своего превосходства над бедняком. Но, как человек действительно богатый, он не имеет надобности в таких вздорных фантазиях и прямо говорит бедняку: «мое серебро точно такое же, как ваше;

но у вас его один золотник, а у меня много тысяч пудов; потому-то, измеряя богатством право на уважение, я нахожу себя заслуживающим гораздо бо́льшего уважения, чем вы».

Говорят также, будто бы у животных нет тех чувств, которые называются возвышенными, бескорыстными, идеальными. Надобно ли замечать совершенную несообразность такого мнения с общеизвестными фактами? Привязанность собаки вошла в пословицу; лошадь проникнута честолюбием до того, что когда разгорячится, обгоняя другую лошадь, то уже не нуждается в хлысте и шпорах, а только в удилах: она готова надорвать себя, бежать до того, чтобы упасть замертво, лишь бы обогнать соперницу. Нам говорят, будто бы животные знают только кровное родство, а не знают родства, основанного на возвышенном чувстве благорасположения. Но наседка, высидевшая цыплят из яиц, снесенных другою курицею, не имеет с этими цыплятами никакого кровного родства: ни одна частичка из ее организма не находится в составе организма этих цыплят. Однакоже мы видим, что в заботливости курицы о цыплятах не бывает никакого различия от того обстоятельства, свои или чужие яйца высидела наседка. На чем же основана ее заботливость о цыплятах, высиженных ею из яиц другой курицы? На том факте, что она высидела их, на том факте, что она помогает им делаться курами и петухами, хорошими, здоровыми петухами и курами. Она любит их, как нянька, как гувернантка, воспитательница, благодетельница их. Она любит их потому, что положила в них часть своего нравственного существа — не материального существа, нет, в них нет ни частички ее крови,— нет, в них она любит результаты своей заботливости, своей доброты, своего благоразумия, своей опытности в куриных делах; это — отношение чисто нравственное.

Вообще замечают, что дети, достигшие совершеннолетия, гораздо менее привязаны к родителям, чем родители к детям. Главное основание этого факта открыть очень легко: человек любит прежде всего сам себя. Родители видят в детях результат своих забот о них, а дети ничем не участвовали в воспитании родителей, не могут видеть в них результат своей деятельности. При нынешнем устройстве общества нравственные отношения совершеннолетних детей к родителям состоят почти только в том, чтобы содержать их на старости, да и эту обязанность исполняли бы очень немногие дети по собственному влечению, если бы не принуждались к ее исполнению тем чув-

ством повиновения общественному мнению, которое принуждает их вообще не держать себя неприличным образом, не возбуждать своими действиями общего негодования. В тех породах животных, которые не составляют обществ, конечно, нет и общественных отношений, вынуждающих исполнение подобного дела. Мы не знаем, как проводят свое дряхлое время жаворонки, ласточки, кроты и лисицы. Их жизнь так не обеспечена, что, по всей вероятности, очень немногие из этих животных доживают до дряхлости: вероятно, они скоро делаются добычею других животных, когда ослабевает в них сила улетать, убегать или защищаться. Говорят, что едва ли хотя одна рыба умирает естественной смертью, не бывает пожрана другими рыбами. То же надобно думать о большей части диких птиц и млекопитающих. Те немногие индивидуумы, которые доживают до дряхлости, вероятно, умирают от голода несколькими часами или днями раньше, чем могли бы умереть, имея подле себя пищу. Но из этого забвения их детей о дряхлых отцах и матерях не будем выводить слишком резкого суждения об отсутствии детской привязанности между животными: мы тут обязаны быть снисходительными, потому что наше суждение об этом предмете почти вполне применилось бы и к людям.

Когда говоришь без всякого плана, сам не отгадаешь, куда приведет тебя речь. Вот мы видим теперь, что договорились до нравственных или возвышенных чувств. По вопросу об этих чувствах практические выводы из обыкновенного житейского опыта совершенно противоречили старинным гипотезам, приписывавшим человеку множество разных бескорыстных стремлений. Люди видели по опыту, что каждый человек думает все только о себе самом, заботится о своих выгодах больше, нежели о чужих, почти всегда приносит выгоды, честь и жизнь других в жертву своему расчету,— словом сказать, каждый из людей видел, что все люди — эгоисты. В практических делах все рассудительные люди всегда руководились убеждением, что эгоизм — единственное побуждение, управляющее действиями каждого, с кем имеют они дело. Если бы это мнение, ежедневно подтверждаемое опытом каждого из нас, не имело против себя довольно большого числа других житейских фактов, оно, конечно, скоро одержало бы верх и в теории над гипотезами, утверждавшими, что эгоизм есть только испорченность сердца, а неиспорченный человек руководится побуждениями, противоположными эгоизму: думает о благе других, а не о своем, готов жертвовать собою для других и т. д. Но вот

именно в том и состояло затруднение, что гипотеза о бескорыстном стремлении человека служить чужому благу, опровергаемая сотнями ежедневных опытов каждого, повидимому, подтверждалась довольно многочисленными фактами бескорыстия, самопожертвования и т. д.: там Курций бросается в пропасть, чтобы спасти родной город, тут Эмпедокл бросается в кратер, чтобы сделать ученое открытие, тут Дамон спешит на казнь, чтобы спасти Пифиаса, тут поражает себя кинжалом Лукреция, чтобы восстановить свою честь[11]. До недавнего времени не было научных средств точным образом вывести оба эти разряда явлений из одного принципа, подвести под один закон факты, противоположные между собою. Камень падает на землю, пар летит вверх, и в старину думали, что закон тяжести, действующий в камне, не действует над паром. Теперь известно, что оба эти движения, происходящие по противоположным направлениям, падение камня на землю и поднятие пара вверх от земли,— происходят от одной причины, по одному закону. Теперь известно, что сила притяжения, вообще стремящая тела вниз, обнаруживается при известных обстоятельствах тем, что заставляет некоторые тела подниматься вверх. Много раз мы говорили, что нравственные науки еще не разработаны с такой полнотою, как естественные; но и при нынешнем, вовсе не блистательном их состоянии уже разрешен вопрос о подведении всех часто разнорéчащих между собою человеческих поступков и чувств под один принцип, как разрешены вообще почти все те нравственные и метафизические вопросы, в которых путались люди до начала разработки нравственных наук и метафизики по строгому научному методу. В побуждениях человека, как и во всех сторонах его жизни, нет двух различных натур, двух основных законов, различных или противоположных между собою, а все разнообразие явления в сфере человеческих побуждений к действованию, как и во всей человеческой жизни, происходит из одной и той же натуры, по одному и тому же закону.

Мы не станем говорить о тех действиях и чувствах, которые всеми признаются за эгоистические, своекорыстные, происходящие из личного расчета; обратим внимание только на те чувства и поступки, которые представляются имеющими противоположный характер: вообще надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит

чувство, называемое эгоизмом. Очень мало найдется случаев, когда эта основа сама не напрашивалась бы на замечание даже человеку, не очень привычному к психологическому анализу. Если муж и жена жили между собою хорошо, жена совершенно искренно и очень глубоко печалится о смерти мужа, но только вслушайтесь в слова, которыми выражается ее печаль: «на кого ты меня покинул? что я буду без тебя делать? без тебя тошно жить на свете!» Подчеркните эти слова «меня, я, мне»: в них — смысл жалобы, в них — основа печали. Возьмем чувство еще гораздо высшее, чистейшее, чем самая высокая супружеская любовь: чувство матери к ребенку. Ее плач о его смерти точно таков же: «Ангел мой! Как я тебя любила! Как я любовалась на тебя, ухаживала за тобою! Скольких страданий, скольких бессонных ночей ты стоил мне! Погибла в тебе моя надежда, отнята у меня всякая радость!» И тут опять все то же: «я, мое, у меня». Столь же легко открывается эгоистическая основа в самой искренней и нежной дружбе. Не многим затруднительнее те случаи, в которых человек приносит жертву для любимого предмета; хотя бы он жертвовал для него самою жизнью, все-таки основанием пожертвования служит личный расчет или страстный порыв эгоизма. О большей части случаев так называемого самопожертвования не стоит говорить как о самопожертвовании: им неприлично это имя. Жители Сагунта перерезались, чтобы не отдаться живыми в руки Аннибала[12], геройство, достойное удивления, но совершенно одобряемое эгоистическим расчетом: они привыкли жить свободными гражданами, не терпеть никаких обид, уважать себя и видеть уважение от других; карфагенский полководец продал бы их в рабство, их жизнь была бы рядом несноснейших мучений; они поступили в том же роде, как делает человек, вырывающий у себя больной зуб: они предпочли одну минуту страшной смертельной муки нескончаемым годам мучений; в средние века еретики, сжигаемые медленным огнем на кострах из сырого леса, старались разорвать свои цепи, чтобы броситься в пламя: легче задохнуться в одну минуту, чем терпеть задушение несколько часов. Действительно, таково было положение жителей Сагунта. Мы напрасно предположили, что Аннибал удовольствовался бы обращением их в рабство: они все равно были бы истреблены если не своими, то карфагенскими руками, но карфагеняне стали бы долго мучить их варварскими пытками, и здравый расчет их справедливо предпочел легкую и быструю смерть медленной и тяжелой. Лукреция закололась, когда ее осквернил Сѐкст Таркви-

ний: она также поступила очень расчетливо; что̀ ожидало ее впереди? Муж мог бы наговорить ей много успокоительных и ласковых слов, но ведь все подобные слова чистый вздор, свидетельствующий о благородстве говорящего их, но нисколько не изменяющий непременных последствий дела. Коллатин мог сказать жене: я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему; но при тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горьче побоев и ругательств. Лукреция справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унизительном по сравнению с тем, к какому она привыкла. Чистоплотный человек охотнее будет терпеть голод, чем прикоснется к пище, осквернённой какою-нибудь гадостью; для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо легче унижения.

Читатель понимает, что мы говорим все это вовсе не к уменьшению великой похвалы, какой достойны жители Сагунта и Лукреция: доказывать, что геройский поступок был вместе умным поступком, что благородное дело не было безрассудным делом, вовсе еще не значит, по нашему мнению, отнимать цену у геройства и благородства. От этих геройских дел перейдем к образу действий более обыкновенному, хотя все еще слишком редкому; разберем такие случаи, как преданность человека, отказывающегося от всяких удовольствий, от всякой свободы в распоряжении своим временем для того, чтобы ухаживать за другим человеком, нуждающимся в его заботливости. Друг, проводящий целые недели у постели больного друга, делает пожертвование гораздо более тяжелое, чем если бы отдавал ему все свои деньги. Но почему он приносит такую великую жертву и в пользу какого чувства он приносит ее? Он приносит свое время, свою свободу в жертву своему чувству дружбы,— заметим же, *своему* чувству; оно развилось в нем так сильно, что, удовлетворяя его, он получает бо́льшую приятность, чем получил бы от всяких других удовольствий и от самой свободы; а нарушая его, оставляя без удовлетворения, чувствовал бы больше неприятности, чем сколько получает от стеснения себя во всех других потребностях. Точно таковы же случаи, когда человек отказывается от всяких наслаждений и выгод для служения

науке или какому-нибудь убеждению. Ньютон и Лейбниц, отказавшие себе во всякой любви к женщине, чтобы нераздельно отдавать все свое время, все свои мысли ученым исследованиям, конечно, совершали всю свою жизнь очень высокий подвиг. Точно то же надобно сказать о политических деятелях, называемых обыкновенно фанатиками. Тут опять мы видим, что известная потребность развилась в человеке так сильно, что удовлетворять ей приятно для него даже с пожертвованием другими очень сильными потребностями. По своему предмету эти случаи очень резко отличаются от тех фактов расчета, в которых человек жертвует очень большою суммою денег для удовлетворения какой-нибудь низкой страсти, но по теоретической формуле все они подходят под один закон: сильнейшая страсть берет верх над влечениями менее сильными и приносит их в жертву себе.

При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения бо́льшей выгоды, бо́льшего удовольствия. Конечно, этою одинаковостью причины, из которой происходят дурные и хорошие дела, вовсе не уменьшается разница между ними: мы знаем, что алмаз и уголь — все один и тот же чистый углерод, но тем не менее алмаз есть алмаз, вещь чрезвычайно драгоценная, а уголь — все-таки уголь, вещь очень малоценная. Великая разница между добрым и злым заслуживает полного нашего внимания. Мы начнем с анализа этих понятий, чтобы увидеть, какими обстоятельствами развивается или ослабляется добро в человеческой жизни.

Очень давно было замечено, что различные люди в одном обществе называют добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже противоположные. Если, например, кто-нибудь отказывает свое наследство посторонним людям, эти люди находят его поступок добрым, а родственники, потерявшие наследство, очень дурным. Такая же разница между понятиями о добре в разных обществах и в разные эпохи в одном обществе. Из этого очень долго выводилось заключение, что понятие добра не имеет в себе ничего постоянного, самостоятельного, подлежащего общему определению, а есть понятие чисто условное, зависящее от мнений, от произвола людей. Но точнее всматриваясь в отношения поступков, называемых добрыми,

к тем людям, которые дают им такое название, мы находим, что всегда есть в этом отношении одна общая, непременная черта, от которой и происходит причисление поступка к разряду добрых. Почему посторонние люди, получившие наследство, называют добрым делом акт, давший им это имущество? Потому, что этот акт был для них полезен. Напротив, он был вреден родственникам завещателя, лишенным наследства, потому они называют его дурным делом. Война против неверных для распространения мусульманства казалась добрым делом для магометан, потому что приносила им пользу, давала им добычу; в особенности поддерживали между ними это мнение духовные сановники, власть которых расширялась от завоеваний. Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще. Очень часты случаи, в которых интересы разных наций и сословий противоположны между собою или с общими человеческими интересами; столь же часты случаи, в которых выгоды какого-нибудь отдельного сословия противоположны национальному интересу. Во всех этих случаях возникает спор о характере поступка, учреждения или отношения, выгодного для одних, вредного для других интересов: приверженцы той стороны, для которой он вреден, называют его дурным, злым; защитники интересов, получающих от него пользу, называют его хорошим, добрым. На чьей стороне бывает в таких случаях теоретическая справедливость, решить очень не трудно: общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного. В теории эта градация не подлежит никакому сомнению, она составляет только применение геометрических аксиом — «целое больше своей части», «бóльшее количество больше меньшего количества» — к общественным вопросам. Теоретическая ложь непременно ведет к практическому вреду; те случаи, в которых отдельная нация попирает для своей выгоды общечеловеческие интересы или отдельное сословие — интересы целой нации, всегда оказываются в результате вредными не только для стороны, интересы которой были нарушены, но и для той стороны, которая думала доставить себе выгоду их нарушением: всегда оказывается, что нация губит сама себя, порабощая челове-

чество, что отдельное сословие приводит себя к дурному концу, принося в жертву себе целый народ. Из этого мы видим, что при столкновениях национального интереса с сословным, сословие, думающее извлечь пользу себе из народного вреда, с самого начала ошибается, ослепляется фальшивым расчетом. Иллюзия, которою оно увлекается, имеет иногда вид очень основательного расчета; но мы приведем два или три случая этого рода, чтобы показать, как ошибочен бывает такой расчет. Мануфактуристы думают, что запретительный тариф выгоден для них; но в результате оказывается, что при запретительном тарифе нация остается бедна и по своей бедности не может содержать мануфактурную промышленность обширного размера; таким образом самое сословие мануфактуристов остается далеко не столь богато, как бывает при свободной торговле; все фабриканты всех государств с запретительным тарифом, вместе взятые, конечно, не имеют и половины того богатства, какое приобрели фабриканты Манчестера. Землевладельцы вообще думают иметь выгоду от невольничества〈, крепостного права〉 и других видов обязательного труда; но в результате оказывается, что землевладельческое сословие всех государств, имеющих несвободный труд, находится в разоренном положении. 〈Бюрократия иногда находит нужным для себя препятствовать умственному и общественному развитию нации; но и тут всегда бывает, что она в результате видит свои собственные дела расстроенными, становится бессильной.〉 Мы привели такие случаи, в которых расчет отдельного сословия вредить для своей выгоды общему национальному интересу имеет, по-видимому, чрезвычайно твердое основание; но и тут результат показывает, что основание только казалось твердым, а в сущности было неверно; что сословие, вредившее народу, само обманывалось относительно своих выгод. Это не может и быть иначе: французский или австрийский мануфактурист — все-таки француз или житель Австрии, и все то, что вредно для государства, к которому он принадлежит, сила которого служит опорою его силы, богатство которого служит опорою его богатства,— все это послужит во вред и ему самому, иссушая источники его силы и богатства. Точно то же надобно сказать о случаях противоположности между интересами отдельной нации и общим человечественным благом: и тут всегда оказывается, что совершенно ошибочен был расчет нации, думавшей извлечь себе пользу из нанесения вреда человечеству. Завоевательные народы всегда кончали тем, что истреблялись и порабощались сами. Монголы Чингисхана

жили в своих степях такими бедными дикарями, что, повидимому, трудно было им притти в положение, худшее прежнего; но как ни дурно было состояние диких орд, пошедших на завоевание земледельческих государств южной и западной Азии и восточной Европы, а все-таки вскоре по совершении завоевания эти несчастные люди, наделавшие столько вреда другим для своего обогащения, подверглись судьбе более плачевной, чем даже та жалкая жизнь, которую продолжали вести их соотечественники, оставшиеся в своих родных степях. Мы знаем, чем кончили татары Золотой орды: конечно, целая половина их погибла при завоевании России и при неудачных нашествиях на Литву и Моравию; остальная половина, сначала награбившая себе много добычи, скоро была истреблена оправившимися русскими. Ученые доказывают, что из нынешних крымских, казанских и оренбургских татар едва ли есть хоть один человек, происходящий от воинов Батыя, что нынешние татары — потомки прежних племен, живших в тех местах до Батыя и покоренных Батыем, как были покорены русские; и что пришельцы — завоеватели — все исчезли, все были истреблены ожесточением порабощенных. Германцы при Таците жили не многим лучше монголов до Чингисхана; но и они мало выиграли от завоевания Римской империи. Ост-готы, ланго-барды, герулы, вандалы — все погибли до последнего человека. От вест-готов осталось имя, но только имя; франков не успели перерезать порабощенные ими племена только потому, что франки перерезались сами при Меровингах[13] Испанцы, опустошив Европу при Карле V и Филиппе II, сами разорились, впали в рабство и наполовину вымерли от голода. Французы, опустошив Европу при Наполеоне I, сами подверглись завоеванию и разорению в 1814 и 1815 годах. 〈Недаром сравнивают с пиявками людей сословия, обогащающегося во вред своей нации; но вспомним, какая судьба ждет пиявок, наслаждающихся сосанием человеческой крови: редкая из них не губит себя этим наслаждением, почти все они дохнут, и если иные остаются живы, то все-таки подвергаются тяжелой болезни, да и живы остаются только благодаря заботливости того, чью кровь сосали.〉

Все это мы говорили к тому, чтобы *показать,* что понятие добра вовсе не расшатывается, а, напротив, укрепляется, определяется самым резким и точным образом, когда мы открываем его истинную натуру, когда мы находим, что добро есть польза[14]. Только при этом понятии о нем мы в состоянии разрешить все затруднения, возникающие из разноречия разных эпох и цивилизаций, раз-

ных сословий и народов о том, что̀ добро, что̀ зло. Наука говорит о народе, а не об отдельных индивидуумах, о человеке, а не о французе или англичанине, не купце или бюрократе. Только то, что составляет натуру человека, признается в науке за истину; только то, что полезно для человека вообще, признается за истинное добро; всякое уклонение понятий известного народа или сословия от этой нормы составляет ошибку, галлюцинацию, которая может наделать много вреда другим людям, но больше всех наделает вреда тому народу, тому сословию, которое подверглось ей, заняв по своей или чужой вине такое положение среди других народов, среди других сословий, что стало казаться выгодным ему то, что вредно для человека вообще. «Погибоша аки Обре»[15] — эти слова повторяет история над каждым народом, над каждым сословием, впавшим в гибельную для таких людей галлюцинацию о противоположности своих выгод с общечеловеческим интересом.

Если есть какая-нибудь разница между добром и пользою, она заключается разве лишь в том, что понятие добра очень сильным образом выставляет черту постоянства, прочности, плодотворности, изобилия хорошими, долговременными и многочисленными результатами, которая, впрочем, находится в понятии пользы, именно этой чертою отличающемся от понятий удовольствия, наслаждения. Цель всех человеческих стремлений состоит в получении наслаждений. Но источники, из которых получаются нами наслаждения, бывают двух родов: к одному роду принадлежат мимолетные обстоятельства, не зависящие от нас или если и зависящие, то проходящие без всякого прочного результата; к другому роду относятся факты и состояния, находящиеся в нас самих прочным образом или вне нас, но постоянно при нас долгое время. День хорошей погоды в Петербурге — источник бесчисленных облегчений в жизни, бесчисленных приятных ощущений для жителей Петербурга; но этот день хорошей погоды — явление мимолетное, лишенное всякого основания и не оставляющее никакого прочного результата в жизни петербургского населения. Нельзя сказать, чтобы этот день составлял пользу, он составляет только удовольствие. Полезным явлением бывает хорошая погода в Петербурге только в тех немногих случаях и только для тех немногих людей, когда она довольно продолжительна и когда, благодаря этой продолжительности, успеет прочным образом поправиться здоровье нескольких больных. Но тот, кто переселяется из Петербурга в хороший климат,

получает себе пользу в отношении здоровья, в отношении наслаждения природой, потому что этим переселением он приобретает себе прочный источник долговременных наслаждений. Если человек получил приглашение на хороший обед, он получает только удовольствие, а не пользу в этом приглашении (разумеется, и удовольствие только в том случае, когда он находит наслаждение в гастрономии). Но если этот человек, имеющий гастрономические наклонности, получает большую сумму денег, он получает пользу, то есть долговременную возможность пользоваться наслаждением хороших обедов. Итак, полезными вещами называются, так сказать, прочные принципы наслаждений. Если бы при употреблении слова «польза» всегда твердо помнилась эта коренная черта понятия, не было бы решительно никакой разницы между пользою и добром; но, во-первых, слово «польза» употребляется иногда легкомысленным, так сказать, образом о принципах удовольствия, правда, не совершенно мимолетных, но и не очень прочных, а во-вторых, можно эти прочные принципы наслаждений разделить по степени их прочности опять на два разряда: не очень прочные и очень прочные. Этот последний разряд собственно и обозначается названием добра. Добро — это как будто превосходная степень пользы, это как будто очень полезная польза. Доктор восстановил здоровье человека, страдавшего хроническою болезнью,— что̀ он принес ему: добро или пользу? Одинаково удобно тут употребить оба слова, потому что он дал ему самый прочный принцип наслаждений. Наша мысль находится в настроении беспрестанно вспоминать о внешней природе, которая будто бы одна подлежит ведомству естественных наук, составляющих будто бы только одну часть наших знаний, а не обнимающих собою всей их совокупности. Кроме того, мы заметили, что эти статьи свидетельствуют о чрезвычайной сухости нашего сердца, о пошлости и низости нашей души, во всем ищущей только пользы, все оскверняющей отыскиванием материальных оснований, не понимающей ничего высокого, лишенной всякого поэтического чувства. Нам хочется замаскировать этот постыдный недостаток поэтичности в нашей душе. Мы ищем чего-нибудь поэтического для украшения нашей статьи; под влиянием мысли о важности естественных наук отправляемся искать поэзии в область материальной природы и находим в ней цветы. Украсим же одну из наших сухих страниц поэтическим сравнением. Цветы, эти прекрасные источники благоухания, эти столь быстро увядающие очарования нашего глаза,— это удовольствия, наслаждения;

растение, производящее их,— это польза; на одном растении много цветов, увядают одни, распускаются на место их другие; так полезною вещью называется то, из чего вырастает много цветов. Но есть однолетние цветущие растения; и есть также розовые деревья, олеандры, живущие очень много лет и каждый год снова дающие много цветов — вот так добро превосходит своею долговечностью другие источники наслаждений, которые называются просто полезными вещами, но не удостоиваются имени добра, как фиалки не удостоиваются имени деревьев: они — предметы того же разряда вещей, но все еще не так велики и долговечны.

Из того, что добром называются очень прочные источники долговременных, постоянных, очень многочисленных наслаждений, сама собою объясняется важность, приписываемая добру всеми рассудительными людьми, говорившими о человеческих делах. Если мы думаем, что «добро выше пользы», мы скажем только: «очень большая польза выше не очень большой пользы»,— мы скажем только математическую истину, вроде того, что 100 больше 2, что на олеандре бывает больше цветов, чем на фиалке.

Читатель видит, что метод анализа нравственных понятий в духе естественных наук, отнимая у предмета всякую напыщенность, переводя его в область явлений очень простых, натуральных, дает нравственным понятиям основание самое непоколебимое. Если полезным называется то, что служит источником множества наслаждений, а добрым — просто то, что очень полезно, тут уже не остается ровно никаких сомнений относительно цели, которая предписывается человеку,— не какими-нибудь посторонними соображениями или внушениями, не какими-нибудь проблематическими предположениями, таинственными отношениями к чему-нибудь еще очень неверному,— нет, предписывается просто рассудком, здравым смыслом, потребностью наслаждения: эта цель — добро. Расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр. Когда человек не добр, он просто нерасчетливый мот, тратящий тысячу рублей на покупку грошовой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых достало бы ему на приобретение несравненно бо́льшего наслаждения.

Но в том же понятии о добре, как об очень прочной пользе, мы находим еще другую важную черту, помогающую нам открыть, в каких именно явлениях и поступках главнейшим образом состоит добро. Внешние предметы,

как бы тесно ни были привязаны к человеку, все-таки слишком часто разлучаются с ним: то человек расстается с ними, то они изменяют человеку. Родина, родство, богатство, все может быть покинуто человеком или покинуть его; от одного никак не может он отделаться, пока остается жив, одно существо неразлучно с ним: это он сам. Если человек полезен другим людям по своему богатству, он может перестать быть полезен, лишившись богатства; но если он полезен людям по качествам своего собственного организма, по своим душевным качествам, как обыкновенно говорится, то он может разве только зарезать себя, но пока не зарежет, не может перестать делать пользу людям,— не делать ее — выше его сил, не в его власти. Он может сказать себе: буду зол, буду вредить людям; но исполнить этого он уже не может, как умный не может не быть умным, если б и не желал. Не только по постоянству и долговечности, но и по обширности результатов добро, приносимое качествами самого человека, гораздо значительнее добра, делаемого человеком только по обладанию внешними предметами. Доброе или дурное употребление внешних предметов случайно; всякие материальные средства так же легко и часто бывают обращаемы на вред людям, как и на пользу им. Богатый человек, принося своим богатством выгоду некоторым людям в некоторых случаях, вредит другим или даже и тем же самым людям в других случаях. Например, богатый человек может дать хорошее воспитание своим детям, развить в них здоровье, ум, дать им множество знаний; это вещи полезные для них; но будут ли они сделаны или нет, это еще неизвестно, и часто этого не бывает, а, напротив, дети богача получают такое воспитание, что делаются от него людьми хилыми, болезненными, слабоумными, пустыми, жалкими. Дети богача вообще приобретают привычки и понятия, невыгодные для них самих. Если таково влияние богатства на людей, счастием которых наиболее дорожит богач, то, конечно, оно еще заметнее приносит вред другим людям, не столь близким сердцу богача 〈, так что вообще надобно предполагать, что богатство отдельного человека приносит больше вреда, нежели пользы, людям, бывающим в непосредственных отношениях к богачу〉. Но если возможно некоторое сомнение относительно того, равняется ли вредное влияние богатства на этих отдельных людей пользе, получаемой ими от него 〈или, как, по всей вероятности, следует думать, далеко превышает ее〉, то〈уже совершенно бесспорен тот факт〉, что в действии богатства отдельных людей на целое общество вредные стороны гораздо сильнее

полезных. Это с математическою достоверностью обнаруживается той частью нравственных знаний, которая раньше других стала разработываться по точной научной системе и в некоторых отделах своих разработана уже довольно хорошо наукою о законах общественного материального благосостояния или обыкновенно так называемою политическою экономиею. 〈То, что мы находим относительно большого превосходства одних людей над другими посредством материального благосостояния, надобно еще в бóльшей степени сказать о большом сосредоточении в руках отдельных людей другого постороннего самому человеческому организму средства к влиянию на судьбу других людей,— о силе или власти. Она также, по всей вероятности, приносит гораздо больше вреда, нежели пользы, даже людям, непосредственно соприкасающимся с нею, а в ее влиянии на целое общество вред несравненно превосходит пользу.〉 Итак, действительным источником совершенно прочной пользы для людей от действий других людей остаются только те полезные качества, которые лежат в самом человеческом организме; потому собственно этим качествам и усвоено название добрых, потому и слово «добрый» настоящим образом прилагается только к человеку. В его действиях основанием бывает чувство или сердце, а непосредственным источником их служит та сторона органической деятельности, которая называется волею; потому, говоря о добре, надобно специальным образом разобрать законы, по которым действуют сердце и воля. Но способы к исполнению чувств сердца даются воле представлениями ума, и потому надобно также обратить внимание на ту сторону мышления, которая относится к способам иметь влияние на судьбу других людей. Не обещая ничего наверное, мы скажем только, что нам хотелось бы изложить точные понятия нынешней науки об этих предметах. Очень может быть, что нам и удастся сделать это.

Но мы едва не забыли, что до сих пор остается не объяснено слово «антропологический» в заглавии наших статей; что это за вещь «антропологический принцип в нравственных науках»? Что за вещь этот принцип, читатель видел из характера самых статей: принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или если

она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом. Кажется, это требование очень простое, а между тем только в последнее время стали понимать всю его важность и исполнять его мыслители, занимающиеся нравственными науками, да и то далеко не все, а только некоторые, очень немногие из них, между тем как большинство сословия ученых, всегда держащееся рутины, как большинство всякого сословия, продолжает работать по прежнему, фантастическому способу ненатурального дробления человека на разные половины, происходящие из разных натур. Зато и все труды этого рутинного большинства оказываются теперь таким же хламом, каким оказались труды Эмина и Елагина по русской истории, Чулкова по собиранию народных песен, или в наше время труды гг. Погодина и Шевырева. Кое-что, похожее на правду, попадается и в них,— ведь г. Погодин совершенно справедливо говорит, что Ярослав был князь Киевский, а не Краковский, что Ольга приняла в Константинополе православие, а не лютеранство, что Алексей Петрович был сын Петра Великого; ведь г. Шевырев справедливо заметил, что русский народ употребляет скудную и неудобоваримую пищу, что между ямщиками попадаются красивые парни, и отыскал в паисиевском сборнике[16] довольно любопытное свидетельство о русском язычестве. Но все эти прекрасные и совершенно верные вещи засыпаны в книгах ученой четы покойного «Москвитянина»[17] таким множеством вздорных мнений, что отделить в них правду от пустяков — труд столь же тяжелый, как отыскивать годные на выделку бумаги тряпки в тех местах, которые исследуются зоркими глазами и ловким крючком ветошников; потому люди обыкновенные поступят лучше всего, если совершенно откажутся от столь неприятного дела, предоставляя его привычным к нему труженикам; но труженики эти, специалисты, идущие в уровень с понятиями нынешней науки, находят, что в книгах, подобных сочинениям господ, нами названных, и их предшественников даже и ученого тряпья отыскивается слишком мало, так что чтение их составляет совершенную трату времени, ведущую только к засорению головы. Вот то же самое надобно сказать почти о всех прежних теориях нравственных наук. Пренебрежение к антропологическому принципу отнимает у них всякое достоинство; исключением служат творения очень немногих прежних мыслителей, следовавших антропологическому принципу, хотя еще и не употреблявших

этого термина для характеристики своих воззрений на человека: таковы, например, Аристотель и Спиноза[18].

Что касается до самого состава слова «антропология», оно взято от слова anthropos — человек,— читатель, конечно, и без нас это знает. Антропология — это такая наука, которая о какой бы части жизненного человеческого процесса ни говорила, всегда помнит, что весь этот процесс и каждая часть его происходит в человеческом организме, что этот организм служит материалом, производящим рассматриваемые ею феномены, что качества феноменов обусловливаются свойствами материала, а законы, по которым возникают феномены, есть только особенные частные случаи действия законов природы. Естественные науки еще не дошли до того, чтобы подвести все эти законы под один общий закон, соединить все частные формулы в одну всеобъемлющую формулу. Что делать! Нам говорят, что и сама математика еще не успела довести некоторых своих частей до такого совершенства: мы слышали, что еще не отыскана общая формула интегрированья, как найдена общая формула умножения или возвышения в степень. От этого, конечно, затрудняются ученые исследования; мы слышали, будто бы математик очень быстро совершает все части своего дела, но как дойдет до интегрирования, ему приходится сидеть целые недели и месяцы над делом, которое можно было бы исполнить в два часа, если бы уже найдена была общая формула интегрирования. Так еще больше в науках. До сих пор найдены только частные законы для отдельных разрядов явлений: закон тяготения, закон химического сродства, закон разложения и смешения цветов, закон действий теплоты, электричества; под один закон мы еще не умеем их подвести точным образом, хотя существуют очень сильные основания думать, что все другие законы составляют несколько особенные видоизменения закона тяготения[19] От этого нашего неуменья подвести все частные законы под один общий закон чрезвычайно затрудняется и затягивается всякое исследование в естественных науках: исследователь идет ощупью, наугад, у него нет компаса, он принужден руководиться не столь верными способами к отыскиванию настоящего пути, теряет много времени в напрасных уклонениях по окольным дорогам на то, чтобы вернуться с них к своей исходной точке, когда видит, что они не ведут ни к чему, и чтобы снова отыскивать новый путь; еще больше теряется времени в том, чтобы убедить других в действительной непригодности путей, оказавшихся непригодными, в верности и удобстве пути, оказавшегося

верным. Так в естественных науках, точно так же и в нравственных. Но как в естественных, так и в нравственных этими затруднениями только затягивается отыскивание истины и распространение убежденности в ней, когда она найдена; а когда найдена она, то все-таки очевидна ее достоверность, только приобретение этой достоверности стоило гораздо бо̀льшего труда, чем будут стоить такие же открытия нашим потомкам при лучшем развитии наук, и как бы медленно ни распространялась между людьми убежденность в истинах от нынешней малой приготовленности людей любить истину, то есть ценить пользу ее и сознавать непременную вредность всякой лжи, истина все-таки распространяется между людьми, потому что, как ни думай они о ней, как ни бойся они ее, как ни люби они ложь, все-таки истина соответствует их надобностям, а ложь оказывается неудовлетворительной: что нужно для людей, то будет принято людьми, как бы ни ошибались они от принятия того, что налагается на них необходимостью вещей. Станут ли когда-нибудь хорошими хозяевами русские сельские хозяева, до сих пор бывшие плохими хозяевами? Разумеется, станут; эта уверенность основана не на каких-нибудь трансцендентальных гипотезах о качествах русского человека, не на высоком понятии о его национальных качествах, о его превосходстве над другими по уму или трудолюбию или ловкости, а просто на том, что настает надобность русским сельским хозяевам вести свои дела умнее и расчетливее прежнего. От надобности не уйдешь, не отвертишься. Так не уйдет человек и от истины, потому что по нынешнему положению человеческих дел оказывается с каждым годом все сильнейшая и неотступнейшая надобность в ней.

Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Соч. *Ор. Новицкого.* Часть I. Религия и философия древнего Востока. Киев. В университетской типографии 1860 г.

При военных походах одним из неизбежных явлений бывают толпы отсталых, число которых увеличивается по мере того, как армия с генеральным штабом подвигается все дальше и дальше вперед. При быстром наступлении дело доходит до того, что большинство солдат остается далеко назади. По счету эти толпы далеко превосходят ту часть войска, которая идет под знаменами; но они не принимают уже никакого участия в битвах и служат только обременением для своих бывших товарищей, на плечах которых остается вся тяжесть борьбы, которые зато одни и получают славу. То же самое бывает и в умственном движении человечества в завоевании истины. Сначала все народы идут наравне: предки Аристотеля жили некогда в таком же состоянии, как готтентоты, имели такие же понятия; но вот умственное движение ускоряется в некоторых племенах, и огромное большинство человеческого рода отстает от них. Греки, изображенные Гомером, уже далеко опередили троглодитов, лестригонов и другие племена, о которых Илиада и Одиссея говорят, как о жалких дикарях, свирепых вследствие самой своей нищеты, умственной и материальной. Еще несколько переходов — и большинство самих греков отстает от передовых племен. Во времена Солона афиняне уже много ушли вперед против положения, в каком были при Гомере, а спартанцы не подвинулись почти ни на шаг, другие племена не подвинулись вовсе. Еще несколько переходов — и в самом афинском племени повторяется то же явление: мудрость Солона была понятна и доступна каждому афинскому гражданину, а Сократ кажется уже вольнодумцем большинству своих соотечественников: только немногие понимают его, остальные спокойно осуждают на смерть как безбожника. То же самое и в новой истории. Дело начинается тем, что вся масса людей, населяющая провинции бывшей Западной Римской империи и составившаяся из смешения германских завоевателей с прежними римскими подданными, имеет одинаковый взгляд на вещи: все одинаково католики и все, от высших до низших, одинаково понимают католичество; папа в VII или VIII веке отличается от самого необразованного французского или ирлан-

дского поселянина только тем, что больше его помнит текстов и молитв, а не тем, чтобы иначе разумел смысл их. Наука существует в виде поговорок и простонародных сказаний, которые одинаково известны всем людям всех сословий; поэзия состоит в народных песнях, которые равно известны и близки каждому. Через несколько времени различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни[1]. Церковные богатства дают возможность образоваться теологам, из которых большинство считается верным католическому преданию, но все-таки дает ему истолкование, различное от понятий, сохраняющихся между простолюдинами. Немногие особенно даровитые теологи доводят эту переделку до того, что их понятия отвергаются большинством других специалистов, зато принимаются мирянами среднего и низшего сословий в тех местах, где обстоятельства особенно благоприятствуют развитию массы. Так из католического общества выделяются альбигойцы[2] и другие еретики. Наука так же постепенно принимает форму, незнакомую массе, развивает в себе содержание, непонятное для неспециалистов. Из общих всем понятий о созвездиях развивается нечто похожее на астрономию, и сама астрология становится знанием гораздо обширнейшим простонародных поверий, из которых вышла. Эти успехи основаны на материальных средствах, которыми располагают духовенство и среднее сословие; горожане участвуют и в произведении новой поэзии, уже недоступной всему народу, остающемуся при прежних сказках и песнях; в городских цехах составляются компании мастеров поэзии, мейстерзингеров[3]; но еще больше содействуют этой перемене богатства феодальных баронов, у которых являются придворные поэты — трубадуры. Еще несколько времени, и расстояние между массою и передовыми людьми еще увеличивается; то, что было ересью, представляется выгодным для некоторых светских государей, и учения, различные от католических преданий, объявляются в некоторых странах господствующими. В начале средних веков все государи помогали католическому духовенству преследовать еретиков; в начале второй половины средних веков графы Тулузские уже покровительствуют альбигойцам, но еще не смеют сами объявить себя альбигойцами и оказываются бессильными защитить еретиков и самих себя от гонения, поднимаемого людьми прежних понятий. Гуситы[4], в конце средних веков, уже могут удержаться против католического гонения; а через сто лет новые понятия уже официально становятся на место католичества:

многие государи предпочитают Лютера папе. Но через это только увеличивается расстояние между передовыми людьми и массою не только в странах, удержанных в католическом порабощении, но даже в протестантской части Европы: за энтузиазмом простонародья, давшим светской власти силу отложиться от папы, следует прежняя умственная летаргия, и почти весь народ протестантских земель снова впадает в умственную рутину, очень похожую на католичество. Зато очень далеко уходят вперед небольшие части народа: из лютеранства быстро развиваются анабаптизм[5] и другие ереси протестантства. Большинство протестантских теологов также сохраняет дух неподвижности, по которому уподобляется своим католическим соперникам; но немногие, особенно даровитые люди, как например, Социн, дают ученое развитие понятиям, соответствующим потребности прогрессивного меньшинства простолюдинов. Светская наука также развивается между специалистами с замечательною быстротою, а громадное большинство населения остается до сих пор повсюду в невежестве, очень близком к тому, что было в каком-нибудь IX или X веке. Поэзия образованных сословий развивается столь же быстро, а масса повсюду остается при искаженных клочках прежней общенародной поэзии средних веков.

Подобное отношение существует также между массою специалистов и образованных сословий — с одной стороны, и небольшим числом передовых ученых и незначительным числом людей, приготовленных к принятию их воззрений, с другой стороны. Мы видим, что очень немногие английские поэты прошлого века понимали Шекспира и очень немногие люди в образованной публике умели ценить этих поэтов и самого Шекспира, а большинство английской публики и английских поэтов очень долго продолжали держаться надутой реторики или холодной прилизанности, которая принадлежала степени поэтического развития несравненно низшей, чем шекспировская натуральность. То же самое происходило и продолжает происходить повсюду во всех направлениях умственной жизни. У нас, например, огромное большинство поэтов и публики продолжает считать Пушкина лучшим представителем русской поэзии, между тем как время Пушкина уже давно прошло[6]. В Германии во время Канта продолжала господствовать вольфианская схоластика[7], и кантовская философия стала господствовать, когда наука в школе трансцендентальной философии уже далеко ушла вперед от кантовской фазы своего развития; большинство ученых

и образованной публики в Германии держатся теперь воззрений трансцендентальной философии, между тем как наука уже давно покинула эту прежнюю форму своего развития. Отсталость — всегдашняя участь большинства.

Так было до сих пор; так продолжает быть и теперь; но из этого не следует выводить, чтобы такое отношение осталось и навсегда. Возвратимся к нашему прежнему сравнению. Только небольшая часть первоначального состава армии имеет силы не отстать от знамен в быстром походе, только она участвует в битвах и совершает завоевания; остальные бывшие товарищи этих воинов лежат по госпиталям или плетутся изнуренные далеко позади. Но ведь кончается когда-нибудь эта разрозненность. Силою небольшой части первоначального огромного войска решена борьба, сделано завоевание, враги приведены к покорности, победители отдыхают; тут, чтобы разделить с ними плоды победы, ежедневно прибывают к ним толпы, остававшиеся назади. В конце похода вся армия опять сплотилась под знаменами, как была перед началом похода. Тем же должно кончиться и умственное движение: завоеванная истина оказывается так проста, понятна каждому, так сообразна с потребностями массы, что принять ее гораздо легче, чем хлопотать над ее открытием. Переходные ступени очень тяжелы, односторонние проявления истины очень мудрены, но полная истина вовсе не такова: самые слабые имеют довольно сил, чтобы обнять ее, когда она, наконец, открыта. Мы видим, как упрощается теория каждой науки по мере ее совершенствования. Тут происходит нечто подобное происходящему при достижении очень высокого развития поэзиею образованных сословий: эта поэзия принимает, наконец, формы, доступные простым людям. Корнель и Расин были понятны и известны только малочисленному классу людей, получивших очень хлопотливое воспитание. Сам Руссо, доступный кругу в десять раз большему, был еще совершенно недоступен большинству грамотной массы: когда образованные люди читали «Новую Элоизу» и «Общественный контракт»[8], французские грамотные простолюдины еще читали лубочные издания искаженных остатков средневековой литературы. Но песни Беранже и Пьера Дюпона поются уже всем простонародьем французских городов и все оно уже читает Жоржа Занда.

Правда, еще остаются во Франции целых две трети грамотных людей, состоящие из поселян, не вовлекшиеся в этот быстро расширяющийся круг единства понятий самых передовых людей, и совершенно простых людей;

правда и то, что еще целая половина французского населения не выучилась грамоте. Но мы уже видим, к чему идет дело. Можно уже по пальцам сосчитать, сколько лет остается до той поры, когда каждый француз, каждая француженка будут людьми читающими и когда каждый читающий станет образовываться не по тем дрянным книгам, какими довольствуется большинство французских поселян теперь, а по произведениям первоклассных людей науки и поэзии. Перспектива еще довольна длинна, но уже виден конец ее. Даже у нас, как ни малы наши успехи по сравнению с передовыми странами, есть признаки того, что начинается проникновение высших результатов нашего умственного развития в массу, которой были недоступны менее высокие фазисы этого развития. Ломоносов был понятен только людям высокого школьного образования. Стихов Державина народ не мог ни узнать, ни оценить; да они и были таковы, что, по правде говоря, ровно нечего было ценить в них. Но молодые люди среднего сословия уже могли восхищаться балладами Жуковского. Для простолюдинов баллады эти были слишком хитры и приторны; но «Черная шаль» Пушкина пелась уже девушками из уездного простонародья. На-днях, проходя мимо столиков, на которых продаются лубочные картинки, мы видели лист с главными сценами из песни Лермонтова о Калашникове; под картинками были написаны отрывки песни, соответствующие им.

Дело начинается постепенным выделением людей высшего умственного развития из толпы, которая все дальше и дальше отстает от их быстрого движения. Но по достижении очень высоких степеней развития умственная жизнь передовых людей получает характер все более и более доступный простым людям, все больше и больше соответствующий простым потребностям массы, и вторая, высшая половина исторической умственной жизни состоит по своему отношению к умственной жизни простолюдинов в постепенном возвращении того единства народной жизни, которое было при самом начале и которое разрушалось в первой половине движения.

Те передовые люди, деятельностью которых развивается наука, ведут ее и к тому, чтобы прониклась результатами ее жизнь всего народа. Люди отсталые, служащие только обременением для развития науки, не приносят никакой пользы и ее распространению в массе; они бесполезны во всех отношениях и во многих прямо вредны. Кто думает так, тот не имеет никакого основания быть снисходительным к ним. Он не имел бы никаких извинений,

если бы стал скрывать свое мнение о них, если бы стал говорить, что их труды имеют какую-нибудь цену, когда сам видит, что они не имеют никакой, ни для науки, ни для ознакомления хотя бы с тем неудовлетворительным фазисом ее развития, к которому принадлежат. Например, если б мы стали думать, что все же лучше человеку познакомиться хотя с отсталыми философскими воззрениями, чем совершенно не иметь никакого понятия о философии, мы все-таки не могли бы сказать, что книга г. Ор. Новицкого будет сколько-нибудь полезна русской литературе. В самом деле, кто прочтет ее? Наверное можно предвидеть, что даже книгопродавческого успеха иметь она не будет; никто не купит ее, кроме разве тех студентов, которые должны будут готовиться по ней к экзамену, и самая покупка ее этими молодыми людьми была бы вовсе не признаком распространения знакомства с философиею в молодом университетском поколении, а, напротив, только признаком того, что молодые люди, уже захотевшие познакомиться с философиею, принуждены отсталостью своих руководителей знакомиться с нею в той форме, которая не удовлетворит их, возбудит в них скуку, отвращение и во многих из них убьет философскую любознательность, которая была уже пробуждена независимо от этой книги и без нее не получила бы такого печального конца. Но да не подумает кто-нибудь, что мы этим отвергаем всякое историческое достоинство системы, отражение которой находим в книге г. О. Новицкого,— сама по себе она была некогда очень хороша; нам кажется только, что она выразилась в его книге неудовлетворительным образом; нам кажется также, что и в подлинном своем виде она уже непригодна для нашего времени, бывши плодом обстоятельств, ныне изменившихся[9].

Характер книги г. Ор. Новицкого вот каков: когда в Германии распространилось знакомство с философиею Канта, большинство специалистов, всегда держащееся рутины, осталось при своей рутинной схоластике, при средневековых понятиях; но ради приличия стало прикрывать их словами, заимствованными из кантовской терминологии. Когда распространилась трансцендентальная философия, к этой смеси старых схоластических понятий с новыми кантовскими терминами прибавилась в рутинных книгах еще новейшая примесь выражений, взятых из шеллинговской и гегелевской систем. Нового духа нет никаких следов в этих рутинных книгах, как нет никакого следа новых общественных идей в реакционных газетах, щеголяющих выражениями, вошедшими в моду

после Руссо. Г. Ор. Новицкий заимствовал основные идеи своей книги из этих отсталых немецких философов, излагающих языком Канта, Шеллинга и Гегеля средневековые идеи. Насколько он сам потрудился над перекраскою средневековых идей в кантовский или гегелевский цвет, мы не знаем, да и никому нет большой надобности знать, потому что, если бы кто-нибудь напечатал ныне оду в державинском вкусе, то отзыв критики и мнение публики об этом произведении остались бы совершенно одинаковы, хотя бы ода была оригинальным произведением, или только переделкою какой-нибудь чужой оды, или, наконец, простым переводом с немецкого. Наводить справки об этом решительно не стоило бы.

В похвалу г. Ор. Новицкому надобно сказать, что он пишет с соблюдением правил грамматики, умеет ставить союзы и предлоги в надлежащих местах и основательно знает учение о знаках препинания. Но эта сторона — еще не главное достоинство его книги. Он имеет привычку к употреблению множества философских терминов, из которых иные даже очень недурны, когда употребляются не г. Ор. Новицким, а Гегелем. Кроме того, одним из источников для изложения китайской философии служила ему книга покойного Иоакинфа «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение», изданная в Санктпетербурге в 1840 году. Читателю известно, что эта книга написана в вопросах и ответах, и вопросы в ней имеют такой вид: «Как называется у китайцев губернское правление? Сколько асессоров бывает в китайском губернском правлении? На какие должности определяются в Китае коллежские регистраторы?» В ответах очень точно объясняется все это.

Но пора нам представить хотя один пример философствований г. Ор. Новицкого. Для примера мы выбираем ту часть введения, которая излагает отношение философии к религии. Существенное содержание религии и философии одинаково, говорит Ор. Новицкий, но они «различаются между собою способом усвоения себе этого содержания, формою, под которою сознают одну и ту же истину.

В религии безусловное открывается как непосредственное присутствие[10] его в человеческом сознании, а в философии — как мысль о безусловном; религия преимущественно живет в убеждениях сердца, а философия — в понятиях разума. В немногих словах (продолжает Ор. Новицкий в примечании), но глубоко верно высказано это различие философии и религии в нашем православном катехизисе (стр. 2): «Знание принадлежит собственно уму, хотя может действовать и на сердце; вера принадлежит собственно сердцу, хотя начинается в мыслях...» Сходясь в одном содержании (продолжает он опять в тексте), философия и рели-

гия различаются между собою не только своей формой, но своим *значением и достоинством.* Каково бы ни было значение философского знания и достоинство самой философии, вера всегда выше этого знания... Если философия (дальше говорит Ор. Новицкий) хвалится отчетливостью своих понятий в свойственной ей области, зато эти понятия не имеют той глубины и жизненности, которая принадлежит лишь религии; из внутреннейшего, глубочайшего основания жизни человечества исходит она и потому есть выражение внутреннейших ее тайн; и с другой стороны, человеческий дух раскрывается различными проявлениями — науками, искусством, интересами политической жизни, но все эти проявления и дальнейшие сплетения человеческих отношений, все, что имеет значение и достоинство для человека, находит свое последнее средоточие в религии, в мыслях, сознании, чувствовании бога; все отношения человеческой жизни сходятся отдельными лучами в религии как в своем фокусе, все утверждаются в ней и животворятся ею; так философия и искусство, можно сказать, суть цвет народного сознания; но живой их корень, как и всякого народного образования, есть только религия; отторгнутое от этого корня, заключенное в чисто отвлеченных понятиях, философское мышление мертвеет и приносит плоды незрелые и горькие; только в религиозном чувстве философия всегда находила неиссякаемый источник высших, животворных помыслов; правда, и философия может оказывать религии своего рода услугу,— может очищать религиозное чувство, хотя не в нем самом, а от чуждой ему примеси ложного понимания, суеверия, фанатизма и т. п.; но и это делает философия лишь тогда, когда внимает голосу того же самого чувства; она только тогда бывает действительным знанием, когда в чистоте выражает это чувствование. Наконец философия развивается среди нескончаемых противоречий и борьбы понятий; и потому, если она более или менее удовлетворяет любознательности разума, то не может даровать мира и успокоения,— не может удовлетворить сердца; она мыслит о безусловном, но только мыслит, а не ведет к единению с этим безусловным, чего непрестанно алчет дух человека; между тем религия есть такая область сознания, где разрешаются все загадки мира, где примиряются все противоречия мысли, успокоиваются все печали и тревоги сердца,— есть область вечной истины, вечного покоя, вечного мира; только религия, а не мышление о ней, дарует человеку блаженство; и потому-то,— повторяем снова,— вера выше знания, религия выше философии (стр. 12, 13, 14 и 15).

По различию форм (продолжает г. Ор. Новицкий) философия и религия бывают в разных отношениях между собою. В религии он видит два существенные видоизменения: религию естественного откровения, или религию естественную, и религию высшего, сверхъестественного откровения.

Религиозное и нравственное чувствование (говорит г. Ор. Новицкий), несмотря на первоначальное величие и святость его, может, как и все человеческое, потемняться и извращаться страстями; и оно действительно помрачено и искажено грехом,— как в этом легко может убедиться каждый не только историей естественных религий и историей языческих деяний, но и беспристрастным внутренним опытом,— чего не отрицали даже языческие мыслители. Поэтому *высшее, сверхъестественное* откровение, возможность которого понимает разум, сделалось необходимостью для человеческого рода и по божественному милосердию действительно дано людям. Многократно благоволил господь возвещать людям свою волю через избранных им мужей, пока, наконец, воплощен-

ный сын божий не принес на землю откровение божие в полноте и совершенстве и тем даровал человечеству *христианскую, сверхъестественную откровенную религию* (стр. 16 и 17).

Естественная религия (продолжает г. Ор. Новицкий) не могла дать человеку истинного и спасительного богопознания, а божественная религия «мало-помалу очистила и возвысила понятия народов, укротила страсти, укрепила волю в добре, преобразовала домашнюю и общественную жизнь людей, произвела новое, самое благотворное влияние на искусство и науку, а потому самому и на философию. Она открыла человеку такие тайны о боге, мире и человеке, до которых не только не доходил человеческий разум в мире языческом ни в религии, ни в философии, но до которых никогда и не может дойти своими собственными силами. При таком значении богооткровенной религии философия уже не может противопоставляться ей без вреда для самой себя, а тем больше не может пересилить ее и возбудить к дальнейшему развитию, как в мире языческом: человеческое не может стать выше божественного; зато, наоборот, эта божественная религия самым величием своих истин, их высотою и глубиною, может несравненно больше, чем естественная религия, возбуждать философскую мысль к дальнейшему развитию, чтобы своим собственным путем, путем чистого мышления она могла малопомалу приближаться к неисчерпаемому богатству содержания, данного божественным откровением, проникнуться им, возвыситься к нему...»

Еще более перемен в отношениях между религиею и философиею производилось развитием самой философии. Сначала философия 1) заключается в пределах религии, потом,— по словам г. Ор. Новицкого,— «2) отделяется от религии, становится не зависимою от нее в своем развитии, получает совершенно другую форму, форму отчетливых и самостоятельных соображений рассудка и нередко поставляет себя во враждебное отношение к религии, не хочет признавать своего знания в ее вере; наконец, 3) философия снова обращается к религии, старается примириться с нею, признать разумом то, что религия признает сердцем, соединить ее веру с доверием к самому разуму и опять является в форме общности, но отчетливой и ясной».

До появления сверхъестественной религии философия имела,— по словам г. Ор. Новицкого,— первый свой период на востоке, второй период — в Греции, где «противопоставляла себя религии общественной». Третьим периодом была александрийская философия, которая «со-

брала религиозные предания и переплавила их в одно умозрительное созерцание». После появления сверхъестественной религии должны были, по словам г. Ор. Новицкого, повториться те же три периода.

Те же изменения философии находим и в мире христианском. И здесь философская мысль сначала заключается в пределах христианской религии, развивается под ее влиянием и выражает свое содержание в общем виде: такова *философия отцов церкви и схоластическая;* такова же философия и *аравитян* в ее отношении к исламизму. Потом философия отрешается от религии, вступает на путь самостоятельного исследования вещей и в своей ревности к своеобразному развитию иногда явно противопоставляет себя религиозным идеям: такова *философия новая* — англичан, французов, немцев. Наконец, надобно ожидать еще третьего периода — возвращения философии к христианской религии. Такое ожидание не есть предсказание будущего, недоступного для нас; как скоро в мире христианском даны два периода, соответствующие двум первым из трех периодов мира языческого, то по здравой аналогии следует ожидать и третьего, как из двух посылок — заключения. И теперь уже чувствуется потребность сближения философии и религии, и приближается время, когда убеждения религиозные и созерцания философские сольются в гармоническое единство по высшим требованиям разума и веры; но пока — это есть еще предмет желаний и надежд.

Не будучи богословами, мы не станем рассматривать того, бывало ли для религии полезно то смешение философии с религиею, которого желает г. Орест Новицкий. Нам кажется, что каждый человек должен делать собственно то дело, которое делает (разумеется, если это дело не дурное само по себе); а если, делая одно, станет думать, что делает другое, то он будет действовать под влиянием заблуждения, и вся его деятельность будет ошибочна. По словам г. Ореста Новицкого, религия отличается от философии и всякой другой науки по своему источнику и по способности, которая служит органом ее; она происходит из откровения и состоит в чувстве; философия, подобно другим наукам, основывается на наблюдении, создается умом; религия состоит в вере, наука — в знании. Но будто бы в этом состоит главная разница между ними? Нет, если мы обратимся за разъяснением вопроса к учителям, которые понимали откровенную религию наисправедливейшим образом, к великим отцам церкви, мы услышим от них, что откровенная религия различается от светской науки и по самому предмету истин, которым научает: откровенная религия отверзает человеку мир духовный, недоступный внешним чувствам, она говорит нам о таинствах св. троицы, о предвечном божеском совете искупления людей смертью бога-сына, о чиноначалиях ангелов, о падении злых духов, о воскресении мертвых, о страшном суде, о тайнах будущей жизни. Земное знание не касается этих

великих истин, принадлежащих сфере, не достижимой для него по своей возвышенности; оно может сообщать нам только сведения о внешней и материальной природе и о человеке, как о существе земном, материальном. Божественное откровение вводит людей в знание «премудрости божией, в тайне сокровенной», сообщает человеку истины, которых «глаз не видел и ухо не слышало» и которые даже «на мысль человеку не входили» до получения откровенного свыше знания о них. Так учат отцы церкви, понимавшие религию откровения с совершенною ясностью. По их учению,— учению верному и подтверждаемому нынешними философами, отрешившимися и от схоластических заблуждений, и от самообольщений трансцендентальной априоричности Шеллинга и Гегеля[11],— разница между религиею откровения и земною наукою состоит не в том, что религия дает только веру, а не дает знания, между тем как наука дает знание,— нет, по учению великих отцов церкви, откровенная религия дает человеку и знание так же, как наука, но знание не о тех предметах, которые доступны земной науке, а о совершенно иных, несравненно высочайших. Г. Орест Новицкий, следуя заблуждению схоластиков, смешивавших философию Аристотеля с истинами христианской религии, следуя примеру трансцендентальных философов, сливавших откровенную религию с наукою, затмил в себе, подобно им, истинные понятия и о том, и о другом: он не понимает ни учения отцов церкви, ни духа земной науки. Это затемнение произведено тем, что он захотел быть специалистом по двум предметам, из которых каждый довольно велик, чтобы остаться не вполне объятым и тогда, когда человек на изучение его одного употребит все свои силы, всю свою жизнь: у г. Ореста Новицкого недостало ни времени, ни сил основательно изучить ни религию, ни земную науку.

Г. Ор. Новицкий воображает, что он философ; если так, он должен быть философом, а не богословом. То, что доступно одному, недоступно другому. Но из всего видно, что наука кажется ему неудовлетворительной, что он ставит религию выше философии и по достоверности, и по достоинству идей. Если так, ему следовало бы бросить науку, перестать воображать себя философом и сделаться преподавателем религиозного учения. Он сам говорит, что оно приносит гораздо больше пользы, чем философия; зачем же он тратит свое время на дело очень мало полезное, не занимаясь делом несравненно полезнейшим? Он неправ сам перед собою.

Предоставляя его собственному его порицанию, мы обратимся к его книге. Если б он написал ее с той точки зрения, которая ему самому представляется справедливейшею, его книга могла бы удовлетворить собою людей, разделяющих его образ мыслей. С богословской точки зрения языческие учения были греховными порождениями отца лжи, во власть которого впали люди, отпавшие от истинного бога; отцы церкви находили частицы истины и в учениях древних философов, но это мерцание откровенной истины относили к откровению бога-слова. По своему образу разумения отношений между религиею и философиею, не совершенно согласному с истиною, какую находим в чистейшем источнике, г. Ор. Новицкому следовало бы говорить о языческих религиях и системах философии в этом тоне, изобличать их несогласия с христианским вероучением, показывать, что все они без исключения учили человека разврату и преступлениям или, точнее выражаясь, греховным, бесовским делам. С этой точки зрения он выставлял бы дурную сторону и в буддизме, обольщающем человека своею кротостью и видимою нравственною чистотою, и в учении Сократа, и даже в философии самого Платона. Он видел бы тогда, что все эти системы были злоухищрениями сатаны, облекающего детей своих в одежды овчие, чтобы тем легче растерзать ему волчьими зубами обольщенные души язычников. Г. Ор. Новицкий мог бы очень последовательно провести этот взгляд, и в его книге была бы логика; но он вздумал поступить иначе,— вздумал говорить о языческих учениях в таком тоне, который отвергается его собственною точкою зрения, и книга его вышла ни для кого непригодною смесью греховных философских мыслей с мыслями, одобряемыми богословием. Одна половина строк в ней разногласит с другою половиною.

Скажем более: если бы г. Ор. Новицкий поступал сообразно с своими убеждениями, он вовсе и не выбрал бы древних языческих религиозных и философских учений предметом своего сочинения. Человек, находящий безусловную истину в религии сверхъестественного откровения, не может заниматься языческими учениями с холодною ученою целью. Все они для него — плоды лжи и греха. Отношения к лжи и греху возможны только двоякого рода: или предаваться им, служить им, или бороться с ними, опровергать их. Но г. Орест Новицкий уже познал суету лжи, душепагубность греха,— стало быть, не может служить им; итак, ему оставалось бы только изобличать их, полемизировать против них, искоренять их. Но он не мо-

жет не видеть, что это — дело совершенно ненужное в наше время в цивилизованной Европе, к которой принадлежит публика, читающая русские книги. Русские люди могут иметь свои умственные и сердечные недостатки, но никто не скажет, чтобы для русских были опасны языческие вероучения древнего Востока, Греции, Рима; никто из наших собратий по племени не поклоняется ни Зевесу, ни Шиве, ни Ариману, ни Озирису; предостерегать нас от таких заблуждений дело совершенно излишнее. Это все равно, что предостерегать русскую публику от людоедства, от едения мухомора или жирной глины, от дурных привычек, существующих между дикарями острова Явы, чукчами и бушменами: мы, к счастию, стоим уже гораздо выше таких привычек и никак не могли бы впасть в них даже без всяких предостережений. Говорить о язычестве с богословской точки зрения надобно не с русскими, а с чувашами, бурятами, самоедами: вот они действительно нуждаются в изобличениях лживости и греховности язычества. Но для них нельзя писать книг на русском языке, потому что эти несчастные люди не умеют читать книг ни на русском, ни даже на своем собственном языке. Разоблачать перед ними язычество можно только одним способом: научиться их языку, сделаться миссионером и, странствуя по их юртам, беседовать с ними. Если бы г. Ор. Новицкий занялся этим, если бы он сделался миссионером между бурятами или тунгузами, он стал бы заниматься делом поистине полезным и похвальным, разумеется, при соблюдении того условия, чтобы проповедь его совершалась в духе кротости. Но с понятиями, при которых можно рассуждать о язычестве только с самоедами языком кроткого миссионера, г. Ор. Новицкий вздумал писать о язычестве для русской публики тоном ученого. Мы боимся, что весь труд его пропал понапрасну.

История цивилизации в Европе от падения Римской империи до французской революции. Соч. *Гизо.* Редакция перевода К. К. Арсеньева. Издание Николая Тиблена. С.-Петербург. 1860.

Нам нет возможности проследить все содержание книги Гизо, указать все те случаи, в которых он, по нашему мнению, ошибался,— для этого потребовалось бы написать целую книгу. Есть писатели, у которых на бесчисленном множестве страниц разведена водою одна какая-нибудь бедная мысль,— пример тому представлял нам Молинари[1]. Выписали мы из него несколько строк, обнаруживающих его намерения, показали двумя-тремя выписками, что он не имеет знаний, нужных для исполнения такой задачи,— и довольно. Гизо не таков. Его исторические сочинения не сшиты из клочков, нахватанных по немногим, большею частью довольно плохим, источникам. Это не дюжинные компиляции с высокими претензиями; Гизо — серьезный ученый; он сам глубоко изучал предметы, о которых говорит, и если у него много мыслей, несправедливых по вашему мнению, то каждая из них заслуживает серьезного опровержения, потому что взята не с ветра. Писать такую подробную оценку всех подробностей мы здесь не можем и поневоле должны обратить внимание лишь на общий принцип его воззрения.

К переводу, изданному г. Тибленом, приложена довольно недурная статья о деятельности Гизо, написанная г. Барсовым. Автор этого предисловия старается определить убеждения политической и ученой партии, замечательнейшим представителем которой был Гизо, и показать русскому читателю, как надобно смотреть на лекции, предисловие к которым составляет эта статья. Едва ли справедливо находит г. Барсов коренною причиною недостатков общего взгляда Гизо на науку ту важность, которую Гизо придал понятию цивилизации и которая будто бы помешала ему дать в истории надлежащее место народным особенностям. Правильно или неправильно рассматривает Гизо историю разных народов, но нельзя сказать, чтобы он не замечал разницы между ними. Напрасно также порицать Гизо за то, что он устранил из своего плана рассказ отдельных событий, сосредоточив все внимание на характеристике общего духа событий, учреждений и понятий в каждую данную эпоху. Напротив, эта особенность и составляет главную цену его исторических трудов. Истори-

ков-рассказчиков всегда были десятки и сотни, но никто из тогдашних французских историков не сделал так много, как он, для разъяснения смысла европейской истории. Если бы он вдавался в рассказ фактов, они только отвлекли бы его внимание от существенного предмета его лекций. Посвятив несколько часов описанию личностей и битв периода крестовых походов, он увидел бы, что у него едва остается несколько минут на общую характеристику этого явления. Но справедлив г. Барсов, когда упрекает Гизо за «излишний оптимизм в суждениях об исторических событиях». Действительно, в этом и заключается слабая сторона ученых произведений Гизо. Он находит, что, в сущности, все было очень полезно для человечества. Страшное тяготение Римской империи истощило всю энергию подвластных стран, убило дух народов Пиренейского полуострова, Галлии, Британии, Италии до того, что эти десятки миллионов не могли отбиться от малочисленных варваров,— Гизо находит, что централизация империи была лучшим противодействием прежней муниципальной разрозненности. Водворяется варварство — хорошо и это: варвары внесли в европейскую историю принцип личной независимости. После страшного хаоса водворяется столь же страшный феодализм — хорошо и это: в феодальных замках явилась поэзия. На развалинах феодализма возвышается Людовик XI: он тоже был очень полезен,— в каком отношении, мы уже и не знаем, но все-таки полезен.

Ученым основанием такого оптимизма служило одностороннее понятие о прогрессе. Мы видим, что какова бы ни была Западная Европа в XIII веке, но все-таки она достигла положения лучшего, чем какое было в X веке, а XVII век, при всех своих бедствиях, был все-таки лучше XIII, и нынешнее время, каково бы оно ни было, далеко лучше XVII столетия. В чем же заключаются причины этих улучшений судьбы европейского человечества? Проще всего было бы искать этой благотворной причины в натуре самих европейских народов, которые, подобно всем другим народам, не лишены стремлений к просвещению, к правде и ко всему другому хорошему. Точно так же в людях есть врожденная способность и охота трудиться. Благодаря этим качествам человеческой натуры постепенно устроивается лучший общественный порядок и благосостояние. Масса трудится, и понемногу совершенствуются производительные искусства. Она одарена любознательностью или, по крайней мере, любопытством — и постепенно развивается просвещение; благодаря развитию земледелия, промышленности и отвлеченных знаний

смягчаются нравы, улучшаются обычаи, потом и учреждения; всему этому причина одна — внутреннее стремление массы к улучшению своего материального и нравственного быта, а формы, под влиянием которых должен вырабатываться этот прогресс, не всегда благоприятны ему, потому что происходят совершенно из других начал и поддерживаются совершенно иными средствами. Возьмем, например, феодализм. Что общего имел он с трудолюбием или любознательностью? Произошел он из завоевания, целью его было присвоение плодов чужого труда, поддерживался он насилием, ученых стремлений феодалы не имели; они хотели проводить в лености все время, остававшееся у них от войн, турниров и тому подобных занятий. 〈Точно такова же была и центральная власть, вышедшая во Франции победительницей из феодальных междоусобий. Конечно, никто не скажет, чтобы она имела своею целью любознательность или труд.〉 Спрашивается теперь, каким же образом могли быть благоприятны прогрессу эти формы? 〈Они стремились к тому, чтобы держать трудящихся в полной зависимости от себя, а побуждением тут было то, чтобы постоянно захватывать как можно бóльшую часть богатств, производимых трудом.〉 Французские земледельцы работали и должны были отдавать все, что только можно было взять у них. Этим ослаблялась энергия их труда, да и самый труд беспрестанно прерывался насилиями всякого рода. Потому сельское население осталось во Франции почти чуждо прогрессу. Горожане часто успевали защищаться за своими стенами, но все-таки очень часто подвергались грабежу, да и в случаях удачной защиты постоянная надобность обороняться отвлекала их силы от труда. Можно ли после этого говорить о том, что тогдашние формы помогали труду? Если он достигал каких-нибудь результатов, то лишь наперекор этим формам. Точно то же надобно сказать и об успехах другого элемента цивилизации, о прогрессе знаний. Если они развивались, то лишь наперекор тогдашним формам. Только вот этим и объясняется медленность прогресса, неудовлетворительность цивилизации после стольких веков исторической жизни. Ни в чем, кроме натуры человека, не находила себе цивилизация поддержки, а люди, трудом и любознательностью которых вырабатывалась она, находились в положении чрезвычайно стесненном, так что деятельность их была очень слаба и беспрестанно подвергалась помехам, уничтожавшим бóльшую часть даже того немногого, что успевала она произвести. Едва приобретает она некоторые успехи в городах Верхней Италии, как идут

на нее полчища, и результатом борьбы императоров с папами оказывается подчинение ломбардских и тосканских городов игу кондотьеров; едва начинают расцветать трудолюбие и наука в Южной Франции, как Иннокентий III указывает полчищам Северной Франции эти цветущие области, провозглашая истребление альбигойцев. Так или иначе, та же самая история постоянно повторялась повсюду в Западной Европе.

Но результат, произведенный человеческою натурою наперекор форме, тяготевшей над ним, очень многими приписывается действию формы: при ней, следовательно, благодаря ей,— таков силлогизм, обманывающий большинство историков. По такому силлогизму народ считает зиму причиной летнего плодородия и мог бы считать причиной теплоты, сохраняющейся в жилищах, наперекор влиянию внешнего холода. 〈Валуа, беспрестанно подделывавшие монету, наказывали других фальшивых монетчиков, перебивавших у них этот выгодный промысел. Есть такие легковерные историки, которые готовы назвать за это Валуа хранителями общественного кредита. Людовик XI старался отнимать области у своих вассалов, чтобы самому получать доходы, которыми прежде пользовались эти вассалы,— множество историков выводят из этого, будто бы усиление Людовика XI принесло пользу Франции, избавив ее от феодальных притеснений; они не хотят сообразить, что притеснения остались в прежней силе, только стали производиться не в пользу прежних провинциальных владетелей, а в пользу центральной власти.〉

Гизо не заслуживал бы особенного порицания, если б он не превосходил в этом отношении других историков. Но то, что у них было только следствием невнимательности, оставалось простою ошибкою, у него возведено в теорию, развитую совершенно последовательно. У других историков мы найдем, что множество вредных явлений выставляются полезными, но все-таки остается в их изложении некоторое количество вредных явлений, выставленными как действительно вредные. У Гизо не то: у него каждый значительный факт непременно оказывается содействовавшим прогрессу. Мавры завоевали Испанию,— это полезно было для прогресса, потому что привело в Европу арабскую цивилизацию; мавры, успевшие цивилизоваться в Испании, изгоняются из нее людьми гораздо менее просвещенными,— это опять полезно для цивилизации, потому что европейцы тут получают еще больше случаев цивилизоваться. Следствия победы — введение инквизиции, отнятие всех прав у испанского народа, ра-

зорение всей Европы честолюбием Карла V и Филиппа II — нужды нет, Гизо все-таки называет благотворными явлениями факты, которые привели к таким результатам.

Этот крайний оптимизм происходит у него от характера его политических убеждений: он всегда был приверженцем старины. Новым идеям он всегда делал лишь ничтожнейшие уступки, идеал его всегда был очень близок к средневековому устройству. Напрасно говорят, что он стал реакционером только в последнюю половину жизни,— он с самого начала был реакционером. Он в 1814 году встретил Бурбонов с радостью, потому что они были представителями старинных учреждений. Во время Реставрации он разошелся с крайними роялистами, но это оттого, что они были ослепленные фанатики, а он — человек холодного образа мыслей, желавший не переходить границ благоразумия в реакционном стремлении. Знаменем его всегда была легитимность. До последней минуты он противился низложению Бурбонов в 1830 году, выказал усердие к ним не меньше самых записных легитимистов. Он разошелся с ними опять только потому, что они хотели действовать неблагоразумными, непрактичными средствами: по их мнению, для пользы старинных учреждений надобно было возвратить во Францию Бурбонов посредством силы. Гизо видел невозможность достичь успеха этим путем и, понимая непрактичность желания восстановить Бурбонов, хотел, чтобы Орлеанский дом стал полным представителем всех принципов, которым прежде служили Бурбоны. Он совершенно достиг этой цели. Новое правительство постоянно действовало так, что ничего лучшего не могли бы делать и сами Бурбоны. Несмотря на свой кальвинизм, Гизо покровительствовал иезуитам и помогал швейцарскому Зондербунду, начавшему войну против остальных кантонов в защиту иезуитов[2]. Когда Гизо был министром, французская политика держалась совершенно тех же начал, каким следовал Меттерних. Будучи приверженцем старины по своим политическим убеждениям, Гизо чувствовал надобность выставлять с хорошей стороны средневековые элементы и в своих ученых сочинениях. Нет, мы выразились неверно: не то, что он чувствовал надобность выставлять их с хорошей стороны, а в самом деле он видел в них хорошего несравненно больше, чем дурного.

Странно может казаться после этого, что у нас, да и в остальной Европе, большинство писателей считает Гизо одним из представителей либерализма. Но причина тут очень простая и обыкновенная; она заключается в неразборчивости общественного мнения, одинаково легко пори-

цающего или превозносящего за несколько пустых фраз, лишенных всякого определенного значения. Помните ли, какая история поднялась у нас из-за какой-то статейки в «Иллюстрации» об евреях,— статейки, не имевшей в себе ничего особенного. Сонм уважаемых литераторов провозгласил за то «Иллюстрацию» органом фанатизма, желающего возжечь инквизиционные костры. Начался такой гвалт, от которого глухие могли бы вновь оглохнуть[3]. Точно так бывает и наоборот. Скажет, например, человек: «я не одобряю насилия»; кажется, что тут особенного? — ведь насилия никто не одобряет. А вот смотрите, уж эта фраза приобрела ему имя либерала. Притом же и положение Гизо или Тьера было совершенно особенное: французские министры были единственными конституционными министрами на континенте Европы. Правда, существовала конституция в Голландии, в Бельгии, в Бадене; но кто когда слыхивал что-нибудь об этих неважных государствах? Внимание континентальных либералов было занято исключительно прениями парижской палаты; и когда они читали речи Тьера или Гизо, так красноречиво говоривших о конституции, они думали: как, однакоже, отличаются эти министры от Меттерниха, преследующего слово «конституция»! Так и упрочилась за Тьером и Гизо репутация либеральных министров. Что они делали,— кому было время разбирать? Слушать слова гораздо легче, чем исследовать поступки.

О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ РИМА

(Подражание Монтескье)

(История цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи. Сочинения *Гизо*, члена французской академии. Часть первая. Переведено под редакциею М. Стасюлевича. С.-Петербург. 1861 г.)

Разбирать знаменитую книгу Гизо, издание которой в русском переводе — дело очень похвальное и полезное, мы не будем. Она слишком известна, стало быть, выставлять ее достоинства бесполезно. Разбирать недостатки? Но главные недостатки взгляда Гизо вовсе не особенные его недостатки: повсюду, как у него, вы прочтете, что древний мир был неспособен к дальнейшему прогрессу, потому его разрушение было спасительно для человечества, и умер он от внутренних смертельных болезней; что варвары внесли с собою новые, высшие элементы, бывшие необходимыми для блага человечества; что папская власть, возникшая на основании варварства, была в свое время спасительна; что монашеские ордена были в свое время полезнейшими деятелями цивилизации, которая только и сохранилась благодаря монастырям; что феодализм, имея такие-то и такие-то недостатки, не должен, однакоже, быть порицаем безусловно; что вообще и средние века не так дурны, как утверждал Вольтер с энциклопедистами, и т. д. и т. д. Если мысли эти верны, Гизо столько же следует хвалить за них, сколько за то, что он верит в обращение земли около солнца,— это просто господствующее мнение; если же эти мысли ошибочны, опять в упрек ему ставить их нельзя. Лично человек не подлежит никакому упреку, если все так думают или делают, как он. Самому Гизо принадлежит только мастерское изложение господствующего взгляда, а иногда — очень дельные исследования в его подтверждение. За то и за другое нельзя не похвалить его; но ведь не писать же статью о мастерском изложении, и нельзя же наполнять журнала разбором специальных изысканий о каких-нибудь частных вопросах средневековой истории. Следовательно, о главном направлении Гизо нет надобности много говорить.

Но в господствующем направлении исторических понятий есть много оттенков; в предпочтении того или дру-

гого оттенка уже выказывается личность писателя, уже состоит личное его достоинство или недостаток. Эту сторону дела мы рассматривали в рецензии русского перевода «Истории цивилизации в Европе» — книги, служащей предисловием к «Истории цивилизации во Франции». Стало быть, распространяться об этом теперь нет нужды.

Но если мы ничего не хотим говорить здесь о сочинении Гизо, то думаем коснуться самого предмета, о котором трактует книга. «Современник» порицают за недостаток серьезности, учености,— а вот покажем же, что можем быть солидными, то есть донельзя сухими и скучными (в этом смысле понимается солидность нашими порицателями), напишем статью о предмете, перед которым Суэцкий канал и зундская пошлина[1] — сюжеты занимательные. Не угодно ли вам порассудить с нами, например, о великом переселении народов, о герулах и франках салийских, о визиготах и алеманнах[2], о Гензерихе и Сигеберте. Угодно ли, не угодно ли вам, а извольте слушать следующую диссертацию об отношении этих занимательных племен и лиц к не менее занимательным Максиминам, Максимианам и Максенциям.

Факт, с которого начинается история нового мира,— занятие провинций Римской империи варварами. По обыкновенному понятию толкуют о каком-то очень курьезном содействии этого факта историческому прогрессу, даже утверждают, что без него все пропало бы: только он и спас погибавший мир. Видите ли, римский мир уже совершенно истощил все свое содержание, ничего нового и лучшего не мог развить из себя,— по обыкновенному выражению, умирал. На этом способе рассуждения опираются разные вздорные мечтания и об нынешних делах. Если бы толковали только о древней Римской империи, то мало было бы нам огорчения и вреда. Но беда в том, что точно так же трактуют о вопросах, важных для нынешней практической жизни народов, в особенности народов полуварварских. «Западная Европа отжила свой век, истощила свои жизненные элементы; западные народы не способны продолжать дело прогресса; мир должен возобновиться падением этих народов и заменою их новыми, свежими племенами». Вы спрашиваете доказательств,— доказательство одно: так было полторы тысячи лет тому назад с римским миром; для продолжения прогресса необходимо было смениться прежним народам новыми, свежими племенами. После такого аргумента начинаются ликование и хвастовство: «А вот уж мы и готовы возобновить мир, внести в историю новые прекраснейшие эле-

менты. Какие мы, право, молодцы! Вот не ныне, завтра облагодетельствуем человечество». Насколько это мнение происходит прямо из тщеславия, спор против него бесполезен. Тщеславие не исправляется никакими словесными доводами; оно уступает место справедливому сознанию своих достоинств лишь тогда, когда в людях действительно разовьются достоинства, приносящие им справедливую честь. Человек уже так устроен, что ему непременно хочется гордиться собой: нельзя гордиться путно, он гордится беспутно и становится рассудителен в этом отношении лишь тогда, когда приобретет истинные заслуги. Но на сколько тщеславный взгляд претендует опираться на аргументацию, на сколько он раздувается и укрепляется будто бы учеными соображениями, спор против него не остается без результатов: тщеславие все-таки принуждено бывает становиться несколько осмотрительнее и умереннее, когда докажут ему, что вздорность его очевидна: вот поэтому и разберем мы роль варваров при мнимом спасительном пособии их прогрессу человечества через занятие римских провинций.

Чрезвычайно часто бывает, что при рассуждениях о какой-нибудь вещи забывается одна неважная штука — сущность вещи. Сколько толкуют, например, о благодетельных последствиях какой-нибудь войны, забывая лишь одно то, что война разоряет обе воюющие стороны, а разорение ведь не бог знает как хорошо и полезно. Вот этим самым недостатком страдает и обыкновенное толкование о благотворности завоевания римских провинций варварами, что они будто бы принесли пользу прогрессу этим завоеванием. Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар. Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний. Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д. Развивается химия; от этого развивается технология; от развития технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего. Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устроивать свою общественную жизнь, и она устроивается успешнее прежнего. Наконец всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать кни-

ги, чем больше в стране становится людей грамотных, просвещенных, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было,— значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука, успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс — результат знания. Что же такое варвар? Человек, еще погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума, который к дикому зверю едва и не ближе, чем к развитому человеку. Какая же тут может быть польза для прогресса, то есть для знания, когда люди сколько-нибудь образованные заменяются людьми, еще не вышедшими из животного состояния? Какая польза для успеха в знаниях, если власть из рук людей сколько-нибудь развитых, переходит в руки невежд, незнанию и неразвитости которых нет никакого предела? Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное,— заменяются животными обычаями?[3]

Говорят: «римский мир истощил свои жизненные силы». Тут опять забывается сущность вещи. О чем говорится? О населении Римской империи. Что же, разве люди, его составлявшие, утратили человеческую натуру? Разве они перестали родиться имеющими человеческий ум и человеческие наклонности? Или разве по какому-то особенному случаю все люди в Римской империи рождались идиотами? Что за вздор! Пока общество состоит из людей, оно имеет в себе все свойства человеческой натуры. Отживает свою жизнь организм отдельного человека; но с каждым вновь родившимся человеком является новый организм с новыми свежими силами, и при каждой смене поколений возобновляются силы народа. Прошло 20 лет,— двадцатилетний юноша стал сорокалетним мужчиною и потерял юношескую свежесть чувств, не влюбляется, не дурачится; но ведь это произошло с Петром, а в эти 20 лет вырос Иван, новый двадцатилетний юноша, который теперь имеет ту же самую свежесть чувств, точно так же влюбляться и дурачиться, как было с Петром за 20 лет; прошло еще 20 лет, Ивану 40 лет, и он утратил свежесть чувств. А Петр, бывший в 40 лет здоровенным работником, стал теперь 60-летним стариком и не может работать так много и хорошо, как прежде; но ведь его место занял Иван, а подле Ивана вырос новый двадцатилетний юноша Анд-

рей, который теперь имеет точно такую же свежесть чувств, какую имел Иван 20 лет, а Петр — 40 лет тому назад. И какая тут перемена в составе общественных сил? Ведь и 20 лет тому назад тоже были 60-летние старики, кроме 40-летних и 20-летних людей; ведь и 40 лет тому назад были 40-летние мужчины и 60-летние старики, кроме 20-летних юношей? Как же это общественные силы могут истощаться? Как может уменьшаться в обществе свежесть и молодость, пока не перестают родиться люди? Кажется, пока родятся младенцы, существует в обществе кормленье грудью, прорезыванье зубов; пока младенцы вырастают в детей, существуют в обществе детские игры, с звонким детским смехом; пока вырастают дети в юношей, существуют в обществе благородные юношеские стремления с опрометчивыми юношескими увлечениями, с чистою юношескою любовью; а неужели вы думаете, что когда-нибудь не было в обществе стариков с старческою усталостью и холодностью? Реторика вещь прекрасная,— почему не городить иногда реторический вздор? — оно и нужно бывает иногда для эффекта; но не следует же постоянно ослепляться своей реторикой для того, чтобы совершенно забывать здравый смысл и факты. Стареет отдельный человек, в обществе пропорция свежих и усталых сил вечно остается одинакова. Пожалуйста, не противоречьте физиологии, не утверждайте, что бывают народы, состоящие из людей безголовых или не имеющих желудка, или исключительно из одних стариков, или исключительно из одних молодых людей,— ведь каждая из этих четырех фраз одинаково нелепа. Что за охота выказывать себя глупцом или лгуном.

«Нет, говорят нам, вы не так поняли наши слова; мы говорили не о количестве сил в обществе, а лишь о том, что формы общественной жизни сложились очень дурно, не было простора человеческим силам, не было выхода из этих форм, не было в обществе сил переработать эти формы, выработать из них новые, более широкие». Так? Ну, теперь верно изложена ваша мысль? На этом вы стоите? А прежде мы не так излагали ваш взгляд? Полноте, да разве вы говорите что-нибудь иное, чем ту же нелепость, от которой уже отказались, только облекаете ее в другую форму, более хитрую? Как же это в обществе недостает сил, а прежде когда-то доставало? Значит, количество сил в обществе уменьшилось? А ведь вы сами сознались, что это — нелепость. «Нет, возражаете вы, вы опять не так перетолковали: мы не то говорим, что количество сил в обществе уменьшилось, а то, что препятствия к деятель-

ности этих сил стали тяжелее прежнего; формы слишком укоренились; обществу нужно бы перерасти их, чтобы приобрести простор, а они слишком тверды, не может оно сломить их». Извините меня: не я перетолковываю ваши слова, а вы сами не понимаете, что говорите. Изложишь вашу мысль, вы говорите: «вот так, вот именно так мы и думаем»; попросишь вас всмотреться в эту мысль, скажешь: «так ведь это значит вот что»,— вы и отказываетесь: «нет, говорите, мы не то думали, а другое». А по правде сказать: вы просто думали вещи несообразные, произносили слова, не вникая в их смысл: «дерево растет из железа»,— помилуйте, из какого железа? — «Нет, мы не то хотели сказать; а что дерево растет из железной руды».— Нет, и не из железной руды оно растет.— «Опять вы не так толкуете: не то, что из железной руды, а из земли, в которой бывает и железная руда».— Да разве из тех кусков земли растет оно, которые составляют руду? — «Ну, разумеется, мы так и хотели сказать, что железная руда не участвует в росте дерева. Мы только хотели сказать, что на земле растут деревья и железо тоже лежит в земле». Так рассудили бы вы, о чем хотите говорить; если о росте дерева, то не приплетали бы к нему железа; а если о железе, так не приплетали бы к нему, как растет дерево. А то вы просто говорите путаницу.

Вот хоть бы и теперь, в этой последней форме, на которой вы остановились. «Обществу стеснительны были укоренившиеся формы, ему нужно было бы перерасти их».— Ну, что же это значит? Значит, в обществе была прогрессивная сила, была надобность в прогрессе; а вы начали с того, что общество было неспособно к прогрессу; да как же оно было неспособно к тому, к чему оно имело силы? — «Оно было способно к прогрессу; но препятствия были слишком сильны; не могло оно переработать укоренившихся сил».— То есть как же не могло? Чьею силою были созданы эти формы? Ведь силою общества; а количество сил в обществе не уменьшилось; как же оно стало бессильно над тем, над чем прежде оно было сильно? Разве разрушать труднее, чем создавать? Подумайте, что вы говорите: каменщики, построившие дом, не в силах разломать его; столяр, сделавший стол, кузнец, сковавший якорь, не в силах разрушить его.— «Ах, боже мой, вы все не так толкуете: ведь мы говорим не о том, что у общества было мало сил, а о том, что формы слишком укоренились».— Да что же это «укоренились»? Это, верно, опять метафора о дереве, растущем из железа? Форма — факт. Факт существует только постоянною поддержкою от силы,

которая произвела его. Чтобы он исчез, слишком много будет, если сила прямо обратится на его разрушение; довольно будет, если она перестанет поддерживать его, он сам собою падет. «Укоренилось!» — метафора, уподобление дереву! Посмотрите же вы на дерево: разве оно все укореняется? — Укореняется до известной поры только, а потом начинает ветшать, падает, искореняется. Для этого не нужно, собственно, ни бурь, ни наводнений: довольно того, что растительная сила, поддерживавшая это дерево, начинает покидать его, что свежие соки из почвы перестают с любовью втягиваться в него, устремляются к чему-нибудь другому. Если уж брать вашу метафору об укоренении, из нее же самой выходит вот что: общество — почва, на которой вырастают формы общественной жизни; вырастают они из свежих соков этой почвы; пока они привлекают к себе эти свежие соки, они растут, укореняются; когда свежим сокам перестало быть привлекательно устремляться в эти формы, когда они стали привлекаться к чему-нибудь другому, укоренившиеся формы, как бы глубоко ни укоренились, начинают слабеть, искореняться, и на место их возникают новые формы, с которыми потом будет то же. — «Но когда почва истощилась, когда свежих соков нет?» — Ну вот и прекрасно, опять дерево у вас «растет из железа», опять старая песня: в обществе нет свежих сил, — а вы уж, кажется, сознались, что это — нелепость, что истощается отдельный человек, а не общество, что количество свежих сил в обществе никогда не только исчезать, но и уменьшаться не может. Или вам слишком нравится метафора о корнях, дереве и почве? Да разберите хоть эту метафору, она сама изобличит вашу нелепость. Разве истощается почва оттого, что покрывается растительностью, что эта растительность становится роскошнее и роскошнее? Кажется, на самом деле бывает наоборот; опадающие листья, истлевающие корни удобряют почву, открывают больше простора; если в нынешнем году была растительность, в следующем она будет лучше нынешней именно потому, что ей предшествовала нынешняя растительность. Вот скала, почти голая, едва прикрытая мхом, видным лишь в микроскоп; жизнью этого моха образуется слой почвы для более заметной растительности; постепенно является трава, за нею кустарник, наконец лес, и чем дальше растет лес, тем глубже становится растительный слой, тем привольнее расти лесу, тем больше свежих соков находит он себе в почве, все улучшающейся без конца. Вот метафора, изображающая жизнь общества. В самой себе не имеет она конца от истощения сил; напротив, чем дальше

длится она, тем роскошнее становится обилие свежих сил для ее продолжения в формах, все совершеннейших. Но вас смущают те примеры, что прогресс иногда уничтожается в известных странах, в известном народе; вы не знаете, каких причин искать этому, и в недоумении вашем сваливаете вину на самое общество. Да попробуйте же обратиться хоть к вашей любимой метафоре об укоренении, росте и т. д. Она поможет вам понять дело, если вы не станете искать в ней только реторических фраз, а вникнете в факт, чтобы сообразить действие законов природы. Разве лес не исчезает иногда? Разве не заменяются результаты долгого развития растительных сил жалкими низшими формами? Разве не появляется иногда ничтожный бурьян или какой-нибудь дрянной коряжник на том месте, где был прекрасный лес? Скажите, отчего это бывает? От истощения ли почвы? — Нет, вы знаете, что это происходит от внешних фактов, совершенно посторонних самому лесу и его внутренней жизни. Случится гроза, зажжет лес молния, вот он и сгорел; а чем он был тут виноват? или чем виновата почва, на которой он вырос? Но, разумеется, если вы не хотите довольствоваться незамысловатым натуральным объяснением, вы можете натянуть софизмами ход событий так, что погибель леса окажется, по вашему толкованию, результатом форм, принятых его жизнью. И можете вы доказывать, что погибший лес не мог продолжать расти сам собою от внутренних пороков. В самом деле, почему молния могла сжечь лес? Конечно, только потому, что много было в нем высохшего, попадавшего на землю валежника, много было на деревьях засохших или засыхавших ветвей, от которых еще не успели освободиться деревья, много было и целых деревьев, уже совершенно засохших, умерших, но еще продолжавших держаться на корню, будто живыми. Значит, по-вашему, лес все равно погибал уже? Э, полноте! То же самое было с той самой поры, как начал разрастаться лес: с незапамятных времен было много в нем валежнику, много было сухих деревьев; но ведь росли же подле них новые, и разрастался же лес!

Метафоры чрезвычайно часто заменяют собою для огромного большинства всякое непосредственное понимание дела: «процветание», «укоренение», «увядание» — огромного большинства историков; этими словами ограничиваются, в сущности, все понятия о ходе истории. Потому-то мы и вникли в эту метафору, чтобы показать, что даже из нее следовало бы извлечь взгляд на вещи более натуральный и верный, чем какой распространен почти по всем историческим книгам. Возвратимся, напри-

мер, к факту, с которого начинается средняя история. Какую книгу ни раскройте, от Гизо до г. Тимаева, везде найдете одно и то же:

«Жизнь древнего мира была исчерпана, принципы ее развиты вполне и истощены; древний мир разлагался, умирал и вместо него для продолжения исторического прогресса должны были явиться новые племена с свежими силами». Мы нарочно не употребляли тут ботанических метафор о процветании, увядании, почве и т. д.,— обыкновенно речь бывает начинена еще этими метафорами; но скажите: и без них что она такое, как не та же самая, слово в слово, метафора, что, дескать, почва истощилась и нужна была новая почва, или что лес умирает сам собою, и т. д.? Если вы, не обольщаясь реторикою и не вводя в историю отвергаемых наукою понятий о назначении одного народа на место другого (как на место столоначальника, устаревшего или умирающего, назначается другой столоначальник с свежими силами к отправлению должности),— если вы, не делая невежественных гипотез, противоречащих законам природы, будете прямо рассматривать дело, как оно было, вы найдете ему другое объяснение или, лучше сказать, не найдете, а само собою оно найдется: и искать его нечего, так оно просто. Да и объяснять дело почти нечего, так оно будет ясно, лишь только вы позаботитесь свести главные черты его.

Мы сделаем лишь самый короткий очерк, возьмем лишь самые главные факты; будем приводить лишь одну самую сильную причину для каждого факта; потому очерк будет неполон: кроме главной причины, были другие, подобные ей; кроме главного факта, были другие очень важные, подобные ему. Но если читатель найдет нужным дополнить наш очерк подробностями, то просим его не думать, что мы не ценили их относительной важности. Мы имели целью не то, чтобы отметить все, что полезно было бы отметить, а лишь одно совершенно необходимое.

В то время как Рим возникал и постепенно усиливался в Средней Италии, почти все пространство итальянского материка было погружено в грубое варварство. Лишь несколько, не очень значительных по объему, округов или успели достигнуть некоторой степени цивилизации, более или менее самостоятельной, или получили цивилизованное население из Греции. Из этих городов цивилизация стала проникать в Рим, и мало-помалу он сделался главным центром ее в Средней Италии. Какое положение дел настало, когда Рим, благодаря превосходству военного устройства, данного ему цивилизацией (у народов мало раз-

витых цивилизация прежде всего обращается на военные цели, и в военном могуществе цивилизующийся народ обыкновенно делает успехи быстрее, чем в других сторонах жизни),— что мы видим в Италии, когда римская власть расширилась до реки По, за которою начиналась тогда «дальняя» Галлия? Небольшое племя, почти все сосредоточивавшееся в одном городе с его окрестностями, овладевало обширною страною с многочисленным населением, в котором лишь очень немногие небольшие частички были несколько цивилизованы. Из своего центра оно основало много колоний по важнейшим пунктам покоряемых земель. Этими рассадниками, при пособии частичек, получивших цивилизацию раньше, население Италии постепенно цивилизовалось. Когда ход дела достиг некоторой высоты (столетия за два и за полтора до нашего летоисчисления), явилась цивилизованная масса такой многочисленности, что варварские и полуварварские народы, жившие в юго-западной Европе до Дуная, в юго-восточной Европе на север от коренной Греции и по восточному и южному берегам Средиземного моря, в Азии и Африке, или не превосходили эту массу числительностью каждый по одиночке, или были малочисленнее. Например, лигуры или гельветы, бельги или иллирийцы могли вывесть в поле тысяч 50 или 100; римляне могли послать против них также тысяч 50 или больше войска. Какой-нибудь полуварварский владетель Понта из Пергама, Сирии или Армении мог выставить тысяч 50 или 150 войска; римляне могли послать против него тысяч 100 или 80. Но римское войско было войско вполне регулярное, а у тех варваров или полуварваров регулярного войска или вовсе не было, или было мало, а масса сражающихся состояла из милиции, плохо вооруженной, а еще хуже дисциплинированной. Словом, тут было то же самое, что в столкновениях англичан с разными ост-индскими государствами, только неравенства по численности войск было меньше. Таким образом римляне очень быстро завоевали громаднейшее пространство земель, покоряя один народ за другим, вроде того, как англичане завоевали Ост-Индию (Македония тоже была страна полуварварская; образованная Греция, попавшаяся в добычи римлянам, не была велика ни по пространству, ни по числу жителей). Явилось государство, имевшее до 100 или 150 миллионов населения, от 100 тысяч до 150 тысяч квадратных миль, из которых четыре пятых части пространства и населения были совершенно варварские, из остальной доли значительнейшая половина была полуварварская и лишь Италия была уже порядочно

цивилизована, да еще был небольшой кусок цивилизованной земли на востоке — маленькая Греция с разбросанными своими колониями. Это известно каждому. Спрашивается теперь: какое положение дел должно было возникнуть из этого? Варвары и полуварвары понемногу цивилизовались,— вроде того, как теперь жители Ост-Индии. Дело это шло не с быстротою молнии,— но что ж тут удивительного или отчаянного? Вот Россия, в которой население в несколько раз меньше, чем население Западной Европы, уже около 400 лет (не с Петра Великого, а с Иоанна III) находится под сильным умственным влиянием западноевропейского населения, несравненно многочисленнейшего, чем мы, а ведь все еще нельзя нам слишком хвалиться своими успехами, не бог знает как далеко ушли. Но что же тут погибает и какая почва тут истощается? Вот точно так же и тогда: Пиренейский полуостров, Галлия, Британия, южная окраина Германии, нынешняя Турция европейская и азиатская, южная часть России, Северная Африка с громадными своими населениями понемногу цивилизовались влиянием, выходившим из Греции и Италии. Так прошло лет 400 или 500. Успехи всеми этими странами были сделаны очень порядочные; но, разумеется, не успели же они достичь того уровня, на котором были их цивилизаторы — римляне и греки.

Сначала, когда эти обширные страны стояли еще слишком низко, небольшие цивилизованные страны, бывшие двумя центрами, из которых разливался прогресс, легко сохраняли свое владычество над ними, вроде того, как англичане в Ост-Индии довольно долго не встречали опасности своему господству от народа, как только был он раз покорен. Но мы заметили, что военная часть раньше всего развивается у народа, начинающего цивилизоваться. Вместе с улучшением способности сражаться начала пробуждаться у покоренных народов мысль о независимости; начались восстания, более или менее имевшие национальный характер и опиравшиеся на местное регулярное войско,— то возмутятся сирийские легионы, то возмутятся испанские легионы, то возмутятся галльские легионы,— словом сказать: начали происходить факты вроде недавнего возмущения бенгальской армии[4]. Удивительно ли, что при таких обстоятельствах римляне принуждены были управлять завоеванными странами по порядку, в котором над всем преобладали военная часть и финансовая часть? Сначала это было нужно для утверждения римской власти, потом — для предотвращения и подавления попыток к отпадению. Точно так же управляют англичане Ост-Ин-

диею. Войско и деньги на содержание войска — как можно больше войска содержать в стране и как можно больше денег брать в стране на содержание войска — ведь и англичанам в Ост-Индии почти некогда думать ни о чем, кроме этого. Точно так же было и с римлянами относительно провинций.

Спросим: неужели силы Ост-Индии истощаются от английского господства? Неужели Ост-Индия не совершенствуется при нынешнем порядке вещей?[5] Слова нет, там еще очень дурно: и народ еще чрезвычайно невежествен, и живет бедно, и подати тяжелы, и в управлении много произвола; да разве это до англичан лучше было? Напротив, несравненно хуже; а теперь все-таки становится с каждым годом лучше: и дороги строятся, и дикие обычаи понемногу искореняются, и число грамотных людей увеличивается между ост-индцами; вот уже многие из них пишут книги вроде европейских, многие приобретают европейские понятия о законах и законном порядке. Неужели это — ход дела отчаянный? Положение очень дурно, но улучшается; цивилизация еще очень слаба, но растет. К чему это приведет раньше или позже? Спросите у самих англичан, они скажут: ост-индцы цивилизуются; когда они оцивилизуются настолько, что не будут нуждаться в нашем руководстве, Ост-Индия сделается независимою от Англии. Добровольно ли мы уйдем из нее, прогонят ли нас, этого в точности рассказать наперед нельзя; вероятно, будет отчасти добровольная уступка, отчасти — принужденное вытеснение. Одним ли государством останется Ост-Индия или распадется на несколько государств, этого также нельзя рассказать вперед с точностью; но, вероятно, будет несколько государств, потому что население распадается на несколько огромных племен. Впрочем, все это, вероятно, будет еще не так скоро, потому что до сих пор индийцы еще слишком далеки от нужного для того уровня цивилизации. Это говорят сами англичане. Что предвидят они относительно Ост-Индии, то уже начало исполняться в римских провинциях. После долгих бесплодных попыток к возвращению национальной независимости,— остававшихся бесплодными по слишком малой еще тогда степени успеха провинций в цивилизации,— Римская империя начала очень явственно разделяться на 4 части: центром одной была Галлия, центром другой — Италия, третьей — Греция, четвертой — Малая Азия. Что тут было смертельного? Напротив, ведь в каждом учебнике говорится, что распадение империи Карла Великого было результатом и свидетельством успехов, сделанных нациями, осно-

ванием и залогом дальнейшего прогресса. Вот то же самое началось и в Римской империи. Управление империею посредством четырех, как будто федеративных, государей около времен Диоклетиана, или распределение империи на четыре префектуры, точно так же было фактом прогресса, как и распадение империи Карла Великого. Тот и другой факт одинаково показывают, что побежденные народы успели подняться настолько, что уже не осталось прежнего чрезмерного расстояния между ними и бывшими их завоевателями. Разница лишь в том, что римляне III и IV веков нашего летоисчисления стояли по цивилизации гораздо выше франков IX века, стало быть — и успехи, сделанные провинциями в первые три века нашей эры, были гораздо значительнее сделанных ими в первую половину средней истории.

Говорят, что стеснительность форм в Римской империи была безвыходна, а грабительства римлян в провинциях безмерны. Действительно, самоуправство и хищничество проконсулов, а потом императорских правителей были чрезвычайно велики; а формы управления были чрезвычайно обременительны. Но как ни дурно было положение дел в Римской империи, по завоевании варварами оно сделалось несравненно хуже. Римские гражданские и уголовные законы имели значительную степень достоинства; по завоевании варварами законом стал произвол, безумный каприз алчного и кровожадного дикаря. Положим, что римский проконсул или префект грабил и казнил очень свирепо. Но он и его помощники понимали, что поступают жестоко и притеснительно, когда поступали таким образом. Стало быть, они поступали так, лишь когда побуждал их к тому расчет; они знали, по крайней мере, что резать и грабить дурно, оставались справедливы и не жестоки во всех тех бесчисленных случаях, когда не было им прямой пользы от несправедливостей. Завоеватель — варвар был не таков: он резал людей так, как школьники бьют мух — без всякой надобности, просто от скуки. Ему не нужно было для этого уклоняться с пути, который он признавал справедливым; у него не было ни колебаний, ни опасений, не было того неприятного чувства, которое отталкивает человека от дурного дела и для преодоления которого нужны особенные, довольно сильные побуждения: нет, он не делал ничего дурного, когда резал и грабил. Он делал это с тем чувством, с каким мы выпиваем рюмку вина или садимся играть в преферанс. В VI или VII столетии жить было несравненно хуже, чем в III.

И не только формы управления были в III веке менее

стеснительны, чем через 200 или 500 лет после того,— формы эти уже готовились замениться в Римской империи лучшими. Основанием для возможности притеснений было слишком низкое развитие провинций сравнительно с Италией; по мере того, как провинции цивилизовались, ослабевал этот главный источник бесправности их жителей. Мы знаем, что право римского гражданства постепенно предоставлялось одной провинции за другою и, наконец, было распространено на всю Римскую империю. Конечно, сначала это право оставалось почти только на бумаге по недостаточной приготовленности жителей провинций отстаивать его, по непривычке их считать себя людьми. Но ведь всегда бывает так; и тоже, как всегда бывает, провинции понемногу стали привыкать пользоваться своим правом и желать лучшего. Возникало общественное мнение; под конец Римской империи оно уже достигало такой силы, что меры, принимаемые без совета с ним, оказывались недействительными, и само правительство увидело надобность призвать выборный элемент к участию в делах. Градское и сельское управление мало-помалу было передаваемо в руки самого общества, а в последние времена Римской империи начали появляться императорские декреты об учреждении чего-то похожего на провинциальные сеймы. Разумеется, эти уступки были только формальными,— на деле императорская администрация оставалась полновластною; но вначале ведь всегда так бывает. Следовательно, формы политического устройства уже начинали изменяться в направлении, открывавшем простор для гражданской жизни провинций.

Столь же заметен прогресс в юридическом положении массы. Она при завоевании провинций находилась в рабстве. Рабство довольно быстро смягчалось, заменилось крепостным состоянием, и крепостные люди начали постепенно приобретать больше и больше прав[6].

Таким образом во всех отраслях цивилизованной жизни Римская империя подвигалась вперед: просвещение в провинциях распространялось; национальности шли к приобретению независимого существования; в управлении стал являться выборный элемент; права массы расширялись.

В чем тут признаки истощения сил, в чем зародыши смерти от внутреннего изнурения? Напротив, везде видны зародыши более полной жизни в лучших формах.

Варварскими нашествиями почти все существовавшее хорошее было истреблено, римский мир отодвинут на несколько сот лет назад к тем временам, когда владычествовали над Галлиею дикие верцингеториксы, бродили по

Европе кимвры и тевтоны, или к временам еще более далеким, когда Македония была населена дикарями, когда опустошаема была Малая Азия скифами, или еще раньше, когда ходили греки на Трою. Не раньше XVII века, быть может только в половине XVIII века, успела континентальная Европа снова подняться до того положения, до какого достигала в конце III, в начале IV века. Прогресс был слишком на 1 000 лет задержан падением Западной Римской империи перед варварами.

Но, говорят, самая победа варваров над Римскою империею доказывала несостоятельность Римской империи. Если бы внутренние силы римского мира не истощились, он легко отразил бы натиск этих слабых дикарей.

То есть как же это «легко» и каких же это «слабых»? Внутренние силы Римской республики, конечно, были в самом энергическом процветании (если уже употреблять вашу метафору) около времен Мария. Что же мы видим? Кимвры и тевтоны истребляют несколько римских армий, чрезвычайно многочисленных, и Рим снова на один волосок от опасности быть взятым варварами, как был взят три столетия перед тем, как был взят через пять столетий после того. Или легко было римлянам побеждать племена Западной Германии при Августе? А с кем же тут боролись римляне? Лишь с небольшою частицею, лишь с отдельными племенами дикарей одной только западной окраины безмерного пространства от Рейна до Амура, которое все занято было такими же воинственными дикарями. Вообразим же себе, что все эти народы устремились на запад: не одни прирейнские номады, как прежде, двигались на римлян,— эти племена составляют теперь лишь ничтожный авангард несметных алчных полчищ, которые волна за волною льются на цивилизованный мир из глубины центральной и восточной Германии, из Европейской России, из Туркестана, из Монгольской степи. Бьет первая волна,— она отбита, но покрыла развалинами широкую полосу цивилизованного прибрежья; за нею катится другая волна, за другою третья, и каждая все выше, стремительней, и проникает все дальше. Так продолжается в течение нескольких поколений, пока, наконец, не осталось в цивилизованном мире уголка, который по нескольку раз не был бы потоплен наплывом этих свирепых полчищ. Какие-нибудь кимвры и тевтоны, составлявшие всего, может быть, сотую долю этого варварского населения, поколебали Рим; свидетельствует ли об ослаблении сил Римской империи тот факт, что она была подавлена всею грудою этого номадного населения?

Надобно яснее представить себе отношение сил между кочующими дикарями и цивилизованным народом. Когда цивилизованный народ посылает регулярное войско для покорения дикой страны, номады которой не думают итти всею массою на цивилизованную землю, варварская страна завоевывается регулярным войском. Таковы были походы Александра Македонского и римлян. Но если в оборонительной войне номады слабы, потому что разделены обширностью своих пустынь на племена довольно мелкие, то совершенно иное дело, когда из глубины степей поднимаются эти кочевые племена и двигаются через земли подобных себе дикарей на цивилизованную страну: тут с каждым шагом стремящаяся масса их растет, захватывая в себя или гоня перед собою племена, встречающиеся на пути. Сила дикарей страшно вырастает и от того, что они соединяются в сплошную массу, и от того, что они одушевлены расчетом на грабеж. В наступлении они гораздо грознее, чем в обороне.

«Положим, что готы, вандалы, гунны и бесчисленные другие племена и дружины варваров двигались громадными массами, натиска которых не могли бы выдержать ни легионы Августа, ни легионы Суллы, ни Мария, ни Сципионов. Но после того разве не было также бесчисленных примеров, что довольно слабые шайки варваров проходили насквозь целую страну, не встречая нигде отпора? В конце IV века уж есть такие примеры, а в V их очень много. Вот вам и доказательство, что древний мир умирал, был бессилен, ветх». Разумеется, стал он, наконец, и ветх, и бессилен, и умер напоследок,— кто в этом сомневается? — Ведь о том и речь идет, от чего ослабел он, от чего умер. Нанесено человеку множество ударов огромной булавой; он лежит на земле умирающий, разумеется, теперь слабая рука может бить его хоть щепкой безнаказанно,— не даст он отпора; а потом ведь и черви будут есть его, и не пошевелит он пальцем, чтобы раздавить червяка. Как же он не обессилел, как же он не умер? Только не говорите, пожалуйста, что был он слаб, что умер от внутреннего органического расстройства. Ведь когда Антей был брошен задушенный Геркулесом, пигмеи могли безнаказанно потешаться над его громадным телом. Что же, по-вашему, Антей был хилого здоровья человек или охилел от дряхлой старости?

Чем же был убит древний мир? Мы прямо говорим: исключительно волнением, которое овладело всеми кочевыми племенами от Рейна до Амура. Тут было ни больше, ни меньше, как погибель страны от наводнения. Никакой

внутренней необходимости смерти не было[7] Напротив, жизнь была свежа, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи — такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи, как погибель страны, по которой гуляют теперь волны Зёйдер-зе[8]. Подобные случаи погибели предмета, погибели дела от внешних разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни исполнен был жизни предмет, встречаются ежедневно в частном быту, встречаются бесчисленное число раз в истории; только никогда не происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном размере, как при погибели всего древнего цивилизованного мира. Не толкуйте же о разумности, о благотворности этих катастроф. Лошадь ударила человека подковою по виску, и он умер,— какая тут разумность, какие тут внутренние причины смерти? Лиссабон разрушен землетрясением[9],— виноваты ли в том достоинства или недостатки португальской цивилизации? Поднимается самум, заносит песком караван в Сахарской степи,— не доказывайте, что верблюды и лошади были плохи, люди глупы, товары нехороши. Слепая игра сил природы в стихиях, в животных или в людях, не вышедших из животного состояния. Помните ли вы песню Гёте о том, как Тилли брал Магдебург:

«Магдебург, Магдебург! Девушки в нем красавицы,— красавицы в нем и девушки, и женщины. Все цветет там. Идет к нему Тилли по цветущим лугам, по цветущим садам, идет к нему Тилли. Стал под ним Тилли.— «Кто спасет наш город, кто спасет наш дом! Иди, мой милый, бейся с ним».— «Он не страшен, как ни грозит нам. Поцелую твои алые губки. Он не страшен».— Конец песни вам известен. Защитники Магдебурга перебиты, город взят; девушка бежит. Ландскнехт останавливает ее[10].

Ну, что же вы, доказывайте разумность факта: не был ли молодой человек — трус, не была ли девушка — кокетка, не за то ли они погибли, не является ли Тилли орудием прогресса, не вносит ли он в Магдебург элементов новой, лучшей жизни? Да и в самом деле, ведь Магдебург имел корпоративное устройство с гильдейскими и цеховыми учреждениями, так Тилли, вероятно, помог развитию свободы промышленности, должно быть, что без Тилли не могли явиться Адам Смит и Кобден. Вероятно, погибель Магдебурга была необходима для промышленного прогресса! Что за пошлость! побежденный виноват, убитый — сам причина своей смерти. Нет, по этому признаку нельзя судить; всячески бывает на свете: побеждают пра-

вые, побеждают и виноватые; умирают больные, умирают и здоровые,— всячески бывает:

Скольких добрых жизнь поблекла,
Скольких низких рок щадит!
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит![11]

В населении самих провинций Римской империи мы не находим решительно никаких причин считать погибель древнего мира делом нужным или полезным для человечества. Мы видим только крайнюю нелепость, совершенное противоречие с фактами в обыкновенном мнении, будто бы древний мир истощил свои силы, дошел до предела, выше которого не мог бы развиваться, и будто бы надобно было ему погибнуть для открытия возможности дальнейшего прогресса человечеству. Но кроме этой дикой стороны, обращенной против древнего мира, господствующее мнение имеет другую сторону, очень льстивую для племен, завоевавших римские провинции. На сколько древний мир был безжизнен и неспособен к прогрессу, на столько же, видите ли, варвары отличались какими-то особенно жизненными элементами и были способны к развитию; варвары, видите ли, внесли жизненные соки, и т. д.— развивается та же деревянная метафора, кончающаяся поэтическим уподоблением: «так мутные воды Нила, потопляя Египет, покрывают его слоем плодоноснейшего ила»,— видите, до чего простерлась поэзия, даже рифма выходит: Нила, ила. Превосходно! Только ни с Нилом, ни с его плодотворным илом никакого сходства нет. Позвольте спросить: почему это варвары были особенно способны к прогрессу и какие новые живительные элементы внесли они в историю?

Обыкновенно отвечают: «принцип личности». В древнем мире будто бы личность поглощалась государством, человек исчезал в гражданине. У варваров, наоборот, индивидуальная свобода была выше всяких общественных уз. Тут просто-напросто противопоставляются две эпохи общественного быта, которые, впрочем, обе вместе со множеством других эпох существовали в самой истории древнего мира. У всех диких кочевых племен, например, у краснокожих северо-американцев, у калмыков, нет общественных учреждений, которые действовали бы постоянно и правильно; вождь является с действующею властью лишь в особенных случаях; а в обыкновенное время она спит; племенные сходки собираются тоже лишь в особенных случаях; по обыкновенным делам между

частными лицами расправляются сами эти лица, как знают. Если одно из них обращается за покровительством к вождю или к племенному собранию, другое лицо покоряется или не покоряется этой власти, как само рассудит; словом сказать, обыкновенное течение дел — полнейшая неурядица с постоянным насилием и с полнейшим деспотизмом вождя или сходки в тех случаях, когда возбуждается к действию эта власть, против которой, впрочем, каждый, кто захочет, ведет войну. То же самое было и у германцев. То же самое в старину, задолго до Филиппа, было и у македонян. То же самое было у всех племен, вошедших в состав древнего мира, когда каждое из них было в состоянии дикости. Что тут особенного? И что тут особенно хорошего? Или уж не заключается ли в таком состоянии общества прочный зародыш свободы? Нимало. Власть вождя дремлет лишь потому, что богатств у каждого мало, а он — человек богатый, ему и скучно хлопотать из-за пустяков; он и спит себе, пока его растолкает кто-нибудь с просьбою о вмешательстве. А как только является у членов общества богатство, привлекающее внимание вождя, он перестает спать и оказывается постоянным деспотом. Легко ему сделаться деспотом потому, что племя имеет военные нравы; он — военный командир, а власть военного командира не знает границ; само племя расположено к признаванию такой власти. Вольные монголы и Чингиз-хан с Тамерланом, вольные гунны и Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры и атаман их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах понять; кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом.

Оно так и вышло. По завоевании римских провинций каждый человек из племени завоевателей разбойничает, грабит и режет, кого ему вздумается, из завоеванного ли населения, из своих ли товарищей, пока кто-нибудь зарежет его, а вождь между тем рубит головы у всех, кто попадется ему в лапы[12].

Кроме этой особенности, никакой другой особенности мы не видим в порядке, заведенном варварами. А эту особенность мы видим и у печенегов, и у половцев, и у татар, завоевавших Русь,— впрочем, оно и то сказать, есть у нас историческая школа, говорящая, что татарский порядок был очень благотворен для России. Но вот о египетских мамелюках, которых истреблял Наполеон, а потом Мегмет-Али, о турецких янычарах, о марокканских, тунисских, ал-

жирских разбойничьих шайках с их деями и беями (совершенно соответствующими готским, бургундским, аллеманским, франкским дружинам с их предводителями) никто, кажется, не говорит, что они внесли новые элементы прогресса в страны, где утвердился их разбой, и повели по пути прогресса население Босны, Герцоговины, Египта и т. д.

Но ведь из этого разбоя, продолжавшегося несколько веков, вышел, наконец, феодализм — вот и особенный элемент, внесенный в жизнь цивилизованных стран варварами. Хоть бы и был он особенным, какой же в нем прогресс сравнительно с устройством Римской империи в самые худшие времена ее? Там все-таки была известного рода законность, хотя сколько-нибудь соблюдавшаяся. А феодализм — ни больше, ни меньше, как грабеж, приведенный в систему, междоусобица, подведенная под правила. Теперь уже давно всеми признано, что в феодализме не было решительно ничего способного к развитию, что он был лишь смягченною формою предшествовавшей ему полнейшей анархии грабительского самоуправства. Ничего не могла взять цивилизация из этой формы, служившей только препятствием для нее; все, решительно все отвергала цивилизация из феодальных учреждений, как только могла справиться с ними. Разумеется, сравнительно с VI и VII столетиями феодализм был прогрессом, но лишь в том смысле, в каком старинные итальянские разбойники, бравшие выкуп, были прогрессом над прежними разбойниками, резавшими без всякого выкупа. Да и что специального, особенного в западном феодализме? Возник он из того, что вольные люди записывались в подданство могущественных соседей, чтобы через регулярное жертвование частью дохода получать защиту против других грабителей. Но точно так же записывались под власть сильных людей вольные люди во всех странах в эпохи сильной неурядицы; например, и у нас так было в смутные времена самозванцев. Возникшая из этого форма отношений между второстепенными владельцами и могущественным провинциальным владельцем, как их сюзереном, между областными владетелями и владетелем страны, как их сюзереном, тоже не представляет ничего особенного; точно таковы же были отношения сильных раджей к императору, а мелких раджей — к сильным раджам в Ост-Индии; какой-нибудь Ауд был как две капли воды похож на какую-нибудь Саксонию или Бургундию XII века. Раскройте Шах-Наме[13], вы увидите то же самое в старинном персидском царстве: Рустем такой же герцог своей области, имеет

точно таких же второстепенных вассалов, как Генрих Лев, и находится к шаху Кейкаусу точно в таких же отношениях, как саксонский владетель к немецкому императору, как граф шампанский к французскому королю. Точно в таких же отношениях были так называемые тираны греческих малоазийских городов к царю персидскому. Теперь дело известное, что формы, подобные феодализму, являлись почти во всех странах в период перехода от полнейшей дикости к низшим ступеням порядка, сколько-нибудь законного. Древний мир задолго до начала нашего летоисчисления дошел уже до форм более совершенных или, лучше сказать, до форм менее диких[14].

Вот мы дошли и до конца средней истории: ведь она кончается заменением феодализма централизованною бюрократиею или чем-нибудь подобным. А достигла эта централизованная бюрократия полного господства над феодализмом не раньше как в XVII веке; а в Римской империи эта форма уже господствовала в III веке; значит, целые 14 веков были потрачены на то, чтобы поднялась история хоть до той высоты, с какой низвергли ее варвары. Вот теперь и рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания римских провинций варварами. Вся благотворность этого события состояла в том, что передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости, из которой едва успели вылезть до прежнего положения после неимоверных 14-вековых усилий.

Сделаем теперь крутой поворот. Какое нам дело до тех или других понятий о способности или неспособности древнего мира к дальнейшему прогрессу, о благодетельности или гибельности вмешательства варварских племен в судьбу цивилизованных стран? Пусть пишутся об этом специалистами ученые книги; нас занимают вопросы совершенно иные, и, разумеется, мы не стали бы тревожить такую ветхую старину, если б разоблачение ошибочного взгляда на вопрос ветхой старины не представлялось делом довольно важным для очищения самохвальных и, к счастью, пустых мыслей о некоторых живых отношениях. Мы говорим не о славянофилах. Если бы спорить приходилось лишь против них, не стоило бы спорить, потому что они малочисленны, и слишком уже часто встречаются люди, любящие дешевым манером подсмеиваться над ними, не замечая того, что сами не чужды коренной тенденции, из которой происходит славянофильство. Оно лишь — последовательная, развитая форма чувства, существующего чуть ли не в большинстве нашего общества, прогля-

дывающего, к сожалению, даже у многих из людей, имеющих влияние на мысли всей публики. «Мы призваны обновить жизнь цивилизованного мира, внести в нее высшие элементы, которых сам он выработать не в силах». Всмотритесь хорошенько в самого заклятого западника, он с этой стороны часто оказывается славянофилом.

Мы далеко не восхищаемся нынешним состоянием Западной Европы; но все-таки полагаем, что нечем ей позаимствоваться от нас. Если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас. Новые экономические тенденции стали обнаруживаться во Франции и в Англии задолго до того, как барон Гакстгаузен рассказал немцам о нашем обычном общинном землевладении; а французы и англичане узнали об этом нашем обычае от немцев еще позднее,— чуть ли не вчера только или третьего дня. Их мыслители нашли истину без помощи знаний о нашем быте; они и не подозревали даже, когда составляли свои теории, что у одного из русских племен сохранилось общинное землевладение. Распространялись и распространяются до сих пор их мысли в Западной Европе также без всякого отношения к нашему обычаю: ни для кого из приверженцев новых теорий на Западе не служит он доводом в пользу новых теорий. Это все равно, как изобретены были и распространились по Европе висячие мосты, без всякого участия тут несколько похожей вещи, издавна существующей — не помним — у китайцев ли или у какого-то другого восточно-азиатского народа: перебрасываются с одного края ущелья на другой веревки и настилаются на этих веревках доски. Европейские инженеры и не подозревали о существовании такого факта, когда стали доказывать возможность и пользу висячих мостов, и вошли в употребление такие мосты без всякой помощи китайского или какого другого восточно-азиатского влияния. Какое же тут участие имели китайцы в прогрессе европейской инженерной науки и практики? Чем была тут или будет обязана им человеческая цивилизация или Западная Европа? Напротив, когда они из своего бог знает какого бестолкового состояния перейдут в порядочную цивилизацию, они же будут учиться от Западной Европы не тем одним вещам, сходного с которыми ничего не было у них в их прежнем азиатстве, а между прочим и постройке висячих мостов, сходная с которыми вещь была у них. Принцип, положим,

действительно один и тот же. Но форма, до какой развивается вещь, порождаемая принципом, совершенно не та, и китайцам без помощи европейской цивилизации никак нельзя было бы дойти до висячего моста, действительно прочного, удобного, удовлетворяющего надобностям цивилизованного общества; а та форма, какая существует у них при азиатстве, ведь и неудовлетворительна для общества, сколько-нибудь развитого. Что же хорошего в китайских веревочных мостах? Хорошо в них то, что при своем прежнем и нынешнем азиатстве китайцы, бывшие неспособными иметь постройки более совершенной формы, терпели бы еще больше неудобств, если б не было у них хоть веревочных мостов. Значит, для китайцев эти мосты были и остаются пока полезны, даже очень полезны, пожалуй, благодетельны и спасительны; но ведь для самих же китайцев только; а Европе не принесли, не приносят и не могут принести никакой пользы. Они ей совершенно не нужны; они для нее совершенно неудовлетворительны. А для китайцев они, как мы уж говорили, очень полезны. И не только теперь полезны, при их азиатстве, при их неспособности иметь лучшие пути сообщения с лучшими мостами. Наверное обычный этот факт окажется полезен и для дальнейшего их прогресса, когда они станут способны завести у себя лучшие пути сообщения по европейской науке. Ведь мандарины не сделаются же вдруг просвещенными европейцами, истинными реформаторами, какими-нибудь Стефенсонами или Робертами Овенами; долго будет у них в головах сидеть азиатская рутина с отвращением от всего истинно-европейского. Вот им и будут говорить порядочные инженеры: «что же такое, ведь висячие мосты — чисто национальное наше китайское учреждение; ведь в них нет ничего европейского, развращенного и гибельного для китайских порядков». Да и народ китайский нелегко поверил бы удобству и прочности железных висячих мостов, если бы не привык к своим веревочным; ну, а теперь каждому будет видно, что железные висячие мосты безопасны во всех отношениях: и с китайскими порядками сходны, и ходить или ездить по ним вовсе не страшно. Значит, китайцы будут много обязаны своим нынешним веревочным мостам за легкие успехи нового инженерного искусства в их стране.

Вот точно такого же рода история и с нашим обычным землевладением. Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего; у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю,

неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство, его введение будет значительно облегчено существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой тогда понадобится для нас, и дающим удобное, просторное основание для этого нового порядка[15].

Кроме общинного землевладения, невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашею свежею помощью. Мы тут говорим, разумеется, не о славянофилах; у славянофилов зрение такого особенного устройства, что на какую у нас дрянь ни посмотрят они, всякая наша дрянь оказывается превосходной и чрезвычайно пригодной для оживления умирающей Европы. Один уверяет, что очень хороша привычка нашего народа безответно подвергаться всяким надругательствам и что Западная Европа умирает от недостатка этой похвальной черты, а спасена будет нами через научение от нас такому же смирению. Другой находит, что мы молодцы пить и гулять, что Западная Европа должна научиться от нас широкому русскому разгулу, то есть дракам в харчевнях и битью стекол в трактирах, и спасена будет от смерти собственно этим. Третий проникает глубже в народную жизнь, и от домашнего очага, то есть от сбитой из глины печи черной избы, выносит иное сокровище: битье жен мужьями, битье сыновей отцами (и наоборот, битье отцов сыновьями, когда отцы одряхлеют), отдаванье дочерей замуж и венчанье сыновей по приказанию родительскому без надобности в согласии женимых и выдаваемых замуж; эти семейные отношения должны послужить идеалом для Западной Европы, которая и спасется через них. Четвертый восхищается продолжительностью нашей жестокой зимы и находит, что Западная Европа расслабела от недостатка морозов; но уж в этом никак нельзя ей помочь, и он откровенно сознается, что дело ее пропащее. Мы говорим не о таких людях: их мало, и спорить с ними не стоит,— мы говорим не про чудаков, а про людей, рассуждающих по обыкновенному человеческому смыслу. Они, кроме общинного землевладения, не видят у себя ничего такого, чему полезно было бы распространиться от нас на передовые страны и чем бы могли мы содействовать их оживлению. А этому обычаю Европе поздно научиться от нас, да и не нужно учиться,

потому что сама она гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить. Значит, оживлять нам ее ровно уж нечем.

Нечего нам и хлопотать об этом: никаких оживлятелей не нужно ей. Она и своим умом умеет рассуждать и своими силами умеет делать, что ей угодно, и своих сил довольно у ней на все, что ей нужно делать.

Или вы начнете говорить, что она ветшает, слабеет силами, что она отжила свою жизнь и т. д.,— то есть опять возвратитесь к той же метафоре о дереве, которая оказалась обманчива, и все к тому же примеру древнего мира, который оказался свидетельствующим совершенно противное,— к этому ли возвращаетесь вы? Пожалуй, потолкуем еще раз.

«Старые страны, долго жившие исторической жизнью, истощают свои...» — ну, довольно, продолжение мы уж слышали. Рассудимте сначала хотя о древнем мире, для краткости — хотя о западной половине его, о Западной Римской империи; для большей краткости будем говорить лишь о северной части ее, о западноевропейском куске Римской империи. Он состоял из Италии, юго-западной Германии, немецкого рейнского прибрежья, Бельгии, Голландии, Англии, Франции, Пиренейского полуострова. Из всех этих стран, какие имели долгую историческую жизнь перед разрушением западного римского мира? — Одна только Италия. Все остальные еще в начале нашего летоисчисления были совершенно дикими, варварскими, то есть, по вашей терминологии, юными, свежими, девственными. От этой девственности и свежести начинали они избавляться; мы видели, что понемногу они цивилизовались, мы даже хвалили их успехи, находили в них залоги дальнейшего прогресса; но если то, что казалось нам хорошо, по-вашему было гибельно, то нечего сказать, ведь не бог знает еще сколько этой гибели привилось к ним, не бог знает сколько заразились они ядом цивилизации: в конце III века, в половине IV века они все еще были странами полудикими; масса туземного населения оставалась еще очень невежественна, то есть, по-вашему, свежа. В исторической жизни эта масса не принимала еще ни малейшего участия; образованные классы были все еще малочисленны, да и они только лишь начинали принимать участие в исторической жизни, едва лишь начинали в них пробуждаться первые неопределенные мысли о самостоятельности. Значит, если долгая историческая жизнь не увеличивает, а уменьшает способность страны к прогрессу,— то есть почва, по вашей метафоре, не удобряется,

а истощается растущим на ней лесом, и чем дальше разрастается лес, тем меньше остается свежих соков в земле,— если думать и так, в противность здравому смыслу, то все-таки по вашему же принципу оказывается, что Пиренейский полуостров, Галлия, Британия, Прирейнская немецкая полоса были странами очень свежими, очень способными к прогрессу, в то время как варвары стали истреблять в них рождавшуюся цивилизацию. Посмотрим теперь на Западную Европу. Если цивилизация истощает свежесть народных сил, если участие в исторической жизни уменьшает способность к прогрессу, то действительно ли население Западной Европы очень уже истощено в этих отношениях?

Образованности в Западной Европе очень много. Так; но неужели масса народа и в Германии, и в Англии, и во Франции еще до сих пор не остается погружена в препорядочное невежество? Утешьтесь: она верит в колдунов и ведьм, изобилует бесчисленными суеверными рассказами совершенно еще языческого характера. Неужели этого мало вам, чтобы признать в ней чрезвычайную свежесть сил, которая, по-вашему, соразмерна дикости?

Нынешнее состояние массы в самых передовых странах достаточно ручается, что она до сих пор почти вовсе еще не жила историческою жизнью, а продолжала искони веков дремать младенческим сном, какими дремали ваши любимые молодые страны. А не полагаетесь вы на этот вывод, по-нашему совершенно очевидный, то справьтесь с историею. История прямо вам говорит, что феодальное время было временем исторической жизни исключительно одних только феодалов и рыцарей; сначала под этими настоящими своими именами, потом под именами высшего сословия или аристократии, они одни распоряжались судьбою стран: строили учреждения, какие хотелось им, воевали, судили, управляли и поживали себе, как сами думали, не допуская других сословий ровно ни к чему. Когда же кончился феодальный порядок? Во Франции — в конце прошлого века, значит, еще не очень давно; в Англии — об ней мнения различны: по словам одних, в ней он еще продолжается; по словам других, кончился в 1846 году отменою хлебных законов; иные говорят: еще раньше, в 1832 году, парламентскою реформою, а еще другие говорят, будто еще раньше, в конце или в половине XVII века, при втором или при первом низвержении Стюартов. Возьмем самый далекий срок, все-таки выходит не многим больше 200 лет. В Германии покончилось господство феодализма наполеоновскими завоеваниями и реформами

Штейна в начале нынешнего века; но это лишь в Западной и Северной Германии, а в Южной, в австрийских землях — в 1848 году. До эпох, нами обозначенных, ни в одной из этих трех передовых стран не было в исторической жизни сильного участия не только со стороны массы населения, но и со стороны среднего сословия. Значит, еще некогда было истощиться от продолжительной исторической жизни силам не только массы населения, но и силам среднего сословия. Вы видите, что оно только еще принимается за ведение исторических событий, за устройство общественного порядка по своим надобностям: и в Германии, и в Англии, да и в самой Франции, как видит каждый, еще очень сильны элементы, сохраняющиеся от феодализма: армия и бюрократия.

По мнению порядочных писателей о сельском хозяйстве, чем дольше возделывается земля рациональным образом, тем плодороднее она становится. Вы, насмотревшись, должно быть, одного только залежного хозяйства, по которому через три года земля становится никуда негодна и нивы переносятся на новое место, думаете, что историческая жизнь истощает силы страны. Так вот, если даже и согласиться с вашим понятием, все-таки выходит, что лишь самая ничтожная доля в составе населения каждой передовой страны могла истощить свои силы, а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард народа — среднее сословие, уже действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает действовать; а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности.

Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить.

Но мы видели, что точно так же едва начиналась историческая жизнь и в провинциях Римской империи. Кто нам поручится, что и жизнь Западной Европы не подвергнется такой же катастрофе?

Ручательством за то, что не будет такой катастрофы, служат география, статистика, технология и военное искусство. Отношение цивилизованного мира к варварскому и полуварварскому теперь уже и по пространству земли, и по числу населения не то, какое было в прежние времена. Римская империя имела огромную величину; она равнялась пространством всей нынешней Западной Европе. Но огромнейшая часть ее состояла из земель, только еще начинавших цивилизоваться; уровень просвещения

в них возвышался еще не столько собственными их силами, сколько влиянием Италии и Греции; быть может, довольно скоро — через два, через три века — они приобрели бы силу держаться и самостоятельно; но когда начался натиск варваров, они держались еще только умственным развитием итальянского и греческого племени. Италия, то есть пространство земли величиною в каких-нибудь 5 000 географических миль, и Греция со своими островами и узкою полосою малоазийского прибрежья, то есть пространство в каких-нибудь две или три тысячи географических миль, еще оставались единственными странами, в которых цивилизация достигла такой силы, что образованность их уже существовала и развивалась внутренним могуществом. Таким образом весь тогдашний уже цивилизовавшийся мир ограничивался двумя небольшими землями, которые одни и служили существенно важными частями его, центрами, к которым лишь примыкали остальные громадные пространства, получавшие жизнь из этих центров. Теперь не то; в Западной Европе есть страны, которые в том или другом отношении цивилизованы больше других; но и страна, наименее сделавшая успехов, никак уже не может быть названа полуварварскою. Какая-нибудь Испания, или Померания, или Трансильвания все-таки страны цивилизованные. Нечто подобное положению, в каком были все части Римской империи, кроме Италии и Греции, представляет теперь быт лишь немногих очень небольших уголков Западной Европы — острова Сардинии, отчасти острова Корсики; но и Корсика и Сардиния все-таки несравненно дальше от дикости, чем была в III веке Галлия, не говоря уже о других римских провинциях. Тогдашнее состояние этих провинций можно сравнить с тем, что представляет теперь Ост-Индия или остров Ява, или, ближе к Европе, Алжирия. Цивилизованный элемент страны сосредоточивается преимущественно в пришельцах другого племени; довольно многие туземцы принимают такую же цивилизацию, и число их увеличивается, но все-таки масса туземного простонародья еще остается совершенно варварскою. Если бы цивилизованный мир ныне ограничивался одною Англиею с Ост-Индиею и если бы вообразить, что Англия лежит где-нибудь на краю Ост-Индии, это было бы совершенно сходно с состоянием Римской империи. Разумеется, трудно было бы ручаться, что этот небольшой уголок, примкнутый к огромному пространству полудиких земель и ослабляемый каждым несчастьем еще столь слабой цивилизации в этих землях, может удержаться против наплыва диких орд из всей

Центральной Азии. Таким образом первая разница: широкость и прочность основания, приобретенного новою цивилизациею. Соразмерно тому, как увеличилось пространство цивилизованных земель, уменьшилось пространство земель, откуда может устремиться в них поток варварства. Еще разительнее изменилось отношение по числу населения. Если мы исключим Китай, Японию, Ост-Индию, племена которых, конечно, уже не грозят вторжением в Западную Европу, то весь остальной старый свет уже не имеет столько населения, как Западная Европа. Если считать силу по числу рук, перевес силы уже на стороне Западной Европы. Не так было полторы тысячи лет тому назад, когда существенное сопротивление бесчисленным дикарям ограничивалось лишь населением Италии и Греции. Наконец технология и военное искусство находятся теперь совершенно в ином положении. У варвара и у римского легионера самым сильным оружием был меч, который умеют ковать и в полуварварских странах. Если бы судьба походов решалась и теперь палашами и штыками, успех мог бы еще представляться возможным. Он затруднился с изобретением пороха, с появлением ружей и пушек. Но пока оставались старинные ружья, старинные пушки слишком топорной работы, какой-нибудь Дост Могаммед афганский мог устраивать у себя оружейные и литейные заводы не хуже европейских. Теперь не то. Когда возмутилась бенгальская армия, англичане, разумеется, были очень поражены неожиданною перспективою растрат, усилий, каких стоить будет им борьба, но в заключение очень основательно прибавляли: «мы снабдили этих сипаев превосходнейшим вооружением, но чинить своих ружей они не могут, делать патронов для них не могут; когда они расстреляют захваченные ими в наших арсеналах патроны, они останутся почти безоружны против нас, потому что теми ружьями, какие они могут и чинить, теми патронами, какие они могут делать, сражаться им с нами нельзя»[16].

АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО

Печатая записку П. Я. Чаадаева, благосклонно сообщенную нам одним из его родственников[1], мы должны сделать несколько замечаний о ее характере и образе мыслей человека, получившего такую почтенную известность одним письмом, напечатанным лет 25 тому назад. «Апология», печатаемая нами теперь, содержит в себе объяснение этого письма, помещенного в «Телескопе» за 1836 год[2]. Но сам «Телескоп» составляет ныне библиографическую редкость; между нынешней публикой далеко не всем удавалось прочесть статью Чаадаева, о которой так много слышал каждый. Потому полагаем, что не довольно было бы нам представить только наше мнение о направлении его знаменитого письма и что почти все читатели будут нам благодарны, если мы дадим им возможность ближе познакомиться с письмом, приведя из него отрывки.

Из некролога, помещенного г. Лонгиновым в «Современнике» 1856 года (№ 7. Смесь, стр. 5), мы знаем, что Чаадаев родился в 1793 году. Служа офицером в лейб-гусарском полку, который стоял тогда в Царском Селе, он в 1815 году познакомился с Пушкиным, на которого имел сильное влияние и которому в деле удаления его из Петербурга, в мае 1820 года, оказал важную услугу[3]. Пушкин до конца жизни оставался его другом. Все другие благородные люди, встречавшиеся с Чаадаевым, уважали его за характер, ум и замечательную образованность. Много лет он прожил за границею, занимаясь между прочим философиею, и по возвращении на родину, в 1826 году, поселился в Москве, где до самой своей смерти (13 апреля 1856 г.) «служил, по выражению Лонгинова, посредником между людьми различных направлений. К нему съезжались, по понедельникам, почти все мыслящие люди. Искусство сближать людей и красноречивая беседа хозяина привлекали туда всякого, кто хотя однажды посетил его».

Человек большого ума и обширных сведений, Чаадаев набрасывал иногда на бумагу мысли, его занимавшие. Но он никогда не хотел быть писателем. Ряд размышлений, из которых первое было напечатано в «Телескопе», вовсе не предназначался для печати; эти размышления были написаны по поводу разговоров Чаадаева с одной из знакомых ему дам и собственно только для нее[4]. Потому, имея форму писем, они касаются личного положения и личных качеств дамы, к которой были адресованы, с такою же подробностью, как и общих научных вопросов. При своем сильном таланте, Чаадаев, конечно, понял бы совершенную излишность этих личных объяснений в своих письмах, если бы когда-нибудь предназначал их для публики; если бы он сам хотел их печатать, он наверное вычеркнул бы из своего первого письма многие страницы, как решительно не интересные для публики. Но письмо попало в журнал чисто случайным образом. Один из друзей Белинского (Станкевич, как мы слышали) прочел письма, данные ему частным образом, заинтересовал ими Белинского, который тогда был главным сотрудником «Телескопа». Письма были на французском языке. Чаадаева стали просить, чтобы он позволил перевести их на русский и поместить перевод в «Телескопе». Он согласился. Нам кажется, что он даже не просматривал печатаемого перевода: мы так судим потому, что есть в переводе выражения, не совсем удачно отгадывающие мысли подлинника; без сомнения, Чаадаев поправил бы ошибки, если бы просматривал перевод. Было напечатано только одно письмо. Мы слышали, что было уже приготовлено к изданию второе, но что книжка «Телескопа», в которой оно было помещено, не вышла в свет по случаю прекращения журнала. Не знаем, верен ли этот рассказ; мы передаем, что слышали, и просим исправить неточности, если они есть в наших словах.

Первое письмо Чаадаева, бывшее причиной прекращения «Телескопа» и удаления из Москвы издателя журнала, произвело, как все рассказывают, потрясающее впечатление на тогдашнюю публику. Оно поразило всех страшным отчаянием, которое, как тогда казалось, господствует в нем. Нынешняя публика, более привыкшая к мыслям широким и неприкрашенным, едва ли почувствует такое впечатление от чтения письма. Мы в каждой книжке каждого журнала читаем ныне вещи столь же горькие, можем находить их основательными или неосновательными, но никому из нас не кажется, чтобы они дышали безнадежностью и внушались отчаянием. Содержа-

ние письма очень просто. Чаадаев говорит, что мы не участвовали в жизни Западной Европы, потому не вошли в нашу жизнь те понятия и обычаи, на которых зиждется нынешняя европейская цивилизация. Нам нужно еще учиться всему тому, что с первых лет детства входит в жизнь западного человека. Учиться трудно и времени на это нужно много, потому людей истинно цивилизованных в нашем обществе еще мало, а господствует в нем беспорядица понятий и обычаев. Даже те немногие, которые сами по себе могут назваться цивилизованными людьми, не ведут той жизни, не имеют тех интересов, не делают тех дел, каких следовало бы ожидать от цивилизованного человека и которые составляют их собственную внутреннюю потребность. В Западной Европе этой разладицы, шаткости и скуки нет, потому что там развитое и установившееся общество поддерживает человека, дает ему средства для жизни, приличной его внутреннему развитию. У нас в обществе вы не находите никакой опоры, а видите только хаос, сбивающий вас с толку, увлекающий вас в пошлость или наводящий на вас уныние. Из этого следует, что нам надобно как можно усерднее стараться об устроении тех великих идей, которые руководят истинно цивилизованными народами и которые до сих пор еще так слабо привились.

Вот сущность мыслей, находящихся в напечатанном письме Чаадаева. Читатель согласится, что теперь в них нет ровно ничего особенно страшного. Если хотите, они и в 1836 году являлись в печати уже не в первый раз. Не говоря о других книгах и журналах, в самом «Телескопе», с самого начала, то есть около шести лет, Надеждин говорил почти то же самое, и более двух лет почти то же самое говорил Белинский. Разница была разве в том, что они высказывали такой взгляд на русскую жизнь в статьях о каких-нибудь частных предметах, а письмо Чаадаева собственно только и занималось изложением дела в его самом общем виде.

Несколько странно представляется после этого, что именно письмо Чаадаева наделало такого шума, хотя не говорило ничего неслыханного для читателей «Телескопа». Конечно, автор был человек даровитый и мысли свои излагал энергическим языком; но Надеждин и Белинский писали не хуже, если не лучше его,— за что же обратилось особенное внимание не на какую-нибудь из их статей, а на письмо Чаадаева? Очень большую роль надобно тут, как и во всех подобных вещах, приписать просто случаю. Скажите, например, за что почтенные дамы и господа на-

зывали ужасно безнравственным произведением «Евгения Онегина» и запрещали своим дочерям читать его, а вовсе не гневались на «Руслана и Людмилу», хотя в этой милой сказке соблазнительные картины гораздо ярче, чем в «Евгении Онегине»? Видно, что на роду написано человеку, книге или статье, то и будет с ними: все равно, заслуживали или не заслуживали они своей судьбы.

Но есть в письме Чаадаева особенность, которая, вероятно, способствовала этой статье возбудить особенный эффект, столь почетный и столь вредный. Человеку, не знающему наших обстоятельств, показалось бы, что эта особенность должна служить ограждением и рекомендациею для его письма во мнении тех, которые остались недовольны. Чаадаев был человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия. Каждому известно, что в IX веке западная церковь отделилась от восточной, а мы приняли христианство уже в X веке, то есть по разделении церквей[5]. Известно также, что до начала XVI века вся Западная Европа была связана единством исповеданий. Чаадаев с особенным вниманием занимался этою стороною вопроса о причинах долговременной нашей отдельности от Западной Европы. Он говорил, что Западную Европу составляли страны католические, страны чуждого нам исповедания, и бо̀льшая половина его письма наполнена восторженными похвалами высокому значению христианства и сожалениями о том, что мы, русские, только называем себя христианами, а теплого христианского чувства в нас мало. Сообразно своему религиозному настроению духа, он говорил, что нам следует быть религиознее, что только благочестие сделает нас и просвещенными, и счастливыми. Но, делая благочестивые размышления главным содержанием своей беседы, Чаадаев принимал на себя звание проповедника, то есть звание, не принадлежащее светскому человеку; он произвольно присвоивал себе должность, на которую не имел права, и такое самовольство, хотя до некоторой степени извиняемое усердием, конечно, не могло быть допущено в благоустроенном обществе. Проповедником должен быть только тот, кто определен проповедником, а светский человек, не имеющий этого священного сана, не может, при всей своей надобности, говорить о священных предметах требуемым образом. Как бы ни были набожны его мысли, как бы ни были благочестивы его намерения, он неизбежно впадет в ошибки и станет вовлекать других в заблуждение, если дерзнет излагать вероучение. Чаадаев не сообразил этих правил, и их забвение, вероятно, содей-

ствовало произведению результата, который иначе был бы несколько загадочнее.

Мы не имеем ни малейшей охоты присвоивать себе звание, нам не принадлежащее, и потому при изложении письма Чаадаева не будем говорить о страницах, посвященных собственно религиозным размышлениям. Мы обратим внимание только на общественную и историческую стороны этого интересного произведения; — мы ограничиваем наш обзор этою частью его идей тем охотнее, что в ней собственно и заключается сущность взгляда, а религиозность составляет единственно облачение его.

Перевод статьи Чаадаева напечатан под заглавием «Философические письма к г-же * * *. Письмо первое». Начинается оно деликатными похвалами душевным качествам дамы, к которой адресовано, и переходит к объяснению причин, по которым она, при всех своих нравственных достоинствах, чувствует внутреннее недовольство собою и жизнью,— это зависит от состояния нашего общества, разумная жизнь которого еще очень бедна и шатка.

В жизни есть сторона совершенно невещественная, относящаяся собственно к разумной стихии нашего бытия: этой стороной никак не должно пренебрегать. Для души есть диэтическое содержание, точно так же как и для тела; уменье подчинять ее этому содержанию необходимо. Знаю, что повторяю старую поговорку: но в нашем отечестве она имеет все достоинства новости. Это одна из самых жалких странностей нашего общественного образования, что истины, давно известные в других странах и даже у народов, во многих отношениях менее нас образованных, у нас только что открываются. И это оттого что мы никогда не шли вместе с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий, ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас. Эта дивная связь человеческих идей в течение веков, эта история человеческого разумения, доведшие его в других странах мира до настоящего положения, не имели на нас никакого влияния. То, что у других народов давно вошло в жизнь, для нас до сих пор есть только умствование, теория.

Вы можете замечать это на самой себе, продолжает Чаадаев: вам нечем наполнить вашу жизнь; да и все наше общество таково же, нет в нем ничего установившегося, выработанного; это происходит от нашей истории.

Для всех народов бывает период сильной, страстной, бессознательной деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом. Это время великих страстей, великих ощущений. Народы движутся в то время сильно, без видимой причины; но не без пользы для будущих поколений. Все общества проходили через этот период. Он даровал им их важнейшие воспоминания, их чудесное, их поэзию, все их высшие и плодотворнейшие идеи. Он необходим для жизни общества. Без него что сохранилось бы

в памяти народов, к чему могли бы они привязаться, пристраститься; без него они дорожили бы только прахом родной земли. Эта чрезвычайно занимательная эпоха в истории народов есть время их юности; время, когда способности их развиваются с наибольшею силою, время, воспоминание о котором, в возрасте возмужалом, служит им наслаждением и уроком. Мы не имеем ничего подобного. В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жесткое, унизительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и доныне. Вот горестная история нашей юности. Мы совсем не имели возраста этой безмерной деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа. Эпоха нашей общественной жизни, соответствующая этому возрасту, наполняется существованием темным, бесцветным, без силы, без энергии. Нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных наставительных примеров в народных преданиях. Пробегите взором все века, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминания, которое бы вас остановило, ни одного памятника, который бы высказал нам протекшее живо, сильно, картинно. Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего. Если ж иногда и принимаем в чем участие, то не от желания, не с целию достигнуть истинного, существенно нужного и приличного нам блага; а по детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает руки к гремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни смысла ее, ни употребления.

Истинное общественное развитие не начиналось еще для народа, если жизнь его не сделалась правильнее, легче, удобнее неопределенной жизни первых годов его существования. Как может процветать общество, которое, даже в отношении к предметам ежедневности, колеблется еще без убеждений, без правил; общество, в котором жизнь еще не составилась? Мир нравственный находится здесь в хаотическом брожении, подобном переворотам, которые предшествовали настоящему состоянию планеты. И мы находимся еще в этом положении.

Первые годы нашего существования, проведенные в неподвижном невежестве, не оставили никакого следа на умах наших. Мы не имеем ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль. Разобщенные какою-то странною судьбою от всемирной жизни человечества, мы ничего не извлекли даже из идей, которые сообщаются человечеству преданиями. А на этих-то идеях основывается частная жизнь народов; из них развивается их будущность, их нравственное образование. Чтоб сравниться с прочими образованными народами, нам необходимо переначать для себя снова все воспитание человеческого рода. Для этого перед нами история народов и плоды движения веков. Конечно, велик этот труд, и может быть одно поколение людей не в состоянии совершить его; но прежде всего необходимо узнать: в чем дело, что это за воспитание человеческого рода и какое место занимаем мы в общем порядке мира?

Народы живут только мощными впечатлениями времен прошедших на умы их и соприкосновением с другими народами. Таким образом каждый человек чувствует свое соотношение с целым человечеством. «Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о предшествовавшем не соединяет настоящего с прошедшим?» Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего. Каждый из нас должен сам связывать разорванную нить семейности, которой мы соединялись с целым человечеством. Нам должно молотами вбивать в голову то, что у других сделалось привычкою, инстинктом. Наши воспоминания не далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас безвозвратно. Все это есть следствие

образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, самобытного, совершенствования логического. Старые идеи уничтожаются новыми, потому что последние не истекают из первых, а западают к нам бог знает откуда; наши умы не браздятся неизгладимыми следами последовательного движения идей, которое составляет их силу, потому что мы заимствуем идеи уже развитые. Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели. Мы подобны детям, которых не заставляли рассуждать; возмужав, они не имеют ничего собственного; все их знания во внешности их существования; во внешности вся душа их.

Народы существа нравственные, точно так же как и люди. Они образуются веками, как люди годами. Но мы, почти можно сказать, народ исключительный. Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со временем преподать какой-нибудь великий урок миру. Нет никакого сомнения, что это предназначение принесет свою пользу: но кто знает, когда это будет?

Народы Европы имеют одну общую физиономию, какой-то отблеск односемейности. Несмотря на разделение их на ветви латинскую и тевтоническую, на южную и северную, между ними есть связь общая, которая соединяет их, связь видимая для всякого, кто углубляется в их общую историю. Давно ли вся Европа называлась «христианством» и это название имело место в ее публичном праве? Но кроме этого общего характера, каждый из них имеет еще свой особенный, придаваемый ему историей и преданиями. И то и другое составляет родовое наследие идей этих народов. Каждое частное лицо пользуется плодами этого наследия; без утомления, без труда, собирает на жизненном пути сведения, рассеянные в обществе, и употребляет их в свою пользу. Теперь сравните сами: много ли соберете вы у нас начальных идей, которые каким бы то ни было образом, могли бы руководствовать нас в жизни? Заметьте, что здесь дело не об учении, не о литературе или науке; но просто о соприкосновении умов, об тех идеях, которые овладевают ребенком еще в колыбели, которые окружают его в играх, которые мать вдыхает в него своими ласками, которые в виде различных чувствований проникают в его существо вместе с воздухом, которым он дышит, и образуют его нравственное бытие еще до вступления в мир и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Они развиваются из происшествий, содействовавших образованию общества; они необходимые начала мира общественного. Вот что составляет атмосферу Запада; это более чем история, более чем психология: это физиология европейца. Чем вы замените все это?

Не знаю, можно ли вывести из сказанного что-нибудь совершенно безусловное и основать на нем непременное правило; но очевидно, какое сильное влияние на дух каждого отдельного лица должно иметь это странное положение народа, по которому он не может остановить своей мысли ни на одном ряде идей, развивавшихся в обществе постепенно одна из другой, по которому он принимал участие в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям. От этого вы найдете, что всем нам недостает некоторого рода основательности, методы, логики. Силлогизм Запада нам неизвестен. В наших лучших головах есть что-то большее, чем неосновательность. Лучшие идеи от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средств притти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что последует; он лишается всякой уверенности, всякой твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во

всех странах; но у нас эта черта общая. Это не та легкомысленность, которою некогда упрекали французов, которая, не отрицая глубины, ни многообъемности ума, зависела только от способности понимать все с чрезвычайною легкостию, что придавало обращению более прелести и любезности: нет! это ветреность жизни без опыта и предвидения; жизни, которая ограничивается эфемерным существованием неделимого, оторванного от своей породы; жизни, которая не заботится ни о славе, ни о распространении каких-либо общих идей или выгод, ни даже о тех семейных, наследственных интересах, о том множестве притязаний и надежд, освященных давностью, которые в обществе, основанном на памяти прошедшего и на понятии будущего, составляют жизнь общественную и жизнь частную. В наших головах решительно нет ничего общего; все в них частно и к тому еще неверно, неполно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономиею народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы. Находясь в других странах и в особенности южных, где лица так одушевлены, так говорящи, я сравнивал не раз моих соотечественников с туземцами, и всегда поражала меня эта немота наших лиц.

Чужестранцы ставили нам в достоинство некоторого рода беспечную отважность, которую встречали особенно в низших классах. Но по нескольким отдельным проявлениям народного характера они не могли верно судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, которое иногда придает нам эту смелость, делает нас в то же время неспособными ни к глубокомыслию, ни к постоянству; они не видят, что это равнодушие к материальным опасностям делает нас также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко всякой истине, ко всякой лжи, и что тем самым уничтожает в нас все сильные возбуждения, которые стремят людей по пути совершенствования; они не видят, что, по милости этой-то беспечной отваги, у нас и в высших классах, к прискорбию, существуют пороки, которые в других странах принадлежат только низшим; не замечают, что, имея некоторые из добродетелей народов юных, еще необразованных, мы лишены всех достоинств народов зрелых, наслаждающихся высшим просвещением. Я совсем не хочу сказать, что у нас только пороки, а добродетели у европейцев; избави боже! Но я говорю, что для верного суждения о народах надобно изучить общий дух, их животворящий; ибо не та или другая черта их характерна, а только этот дух может довести их до совершеннейшего нравственного состояния, до развития бесконечного.

Массы находятся под влиянием особенного рода сил, развивающихся в избранных членах общества. Массы сами не думают; посреди их есть мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное разумение нации и заставляют ее двигаться вперед. Между тем как небольшое число мыслит, остальное чувствует, и общее движение проявляется. Это истинно в отношении всех народов, исключая некоторые поколения, у которых человеческого осталось только одно лицо. Первоначальные народы Европы, цельты, скандинавы, германцы имели друидов, скальдов, бардов; это были сильные мыслители, разумеется, в своем роде. Посмотрите на народы Северной Америки, истреблением которых так ревностно занимается материальное просвещение Соединенных Штатов: между ними есть люди дивного глубокомыслия. Теперь спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители! Когда и кто думал за нас, кто думает в настоящее время?

По нашему местному положению между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы соединять в себе два великие начала разумения: воображение и рассудок; должны бы совмещать в нашем гражданственном образовании историю всего мира. Но не таково предназначение, павшее на нашу долю. Опыт

веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него; не прибщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разумения, и исказили все, что сообщило нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло посреди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь.

Странное дело! Даже в мире наук, который обнимает все, наша история разобщена от всего, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Если б орды варваров, возмутивших мир, не прошли, прежде нежели наводнили Запад, страны, нами обитаемой, мы не доставили бы и одной главы для всемирной истории. Чтоб обратить на себя внимание, мы должны были распространиться от Берингова пролива до Одера. Некогда великий царь хотел нас образовать и, чтоб заохотить к просвещению, бросил нам мантию цивилизации; мы подняли мантию, но не коснулись просвещения. В другой раз другой великий государь приобщил нас своему великому посланию, проведши победителями с одного края Европы на другой; мы прошли просвещеннейшие страны света и что же принесли домой? Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще на полстолетие. Не знаю, в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствование. Повторю еще: мы жили, мы живем, как великий урок для отдаленных потомств, которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени, что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумения. Для меня нет ничего удивительнее этой пустоты и разобщенности нашего существования. Конечно, в этом виновата отчасти какая-то непостижимая судьба; но не правы и люди, которых содействие во всем, что совершается в нравственном мире, неизбежно. Заглянем еще раз в историю; она объясняет бытие народов лучше всего.

Что делали мы в то время, как из жестокой борьбы варварства северных народов с высокою мыслию религии возникало величественное здание нового образования? Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной презираемой всеми народами Византии. Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства: и мы приняли от нее идею, искаженную человеческою страстию. В это время животворящее начало единства одушевляло всю Европу. Все истекало там из этого начала; все сосредоточивалось; всякое умственное движение сплилось объединить человеческую мысль; всякое побуждение проявлялось могучею потребностью отыскать одну всемирную идею; это самое и составляет дух новейших времен. Чуждые этому дивному началу, мы сделались добычею завоевателей. Свергнув иго чужеземное, мы могли бы воспользоваться идеями, которые развились между тем у наших западных братий, но мы были оторваны от общего семейства.

Сколько светлых лучей прорезало в это время мрак, покрывавший всю Европу! Бо́льшая часть познаний, которыми ум человеческий теперь гордится, были уже предчувствуемы тогдашними умами; характер новейшего общества был уже определен; миру христианскому недоставало только форм прекрасного, и он отыскал их, обратив взоры на древности язычества. Уединившись в своих пустынях, мы не видали ничего происходившего в Европе. Мы не вмешивались в великое дело мира. Мы остались чужды высоким доблестям, которыми религия озарила новейшие поколения и которые в глазах здравого смысла возвышают их над древ-

ними народами, так же как эти последние возвышаются над готтентотами и лапландцами. В нас не развились эти новые силы, которыми она обогатила человеческое разумение, эта кротость нравов, потерявших свое первобытное зверство от покорности власти безоружной. Несмотря на название христиан, мы не тронулись с места, тогда как западное христианство величественно шло по пути, начертанному его божественным основателем. Мир пересоздался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и глины. Коротко, не для нас совершались новые судьбы человечества; не для нас, христиан, зрели плоды христианства.

Далее автор развивает мысль о благотворных плодах христианства и продолжает:

Но вы вообразите: разве мы не христиане, разве образование возможно только по образцу европейскому? Без сомнения, мы христиане; но разве абиссинцы не христиане же? Разумеется, можно образоваться отлично от Европы; разве японцы не образованы и, если верить одному из наших соотечественников, даже более нас? Но неужели вы думаете, что христианство абиссинцев и образованность японцев могут воссоздать тот порядок, о котором я говорил сию минуту, порядок, который составляет конечное предназначение человечества? Неужели вы думаете, что эти жалкие отклонения от божественных и человеческих истин низведут небо на землю?

Мы выписали почти половину статьи. Ее окончание посвящено почти исключительно развитию размышлений благочестивого направления, вытекающих из страниц, представленных нами читателю. Имени автора под статьею не выставлено; зато любопытно обозначение местности, в которой она написана:

Некрополис,
1829, декабря 1.

«Некрополис» — «город мертвых»: автор живет как бы среди мертвых людей. В находящемся у нас экземпляре на белой нижней половине последней страницы сделаны карандашом замечания о Чаадаеве, показывающие знакомство человека, их делавшего, с московскими отношениями Чаадаева; этот неизвестный нам комментатор приписал цифру 4 после 1, означающее число месяца, — он хотел показать, что в рукописи автора было выставлено 14. Если действительно так, это как бы посвящение статьи памяти об отношениях, внушивших Пушкину стихотворение «Арион»[6].

Читателю известно, что напечатание перевода письма Чаадаева имело своим последствием составление акта о сумасшествии автора. Записка, которую теперь мы печатаем, имеет заглавие Apologie d'un fou — «Апология сумасшедшего», выставленное на нашей. Записка эта на французском языке, подобно самому письму, результаты

которого были причиною ее составления. Мы печатаем ее в переводе, который был доставлен нам вместе с подлинником; мы исправили язык перевода, очень верного и близкого к подлиннику. «Апология сумасшедшего» по нашему списку произведение не доконченное: Чаадаев, как видно, вздумал было написать ряд записок в свое оправдание и вполне написал первую из них, которая представляется, как увидит читатель, цельным и законченным сочинением. Но в доставленном к нам списке над этою запискою поставлена под общим заглавием Apologie d'un fou цифра 1, а по ее окончании следует цифра 2 и потом несколько строк, составляющих всего один период, которым должна была начинаться вторая записка или глава. Вот перевод этих строк:

«Есть факт, верховно владычествующий над нашим развитием в ряду веков, проходящий через всю нашу историю, совмещающий в себе, так сказать, всю ее философию, проявляющийся во все эпохи нашей общественной жизни и определяющий характер их, служащих существенным элементом нашего политического величия и с тем вместе причиною нашего умственного бессилия; этот факт — географическое положение».

Оставляя эти строки, будем говорить о первой записке или главе. Заглавие показывает цель, с которою она составлена: Чаадаев хочет оправдать свое письмо, за которое признан был сумасшедшим. Для кого именно составлена записка, в ней самой нет прямых указаний; видно только, что Чаадаев обращается к целому кружку или классу людей из числа лиц, негодовавших на его напечатанное письмо; видно также, что от мнения этих лиц более или менее зависела его судьба. На доставленном к нам списке выставлен 1836 год — тот самый, когда постиг его случай, бывший причиною составления записки. Время и цель составления записки отразились на некоторых местах ее; мы выпускаем из нашего перевода эти места, которые не могут считаться достоверным выражением мнений автора, имея внешнее назначение: просим читателя верить, что мы не поступили неуважительно к автору или легкомысленно, когда выпустили из перевода эти места, которые могут быть разъяснены в должном свете только в биографии Чаадаева. Свойство комментариев, которыми сопровождаем мы печатаемую нами записку, может достаточно свидетельствовать, что мы не могли руководиться никакими соображениями, кроме того уважения, какого достойно имя Чаадаева. Мы обозначаем точками места пропусков.

После общего заглавия Apologie d'un fou следует общий эпиграф, взятый из Кольриджа:

O my brethern! I have told most bitter truth, but without bitternes («О, братья мои! Горчайшую истину сказал я, но без горечи»)[7]

За этим следует цифра 1, и начинается самая записка. Первые строки ее имеют вид христианских размышлений о терпении; переходя к людям, негодующим на него, автор говорит, что гнев их проистекал из оскорбленной их любви к отечеству: но, замечает он,

характер любви к отечеству бывает различен,— самоед, например, который любит родные снега, сделавшие его близоруким, задымленную юрту, в которой он скорчась лежит половину своих дней, протухлое сало своих оленей, заражающее зловонием его атмосферу, наверное, конечно, любит свое отечество иначе, нежели гражданин Англии, гордящийся учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова, и было бы дурно, если бы мы, например, все еще любили нашу родину по самоедскому способу.

Любовь к отечеству — прекрасное дело, но есть еще гораздо лучшее — любовь к истине. Любовь к отечеству создает героев, любовь к истине создает мудрых людей, благодетелей человечества. Любовь к отечеству разделяет народы, порождает национальную вражду, часто покрывает землю трауром; любовь к истине распространяет просвещение, создает умственные наслаждения, приближает людей к божеству. Но мы, русские, всегда мало заботились о том, что́ истинно, что́ ложно... Хладнокровно, без всякого раздражения, хочу отдать себе отчет в моем странном положении. Скажите, не должен ли я в самом деле постараться разъяснить, в каком отношении находится к своим ближним, к своим согражданам, к своему богу человек, объявленный сумасшедшим?..

Вот уже триста лет Россия стремится к слиянию с Западом Европы, берет от него свои серьезнейшие идеи, свои плодотворнейшие знания, свои самые живейшие наслаждения. Вот уже более века она не ограничивается этим. Величайший из наших государей, который, как говорят, начал для нас новую эру, которому, как говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, которыми ныне владеем, отрекся сто пятьдесят лет тому назад от старой России, перед лицом старого мира. Своим всемогущим дуновением он смел все наши учреждения, вырыл бездну между нашим прошедшим и нашим настоящим и бросил в нее все без разбора наши предания. Сам он поехал в западные страны стать малейшим в них и возвратился величайшим из нас; преклонился перед Западом и восстал нашим владыкою и законодателем. В наш язык он ввел языки Запада; свою новую столицу он назвал западным именем; свой наследственный титул он отверг и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои самодержавные постановления западным именем. С тех пор постоянно смотря на западные страны, мы, так сказать, только вдыхали в себя приносившиеся к нам оттуда дуновения и питались ими. Наши государи наложили на нас нравы, язык, одежду Запада. Называть вещи их именами мы выучились по западным книгам; нашей собственной истории стала учить нас одна из западных стран; мы перевели целиком литературу Запада, затвердили ее наизусть; мы нарядились в его обноски и считали счастием своим походить на Запад и славою себе, когда он благоволил причислять нас к своим людям.

Надобно сознаться, прекрасно было это создание Петра Великого, эта могущественная мысль, охватившая нас и устремившая нас в тот путь, по которому нам суждено было проходить с таким блеском; глубокомысленно было слово, сказанное нам: «видите вы эту цивилизацию, плод стольких трудов, эти науки, искусства, стоившие стольких усилий стольким поколениям? — все это будет вашим, если вы отречетесь от ваших суеверий, отвергнете ваши предрассудки, не станете жалеть вашего варварского прошедшего, не станете хвалиться веками вашего невежества, поставите вашему честолюбию одну цель — усвоить себе труды всех народов, богатства, приобретенные человеческим разумом во всех поясах земного шара». И не для одного своего народа трудился этот великий человек. Избранники провидения всегда посылаются для целого человечества. Сначала их называет своими один народ, потом сливаются они с целым человеческим родом, как те великие реки, которые, оплодотворив обширные страны, несут дань своих вод океану. Зрелище, представленное им вселенной, когда, покидая царское величие и свою страну, он скрылся в последних рядах цивилизованных народов, было новым усилием человеческого гения выйти из узких границ отчизны, чтобы водвориться в великой сфере человечества. Таков был урок, который мы должны были от него принять; мы им, действительно, воспользовались и до сих пор шли по пути, указанному нам великим императором. Наше громадное развитие только исполнение этой величественной программы. Никогда не было народа менее напыщенного собой, чем русский народ, созданный Петром Великим, и никогда никакой народ не приобретал более славных успехов на пути прогресса. Высокий ум этого необыкновенного человека в совершенстве угадал, какова должна была быть наша точка отправления при вступлении на путь цивилизации и всемирного умственного движения. Он видел, что мы почти совершенно лишены исторических данных и потому не можем основать нашей будущности на их слабом фундаменте; он понял, что нам, имеющим перед собой вековую цивилизацию Европы, служащую последним выражением всех прежних цивилизаций, не для чего оставаться в душной атмосфере своей истории, не для чего влачиться, подобно народам Запада, через хаос народных предрассудков, по узким тропам местных идей, по избитой колее туземного предания: что нам надобно самобытным взмахом наших внутренних сил, энергическим усилием национального сознания приобресть судьбу, ожидавшую нас. Потому он освободил нас от связанности предшествовавшими событиями, которые опутывали общества, имевшие историческую жизнь и замедляли их движение; он раскрыл наш ум для всех существующих между людьми великих и прекрасных идей; он дал нам весь Запад, созданный веками, сделал нашею историею всю его историю, нашею будущностью всю его будущность.

Если бы в своем народе нашел он богатую и плодотворную историю, живые предания, глубоко вкоренившиеся учреждения, разве он решился бы передвинуть этот народ в мир для него новый? Если бы он имел дело с народностью сильно обрисованной, резко определившейся, разве инстинкт его творческого духа не направил бы его к тому, чтобы в самой этой народности искать средств для обновления своей родины? И разве сама она допустила бы отнять у ней ее прошедшее, придать ей, так сказать, прошедшее Европы? Но Петр Великий под своею сильною рукою нашел белую бумагу и начертал на ней слова: «Европа» и «Запад»: с той поры мы стали принадлежать Европе и Западу. Да, бесспорно, каков бы ни был гений этого человека и какова бы ни была гигантская энергия его воли, его дело было возможным только в таком народе, у которого [не было] выработанного исторического направления, строго определяющего дальнейший путь его,— в народе, предания которого не имели силы создать ему будущности, воспоминания которого могли быть безнаказанно

изглажены смелым законодателем. Мы были так покорны голосу государя, призывавшего нас к новой жизни, потому, что в нашем прежнем существовании не имели ничего такого, чем бы могли оправдать сопротивление. Самая глубокая черта нашей исторической физиономии — отсутствие самобытности в развитии нашего общества. Всмотритесь, и вы увидите, что каждый важный факт в нашей истории — факт, наложенный на нас, каждая новая идея — почти всегда идея, внесенная к нам. Но в таком воззрении на нас нет ничего щекотливого для национального чувства. Если этот взгляд верен, с ним следует согласиться, и только. Есть великие народы, как есть великие исторические личности, которых нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые, однакоже, созданы таинством верховной логики провидения. Таковы мы, но, повторяю, до национальной чести это вовсе не касается.

История народа не только ряд фактов, следующих друг за другом, но и ряд идей, вытекающих одна из другой. Факт должен выражаться идеею — идея, принцип должны проходить через события и стремиться к осуществлению. Тогда факт не пропадет: он озарил умы, он остался запечатленным в сердцах, и никакая власть в мире не может изгнать его из них. Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк, являясь, находит ее уже готовою и рассказывает ее; но появись он или нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы темен и ничтожен он ни был, носит ее в глубине своего существа. Вот этой-то истории у нас нет. Надобно нам приучиться обходиться без нее, а не побивать каменьями людей, которые первые заметили это.

Наши фанатические славянофилы, в своих раскопках, могут от времени до времени выкапывать любопытные предметы для наших музеев, для наших библиотек, но, кажется, дозволительно сомневаться, чтобы они когда-нибудь успели извлечь из нашей исторической почвы, чем бы наполнить пустоту наших душ, остановить шаткость наших умов. Посмотрите на Европу средних веков: нет события, которое не было бы, так сказать, абсолютно необходимым, которое не оставило бы глубоких следов в сердце человечества. Отчего ж это? Оттого, что в основе каждого события вы находите идею; потому, что история средних веков — история мысли новых времен, стремящаяся воплотиться в искусстве, в науке, в жизни человека, в обществе. Зато сколько следов эта история отпечатлела в умах, как она распахала почву, на которой действует дух человека! Я знаю, что не всякая история имеет такой строго логический ход, как история этой изумительной эпохи, в которой выработалось христианское общество под владычеством верховного принципа; но таков истинный характер развития отдельных народов или целой семьи народов, и нации, лишенные такого прошедшего, должны, принимая свою судьбу, искать не в своей истории, не в своей памяти, а в других источниках элементов своего дальнейшего прогресса. О жизни народов можно сказать то же, что о жизни индивидуумов. Все люди жили, но только человек гениальный или человек, поставленный в известные особенные условия, имеет настоящую историю. Если, например, народ по стечению обстоятельств, не им созданных, вследствие географического положения, не им избранного, расселится по стране громадного размера, не сознавая сам что делает, и если вдруг он увидит себя могущественным народом, это, конечно, будет удивительным феноменом, и дивиться ему можно сколько угодно, но что же может сказать о нем история? В сущности это просто факт чисто материальный, факт, так сказать, географический, факт бесспорно огромных пропорций,— но и только. История его примет, занесет в свои летописи, потом закроет их для него, и все будет кончено. Истинная история этого народа начнется только с того дня, когда он проникнется вверенной ему идеей, той идеей, к осуществлению которой он призван, и когда он станет осуществлять ее с тем скрытым, но упорным инстинк-

том, который приводит народы к исполнению их судеб. Вот минута, которую я призываю для моей родины всеми силами моего сердца, вот труд, за которым я хотел бы видеть вас, мои любезные друзья и сограждане, живущие в век высокого просвещения и так хорошо доказавшие мне, как жарко пламенеете вы святою любовью к отечеству.

Мир всегда был разделен на две части, на Восток и Запад. Это не одно только географическое деление, это также порядок вещей, вытекающий из самой природы разумного существа; это два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие всю экономию человеческого рода. Человеческий дух организовался на Востоке, сосредоточиваясь, самоуглубляясь и замыкаясь в себе; расширяясь на внешний мир во всех направлениях, борясь со всеми препятствиями, развился он на Западе. Общество естественно сформировалось по этим коренным данным. На Востоке мысль, ушедшая в самое себя, ищущая безопасности в бездействии, скрывшаяся в пустыне, оставила гражданскую власть обладательницей всех земных благ; на Западе мысль, раскидываясь повсюду, обнимая все нужды человека, стремясь ко всем благам, основала власть на принципе права. Но в той и другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; в той и другой человеческий ум был обилен высокими вдохновениями, глубокими мыслями, возвышенными созданиями. Первым явился Восток и пролил на землю потоки света из лона своего одинокого мышления; потом явился Запад с своей неутомимою деятельностью, своим живым словом, своим всемогущим анализом овладел его трудами, закончил начатое Востоком и охватил его, наконец, своими широкими объятиями. Но на Востоке умы покорны; коленопреклонясь перед авторитетом времен, истощились соблюдением безусловной покорности чтимому принципу и, наконец, заснули, скованные своим неподвижным синтезом, не подозревая новых судеб, которые для них готовились; а на Западе между тем они продолжали итти, гордые и свободные, преклоняясь только перед авторитетами разума и неба, останавливаясь только перед неизвестным и вечно устремляя взоры на безграничную будущность. Они и теперь продолжают итти, как вы знаете, и вы знаете также, что с Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними.

Но вот является новая школа. Ей не нужен Запад, она хочет разрушить дело Петра Великого, хочет повернуть назад, в пустыню. Забывая, чем обязаны мы Западу, неблагодарная к великому человеку, нас цивилизовавшему, к Европе, нас образовавшей, она отрекается и от Европы, и от великого человека; и в своей торопливой пылкости этот новорожденный патриотизм уже провозглашает нас любимыми сынами Востока. «Что за надобность, говорит он, была нам ходить за просвещением к западным народам? Разве посреди самих нас не было зачатков общественного порядка, бесконечно лучшего, чем европейский? Почему не выжидали действия времени? Предоставленные самим себе, нашему светлому разуму, плодотворному началу, скрывающемуся в недрах нашей мощной натуры и особенно в нашей святой религии, мы скоро опередили бы все эти народы, преданные заблуждению и лжи. Да и чему же нам было завидовать на Западе? Его религиозным борьбам, его папе, его рыцарству, его инквизиции? Да, прекрасные вещи! Разве Запад отчизна науки и всех глубоких идей? Известно, что их родина на Востоке. Удалимся же на этот Восток, к которому мы во всем близки, от которого мы заняли наши верования, наши законы, наши добродетели,— все, что нас сделало могущественнейшим народом земли. Старый Восток умирает. Разве не мы его естественные наследники? У нас увековечатся его дивные предания, осуществятся все великие и таинственные истины, хранение которых ему было искони вверено». Теперь вы понимаете, откуда собралась гроза, меня поразившая, и вы видите, что среди нас совершается в национальной мысли истинная революция, страстная реакция против просвещения,

против идей Запада, против этого просвещения, этих идей, которые сделали нас тем, что мы есть теперь, плод которых даже эта реакция, это движение, влекущее нас теперь против них. Но на этот раз движение идет не сверху. Говорят, напротив, что никогда в высших сферах общества память нашего царственного преобразователя не была столь чтима, как теперь. Итак, вся инициатива принадлежит самой нации. Куда нас приведет это первое проявление эманципированного разума нации, бог знает, но нельзя, серьезно любя свое отечество, не быть болезненно пораженну этим отступничеством наших передовых умов от идей, создавших нашу славу, наше величие; и мне кажется обязанностью доброго гражданина разъяснить по своему крайнему разумению этот странный феномен.

Мы находимся на Востоке Европы — это бесспорно; но все-таки мы никогда не составляли части Востока. У Востока есть своя история, не имеющая ничего общего с историей нашей страны. Он заключает в себе, как мы видели, плодотворную идею, которая в свое время произвела великое развитие ума, которая исполнила свое назначение с дивным могуществом, но которой уже не суждено снова являться на сцене мира. Эта идея ставит духовное начало на вершине общества; она покорила все власти одному закону — верховному, ненарушимому закону времен; она глубоко постигла нравственную иерархию; и хотя стеснила жизнь слишком тесными пределами, но зато сохранила ее от всякого внешнего влияния и запечатлела чудной глубиной. Ничего подобного нет у нас. Духовный принцип, всегда подчиненный у нас светскому принципу, никогда не стоял во главе общества; закон времен, предание никогда не имело у нас исключительного владычества; жизнь никогда не была у нас построена неизменяемым образом; наконец, нравственной иерархии мы никогда не знали. Мы просто народ северной страны; по нашим идеям мы так же далеки, как и по климату от ароматной долины Кашмира и священных берегов Ганга. Правда, некоторые из наших провинций соседи с восточными государствами, но наши центры не там, наша жизнь не там и никогда там не будет, пока планетный переворот не изменит земную ось или новый потоп не занесет южных организмов во льды полюса.

Дело в том, что мы никогда еще не рассматривали нашей истории с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего народного существования не было охарактеризовано с точностью, ни одна из наших великих эпох не была добросовестно оценена: отсюда все странные фантазии, все утопии прошедшего, все сновидения невозможной будущности, мучающие ныне наших патриотов. Пятьдесят лет тому назад немецкие ученые открыли наших летописцев; потом Карамзин звучным слогом рассказал подвиги и деяния наших государей; в наше время посредственные писатели, неловкие антикварии, неудавшиеся поэты, не обладая ни наукой немцев, ни талантом знаменитого историка, претендуют изобразить или реставрировать времена и нравы, воспоминания о которых и любви к которым никто между нами не сохранил: таков перечень наших трудов по национальной истории. Надобно признаться, что из всего этого невозможно извлечь серьезного предсказания об ожидающих нас судьбах. А в этом теперь и заключается вся важность, именно эти результаты и составляют ныне весь интерес исторических исследований. Серьезная мысль нашего времени требует строгого обсуждения, искреннего анализа моментов, в которых жизнь известного народа обнаруживалась с бо́льшей или меньшей глубиной, в которых его общественный принцип проявлялся во всей его истине: потому что тут будущность этого народа, тут элементы его возможного прогресса. Если такие эпохи редки в вашей истории, если жизнь у вас не была могущественна и глубока, если закон, господствующий над вашими судьбами, далек от того, чтобы быть лучезарным принципом, возросшим в ярком свете народной славы,— если этот закон нечто бледное и тусклое, укрывающе-

еся от солнечного блеска в подземных сферах вашего общественного существования, то не отвергайте же истины, не воображайте, что вы жили жизнью исторических народов, в то время когда, схороненные в вашей громадной могиле, вы жили только жизнью ископаемых. Но если, быть может, проходя по этому ничтожеству, вы дойдете до минуты, когда нация в самом деле почувствовала в себе жизнь, когда ее сердце в самом деле забилось и когда вы услышите шум народной волны, поднимающейся вокруг вас, о! тогда остановитесь, размышляйте, изучайте, ваши труды не пропадут, вы узнаете, что будет в силах сделать ваша родина в великие дни, чего она должна надеяться в будущем... Вы видите, я далек от мысли требовать, как говорят, совершенного отвержения всех наших воспоминаний.

Я сказал только, и теперь повторяю, что пора бросить ясный взгляд на наше прошедшее, и не для того, чтобы выкапывать из него старую, гнилую ветошь, старые идеи, пожранные временем, старые антипатии, давно отринутые здравым смыслом наших государей и нации, а для того, чтобы знать, что нам, наконец, думать о наследии нашего прошедшего. Это-то я пытался сделать в труде, который остался недоконченным и к которому должна была служить введением статья, столь странно возмутившая национальное тщеславие. Правда, в языке этой статьи была горячность, в мыслях излишняя резкость, но пафос, господствующий в ней, вовсе не похож на неприязнь к отечеству: это глубокое чувство наших немощей, высказанное с болью, с печалью, и только.

Больше, нежели кто-нибудь из нас, верьте мне, люблю я свое отечество, горжусь его славой, умею ценить высокие достоинства моего народа; но правда и то, что патриотическое чувство, меня оживляющее, не совершенно одинаково с тем, крики которого разрушили спокойствие моей жизни и снова ринули в океан житейских бедствий мою ладью, разбившуюся у подножия креста. Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось, что ныне нашей родине мы прежде всего обязаны истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня его любить. Я не имею, признаюсь, того патриотического квиэтизма, того ленивого патриотизма, который так улаживается, чтобы все видеть в розовом цвете, который засыпает на своих иллюзиях и которым, по несчастию, заражены теперь многие из наших лучших умов. Я думаю, что если мы явились после других, то затем, чтобы действовать лучше других, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения, в их суеверия. По моему мнению, было бы странным пониманием выпавшей нам роли, если бы мы стали неловко повторять весь длинный ряд безумий, совершенных народами, стоявшими в положении менее выгодном, стали проходить все бедствия, ими выстраданные. Я полагаю, что наше положение — положение счастливое, если только мы будем уметь его оценить: что велико и прекрасно наше преимущество — возможность рассматривать и обсуживать мир со всей высоты мысли, отрешенной от бешеных страстей, от жалких интересов, которые в других странах затмевают взгляд человека и извращают его суждение. Скажу больше: я имею задушевное убеждение, что мы призваны к решению большей части задач общественного порядка, к завершению большей части идей, возникших в старых обществах, к произнесению приговора по важнейшим из вопросов, которые занимают человечество. Я часто говорил и люблю повторять: «по самой сущности дела мы назначены, можно сказать, настоящими присяжными для многих процессов, ведущихся перед великими судилищами человеческого ума и человеческого общества».

Посмотрите в самом деле, что происходит в странах, которые, может быть, слишком превозносил я, но которые все-таки представляют самое

полное развитие всех сторон цивилизации. Когда возникает там новая идея, слишком часто в то же самое мгновение бросаются на нее — узкий эгоизм, ребяческое тщеславие, упорство партий, все нечистые страсти общества овладевают ею, искажают, извращают ее, и через минуту, изуродованная этими разнородными элементами, она уносится в те отвлеченные области, которыми поглощается всякая бесплодная умственная пыль. У нас нет этих страстных интересов, этих готовых мнений, этих установившихся предрассудков: каждую новую мысль мы принимаем девственными умами. В наших учреждениях, импровизированных созданиях наших государей или слабых остатках порядка вещей, перепаханного их всемогущей сохой, в наших нравах, странном смешении неловкого подражания с клочками давно истощившегося общественного быта, в наших мнениях, все еще не установившихся даже в самых неважных вопросах, ничто не мешает немедленному осуществлению всех благ, предназначаемых человечеству провидением. Не знаю, может быть, лучше было бы нам пройти все испытания, перенесенные другими христианскими народами, подобно им почерпая в испытаниях новые силы, новую энергию, новые методы; и, быть может, изолированное положение предохранило бы нас от бедствий, сопровождавших долгое и трудное воспитание этих народов; но теперь уже не об этом идет вопрос, можно заботиться только о том, чтобы верно понять настоящий характер нации, как он создан самою природою вещей и наивыгоднейшим образом воспользоваться его качествами. История уже не наша, это правда, но нам принадлежит наука: не можем мы переначинать все работы человеческого разума, но мы можем участвовать в его дальнейших трудах: прошедшее не в нашей власти, но будущность наша.

Часть мира подавлена своими преданиями, своими воспоминаниями — это факт несомненный; не станем завидовать тому ограниченному кругу, в котором она вращается. В сердце бо́льшей части наций есть глубокое, господствующее над настоящей жизнью, чувство прошедшей жизни, упорное, наполняющее проживаемые дни воспоминанием прожитых дней; оставим эти народы бороться с их неумолимым прошедшим. Мы никогда не жили под роковым гнетом логики времен: никогда всемогущая сила не увлекала нас в бездны, взрываемые веками перед народами. Станем пользоваться огромной своею выгодой — возможностью повиноваться только голосу просвещенного разума, обдуманной воли. Будем знать, что для нас не существует безвозвратной необходимости; что мы, слава богу, не поставлены на крутом склоне, по которому столь многие другие нации увлекаются к их неизвестным судьбам; что нам дано измерять каждый шаг, который делаем, обсуждать каждую мысль, прикасающуюся к нашему уму, что нам можно надеяться успехов гораздо обширнейших, чем все успехи, ожидаемые самыми пламенными ревнителями прогресса.

Спрашиваю теперь: ничтожна ли будущность, предоставляемая мною моей родине? Как вы думаете, бесславна ли судьба, мною для нее призываемая? А между тем эта великая ожидающая ее будущность, эта прекрасная судьба, ей предназначенная, без сомнения, будет только результатом той особенной натуры русского народа, которая в первый раз была выказана в моей несчастной статье. Правда, было преувеличение в моем обвинительном акте, я спешу это сказать и радуюсь тому, что должен сделать это признание,— было преувеличение в моем обвинительном акте против великого народа, вся вина которого в сущности ограничивалась тем, что он жил за пределами всех цивилизаций, далеко от стран, где естественным образом должно было сосредоточиваться просвещение, далеко от центров, из которых оно проливалось в течение стольких веков; да, было преувеличение — в том, когда я не говорил, что мы явились в свет на почве не разработанной, не оплодотворенной предшествующими

поколениями, в стране, где ничто не говорило нам об истекших временах, где не было никаких следов исчезнувшего мира. Наконец было, быть может, преувеличение в том, чтобы хотя на одну минуту печалиться о судьбе народа, из недр которого рождались могущественная натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина. Но все-таки надобно сказать, что фантазии нашей публики удивительны.

Всем известно, что вскоре после появления моей несчастной статьи новая драма была играна на нашей сцене[8]. Никогда общество не было бичевано так жестоко, никогда оно не было так втоптано в грязь, никогда не были брошены так прямо в лицо публики ее смрадные нечистоты, но никогда и успех не был более полон. Неужели это значит, что ум серьезный, глубоко размышлявший об своем отечестве, об истории, об характере его народов осуждается на молчание за то, что не может гнетущее его патриотическое чувство передать публике через уста актера? Отчего же мы так охотно выслушиваем циничский урок комедии и так обижаемся серьезным словам, проникающим в сущность предметов? Сознаемся же, это происходит от того, что мы имеем еще только патриотические инстинкты, что мы еще очень далеки от обдуманного патриотизма старых народов, созревших в умственной работе, просвещенных знанием, соображениями науки; что мы любим свое отечество еще только так, как любят его младенчествующие народы, еще не мучимые мыслью, еще не нашедшие своей идеи, еще не понявшие той роли, которую призваны играть на всемирной сцене; что наши умственные силы почти еще не развились размышлением о серьезных вещах; словом, что умственного труда у нас до сих пор почти не было. Мы с изумительной быстротою поднялись на известную степень цивилизации, справедливо возбуждающую удивление Европы; наше могущество страшит мир, наша империя обнимает пятую часть земного шара. Но всем этим, надобно признаться, мы обязаны, так сказать, только энергической воле наших государей, которой помогали физические условия страны, нами населяемой. Направляемые, формируемые, созданные нашими государями и нашим климатом, только покорностью сделались мы великим народом. Просмотрите наши летописи с начала до конца: на каждой странице вы найдете сильное действие власти, постоянное влияние местности и почти ни в чем не найдете действия и влияния общественной воли.

Краткий очерк нашей истории с такой точки зрения покажет нам этот закон во всей его очевидности.

Конечно, здесь не место рассматривать вопросы, представляющиеся Чаадаеву в его апологии, и доказывать правильность или неправильность решения, какое он дает им. Это потребовало бы не нескольких страниц, которыми мы располагаем, а нескольких длинных статей; притом не развивать перед читателем наши собственные взгляды на вопросы, занимающие Чаадаева, обязаны мы здесь, а только объяснить характер и основания его взглядов.

Прежде всего мы должны вспомнить о состоянии русской истории в 20-х годах, потому что идеи Чаадаева во многом зависят от того вида, в котором представляется история русской нации. Разработка ее только что начиналась или, вернее сказать, даже и не начиналась в эпоху, когда слагался образ мыслей Чаадаева. Человек умный, он видел совершенную нескладицу и пустоту во всем том, что

рассказывали ему о русской истории Карамзин и другие писатели реторического направления, которых одних мы имели; кроме того, были компиляторы, усердно пересказывавшие все без разбора факты в том самом виде, как рассказаны они летописями. Летописи наши совершенно бессвязны, чужды всякого соображения. Всякий вздор занесен в них с такой же любовью, как события важные[9]. Факты перебиты, перемешаны в рассказе. Читая летописи, вы часто не разберете даже, кто победил, кто прогнан в битве: «сразишася Володимерцы и Ноугородьцы и побегоша»; кто же побежал? Владимирцы или новгородцы? Или не разбежались ли уж и те, и другие? Разрешить эту загадку вы сумеете разве по тому, что через две страницы, прочитав бездну отрывочных известий о киевских, черниговских и всяких других событиях, рассказанных так же вразумительно,— о смерти разных князей и епископов, о рождении разных князей, об освящении новых церквей, о солнечных затмениях, о погоде и т. д.,— вы найдете, наконец, фразу, сказанную тоже неизвестно зачем и неизвестно к чему: «бе мор в Новеграде, непускаху бо в Новъград хлеба». Не угодно ли вам догадаться, что из этого следует, что владимирский князь занял дороги, по которым новгородцы получали хлеб с юга, что, значит, успех в войне был на его стороне, и что, следовательно, «побегоша» новгородцы, если сражение, о котором вы читали, принадлежит к той же войне, о которой тут и не упомянуто, и если после него не было других сражений, в чем вы не можете быть уверены. В таких источниках вы не найдете, разумеется, философской идеи, а те писатели, которые не ограничивались компилированием, подымали все на такие ходули, что дело выходило еще бестолковее. По Карамзину, злодей Борис Годунов и злодей Святополк Окаянный говорят одинаковым языком, имеют одинаковые понятия и управляют обществом совершенно одинаково — тем самым обществом, в котором жили Кир, Аристид, Ромул, Тит, Людовик XI и Густав Адольф: это всё люди одной эпохи, одних понятий, и общественные учреждения при них при всех были одинаковы. О римской, о французской истории можно было узнать что-нибудь из умных книг, потому и в истории греков или французов был виден какой-нибудь смысл. Но о русской истории, кроме гили, ничего нельзя было прочесть во времена молодости Чаадаева. Разумеется, умному человеку должно было показаться, что во всех событиях и переменах жизни русского народа нет ни связи, ни смысла. Мы вовсе не говорим, чтобы такое впечатление соответствовало истине. Теперь русская ис-

тория несколько разработана, хотя еще очень плохо, но все-таки хоть несколько разработана, и мы видим, что в ее развитии была связь, был некоторый смысл,— хороший или дурной, это все равно, но был смысл. Наши учреждения развивались; быть может, развивались очень дурно, под очень вредными влияниями, но все-таки было у нас движение, а не совершенный застой. Чаадаев образовался, когда не было еще ни истории Полевого, ни даже памфлетов скептической школы[10], удивительно ли, что он смотрел на русскую историю, как не должны смотреть мы. Если он говорил: «В нашей истории нет смысла, а история называется историею только тогда, когда имеет смысл, а потому у нас нет истории»,— если он говорил это, он только доказывал своими словами, что он человек большого ума, которого нельзя обольстить вздорною реторикою, и что по своим понятиям он гораздо выше людей, бывших тогда нашими учителями истории.

Отвергая историю, он должен был отвергать и то, что характер наш уже получил известные определенные черты от исторических событий. Ему казалось, что Петр Великий нашел свою страну листом белой бумаги, на котором можно написать что угодно. К сожалению,— нет. Были уже написаны на этом листе слова, и в уме самого Петра Великого были написаны те же слова, и он только еще раз повторил их на исписанном листе более крупным шрифтом. Эти слова не «Запад» и не «Европа», как думал Чаадаев; звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда французу или англичанину и вообще какому-то ни было немцу[11] произнести наши *Щ* и *Ы!* Это звуки восточных народов, живущих среди широких степей и необозримых тундр. Петр Великий застал нас с таким характером, какой недавно имели персияне. Ведь и у персиян была своя история; и у них события совершались не бессвязно и проходили не без следов. Мы сказали, что длинное развитие наших мыслей было бы здесь неуместно. Дело только в том, что пока русская история до Петра оставалась предметом бессмысленных компиляций или нестерпимых декламаций, не было понятно и значение реформы Петра Великого. Он жил уже не во времена наивных летописцев и мог сделаться только предметом реторических упражнений. Пока не разработали источников,— а это было уже после молодости Чаадаева,— не могли различить даже того факта, что целью деятельности Петра было создание сильной военной державы. Это простое и естественное стремление великого реформатора было закрыто от наших глаз туманом всяких пышных

фраз. Ломоносов взял панегирик Плиния Траяну и при переводе его на русский язык поставил вместо имен «Траян» и «Рим» «Петр» и «Россия»[12]. Такие понятия оставались до последних лет. Петру приписывались все те качества и стремления, которые в каком бы то ни было панегирике приписывались какому бы то ни было знаменитому правителю. От Тита мы взяли милосердие, от Брута — неумолимое правосудие, от Людовика XIV — великолепие, от Цинцинната — простоту, от Аристида — правдолюбие, от Ришелье — дипломатическое искусство и, когда соединили все это, провозгласили: «вот Петр Великий!» Чаадаев был так умен, что не верил этой нескладице; но все же он был человек своей эпохи, и следы ее остались на нем. Он мог отвергнуть панегиризм, но приходил в энтузиазм от имени Петра Великого. Он принял из книг своей молодости и понятие, что задушевною целью Петра было превращение России в европейскую страну, понимая под европейскою страною землю, где владычествует высокая европейская цивилизация. Теперь думают, что придавать Петру Великому такое намерение — значит представлять его слабодушным мечтателем, непрактичным идеалистом,— недостатки, которых не было в его характере; думают, что цель Петра была гораздо проще, практичнее, сообразнее с его положением и понятиями. Ему нужно было сильное регулярное войско, которое умело бы драться не хуже шведских и немецких армий; ему нужно было иметь хорошие литейные заводы, пороховые фабрики; он понимал, что элементы военного могущества ненадежны, если его подданные сами не обучатся вести военную часть, как ведут ее немцы, если мы останемся по военной части в зависимости от иностранных офицеров и техников; стало быть, представлялась ему надобность выучить русских быть хорошими офицерами, инженерами, литейщиками. Раз пошедши по этой дороге, занявшись мыслью устроить самостоятельное русское войско в таком виде, как существовало войско у немцев и шведов, он по своей энергической натуре развил это стремление очень далеко и, заимствуя у немцев или шведов военные учреждения, заимствовал, кстати, мимоходом и все вообще, что встречалось его взгляду. Но эти прибавки были уже только делом второстепенным, неважным, а главное дело составляли военные учреждения. Когда некоторые из его подданных стали роптать и противиться, он, как человек пылкий и настойчивый, не уступил оппозиции, а только разгорячился от нее и стал делать все наперекор людям, его раздражавшим: они любили бороды — отнять у них бороды,

они любили держать жен взаперти — выпустить жен; если бы они любили брить бороды, он заставил бы их отпускать бороды. Прежняя администрация была ему враждебна,— он ввел другую администрацию, взяв ее у немцев или шведов, не потому, что немецкие административные формы были тогда лучше русских, во-первых, они едва ли были лучше, во-вторых,— и не на эту сторону обращалось внимание,— нет, просто потому, что прежние враждебные формы надобно было заменить другими, которые были бы удобнее для своего учредителя. Ломка старины производилась просто по ее враждебности, а не по какому-нибудь другому соображению, шла война с нею, и только всего; а самая война вытекала просто из непонятливости противников Петра, вообразивших его вообще любителем Запада, между тем как ему были нужны собственно только военные учреждения Запада. Но, разумеется, когда эта ошибка противников вызвала Петра Великого на внутреннюю войну, он действительно стал поступать будто приверженец Запада, ломая старинные учреждения и заменяя их западными.

Могут сказать: но ведь все равно, если целью Петра было и просто создание сильной военной державы, а не перенесение европейской цивилизации в Россию,— все равно, результат был тот же самый: перенесение к нам западной цивилизации. Нет, не все равно, и результат был не тот. Целью дела определяется дух его, а результат зависит от духа, в каком ведется дело. При видимом сходстве действий результаты их различны, если цели их различны. Кто учит своих воспитанников, например, юриспруденции с тою мыслью, чтобы из них вышли практические дельцы, люди, способные сделать служебную карьеру, у того образуются не такие люди не такие юристы, как у человека, научающего своих воспитанников юриспруденции с тою мыслью, чтобы они умели понимать и защищать справедливость. Результатом деятельности Петра Великого было то, что мы, получив хорошее регулярное войско, стали сильною военною державою, а не то, чтобы мы изменились в каком-нибудь другом отношении.

Петра Великого иные порицают за то, что он ввел к нам западные учреждения, изменившие нашу жизнь. Нет, жизнь наша ни в чем не изменилась от него, кроме военной стороны своей, и никакие учреждения, им введенные, кроме военных, не оказали на нас никакого нового влияния. Имена должностей изменились, а должности остались с прежними атрибутами и продолжали отправляться по прежнему способу. Губернатор был тот же воевода, кол-

легии были теми же приказами. Бороды сбрили, немецкое платье надели, но остались при тех же самых понятиях, какие были при бородах и старинном платье. На ассамблеи ходили, но семейная жизнь со всеми своими обычаями осталась в прежнем виде. Муж не перестал бить жену и женить сына по своему, а не по его выбору. Напрасно думают, что реформа Петра Великого изменяла в чем-нибудь состояние русской нации. Она только изменяла положение русского царя в кругу европейских государей. Прежде он не имел в их советах сильного голоса, теперь получил его благодаря хорошему войску, созданному Петром.

Само собою разумеется, что мы выражаемся так безусловно только по логической необходимости отвечать на известное мнение таким же тоном, каким оно произносится. Защитники и обыкновенные противники реформы Петра Великого одинаково говорят, что она изменила всю нашу жизнь, и развивают свои мнения с эмфазом[13], придающим всеобъемлющее значение слову «всю». Когда голос возвышается до такого крика, возражая на него, надобно также громко крикнуть «нет»; если произнести это слово спокойным, тихим голосом, оно не будет услышано. Но, разумеется, когда затихнет шум, поднимаемый и защитниками, и обыкновенными противниками реформы об ее будто бы чрезвычайно сильном влиянии на общественную жизнь и нравы наши, когда можно будет рассуждать об этом деле чисто ученым, не полемическим тоном, надобно будет сказать, что некоторое изменение в жизни и правах общества было произведено реформой, хотя изменение до того слабое, что много заниматься им и нет надобности. Если механика говорит, что песчинка, упавшая в Атлантический океан с испанского берега, производит волну на американском берегу, то разумеется, не могло [не] произвести некоторого изменения в других сферах жизни нововведение столь важное, как устройство сильного и хорошего регулярного войска по западному образцу. Совершенная переделка такого громадного факта, как военная часть, повлекла за собою множество переделок во всем; мы хотим только сказать, что все эти переделки в других сферах, кроме военной, ограничивались переменою имен, а не характера вещей. Разумеется, и простая перемена имен уже имеет некоторое влияние на характер вещи. Попробуйте переименовать губернатора префектом, его должность и образ действий несколько переменятся. Надобно только помнить, что чем меньшую важностью мы будем приписывать перемене, произошедшей при Петре

в нашей общественной жизни, тем ближе мы будем к истине. Весь дух вещей остался прежний, насколько может оставаться вещь в прежнем виде, когда изменяется только имя ее без всякого намерения изменить сущность.

У самого Петра Великого все важные для общественной жизни понятия и все принципы действия были совершенно русские понятия и принципы времен Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. От своих противников он отличался не характером идей, а только тем, что он понимал надобность, а они не понимали надобности устроить войско по немецкому образцу. Они думали, что хорошо прежнее войско,— он находил, что оно дурно. Но для чего нужно войско, как должно быть устроено государство, какими способами должно быть управляемо, каковы должны быть отношения власти к нации,— обо всем этом он думал точно так же, как и его противники. Он был истинно русским человеком, не изменившим ни одному из важных в общественной жизни понятий и привычек, господствовавших у нас во время его детства и юношества. Чтобы убедиться в этом, надобно только обратить внимание на то, как он действует. Способ его действования чисто национальный, без малейшей примеси западного характера. По особенным обстоятельствам нашей истории в XVII веке сущность русского характера в общественной жизни определялась двояким отношением власти к форме. Во-первых, власть стояла выше всяких форм, и не было форм, которые могли бы стеснять ее действие. Людовик XIV мог мечтать, что одна его воля управляет Францией,— она действительно была сильна, но были формы, без которых она не могла обходиться и которые часто мешали ей: существовали парламенты, существовали провинциальные сословные собрания. У нас таких препятствий не было. Но зато вся деятельность была обращена на форму, сущность дела была неуловима для контроля со стороны власти. Обе эти черты остались при Петре Великом во всей силе: первую заботливо хранил он подобно своим предшественникам, вторая хранилась при ней сама собою, как в XVII веке.

Очень может быть, что этот взгляд на дело изложен нами теперь не с полною удовлетворительностью. Но мы полагаем, что чем внимательнее займется читатель проверкою его, тем больше будет он находить подтверждений ему.

На реформе Петра Великого мы так долго останавливались потому, что ее характеру совершенно соответствовал характер всей последующей государственной де-

ятельности. Все наши императоры и императрицы продолжали дело Петра, в этом никто не сомневается. Взглядом на реформу, произведенную в начале XVIII века, определяется взгляд на продолжение этой реформы до последнего времени.

Все это мы говорили к тому, чтобы понять возникновение суждения Чаадаева о нашем нынешнем характере и положении. Если принимать, что до Петра Великого мы не имели истории, не сформировался наш характер; если принимать также, что целью деятельности Петра Великого было вложить в нас западную цивилизацию, что такова же была цель его продолжателей, то натурально будет представляться чем-то диким, нелепым наше нынешнее положение. Мы готовы были сделаться чем угодно, потому что еще ничем не были; нас полтораста лет учили сделаться европейцами, и все-таки мы до сих пор очень плохие европейцы,— это действительно очень странно. Если посылки справедливы, то вывод из них, представляемый средою, в которой мы живем, очень неутешителен: он противоречит ожиданию, какое возбуждается посылками. Неужели мы в самом деле так уродливо созданы, что логика событий для нас не существует, что действие, на нас производимое, не может из нас сделать того, чем сделало бы людей, имеющих нормальную человеческую организацию? Если так, поневоле впадешь в отчаяние, поневоле скажешь: наша нация — очень дрянная нация. Это и сказал Чаадаев своим письмом, бывшим причиною его несчастной знаменитости.

Но дело в том, что посылки, на которых он основывался, несправедливы. У нас была история, был резко и твердо выработавшийся характер в начале XVIII века, а в следующее время сделать нас европейцами никто не хотел,— что ж тут нелепого или удивительного, если мы до сих пор плохие европейцы? Переучиваться, переформировываться гораздо труднее, нежели просто учиться и формироваться; сильнейшее влияние было направлено к тому, чтобы мы не переформировывались и не переучивались,— вот мы и остались в сущности такими же, как были в начале XVIII века. Дело очень понятное. Те немногие из нас, которые по случайным обстоятельствам стали цивилизованными людьми (чего не бывает на свете? Ведь Ломоносову удалось же из мужика стать ученым, хотя мужицкие обстоятельства вовсе не благоприятствуют превращению мужиков в ученых людей), могут находить наше общество не соответствующим их идеалу, но только и всего. Право, если правильно смотреть на нашу историю и наши обсто-

ятельства, скажешь: очень и очень большая заслуга с нашей стороны, что мы сделались хотя такими, каковы мы теперь. У меня есть один добрый знакомый, который до 20 лет не знал грамоты: теперь ему 21 год; в этот последний он встречал [препятствия] своему образованию, но все-таки он уже почти без ошибок пишет и несколько познакомился с нашею литературою, читал Гоголя, имеет порядочное понятие об истории; чего же вам больше? Я полагаю, что можно быть довольну такими успехами и что через несколько времени он будет действительно образованным человеком.

Но одна крайность вызывает другую: именно из недовольства нашим нынешним развитием, из отчаяния, наводимого характером нашего общества, рождаются мечты о каком-то исключительном нашем положении и призвании в будущем. Читая напечатанное в «Телескопе» письмо Чаадаева, надобно было предполагать, что он разделяет эти экзальтированные надежды: если бы он не был проникнут ими, не говорил бы он так горько о нашем настоящем. Но в напечатанном письме он не успел изложить этой стороны своего взгляда. Она составляет новую и, быть может, интереснейшую часть записки, которую мы теперь печатаем. Чаадаев полагает, что мы призваны вести человечество к новым судьбам, что у нас больше сил, чем у других народов, что силы эти свежее, что мы скорее и легче других народов поймем и осуществим те новые блага, которые еще [не] вошли в жизнь Запада, которых он без нашей помощи не может уразуметь и достичь. Словом сказать, что если мы были и еще некоторое, очень недолгое, время, всего, быть может, несколько лет, останемся учениками Запада, то очень скоро, быть может, даже еще в наше поколение, мы станем его учителями и руководителями. Эта мечта распространена у нас чрезвычайно. Не только славянофилы, над которыми подсмеиваются западники за нее, считают ее положительною истиною,— если присмотреться хорошенько к самим западникам, то окажется, что подобное чувство лежит в основе даже их убеждений. Нам кажется, что взаимная вражда западников и славянофилов значительно усиливается этою существенною одинаковостью веры тех и других: известно, что близкие между собою партии всего ожесточеннее враждуют между собою. По крайней мере, мы до сих пор не встречали ни одного западника, который бы не оказывался в сущности славянофилом, если признаком славянофильства считать утопию о предназначении нашем быть руководителями человечества в дальнейшем прогрессе[14]. Быть может, мы сами

обольщаемся, быть может, и мы заражены тщеславными национальными мечтами, но, по крайней мере, нам кажется, что мы чужды их. Попробуем изложить свое понятие о доводах, которыми они прикрываются.

Мнение, будто бы именно мы должны стать руководителями человечества при развитии высших фазисов цивилизации, основывается на двух предположениях, проповедуемых в большей части книг, не только у нас, но и на Западе, но тем не менее совершенно фальшивых. Во-первых, предполагается, что народы латинского и немецкого племени уже ввели в историческое дело все силы, которыми располагают, так что у них нет новых сил для создания новой жизни, совершенно непохожей на прежнюю. Во-вторых, предполагается, что мы народ совершенно свежий, характер которого еще не сложился, а только теперь в первый раз слагается, силы которого ни на что не были расходованы.

Мы уже говорили, что это неправда. Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться. Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола[15]. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами: первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно. От этой одной привычки, созданной долгими веками, нам отрешиться едва ли не потруднее, чем западным народам от всех своих привычек и понятий.

А у нас не одна такая милая привычка; есть много и других, имеющих с нею трогательнейшее родство. Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям.

Говорят: нам легко воспользоваться уроками западной истории. Но ведь пользоваться уроком может только тот, кто понимает его, кто достаточно приготовлен, довольно просвещен. Когда мы будем так же просвещенны, как западные народы, только тогда мы будем в состоянии пользоваться их историею, хотя в той слабой степени, в какой пользуются ею сами они. Просвещаться народу — дело долгое и трудное. Положим, легче пользоваться готовым, чем самому приготовлять, но все-таки и по готовым книгам не скоро поймешь и узнаешь все так хорошо, как знают люди, трудившиеся над составлением этих книг. Когда у нас пропорция между грамотными и безграмотными людьми будет такова же, как в Германии, в Англии, Франции, когда у нас будет, пропорционально числу населения, выходить столько же книг, журналов и газет и будут они так же много читаться, только тогда мы будем иметь право сказать о своей нации, что она достигла такого же просвещения, как теперь эти страны. Время это настанет, но не завтра и не послезавтра. Тогда — ну, тогда другое дело: опытность и цивилизация Запада действительно будет получена нами в наследство; тогда мы станем также способны вести историческое дело вперед, но это еще далекое будущее, а пока долго еще вся наша забота должна состоять в том, чтобы догнать других.

Но когда мы догоним их, что тогда? О, тогда мы уже быстро опередим их! Вот это трудновато понять. Идет авангард и прокладывает дорогу; тяжело ему подвигаться вперед, он делает всего по две, по три версты в день; отсталые части войска идут по проложенной дороге, путь их легок, они делают в день по 30, пожалуй, по 40 верст; но как же это пойдут они таким же быстрым шагом, когда догонят авангард, когда перед ними будет тоже лежать новая местность, по которой надобно еще прокладывать дорогу? Нам кажется, что им просто придется тогда работать рядом с авангардом над проложением дороги. Конечно, число работающих рук увеличится, дело пойдет быстрее, будут пролагать нового пути не по три, а, быть может, по пяти верст в день, но будут пролагать все вместе, все

рядом. Что за пошлое тщеславие воображать себя какими-то избранниками судьбы, какими-то привилегированными, чуть не крылатыми существами, когда рассудок и честное мнение о себе велят думать, что хорошо нам будет, если мы будем со временем не хуже тех, которые теперь лучше нас, а к тому времени будут еще лучше. Будем желать того, чтобы пришлось нам когда-нибудь трудиться вместе с другими, наравне с другими над приобретением новых благ: не будем, ничего еще не сделавши, самохвально кричать: эх вы, дрянь и гниль! — а вот мы так будем молодцы!

Но, говорят нам, авангард уже растратил или ввел в дело все свои силы; на Западе уже не остается элементов, не участвовавших в истории, таких элементов, которые могли бы придать ей новый вид. Это также совершенное заблуждение. Была на Западе история аристократического сословия; только недавно стало руководить историею среднее сословие и далеко еще не овладело ею всею, далеко еще не выказало всех своих сил, не переделало всего, что хочет и должно переделать. Да, есть вещь, которая действительно умирает на Западе; эта вещь — феодализм и олигархическое господство. Но силы среднего сословия все еще развиваются, и много, очень много улучшений в западной жизни произведет даже один этот элемент, уже много сделавший перемен[16]. Но высшее и среднее сословия составляют только небольшую часть в каждой нации, а масса нации ни в одной еще стране не принимала деятельного, самостоятельного участия в истории. Это новый элемент, безмерно различный от прежних; он еще только готовится войти в историю. Корабль Запада плывет еще, но только по истоку реки, с каждым новым днем все шире и глубже его плавание, все величественнее вид реки.

Запад, далеко опередивший нас, далеко еще не исчерпал своих сил,— в этом отношении он таков же, как мы: страна, едва возделанная в немногих местах, которым поблагоприятствовал случай, еще имеющая безмерные долины, которых не касался плуг. Новая жизнь возникает в этих только начинающих оживляться пространствах.

НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ К АВТОРИТЕТАМ

[...] Если б люди, превозносящие историческую пользу централизации и необходимость ее в настоящем, были реакционеры, их взгляд на централизацию был бы очень логичен. Но нет, они — друзья прогресса, и от этого никак нельзя примирить с здравым смыслом их мнение об элементе, занимающем их так много. Надобно сказать, что все они — люди из числа самых образованных у нас, а представители их школы в литературе — замечательные ученые; будь они — люди незнающие, ошибка была бы извинительна; а при качествах, которыми они отличаются, она очень странна.

Те представители школы, которые заслужили известность научными трудами, занимаются преимущественно русской историей. Они пишут многотомные сочинения и превосходные статьи, подвигающие науку вперед более или менее удачною разработкою фактов; и замечательнейшая вещь здесь та, что каждый излагаемый ими факт явно противоречит выводу их о полезной роли централизации. Начинают они находить ее полезной с самого же первого ее возникновения. Она, по их мнению, дала великорусскому племени государственное единство и освободила восточную половину нынешней России от татар. От чего же произошло раздробление восточной России на мелкие государства и чем оно поддерживалось? Не от географических условий страны произошло оно: вся страна составляет одну местность, не имеющую никаких естественных перегородок, через которые трудно было бы перебраться государственному единству. От Новгорода до Твери, от Твери до Москвы, от Москвы до Нижнего в одну сторону, до Орла в другую — точно такой же путь, какой от каждого из этих городов до ближайших к нему мест: путь совершенно открытый. А между населениями этих областей нет и не было никакой важной разницы по отношению к идее общей народности: в каждом из них всегда

владычествовала мысль об одноплеменности своей с остальным великорусским населением. Значит, не было ни физических, ни народных причин возникнуть или удерживаться раздроблению. Оно возникло просто только оттого, что население было малочисленно и грубо. По малочисленности своей оно было рассеяно слишком бессвязно: одна группа его разделялась от другой пустынею. По грубости своей оно не могло установить таких форм администрации, которыми удобно соединялись бы области, далекие одна от другой: ведь известно, что обширные государства для прочности своего существования требуют некоторой цивилизации народа, а без нее едва успеет основаться что-нибудь большое, как тотчас же ломается. Значит, чем же должно было прекратиться раздробление великорусского племени? Размножением его, чтобы не оставалось слишком обширных пустынь между его частями, и развитием хотя некоторой цивилизации.

Первое условие понемногу возникало само собою, силою естественного закона: люди размножались, потому что земледельческое население не может не размножаться, пока есть пустая земля. Централизация ничем тут не помогала судьбе России. А развитие второго условия всего сильнее задерживалось соседством хищнических азиатских орд: печенегов, половцев, татар. В Новгороде, далеком от них, гражданское развитие шло успешно. В других областях мешали ему их набеги. Какою силою устранено было это препятствие? Двумя обстоятельствами. С одной стороны, русский народ размножался — значит, с каждым поколением имел все больше силы останавливать набеги, а потом и теснить назад хищных дикарей, отбивать у них одну полосу земли за другой. С другой стороны, сами эти дикари слабели, хилели, вымирали. Ведь известное дело, что если кочевые варвары захватят удобный для земледелия край в соседстве земледельческого народа, они после первого своего наплыва начинают быстро исчезать с почвы, для них несродной, из соседства людей, которые крепче их срастаются с землею и захватывают своими крепкими корнями все дальше и дальше по краям своих поселений землю, удобную для их дела — хлебопашества. Номады способны держаться против расширения земледельческого народа лишь в своих родных степях, неудобных для земледелия, в какой-нибудь Аравии или в пустынях от Каспийского моря до Кореи. Это вторая, громаднейшая родина номадов и была морем, из которого выливались наводнения, мешавшие великорусскому племени. Как и что делалось в монгольских степях, чем выталкивались

из них стремительные потоки хищнических орд на запад, это все равно для нас; но мы видим, что после Тамерлана не выходили из монгольских и туркестанских степей новые орды на запад; да и тамерлановы орды едва-едва коснулись северо-западных окраин степного пространства, а главным образом устремились на юго-запад и юг, на Азию, а не на Европу. Последний напор дикарей Средней Азии на Европу был при Чингизхане, когда и наводнена была степными хищниками не одна великорусская земля, а вся средняя полоса Восточной Европы. После первого натиска, достигавшего Моравии, дикари, по естественному закону, о котором мы говорили, начали отступать назад, покидая потопленные земли: из Западной Европы они отхлынули тотчас же; поляки избавились от них очень скоро; после этого пришла очередь монголам ослабеть в своих набегах на западную Русь, а там стали слабеть они и в набегах на восточную. Это отступление их гибельного тяготения происходило само собою, как сбегает волна, нахлынувшая на берег: ей неловко держаться на месте, ею захваченном, лишь от чрезвычайного волнения моря, ее выбросившего. Как избавилась от монголов Польша, точно так же через несколько времени должна была избавиться от них и великорусская земля: естественным упадком силы в номадах на земледельческой местности. Оно действительно так и было: около времен Мамая кипчакские татары сохраняли только тень своей прежней силы; и упадок этот произошел по внутреннему закону их собственной жизни, а не от борьбы с великоруссами, которые до Куликовской битвы, конечно, ничего не сделали во вред татарам.

Нашествие Мамая было уже предсмертною конвульсиею умирающего зверя; полчища Мамая могли составить разве один отряд в ордах Батыя. Что они были не бог знает как многочисленны, видим из того, что они все могли сосредоточиться на одном Куликовом поле. При Батые было не так: орды одновременно шли по многим направлениям, захватывали чрезвычайно длинную линию своим фронтом: а тут протяжение фронта их было уже так невелико, что со всей линии собрались они на один пункт. Они уже не могли тяготеть над великорусскою землею; это видно из того, что Тохтамыш быстро очистил ее, хотя нигде не нашел успешного отпора. Что же такое принадлежит делу централизации в очищении великорусской земли от татар? Ровно ничего не принадлежит. Куликовская битва не имела никаких фактических результатов, да и происходила уже в такое время, когда главная часть дела соверши-

лась сама собою: татары совершенно уже охилели. Или придавать какое-нибудь значение неудачному походу к берегам Угры при Ахмате? Действительно, он имеет ту замечательность, что очень ясно обнаружил положение дел: пошли татары на Москву, подумали, подумали, да и вернулись назад: «нет, говорят, уж не хватает силы у нас». Пошла централизация на татар, подумала, подумала, да и побежала назад: «нет, говорит, я татар победить не могу». Чем же были побеждены татары? Собственным одряхлением и размножением русского населения, фактами, происходившими совершенно независимо от централизации[1]

Таким образом, оба условия, от которых зависело возникновение национального единства, осуществлялись сами собою[2].

Но по взгляду ученых, о которых мы говорим, централизация не только была необходима для создания государственного единства, она также была нивелирующею силою, действовавшею в демократическом направлении против аристократии. Это еще прелестнее, потому что сами же эти ученые необыкновенно подробно разъясняют, что собственно централизация и создала поместную систему, то есть иерархию более или менее крупных поземельных владельцев,— иерархию чисто феодальную; что собственно централизация и поставила массу населения в крепостное отношение к феодалам, созданным поместною системою; те же самые ученые объясняют нам, как это феодальное сословие было обращено тою же самою централизациею в аристократию более новой формы, чрез постепенное расширение и упрочение поместных прав и, наконец, чрез признание поместий вотчинами[3].

Взгляд на централизацию мы взяли только для примера, потому что так оно пришлось ближе всего к примеру бессвязности мыслей, представленному нам Токвиллем. А можно было бы припомнить много несообразностей. Один авторитет провозглашает самостоятельность разума и ужасается, когда вы говорите, что не принимаете фантазий, отвергаемых разумом: по его мнению, наука доказывает истину всех бредней. Другой авторитет называет славянофильство нелепостью и тут же доказывает, что Западная Европа, в особенности Франция, гниет и только славянское племя, носящее в себе зародыши высшей цивилизации, только одно оно может обновить дряхлеющую Западную Европу. Третий авторитет превосходно рассуждает, что просвещение спасительно, и тут же доказывает, что цивилизация имеет растлевающее свойство. Чет-

вертый авторитет ставит вопрос несколько иначе: полное образование неизмеримо выше невежества, но полуобразованность гораздо хуже невежества[4], как будто образование — маленький кусочек леденца, который можно сглотнуть разом, как будто невежда может стать вдруг образован, а не должен перейти на этом пути все степени, в том числе и полуобразованность, и всякие другие доли образованности. Словом сказать, какой авторитет ни возьмите, у каждого находится в образе мыслей какая-нибудь гармония этого сорта, а у иного и по нескольку их — да еще таких ли! Ведь мы выбирали противоречия отвлеченные, то есть бледные и сравнительно безвредные. А если обратитесь к авторитетным воззрениям на живые практические вопросы, вас угостят еще гораздо приятнейшими винегретами. Но о них когда-нибудь в другой раз; а теперь довольно и того, если мы успели на Токвилле показать, какую степень вины имеет наша непочтительность к авторитетам, подобным Токвиллю. [...]

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ КРАСОТЫ

КОЛЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

VIII

А вот как раз поспела для украшения моей коллекции 7-я книжка «Отечественных записок» с крупным полемическим алмазом, который постараюсь я добросовестно отшлифовать в превосходнейший брильянт. Алмаз находится в изобильном редкостями руднике критического отдела. Оно как раз мне с руки: ведь в прежних отрывках я мало занимался этим отделом, так что могло бы это огорчить заведывающего им г. Дудышкина, могло бы показаться г. Дудышкину злостной невнимательностью к нему. Хорошо, что могу я теперь загладить эту свою вину, отвратить от себя этот упрек.

Эх, г. Дудышкин! где можно бы неспециалисту иметь смелость собственного суждения, там вы не отваживаетесь вникнуть в дело своим умом; а в чем для разбора дела нужно быть специалистом, вы полагаетесь на собственное суждение. Вот, к примеру сказать, хотя бы опровержение, написанное г. Юркевичем против моих статей об антропологическом принципе в философии,— ну, может ли тут неспециалист рассудить, с толком или без толку пишет г. Юркевич? Ведь тут все дело состоит в методологических, психологических, метафизических тонкостях; тут такого рода дело, что глубокомысленно призадумался бы сам Куно Фишер, этот великий мудрец, перевод из которого помещен в июльской же книжке «Отечественных записок». Чтобы понимать эти хитрые подразделения и подразличения, нужно быть специалистом. Вот, например, г. Катков понимает эти вещи. Ему понятно, что говорит в своей статье г. Юркевич; он увидел, что воззрение г. Юркевича близко к направлению, которое считает справедливым сам он; и г. Катков не сделал ошибки, поместив в своем журнале извлечение из г. Юркевича с большими похвалами ему. Я не разделяю этого направления, потому резко отзываюсь о всяких его последователях; но что они довольны друг другом, этому так и быть должно. Ну, а вы-

то с «Отечественными записками» с какой стати восхитились статьей г. Юркевича? Вы разве полагаете о себе, что держитесь того же направления? Представьте себе, к вашей беде, заглянул я на оборотную страницу верхнего полулиста обертки того самого 7-го № «Отечественных записок», в котором вы оттиснули свое восхищение г. Юркевичем. Что же я увидел на этой странице? Крупным шрифтом напечатано следующее объявление:

«ОТ РЕДАКЦИИ»

«Так как многие из читателей изъявили желание прочесть все сочинения Бокля «History of civilisation in England»[1] в русском переводе, то редакция «Отечественных записок», напечатав уже шесть глав этого сочинения, намеревается, если не встретит особенных препятствий, перевести его в целости и помещать в журнале в том самом порядке, в каком будет выходить английский подлинник».

Знаете ли, какая комическая вещь выходит из этого? Вот какая. За исключением очень немногих страниц в отделе об энциклопедистах, которых и вы не одобрите, когда прочитаете их, и я не одобряю,— весь первый том Бокля прямо противоположен тому направлению, которым вздумали вы восхищаться в г. Юркевиче. Вот история-то! Уж и подлинно можно назвать ее «историей цивилизации в «Отечественных записках»».

Но вы не огорчайтесь штукою, какая вышла от вашего объявления о переводе Бокля: вы превосходно делаете, что переводите его; от всей души желаю, чтобы не встретили вы препятствий в этом очень полезном деле. Русская публика будет вам благодарна за него.

Хотите, я расскажу вам, как произошел в вас психологический процесс, по которому, печатая Бокля, восхитились вы г. Юркевичем? Если вы увидите, что я не ошибусь в объяснении такого изумительного происшествия, то вот вам и будет доказательство, что я — великий мастер производить психологические наблюдения и законы психологии знаю как свои пять пальцев. А согласитесь, что я вызываюсь на пробу очень трудную, потому что разбираемый мною психический акт необычайно мудрен и, по-видимому, нарушает все законы мышления: хвалить то, истреблению чего содействуешь печатанием превосходного сочинения,— ведь это психический феномен, которого не распутал бы сам Кант. А вот я распутаю, подведу его под общие психологические законы.

Закон первый. Незнающий влечется подражать знающему. «Русский вестник» похвалил г. Юркевича, вы повлеклись хвалить его.

Закон второй. Сладко слышать брань на того, кого сам бранишь. Г. Юркевич вооружается на меня; вы также вооружаетесь; потому вам сладко слушать г. Юркевича.

Углубитесь в самого себя, наблюдайте умственным оком ваш психический процесс, вы увидите, что мое объяснение безукоризненно верно.

Но, согласитесь, тяжело вам было это наблюдение вашего психического процесса. Согласитесь, вас беспрестанно отвлекало от этого трудного самонаблюдения мелькание разных посторонних делу представлений, вроде следующих: «нет, я не по примеру «Русского вестника» нашел, что г. Юркевич прав, я сам догадался об этом; я беспристрастен: я понимал сущность спора; направление г. Юркевича — мое направление; я не за то восхитился им, что он пишет против Чернышевского», и т. д., и т. д.,— согласитесь, эти иллюзии так и влезали насильно в ваше самосознание, и очень трудно было вам отбиваться от них. Но любовь к истине восторжествовала в вас над этими обольщениями; но напряженное внимание к действительному ходу вашего психического процесса отогнало эти мечты, и вы, наконец, постигли два вышеприведенные психические закона и бестрепетно подвели под них странный факт похвалы г. Юркевичу со стороны журнала, переводящего превосходную книгу Бокля. Честь вам и хвала. Ваш подвиг был труден, но вы совершили его.

Видите ли теперь, как тяжел анализ самосознания, каких особенных приемов он требует? Видите ли, что человеку, специально не занимавшемуся этим предметом, нельзя судить о достоинствах или недостатках статей, к нему относящихся? Зато и плоды этой науки очень вкусны для самолюбия,— не правда ли?

А если правда, то я надеюсь, что вы не откажетесь в благодарность мне за этот урок пересмотреть вместе со мной содержание статейки против меня, которая помещена в июльской книжке «Отечественных записок», в отделе, находящемся под вашим заведыванием (г. Краевский, вероятно, не будет претендовать на то, что я обращаюсь исключительно к вам).

IX

После некоторых прелюдий, относящихся к языку, статейка, восхищающаяся г. Юркевичем, упоминает о разборе философии г. Лаврова, который был сделан

г. Антоновичем в IV книжке «Современника» нынешнего года. Упоминание об этом разборе основывается на том, что он по направлению сходен с моими статьями об антропологическом принципе. Положим, сходен, но следовало ли вам заговаривать об этой статье, которая отозвалась на вашем журнале уморительными последствиями, показывающими, что вы как прочли ее, так тотчас же и изменили свое мнение о достоинстве трудов г. Лаврова. Уж лучше молчали бы вы. А если непременно хочется вам говорить, то признались бы, что статья г. Антоновича раскрыла вам глаза[2].

Но вам хочется побранить ее. Любопытно послушать, за что вы ее браните. Вот единственный недостаток, который вы в ней нашли: «никакого умственного напряжения не нужно, чтобы понять все, что говорит г. Антонович. Ясность (этой статьи) поразила всех». Сообразите сами, достоинством или недостатком должна считаться ясность? Разумеется, каждый неглупый человек почтет, что вы хвалите статью г. Антоновича, выставляя в ней такое качество. А вы думаете, уронили ее этим. Как случилась с вами эта вторая «история вашей цивилизации», я опять расскажу вам.

Вы наслушались, что философия — предмет головоломный. Вы пробовали читать философские статьи вроде произведений г. Лаврова и ровно ничего не понимали. А г. Лавров был, по вашему мнению, хороший философ. Вот и состроился у вас в уме силлогизм такого рода: «философии я не понимаю; следовательно, то, что я могу понимать,— не философия». Вы ведь так прямо и говорите: г. Антонович пишет ясно, стало быть, нет философии у него в статье. Но ведь это прилично было вам думать, когда вы о философии судили по статьям г. Лаврова. Ну-с, а ведь теперь вы уже находите, что философские статьи г. Лаврова были плохи (признавайтесь, что находите: ведь у нас есть улика тому); так не следовало ли бы вам рассудить таким манером: «о каком бы предмете ни заговорил человек, образ мыслей которого туманен, речь его будет туманная, головоломная. А сама по себе философия, быть может, и не бог знает какая непонятная наука». Вы не ошиблись бы в этом.

Но о статье г. Антоновича говорится только так, кстати, что вот, дескать, она совершенно такая же, как и статья Чернышевского об антропологическом принципе,— философии не может быть в этих статьях, потому что они ясны. Затем говорится уж обо мне одном.

«Статья г. Чернышевского вызвала ответ в г. Юркевиче, в «Трудах Духовной Академии киевской», такой ответ, который поставил г. Юркевича сразу на первое место между всеми, кто когда-либо писал у нас о философии» (значит выше Белинского, у которого очень много относящегося к философии, выше автора «Писем об изучении природы»?[3] Хорошо. Но ведь не выше же г. Гогоцкого и г. Ореста Новицкого? Зачем обижать этих великих мыслителей той же самой школы, как и г. Юркевич?). «Только помним мы статьи И. В. Киреевского» (отлично! так добрый и почтенный И. В. Киреевский был, по-вашему, действительно философ, а не просто наивный мечтатель? Но ведь уж если так, вы должны признать своим главнейшим авторитетом покойного Хомякова. Так вы кстати уж переименовали бы свой журнал из «Отечественных записок» в «Русскую беседу» или «Возобновленный Москвитянин»), «отличавшиеся тою простотою и ясностью философского изложения, с которою мы встретились у г. Юркевича. Знание систем философских, полное усвоение предмета и самостоятельное к нему отношение — вот заслуги г. Юркевича» (дай бог ему всяких совершенств!). «По направлению своему — он идеалист, и точки опоры в его учении так глубоко им обследованы и тонко проведены, что на русском языке мы ничего подобного не читали» (помилуйте, г. Гогоцкий точно так же глубоко и тонко все это исследовал), «и в этом совершенно согласны с «Русским вестником» (так же, как я во всем совершенно согласен с «Горным журналом»,— предмета не знаю, статей не понимаю, но, полагаю, что они писаны людьми знающими, потому и принимаю все их слова на веру), «который распространил эту статью. Перепечатывать статьи мы не станем; мы приведем из нее два только места: одно «о превращении раздражения нерва в ощущение» и другое об изменении» «количественного» в «качественное». На этих двух положениях все остальное держится» («Отеч. Зап. Русск. литер., стр. 41, 42). Но прежде того выписывается окончание статьи г. Юркевича, очень сильно поражающее меня, как невежду. Ну, хорошо,— если я невежда, так вы рассудили ли, что вам-то не следовало бы говорить об этом? В «Русском вестнике», например, я не писал; он не компрометирует себя толками о моем невежестве. А ведь в «Отечественных записках» я довольно много писал в начале своей литературной деятельности[4],— так у вас, значит, невежды могут бывать сотрудниками, да еще такими, которыми редакция дорожит?

Напрасно вы повторяете чужие слова о моем невежестве, г. Дудышкин; другие журналы могут это говорить, а вашему журналу неловко. Приведя отзыв г. Юркевича о моем невежестве, «Отечественные записки» делают выписку из него же о том, что «пространственное движение нерва не есть еще непространственное ощущение», и о том, что «переход от количественного к качественному ясен только для одного «Современника», для всех же других составляет необъяснимую задачу». Видите, г. Дудышкин, о каких технических тонкостях рассуждает г. Юркевич, а вы беретесь судить о его статье, решаете, что он прав, когда не умеете даже различить, в каком духе он пишет, и не расходится ли он, например, с вашим собственным Боклем ровно настолько же, насколько со мною. «Отечественные записки» продолжают:

«Читатель видит по этим выпискам, которые могут дать понятие о прекрасной статье г. Юркевича, заключающей в себе целый трактат о философии, видит, что имеет дело с человеком, хорошо знающим предмет» (видит или нет читатель, это как случится; а сами-то вы видите ли, или только с чужих слов говорите?). «Г. Юркевич не прибегает к площадным шуткам, чтоб задобрить читателя, не боится подходить к предмету и сказать: это еще не доказано никем, этого мы не знаем, хотя имел бы гораздо больше поводов, нежели г. Чернышевский, говорить с уверенностью. По крайней мере, ясно одно, что такое возражение заслуживает подробного ответа». (Уверяю вас, что не заслуживает, с моей точки зрения. Если бы какой-нибудь ученый стал доказывать, что ошибаетесь вы, отвергая алхимию или кабалистику, вы почли ли бы его сочинение достойным подробного опровержения? Как вы смотрите на ученых, держащихся алхимического или кабалистического учения, так я смотрю на школу, к которой принадлежит г. Юркевич. Хороша или дурна теория, которой держусь я, об этом может думать каждый, как ему угодно; но что человек, держащийся такой теории, должен считать смешными и пустыми возражения, делаемые теоретиками школы, к которой принадлежит г. Юркевич, это — факт, известный каждому специалисту; вы удивляетесь этому лишь оттого, что взаимные отношения разных философских направлений плохо известны вам.) «Что же делает г. Чернышевский? А то же, что он делает всегда, когда у него потребуют серьезного ответа: отделывается непозволительною развязностью» (то есть когда ж это «всегда»? Я в течение нескольких лет не вел никакой полемики и ровно ничего не отвечал ни на какие вызовы

и возражения, следовательно, не могло быть ни развязности, ни неразвязности в моих ответах по той простой причине, что ответов вовсе не существовало; а прежде, когда вел полемику, случалось мне писать огромнейшие и обстоятельнейшие возражения на заметки против меня), «которая, наконец, переходит в дерзость по отношению к г. Юркевичу» (что делать? Если вы уважаете, а я не уважаю известное направление, то мои отношения к нему будут вам казаться непозволительно дерзкими. Точно таковы же кажутся людям, уважающим направление г. Аскоченского, ваши отношения к нему). «Мы уверены, что последователи г. Чернышевского найдут такой ответ крайне остроумным. Вот что говорит г. Чернышевский» («Отечественные записки», «Русская литература», стр. 55). Тут выписана первая половина моего отзыва о статье г. Юркевича; затем следует:

«Как вам нравится этот ответ! Другими словами, г. Чернышевский говорит: вы несчастный человек, г. Юркевич, потому что учились в семинарии и учились по плохим руководствам» (что ж, разве это неправду я говорю?). «А вот я потом достал славные книжки: в них написано все то, что я говорю. Поверьте мне, и если вы еще не устарели, то я могу пособить вашему горю, пришлю вам мои книжки. Из них вы и увидите, что я прав!» (Что ж, мне кажется, что тут я выразил доброжелательность; ну, скажите, а вы разве иначе отвечали бы человеку, который, например, делал бы против ваших историко-литературных статей возражения по учебнику г. Зеленецкого?)

«Нам эти слова напомнили блаженной памяти барона Брамбеуса, который всегда отвечал в этом роде, когда Белинский заставлял его отвечать категорически. Только барон Брамбеус отвечал часто гораздо остроумнее г. Чернышевского, например, он отвечал так иногда: «а когда-нибудь на досуге напишу вам ответ на латинском языке». Но теперь и барон Брамбеус не писал бы таких ответов 〈„потому что времена переменились и можно» (да? как вы счастливы!) «отвечать на то, что спрашивают»〉. В те злополучные времена, когда наша философия крылась под эстетическими рецензиями на Гоголя, Жорж Занда, Сю, противники Белинского, к которым принадлежал Сенковский, чтоб вести спор околицей, переименовали мадам Дюдеван в г-жу «Спередка» и разыгрывали на эту тему свои замысловатые рецензии. И тогда подобные рецензии приводили в омерзение: что же сказать, когда ту же проделку употребляет г. Чернышевский с г. Юркевичем в споре первой важности, в вопросе, поставленном ясно?

Если барон Брамбеус и в то злополучное время, в которое жил, упал в общем мнении за подобные проделки, и публика отвернулась от него, то чего же хочет г. Чернышевский — в наше?»

Вы изволите сравнивать меня с бароном Брамбеусом? Ну, что ж, если разобрать это сравнение, то ведь окажется, что вы употребили его, не сообразив, что из него выходит.

Дело идет об обширности моих знаний. Я похож на барона Брамбеуса, то есть на покойного Сенковского. Кто же сомневается, что Сенковский владел знаниями изумительно обширными? Что ж из этого выходит о моих знаниях, если я похож на него? Вот что значит неловкость в полемике — хотели сказать, что я невежда, а из ваших слов оказалось, что вы сами считаете меня человеком очень обширных сведений. Куда же вам полемизировать?

Но я похожу, по вашим словам, на Сенковского тем, что люблю отшучиваться от возражений. Хорошо. Почему же Сенковский любил отшучиваться? Потому что был человек очень сильного ума, находивший, что при своем уме имеет право презирать противников. Это вы хотели сказать обо мне? Должно быть, не это, а из ваших слов это выходит. Благодарю вас: вы внушаете читателю мысль, что я — человек очень сильного ума, чувствующий свое превосходство над своими противниками. А ведь действительно чувствую (и вы сами наверное чувствуете) мое превосходство над вами. Что ж делать, не могу не чувствовать: вы слишком плохо полемизируете.

Но Сенковский упал в общем мнении,— вы предсказываете ту же судьбу и мне. Только напрасно вы наговорили лишнего для вашей цели, наговорили таких вещей, которыми прямо уничтожается во мне это опасение. Вы упомянули, что Сенковский вооружался против Белинского, Гоголя, Жоржа Занда, то есть против того, что я защищаю. Стало быть, если Сенковский упал за свое направление, то меня ждет участь прямо противоположная. Я буду возвышаться в общем мнении. Это вы хотели сказать? Нет, не хотели? Так зачем выходит это из ваших слов? Плохо, плохо вы полемизируете. Посмотрим, что-то у вас дальше.

«Полноте, г. Чернышевский! в наше время нельзя всего знать — и естественных наук, и философии и политической экономии, и истории всеобщей и русской, и литературы. Кто все это знает, тот ровно ничего не знает. Эту, по крайней мере, аксиому затвердила наша литература, и ее мы можем привести против вас. А вы ведь все знаете!

Это подозрительно что-то» («Отечественные записки», июль, Русская литература, стр. 56, 57).

Да кто вас уверял, что я все знаю? Всего никто не знает: ни Монтэнь, ни Вольтер, ни Гейне, ни даже сам Бэль не знали. Неужели я вам должен объяснять разницу между начитанностью и специализмом, между специальным ученым, который двигает вперед одну науку или одну отрасль науки, и между журналистом, которому довольно быть образованным человеком, который только популяризирует выводы, сделанные учеными, только осмеивает грубые предрассудки и отсталость? Неужели вы не сообразили, в какое смешное положение ставите себя вы, журналист, притворяясь, будто не знаете, что такое журналист? Не постигаю, что за радость выставлять вам себя человеком, ничего не понимающим,— даже своей профессии. Неужели, по-вашему, журналист должен писать только о том, в чем он специалист? Да ведь если так, то журнал обратится в Comptes rendus парижского Института[5].

Но вы интересуетесь лично мною: вам угодно знать, ученый ли я человек? Извольте. Давно уж не занимаюсь я специально ничем, кроме политической экономии. Прежде занимался я кое-какими другими предметами довольно усердно, так что хотя перезабыл много мелочей из них, но судить о том, что пишут по этим предметам другие, очень могу. Что тут удивительного? Но прежде всего я по профессии — журналист, подобно вам, то есть человек, старающийся знать успехи умственной жизни по всем вопросам, интересующим вообще всех образованных людей. Вы так понимаете профессию журналиста или нет?

Или вам все не то хочется узнать, а то, как обширны мои знания? На это могу отвечать вам только одно: несравненно обширнее ваших. Да это вы и сами знаете. Так зачем же вы добивались получить печатно такой ответ? Нерассудительно, нерассудительно вы подводили себя под него.

Да вы, пожалуйста, не примите этого за гордость: есть чем тут гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы. И опять не примите этого так, что я хочу сказать, будто вы имеете слишком мало знаний. Нет, ничего-таки: кое-что знаете и вообще вы человек образованный. Только напрасно вы так плохо полемизируете. Ну что, прямо я отвечал или все отшучивался от ответа?

Далее следует выписка из физиологии Льюиса[6] о различии физиологических процессов от химических. Защитник г-на Юркевича в «Отечественных записках», во-

ображая, что г. Юркевич смотрит на это дело одинаково с Льюисом, говорит:

«Сравните этот отрывок из Льюиса с тем, что говорит г. Юркевич, и вы увидите, что нашему киевскому профессору известны последние исследования не хуже г. Чернышевского. Следовательно, он знает не одни семинарские тетрадки и учебники, как заверяет г. Чернышевский. Мы это говорим только для тех, которые думают, что все сказанное с размаху, очертя голову» (т. е. кем же это? мною, что ли?) «непременно и справедливо; а у нас, к сожалению, таких людей очень много» (ну, ловко ли вы полемизируете, признавая тут, что у нас очень много людей, одобряющих мои статьи? Эх, несообразительность-то какая! А еще туда же полемизировать хотите!). «Пожалуй, подумали бы, что г. Юркевич — схоластик, а г. Чернышевский — прогрессист!»

Вам показалось, будто между словами г. Юркевича и Льюиса есть сходство; в словах-то есть сходство, да в смысле-то слов нет его. Вы понимаете ли, к чему клонит дело г. Юркевич? К поддержке идей прямо противоположных — чему бы, как это выразить? — ну, хоть так скажу: прямо противоположных идеям Бокля, которого вы переводите. А Льюис вовсе не к тому ведет дело. Он только доказывает, что каждая отдельная наука рассматривает частные видоизменения общих законов природы в особенных условиях. Прочтите у Льюиса всю главу, из которой отрывок взяли вы, и вы убедитесь, что мысли г. Юркевича от его мыслей так же далеки, как от моих. С Льюисом-то я совершенно соглашаюсь, а спросите-ко у г. Юркевича мнение о школе, к которой принадлежит Льюис, он вам таких любезностей о ней наговорит, что вы с своим Льюисом жизни не рады будете, если дорожите мнением г. Юркевича. Но с вами надобно говорить яснее. Ведь для вас все еще остается в тумане предмет, за который спорил против меня г. Юркевич. Извольте. Объясню это дело по возможности.

Вы видите ли, по крайней мере, то, что я с вами делаю? Я не упускаю почти ни одного из ваших слов, беру вашу речь целиком. Но зачем я это делаю? затем ли, чтобы соглашаться с вами? Нет, я делаю вставки к вашим словам, перестанавливаю их, переворачиваю, и выходит смысл, противоположный тому, какой они имели у вас. Например, вы говорите, что я невежда; я перебираю ваши слова, и выходит из них, что я человек чрезвычайной учености; вы говорите, что я затрудняюсь отвечать на возражения, я опять перебираю ваши слова, и выходит из них, что вы

сами признаете меня несравненно сильнее людей, делающих мне возражения. Понимаете ли теперь, как и для чего я пользуюсь вашими словами? А между тем ведь я воспользовался ими, не правда ли?

Вот точно так же пользуется трудами естествоиспытателей школа, к которой принадлежит г. Юркевич. Она пересматривает труды добросовестных специалистов, чтобы выворачивать факты в пользу теории, прямо противоположной взгляду этих естествоиспытателей.

Вы, по всей вероятности, находите, что я искажаю смысл ваших слов? А я полагаю, что вы сами не сообразили, что такое говорили, и что я подмечаю в ваших словах истинный смысл их, которого вы не заметили.

Вот точно так же школа г. Юркевича думает, что естествоиспытатели сами не понимают того, что излагают, и что только она влагает в заимствуемые у них факты истинный смысл, прямо противоположный заблуждающемуся взгляду естествоиспытателей. А естествоиспытатели находят, что эта школа искажает смысл фактов, которые заимствует у них.

Вам все еще, может быть, не совсем понятно дело? Поясню я примером,— у меня страсть к примерам. (Вот вы над этим бы подсмеялись, что иногда пристрастие к ним делает мои статьи растянутыми,— уличить меня в этом недостатке вы были бы в силах, а то хватаетесь за такие стороны дела, с которыми не сладите.) Ну-с, так приведу вам пример.

Вы курите сигары? Вы очень хорошо знаете, что сырые сигары плохи, а сухие гораздо лучше. Прекрасно; каким же образом получаются сухие сигары? И это вы знаете. Наделав сигар, фабрикант, дорожащий репутацией своей фабрики, оставляет их очень долго, быть может, года два или три, лежать в обыкновенной комнатной температуре. В это время они и высыхают. Хорошо; но ведь до такой же степени сухости можно было бы довести сигары в какие-нибудь два часа времени, поместив их в горячую температуру, например, хоть градусов в 60. Почему же это не годится? А вот почему, как вы сами знаете. Когда сигара сохнет быстро, то ингредиенты, от которых зависит вкус ее, входят в химические соединения, при которых вкус сигары портится; а если она сохнет очень медленно, ингредиенты эти соединяются между собою другим способом, при котором сигара получает хороший вкус. Вы знаете, что это так? Хорошо; что же из этого следует? Следует вот что. Процесс испарения воды, находящейся в сырой сигаре, приводит к известному результату, когда совершается

медленно; а когда совершается быстро, результат бывает вовсе не таков.

Вот в этом самом роде рассуждает и Льюис о разнице между химическим процессом, совершающимся в реторте, и между пищеварением, совершающимся в обстановке, очень различной от химической реторты. Он говорит вот в каком духе: сварите говядину на очень сильном огне,— вы получите бульон известного сорта; сварите ее на слабом огне, медленно,— вы получите бульон совершенно иного сорта; если же вы вместо простой воды будете варить говядину в каком-нибудь кислотном растворе (например, вроде кваса или сока кислой капусты), у вас выйдет бульон опять иного сорта. Словом сказать, результат процесса изменяется от каждой перемены в условиях процесса. Вот Льюис и говорит, что каждый из этих случаев надобно наблюдать особенно и не смешивать с другими. Что ж, по моему мнению, он говорит правду.

А школа, к которой принадлежит г. Юркевич, что выводит из подобных фактов? — что, дескать, естественные науки объясняют нам только одну сторону жизни, а другую, высшую, мы познаем, и т. д., и т. д., и что-де натуралисты — пропащий народ. Вы соглашаетесь с этим направлением?

Ясно ли для вас хоть теперь?

А может быть, еще не ясно? Если так, потолкуем с вами еще немного. Как вы полагаете, не действуют ли в знаменитом Юме какие-то особенные, удивительные силы? или он просто ловкий фокусник? Сколько я знаю вас, вы, вероятно, полагаете, что он просто фокусник. А по методе, которой держится школа, имеющая своим оратором г. Юркевича, надобно отвечать так: «Позвольте, остановитесь, не будьте опрометчивы. Может ли какая-нибудь химия или физиология объяснить тот факт, что г. Юм видит из Петербурга человека, сидящего в Пенсильвании, в Америке, и сообщает вам точные сведения о его здоровье, видит, что он болен флюсом и ставит себе пиявки к десне. Позвольте вас спросить, милостивый государь, как вы объясните этот факт вашею химиею или физиологиею, вашею катоптрикою или диоптрикою? Сознайтесь, м. г., что тут действуют в г. Юме какие-то особенные силы!» Сколько я вас знаю, вы очень хладнокровно будете отвечать такому вашему изобличителю: «М. г., этого факта, на который вы ссылаетесь, решительно нет, а есть другой факт, которого не угодно вам замечать. Ничего находящегося в Америке г. Юм из Петербурга не видел; он только дурачил вас».

Вот точь-в-точь такого рода спор между теорией естествоиспытателей, которая кажется мне справедлива и которую я стараюсь популяризовать по своей профессии журналиста, и между школою, к которой принадлежит г. Юркевич. Вы на чьей стороне были бы в подобном споре? Сколько я вас знаю, были бы вы на моей стороне, только не удалось вам разобрать, в чем спор.

Но мой пример не кончен. Я остановился на том, что вы говорите своему возражателю, приверженцу Юма: «Я отрицаю действие особенных сил в Юме, потому что не теми, как вы, глазами смотрю на факт, сбивающий вас с толку». Но ведь этот противник не оставит вас без ответа. Он скажет вам, что «люди, наблюдавшие Юма, остались убеждены, что это не фокусы», он прибавит: «вы познакомьтесь с этими людьми, они вам расскажут много такого, чего вы не знаете; в ваших словах, отвергающих мое мнение о Юме, я вижу только наглость вашего незнания». Что вы станете делать с таким человеком? Смотря по расположению духа: если вы не расположены смеяться, то уйдете от него, а если расположены смеяться, станете насмехаться над ним. В том и другом случае вы будете правы: с таким человеком или вовсе не стоит говорить, или нельзя говорить без насмешки. Теперь я прошу вас прочесть следующий отрывок из вашей брани на меня за г. Юркевича. Выписав вторую половину моего отзыва о статье г. Юркевича, где я говорил, что читать статью г. Юркевича мне незачем, потому что по самой рекомендации «Русского вестника» я вижу совершенное сходство ее с вещами, которые некогда заставляли меня учить наизусть,— сделав эту выписку, статейка «Отечественных записок» продолжает:

«Понимаете ли вы, что это такое? Видите ли, куда мы гнем?» (уж не знаю, видно ли вам хоть теперь, куда я гну; а куда гнет г. Юркевич, вы, наверное, не видели, когда писали эти строки). «Сказано, что все это вздор, который мы не станем читать. Вот что подразумеваем мы под словами г. Чернышевского.

Да помилуйте, г. Юркевич вам доказывает: 1) что вы не знаете той философии, о которой говорите; 2) что вы смешали метод естествознания, применяемый к психическим явлениям, с самым изъяснением душевных явлений; 3) что вы не поняли важности самонаблюдения как особенного источника психологических познаний; 4) вы перемешали метафизическое учение о единстве ⟨бытия и физическое учение о единстве⟩ материи; 5) вы допустили возможность превращения количественных разностей

в качественные; 6) наконец вы допустили, что всякое воззрение есть уже факт науки, и таким образом утратили разницу жизни человеческой от животной. Вы уничтожили нравственную личность человека и допускаете только эгоистические побуждения животного.

Кажется ясно: дело идет уже не о ком-либо другом, а о вас, не о философии и физиологии вообще, а о вашем незнании этих наук. К чему же тут громоотвод о семинарской философии? Зачем смешивать вещи совершенно разные и говорить, что вы все это знали уже в семинарии, и даже теперь помните наизусть?»

На все это я хотел бы сказать одно: да как же не говорить мне того, что, по моему мнению, совершенно справедливо? Но в удовольствие вам разъясню дело,— впрочем, опять-таки ссылкою на те же самые тетрадки, незнакомство с которыми не дозволило вам понять в чем дело.

Если бы потрудились вы пересмотреть эти тетрадки, вы увидели бы, что все недостатки, которые г. Юркевич открывает во мне, открывают эти тетрадки в Аристотеле, Бэконе, Гассенди, Локке и т. д., и т. д., во всех философах, которые не были идеалисты. Следовательно, ко мне, как отдельному писателю, эти упреки вовсе не относятся; они относятся собственно к теории, которую популяризовать я считаю полезным делом. Если вы не верите, загляните в принадлежащий тому же, как г. Юркевич, направлению «Философский словарь», издаваемый г. С. Г.,— вы увидите, что там про каждого не-идеалиста говорится то же самое: и психологии-то он не знает, и естественные-то науки ему неизвестны, и внутренний-то опыт он отвергает, и перед фактами-то он падает во прах, и метафизику-то он с естественными науками смешивает, и человека-то он унижает, и т. д., и т. д. Скажите же, какая мне надобность серьезно смотреть на автора ли известной статьи, на людей ли, его хвалящих, когда я вижу, что лично против меня они повторяют вещи, испокон века повторяемые про каждого мыслителя школы, которой я держусь? Я должен судить так: или они не знают, или они притворяются незнающими, что это — упреки не против меня, а против целой школы; следовательно, они люди или плохо знакомые с историей философии, или только действуют по тактике, фальшивость которой сами знают. В том или другом случае такие противники недостойны серьезного спора.

Скажите, например, если бы кто стал лично вас упрекать в незнании за то, что вы считаете народность важным для литературы элементом, относился ли бы этот упрек лично к вам? Нет, он относился бы к целой школе. Почли

ли бы вы за нужное доказывать, что, дескать, «если я называю народность важным элементом литературы, это еще не признак моего незнания»,— конечно, вы почли бы ниже своего достоинства доказывать это.

Но вам, по вашему незнакомству с предметом спора, мои слова, быть может, еще не совсем ясны. Постараюсь сделать для вас еще несколько объяснений.

Изволите ли вы знать, что называли невеждой — не то что меня, а, например, Гегеля? Известно ли вам, за что его называли невеждой? За то, что он имел известный образ мыслей, не нравившийся некоторым ученым. Как вы полагаете невежда был Гегель или нет? А кто, вы думаете, называл его невеждою? Люди той самой школы, к которой принадлежит г. Юркевич.

Известно ли вам, что называли невеждою Канта? За что называли, справедливо ли называли, какие люди называли,— это все то же, что в прежнем примере.

Известно ли вам, что называли невеждою Декарта? За что, справедливо ли и какие люди называли,— это все то же, как в прежнем примере.

Возьмите какого угодно другого мыслителя, подвигавшего науку вперед, каждый подвергался тому же самому обвинению, за то же самое и от тех же самых людей.

Умеете ли вы сделать вывод из этих фактов? Если бы умели, мне не пришлось бы объясняться с вами; но по всему видно, что не умеете; стало быть, я должен подсказать его вам. Вот он:

Люди рутины упрекают в невежестве всякого нововводителя за то, что он — нововводитель.

Прошу вас запомнить это. Память об этом избавит вас от многих промахов.

Но вы знаете этот вывод только как факт. А вы расположены, как видно, любопытствовать о философских материях. Для вашего удовольствия я выведу неизбежность этого факта из психологических законов.

Положим, что известный человек совершенно удовлетворяется известным умственным или житейским положением. Если приходит другой человек и говорит: «оно неудовлетворительно», у человека, удовлетворяющегося этим положением, непременно рождается мысль: «он не удовлетворяется им потому, что незнаком с ним». Рождается она вот как. Что совершенно удовлетворительно, то хорошо. Кому хорошее не кажется хорошо, тот не видит, что оно хорошо. Кто говорит о хорошем, не видя, что оно хорошо, тот не знает хорошего. Таким-то путем люди, удовлетворяющиеся чем-нибудь неудовлетворительным, при-

ходят к мысли, что неудовлетворяющийся этим неудовлетворительным не знает его. Это неизменно бывает во всех сферах жизни и мысли. Если, например, вы скажете пьянице, что пьянство нехорошо, он непременно возразит вам: «а попробуй-ка выпить, увидишь, что хорошо». Если вы предлагаете купцу, торгующему по нашим обычаям, продавать товары по неизменной цене, prix fixe, без торгу, без запрашивания, он непременно возразит вам: «это вы говорите потому, что нашего торгового дела не знаете». Помните ли, когда стали рекомендовать стетоскоп для распознавания грудных и других внутренних болезней, опытные практиканты возражали: «вы толкуете о стетоскопе потому, что лечить не умеете; нам стетоскоп не нужен»? Так и во всем; так между прочим и в философии. Поняли?

Или все еще непонятно для вас? Но если все еще непонятно для вас, то мне уже наскучило объяснять. Оставайтесь при своем непонимании. Значит, уж не судьба вам понимать что-нибудь в философии. Но чтобы не огорчать вас, я предположу, что вы, наконец, поняли, и скажу вам заключение из всего прочитанного вами, как будто вы поняли то, что прочли. Вот это заключение.

Теория, которую считаю я справедливой, составляет самое последнее звено в ряду философских систем[7] Если вы этого не знаете, а верить мне на слово не хотите, рекомендую вам взять какую вы хотите историю новейшей философии,— в каждой такой книге вы найдете подтверждение моим словам. По одному историку теория эта справедлива, по другому — несправедлива; но все они единодушно скажут вам, что эта теория действительно последняя, вышедшая из гегелевской точно так же, как гегелевская вышла из шеллинговой. Вы можете осуждать меня за то, что я признаю прогресс в науке и нахожу последнее слово ее самым полным и справедливым. Это как вам угодно. Быть может, по-вашему, старое лучше нового. Но допустите же возможность думать иначе.

Припомните теперь психологический закон, что всякого нововводителя рутинисты называют невеждою. Вы поймете, что основателя теории, которой держусь я, называют невеждою приверженцы предшествовавших теорий.

Но уже, надеюсь, и без всяких моих объяснений сами вы поймете, что когда известными людьми взводится известное порицание на учителя, то распространяется оно ими и на учеников, верных духу учителя; следовательно, должно распространяться и на меня в числе других.

Но вам все-таки, может быть, еще не ясно дело,— вам, вероятно, хотелось бы узнать, кто же такой этот учитель, о котором я говорю? Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он — не русский, не француз, не англичанин; не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауер, не Молешотт, не Фохт,— кто же он такой? Вы начинаете догадываться: «должно быть, Шопенгауер!» восклицаете вы, начитавшись статей г. Лаврова. Он самый и есть, угадали.

Но скажите сами: виноват ли я в том, что говорю с вами так свысока,— виноват ли я в этом, когда вы ставите себя относительно меня в такое положение, что я должен разъяснять вам подобные вещи? Если, например, вы скажете, что император Петр Великий победил Карла XII под Полтавой и если какой-нибудь господин закричит вам: «невежда, вы не знаете русской истории!» — вы ли будете виноваты в том, что станете отвечать этому господину таким тоном, каким вот я отвечаю вам?

Полюбуйтесь теперь на нравоучение, которое извлеку я для вас из окончания статейки «Отечественных записок». Она вопрошает, обращаясь ко мне:

«Вы говорите, что не читали этой статьи?» (то есть статьи г. Юркевича). «Правда ли это? Нет ли и здесь той скрытой, преднамеренной причины, чтоб оставить за собой мнение в публике о вашем глубокомыслии, так сильно пострадавшем? Мы, мол, этаких статей читать не станем... А ведь выходит, что вы прочли статью и знаете, что в ней кроется. Ваш ответ вы сами начинаете так: Вот капитальнейшая статья полемического отдела IV книжки «Русского вестника». Почему ж это вы узнали, что это капитальнейшее возражение на ваши умствования?» («Отечественные записки», июль, Русская литература, стр. 60, 61).

Вам кажется невероятно, что я не полюбопытствовал прочесть статью г. Юркевича. Очень верю, что для вас кажется это невероятно. Каждый человек измеряет других собою. Что ниже его или равно ему в других, то он понимает, возможности того он верит; что выше его способностей или развития, того он не понимает, тому он не верит. Доказать вам это? Извольте. В ком не пробудилось желанье учиться грамоте, тот не понимает, как это другие люди находят удовольствие в чтении книг. А мы с вами, успевшие стать выше этого человека, понимаем его мысли. Но мы с вами не занимались высшей математикой,— признайтесь, что вам не совсем понятно, как это люди могут с наслаждением сидеть по целым дням за формулами ин-

тегралов: это нам с вами кажется странно. Вот вам относительно степени развития способностей. Теперь относительно природной силы способностей. Человек с характером, способным к самопожертвованию, понимает самопожертвование; человек с сухим сердцем не понимает, как это люди могут жертвовать собой для других людей или для идей,— ему это представляется помешательством или лицемерием. Кто неловок от природы, тот решительно не понимает, как это люди могут держать себя изящно; и если он станет заботиться об этом, он станет держать себя еще нелепее прежнего; это значит, что он действительно не понимает, в чем же состоит изящество. Вот точно то же и наше с вами дело.

Считайте следующие мои слова самохвальством или чем вам угодно, но я чувствую себя настолько выше мыслителей школы г-на Юркевича, что решительно нелюбопытно мне знать их мысли обо мне,— точно так же, как, например, вам вовсе нелюбопытно знать, какие достоинства или недостатки находит в ваших критических статьях какой-нибудь почитатель романов г. Рафаила Зотова.

Теперь вообразите, что этот почитатель романов г. Рафаила Зотова напечатал разбор ваших статей; если у вас работы довольно много и для часов досуга есть другие планы развлечений или любимых занятий, то удивительно ли будет, что вы не прочтете эту статейку? Вот точно таково же мое отношение к статье г. Юркевича.

Вам кажется это невероятно? Что ж делать, вы только заставляете меня предполагать, что многое, мелкое для меня, для вас крупно.

Где же вам вести полемику, когда вы подводите себя под такие ответы?

Да, ведь у вас остается очень сильный аргумент: если я не читал статью г. Юркевича, то почему же я знаю, что она «капитальнейшая полемическая статья в 4 № «Русского вестника»»? Да ведь «Русский вестник» объявлял об этом сам в статье «Старые боги и новые боги», что вот, дескать, мы поместим извлечение из превосходной статьи г. Юркевича, которой придаем необыкновенную важность. В прочтенном мною предисловии к этому извлечению он опять повторял то же самое,— вот я в насмешку и назвал эту статью самою капитальною. А вы и того не поняли, что слово «капитальный» тут употреблено в насмешку? Что за наивность такая в вас: как же не знать, что если в полемике употребляются похвальные или торжественные выражения, то их надобно понимать за насмешку? Чтобы это вам было понятней, приведу пример: «восхитительная

статья «Отечественных записок» о г. Юркевиче прочитана была мною с благоговением к великой философской учености ее автора»,— ну вот попробуйте разобрать теперь, в каком это смысле я говорю, в прямом или в иронническом? Или и этого не разберете?

Удивляете вы меня своею проницательностью. Как вы не сообразили хоть следующего факта: беру я целых 9 страниц из статьи г. Юркевича, изобличающей мое невежество, и перепечатываю эти страницы в своей статье без всякого возражения,— ну как вы полагаете, сделал ли бы я это, если б не был очень твердо убежден, что перепечатываемые мною страницы слишком плохи? Если бы вы умели соображать, этот один факт уже показал бы вам, как слабы должны быть возражения, которые может придумать против меня философ такого направления, как г. Юркевич. [...]

Этюды. Популярные чтения Шлейдена. Перевод с немецкого профессора Московского университета *Калиновского.* Москва. 1861.

Шлейден приобрел себе известность в ученом мире своими трудами и открытиями по части ботаники и растительной физиологии; а публике не ученой он известен, как автор популярного сочинения «Растение и его жизнь». Ботаника, как видите, это его специальность; ею он занимался с успехом, приобрел себе порядочную репутацию, как знаток своего дела, отлично владел микроскопом и анатомическим ножичком, умел следить за растительною пылью и плодотворными крупинками,— кажется, чего же больше? И следовало бы ему всегда подвизаться на этом поприще, где он был как дома, как в своей тарелке; так нет же, область ботаники показалась ему тесною, он рванулся в другие области и другие сферы, воображая, что и здесь ему будет так же привольно, как в ботанике, и здесь он не скомпрометирует себя и сделается мастером дела. Следствием такого порыва и были многие неботанические статьи Шлейдена, несколько скандализировавшие его ученость, в том числе и настоящие «Этюды». Содержание их самое разнообразное: душа растений, мечтание естествоиспытателя в лунную ночь, Валленштейн и астрология, волшебство и суеверие, природа звуков и звуки в природе и т. д. Но самый интересный этюд это — Сведенборг и суеверие; уже одно имя Сведенборга невольно тянет внимание к этому этюду.

Сведенборг был человек весьма замечательный по своей странной судьбе и по тому перевороту, который случился в его голове. В свое время он был знаменитым, первоклассным ученым, отлично знал математику, астрономию, физику и другие естественные науки; не одна теоретическая сторона этих наук занимала его: он трудился над их практическим применением, писал практические и технические сочинения, сделал много разных улучшений в производствах и промышленности, усовершенствовал и почти совершенно преобразовал горное дело в своем отечестве, Швеции. Никак нельзя было ожидать от такого практического человека каких-нибудь мечтательных странностей. И вдруг в 1747 году он удалился от всех деловых занятий, стал часто уединяться и уверял всех, что душа и духовное тело его иногда отрешаются от естест-

венной плоти. В этом состоянии он будто бы мог путешествовать по планетам и другим небесным телам, мог видеть и слышать все, что там делается. Он издавал описания своих путешествий и в них рассказывал свои наблюдения; говорил, что духи на небесах ведут ученые диспуты о предметах, занимающих и нас, земнородных, что на некоторых планетах живут существа, не похожие на людей, имеющие шарообразную форму, а на других — совершенно схожие с людьми, но только не умеющие произносить букв «и» и «е»; видал он там и умерших людей, их занятия, образ жизни и развлечения, разговаривал и толковал с ними, беседовал с Лютером, Магометом и другими. Как ни странны были его рассказы и уверения, однакож, нашлись люди, которые от всей души поверили им, признали Сведенборга за духовидца и человека необыкновенного и образовали большую секту, которая существует и до сих пор, твердо веруя в истину слов Сведенборга, и которая, говорят, в последнее время даже сильно стала увеличиваться.— Сведенборг не единственное явление в своем роде; история представляет много личностей, подобных ему, которые тоже проповедывали и выдавали за истину разные сказки и несбыточные фантазии, говорили то, что совершенно противно здравому смыслу и всей природе человека. Однакож им верили, и многие из них приобретали многочисленные кружки и секты последователей. Что же это за личности такие, и что им за охота была проповедывать разные небылицы и уверять людей в очевидных нелепостях? «При размышлении о Сведенборге,— говорит Шлейден,— невольно рождается вопрос: был ли он плут, трунивший над простотою легковерных читателей, был ли обманщик, под личиною религиозного мечтательства набиравший последователей для корыстных целей? На это мы отвечаем с полною уверенностью: нет, он не был ни тем, ни другим». В доказательство он указывает на честный и благородный характер Сведенборга и на все его поведение. То же самое можно сказать и о всех других мечтателях, имевших последователей, подобно Сведенборгу: они не были ни обманщиками, ни плутами, отличались строгостью жизни, честным характером и безукоризненным поведением. Но этого мало: если бы Сведенборг и ему подобные действовали обманом, они бы не имели последователей. Человек, говорящий неискренно, если и может увлечь кого-нибудь, то, во всяком случае, не надолго; сети обмана очень непрочны; кто-нибудь из обманутых может рано или поздно заметить их и образумить других, и тогда — горе обманщику, доверие к нему теряется навсегда.

Легковерие удобно поддается обману, но так же удобно и оставляет его. Только искренность убеждения дает человеку силу, покоряющую ум и сердце другого. «Кто же был Сведенборг? — спрашивает Шлейден.— Скажем,— отвечает он же,— категорически: помешанный, но добродушный и совершенно безвредный. Если бы он клялся всем для него священным, что он подлинно видел и слышал все, о чем рассказывает, то это нисколько не мешает ему оставаться в то же время вполне честным и правдивым человеком». Это вполне может быть применено и к другим восторженным мечтателям вроде Сведенборга. Они твердо были убеждены в том, что проповедывали, и говорили то, что́ хотя и было в существе дела нелепостью и вздором, но им казалось истиной вследствие их умственного расстройства; все необыкновенные случаи, происходившие только в их расстроенном воображении, представлялись им, по той же причине, действительными фактами. Поэтому они твердо стояли за свою истину, готовы были жертвовать для нее всем, даже самою жизнью; это-то и сообщало их словам убедительность и силу, которой трудно было противиться. Но эта истина есть истина для них, людей, нездоровых умом; а для других, для здравого ума, она есть ложь, которой не следует верить, несмотря на все их клятвы и жертвы, так соблазнительно действующие на сердце. Строго говоря, они обманывали других, потому что обманывались сами, и, таким образом, вместо истины, или вместе с частицей истины, распространяли в большом количестве ложь и неправду, которая соблазняла и губила многих, так как она противоречила основным началам здравого смысла. Поэтому их никак нельзя назвать «безвредными»: они стесняли человеческий разум и колебали его доверение к своим силам. Разум видел в их словах противоречие своим законам и не мог принять их положений; но чувство, увлеченное искренностью проповеди, невольно влекло и его к принятию этих положений; он начинал сомневаться в верности своих законов, наконец, совершенно отказывался от них, подчиняясь чувству, и нередко приходил к такому заключению, что законы и требования чувства вернее и обязательнее законов и требований ума даже в той области, которая исключительно принадлежит уму. Все это должно было чрезвычайно замедлить развитие ума.— От чего же происходит то, что мечтатели несуществующие предметы признают действительными, и откуда у них самих берется уверенность в действительном бытии этих предметов? На это Шлейден отвечает так:

«Вследствие болезненного состояния (в чем бы оно ни заключалось, положим даже в одном только нарушении равновесия нервной силы в отдельных частях нервной системы, что легко может произойти от одностороннего упражнения известных групп нервных волокон) деятельность мозговых волокон, обусловливающая представление определенного предмета, может быть до того жива, что распространяется на зрительный нерв, и, как скоро это случилось, человек теряет единственную возможность отличать мысленные изображения от действительных. Тогда происходит то, что научно называют галлюцинациями, или обманами чувств. Человек видит несуществующие перед ним предметы так ясно и отчетливо, как действительные, слышит голоса там, где никто не говорит, а самого себя почитает в то же время лишь пассивным зрителем всей этой фантасмагории.

Это-то и было с Сведенборгом. Получивши уже в ранней молодости ложное направление, по своей юношеской впечатлительности и потому, что отец его тоже имел большую наклонность к мистической теософии, Сведенборг поддерживал это направление, предаваясь непомерным богословским занятиям и неосторожно углубляясь в философские исследования. Усиленный труд, ночные занятия, постоянное умственное напряжение должны были произвести, даже и в его железном организме, некоторые расстройства; наивно рассказанная им самим комическая сцена первого его видения наводит нас на причину умственного его расстройства, заключавшуюся в брюшных завалах. Поужинав плотно поздно вечером в одном лондонском трактире, к концу ужина он увидел перед собою облако, а вокруг комнаты ползающих отвратительных пресмыкающихся, змей и жаб. Вскоре затем этот мрак рассеялся, и тогда в углу комнаты, посреди ясного блестящего света, он увидал человека, который страшным голосом закричал ему: «не ешь так много!» (Этот же самый человек, давший столь неожиданно нашему великому ученому диэтетический совет, в последующих видениях являлся ему в образе самого бога.) Этими явными признаками сильных приливов крови к голове, повторявшихся потом при всех его видениях, началось его помешательство; оно продолжалось целые 27 лет, составляя в полном смысле слова счастие его жизни. Вследствие этого особенного вида умственного расстройства, он невольно принимал результаты пытливых своих исследований и собственного здравого разума за сообщения посторонних, им самим созданных образов; а потому он твердо верил во все чудесное и невероятное».

Это объяснение совершенно справедливо и в приложении ко всем мечтателям, принимавшим свои фантазии за истину. Если бы нам известна была жизнь каждого из них с такими исторически верными подробностями, какие мы знаем о Сведенборге, то мы могли бы найти объяснение и истолкование их фантазий в разных обстоятельствах и условиях их жизни, могли бы проследить, как они постепенно все более и более увлекались своими мечтами и как, наконец, дошли до того, что эти мечты им показались действительностью.

Но Сведенборг представляет еще одну особенность, отличающую его от других подобных ему мечтателей. Все они были совершенно помешанные, расстройство их умственных способностей было полное, они решительно на все смотрели с своей фантастической точки зрения, тогда

как Сведенборг рассуждал совершенно здраво, если дело не касалось специальных предметов его помешательства. Описывая свои путешествия по планетам, он сообщал совершенно верно те научные факты, которые известны были астрономии в его время, и говорил в этих случаях так, как сказал бы самый ученый и здравомыслящий астроном того времени; и затем уже передавал бред своей больной фантазии. Эта особенность Сведенборга тоже не редкость, ее часто можно замечать у самых ученых людей. Иной ученый об одном предмете рассуждает верно и судит здраво, но зато о других предметах говорит точно помешанный, высказывает нелепости похуже бредней Сведенборга. Шлейден говорит: «всем известно распространенное явление, что люди в некоторых, даже, может быть, во многих, отношениях весьма умные, о других предметах судят не особенно здраво, даже, быть может, нелепо. ⟨Гуго Гроций и Ньютон долго ломали себе голову над объяснением зверя в апокалипсисе[1].⟩ Тихо де-Браге смело измерял системы небесных тел, но робко возвращался домой, когда заяц перебегал ему дорогу». Стало быть, ученый Шлейден не может оскорбиться, и мы нисколько не унизим его ученых заслуг, если скажем, что и сам он принадлежит к разряду подобных людей и много смахивает на Сведенборга. В области ботаники он умный человек, о ботанических вещах он судит верно и здраво; но как только коснется других предметов, сейчас же пускается в такие фантазии, в которых замечается совершенное отсутствие здравого смысла. Читая его этюды о суеверии или о душе растений, никак не хочешь верить, чтобы их написал Шлейден, автор сочинения «Растение и его жизнь». В этих этюдах он пускается в какую-то странную мистику, по-видимому, что-то усиливается сказать, а между тем из его слов решительно ничего не выходит. Мы уверены, что даже переводчик его, профессор Калиновский, сам не понимал этих этюдов. Шлейден как будто вооружается против суеверия, но потом защищает его, старается найти какую-то разницу между суеверием верным и неверным; отвергает «столовых» духов, но горячо стоит за других духов, вызываемых магией, хотя и вооружается в то же время против волшебства; говорит, что наука естествоведения не разрушает суеверия и не может его разрушить, а потом сам же соглашается, что изучение законов природы разогнало целый облак суеверий. Вот на пробу несколько мест из «Этюдов» Шлейдена:

«Я придаю большое значение естествознанию, но говорю с полным убеждением, что естественные науки не избавили и никогда не избавят

нас от суеверия.— Мало того, я смело прибавляю, что суеверие неизбежно в каждом хорошем человеке, и только совершенно бездушный, углубляясь в себя, мог бы сказать, что совершенно свободен от суеверия» (стр. 173).

〈«Вера живет неизгладимо в каждом из нас: она принадлежит к условиям существования человека, чтоб он мог чувствовать не мертвую вещественность, но духовную жизнь.— Не вера в бессмертие в том мире, с сонмом духов, возвышает человека над окружающею его бесчувственною борьбою мертвых масс и сил, а убеждение, что лучезарный небесный мир нисколько не отличен от окружающего нас мира, но кажется различным только вследствие ограниченных понятий человека» (это что-то вроде Сведенборга). «Но бессмертие и свободное общение с духами, все это остается для человека вечно непостижимым. И как душа его чувствует потребность сознавать соприсутствие этого непостижимого, говорить о нем, то человек должен употреблять условные знаки, которые образно объясняют ему непостижимое. Побуждение нашего сердца заставляет нас в каждом явлении природы видеть высшее значение, искать за ней чего-то лучшего, нежели разумную законность природы» (стр. 175).

«Понятие о предопределении сильно и живо поддерживает моральное наше чувство в жизни, составляет твердую, самостоятельную основу нашего благочестия.

Для удержания этого чувства во всей его чистоте мы нуждаемся в подчинении себя закону изящного; всякий символ, следовательно, и в моральном смысле слова имеет эстетическое значение. Поэтому можно назвать нелепым суеверием всякое отвратительное, нелепое выражение наших высоких убеждений. В ворожбе и толковании знамений высказывается одно только убеждение, что мы постоянно находимся под эгидою всемогущей любви, которая все сочетала и устроила для нашего блага; но противно думать, что мы ищем и полагаем найти предостережение, одобрение и т. п. предсказания в кофейной гуще, в ничего не значащих формах расплавленного свинца или в засаленных картах оборванной пиценки, хотя астрология заслуживает с этой стороны уже меньшего порицания. Когда простосердечный селянин, в молчаливом кружке своей семьи, рано утром, сняв с седых волос шапочку, набожно читает: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», то каждый рассудительный человек сочувствует такой живой вере. Читая же в жизни Стиллинга историю о том, как доктор, погрязший по уши в долгах от беспорядочного домохозяйства, падая с женою на колени, просит небо, как потом, получив с почты нежданные деньги, он приписывает это непосредственному действию своей молитвы,— мы отворачиваемся с отвращением от такого суеверия» (стр. 179—180).〉

«Мы можем делать различие между неизвинительным и извинительным, между грубым и утонченным суеверием; но мы не можем освободиться от него вовсе, если не хотим отказаться от всей силы моральных идей» (стр. 286). «Мы видим постоянно в истории, что, по мере возрастающих человеческих знаний, мало-помалу распадается и превращается в прах фантастическое громадное здание суеверия» (значит, наука разрушает суеверия). «Но вообще я сомневаюсь, чтоб в настоящее время наука могла иметь влияние на подобные вещи (?). Но не существовало еще привидение, которое бы устояло против полицейской власти, как скоро она преследовала его неподкупно. Я, с своей стороны, отделался бы от докучливого привидения, прося помощи не у заклинателей духов и философов, но у современных Фуше» (то есть министров полиции; стр. 311).

Отчего же происходит такая странность у людей ученых и умных вообще, отчего они о некоторых предметах

рассуждают умно и здраво, а о других совершенно бестолково и нелепо? На этот вопрос Шлейден отвечает так:

«Ни одна часть нашего тела не имеет такого сложного устройства и такой чувствительности, как нервная система. Сотни тысяч волокон, составляющих нервную систему, может быть, не более одного раза в течение тысячелетия имеют такое совершенное строение и развитие у человека, что все вместе служат одинаково и превосходно для отправлений духа. Большею частью большие или меньшие партии их остаются недоразвитыми; вследствие этого дух не может, сообразно высшему своему развитию, проявляться нормально в соответственных частях; может случиться, что это явление будет еще заметнее, чем более развиты другие части к большему ущербу общей гармонии. На этом основывается общеизвестное явление, что люди умные о некоторых предметах судят не здраво, даже нелепо».

Этим можно объяснить и странности самого Шлейдена; видно, у него меньшие ботанические партии нервов развиты хорошо, а большие, так сказать, философские, остались недоразвитыми; вследствие чего он и запутался во мраке суеверия и даже считает его необходимым.

ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСА

I

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

С.-Петербург, 5 февраля.

Милостивый государь!

Вы недовольны нами. Это пусть будет как вам угодно: над своими чувствами никто не властен, и мы не ищем ваших одобрений. У нас другая цель, которую, вероятно, имеете и вы: быть полезными русскому народу. Стало быть, не от нас вы и не от вас мы должны ждать настоящей признательности за ваши и наши труды. Есть для них судья вне вашего круга, очень малочисленного, и даже нашего круга, который хоть и гораздо многочисленнее вашего, но все-таки составляет лишь ничтожную частичку в десятках миллионов людей, благу которых мы и вы хотели бы содействовать. Если бы этот судья мог произносить с сознанием дела оценку вашим и нашим работам, всякие объяснения между вами и нами были бы излишни.

К сожалению, этого нет. Вас он знает по имени, но, будучи совершенно чужд вашего круга понятий и вашей обстановки, решительно не знает ни ваших мыслей, ни причин, руководящих вашими действиями; а нас он не знает даже и по имени. Согласитесь, милостивый государь, что такое положение дел фальшиво. Работать для людей, которые не понимают тех, кто работает для них,— это очень неудобно для работающих и невыгодно для успеха работы. Думаешь, что какое-нибудь дело принесет пользу,— и видишь, что оно остается неисполненным по недостатку сочувствия в людях, для которых предпринято. Вы испытывали это при каждом хорошем вашем деле. То же очень часто испытывали и мы. Это печалит и под конец сердит. Становишься мнителен и раздражителен. Не имеешь духа объяснить свою неудачу настоящею ее причиною — недостатком общности в понятиях между собою и людьми, для которых работаешь; признать эту причину было бы слишком тяжело, потому что отняло бы всякую надежду на успех всего того образа действий, которому следуешь; не хочешь признать эту настоящую причину и стараешься найти для неуспеха мелочные объяснения в маловажных, случайных обстоятельствах, изменить ко-

торые легче, чем переменить свой образ действий. Таким образом, вы сваливаете вину своих неудач на нас; некоторые из нас винят в своих неудачах вас. Как хорошо бы оно было, если б эти некоторые из нас или вы были правы в таком объяснении своих неуспехов! Тогда задача разрешилась бы очень легко устранением внешнего препятствия успеху дела. Но грустно то, что никакие наши действия против вас или ваши против нас не могут привести ни к чему полезному. Апатичен остается народ: какой же результат могли бы произвести ваши заботы или наши хлопоты о [его] пользах, хотя бы вы или мы и остались на поле действия одни?

Вы говорите народу: ты должен итти вот как; мы говорим ему: ты должен итти вот так. Но в народе почти все дремлют, а те немногие, которые проснулись, отвечают: давно уж раздаются призывы к народу, чтобы он шел так или иначе, и много раз пробовал он слушать призывов, но пользы от них не было. Звали народ выручать Москву от поляков[1],— народ пошел, выручил, и оставлен был в положении, хуже которого не было прежде и не могло бы быть при поляках. Потом ему сказали: выручай Малороссию; он выручил, но ни ему, ни самой Малороссии не стало от этого лучше[2]. Ему сказали: завоюй себе связь с Европой,— он победил шведов и завоевал себе вместе с балтийскими гаванями только рекрутчину и подтверждение крепостного права[3]. Потом, по новым призывам, он много раз побеждал турок, захватил Литву, разрушил Польшу и опять-таки не получил себе никакой пользы. Двинули его против Наполеона: он завоевал своему государству первенство в Европе, а сам был оставлен все в прежнем положении. Такую же пользу он получал себе и от призывов, которые были после. Зачем же ему увлекаться теперь какими бы то ни было новыми призывами? Он не ждет себе от них другой пользы, как и от прежних.

Виноваты ли в этом недоверии народа вы или мы, нынешние люди? Нынешнее расположение народных мыслей устроилось долгим ходом событий, бывших раньше вас и нас. Постараемся понять это.

Истина одинаково горька для вас и нас. Народ не думает, чтобы из чьих-нибудь забот о нем выходило что-нибудь действительно полезное для него. Мы все, отделяющие себя от народа какими-нибудь именами,— именем ли власти, именем ли того или другого привилегированного сословия,— мы все, предполагающие у себя какие-нибудь особенные интересы, различные от предметов народного желания,— интересы ли дипломатического и военного

могущества, или интересы распоряжения внутренними делами, или интересы личного нашего богатства, или интересы просвещения,— мы все смутно чувствуем, какая развязка вытекает из этого расположения народных мыслей. Когда люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел», они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел. Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее. Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее, даже тот из наших интересов, который мы любим выставлять как единственный предмет наших желаний, потому что он совершенно чист и бескорыстен,— интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию.

Потому мы также против ожидаемой попытки народа сложить с себя всякую опеку и самому приняться за устройство своих дел. Нас так ослепляет страх за себя и свои интересы, что мы не хотим даже рассуждать, какой ход событий был бы полезнее для самого народа, и мы готовы для отвращения ужасающей нас развязки забыть все: и нашу любовь к свободе и нашу любовь к народу.

Под влиянием этого чувства обращаюсь к вам, милостивый государь, с изложением моих мыслей о средствах, которыми можно отвратить развязку, одинаково опасную для вас и нас.

Делая это, я понимаю, что делаю.

Я изменяю народу.

Изменяю потому, что, руководясь личными опасениями за вещь более драгоценную для меня, нежели для народа,— за просвещение, я уже не думаю о том, полезна ли для народа забота о разрешении запутанностей положения русской нации вашими и нашими усилиями, а, напротив, не выиграл ли бы народ чрез независимое от нас занятие национальными делами больше, чем от продолжения наших хлопот о нем. В этом случае, для своей выгоды, я подавляю в себе убеждение, что ничьи посторонние заботы не приносят людям такой пользы, как самостоятельное действование по своим делам. Да, я изменяю своему убежде-

нию и своему народу; это низко. Но мы принуждены были делать уже столько низостей, что одна лишняя ничего для нас не значит.

А я предчувствую, что она будет совершенно лишнею, что останется недостигнутою та жалкая цель, для которой изменяю я народу. Никто не в силах изменить хода событий. Одни хотели бы, но не имеют средств; у других есть средства, но не может быть желания.

Из-за чего же я становлюсь изменником народу, когда сам знаю, что не помогу ни вам, ни себе? Не лучше ли продолжать молчание? Да, было бы лучше; но презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня. Я не в состоянии держаться на точке зрения житейского благоразумия, с которой очень ясно вижу, что всякие объяснения напрасны; едва я поднимаюсь на нее, меня сбивает с толку обыкновенная наша писательская мысль: «Ах, если бы можно было объяснить дело! оно уладилось бы». Поэтому я и молчал более двух лет только оттого, что не имел возможности бить воздух словами, и, как видите, возобновляю этот пустой труд с первой же минуты, как мне показалось, что можно мне возобновить его.

Почему мне так показалось? В какой журнал, в какую газету я ни загляну, везде я нахожу признаки того, что как будто бы почувствовалась надобность в наших объяснениях. Очень вероятно, что признаки эти обманчивы. Но пристрастие добиваться хороших результатов посредством объяснений так сильно в писателях, что я увлекаюсь им.

Это увлечение неизвинительно после стольких опытов. Но я усиливаюсь прикрыть в собственных глазах жалкую забавность его, твердя себе о фактах, которые действительно таковы, что вы, милостивый государь, действительно могли бы желать объяснения. Вот некоторые из них. Бывшие помещичьи крестьяне, называемые ныне срочно-обязанными[4], не принимают уставных грамот; предписанное продолжение обязательного труда оказалось невозможным; предписанные добровольные соглашения между землевладельцами и живущими на их землях срочно-обязанными крестьянами оказались невозможными; будучи поставлены в безысходное положение этою неисполнимостью предположенного решения, помещики ропщут и предъявляют требования, о которых не отваживались говорить не больше как год тому назад; в государстве появилось и усиливается общее безденежье; курс падает, что равнозначительно возвышению ценности звонкой монеты сравнительно с бумажными деньгами, или, что то

же, падению ценности бумажного рубля; одних этих фактов внутренней жизни русского народа уже достаточно, и я не имею надобности касаться ни многих других значительных фактов ее, ни других не менее важных явлений, принадлежащих отношениям русского народа к жизни других народов, входящих ныне в состав одного с ним целого.

Примите, милостивый государь, уверение в искренности чувств, склонивших вступить в эти объяснения вашего покорнейшего слугу, каким имею честь, и проч.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

6 февраля.

Источником тех затруднений во внутренней жизни русского народа, о которых я упомянул в конце первого письма, считается многими, не только в вашем, милостивый государь, но и в нашем кругу, так называемый крестьянский вопрос. Я не имею нужды доказывать вам, м. г., что вы не ошиблись, обратив на него первое ваше внимание. Но смею заключать из некоторых ваших слов, что не излишним будет разъяснить вам, почему он приобрел такую важность в ваших глазах. Часто человек не замечает отношения внешних побуждений к его собственным действиям, а при этой неизвестности он может ошибаться и относительно характера своих действий: может казаться ему возникшим из его воли такой факт его жизни, который произведен не зависевшими от него внешними обстоятельствами.

Необходимость заняться крестьянским вопросом наложена была на Россию ходом последней нашей войны. В народе ходил слух, что император французов требовал уничтожения крепостного права и согласился подписать мир лишь тогда, когда внесена была в договор тайная статья, постановлявшая, что крепостным крестьянам дается воля. Не знаю, мил. гос., известна ли вам эта молва, принимавшаяся за истину всем нашим народом; но если она достигала вас, вы, конечно, еще лучше моего знали совершенную несправедливость столь странного мнения. Напрасно было бы, однакоже, приписывать его только невежеству и легковерию простолюдинов; от этих качеств произошло только то, что инстинктивное предчувствие неизбежной связи событий вылилось у народа в грубую форму, нелепость которой очевидна не только для вас, мил. гос., но и для каждого, имеющего понятие о международных отношениях. А предчувствие, выразившееся в столь

смешном для нас виде, было верно; оно говорило народу, что Крымская война сделала необходимостью освобождение крестьян. Связь этих двух фактов такова: военные неудачи обнаружили для всех слоев общества несостоятельность того порядка вещей, в котором оно жило до войны. Я не имею надобности перечислять вам, мил. гос., те силы, которые могуществом своим должны были, по-видимому, обеспечить торжество русского оружия; вам лучше, нежели мне, известна громадность средств, которыми располагала тогда Россия. Многочисленность наших войск была безмерна; храбрость их несомненна. При тогдашнем непоколебимом и, смею сказать, беспечном до слепоты доверии к нашей денежной системе и к нашим кредитным учреждениям и при нашем порядке установления налогов не могло, по-видимому, быть недостатка в денежных средствах. Потому русское общество нимало не превосходило меру возможного, когда ожидало в начале войны, что мы возьмем Константинополь и разрушим Турецкую империю. Когда война получила совершенно иной ход, этого разочарования нельзя было приписать ничему, кроме непригодности механизма, располагавшего нашими силами. Открылась надобность изменить неудовлетворительное устройство. Самою заметною чертою его считалось тогда крепостное право. Конечно, оно было только одним частным приложением принципов, на которых был устроен весь прежний порядок; но внутренней связи этого частного факта с общими принципами большинство нашего общества тогда еще не понимало. Потому общие принципы прежнего порядка были оставлены в покое и вся реформационная сила общества обратилась против самого осязательного из его внешних применений.

Надобно заметить вам, м. г., что это настроение общественного мнения страдало самою неудачною непоследовательностью. Крепостное право, конечно, заключало в себе возможность многих злоупотреблений, и вам очень хорошо известны случаи жестокости или алчности, или циинического насилия, проистекавшие из крепостного права. Но при всей их многочисленности надобно согласиться с словами бывших адвокатов крепостного права, что все эти вопиющие нарушения закона были исключением из общего правила и что огромное большинство помещиков составляли люди вовсе не злые и не преступавшие прав, какие давались им над крестьянами законом или утвердившимся под влиянием закона обычаем. Тяжела была для крепостных крестьян и вредна для государства законная сущность крепостного права. Но она сообразна была всему

порядку нашего устройства; потому сам в себе он не мог иметь силы, чтобы отменить ее. А между тем общество предполагало отменить крепостное право силою старого порядка.

Эта ошибка, столь заметная ныне для всех, показывает, что причина, заставившая общество приняться за опыт отменения крепостного права, была недостаточно сильна для возбуждения в обществе совершенно отчетливых понятий об основаниях прежней его жизни. Да и действительно, вы лучше меня знаете, м. г., что Крымская война, при всех своих неудачах и при всей своей обременительности, не нанесла России удара слишком тяжелого. Неприятель едва коснулся наших границ на двух окраинах, далеких от коренных русских обитателей; можно сказать, что чувствительно было его прикосновение даже только к одной окраине, Черноморской, потому что стоянка союзного флота под Петербургом, бомбардирование Свеаборга и мелкие высадки на финляндском берегу не могли считаться серьезными нападениями и доставляли нам больше поводов к насмешкам, нежели к основательным беспокойствам. Но что же такое Крым, Таганрог и Керчь для жителей Великой России? Это — отдаленные колонии, о которых коренной русский никогда много не думал. Притом же, благодаря характеру местности и своему незнанию, отчасти, быть может, и по расчету императора французов, неприятель и в этой окраине не проникал далее нескольких верст от берега. Самые его победы над нами не были окончательными разгромами военных сил, организованных старым порядком. Армии наши отступали, но не бежали; ослабевали, но не уничтожались и все еще сохраняли твердость и могущество, внушавшие уважение неприятелю. Не могло исчезнуть и в нас уважение к старому порядку: оно также только поколебалось, но не пало.

Такова была степень глубины впечатления, обратившего нас к заботам о реформах. Оно было мелко, поверхностно. Англо-французы (как мы тогда называли союзников) прорвали небольшую прореху в нашем платье, и мы думали на первый раз, что надобно только починить ее; но, начав штопать, мы постепенно замечали ветхость материи на всех местах, до которых приходилось нам дотрогиваться; и вот вы видите теперь, милостивый государь, что все общество начинает высказывать потребность одеться с ног до головы в новое: штопать оно не хочет. Говоря проще, наше общество, занявшись отменением крепостного права, принялось за дело очень серьезное. Принялось оно за него

с легкомысленною и беспечною недальновидностью, думая, что отделаться от этой задачи можно столь же незначительными переделками прежних внутренних наших трактатов, сколь ничтожны были переделки прежних дипломатических трактатов, оказавшиеся достаточными для заключения Парижского мира[5] Но внутреннее дело вышло не таково, как внешнее. Над ним поневоле стало учиться наше общество серьезности. Пришлось обществу много думать, и вы видите теперь, м. г., как широко развивается труд пересоздания, которому первоначально поставлялись такие узкие границы.

И, странное дело, м. г., как бывает иногда верен инстинктивный, почти бессмысленный шопот людей, которые громко и сознательно говорят совершенно иное. Вы можете припомнить теперь, что при самом же начале крестьянского дела поднялась темная молва, предсказывавшая то самое движение дворянства, которое обнаруживается теперь.

Молва об этом движении, возникшая при самом же начале крестьянского дела, казалась пустою и смешною людям, судившим о будущих событиях не на основании самого характера затронутых этим делом общественных отношений, а только по прежним действиям дворянства при прежних отношениях, теперь изменившихся. Они видели, что дворянство всегда являлось робким в делах с существующею властью, искало себе выгод только от угождения ей, и потому ожидали, что оно не выкажет энергии и по вопросам, возникавшим из уничтожения крепостного права. Они видели, что дворянство очень пристрастно к своим привилегиям, и потому не ожидали, чтобы оно могло предъявить гражданские требования. Почти все просвещенные люди считали его бессильным для гражданской деятельности. Но они забывали принимать в расчет логическую силу событий, которая дает смелость боязливым, политический ум людям, не думавшим прежде ни о чем, кроме мелких личных расчетов. Осмеливаюсь думать, судя по некоторым вашим словам, что и вы, м. г., разделяли это заблуждение. Этого нельзя ставить в порицание вам, потому что ошибались вместе с вами почти все наши передовые люди. Но тем не менее ошибка раскрывается теперь фактами, и, научаемые опытом, все теперь могут видеть, что с самого начала надобно было ожидать исполнения той молвы, которая показалась им пустою болтовнею раздраженных крепостников.

В самом деле, каково было положение фактов при начатии крестьянского дела? Существовали четыре главные

элемента в этом деле: власть, дотоле имевшая бюрократический характер; просвещенные люди всех сословий, находившие нужным уничтожение крепостного права; помещики, желавшие отсрочить это дело из опасения за свои денежные интересы, и, наконец, крепостные крестьяне, тяготившиеся этим правом. В стороне от этих четырех элементов находилась вся остальная половина населения — государственные крестьяне, мещане, купцы, духовенство, то большинство беспоместных чиновников, которое не получало больших выгод от бюрократического порядка. Из всех этих сословий, как и из самих помещиков, некоторые люди,— наиболее просвещенные,— составляли одну партию, которую выше назвали мы «партиею просвещенных людей» и которая стала в последние годы называться у нас либеральною партиею. Но здесь мы говорим не об этих отдельных лицах, более или менее возвысившихся над своими сословными понятиями, более или менее думавших об общественных делах; мы говорим здесь о той массе всех сословий, кроме крепостного и дворянского, которая знала только свои сословные или личные расчеты. О ней мы говорим, что она стояла в стороне от крепостного вопроса, когда он начинал разыгрываться. Не имея расчета поддерживать крепостное право, она готова была по естественному человеческому чувству симпатизировать его уничтожению; но, по своей неопытности в общественных делах, еще не замечала, что собственными своими интересами она будет принуждена принять участие в нем. Это едва начинает обнаруживаться для нее только теперь, и, с вашего дозволения, м. г., я коснусь впоследствии как неизбежности участия этой массы остальных сословий в крестьянском деле, так и влияния, какое окажет она на ход событий своим неизбежным вмешательством. А теперь, сделав эту оговорку о первоначальном безучастии других общественных элементов, мы займемся рассмотрением первоначальных отношений между четырьмя элементами, принимавшими в нем участие с самого начала.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

13 февраля.

На шесть дней был я оторван мелкими хлопотами своего журнального ремесла от беседы с вами, м. г., о деле, которое, однакоже, для меня гораздо важнее всех личных моих дел, не только мелких, но и важных. Вот как идет наша жизнь: некогда бывает по целым неделям, месяцам

удосужиться ни на четверть часа для мыслей о предмете, который сам ставишь выше всего. Упоминаю об этих недосугах не для того только, чтобы выставить их своим извинением перед вами; м. г., в недостатках моего изложения: те же самые недосуги ставлю я оправданием и для вас, м. г., в том, что вы, как заметно по многим вашим выражениям, не углублялись достаточно в предмет, нас занимающий. В самом деле, м. г., несмотря на всю разницу вашего положения от моего, в отношении к недосугам разницы между нами мало, да и у всех людей жизнь с этой стороны идет почти так же. Вы имеете очень большие доходы, я — довольно умеренные, другой — очень малые; вы живете очень богато, я — так себе, другой и вовсе бедно; вас повсюду встречают с большим почетом, меня — так себе, другого и вовсе с пренебрежением. А недосугов почти у всех людей одинаковое количество. И у вас, и у меня, и у всякого другого пропасть времени уходит на пустые разговоры, которых ни избежать нельзя, ни вести не стоит; на семейные дела, не имеющие никакой связи с общественными; на развлечения, от которых нельзя отказаться, хотя и ни к чему они не нужны: один из нас таскается по театрам, другой сидит за вистом, третий читает легкие книги, четвертый трется в светском обществе,— словом, каждый по-своему, а все-таки каждый как-нибудь убивает время попусту. И за всеми этими мелочами, неважными, но необходимыми, мало остается времени на серьезные занятия. А в серьезных занятиях опять-таки у каждого дня своя забота, мимолетная, ни к чему прочному не ведущая, а все-таки безотлагательная. Так и летит время, и когда увидишь надобность взяться за дело действительно важное, не имеешь досуга ни приготовиться к нему, ни сообразить его и начинаешь почти что на-авось, и ведешь его на-авось, и сам не заметишь, как оно от этого веденья на-авось выходит вовсе не тем, чем ждал его видеть. С полною готовностью применять к вам все извинения, вытекающие из этого обыкновенного хода нашей жизни, прошу и вас, м. г., столь же снисходительно, по той же причине, смотреть на недостатки моей корреспонденции.

Поверьте, я ценю всю важность принятой мною на себя обязанности разъяснить вам положение наших дел, и сам первый жалею о том, что могу беседовать с вами лишь урывками, спеша, кое-как; но что же делать, когда и у меня, и у вас слишком мало времени для основательных занятий.

Прежнее письмо к вам я кончил тем, что из характера и взаимных отношений четырех общественных элементов, с самого начала участвовавших в крепостном вопросе, надобно было предвидеть, к чему пойдет это дело. Мы видели, что тут было четыре элемента: власть, просвещенные люди, или либеральная партия, дворянство и крепостные крестьяне. Подумаем о роли каждого из них при первоначальном постановлении крепостного вопроса.

Крепостное право было создано и распространено властью; всегдашним правилом власти было опираться на дворянство, которое и образовалось у нас не само собою и не в борьбе с властью, как во многих других странах, а покровительством со стороны власти, добровольно дававшей ему привилегии. Почему же власть принималась за отменение той из установленных ею самой привилегий, которою наиболее дорожило дворянство? Ответ уже дан во втором моем письме. Неудачная политика, подвергнувшая страну несчастной войне, доставила силу так называемой либеральной партии, требовавшей уничтожения крепостного права. Таким образом, власть принимала на себя исполнение чужой программы, основанной на принципах, не согласных с характером самой власти.

Из этого разноречия сущности предпринимаемого дела с качествами элемента, бравшегося за его исполнение, должно было произойти то, что дело будет исполнено неудовлетворительно. Источником неизбежной неудовлетворительности был привычный, произвольный способ ведения дела. Власть не замечала того, что берется за дело, не ею придуманное, и хотела остаться полною хозяйкою его ведения. А при таком способе ведения дела оно должно было совершаться под влиянием двух основных привычек власти. Первая привычка состояла в бюрократическом характере действий, вторая — в пристрастии к дворянству.

Дело было начато с желанием требовать как можно менее пожертвований от дворянства. А бюрократия по самой сущности своей всего более занимается формалистикою. Потому и результат оказался такой, что изменены были формы отношений между помещиками и крестьянами с очень малым, почти незаметным изменением существа прежних отношений. Этим думают удовлетворить помещиков.

Но тотчас же оказалось, что решение сделано было неудобоисполнимое. Предполагалось сохранить сущность крепостного права, отменив его формы. Но без форм нельзя сохранить и сущности. И что же вышло? Помещики увидели себя не в состоянии пользоваться выгодами, ко-

торые были оставляемы за ними; выгоды эти исчезали без всякого вознаграждения для них, потому что власть и не предполагала, чтобы выгоды эти на самом деле исчезали.

А между тем дворянство видело, что власть старалась сделать для него все, что могла. Из этого естественно следовал вывод: итак, власть не в состоянии ничего сделать для сохранения собственности помещиков или для их вознаграждения. А из этого вывода еще легче следовал другой: итак, помещики должны сами позаботиться о сохранении той части собственности, какая может остаться за ними, и о получении вознаграждения за ту часть, которую теряют. А из этого вывода неизбежно следовал третий: но до сих пор помещики держались не собственною силою, а постороннею опорою; теперь, когда прежняя опора оказывается слишком слаба, надобно им отыскать для себя новые опоры. Выбор тут был незатруднителен.

Мы видели, что при начале крепостного вопроса масса других сословий, до которых не касался он прямо, оставалась равнодушна к нему. Но нельзя ей было сохранить равнодушие, когда она увидела развязку, приготовленную бюрократическим решением дела. Крепостные крестьяне не поверили, чтобы обещанная им воля была ограничена теми формальными переменами, какими ограничило ее бюрократическое решение. Из этого повсюду произошли столкновения между крепостными крестьянами и властью, старавшеюся провести свое решение. Произошли сцены, которых нельзя было видеть хладнокровно. Массою других сословий овладело сострадание к крепостным крестьянам. А между тем крепостные крестьяне, несмотря на все внушения и меры усмирения, остались в уверенности, что надобно ждать им другой, настоящей воли. От этого их расположения должны будут произойти новые столкновения, если надежда их не исполнится. Таким образом, страна подверглась смутам и опасается новых смут. А смутное время бывает тяжело для всех. Из этого стала развиваться в массе других сословий мысль, что нужно изменить решение крестьянского вопроса для отклонения смут. Раз будучи принуждены обстоятельствами думать об общественных делах, все сословия, естественно, перешли от частного вопроса, давшего их мыслям такое направление, к общему положению вещей и, разумеется, не затруднились сообразить, согласно ли оно с их собственными выгодами. Тотчас же заметили они, что находятся в настоящем порядке черты, одинаково невыгодные для всех сословий, и соединились в желании изменить эти черты.

Вам известно, м. г., каких общих перемен стали желать все сословия, которых прямо не касался частный вопрос о крепостном праве. Все они чувствовали обременение от произвольной администрации, от неудовлетворительности судебного устройства и от многосложной формалистичности законов. Дворянство точно так же страдало от этих недостатков, как и другие сословия. Таким образом, само собою открывался ему способ найти нужную для него опору. Оно сделалось представителем стремления к реформам, нужным для всех сословий.

Вот в каком положении находятся ныне дела. После сделанных мною объяснений могу ли я надеяться, м. г., что вы избежите двух заблуждений, последствия которых были бы прискорбны.

Во-первых, м. г., вы не припишите каким-либо частным сословным побуждениям дворянства тех желаний общей реформы, представителем которых оно теперь выступает. Эти желания не имеют ничего общего с раздражением некоторой части дворянства на власть за уничтожение крепостного права. С его уничтожением огромнейшее большинство дворянства уже совершенно примирилось, как с фактом безвозвратным. Если остаются в дворянстве особенные сословные желания по этому делу, не принадлежащие вполне и всем другим сословиям, то эти желания относятся только к размеру выкупа. Тут возможен спор, и еще неизвестно, какой размер выкупа будет одобрен или допущен другими сословиями. Но совершенно иной характер имеют желания дворянства относительно предметов, выходящих за пределы этого частного вопроса. В мыслях о реформе общего законодательства, об основании администрации и суда на новых началах, о свободе слова дворянство только является представителем всех других сословий, и представителем их выступило оно даже не потому, чтобы в нем сильнее были эти желания, чем в других сословиях, а единственно потому, что оно одно имеет при нынешнем порядке организацию, дающую возможность выражать желания. Если бы другие сословия имели законные органы для выражения своих мыслей, они высказались бы по этим предметам в том же самом смысле, как и дворянство, только с большею решимостью, потому что всякое другое сословие еще более дворянства чувствует обременительность тех общих недостатков нынешнего устройства, об устранении которых говорит дворянство. Если вы, м. г., спросите купечество или духовенство, мещан или крестьян, или даже массу чиновников (за исключением немногих чиновников, которым нынешний по-

рядок выгоден), вы услышите от каждого из этих сословий те же самые мысли о законодательстве, администрации и суде.

Если бы вы пожелали убедиться в этом, вы отстранили бы от себя всякую возможность другого важного заблуждения. Вы совершенно освободились бы от мысли, что можно принимать какие-нибудь меры против общего стремления, начинающего обнаруживаться. Его проявления кажутся еще слабыми, но ведь это потому только, что они еще первые. Присмотревшись к делу, вы заметите, что сила их очень быстро растет; очень жаль, что, при отдаленности вашей от маленьких людей, вы лишены удобств лично делать эти наблюдения. А мы,— наблюдающие вблизи жизнь всех слоев общества, кроме вашего круга,— мы видим очень быстрое распространение мыслей, о которых я имею честь беседовать с вами, и замечаем, что общество уже недалеко от решительного или единодушного заявления их.

Этим кончаю я, м. г., общий очерк настоящего положения дел. Для многих он был бы уже совершенно достаточен. Но я никак не смел надеяться, что он покажется достаточно полон для вас, мало занимавшегося рассмотрением дел с той точки зрения, которая одна только разъясняет их. Для вас этот краткий очерк может иметь только значение предисловия, перечисляющего предметы, о которых далее будет говориться подробнее, показывающего надобность заняться ими и обещающего, что автор постарается разъяснить их вам.

Мы видели, что главным пунктом, около которого стало группироваться все остальное, было дело об уничтожении крепостного права. Я займусь им в следующем письме.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

13 февраля.

Каким неровным током идет наша жизнь, м. г.! Шесть дней не мог я улучить минуту для беседы с вами, а ныне вот в один день отправляю уже второе письмо. Так и во всем важном, как в этом мелочном случае. Иной раз тянутся долгие годы, и не заметно никаких перемен в существующих отношениях. А то приходит такое время, что беспрестанно совершаются новости и вся обстановка жизни быстро переделывается. Возьмите, например, прошлый год. Смуты в Варшаве, смуты внутри России, загадочное появление программы[6], порицаемой одними, хвалимой

другими, но принимаемой к сведению всеми, небывалое движение молодежи в самом Петербурге, странная развязка этого движения[7], слухи о предполагаемых требованиях дворянства, приготовления его к занятию общественными вопросами,— вот сколько в один год новостей, из которых каждая передвигала общество все дальше и дальше по одному направлению. Едва ли кому был приятен какой-нибудь из этих сюрпризов; но они все-таки случались, производимые натянутостью отношений. Не следует ли позаботиться о том, чтобы избавиться от их повторения, а избавиться от них можно только прекращением натянутости отношений. А чтобы прекратить ее, надобно разобрать, отчего отношения сделались натянуты. Мы начнем разбором самого главного и самого натянутого отношения, т. е. вопроса об освобождении крепостных крестьян.

Я не знаю, м. г., имеете ли вы точное понятие о свойствах вещи, называемой бюрократическим порядком. Но если вы дозволите, я объясню вам натуру этой вещи одним примером.

Целый угол моей комнаты завален многотомным изданием «Материалов Редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости»[8]. Конечно, только очень немногие люди прочитали весь этот сборник журналов и протоколов, постановлений и докладов, справок и соображений; к огромному же числу людей, принимавшихся за это чтение и покинувших его, принадлежу и я. Не знаю, по каким причинам покидали чтение этих материалов другие, но про себя могу сказать, что я был остановлен не многотомностью издания и не сухостью бесчисленных подробностей,— по такому важному делу можно бы жадно прочесть не десятки, а сотни томов,— меня остановило совершенно другое обстоятельство, отпечатанное на первых же страницах 1-го тома, так что я не дочитал бы «Материалов», если б они составляли всего одну тоненькую брошюрку, страничек во сто. Вот это обстоятельство, сделавшее для меня ненужным тратить время на чтение «Материалов»: Редакционные комиссии открыты были 4 марта 1859 г.; это первое заседание было только приготовительным, и журнал его занимает с небольшим одну страницу; для действительного начала своих занятий Редакционные комиссии собрались на другой день, 5 марта, и вот что мы читаем в самом же начале журнала этого второго заседания:

«Председатель предложил на обсуждение Комиссий извлеченные из печатных и литографированных его мнений некоторые основные мысли, которые, по его убеждению, не бесполезно было бы принять к соображению, а именно...».

Предложения председателя состояли из 9 пунктов: переписывать здесь все их было бы излишне, потому что некоторые имели только формальную важность, другие относились к предметам, которые уже были поставлены вне круга вопросов, предоставленных рассмотрению Комиссий. Обращаю внимание только на следующие пункты, относившиеся к вопросам, в которых мнение Комиссий не было, по-видимому, связано ничем. Вот они:

«2) Одновременно с личным освобождением крестьян необходимо дать им возможность *приобретать в собственность от помещиков, по добровольному с ними соглашению, достаточное количество земли для упрочения своей оседлости и обеспечения своего быта*».

«4) Обязательные барщинные повинности, и при срочно-обязанном положении, будут составлять все-таки вид крепостного права, но лишь подчиненного законным правилам. Посему они все-таки не могут не быть для крестьян тягостны, а для помещиков и правительства могут сделаться источником важных затруднений, что не соответствовало бы благим намерениям государя о действительном прекращении крепостного состояния. В этих видах обязательные повинности должны быть рассматриваемы лишь как мера переходная, и если Комиссиям удастся сократить срок или умерить действие оной, то улучшение быта может быть упрочено даже и на время срочно-обязанного периода».

«6) Помещики должны получить справедливое, вполне достаточное вознаграждение за те земли и угодья, которые крестьяне у них выкупят».

Смотрите же, м. г., что следует в журнале прямо за изложением предложений председателя:

«По выслушании сего, члены Комиссии единогласно изъявили полное сочувствие выраженным председателем основным соображениям, как вполне согласным с их убеждениями, а потому и просили о внесении сих соображений в журнал Комиссий для непременного руководства. Председатель не встретил препятствий ко внесению всего этого в журнал, предоставляя, однакоже, каждому из членов высказывать искренно свои убеждения, если бы они были, в чем бы то ни было, и не согласны с его мыслями».

Вы можете видеть из этого, м. г., что такое значит бюрократический порядок. Старший говорит: «Я полагаю, что надобно решить дело вот так и вот так; согласны ли вы, господа? Я нимало не навязываю [вам] своих мнений. Возражайте против них, если не согласны; можете совершенно отвергнуть их, если они неправильны». На это все младшие сотоварищи единогласно отвечают: «Ваши мнения совершенно согласны с нашим убеждением, и мы вполне принимаем их».

Теперь м. г., попробуемте же рассудить, правдоподобная ли вещь была, чтобы ни один из десяти тогдашних членов Комиссий не имел ни по одному из 9 предложенных председателем пунктов никакого взгляда, различного от решений, предложенных председателем, даже никакого сомнения в невозможности улучшить или дополнить хотя в чем-нибудь, хотя одно из этих 9 решений? Вы бываете в обществе, м. г., вы знаете, что если разговор ничем не связан, то никак не обходится дело без расспросов, объяснений, споров; конечно, могут согласиться, наконец, все единодушно, но ведь не с первого же слова. В заседании Редакционных комиссий, судя по журналу, было не так. Это показывает, что свободы мнений в Редакционных комиссиях не было.

«Но ведь председатель нимало не стеснял ее,— он приглашал членов возражать и отвергать». Конечно, так, м. г.; но опять-таки прошу вас вспомнить, что вы сами, конечно, замечали в обществе. Есть случаи, в которых на всякие приглашения выражать свое мнение свободно каждый человек, в ком есть хоть капля рассудка и чувства приличий, ответит не иначе, как условной фразой, которая вперед известна. Например, во время кадрили дама спрашивает кавалера: не скучает ли он? Даю голову на отсечение, он непременно будет отвечать, что он нимало не скучает, что ему очень приятно танцовать с ней. А ведь она вызвала его высказаться, и ведь он, по всей вероятности, очень скучал с ней, иначе не было бы и повода к ее вопросу. Но как же вы хотите иначе, м. г.? На все есть свои законы приличия. Или другой пример: хозяин любит сам делать салат; сделал и спрашивает гостей: вкусен ли салат; все в один голос отвечают всегда: «Очень, очень хорош!» Я хотел сказать, м. г., что во всяком разряде житейских вещей есть свои правила благоразумия, свои обязанности благоприличия, которых никто не нарушает, кроме людей неблаговоспитанных или сумасбродных. В том разряде дел, который называется бюрократическим порядком, принято за правило соглашаться во всем с старшим членом, который председательствует в собрании. Быть может, вам покажется это правило странным, но покажется разве только по незнакомству с основаниями, из которых оно вытекло. Дело в том, что тут всегда предполагается, что председатель,— или как бы там ни назывался старший член собрания,— всегда имеет более точные сведения о целях высшего правительства, сообразуется с ними, служит истолкователем планов, уже принятых высшим правительством. Вы знаете, м. г., что не всегда так

бывает: иногда высшее правительство еще не приняло определенного решения по вопросу, переданному для разработки в бюрократическую комиссию, иногда оно готово изменить свое мнение о вопросе, хотя бы оно и было уже составлено у него. Но такие случаи бывают только исключением, а правила для образа действий возникают не из исключительных случаев, и при бюрократическом порядке всегда уже все приглашаемые на совещание убеждены, что они приглашены только работать по инструкции, изменить которой уже нельзя и хранителем которой избран старший член их собрания. Напрасно стал бы сам он уверять в противном,— ему никто не поверит, что каждое его слово не должно приниматься за основание вырабатываемого постановления. Это настроение мыслей,— настроение совершенно неизбежное при бюрократическом порядке,— действует с такою обаятельною силою на председателя, что как бы ни готов он был вначале различать свои личные мнения от неизменных решений правительства, он скоро спутывает эти понятия, и ему начинает уже представляться, что каждое его слово — действительно закон; «я орган правительства, я знаю его виды, я хочу того, чего оно хочет, значит,— чего я хочу, того оно хочет». Угодно ли вам, м. г., чтобы я подтвердил примером это неизбежное увлечение? Вы видели, что в заседании 5 марта председатель еще представлял свои мнения только как свои личные мнения, которые только «не бесполезно было бы принять к соображению»; через два с половиной месяца, в заседании 20 мая, он уже выражался следующим образом:

«Выкуп крестьянами земли, как уже было мною изъяснено, должен быть на основании *высочайшей* воли не *обязательный*, а полюбовный, то есть выкуп не может происходить без формального согласия помещика продать, а крестьян купить поземельные угодья, за исключением усадеб, продажа коих обязательна для тех помещиков, которые не изъявят согласия на продажу угодий полевых».

За этим вступлением следовал ряд соображений, изложив которые, председатель говорил совершенно в духе заключения, какое мы видели в журнале 5 марта; он и теперь, 20 мая, тоже приглашал членов Комиссий не стесняться его мнением, давал им свободу отвергать это мнение.

«В заключение повторяю, что все эти мои соображения я не предлагаю в основу суждений Финансовой комиссии; Комиссия имеет полное право не только изменить их, но и совершенно их отвергнуть, и что цель моя при предъявлении этих моих соображений состоит единственно в том, чтобы объяснить Комиссии: в какие данные может быть ныне

вставлен вопрос о выкупе крестьянами полевых угодий, и что выкуп этот я признаю весьма исполнимым».

Все это очень либерально; но изволите припомнить, м. г., какие [выражения] встречаются в начале речи, имеющей такое заключение: председатель упоминает о *«высочайшей воле»;* а потом, излагая свои соображения, он выражается так: «правительство должно, крестьяне должны, оценка должна быть; правительство покрывает своими средствами, правительство найдет возможность» и т. д. и т. д.,— эти обороты речи выставляют каждую мысль председателя как дело, уже решенное правительством. Какое же существенное влияние могли бы иметь заключительные слова, что члены Комиссии могут изменять и отвергать мнение председателя, когда по тону всей предшествующей речи следовало принимать эти мнения за неизменную инструкцию, [так как] представлены они в связи с высочайшею волею. О чем же тут рассуждать? — Надобно принимать к исполнению.

Редакционные комиссии так и сделали.

Посмотрите же, м. г., что из этого выходило. Вы очень хорошо знаете, с какою целью были назначены эти Комиссии. Высшее правительство, определив некоторые, самые общие принципы дела, нашло нужным, чтобы им занялись специалисты. Их основательному исследованию оно желало предоставить определение всего устройства дела. Что же мы видим? — Едва собрались эти специалисты, ни за что еще не успели приняться, а уже определилось, как будет устроено дело. Но ведь дело еще не исследовано, ведь они еще не знают, какие основания были бы найдены ими для него,— нужды нет, эти основания уже готовы. Как же они приготовлены? Очень просто. У каждого есть о каждом предмете какое-нибудь мнение или предположение. Разумеется, было и о крестьянском деле какое-нибудь мнение или предположение у лица, назначенного председательствовать в этих Комиссиях, как были у него мнения и предположения о всяком другом предмете,— и о том, что Виардо хорошая певица, и о том, что Вольтер был остроумный писатель, и о том, что Пулковская обсерватория хорошо устроена. Предположите же теперь, что начали бюрократическим порядком рассуждать об итальянской опере, об английской литературе, об астрономии. Собирают специалистов, председатель высказывает свои мнения об этих предметах, с которыми очень мало знаком, но о которых все-таки имеет же какое-нибудь мнение,— что из этого следует по бюрократическому порядку? — то, что специалисты тотчас восклицают: совер-

шенно согласны и вполне принимаем основания, предлагаемые вами, г. председатель.

Скажите, м. г., хорош ли вышел бы обед, если бы повар стал безусловно принимать все ваши или мои мнения о том, как варить суп или жарить ростбиф? А ведь вы или я, мы имеем об этом деле некоторые понятия. Но вы и я даже и не высказываем своего мнения об этом повару, которому поручили готовить нам обед. И мы очень хорошо делаем, что не высказываем тут своего мнения. А по бюрократическому порядку это дело пошло бы вот так. Повар руководился бы не своим знанием и опытностью, а старался бы разведать, как мы думаем об устройстве кухонной плиты, о форме кастрюль и жаровень, о времени, сколько нужно держать кушанье на плите, и т. д. и т. д. Разумеется, если бы стали к нам приставать с этими разведываниями, забегать и справа, и слева, вовлекать нас во всякие разговоры и ловить каждое наше слово для исполнения,— разумеется, выведали бы от нас что-нибудь об этих предметах,— и о кастрюлях, и о жаровнях, и о том, как топить печь, и т. д., и т. д.; и каждое наше слово об этом, дошедшее до повара бог знает чрез сколько уст и бог знает как перетолковывавшееся в каждых устах, становилось бы инструкцией для повара. Как вы полагаете, хорош был бы у нас порядок на кухне и вкусен выходил бы наш обед, как бы хорош ни был наш повар?

А ведь мы в самом деле не думали связывать его, ничего не хотели предписывать ему; мы хотели только, чтобы обед был хорош, и думали, что он будет готовить его, как сам знает. Нет, если повар будет к нам в бюрократических отношениях, это наше желание неисполнимо: повар непременно будет только подмастерьем нашим, поварская часть будет управляться нами.

Вот точно так вышло и в Редакционных комиссиях.

Будем говорить серьезно. При бюрократическом порядке совершенно бесполезны ум, знание, опытность людей, которым поручено дело. Люди эти действуют, как машины, у которых нет своего мнения, они ведут дело по случайным намекам и догадкам о том, как думает про это дело то, или другое, или третье лицо, совершенно не занимающееся этим делом. Что из этого выходит, мы увидим все на том же примере Редакционных комиссий.

Первою чертою дела для примера пусть послужит так называемая гласность,— это, м. г., бюрократическое выражение, придуманное для замены выражения «свобода слова», и придуманное по догадке, что выражение «свобода слова» может показаться неприятным или резким кому-

нибудь,— итак, м. г., первою чертою для моего примера я беру так называемую гласность по крестьянскому делу.

По фактам, которые приведены мною выше, могло казаться, будто председатель Комиссии действовал по своему убеждению. Остальные члены были работники, не могшие действовать по своим убеждениям, а трудившиеся по инструкциям председателя. Но, по крайней мере, председатель поступал сообразно своему убеждению. Оно могло быть составлено без основательного знакомства с делом; но каково бы оно ни было, все-таки оно было его убеждением, и если оно определяло характер комиссионных работ, все-таки в этих работах могла быть какая-нибудь определенная мысль и внутренная связность. Нет, м. г., и это наше предположение оказывается ошибочным. Мы видели председателя в его отношениях к членам. Перед ними действительно он был человек самостоятельный. Но ведь он был в сношениях не с ними одними, а со множеством лиц, в числе которых было несколько человек, занимавших относительно его точно такое же положение, какое занимал он относительно членов Редакционных комиссий. По бюрократическому порядку, он тоже, в свою очередь, выведывал мнения лиц, более заслуженных, чем он; тоже строил догадки о их мнениях и тоже принимал всякое их слово и всякую свою догадку о их мнениях за инструкцию, которую должен исполнять. Можно было бы найти множество подтверждений тому в воспоминаниях, еще свежих у каждого из нас. Но я хочу опираться только на факты, формально засвидетельствованные в протоколах Комиссий, и укажу вам один из них.

Через месяц по открытии Комиссий, в заседании 6 апреля, председатель, наученный опытом, высказал убеждение, что ни он сам, ни Редакционные комиссии никак не могут удовлетворительно исполнить порученного им дела, если не привлекут к помощи их труду всю публику; он видел, что ему и Комиссиям необходимо опереться на общественное мнение, он видел, что, не будучи поддерживаемы общественным мнением, он и Редакционные комиссии не найдут в себе сил действовать как нужно для успеха дела. Вот, м. г., подлинные слова председателя Редакционных комиссий, написанные в журнале заседания 6 апреля.

«Возбужден был вопрос: какую степень гласности должны иметь занятия Комиссий?

По мнению, выраженному председателем, занятия эти составляют дело всей России,— дело, с которым тесно связано и спокойствие, и благосостояние целого государства как в настоящем, так и в будущем. Опыт

показал, что хотя поднятый вопрос живо затронул интересы всего народа, но Россия, в полном доверии к своему государю, осталась спокойною; что спокойствие это можно частию приписать и некоторой гласности, с которой, с самого начала, по высочайшему повелению, было ведено дело. Притом же Комиссии, совершая труд, столь близкий интересам всех сословий, обязаны честным отчетом в своих действиях перед всею Россиею. Дать этот отчет, успокоить всех и каждого можно только посредством полной откровенности, потому что, где дело ведется открыто, там нет места ни превратным слухам, ни ложным опасениям, ни нелепым толкованиям. Наконец на Комиссиях лежит святая обязанность уяснить вопрос и самим себе *со всех сторон*. Как бы ни был добросовестен труд Комиссий, как бы ни было велико стремление их быть беспристрастными и неодносторонними, они, при всей опытности своих членов, вряд ли избегнут таких ошибок, которые, при применении к действительной местной жизни, могут оказать неблагоприятное влияние на успех дела. А потому и здесь необходимо предать себя общему суду, призвать на помощь общее участие, которое прольет свет на каждую оставшуюся в тени сторону вопроса, дополнит недостающие факты и исправит вовремя каждую ошибку Комиссии».

Вникните в эти слова, м. г., взвесьте их, они заслуживают того. Какой сильный и твердый тон, какое честное и широкое понятие о деле. Хорошо; но слушайте же, какой вывод делается из такого основания, какое применение получает такой принцип, какая практика извлекается из этой теории:

«Вследствие всех сих соображений, председатель полагал бы полезным:

1) Все журналы и труды Комиссий печатать в значительном количестве экземпляров.

2) Напечатанные экземпляры рассылать гг. членам Главного комитета министрам и главноуправляющим отдельными частями, генерал-губернаторам, начальникам губерний и губернским предводителям дворянства (сим последним в нескольких экземплярах).

3) Предварить всех означенных лиц, что подлежащие обсуждению Комиссий вопросы будут разрешаемы не ранее прибытия членов-экспертов, а затем труды Комиссий будут предъявляемы депутатам губернских комитетов, для сообщения замечаний и с их стороны.

4) Просить всех лиц, которым будут рассылаемы такие «Труды», сообщать свои замечания к определенному сроку, на особом по каждой главе листе, и по возможности кратко, чтобы комиссии могли принять их в соображение своевременно, тотчас же разделять по отделениям и иметь физическую возможность прочесть и обсудить их».

М. г., вы твердо убеждены, что председатель Редакционных комиссий был человек очень умный. Я совершенно согласен с вами; посмотрите же, м. г., может ли умный человек, если руководится своим умом, делать такой вывод из такого основания. «Дело Редакционных комиссий — дело всей России»; «Комиссии обязаны честным отчетом в своих действиях пред всею Россиею». Самим Комиссиям, для успеха в своих занятиях, «необходимо предать себя

общему суду, призвать на помощь общее участие». Что же надобно сделать? как исполнить эту обязанность? как получить эту помощь? «Экземпляры трудов Редакционных комиссий рассылать начальникам губерний и губернским предводителям дворянства, прося их сообщать Редакционным комиссиям свои замечания». М. г., скажите сами: разве начальники губерний и губернские предводители дворянства — «целая Россия»? Разве суд их — «общий суд целой России»? Разве отчет перед ними — отчет перед всею Россией? Думаете ли вы, м. г., что он, человек умный, не был внутренно сконфужен перед самим собою несообразностью своего заключения с своим началом? Думаете ли вы, что он мог прямо смотреть в глаза членам Редакционных комиссий, когда переходил от своего начала к своему заключению? Я этого не думаю; потому что думать так — значило бы оскорблять его память с той стороны, с которой уже никак нельзя отзываться о нем дурно,— со стороны ума.

Чем же можно объяснить такую странную несвязность мыслей, такое явное несоответствие принимаемого решения с собственными желаниями? Конечно, только тем, что председатель Редакционных комиссий и сам был совершенно связан в своих решениях. И кем же был он связан в этом случае? Я говорю с вами, м. г., прямо и открыто, потому выскажу сам свое убеждение, вперед свидетельствуя, что вы ошибетесь, если сочтете его неверным. Председатель Редакционных комиссий не был связан тут твердою и обдуманною волею того лица или тех лиц, волю которых он обязан был исполнять по закону; он был связан мнениями, опасениями, привычками множества других лиц, которые даже не имели законного права обнаруживать влияние на Редакционные комиссии. Он был связан мнениями целого круга, от которого по формальному своему полномочию, был совершенно независим. Вот для вас, м. г., случай убедиться, что при бюрократическом порядке нет ни у кого независимости. В мелочах, особенно в поступках с подведомственными лицами, каждый имеет при бюрократическом порядке много произвола. Но следовать своим убеждениям в делах серьезных никто не властен; все связаны безгласною и незаконною взаимною зависимостью, потому что все тут основано на слухах, догадках, то есть на уменье угождать всякому, кто мог бы распустить невыгодный слух, если бы человек не угодил ему.

Если вы сравните практическое заключение председателя Редакционных комиссий о сообщении «Трудов» Ко-

миссий губернаторам и губернским предводителям с теоретическим стремлением председателя призвать все общество к участию в этих «Трудах» и давать отчет о них целой России, то вы увидите, милостивый государь, каков бывает ход дел при бюрократическом порядке: начинают тем, что видят надобность чего-нибудь существенного и великого, стремятся к нему и успевают сделать лишь нечто очень маловажное и вовсе не существенное, а только формальное. Вы согласитесь, м. г., что мнения губернаторов и губернских предводителей никак не могли придавать новой силы правительственному делу, потому что сами губернаторы имеют только силу, заимствованную от правительства, и губернские предводители находились тогда в таком же положении: они не имели значения, не зависимого от правительства; не могло иметь самобытного веса и их мнение. Таким образом, Редакционные комиссии никак не могли найти в них подкрепления, в котором чувствовал необходимую нужду председатель Комиссий. Что же касается до содействия этих лиц разъяснению дела замечаниями на труды Комиссий, [то] в этих замечаниях Комиссии не могли найти ничего нового для себя: губернаторы смотрели на дело с правительственной точки зрения, подобно самой Комиссии, следовательно, не могли указать Комиссиям важных сторон в деле, которых не замечали бы и сами Комиссии; а губернские предводители могли делать замечания только с помещичьей точки зрения, которая уже и без того была очень знакома Комиссиям. Итак, необходимо нуждаясь в опоре и критике для своих «Трудов», Редакционные комиссии искали их у людей, которые были для них совершенно бесполезны в этих отношениях, и принуждены были работать, не имея ни поддержки, ни критики в своих трудах.

В следующем письме я постараюсь объяснить вам, м. г., к чему это привело. А теперь покончу несколькими замечаниями речь о предмете, наполнившем собою все нынешнее мое письмо,— о характере бюрократического порядка. Припомните, м. г., какие странные факты видели мы засвидетельствованными в журналах Редакционных комиссий. Созываются люди, чтобы рассмотреть дело, но с первого же раза им предлагают заключения, которыми уже решается все дело; а ведь оно еще не рассмотрено ни ими, ни лицом, предлагающим эти решения. И эти лица принимают предлагаемые им решения. Что же после того они будут делать? Они будут не рассматривать дело, а только будут заниматься подбиранием и прилаживанием мелких подробностей, то есть их работа будет работа ка-

менщиков, смазывающих кирпичи один к другому, хотя и предполагали те, которые созывали их, что созывают их обсудить план здания. Как произошла такая перемена в их назначении? — Этого никто не знает. По чьей воле произошла она? — Ни по чьей, потому что никто этого не хотел. Она произведена силою бюрократического порядка, против которой ничего не в силах сделать никто, хотя бы стоял и в самой главе всего управления. Вы хотите только спросить,— ваш вопрос принимают за решение; вы хотите посоветоваться — ваши слова принимают за приказание; вы ищете опоры,— все, до чего вы касаетесь, гнется перед вами. Так уже заведено в бюрократическом порядке, и ничего иного не добьетесь вы от него.

И посмотрите же, м. г., какая удивительная вещь произведена натурою бюрократического порядка. Думал ли кто-нибудь в высшем правительстве, что крепостное право должно быть сохранено при провозглашении его отмены? Конечно, никто этого не хотел в высшем правительстве. Хотел ли того председатель Редакционных комиссий? — Конечно, нет, вам известно это. Хотели ли того члены Редакционных комиссий? — Нет, это всем известно. Что же вы видели, м. г., в самой же первой выписке, приведенной мною из журналов Редакционных комиссий? Вы видели, что Редакционные комиссии начали свои работы принятием принципа: при провозглашении освобождения крестьян крепостное право должно быть сохранено. Припомните подлинные слова журнала «Заседания» 5 марта: «обязательные барщинные повинности и при срочно-обязанном положении будут составлять все-таки вид крепостного права». Это говорит председатель Комиссий. «По выслушании сего члены Комиссий единогласно изъявили полное сочувствие» к этим словам председателя и внесли их в журнал «для непременного руководства» себе. Снова спрашиваю, как могло это случиться, что в основание дела кладется решение, не согласное ни с убеждением членов Комиссий, ни с желанием их председателя, ни с намерением высшего правительства? Случилось это по неизбежному характеру бюрократического порядка: председателю Комиссий показалось по какой-то догадке, что хотят этого какие-то лица, которым необходимо угождать; членам Комиссий показалось, что слова председателя должны служить выражением неизменной решимости высшего правительства, а высшее правительство, увидев такое решение Комиссий, убедилось, что нельзя [уничтожить] крепостного права, если уже специалисты, и притом из-

вестные противники крепостного права, решают, что надобно сохранить его.

Точно так же определились и все другие черты дела: выкуп земель не обязательный, а по добровольному соглашению, размер надела, величина повинностей и платежей крестьянских и т. д. Никто не может принять на себя ответственности за устройство дела в таком виде — ни высшее правительство, ни Редакционные комиссии, решительно никто, потому что никто не желал устроить дело так; его так устроил собственно бюрократический порядок, независимо от воли и убеждения лиц, чем бы то ни было — работами ли своими, желаниями ли своими, подписями ли своими,— участвовавших в ведении этого дела.

Но посмотрите же, м. г., что из этого вышло? Я открою вам тайну, которая до сих пор оставалась неизвестною не только вам,— от которого укрывается столь многое,— неизвестною даже лицам, составлявшим Положение об освобождении крестьян,— открою тайну, которая удивит как неожиданная новость всякого, кроме освобожденных крестьян, с первой же минуты почувствовавших на своих карманах действие этого секрета.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

16 февраля.

Открытием секрета, который хочу сообщить вам, обязан я, м. г., случайному обстоятельству. Несмотря на гласность, которую непременно хотел придать «Трудам» Редакционных комиссий их председатель, я целые два года даже не видывал этих изданий, так мало было их в обращении между публикою. Нужно было заводить знакомства и прибегать к просьбам, чтобы достать эти книги. Так у нас все делается, м. г.: без знакомств и просьб — ничего; с ними — все. Но писать о крестьянском вопросе нельзя было, потому я и не хлопотал, чтобы достать материалы, которыми не мог бы воспользоваться. Наконец, когда приблизился срок обнародования манифеста об освобождении крестьян, разнесся слух (неосновательный, как обнаружилось впоследствии), будто бы по его обнародовании разрешено будет разбирать Положения. Тогда я захотел иметь «Труды» Редакционных комиссий. Это издание состоит, как вам известно, из двух отделов: один, напечатанный в 8 д. л., содержит в себе материалы, более или менее переработанные самими Комиссиями; другой отдел, напечатанный в 4 д. л., под названием «Приложений к Трудам Комиссий»,— заключает в себе статистические

данные о поместьях, имеющих более 100 душ. Тут обозначены: имя владельца и поместья, количество душ и тягол в каждом поместье, общее количество земли при поместье, количество каждого рода угодий, входящих в эту общую цифру, величина существовавшего надела и размер повинностей, отбываемых или платимых за него. Этот отдел я успел получить раньше, чем достал первый отдел, в котором переработаны Комиссиями данные второго отдела. Не имея под руками этих сделанных Комиссиями выводов и даже не зная, до какой степени выработаны они, я должен был заняться сам разработкою цифр, представлявшихся мне описаниями поместий. Мне хотелось получить приблизительное понятие о том, какая перемена производится Положениями в существовавшем наделе земли и в повинностях, отбываемых или платимых крестьянами помещику. Работу свою я хотел ограничить великорусскими губерниями, о которых об одних я и хотел писать, потому что сам лично знаком только с их бытом и обычаями. Но и тут я не мог переработать всех цифр по всем великорусским уездам,— цифр, наполняющих целые четыре тома: у меня недостало бы на то времени. Я должен был взять только некоторые уезды, чтобы судить по ним о всем целом. Но я хотел, чтобы разработанная мною часть действительно могла служить точною представительницею всего целого и чтобы никому нельзя было заподозрить какого-нибудь произвола во мне при выборе тех или других уездов для пробы целого. Поэтому я перед началом работы принял два следующие правила:

1) Составив список уездов в том самом порядке, в каком они следуют один за другим в «Приложениях к Трудам Редакционных комиссий», я стал отбрасывать те уезды, в которых общее число описанных поместий заключает менее 10 тысяч душ крепостных крестьян, оставляя в своем списке только уезды, имеющие более этого числа. Цель этого приема понятна: я хотел работать только над уездами, представляющими достаточную широту основания для выводов о действии производимой Положениями перемены. Таким образом, осталось у меня 175 уездов, из которых в каждом описано состояние более чем 10 тысяч душ.

2) Из них я решился взять те, которыми будет начинаться каждый десяток, то есть первый уезд, одиннадцатый уезд, двадцать первый уезд и т. д. * Таким образом,

* Прилагаю сделанный мною список на тот случай, если бы вы, м. г., пожелали удостовериться в правильности его составления. *Чернышевский.*—

досталось мне взять для разработки цифр следующие уезды:

Александровский	— Владимирской губернии
Бирюченский	— Воронежской »
Спасский	— Казанской »
Дмитровский	— Курской »
Клинский	— Московской »
Горбатовский	— Нижегородской »
Орловский	— Орловской »
Пензенский	— Пензенской »
Новоржевский	— Псковской »
Михайловский	— Рязанской »
Саратовский	— Саратовской »
Алатырский	— Симбирской »
Козловский	— Тамбовской »
Нерехтский	— Костромской »
Росславльский	— Смоленской »
Корчевский	— Тверской »
Епифанский	— Тульской »
Мышкинский	— Ярославской »

Надеюсь, м. г., что правилами, принятыми мною при этом выборе, отстранена всякая возможность подозревать какую-либо произвольность в нем. Посмотрите же, м. г., что открылось из разбора цифр по этим 18 уездам.

Прежде всего я занялся счетом того, каков будет назначаемый Положениями новый оброк при назначаемом ими новом наделе, сравнительно с прежним оброком и наделом, в тех поместьях, которые прежде были на оброке и останутся на оброке по Положению.

Общее число душ в оброчных имениях, внесенных в «Приложения к Трудам Редакционных комиссий», по всем 18 уездам: 125 324 души. Прежний надел их показан в 419 406 $^{1}/_{2}$ десятин. Всего оброка за этот надел при крепостном праве платили они помещикам 842 728 руб. 50 коп. Таким образом, при прежнем крепостном праве, средним числом, бралось с крестьян за одну десятину надела: 2 руб. 9 коп. По правилам, данным новыми Положениями, из прежнего надела должно отойти к помещику 101 767 $^{3}/_{4}$ десятины. Остается за крестьянами 317 638 $^{3}/_{4}$ десятины. За них установлен оброк 731 346 руб. 80 коп. То есть за одну десятину земли своего надела крестьяне должны по новым правилам платить: 2 руб. 30 $^{1}/_{2}$ коп. Иначе сказать, по новым Положениям освобождаемые крестьяне должны платить помещику: 1 руб. 10 коп. вместо каждого рубля, который платили ему при прежнем крепостном праве.

Ожидали ли вы, м. г., такого результата?

Не смею долее утруждать вашего внимания. Но если бы я смел предполагать, что сведения, мною доставляемые вам, будут приниматься вами с тою же единственною мыслью о драгоценности правды, с какою я старался приобрести эти сведения, то я поставил бы себе за удовольствие изложить вам во всей подробности вопрос о судьбе оброчных имений по новому Положению; потом перешел бы к вопросу о поместьях, состоящих на барщине; наконец представил бы вам сведения о действительном значении тех сторон нового устройства, которые одинаково касаются тех и других поместий. Но я уже довольно много времени потратил на непрошенную беседу с вами, м. г., и не могу тратить его больше, не зная, не будет ли оно совершенно потерянным. Во всяком случае, вы теперь можете судить о том, каков был бы характер дальнейших моих бесед с вами; следовательно, вы сами можете судить, нужны ли они для вас.

Я понимаю, м. г., что нарушил правила приличия, напрашиваясь с своими объяснениями к человеку, нимало не вызывавшему меня на них; поэтому не будет для вас странным, если я не соблюду этих правил и в заключении своей корреспонденции, и не подпишусь, по обычаю, «готовый к услугам» или «ваш покорнейший слуга», а подпишусь просто —

Н. Чернышевский

СПИСОК

уездов великороссийских губерний, в которых Приложениями к Трудам Редакционных комиссий описано состояние более чем 10 000 душ крепостных крестьян

Владимирской губ.
1. Александровский.
Гороховецкий.
Ковровский.
Муромский.
Покровский.
Шуйский.
Юрьевский.

Вологодской губ.
Вологодский.
Кадниковский.

Воронежской губ.
11. Воронежский.
Бирюченский.
Бобровский.
Валуйский.
Задонский.
Землянский.
Новохоперский.
Острогожский.
Павловский.

Вятской губ.
Яранский.

Казанской губ.
Лаишевский.
21. Спасский.

Калужской губ.
Жиздринский.
Козельский.
Лихвинский.
Медынский.
Мещовский.
Мосальский.
Тарусский.

Курской губ.
Белгородский.
Грайворонский.
31. Дмитриевский.
Льговский.
Новооскольский.
Путивльский.
Рыльский.
Старооскольский.

Московской губ.
Московский.
Богородский.
Бронницкий.
Волоколамский.
41. Клинский.
Коломенский.

Можайский.
Подольский.
Рузский.

Нижегородской губ.
Нижегородский.
Ардатовский.
Арзамасский.
Балахнинский.
Васильсурский.
51. Горбатовский.
Княгининский.
Лукояновский.
Макарьевский.
Сергачский.

Новгородской губ.
Новгородский.
Боровичский.
Демьянский.
Устюжский.
Череповецкий.

Орловской губ.
61. Орловский.
Болховский.
Дмитровский.
Елецкий.
Карачевский.
Кромский.
Ливенский.
Малоархангельский.
Мценский.
Севский.

Пензенской губ.
71. Пензенский.
Городищенский.
Инсарский.
Керенский.
Мокшанский.
Нижнеломовский.
Саранский.
Чембарский.

Псковской губ.
Псковский.
Великолуцкий.
81. Новоржевский.
Опочецкий.
Островский.
Порховский.
Торопецкий.

Рязанской губ.
Рязанский.
Данковский.
Егорьевский.
Зарайский.
Касимовский.
91. Михайловский.
Раненбургский.
Ряжский.
Сапожковский.
Спасский.

Самарской губ.
Самарский.
Бугурусланский.
Бузулукский.
Николаевский.
Ставропольский.

Саратовской губ.
101. Саратовский.
Аткарский.
Балашовский.
Вольский.
Петровский.
Сердобский.
Кузнецкий.
Хвалынский.

Петербургской губ.
Петербургский.
Лужский.

Симбирской губ.
111. Алатырский.
Ардатовский.
Корсунский.
Курмышский.
Сенгилеевский.
Сызранский.

Тамбовской губ.
Тамбовский.
Борисоглебский.
Елатомский.
Кирсановский.
121. Козловский.
Моршанский.
Темниковский.
Шацкий.

Костромской губ.
Варнавинский.
Ветлужский.
Галицкий.
Кинешемский.
Кологривский.
Макарьевский.
131. Нерехтский.
Юрьевецкий.

Пермской губ.
Пермский.
Оханский.
Соликамский.

Смоленской губ.
Бельский.
Вяземский.
Гжатский.
Дорогобужский.
Ельнинский.
141. Рославльский.
Сычевский.
Юхновский.

Тверской губ.
Тверской.
Бежецкий.
Весьегонский.
Вышневолоцкий.
Зубцовский.
Калязинский.
Кашинский.
151. Корчевский.
Новоторжский.
Осташковский.
Ржевский.
Старицкий.

Тульской губ.
Тульский.
Алексинский.
Белевский.
Богородицкий.
Веневский.
161. Епифанский.
Ефремовский.
Каширский.
Крапивинский.
Новосильский.
Одоевский.
Чернский.

Ярославской губ.
Ярославский.
Даниловский.
Мологский.
171. Мышкинский.
Пошехонский.
Романо-Борисоглебский.
Ростовский.
Угличский.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ 1876—1878 гг.

1. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

27 апреля 1876. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша.

Писал я недавно врозь вам, тому и другому. Продолжение тех писем выходит такое, что, показалось мне, могу я обращаться в нем вместе к вам обоим.

Благодаря отчасти прямому влиянию математики, отчасти усовершенствованию инструментов и способов наблюдения при косвенном ее влиянии естественные науки получили теперь очень сильное и, вообще говоря, полезное преобладание во всей области мысли.— Естественными науками я никогда не занимался; математики я не знаю. Но я с первой молодости был твердым приверженцем того строго научного направления, первыми представителями которого были Левкипп, Демокрит и т. д., до Лукреция Кара, и которое теперь начинает быть модным между учеными. Я, по образу мыслей, ветеран между нынешними учеными, а они передо мною — новобранцы, неопытные рекруты, у которых слишком много неопытного усердия и мальчишеского восторга от новых для них идей, которые почти ни у кого из них еще и не переварились в головах, как должно. Потому очень многое в нынешних модных ученых книгах мне смешно, многое — гадко. Я говорил об этом в давних письмах к тебе, Саша, и в недавних к тебе, Миша. И, мне кажется, можно мне думать, что в этом письме нет уж мне нужды бранить и осмеивать нелепости Дарвина, Геккеля и их учеников.

Есть другая школа, в которой гадкого нет почти ничего (если не считать глупостей ее основателя, отвергнутых его учениками), но которая очень смешна для меня. Это — огюст-контизм. Бедняга Огюст Конт, не имея понятия ни о Гегеле, ни даже о Канте, ни даже, кажется, о Локке, но научившись много у Сен-Симона (гениального, но очень

невежественного мыслителя) и выучивши наизусть всяческие предисловия к руководствам по физике, вздумал сделаться гением и создать философскую систему. Степень его гениальности определяется тем, что он, весь век усердно занимаясь математикою, не в силах был ровно ничего сделать для усовершенствования этой науки; что он серьезно гордился, будто великим открытием, крошечным вычислением пропорций между большими полуосями орбит и временами обращения планет около солнца,— вычислением, которое сумел бы сделать даже я, не знающий из математики ничего выше арифметики, и которое со времени Кеплера, конечно, делал, но, как ничтожную вещь, оставлял ненапечатанным каждый астроном,— этот трудолюбивый Огюст Конт, вообразивши себя гением, размазал на шесть томов[1] две-три странички, которые с давнего времени переписываемы были каждым составителем руководства к изучению физики,— переписываемы из Локка, в виде предисловия к трактату. К этому прибавил Огюст Конт кое-какие мелочи из Сен-Симона, и от собственных сил — формулу о трех состояниях мысли (теологич[еском], метафизич[еском], положительном) [2] формулу совершенно вздорную (правда тут лишь в том, что прежде чем удастся построить гипотезу, сообразную с истиной, очень часто люди придумывают гипотезы неудачные. Ошибка очень часто предшествует истине — только и всего. А теологич[еского] периода науки никогда не бывало; метафизика в том смысле, как понимает ее Огюст Конт, тоже вещь никогда не существовавшая).— Итак, вышло шесть томов, очень толстых и скучных. Следовательно — великое научное творение — ура! И пошло: «ура!»— А в сущности, это какой-то запоздалый выродок «Критики чистого разума» Канта[3]. Творение Канта объясняется тогдашними обстоятельствами положения науки в Германии. Это была неизбежная сделка научной мысли с ненаучными условиями жизни. Как быть! Канту нельзя ставить в вину, что он придумал нелепость (то есть даже и не придумал, а вычитал из Юма[4], которого,— вот смех-то! — воображает он опровергать, перефразируя): надобно же было хоть как-нибудь преподавать хоть что-нибудь не совершенно гадкое. И он решил: «Что ложь и что истина, этого мы не знаем, и не можем знать. Мы знаем только наши отношения к чему-то неизвестному. О неизвестном не буду говорить: оно неизвестно»[5].— Но во Франции в половине нынешнего века это нелепая уступка — нелепость совершенно излишняя. А Огюст Конт преусердно твердит: «неизвестно», «неизвестно».— Но для мыслите-

лей, которым не хочется искать или высказывать истину, это решение очень удобное. В этом и разгадка успеха системы Огюста Конта.

Довольно этого о моих отношениях к мыслям, приобретающим теперь господство в науке. Поговорю об одной из отраслей науки, об истории.

[...] С дарвинистами и огюст-контистами история совсем иная: во всеобщей истории владычествует ученое невежество. Это — хаос всяческой бессмыслицы, нахватанной изо всяческих куч ученого хлама. Правильные понятия о ходе человеческих дел высказывались тысячи раз тысячами мыслителей,— но высказывались они в трактатах о законах личной жизни (морали) или в юридических и тому подобных трактатах. А авторы летописей и исторических монографий не умели пользоваться этими истинами, и в трактатах о всеобщей истории эти истины завалены хламом всяческих односторонностей и лжей, набранных из монографий, летописей, из архивного сора. Разобрать эти груды мусора оказывается до сих пор не по силам еще никому из ученых, пишущих о всеобщей истории. Кое-кто кое-что иной раз поймет повернее своих предшественников,— но поймет мелочь; и вообразит, что это великое открытие, и подымет крик о нем, и пойдет шум по всему ученому миру, и примутся переделывать все на основании этой новой великой истины. Теперь переделка идет во вкусе Дарвина, то есть Мальтуса. Закон Мальтуса — бесспорная истина[6]. Но точно такая же, как то, что всякий человек должен умереть от нормального хода окостенения хрящей (окостенели связки ребер, дыхание становится невозможно). Правда, так. Но этой смертью едва ли умер хоть один человек от начала жизни людей. Умирают от других причин, а не от этой; и если оказывается иногда что-нибудь похожее на то, все-таки это в сущности вовсе не то: хрящи окостенели, правда; но, во-первых, преждевременно, не по нормальному ходу жизни, а по случайностям ушибов, простуд и т. д.; а во-вторых, окостенение далеко не достигло той степени, чтобы грудной ящик утратил эластичность. И хоть несомненно то, что нормальный конец жизни — нормальная смерть, но случаев нормальной смерти до сих пор не бывало. И толковать «все люди смертны» — значит пустословить.

Мальтус знал, что он пустословит; он знал, почему и для чего он пустословит. А нынешние модные переделыватели всеобщей истории,— во-первых, чуть ли не забывают сами ежеминутно, что они нашли свою мудрость цитированной Дарвином из Мальтуса, чуть ли не ежеми-

нутно каждый из них приходит в восторг от мысли, что это изобретает он сам, что он нечто вроде Архимеда, Коперника, Кеплера и Галилея. А во-вторых, по своему (иногда очень ученому) невежеству не могут они сообразить, кому и для чего нужно то пустословие, которое они разрабатывают.— Гадкая книга Гелльвальда[7], о которой писал я в недавнем письме к тебе, Миша, украшена посвятительным листом, на котором крупно напечатано: Ernst Häckel in Verehrung und Freundschaft — «Эрнсту Геккелю (посвящается) в знак уважения и дружбы».— Протестовал ли против этого позора себе Геккель? Бедняжке не пришло в голову, что это такой же позор, как если б ему посвящена была книга о разумности и пользе сжигания ведьм или о наивернейшем способе доказыванья, что $2 \times 2 = 5$, а не 4. А кое-что, впрочем, удалось, может быть, сказать не подлое и не глупое и этому уроду Гелльвальду, как есть, вероятно, что-нибудь умное и в средневековых трактатах об астрологии: вероятно, астрологи не умели же писать от первой строчки до последней все только свою чепуху без перерыва какими-нибудь и верными фактами, попавшими в их головы из Птоломея. [...]

2. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

21 июля 1876. Вилюйск.

[...] Я не натуралист. Но с молодости твердо держусь того образа мыслей, которого стараются держаться корифеи естествознания,— большинство из них не очень-то успешно, хоть усердно стараются.

Изложу в нескольких словах мои общие понятия о природе.

То, что существует, называется материею. Взаимодействие частей материи называется проявлением качеств этих разных частей материи. А самый факт существования этих качеств мы выражаем словами «материя имеет силу действовать» — или, точнее, «оказывать влияние». Когда мы определяем способ действия качеств, мы говорим, что мы находим «законы природы».— О каждом термине тут ведутся споры. Но реальное значение этих споров — нечто совершенно иное, чем серьезное сомнение относительно фактов, обозначаемых сочетаниями слов, в которые входят эти термины. Это или пустая схоластика, щегольство грамматическими и лексикографическими знаниями и талантами, и силлогистическими фокусами; а если не так, то: в оспоривающих эти термины и эти сочетания терминов (эти или равнозначительные им) управляет словами

какое-нибудь не научное, а житейское желание, обыкновенно своекорыстное; а у защищающих эти термины и их сочетание — охота вести спор об этих терминах не больше, как наивность, не догадывающаяся, что спор — или пустословие, или должен быть перенесен от этих терминов и их сочетаний на анализ реальных мотивов, по которым нападают на эти термины и эти их комбинации противники их.

Пример, как должен быть веден спор.

А.— Вы утверждаете, что материею называется то, что существует. Это неосновательно. Я называю то, что существует (следует какое-нибудь другое слово; положим «субстанция»).

Б.— Это будет спор о словах. Называйте, что вам угодно, как вам угодно. Только будем условливаться, что́ вы понимаете под употребляемым вами словом.

И если натяжка, нравящаяся этому А., будет иметь реальный смысл,— например, если под словом «Субстанция» он хочет понимать лишь, положим, газы, отрицая реальность капельно-жидкого и твердого состояний, то надобно будет сказать ему: хорошо, только вы спорите не против того, что было говорено мною о смысле слова «материя», а против реальности капельно-жидкого и твердого состояний. Спора об этом вести не стоит. Он пустословие. Если вы того не понимаете, обратитесь к чтению книг о физике.— А если (как у Спинозы) субстанция — все существующее, то надобно сказать: «Извольте, г[осподи]и А., будем употреблять слово субстанция, если вам оно нравится. Но помните, что вы приняли для него определение, по которому оно обозначает все существующее».

Это о споре, которого не стоит продолжать, потому что он относится лишь к словам.

А вот другой вид спора — спор не о словах, а о чем-нибудь реально важном.

А.— Вы говорите, что материею называется то, что существует. Я не знаю, существует ли что-нибудь.

Б.— Э, да вы скептик. Продолжайте. И мы увидим, из каких мотивов происходит ваш скептицизм. Скептицизма вашего я разбирать не буду. Но мотивы его анализирую.

А.— Я не знаю и того, скептик ли я.

Б.— Продолжайте. Того, что вы не знаете, скептик ли вы, я разбирать не буду. Но мы увидим, и я анализирую мотивы, по которым вы сказали, что вы не знаете, скептик ли вы.

Кстати, о скептицизме. Это слово ныне в моде у натуралистов. Но они сами не понимают, о чем они говорят,

толкуя о своем скептицизме. Никто из них не скептик. Последний серьезный скептик был Паскаль. Это было у него, бедняжки, больного и к тому же запуганного и одураченного его родными и друзьями,— янсенистами, патологическое состояние души.— Янсенисты были, конечно, менее шарлатаны, чем иезуиты, но и они были хороши. Прочтите у простяка Паскаля историю его — сестры, кажется, или кузины, что ли,— ребенка, посредством которого янсенисты дурачили публику.

Но о скептицизме, когда придется, после.— Продолжаю пример, как должен быть веден тот спор.

А.— Я не знаю, существует ли что-нибудь. Я не знаю даже и того, говорю ли я или нет, что я не знаю, существует ли что-нибудь; это потому, что я не знаю, существую ли я.

Б.— Продолжайте.— И все одно и то же «продолжайте»,— пока из-под маски скептика выкажется лицо — обыкновенно, обскуранта.— Тогда и пойдет разговор о системе, защищаемой мнимым скептиком. Не о том, например, существует ли нечто, или должно ли это нечто считаться материальным или нематериальным, или должно ли оно называться субстанциею или как-нибудь еще иначе, а — просто-напросто о том, шарлатаны ли, или нет, были янсенисты. (Это если спор был бы с Паскалем и если бы Паскаль в те часы, когда идет разговор, не нуждался больше в какой-нибудь лавровишневой воде для успокоения нервов, чем в разоблачении шарлатанства родных и друзей, расстроивших его нервы своими экстатическими фокусами.— Но Паскалей, ныне, кажется, нет ни одного между натуралистами,— ни по силе гения, ни — это хорошо, что в этом отношении нет,— по патологическому состоянию души. (Разве Уоллэс, Wallace). Но, во-первых, Уоллэс и его компаньоны по спиритизму остаются здоровы, а Паскаль весь измучился; во-вторых, Уоллэс не первоклассный гений, Крукс и вовсе не особенно гениален (а Вагнер и Бутлеров — научная мелюзга). В-третьих, спиритизм — далеко не так нелеп, как янсенизм. В нем лишь один из догматов, которых много в янсенизме. И спиритизм — желание видеть занимательные фокусы, дурачиться. Янсенизм — это не кукольная комедия, а страшно серьезная трагедия, в которой шарлатаны действуют не по самобытному влечению к обиранию денег мелочными суммами,— вроде прежних делателей золота — как действуют медиумы; нет, в янсенизме шарлатаны были только прислугою людей, имевших тенденции Торк[в]емады.— Прочтите переписку Лейбница с тогдашним

главою янсенистов (Арно, что ли) — этот янсенист готов задушить Лейбница, который всеми силами ума старается извинить себя, что не переходит в католичество и всячески хвалит католичество. Янсенист твердит свое: ты еретик, тебя ждет ад). Нынешние натуралисты, когда их слово «скептицизм» не пустое слово, хотят, лишь не умеют правильно сказать, бедные, что сбиты с толку теориею световых колебаний, производящих впечатление красного, оранжевого и т. д. цветов. Об этом после. Но и теперь вы видите, мои друзья, что неуменье понять какой-нибудь отдельный вопрос оптики — дело мелочное. Не знать, как звали пра-пра-бабушку Нумы Помпилия, вещь очень возможная. И откровенно скажу: я этого не знаю; и, полагаю, вы не знаете. Но от этого,— впрочем, очень прискорбного,— пробела в наших знаниях далеко до надобности повергаться в отчаяние за науку ли вообще, или в частности за римскую историю,— за разум ли человеческий вообще, или за наши личные — большие ли, маленькие ли, но все-таки какие-нибудь умственные и нравственные силы. Мимоходом скажу, что натуралисты напрасно и воображают, будто световые колебания эфира превращаются в цветовые впечатления. Цветовые впечатления — это те же колебания, продолжающие итти по зрительному нерву, доходящие до головного мозга и продолжающие совершаться в нем. Превращения тут никакого нет. Потому нет и неразрешимости в вопросе: как происходит это превращение? — Ответ прост: оно не происходит никак, потому что его нет; оно — фантастическая гипотеза, противоречащая факту и потому фальшивая, долженствующая быть брошенной.— Это мимоходом. Возвращаюсь к главному предмету речи.

Естествознание изучает материю и способы действия существующих в ней качеств. О материи оно старается узнать факты; в изучении способов ее действия оно старается находить формулы законов природы.

Из вопросов, которые относятся к узнаванию фактов о существующем (о веществе, материи), скажу мои мысли только по двум, оставляя другие, быть может, и более важные вопросы этого рода до другого раза.— Вся ли материя одна и та же материя или существует несколько веществ совершенно разных? — Это первый вопрос. Второй: исчерпывается ли вся классификация различных состояний одного и того же вещества теми тремя, о которых говорит физика: газообразным, капельно-жидким и твердым (и разными степенями перехода из одного между этими тремя в другое между ними)?

Первый вопрос, как находят достоверным или правдоподобным решать химики, так я и принимаю их решение. С той поры, как изгнаны из науки алхимические фантазии и подобные им фантазии о невесомых жидкостях (теплороде, электричестве и т. д., как об особых телах), в ученых нет, сколько мне кажется, склонности выдумывать по этому вопросу какой-нибудь вздор, и рассуждают они об этом не безошиб[оч]но, разумеется; без ошибок никакое дело не обходится, если оно очень обширно, но рассуждают, как прилично рассудительным людям.— Нашли они вот столько-то тел, которых не могут разложить,— говорят они: вероятно, есть и другие такие же тела, которых они еще не нашли; а из найденных ими некоторые, которых они еще не сумели разложить, вероятно, будут разложены ими или их преемниками. Все это правильно.— Хотите, чтоб я посмеялся над собой? Я люблю это, и мне давно хочется доставить себе это удовольствие.— Откровенно говорю вам, друзья мои: очень огорчило меня то, что линии азота найдены в спектре таких звездных ли туманов, туманных ли звезд, чего ли другого такого, в таком спектре, где линий очень мало, и все они принадлежат веществам такого разряда, как водород,— веществам, по степени своей вероятной способности не поддаваться разложению стоящим очень высоко над разрядом тел, разложение которых считают правдоподобным и даже близким химики (например, та группа металлов, один из которых железо; или та (другая), в которой золото, платина, иридиум). (Я ожидал, что разложат азот, как разложили воду.) Водяные пары сходны с азотом в том, что не очень-то стремятся входить в химические соединения; в этом отношении азот подобен золоту или по крайней мере серебру.— А спектральный анализ, кажется, свидетельствует, что он нечто имеющее очень высокую степень первобытности, как водород.

Есть гипотеза у химиков, что все простые тела — разные степени сгущения одного и того же материала. Водород, в этой гипотезе, считается (или, по крайней мере, до спектрального анализа, открывшего какой-то очень легкий другой газ в солнце,— так, что ли? — и называется это helium (гелиум), что ли? — или я перезабыл? — говорю: водород считается или прежде считался (в той гипотезе) или первобытным веществом, сгущение которого — все другие так называемые простые тела, или хоть первою степенью сгущения другого газа, еще более легкого, которого мы в его первобытном, несгущенном состоянии не знаем.— Так я изложил гипотезу? или не сумел припом-

нить ее хорошенько? Все равно, когда-то я порядочно понимал эту гипотезу, и она казалась мне правдоподобной.— Но даже относительно такой широкой гипотезы, для моего образа мыслей «да» или «нет»— пусть будет, как находят специалисты.— В мой образ мыслей входят, как существенные черты его, лишь истины гораздо более простого характера и гораздо более широкого объема; истины, подобные постулятам геометрии, то есть основным фактам существования, рассматриваемого со стороны качества иметь какое-нибудь протяжение (это качество можно назвать, пожалуй, пространственность).— Эти широкие и давно всем известные истины, не видоизменяясь сами, принимают, как обогащение своего содержания, всякое новое достоверно доказанное открытие. В пример приведу один из фактов, приобретенных наукою после той давней поры, когда установился мой образ мыслей.

Что такое солнечный свет? — Во время моей молодости считали наиболее правдоподобным, что он производится электричеством. И я склонялся считать эту гипотезу очень вероятной. Теперь достоверно найдено: это свет раскаленного тела.— Так, когда так. Это знание очень важное. Но для моего образа мыслей индифферентно то, что прежде мы не имели, а теперь приобрели это знание. Это похоже на то, что никакие успехи геометрии не изменяют основного понятия о трех измерениях пространства.

Пора отправлять письмо на почту. Жму ваши руки, мои милые друзья. Будьте здоровы.

Ваш *Н. Чернышевский.*

Так как не успел я написать о втором вопросе в этот раз, то скажу коротко: исчерпывается; теплород и другие невесомые жидкости уж брошены. Остается «невесомый» эфир; но его невесомость — нелепость. Он или не существует, или относится как-нибудь, положительно или отрицательно, к силе взаимного притяжения материи. Я расположен думать, что вещество междузвездного пространства имеет обыкновенные качества газа, и только всего; и что особого «эфира» нет нужды предполагать; имя, пожалуй, можно и сохранить, но будем помнить — это нечто одноразрядное с водородом, кислородом,— всего вероятнее, просто-напросто это тот же водород или что-нибудь очень близкое к водороду по своим физическим качествам (химические могут быть не такие; у кислор[од]а не те же они, как у водорода; у азота опять иные. Но физические — те же самые).

З. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

Вилюйск. 15 сент[ября] 1876.

Милые мои друзья Саша и Миша. Возобновляю мою беседу с вами об ученых вещах.

В прошлый раз я сделал характеристику моего образа мыслей по отношению к естествознанию. Она была не длинна,— всего пять, шесть строк. Но можно, не уменьшая полноты ее, формулировать ее еще гораздо короче.

Например, так:

То, что существует,— материя. Материя имеет качества. Проявления качеств — это силы. То, что мы называем законами природы, это способы действия сил.

Это мой образ мыслей. Но мой он лишь в том смысле, что я усвоил его себе. Лично мне ровно ничего не принадлежит в его разработке. В мое молодое время, когда формировались мои понятия, натуралисты, за немногими исключениями, были враждебны этому образу мыслей, и я приобрел его не от них, а наперекор им. Теперь почти все они стараются держаться его. Но вообще они еще плохо усвоили его себе.

В прошлый раз я хотел, сделав общую характеристику моего образа мыслей, изложить мои понятия о важнейших из специальных вопросов естествознания и успел коснуться двух: 1, однородна ли материя? — я отвечал: химики рассуждают об этом правильно; 2, можно ли допустить, что эфир — невесомое вещество? — я отвечал: нельзя, потому что ничего невесомого не существует и не может существовать.

Не знаю, вздумается ли вам, чтоб я продолжал такой обзор специальных вопросов естествознания. Если захотите, то буду. Не захотите, то не нужно.

А что касается до моих личных склонностей, то естествознание никогда не было предметом моих ученых занятий. Я всегда интересовался им лишь настолько, насколько того требовала какая-нибудь надобность разъяснить какое-нибудь обстоятельство по какому-нибудь предмету моих ученых работ, прямым образом относившихся исключительно к нравственным наукам, а не к естествознанию.

Надобности эти состояли не в том, чтобы естествознание помогло разъяснению дела, а только в том, чтобы устранить затемнение дела, производимое неудачными аналогиями, заимствованными из естествознания, или фальшивыми понятиями натуралистов, или невежеством специалистов по данной отрасли знаний. Например, историки

постоянно переносили и продолжают переносить на понятие о нации понятие о росте и увядании дерева. Никакие ботанические аналогии ровно ничего не могут разъяснить в истории[1]. Все они — чепуха. Но чтоб устранить эту глупую аналогию «нация растет и увядает, как дерево», надобно же иметь понятие, что такое «дерево». И окажется, пожалуй, что иное дерево не имеет никакой физиологической необходимости когда-нибудь «увянуть». Дуб или сосна увянет когда-нибудь, если и не будет сломана ветром. Но что за необходимость увянуть когда-нибудь той индийской смоковнице, которая разрастается в целую рощу? — Правда, аналогия нации и с нею — тоже чепуха. Но доказать говорящему чепуху, что из их же собственной чепухи выходит чепуха совсем иного характера, нежели они утверждают, это иногда годится, хоть для смеха над ними.

Вообще естествознание достойно всякого уважения, сочувствия, ободрения. Но и оно подвержено возможности служить средством к пустой и глупой болтовне. Это случается с ним в очень большом размере очень часто; потому что огромное большинство натуралистов, как и всяких других ученых, специалисты, не имеющие порядочного общего ученого образования, и поэтому, когда вздумается им пофилософствовать, философствуют вкривь и вкось, как попало; а философствовать они почти все любят.— Я много раз говорил, как нелепо сочинил свою «теорию борьбы за жизнь» Дарвин, вздумавши философствовать по Мальтусу. Приведу другой пример.

До сих пор остается во мнении натуралистов «непоколебимою истиною» так называемый «закон Бэра». Он выражается, вы помните, так:

«Степень совершенства организма пропорциональна его дифференциации».

Бэр — великий ученый; далеко не равный Дарвину, с которым чуть ли не спорит, отрицая чуть ли не одно только то, что совершенно справедливо у Дарвина: трансформизм; но хоть и не равный Дарвину, все-таки великий ученый. Великий, да. И его «закон», как теория Дарвина, имеет в себе кое-что совершенно справедливое: организм моллюска менее дифференцирован, чем организм рыбы; дифференциация в млекопитающем еще больше, чем в рыбе. Это так. Но почему ж бы это считать не случайным совпадением фактов, а законом природы? — Потому, говорит Бэр, что при разделении функций между разными органами каждая функция будет совершаться лучше.— Так? А это почему ж так? Ни зоология, ни ботаника, ни

физиология не в состоянии объяснить, почему так. Откуда ж узнал Бэр, что это так? — Из книги Адама Смита[2]. Там доказывается, что для успешности, например, выделки гвоздей, булавок и игральных карт полезно, чтобы отдельные фазисы производства, например, булавки, были разделены между разными работниками.— О булавках это, положим, правда. Но что из того следует, например, о глазе млекопитающего? — Вот что:

Зрение — чувство сложное. Мы видим 1, очертание фигуры; 2, цвет.

Если работник делает и стерженек и головку булавки, одно дело мешает другому; надобно разделить их по разным людям.

Глаз млекопитающего, когда видит цвет фигуры, то не отвлекается ли этим от наблюдения формы фигуры? Когда глаз не различает цветов, то не более ли способен он наблюдать очертание фигуры? — Вы знаете, есть люди, не различающие некоторых цветов; этот порок глаз, вы знаете, называется дальтонизмом. Если дальтонизм абсолютный, то глаз видит все предметы одноцветными, например, серыми. Глаз такого устройства не наиболее ли хорош? — По закону Бэра, да.

Что же такое закон Бэра? — Неудачная формула, без критики перенесенная из политической экономии в зоологию и ботанику.— А реальный закон, наполовину выражаемый, наполовину искажаемый этой неудачной формулой, в чем же состоит?

Относительно ботаники я не знаю. Но относительно зоологии дело просто.

Как скоро в организме есть нервная система, главная норма для определения степени совершенства этого организма — степень развития нервной системы. А степень развития нервной системы легко ли определить анатомическими или вообще морфологическими способами? Нет, это во многих случаях труд, еще превышающий наши силы. Но функции нервной системы наблюдать легко; и сущность достоинства нервной системы данного животного — в этих функциях. Выше ли дифференцирован организм слона или лошади, чем организм барана или коровы? — Нет, я полагаю. Но лошадь умнее барана; лошадь организм более совершенный. Это главный критериум. Придаточный критериум: степень способности всего остального организма служить требованиям нервной системы. Из двух пород лошадей, равных по уму, та порода совершеннее, которая имеет мускулы более сильные и неутомимые. — О мускулах это лишь так подвернулось

мне под перо. Второстепенных критериумов много, не одни мускулы; тоже и способность желудка переваривать пищу, и способность органов движения передвигать организм (у лошади это будет степень крепости копыт) и степень здоровости всего организма (это вообще будет, я полагаю, степень устойчивости крови в нормальном своем составе) и т. д., и т. д.— Но все это критериумы физиологические, а не морфологические, которые одни захватываются законом Бэра и которые находятся, правда, в связи с физиологическими, но прямого значения ровно никакого не имеют ни для кого, кроме живописцев и всяческих других любителей артистического созерцания.

Это пусть будет примером того, как вообще думаю я о нынешнем состоянии естествознания. Оно — путаница здравых научных понятий с понятиями, которых без разбора нахватались натуралисты откуда случилось.

И пока довольно о естествознании. И конец этому письму к вам обоим вместе. Если успею, напишу еще по письму каждому врознь. Не успею, то до следующей почты.

4. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

11 апреля 1877. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша.

Напишу сначала Вам обоим вместе; а после каждому порознь, если останется на это у меня время,— в чем сомневаюсь.

Я писал Вам ученые рассуждения. Писал их слишком коротко и не взвешивая выражений, и не имея книг для справок. Натурально, что во многих вещах я делал ошибки, по незнанию, по недосмотру, от торопливости и по моему природному неуменью писать хорошо. Вам известно, я надеюсь, что собственно как писатель, стилист,— я писатель до крайности плохой. Из сотни плохих писателей разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни — совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель.

Об учености моей надобно Вам судить тоже с большою свободою и с некоторою дозою сожаления. Я самоучка,— во всем, кроме латинского языка, которому хорошо учил меня отец, бывший очень хорошим латинистом. И в старину я писал по-латине, как едва ли кто другой в России: нельзя было различить, какие отрывки написаны мною самим, какие отрывки переписаны мною из Цицерона, когда я, для шутки над педантами, писал латинскую

статью, перемеш[ив]ая свое собственное с выписками из Цицерона. Когда я был в первом курсе университета, я делывал это. Теперь я забыл и латинь. Тридцать уж лет она брошена мною. В тридцать лет люди забывают и свой родной язык.— Это мимоходом. Я хотел сказать: только латинскому языку я учился, как учатся юноши или дети: со вниманием ко всем подробностям данной отрасли знания, без разбора, какие из этих подробностей серьезны, какие — пусты. Всему остальному я учился, как человек взрослый, с самостоятельным умом: разбирая, какие факты заслуживают внимания, какие — не достойны его. Поэтому во всякой отрасли знаний, которой я занимался, я не хотел втискивать себе в голову многих фактов, которыми щеголяют специалисты: это факты пустые, бессмысленные. Например: сколько наклонений в спряжении французского глагола? — Я и теперь не знаю и никогда не знал. Или: как различать разные сорты ударений над разными гласными во французской орфографии? — Не знаю. Почему? — Теория спряжения у французских лингвистов глупа, французская орфография — не лучше нашей, хаос педантических бессмыслиц и грубых ошибок. Если б я тратил время на внимание к этому и тому подобному вздору, мне некогда было бы приобретать серьезно нужные знания. И, продолжая пример: если б я тратил время на глупости французской грамматики, я не имел бы досуга вникать в смысл французских научных выражений. Терминология французского языка по тем отраслям знания, которые меня интересовали, известна мне, как хорошим французским специалистам этой отрасли знания. И, например, историческую книгу на французском языке я понимаю яснее, чем может понимать ее кто-нибудь из французов, кроме специалистов по истории. Но я не могу написать ни одной строки по-французски. Тем меньше я способен произнести хоть какую-нибудь французскую фразу так, чтобы француз понял ее, а не вообразил, что мною сказано что-то на каком-то неизвестном ему языке,— быть может, на португальском или на «ладинском» (аппенцельском). Я не имею понятия о французском выговоре. И, когда пробовали говорить со мною французы, я старался (вообще безуспешно) понять смысл их слов, но на оттенки выговора, составляющие особенность французского произношения, я всегда забывал обращать внимание. Однажды какой-то добряк-француз вразумлял меня о разнице интонаций é и è. Я из любезности смотрел в глаза ему, будто слушаю, но думал о других вещах, и разница é от è осталась по-прежнему неизвестна мне.—

Жалеть ли о том? — Гоняться за всеми зайцами, не поймать ни одного. Но, конечно, было бы лучше, если б они все были пойманы.

Это неважно, потому что это лишь обо мне. Но это необходимое предисловие к тому, что будет относиться к Вам, мои друзья.

От моего собственного пренебрежения к пустякам происходит во мне постоянное расположение думать, что они не памятны и лицам, с которыми я говорю. Например, я спрашиваю кого-нибудь: «хорошо вы знаете французский язык?» — и слышу в ответ: «у меня (то есть у отвечающего) дурной французский выговор». — Об этом я не имел в виду спрашивать, и этот ответ будет не на мой вопрос. Значит: делая вопрос, я не сумел выразиться, как следовало. Следовало спросить: «читать книгу о предмете, известном вам, так же ли легко для вас и на французском языке, как на вашем родном?» — Спроси я так, недоразумения не было бы.

Теперь о моих ученых рассуждениях с Вами.

В них, действительно, множество ошибок от моего незнания, от моей торопливости писать. Но, кроме того, в них множество выражений неудачных, подающих повод Вам к напрасным сомнениям, правильны ли, по-моему, те понятия, какие имеете Вы сами об этом предмете.

Беру для примера мои заметки об иезуитах. Вам показалось, будто я считаю иезуитов бескорыстными слугами так называемой папской власти, то есть, собственно говоря, власти всей совокупности кардинальских конгрегаций с их секретарями и всею свитою (папа лишь парадная кукла этой серьезной корпоративной силы). — Вы полагали, что иезуиты служат папе не бескорыстно и себя самих любят усерднее, чем папу. И вам показалось, будто я считаю это ваше мнение ошибочным. Нет, оно — вполне справедливо и на мой взгляд. — Отчего же возникло ваше недоразумение? — Я забыл изложить общие мои понятия о качествах человеческой натуры, о степени ее способности к бескорыстной любви.

Есть много людей, способных бескорыстно любить или другого человека, или какую-нибудь «идею», — например, науку, или искусство, или что-нибудь такое. Но хоть этих людей и много, все-таки они отдельные, исключительные явления и никогда, никак не могли составить из себя никакой корпорации. Как начинается подбирание членов корпорации, — какова бы ни была разборчивость подбирающих, масса членов корпорации оказывается состоящею из дюжинных людей, для которых высшие интересы —

своекорыстные интересы. Это происходит от двух главных причин. Выбирающее лицо — человек; то есть существо, легко ошибающееся. А предмет выбора — масса людей. Дистиллируй, как хочешь, но чистого спирта из водки не получишь. А дистиллировать людей, как водку, нельзя. Берите какое хотите ученое общество; масса его — люди, для которых наука — пустяки. Берите какое хотите благотворительное общество. Масса его — люди, очень равнодушные к пользе людей.

Это слишком коротко. И, кроме того, высказано в слишком плохих выражениях, по моей неспособности писать хорошо. Но если Вы хотите иметь понятие о том, что такое, по моему мнению, человеческая природа, узнавайте это из единственного мыслителя нашего столетия, у которого были совершенно верные, по-моему, понятия о вещах. Это — Людвиг Фейербах. Вот уж пятнадцать лет я не перечитывал его. И раньше того много лет уж не имел досуга много читать его. И теперь, конечно, забыл почти все, что знал из него. Но в молодости я знал целые страницы из него наизусть. И сколько могу судить, по моим потускневшим воспоминаниям о нем, остаюсь верным последователем его.

Он устарел? — Он устареет, когда явится другой мыслитель такой силы. Когда он явился, то устарел Спиноза. Но прошло более полутораста лет, прежде чем явился достойный преемник Спинозе.

Не говоря о нынешней знаменитой мелюзге, вроде Дарвина, Милля, Герберта Спенсера и т. д.— тем менее говоря о глупцах, подобных Огюсту Конту,— ни Локк, ни Гьюм, ни Кант, ни Гольбах, ни Фихте, ни Гегель не имели такой силы мысли, как Спиноза. И до появления Фейербаха надобно было учиться понимать вещи у Спинозы,— устарелого ли, или нет, например в начале нынешнего века, но все равно: единственного надежного учителя.— Таково теперь положение Фейербаха: хорош ли он, или плох, это как угодно; но он безо всякого сравнения лучше всех[1].

Специальным образом он успел разработать лишь одну часть своего миросозерцания; ту часть философии, которая относится к религии. Обо всем остальном у него попадаются лишь делаемые мимоходом, краткие заметки.— К тому частному вопросу, о котором говорю я,— к вопросу о мотивах человеческой деятельности, относится у Фейербаха одно из примечаний к его «лекциям о религии», «Vorlesungen über das Wesen der Religion»[2]. Эти заметки собраны в одну группу после текста лекций.

Моя ошибка в моей маленькой трактации о иезуитах состояла в том, что я забыл упомянуть: никакая корпорация никогда не служила бескорыстно никакому делу; всякая корпорация всегда ставила выше всяких своих практических стремлений на чужую пользу и выше всяких своих теоретических убеждений собственные интересы.

Об Афинском Ареопаге наши сведения слишком отрывочны. После него самою благородною, самою умною, самою преданною общему благу из всех известных нам корпораций был Римский Сенат,— от начала достоверной истории Рима,— предположим, от времен войны с Пирром Эпирским до начала гнусностей, погубивших Рим,— положим, до времен разрушения Карфагена и Коринфа[3]. Переберите же историю Рима за эти наилучшие его годы,— положим, за...[4] период только в 150 лет изо всех веков жизни Рима. Вы увидите, что и в самый благородный период самая благородная изо всех хорошо известных нам корпораций усердно служила отечеству лишь в тех делах, в которых интересы отечества были (или в подобных вещах все равно: казались ей) совпадающими с ее собственными интересами.

Что из того следует? Мрачный ли взгляд на вещи, как у большинства последователей Дарвина, или, еще хуже, у этого новомодного осла, Гартмана, пережевывающего жвачку, изблеванную Шеллингом и побывавшую после того во рту Шопенгауэра, от которого Гартман и воспринял ее? — Хандра — это не наука. Глупость — это не наука.— Из того, что у массы людей слабы все интересы, кроме узких своекорыстных, следует только то, что человек существо довольно слабое. Новости в этом мало. И унывать от этого нам уж поздно. Следовало бы, по Гартману и по ученикам Дарвина, прийти в отчаяние тем нашим предкам, которые признали себя, первые, людьми, а не обезьянами. Им следовало бы отчаяться, побежать к морю и утопиться. Но и они не были уж так глупы, чтобы сделать такую пошлость. Они,— хоть наполовину еще оранг-утанги, все-таки уж рассудили: «мы плоховаты, правда; но все-таки, не все же в нас дурно. Поживем, будем соображать, будем понемножку становиться лучшими и получше уметь жить». Так оно, вообще говоря, и сбылось: много падений испытало развитие добрых и разумных элементов человеческой природы. Но все-таки мы получше тех обезьян. Будем жить, трудиться, мыслить — и будем понемножку делаться сами лучше, и лучше устраивать нашу жизнь.

«Но земля упадет на солнце»,— по всем расчетам, да. В этом-то, собственно, и огорчение Гартману с компанией. И это огорчение не новость. Вы помните:

Молоденькая бабенка с мужем сидели у печки. На печке сушились дрова. Упало полено. Бабенка расплакалась. Муж: «Что ты, Маша» или «Дуня»? — Маша или Дуня,— предшественница новомодных философов, отвечает мужу: «у нас с тобой, Ваня, будут дети; а у наших детей тоже будут дети; эти будут мне уж внучатки, а я им бабушка. И будет сидеть мой внучек подле печи и упадет,— вот этак же, полено с печи, и ушибет моего внучка».

Я для простоты приложения переделал, Вы замечаете, эту побасенку. В подлинном виде она говорит: «сидели бездетные старуха со стариком».— И, подлинные слова предшественницы Гартмана с компаниею: «Как бы у нас с тобою были детки, а у наших деток тоже детки, и как бы мой внученок сидел на том месте, полено ушибло бы его».

Это, пожалуй, и гораздо лучше, нежели моя переделка. Только ответ на это менее прост. Вот он.

«Земля упадет на солнце».— Или: «Ангидриты поглотят воду», или: «Солнце остынет, и земля замерзнет».— Да, по нашим расчетам. Но верны ли наши расчеты? Например: прежде, чем ангидриты успеют всосать океан, не сумеют ли люди принять меры против этого? — В чем должны состоять эти меры, понятно уж и нам: дно океана должно быть облечено непроницаемым для воды слоем,— чем-нибудь вроде глины, или стекла, или цинка. Нам еще не время заниматься такими трудами. Но когда они понадобятся, то почему мы знаем, что люди или существа, которые будут тогдашними потомками людей, будут не в силах исполнять труды такого размера.

«Солнце погаснет»; — а почему мы знаем, что оно действительно погаснет? «Элементы, поддерживающие его теплоту, не уравновешивают ее потери».— Да. Но всегда ли так будет? Пожалуй, не может ли выйти наоборот: солнце разгорится так, что снова на Шпицбергене будут расти буковые леса. Такой ответ — нелепая фантазия. Да. Но чем же, кроме глупости, отвечать на такие глупости, как уныние от будущего охлаждения солнца?

Я заговорился о характере своих отношений к новомодным пережевываниям изблеванных прежними сумасбродами, вроде Шеллинга, жвачек.— Но гораздо лучше, нежели от меня самого, Вы можете узнать общий характер моего мировоззрения от Фейербаха.— Это взгляд спокойный и светлый.

И никакие пошлости вроде гадкой деятельности иезуитского ордена не смущают моих мыслей. Все это лишь очень мелкие дурные результаты великой силы зла, перед которой ничтожны они; а эта сила зла — невежество людей и сумма происходящих от неумения жить обыкновенных человеческих слабостей и дурных склонностей. Иезуиты и все другие гадкие люди — ничтожество. Но эта сила зла, живущая, больше или меньше, в каждом из людей,— она велика. И все отдельные, эффектные ее проявления маловажны сравнительно с постоянным тихим всеобщим действованием ее. А из отдельных, эффектных ее проявлений сравнительно важны не такие кукольные спектакли, как фокусничанье иезуитов, а такие факты, как подавление культуры всей Западной Азии и России,— а на востоке культуры Китая полчищами Джингиз-Хана.— Или вернемся в Рим. Злодей и мерзавец Марий надевает маску друга плебеев и, одурачивши невежд, разгоряченных завистью к богатым, подавляет Рим. Сулла надевает маску защитника людей, страдающих от злодея Мария, и налагает на родину другое ярмо. И с их легкой руки начинается история злодейств, ведущих к тому, о чем писал Тацит[5]. Вот это было великое бедствие для всего рода человеческого, подавление всего честного и доброго, что начинало прививаться от Греции к Риму.

Перед Марием и Суллой что значат все — двести шестьдесят, что ли? — пап, со всеми их кардинальскими коллегиями и доминиканцами и всяческими монашескими орденами? Это мелкие прислужники действительных владык мира. Владыками мира во время основания иезуитского ордена были Габсбурги и соперники Габсбургов. Папа лакействовал им. А иезуиты лакействовали папе.

И возвращаюсь к тому, о чем начал говорить. Отдельные эффектные проявления силы зла, вроде опустошений, произведенных Джингиз-Ханом, лишь маленькая доля той массы бедствий, которую производит тихое,— по-видимому, не особенно дурное,— действование обыкновенных слабостей и пороков обыкновенных недурных людей. Например, пьянство. Кроме того, что сами по себе менее важны, эффектные проявления зла были бы невозможны, если бы дорога для них не была устилаема удобными для их шествия коврами из этих — по-видимому, не особенно ужасных — пороков недурных людей. Например, были бы невозможны Марий и Сулла, если бы Римский Сенат не поддался «благородному честолюбию» и «похвальному патриотизму» Катона Старшего, требовавшего разрушения Карфагена, и если бы Тиберий и Каий Гракх не научи-

ли,— отчасти своими собственными излишними горячностями, отчасти своим падением,— не научили Римских Сенаторов действовать на Форуме дубинами и оружием. На Тиберие и Кайе Гракхах Марий и Сулла выучились понимать: лишь бы как-нибудь довести вооруженную организованную силу до Форума, а подавить Форум уж не трудная вещь. Кто же первые виновники погибели Рима? — Катон Старший,— человек, правда, дурной (хорошим воображают его по ошибке) — человек дурной, но не хуже, а все-таки лучше большинства; и Гракхи, люди, действительно, благородные, желавшие блага Риму. И толпа Римлян, трусов и завистников богачам, но вообще людей далеко не трусливого, как вы знаете, характера; люди храбрые были они; такой храброй нации нет, я полагаю, ни одной в наше время. Но все-таки они были люди; и потому были в них элементы трусости. И они покинули Гракхов. И тем погубили себя. А Гракхи? — На какую поддержку они рассчитывали? Разве Тиберий Гракх не был под Нуманциею?[6] Разве не мог он там понять, способны ли защитить его эти милые ему плебеи, которые целыми громадными армиями бегали от горсти Нумантийцев? Куда ж он лез со своими замашками силою одолеть оптиматов? Где была его сила? Где могла она быть? — Это было ослепление, едва ли извинительное даже глупцу. А он был гениальный человек. Но человек. И элемент умственной слабости был в нем. И погубил его. И его падением расчищена была дорога для Мариев и Сулл.

Берем тот другой пример, погибель Китая, Западной Азии, России от полчищ Джингиз-Хана.— Китайцы ссорились между собою. Обыкновенная человеческая слабость. Но без нее разве проник бы Дж[ингиз]-Хан в Китай? — Китайцы задавили бы его на границе, как много раз прогоняли его предместников.— Еще яснее ход дела на Западе.— Жители Маверранегра[7] увлеклись обыкновенною человеческою слабостью покорить соседов. И покорили. Но обессилили тем и покоренных соседей и самих себя. Пышности стало много в Маверранегре, а прежней серьезной силы стало гораздо поменьше прежнего. И легко стало Дж[ингиз]-Хану прихлопнуть всех их вместе, и победителей, и побежденных.

Итак: в сущности, все гадкие эффектные дела сводятся в разряд мелочей, разыгрывающихся с эффектом только вследствие обыкновенной деятельности обыкновенных слабостей массы недурных людей. Эта основная сила зла, действительно, громадна. Но что ж из того для нашего мировоззрения? — Выбивался же, понемножку, разум

людей из-под ига их слабостей и пороков, и силою разума улучшались же понемножку люди; даже в те времена, когда были еще наполовину обезьянами. Тем меньше мы имеем права мрачно смотреть на людей теперь, когда они все-таки уж гораздо разумнее и добрее, чем горилла и оранг-утанг. Понемножку мы учимся. И научаемся понемножку быть добрыми и жить рассудительно. Тихо идет это дело? — Да. Но мы существа очень слабые. Честь нашим предкам и за то, что они дошли и довели нас хоть до тех результатов труда, которыми пользуемся мы. И наши потомки отдадут нам ту же справедливость, скажут о нас: «они были существа слабые, но все-таки не вовсе без успеха трудились на свою и нашу пользу».

Однако пора отправлять письма на почту.

Порознь Вам, друзья мои, не успел я написать.

Ты, Саша, если еще сохраняешь ученическое уважение к своим бывшим профессорам,— как я сужу по твоим письмам,— будь обрадован тем, что у меня недоставало времени писать собственно к тебе. Огорчил бы я тебя изложением своих мнений о твоих бывших профессорах. Факты, которые приводишь ты в письме твоем, очень плохо рекомендуют твоих профессоров. Ты не догадывался, какой смысл имеют эти факты. Они показывают: твои бывшие профессора — тупоумные тунеядцы, или, по-ученому, паразиты. Я, помнится, написал когда-то из любезности к тебе, что слышал хорошие отзывы о Чебышеве, который тогда был и, вероятно, останется, солнцем вашего факультета и твоим любимцем. Это правда, я слышал о нем много хорошего, как об ученом. И в угождение тебе высказал лишь эту сторону моих сведений о нем. А другая сторона — мои собственные соображения о его ученых заслугах, менее выгодна для него.

Я опасаюсь: если ты хочешь быть дельным ученым, тебе прийдется выкинуть из головы все твои университетские курсы, в которых, по всей вероятности, не было ничего, кроме педантства.

Прости, если огорчаю тебя резким отзывом о людях, любимых и уважаемых тобою.

И, порадуйся, что у меня нет времени развивать эту неприятную для тебя тему.

Прошу твоего извинения. Но, воля твоя, не люблю педантов и тунеядцев, заставляющих юношество терять время над пустяками, во вкусе той геометрии, которую прислал ты мне. Раз я вздумал посмотреть, правильно ли я вспоминаю ход доказательства, что поверхность шара равна четырем большим кругам. Насилу доискался этой

теоремы в груде мусора о каких-то эллипсах, вписанных в какие-то круги, и о тому подобном педантическом вздоре, ровно ни к чему не нужном в первоначальной геометрии и лишь притупляющем мысль. И самая теорема о поверхности шара оказалась изложенной сбивчиво, из рук вон плохо.

Не подумай, что я восстаю против твоих занятий теориею чисел или против выбора темы для твоей диссертации. В этом я ничего не понимаю и об этом я не сужу. Но вся история твоих хлопот над диссертациею показывает, что твои бывшие профессора — коллекция уродов, от избытка учености утративших смысл, а по недостатку смысла — оставшихся людьми очень миньятюрной учености.

Не сердись на этих уродов. Уроды они, и не я в том виноват.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

Жму руку Мише. Благодарю его за портрет. Напишу ему в другой раз.

5. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

9 февраля 1878. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша,

Вы говорите, что вам приятно было читать прежние мои беседы с вами о всеобщей истории. Очень рад, мои милые дети, продолжать их.

Чтобы ход моих мыслей и характер моих споров с некоторыми теоретиками был совершенно ясен для вас, мои милые друзья, при чтении того, что буду писать теперь, необходимо нам, разумеется, припомнить, в чем же именно состояло существенное содержание наших прежних бесед.

Я брал частный вопрос. Расширял его в общий. Это давало ему прочную постановку. Как я это делал? — Я прилагал к разбору мелочей от важного в нем общие научные понятия. В Греках или Китайцах я находил требованием науки: видеть людей. И когда я успевал рассмотреть, какие общие всем людям мысли и желания управляли их поступками, частный исторический вопрос о них разрешался легко и верно.

Итак, вся сущность дела была в разъяснении вам, друзья мои, какие общие понятия, по-моему, научны. Частные вопросы служили только средством разъяснять, как, по-моему, надо ставить и решать всякие вообще вопросы истории человечества.

Она — рассказ о житейских делах людей. Поэтому чаще, больше всех других отделов системы общих научных понятий надобны для ее понимания те общие научные понятия, которые принадлежат, собственно, к отделу понятий о человеке и его житейских делах. Но по связи человека и его дел с другими отделами фактов надобно было мне прилагать к историческим вопросам и понятия из другого отдела системы общих научных понятий,— из того отдела, который относится прямым образом к содержанию так называемых, в тесном смысле слова, естественных наук.

По моей ли особенной склонности часто и много беседовал я с вами о естествознании? Вы знаете: нет. Я никогда не занимался ни одной отраслью естественных наук. Почему? — Что мне мешало? Ровно ничто. У меня не было охоты к тому. Вот все.

Но — как быть? — Надобно было мне беседовать с вами о том, о чем я не охотник ни читать, ни говорить, ни думать. И я старался разъяснить вам, каков характер тех общих понятий, которые, по-моему, единственные научные по предметам естествознания.

Вы предвидите, я хочу сказать:

Общие научные понятия будут постоянно надобны нам. Нам необходимо будет припоминать их, какие из них когда понадобятся.

Да, конечно.

И, по ходу моих мыслей, вы предвидите, что я скажу: «теперь нам понадобятся те из общих научных понятий, которые относятся к предметам естествознания».

Разумеется, я скажу так.

И припомним их, милые мои дети.

---

1. То, что существует,— вещество.

2. Рассматривая какой-нибудь предмет, мы распределяем наше знание о нем на два класса. В некоторых из наших знаний об этом предмете находится элемент знания, что предмет изменяется, или может когда-нибудь измениться, или мог когда-нибудь изменяться; это мы называем знаниями о формах, состояниях, отношениях вещества. Так, наши знания о воде в капельно-жидком состоянии не будут верны об этом веществе, когда это вещество, вода, замерзнет, или обратится в пар, или если она разложится на другие вещества. Но вес этой массы воды не изменится, как бы ни видоизменялись формы, состояния, отношения этой массы вещества, находящейся теперь в состоянии

воды. Это все-таки останется неизменное весом вещество.— Простое ли тело золото? — Мы не знаем. Но если мы успеем разложить его на какие-нибудь другие тела, масса вещества останется неизменна. Это мы знаем.

Такие наши сведения о веществе, как неизменном веществе, мы распределяем на различные подразделения по различным разрядам наших соображений, и мы называем эти различные разряды наших знаний о неизменном веществе «нашими знаниями о различных качествах вещества». Итак:

Разные качества вещества, это: — все одно и то же неизменное вещество, рассматриваемое с разных точек зрения. Качество вещества, это: само же вещество. Каждое особенное качество вещества, это: все вещество, рассматриваемое с одной определенной точки зрения.

Одно из качеств вещества — иметь, говоря попросту, какой-нибудь вес, или, выражаясь научным термином: иметь какую-нибудь массу.

Другое качество вещества — иметь какую-нибудь величину по каждому из трех геометрических измерений.

Каждое из этих качеств — само же вещество, все вещество.

Одно ли и то же качество эти два качества, вопрос лишь о том, умеем ли мы, или сумеем ли подвести два разряда наших знаний о веществе под одну точку зрения. Это вопрос о развитии науки, а не о веществе.

3. Всякая фактическая часть какой-нибудь фактической величины по какому-нибудь из трех измерений есть какая-нибудь фактическая величина того же измерения. Потому:

Мельчайшие частицы вещества имеют какую-нибудь величину по каждому из трех измерений.

Диференциирование функций и все тому подобные способы наших соображений лишь наши искусственные приемы для облегчения наших соображений. Они имеют смысл лишь пока мы помним, что они лишь искусственные приемы наших соображений. Фактический смысл имеют лишь фактические величины, лежащие в наших мыслях под формулами, а не сами формулы. Цель наших соображений при диференциировании — получение интеграла. Если мы, диференциировав функцию, не умеем дойти до интеграла, мы знаем, что это значит; это значит: какая-нибудь теория высшего анализа находится еще в неудовлетворительном состоянии. И мы заботимся усовершенствовать ее.

4. Взаимодействие качества разных частиц вещества или разных масс частиц вещества мы называем «взаимодействием сил природы». Итак:

Сила — это: качество веществ, рассматриваемое со стороны своего действования. То есть:

Сила — это: опять-таки само же вещество, рассматриваемое со стороны своего действования, с одной определенной точки зрения.

5. Когда мы успеваем понять способ действия какой-нибудь силы, то есть способ какого-нибудь действования вещества, рассматриваемого со стороны своего действия, мы называем это наше знание «знанием» этого «закона природы». Итак:

Законы природы — это: само же вещество, рассматриваемое со стороны способов взаимодействия его частиц или масс его частиц.

Этого пока довольно.

Друзья мои, вы знаете: это не изложение, даже не очерк, это лишь характеристика одной стороны системы общих научных понятий.

Но как характеристика этой системы со стороны ее отношений к предметам естествознания то, что теперь припомнили мы, достаточно для совершенной ясности того, о чем я буду говорить.

В эту характеристику введены две черты, относительно которых пришлось мне самому решать, должны ли они быть введены в нее. Это,

во-первых: признание так называемой Ньютоновой «гипотезы» о силе всеобщего взаимного притяжения, то есть на житейском языке — веса, на научном — массы, за фактически и логически неопровержимую истину. Решил ли так Лаплас? — Не знаю. Сколько могу сообразить, нет. Другого компетентного в подобных делах человека не было еще между натуралистами со времен Ньютона до наших. Спиноза еще не знал ни этого, ни других трудов Ньютона. Никто из мыслителей, живших после Спинозы, не был компетентен в подобных вещах, кроме Людвига Фейербаха. Фейербах нисколько не занимался выработкою того отдела научных общих понятий, который относится к специальному отделу естественных наук.— Итак, по необходимости, я должен был поступить тут лишь по моему личному решению;

во-вторых, то же самое по вопросу о делимости вещества. Лаплас, не знаю, высказывался ли об этом.

А факты сильно разъяснились после Спинозы и Ньютона Дальтоновым законом об эквивалентах. Ньютон жил столетием раньше развития химии до серьезной научной важности. Потому хоть он натуралист, какого другого не было еще после него, так что и Лаплас далеко не равен ему, но я не решаюсь не признавать за натуралистами и мыслителями научного права отвергать его решения, что атомы — факт. Лично я непоколебимо держался всегда этого решения Ньютона, как строго доказанной истины. И если б она нуждалась до Дальтона в подтверждении,— чего я не нахожу; я нахожу: со времен Левкиппа она уже не нуждалась в новых подтверждениях; но говорю я, если б нужны были подтверждения решению Ньютона, то Дальтонов закон, по-моему, был бы сильным фактом в пользу Ньютона. И все последующее, узнанное нами в химии ли, в физике ли, говорит, по-моему, за решение Ньютона. Но это лишь мое личное мнение.

Об этих обоих моих личных мнениях я поговорю, когда дойдет до них дело.

Но вот что, ты видишь из этого Саша:

В обоих случаях я лично всегда непоколебимо держался мыслей Ньютона. Все последующее развитие наук говорит, по-моему, в пользу моего мнения, что Ньютон совершенно прав. Почти все натуралисты думают точно так же.

Но я выражаюсь: «Это лишь мои личные мнения». Никого я не назову человеком ненаучных мнений за то, что он держится в этих двух случаях мнения, противоречащего моему, лично во мне непоколебимому, сколько я могу сам судить о прочности моих мыслей для меня самого, в моих собственных понятиях.

Ты согласишься: я не похож на доктринера.

Но у всякого, сколько-нибудь рассудительного человека, есть граница готовности быть уступчивым. Кто знает что́ не за свое мнение об истине, а за саму научную истину, тот не имеет права признавать за научную гипотезу никакую гипотезу, противоречащую этой истине.

Такой характер научной истины имеют для меня все, кроме тех двух, черты сделанной мною характеристики системы общих научных понятий, относящихся к содержанию естествознания.

Никакого ученого мнения, противоречащего чем бы то ни было чему бы то ни было в этих остальных, характеризованных мною, моих понятиях, я не могу признавать научным.

Поговорим теперь о достоинстве той характеристики, за исключением тех двух понятий, которые мои личные мнения.

Во всем остальном ровно ничего моего личного нет. Я только усвоил себе мысли других, мысли очень простые. Сотни тысяч людей в моем или вашем поколениях усвоили себе эти научные истины точно так же, как я.

Итак, моя личность тут ни при чем. И потому я имею право судить о достоинстве той всей остальной характеристики безо всяких церемоний.

И я спрашиваю:

Может ли хоть один из нынешних натуралистов не признать эти истины бесспорными, если он находится в здравом уме? И я отвечаю: не может не признать.

И я спрашиваю:

И кто из них не согласился бы подписаться под тою характеристикою, как ее автор? — И я отвечаю: с гордостью подписался бы под нею, как ее автор, сам Лаплас.

И из нынешних натуралистов всякий сказал бы о себе: ничего лучшего я никогда не писал и не напишу.

Кажется, так.— И мы припомнили теперь все, что было нам необходимо припомнить.

Хорошо же. И начинаем нашу беседу, милые мои дети.

О предисловии к истории человечества.

Я буду говорить о «большинстве ученых».

Под этим «большинством ученых» я понимаю:

Большинство натуралистов, включая в это название и ученых, занимающихся математикою; потому что все они в то же время деятели по подведению теорий или фактов, то есть или гипотез, или фактических знаний и фактических выводов, под формулы высшего анализа; а это дело самое важное из всех специальностей того отдела специальных наук, который привыкли мы все называть естествознанием, в тесном смысле слова;

и, кроме большинства натуралистов, большинство историков; и большинство специалистов по всем остальным специальностям учености.

Итак, я употребляю выражение «большинство ученых» в точном и справедливом смысле слова.

Иной вопрос, справедливы ли мои мнения об этом «большинстве ученых». Это мои личные мнения. Я не имею права сам знать, справедлив ли я в чем бы то ни было. Это обо всяком человеке могут знать лишь другие лю-

ди, а не сам он. Где замешана собственная личность, там суждение о справедливости суждение не компетентное.

Я могу лишь знать, как я сужу о большинстве ученых. И я буду говорить это; и также, могу знать, считаю ли я свои суждения о них справедливыми. Это я знаю. Да, по моему некомпетентному мнению о справедливости моих суждений, я сужу о большинстве ученых справедливо.

И, кроме того, я знаю: всякий обязан помнить о себе, часто ли он ошибался в своих суждениях. Я помню: я очень часто ошибался; ошибался в очень многом, очень важном, очень часто.

Но пока человек не увидит, что он ошибался в чем-нибудь, он думает об этом так, как он думает. Это обо всяком. И обо мне.

Пока я не вижу, что я ошибаюсь, я держусь своего суждения.

Это обо всяком моем суждении.

И обо всех моих суждениях о большинстве ученых.

Большинство ученых стало с недавнего времени находить, что предисловием к истории человечества надобно ставить:

Астрономическую историю возникновения нашей планеты;

Геологическую историю земного шара; и

Историю развития того генеалогического ряда живых существ, в конце которого мы находим людей.

Как я смотрю на это мнение, бесспорно новое для ученых, недавно принявших его?

Для меня оно не ново. И для меня такой взгляд на вещи не «мнение», а взгляд, с научной точки зрения, единственный возможный. О специальном содержании предисловия с таким характером я буду говорить после, по порядку специальных частей. Теперь я говорю лишь о сущности дела.

Все существенные черты того предисловия к истории человечества — принадлежность той, единственной научной системы общих понятий, которую я усвоил себе в ранние годы моей молодости,— вот уж лет тридцать теперь тому; которой я с того времени всегда твердо держался; и которой, надеюсь, буду твердо держаться, пока буду сохранять силу мыслить.

И, разумеется, я чувствую глубокое душевное удовольствие, видя, что большинство ученых приняло по некоторым,— хоть лишь специальным только, а не общим, но

очень важным вопросам издавна известные специальные решения, совершенно научные и совершенно достоверные, и сделалось через то более способным и расположенным понемножку усвоить себе мировоззрение великих мыслителей, любивших истину, от которых научился я любить ее и, насколько достало у меня способности понимать их, понимать ее.

Так я смотрю на все это дело в его существенных чертах.

Но большинство ученых полагает о себе, конечно, не то, что говорю я об этом большинстве.

Оно полагает, что оно вполне усвоило себе научное мировоззрение.

Это, по-моему, иллюзия людей, которые плохо знают то, о чем они стали охотники толковать.

Перейдем теперь, мои милые друзья, к специальному содержанию того предисловия.

Я сказал, что специальные решения важнейших специальных вопросов этого предисловия даны давно и издавна были известны людям, державшимся научной системы общих понятий; что почти все, державшиеся этой системы, издавна считали те специальные решения за совершенно достоверные.

Я говорю о решениях, данных:

по отделу астрономической истории, Лапласом;

по отделу геологической истории, Лайеллем;

по вопросу о происхождении человека, Ламарком.

Книга Лайелля «Основания Геологии» была издана лет сорок пять тому назад[1]. Я был тогда еще ребенок.

По другим двум отделам научные решения были даны раньше, в начале нашего века, вы знаете.

Когда именно ознакомился я с этими решениями, я не умею припомнить определительным образом. Но, сколько могу сообразить,— быть может, целым годом,— быть может, лишь несколькими, немногими неделями после того, как усвоил себе научную систему общих понятий. Только этим, конечно, и можно объяснить тот факт, который ясен в моих воспоминаниях.

При чтении выводов Лапласа я с первых же строк видел, что все существенные черты этого специального решения — неизвестные еще мне,— покажутся мне, по всей вероятности, совершенно правильными. И это, в самом деле, шло так: я читал вывод за выводом, вполне соглашаясь с каждым, строка за строкою, как бывает при чтении

мыслей, давно известных читающему и давно признанных им за правильные. А между тем все тут было ново для меня. И, однакож, ничего похожего на обыкновенные впечатления от новых, очень важных знаний не производило это на меня. Я только дивился гениальности Лапласа, сумевшего так просто разъяснить такой трудный вопрос.

О Лайелле и Ламарке я буду говорить после, где будут соответствующие места, по порядку отделов. Сходство с тем, что я говорил о моем первом знакомстве, с выводами Лапласа было в том, что ровно никакой перемены в моих понятиях о вещах ни Лайелль, ни Ламарк не произвели: и от них я приобрел то же, лишь новые знания по специальным вопросам. Разница та, что геология и — Лайелль, это: не математика и — Лаплас: я постоянно видел: «вот эта частность сомнительна; а эта, вероятно, ошибочна». И общее впечатление было: «так; но полного разъяснения еще подожду».— То же и о Ламарке.— Я говорю, конечно, лишь о специальном содержании решений Лайелля и Ламарка. Мировоззрение Ламарка не вполне научное. О Лайелле и толковать нечего: он отвергал и Лапласа, и Ламарка в тех первых изданиях своего великого труда.

Мировоззрение Лапласа, насколько оно известно мне, вполне научное. И я полагаю, что он, большой чудак в своих житейских рассуждениях, никогда не высказывал, как ученый, никакой не научной мысли.

И займемся теперь астрономическим отделом того предисловия, мои милые друзья.

[...] Я говорил, что не помню, когда именно прочел в первый раз порядочное изложение выводов Лапласа о возникновении и дальнейшей истории нашей солнечной системы. Знаю лишь, что когда мне было лет двадцать пять, мои знания о том, что не относилось прямо к моим занятиям, уж перестали расширяться. Мне уж было некогда читать лишь для удовлетворения любознательности. И, знаю, что, когда вошел в круг ученых, я спорил с ними по всем вопросам того предисловия к истории человечества совершенно так же, как спорил бы теперь с людьми таких мнений, как тогдашние ученые. И помню, что при первых из этих споров мысли, которые разъяснял я этим ученым невеждам, были уж привычны мне, а не новизна в моей голове.

Мне было тогда двадцать пять лет. В таких летах вновь узнанное скоро делается привычным. Но все ж не в год.

И притом: я помню, какими науками из чуждых мне отделов занимался я в двадцать два, три, четыре года. Это были занятия,— хоть лишь для отдыха от серьезных занятий, но все-таки: ученые занятия, а не просто чтение. И знаю: с двадцати двух лет я уж не читал почти ничего по естествознанию.

Итак, мое ознакомление с Лапласом,— как и с Лайеллем, и с Ламарком, относится, по всей вероятности, к годам, бывшим за двадцать восемь, девять лет до нынешнего.

Велико теперь богатство моих математических знаний. Такое же оно было и тогда. Что я знал — два, три месяца — года за четыре перед тем,— то есть: что я знал перед экзаменом для поступления в университет, давным-давно было уж забыто. Я уж оставался лишь с тем, что еще ребенком узнал по любознательности, для самого себя, а не для исполнения формальности.

Итак, я читал изложение выводов Лапласа, зная лишь арифметику.

Да. Но вот это оказалось важнее всяких интегралов: — у меня не было желания отрицать истину; по какому бы специальному вопросу ни являлась передо мною какая-нибудь специальная истина,— она, в чем бы ни состояла она, не могла не быть принимаема мною с любовью. Я уж имел привычку смотреть на всякий ученый вопрос с научной точки зрения. Никаких иллюзий никакая специальная истина не могла отнять у меня. Что ж была бы за охота смотреть на нее враждебно?

Это постоянно было очень полезным для меня элементом моей ученой жизни.

Так и при первом чтении выводов Лапласа. Нужды нет, что я знал лишь арифметику. Я смотрел на мысли Лапласа с научной точки зрения, и мне легко было видеть: все это чистая правда.

В самом деле, к чему сводится все по вопросу о достоверности выводов Лапласа? — Вы знаете, вот к чему:

Верна ли формула, под которую Ньютон подвел Кеплеровы законы? — Я знал: да.

Действительно ли, при сгущении вещества развивается теплота? — Я знал: да.

А как даны эти два ответа, ни в чем важном у Лапласа не остается ничего гипотетического: все получает характер математически достоверной истины.

Годы шли за годами. Я почти ничего не читал по естествознанию. И, вообще, у меня не было досуга читать. Редко встречались мне случаи хоть вспомнить имя Лапласа. А из того, что знал когда-то о его истории нашей солнечной системы, я давным-давно почти все забыл.

И вот я читаю: «Найден способ видеть химический состав тел по их спектрам. Он приложен к спектрам небесных тел. Найдены: на таком-то небесном теле вот такие и такие-то вещества и т. д. и т. д.»

Я читаю и радуюсь великому открытию. Кое-какие из веществ, найденных на каком-нибудь небесном теле,— те самые, какие правдоподобно было прежде предполагать существующими на нем; то, что нашлись там некоторые другие, показывает, что Левкипп и Демокрит были люди умнее очень многих из нас, в том числе и меня: это, впрочем, для меня не новость. Вот хоть бы я, например: я хотел думать, что азот разлагается сравнительно при низких температурах; положим, при каких-нибудь пяти или десяти тысячах градусов. А теперь это, по-видимому, оказалось вздором. Что ж за охота была мне думать вздор? Левкипп и Демокрит, хоть не знали химии, не любили рассуждать, кто прав: Талес или Анаксимандр. И меня за подобные соображения не похвалили бы.— И читаю я таким образом,— не предвидя удара. Читаю, читаю и — протираю глаза: что за нелепость? Не может быть! — Смотрю опять: так! — «Из этого следует заключать, что Лаплас прав».

Лаплас прав!

Не прав ли и Коперник?

И — чего нельзя ожидать, когда дело приняло такой оборот? — Пожалуй, нас пригласят убедиться, что таблица умножения не «гипотеза».

И этот шум и гул: «Лаплас прав»,— сколько уж лет идет?

О, милые друзья мои, всему есть мера. И невежеству специалистов по широким вопросам их специальности должна ж быть мера.

Пусть историк удивится, узнавши, что «Коперник прав». Не похвально. Но, пожалуй, извинительно. Пусть астроном удивится, узнавши, что существовал на свете Александр Македонский: — не похвалю, но — готов извинить.

Но астрономы возопили: «Лаплас прав!»

А вот мы не верили Гоголю, что «выплыла из моря рыба и сказала два слова».

Проглаголали же астрономы: «Лаплас прав». И тоже два слова. И надобно предвидеть:

Придет в лавку корова и спросит себе фунт чаю[2].

Горько, мои милые друзья,— горько думать о таких приключениях, какие разыгрались над астрономами.

Шестьдесят лет или молчали, или выражались о Лапласовой «гипотезе» в таком вкусе:

«Мысль, более остроумная, чем основательная».

Я хотел думать: это лишь плохих астрономов читал я. Хорошие не могут так говорить.— Какое, плохих я читал! Читал плохих, читал и хороших. Но в моих воспоминаниях сваливал все на плохих, выгораживая хороших.

Ну, вот и отличились,— чуть ли не все.

Кто из них сказал товарищам: «Приятели, говорили бы об этом вы прежде. А теперь молчите: знают все и без вас. Стыдитесь. Спрячьтесь в свои обсерватории и записывайте цифры ваших наблюдений над прохождением звезд восьмой величины через меридиан. На это вы хороши. Но о Лапласе вы уж помалчивайте, господа, пока забудется ваш позор».

Быть может, кто-нибудь из астрономов и говорил так. Я не читал ничего такого. Но быть может. Если кто из астрономов говорил так, этого астронома я уважаю.

Что, собственно, доказывают результаты наблюдений над спектрами небесных тел?

Собственно, только то, что очень многие из тел, считаемых нами пока за простые, это: — очень широко распространенные разные сорты вещества,— если они действительно простые тела; или такие комбинации одного и того же вещества, которые формируются очень легко и очень устойчивы.

Никто из серьезных людей научного образа мыслей со времен Левкиппа не сомневался в том.

Но от этой мысли до Ньютоновой формулы очень далеко. А до выводов Лапласа еще дальше.

Спектральный анализ дал материалы для наполнения выводов Лапласа множеством очень важных подробностей. Краткий очерк развивается в подробный рассказ.

«Сириус возник так же, как Солнце»,— это мы знали от Лапласа. Но —

«Сириус находится еще в таком фазисе своего существования, который для нашего Солнца уж миновал»,—

Это чрезвычайно важно. Но это лишь подробность.

Мы понимаем правильным образом результаты спектрального анализа лишь благодаря выводам Лапласа.

А выводы Лапласа достоверны не по спектральному анализу, а по Ньютоновой формуле.

Спектральный анализ — аргумент наглядный. Такие аргументы хороши для профанов. Но специалисты должны знать: в сущности, этот факт объясняется формулою, а формула не выводится из него.

«Куб, имеющий внутри по 10 метров по всем трем измерениям, вмещает 1000 тонн воды».

— А подождем, пока посмотрим: точно ли это правда?

Кому извинительно так рассуждать? — Профанам в арифметике.— Ну, что ж: пусть и льют в тот куб воду, если это для них легче, нежели потрудиться две минуты подумать.

Но знающий арифметику,— не будет ли улыбаться? — И не обязан ли рекомендовать им: «Потрудитесь хоть две минуты подумать. И поймете».

Но — о, неожиданный восторг! В куб действительно влилось ровно 1000 тонн воды!

И астрономы уверовали: правила возвышения числа 10 в третью степень — не «гипотеза»!

Остается попробовать, сколько воды вольется в куб, имеющий ребра внутри по 11 метров.

«Это еще неизвестно»,— должны сказать те астрономы и ждать: что выйдет? Сколько тонн воды вольется? —«Это еще неизвестно. Есть гипотеза: вольется 1331 тонна. Но эта мысль более остроумная, нежели основательная».

Но вот другая мысль,— не остроумная,— и желал бы я сказать: с тем вместе неосновательная:

Действительно ли большинство астрономов не могло понять до спектрального анализа, что Лаплас прав? — Быть может, и понимали, но не нравилось им думать, что Лаплас прав. И они старались думать: «Это дело сомнительное». Старались — и успевали.

Но прошу вас, мои милые друзья, помнить: таковы мои воспоминания о читанном мною и о впечатлениях от этого читанного; так таковы, но —

Очень возможно, что я виню астрономов лишь по недостатку знакомства с тем, как они писали до спектрального анализа. Быть может, те примеры, какие помнятся

мне, лишь действительно плохие образцы мыслей большинства астрономов. Быть может, все хорошие астрономы всегда признавали существенные черты выводов Лапласа за достоверную истину.

Достоверность выводов Лапласа основана на формуле, под которую Ньютон подвел Кеплеровы законы.

Достоверность этой формулы бесспорна. И совершенно независимо от вопроса о том, как мы судим о достоверности «гипотезы», которою Ньютон объяснял свою формулу.

Пусть «сила всеобщего взаимного притяжения» — пустая фантазия Ньютона. Пусть сила, действие которой подведено под ту формулу,— сила электричества, или месмеризм, или выстрелы из той пушки, которую находил у Гоголя Кифа Мокиевич нужною для того, чтобы пробить скорлупу яйца, из которого родился бы слон, если бы слон родился из яйца[3]; — для Ньютоновой формулы все равно: Ньютон ли прав, или Месмер, или Кифа Мокиевич.

Но для человеческого здравого смысла это не все равно.

Оставим без рассмотрения месмеризм. Он, по-видимому, никому из астрономов не кажется мыслью новой: они все, по-видимому, знают: «это старая штука; славы она не доставит».

Но гипотезу Кифы Мокиевича нельзя оставить без внимания. Он был глубокомыслен. И — против ожидания, мы видим себя принужденными согласиться: его догадка справедлива. Слон действительно родится из яйца. Как же теперь думать о его пушке? Может ли она заменить Ньютонову «гипотезу»?

Будем осторожны. Скажем: «Неизвестно».— Итак? Быть может? Нам приходится сказать: —«Да. Быть может».— Но при всей нашей в данном случае столь умной и похвальной скромности, мы обязаны прибавить: «по Ньютоновой формуле сила действует непрерывно. Пушка стреляет с интервалами. Это порывы, а не ровное, непрерывное действие. Итак, для замены Ньютоновой гипотезы пушка Кифы Мокиевича требует некоторых улучшений».— И если бы у нас спросили: каких? — Мы сказали бы: «эту пушку надобно приделать к паровой машине; тогда дуть из нее будет сила ровная, непрерывная».— Такая переделка необходима. Но возможна ли? — Это уж не наша забота.

Мне кажется, что нечто подобное старой, непригодной для замены гипотезы Ньютона пушки Кифы Мокиевича

вытащено некоторыми астрономами из старого ненаучного хлама.

Я говорил, что не считаю силу всеобщего взаимного притяжения «гипотезою». По-моему, это просто-напросто: фактический вывод.

Ньютон был человек необыкновенно скромный. Вы помните, как он говорил о своих открытиях:

«В них не видно особенного ума. Это напрасно говорят, что я особенно умен. Этого нет во мне. Я трудолюбив — только и всего. Если чего не понимаю, то и думаю, все думаю: как бы понять? — Думаю, думаю,— иное, случится, наконец и пойму. Это со всяким так бывает».

И мы можем говорить: — «у него не было сильного ума. Он сам признавался»,— можем?

Он говорил: — «Сила всеобщего взаимного притяжения — лишь гипотеза. Очень может быть, что она и ошибочна».

И нам следует говорить: «Это лишь гипотеза. Она, быть может, ошибочна. Он сам признавал это»,— следует нам так говорить?

Я полагаю: никогда, никто, кроме самого Ньютона, не имел права говорить: «Это гипотеза». Я полагаю, что когда Ньютон обнародовал ее, он уж разработал ее так, что она давно перестала быть гипотезою.

Но это лишь исторический вопрос теперь. И, как бы ни решать его, мне кажется, надобно признать: со времени опытов Кэвэндиша утрачена возможность отрицать Ньютонову гипотезу.

Вы знаете эти опыты лучше меня, мои милые друзья.

Вопрос ставится так: сила, которая притягивает брошенный камень к земле, и называется тяжестью камня, а на самом деле принадлежит взаимодействию массы земного шара и камня, принадлежит ли вообще всякому взаимодействию всяких земных веществ?

Кэвэндиш ставил себе не этот вопрос. Он хотел определить удельный вес всей массы земли. Но когда ставится вопрос о Ньютоновой гипотезе, опыты Кэвэндиша дают ответ и на него в той формуле, какую я дал ему.

Массу земного шара мы оставляем без внимания в этом случае. Для начала соображений, конечно. После мы введем в наши соображения и эту сторону опытов. А для начала обратим внимание лишь на самые шары Кэвэндиша.

Масса свинца весом в — положим — 100 фунтов, при-

тягивает массу — положим — свинца же — весом в 5 фунтов,— на данном расстоянии центров,— с силою — положим — равною 1. А маленький шар тянет к себе большой шар с силою? — оказывается: с силою=0,05.

Это что ж такое выходит? Два свинцовые шара относятся между собою по силе притяжения точно так же, как относятся между собою по весу.

Подстановляем всякие другие вещества на место маленького свинцового шара.— Выходит то же самое: сила свинцового шара по отношению ко всяким другим веществам остается прежняя; сила всякого другого вещества притягивать свинец та же самая, как вес массы этого другого вещества.

Подстановляем вместо большого свинцового шара какое-нибудь другое вещество. Продолжаем опыты. Получаем: сила притяжения всякого вещества равна весу этого вещества по отношению ко всякому другому веществу.

Только это и оставалось доказать: «вес» — это взаимодействие масс притягивающих друг друга тел; вес на наших весах — притягивающая сила земли во взаимодействии с притягивающею силою взвешиваемого вещества.

На эту сторону опытов Кэвэндиша не обращал, помнится, внимания Кэвэндиш. Но почему? Он полагал: «да стоит ли это доказывать?» — И все другие так думают. И правы. Этого не стоит доказывать. Почему не стоит? — Да потому, что это и без того знают все, и никто в том не сомневается.

Так. Но,— при случае, надобно ж нам сообразить: «мы не думали об этом, потому что для нас, как для всех рассудительных людей, вовсе не стоит размышлять об этом. Но — этот факт, о котором мы не думаем, он — факт; и если бы кто захотел спорить против него, мы должны сказать чудаку: «приятель, справься об опытах Кэвэндиша; а пока справишься, то знай вперед: ты говоришь глупость».

Итак: в Ньютоновой «гипотезе» две стороны:

Первая. То, что мы называем «вес», это: взаимодействие силы всеобщего притяжения между массою земли и всеми веществами на поверхности земли. Вот лишь это и «гипотеза».— Гипотеза ли это? — По-моему, это факт. И все, в сущности, думают: это факт. А кому охота требовать доказательства, имеет их в опытах Кэвэндиша.

Об этой стороне дела никому нет охоты думать. Но вот другая сторона важная для всех:

«Та самая сила, которая притягивает к земле камень, притягивает к ней луну» и т. д. Тут уж не было ровно ни-

чего гипотетического со времени обнародования мысли Ньютона.

Притягивание земли идет по всем радиусам. Это факт. На том расстоянии, где луна, эта сила имеет вот какую величину. Когда вычтем эту величину из величины силы, с которою луна падает к земле, остается нуль. Итак, все действие производится лишь силою, которая на земле называется силою тяжести.

Что тут гипотетического? — Это расчет по правилам арифметики. Только.

Дано: паровая машина везет 1000 пудов по дороге со скоростью 50 верст в час.

Дано: вес поезда, прицепленного к этой машине, 1000 пудов; и поезд едет по дороге со скоростью 50 верст в час.

Спрашивается: сила ли той машины везет тот поезд?

Отвечаю: да.

Мой ответ гипотеза?

Данные не оставляют ни возможности отвечать иначе, ни усомниться в ответе, ни оспаривать его. В ответе лишь повторение данных. Ровно ничего, кроме фактов, уж данных, в ответе нет.

Это называется: «фактический вывод». Это просто то же, что «сумма», когда даны «слагаемые».

Итак: то, о чем все говорят, в Ньютоновой «гипотезе» просто-напросто факт; была ли, не была ли в этой «гипотезе» действительно «гипотеза» прежде, теперь и эта доля Ньютоновой «гипотезы» давным-давно стала уж фактическим выводом из опытов Кэвэндиша. Но это такая вещь, о которой никогда никто и не думает, потому что действительно не стоит о ней думать.

6. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[Около 1 марта 1878.]

Милые мои друзья Саша и Миша,

Продолжаем наши беседы о всеобщей истории.— Мы просматривали астрономический отдел предисловия к ней.— Я анализировал Ньютонову гипотезу, то есть мысль Ньютона, что движение небесных тел по закону природы, открытому им и называемому нами Ньютоновой формулой, производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества. Анализ дал мне: это нимало не «гипотеза»; это просто-напросто: безусловно верное знание; оно имеет характер математической истины; потому никто из людей, находящихся в здравом рассудке и знакомых

с предметом, не может не признавать этой истины за совершенно бесспорную, не подлежащую ни малейшему сомнению. А между тем большинство астрономов-математиков, то есть всех вообще сколько-нибудь авторитетных математиков, изволит говорить: «прав ли тут Ньютон, еще неизвестно». И я поставил вопрос: но каково ж, однако, когда так состояние научной истины в головах этих господ? В добром ли здоровье господа большинство авторитетных специалистов по математике?

И мы увидели:

Господа математики, желающие прославлять себя глубокомыслием, изобретают разные сорты «пространств, имеющих два измерения»; рассуждают о том, какую организацию должны иметь «разумные существа двух измерений», могущие удобно жить в тех пространствах; сочиняют «новые системы геометрий», сообразованные со свойствами тех «пространств двух измерений» и особенностями органов чувств тех «разумных существ двух измерений»; изобретают для «нашего» — лишь нашего, лишь одного из многих возможных пространств — для «нашего» пространства, «кажущегося» нам — лишь «кажущегося» нам — пространством трех измерений, «четвертое измерение», быть может существующее в нем и незамечаемое нами потому, что мы в этом отношении «слепорожденные».

Не дурно.

И масса знаменитых математиков не советует тем господам изобретателям образумиться, устыдиться,— нет: она одобряет, принимает в «науку» эти дурацкие бессмыслицы, эти идиотски-нелепые глупости.

Не дурно. Очень не дурно.

Больные бедняжки, с головами до помрачения здравого рассудка избитыми Кантом; правда, чванные педанты, по мотивам тщеславия своею цеховою премудростью изменники научной истине, своей специальной, родной, математической истине; по их цеховому патенту, преимущественной, даже единственной истине; пошлые изменники истине, правда; но больные бедняжки, достойные сожаления еще больше, нежели негодования.

И я продолжаю:

Милые мои друзья, вы — люди молодые. Молодость — время свежести благородных чувств.

И она любит уважать тех, кого считает корифеями науки.

Это чувство благородное. И разумное. Все благородное разумно.

Все благородное разумно. По научному анализу это бесспорная истина. Достоверная не меньше любой математической истины. Научный анализ показывает: благородное, подобно доброму, подобно честному, лишь видоизменение разумного[1].

И что из того следует? — Примесь неразумного к благородному порча благородного.

В чем разумность уважения к ученым? — В том, что уважение к ним — лишь видоизменение уважения к науке, любви к знанию, любви к истине; лишь перенесение этих чувств на наши чувства к отдельным людям.

А измена истине уважения ли заслуживает?

Я понимаю: тон, которым говорю я об ученых, уважаемых вами, огорчителен для вас. Но и мне самому приятна ли необходимость говорить о них таким тоном?

И я уважаю тех ученых, дельных специалистов, когда они, как дельные специалисты, скромно трудятся по своим специальностям и, добросовестно трудясь над разъяснением тех специальных вопросов, к разработке которых добросовестно подготовили себя своими специальными занятиями, добросовестно говорят то, что понимают; это верное служение науке; и результаты его: дельные, скромные, почтенные работы, верные духу научной истины.

Так трудились Лаплас и Ньютон.

И нынешние специалисты по математике — я знаю — много трудятся так. И за эти их труды я их уважаю.

По уму все они люди ничтожные не то, что перед Лапласом,— не говоря уж о Ньютоне, но и перед Эйлером или Лагранжем; пигмеи даже перед Гаусом. И работы их маловажны. Но хоть маловажные, они все-таки имеют некоторое научное значение. И они — работы добросовестные.

И за эти свои работы они, честные труженики, достойны уважения.

Но, к сожалению, они не довольствуются быть скромными тружениками, чем довольствовались быть Коперник, и Галилей, и Кеплер, и Лаплас; чем довольствовались быть и сам Архимед, и сам Ньютон. Им угодно чваниться своею цеховой премудростью, презирать в этом чванстве правило здравого смысла: не болтай о том, чего не понимаешь; и им угодно прославлять себя глубокомыслием.

Результат: одни из них изобретают, а остальные одобряют идиотски-бессмысленные глупости, вроде «пространств двух измерений», «разумных существ двух измерений», «четвертого измерения пространства».

Об одобряющей эту белиберду массе мы поговорим после. Сначала займемся изобретателями «пространства» и «разумных существ двух измерений», изобретателями «четвертого измерения», сочинителями «новых систем геометрии».

Математика — о, конечно, это единственная наука. Все остальные науки — просто дрянь перед нею.

Это, наверное: «мы»,— «мы»,— специалисты по математике. Из этого ясно: все остальное в жизни человечества — дрянь перед математикою; потому что все остальное человечество — дрянь перед нами.

Так. Но это дрянное человечество довольно мало интересуется нами; и, уже не говоря о житейских делах, даже некоторые ученые исследования интересуют его больше, нежели математика. Например, философия для него гораздо интереснее математики. Из сотни людей, знающих имена Сократа, Зенона, Эпикура, едва ли один слыхивал имена Диофанта или Паппа.

Архимеда, Коперника, Ньютона знают, положим, все. Но не гораздо ли чаще, нежели о них, говорят о Платоне и Аристотеле?

Декарта, философа, знают все; многие ли знают, что он был и математик?

Вот такого-то рода были мысли, мучившие изобретателей «пространства двух измерений» и остальной чепухи. Содержание этой чепухи относится к математике лишь по-видимому. На самом деле оно не имеет никакого родства с нею. Оно относится к области вопросов, гораздо более широких, чем вопросы о предметах математики, к области вопросов, которые называются в строгом техническом смысле слова «философскими».

Этих вопросов очень немного. Но они очень широки; шире самых широких вопросов всякого специального отдела наук. Один из них — вопрос о достоверности наших знаний[2].

В философии нет речи о том, о чем толкуют натуралисты, рассуждая о степени достоверности впечатлений, доставляемых нам зрением или слухом. С философской точки зрения, это мелочные вопросы, которыми философу, как философу, не стоит заниматься. Он предоставляет разбирать эту мелочь специалистам по физиологии. Ему это не интересно. Мы увидим, что такое вопрос о достоверности наших знаний в философии. Он имеет в ней такой смысл, до которого натуралист, как натуралист, не может додуматься. Это смысл, противуположный всему,

чем интересуется натуралист, смысл не совместный ни с какою мыслью, могущею возникнуть из занятий естествознанием. Смысл этого вопроса — желание некоторых философов отрицать все естествознание, со всеми его предметами.

Эти философы называются философами идеалистического направления.

И вот в эту область забрели те господа, не умеющие и вообразить себе возможности мыслей такого широкого характера. И что могло выйти у них, когда они принялись болтать о том, что совершенно вне круга всех возможных для них мыслей? — Вышла неизбежным образом бессмыслица.

Ну, вот на этом застало меня известие, что «завтра идет почта», и я, бросив этот листок, принялся писать вашей маменьке.

А листок этот, забытый мною, уцелел от судьбы своих предшественников, от полета в печь.

То пусть послужит вам образцом множества брошенных в печь.

Сообразите, к чему подошло на нем дело:

Очевидно, вслед за теми строками, на которых я остановился, должно было следовать изложение системы Канта.

Хорошо. Полезно. И, говоря строго: даже необходимо для ясности мыслей о том, как неизмеримо глупа уродливая миньятюрная карикатурочка системы Канта, которую воображает большинство натуралистов «своею философиею»,— воображает философиею, выведенною из естествознания, и которую, до крайности глупую и мелкую, еще мельче и глупее истолковывают глубокомысленнейшие из большинства натуралистов, господа большинство математиков, и которую «опровергают»!! самые глубокомысленнейшие мудрецы из этой отборной компании глубокомысленнейших между всею массою большинства мудрых натуралистов,— опровергают «новыми системами геометрии»!!!! — простую белиберду «опровергают» «белибердою-матрадура, то есть: двойною белибердою»— если выражаться словами Гоголя.

Полезно, даже необходимо изложение системы Канта при таком помрачении умов натуралистов от Канта. Но сколько ж листков понадобилось бы на изложение системы Канта?

И имели ль бы терпение вы, мои милые друзья, прочесть это множество листков, излагающих скучнейшую,

пустейшую галиматью (система Канта — галиматья; галиматья, слепленная гениальным человеком громадной силы; галиматья гениальная, но совершенно вздорная галиматья).

Это были бы листки нестерпимо скучные для вас.

И вы не превозмогли бы их, я полагаю.

И ныне остановившись на тех строках, я завтра бросил бы в печь этот листок.

Уж хотел бросить, через пять минут после того, как остановился писать его, но забыл.

А вот в промежуток миновавшей печи и завтрашней печи он цел,— и пусть уцелеет, чтобы видели вы:

Каковы те диссертации, которые пишу я для вас — по две в неделю,— и по две в неделю — за их бесконечность сожигаю написанными — каждая на многих листках — лишь разве до десятой доли всей предстоявшей полному изложению длины.

Буду писать — уж извините: без аргументаций для мотивирования моих похвал большинству нынешних натуралистов.

Я невежда в естествознании; но, мои милые друзья, эти господа любят философствовать; до их специальных трудов, честных, дельных трудов, у меня лишь одно отношение: уважаю их.

Но господ, желающих быть дураками,— я называю это: «быть дураками», по их мнению, это значит: быть мудрецами,— господ, желающих быть дураками и по этому похвальному влечению пускающихся философствовать во вкусе Канта и хуже, чем во вкусе Канта, во вкусе Петра Ломбардского, Томаса Аквинатского, Дунса Скотта,—

таких господ мудрецов буду хвалить уж без аргументаций: «это ослиная мысль», пусть будет довольно того.

Иначе измучил бы я вас слишком длинными рассуждениями об идиотской галиматье, в которую превращается у них гениальная галиматья великих софистов, подобных Канту или Гоббзу, Макиавелли или ученикам Лайнеса, истинного основателя,— вы знаете,— иезуитского ордена,— Лайнеса, которому дурак Лойола служил лишь парадною куклою.

Вот что умно выдумывали для отрицания науки великие софисты, глупо повторяют те простофили.

А даже и умно слепленная, подлинная галиматья тех великих софистов давным-давно перестала заслуживать опровержений, потому что давным-давно разбита в прах.

Например: система Канта в прах разбита уж и системою Фихте, человека, добросовестно ставшего на точку зрения, на которую лишь для фокусничества становился временами Кант, на точку зрения «идеализма»[3];

— вышло: система Канта — мелкотравчатая, трусливая система; а система самого Фихте?

Честная; логичная, но — совершенно сумасбродная.

И все это было уж брошено через двадцать лет после первой фундаментальной книги Канта,— в двадцать лет не только Кант, но и разбивший его Фихте успели явиться, изумить, оказаться пустозвонными людьми и быть сданы в архив.

Эта сдача в архив произошла уж почти восемьдесят лет тому назад.

Стоит ли теперь опровергать Канта?

Но кому угодно оставаться невеждою, может; и кто остался невеждою, может считать новым все, что ему взбредет в голову, как новое для него. Хоть бы это было нечто ассирийское или вавилонское. Одного он не может: переварить в своей невежественной голове ничего, требующего широких знаний; и все, по его мнению, «новое», залетающее в его голову при перетряхивании архивного хлама, вылетает из его уст в бессмысленной карикатурности,— в виде, например, «пространств двух измерений»,— которые возбудили бы в Канте лишь презрение к дураку, понявшему так мелочно и бестолково его крупную, умную софистику и воображающему, будто он «опровергает» умную галиматью Канта своею ослиною галиматьею идиотского ржания.

Итак: буду довольствоваться короткими похвалами чудакам, которым нравится превращаться по временам из неглупых людей, дельно работающих над узенькими задачками своих специальностей, в философствующих ослов, увеселяющихся курбетами с победоносным ржанием и мычанием и ревом.

Это будет огорчительно вам, простодушные юноши.

Ваш отец без церемоний и без доказательств называет глупостями мысли «великих ученых»,— по-вашему, о юноши, всякая дрянца «великий ученый»; —

и вы будете чувствовать себя под гнетом «страшной дилеммы»;

наш отец — невежда ли?

или — бессовестный наглец?

— ну, и мучьтесь, мои милые юноши, пока разберете:

ваш отец — обыкновенный рассудительный человек, бывший в старину специалистом по философии; теперь уж

давным-давно перезабывший почти все, что когда-то знал, но еще сохранивший хоть настолько-то знакомство с архивными системами философии, чтобы узнавать иногда, откуда вылетела иная новейшая мудрость, как стара и ни к чему не пригодна в своей подлинной, когда-то бывшей умною, форме, и как глупа она в невежественной переделке новейших мудрецов.

Милые мои друзья, во всяком поколении бывает множество «великих ученых», о которых в следующем поколении никто уж не может сказать: за что называли великими учеными этих — хорошо еще если усердных чернорабочих, а не просто шарлатанствующих педантов.

Ваше время, нынешнее время тоже обильно ими. Это не стыд нынешнему времени. Всякое другое было такое же.

Но и претензия: «нынешние ученые все наподбор действительно умные люди и дельные ученые»,— эта претензия была бы неосновательна и со стороны людей нынешнего времени, как была неосновательна со стороны людей всякого прежнего поколения.

Но довольно пока.

Будьте здоровы. Не обижайтесь, мои милые друзья, что ваш отец говорит с вами просто как с юношами.

Знаете ли: ведь оно действительно правда: я несколько старше вас летами.

Это пусть будет «великое открытие».

И — как быть! — я пережил больше «великих открытий», чем вы; и многое, новое для вас,— архивный хлам для меня.

Однако серьезно: извините, мои милые друзья, что я обижаю вас.

Извините — говорю серьезно. Я не мастер говорить ловко. И у меня часто выходит, что я говорю обидно, думая только безобидно шутить или говорить деликатно.

Но что я желаю вам добра, это правда, и этого довольно, чтобы вы пропускали без внимания мои неловкие обороты речи.

Жму ваши руки. Ваш *Н. Ч.*

7. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

1 марта 1878. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша,

Продолжаем наши беседы о всеобщей истории.— Мы говорили о предисловии к ней. Просматривали астрономический отдел его. Анализировали содержание так называемой «Ньютоновой гипотезы», то есть мысли Ньютона, что движение небесных тел по закону природы, от-

крытому им и называемому нами «Ньютоновой формулой», производится силой всеобщего взаимного притяжения вещества. И мы остановились на том, что анализ дал мне:

Ньютонова гипотеза — нимало не «гипотеза», она просто-напросто: безусловно достоверное знание.

И я продолжаю:

Милые мои друзья, вы — мои дети. И разумеется: вы склонны думать хорошее обо мне в наивозможно большем размере и наивозможно лучшем виде.

Я — ученый. Я один из тех ученых, которых называют «мыслителями». Я один из тех мыслителей, которые неуклонно держатся научной точки зрения. Они, в самом строгом смысле слова, «люди науки».

Таков я с моей ранней молодости. И моя обязанность рассматривать все, о чем думаю, с научной точки зрения, давно, очень давно вошла в привычку мне так, что я уже не могу думать ни о чем иначе, как с научной точки зрения. Это и о моих личных чувствах, и о личных чувствах других ко мне.

Итак, я сужу о той вашей склонности думать обо мне как возможно лучше по моей обязанности и привычке: мне нужна не моя личная приятность, мне нужна: научная истина. И из того, что относится ко мне лично, лишь то, что хорошо с научной точки зрения, доставляет мне приятность.

И как я сужу о той вашей склонности? — Вот как:

Она — одно из видоизменений так называемого «чувства семейной любви». Семейная любовь — наиболее распространенное между людьми и наиболее прочное, потому, в смысле влияния на жизнь людей, самое важное и самое благотворное изо всех добрых чувств человека.— Вывод: та ваша склонность достойна величайшего уважения.

«Так неужели ж такова научная истина?»— Да.— «Но она совершенно проста».— Да.— «Но она, в сущности, то самое, что, в сущности, думает всякий, сколько-нибудь образованный человек, сколько-нибудь рассудительный».— Да. Таков характер научной истины по всей, по всей совокупности всех отделов наук о человеческой жизни[1].

«Но кто ж из ученых говорит так? Лишь очень, очень немногие».— Да. Между специалистами по наукам о человеческой жизни очень мало «людей науки». Разумеется, мы отложим речь об этом до тех наших бесед, где должна будет итти речь о том по ученому порядку предметов.

Здесь надобно заметить лишь по требованию справедливости: каково бы ни было отношение огромного большинства специалистов по наукам о человеческой жизни к научной истине,— оно таково же, как отношение к ней огромного большинства натуралистов; в том числе и астрономов,— то есть — так как все хорошие математики — астрономы, то и — математиков.

Вы, мои милые друзья, люди молодые. Чувства у молодых людей, вообще, свежее, благороднее, чем у людей пожилых. Но вы ждете, я скажу: «молодые люди вообще неопытны; и слишком доверчивы».— Да. Это не ново. И всем известно. Но это научная истина. И я говорю именно это.

Между учеными очень мало людей науки. Это одинаково по всем отделам наук и, в частности, по всякой науке. По всякой. То есть и по математике.

Припомним, для примера, судьбу «Лапласовой гипотезы». Решение дела об этой «гипотезе» зависело исключительно от математиков. Дело было просто, и достоверность выводов Лапласа очевидна для всякого, знающего хоть одну арифметику. Но шестьдесят лет огромное большинство астрономов-математиков,— то есть математиков, твердило всему образованному обществу: «мысль — более остроумная, нежели основательная». И давлением авторитетности специалистов правильное суждение о деле, легкое для всякого, знающего арифметику,— то есть для огромного большинства образованных людей,— было пригнетаемо во всех тех, которые доверчивы к специалистам. Всякий не-специалист думал: «мне кажется, что Лаплас говорит чистую правду»; но почти всякий прибавлял в своих мыслях: «впрочем, я не могу судить об этом»,— и подчинял свое знание, свой рассудок повелению огромного большинства астрономов: —«следует повиноваться нам; мы одни тут компетентны. Мы повелеваем: Лапласова гипотеза должна быть считаема лишь за «гипотезу». Мысль Лапласа более остроумна, нежели основательна».— Лишь очень немногие из не-специалистов знали, какова научная истина о специалистах. Она такова: «Специалисты — тоже люди, как и все люди. И, подобно огромному большинству людей, огромное большинство специалистов во всякой профессии ведет свои дела по рутине». И шло дело о Лапласовой гипотезе, как пришлось ему итти по удобству рутины,— пока все образованные люди увидели по спектральному анализу: «Лаплас прав». И масса астрономов подняла гвалт изумления: «Лаплас прав!!!!»

Может ли быть найден по отделу естествознания факт, еще более постыдный для большинства специалистов? Вы знаете: он уж найден нами, на первом же шаге нашего пути по отделу астрономической истории Земного Шара. Этот факт: дело о Ньютоновой гипотезе. Проверка ее еще проще, нежели проверка Лапласовой гипотезы. Предмет дела имеет научное значение, еще более колоссальное: Лапласова гипотеза — лишь один из множества предметов, охватываемых Ньютоновою гипотезою. И дело длится уж не шестьдесят лет, а два столетия.

Таково-то, милые друзья мои, состояние научной истины по отделу естествознания; и, в частности, сообразно специальному содержанию обоих тех фактов в математической астрономии, в той отрасли естествознания, где состояние научной истины наилучшее изо всех отраслей естествознания.

Человек, никогда не занимавшийся и никогда не имевший охоты заниматься ни одною отраслью естествознания, вздумал говорить со своими детьми об истории человечества. И ему,— ему,— не знающему из математики ничего, кроме арифметики,— пришлось решать вопрос: прав ли Ньютон.

Он решил. Он знает по данному предмету очень мало. Но оказалось, что он,— он,— знает несравненно больше, нежели необходимо для легкого и безусловно правильного решения дела. Между прочим оказалось, что по математике он знает несравненно больше, чем требуется для решения дела. Он знает: и тройное правило, и действия над дробями, и — мало ли, каких премудростей в элементарной арифметике! — он знает все эти премудрости, известные всем образованным людям с десятилетнего возраста. Ничего из этих редких знаний не понадобилось. Оказалось: для решения дела нужна лишь таблица умножения.

И перед таким-то «вопросом»,— вот уж два столетия,— в недоумении отступает громадное большинство астрономов, то есть математиков: —«Мудрено. Не можем решить. Прав ли Ньютон, неизвестно».

В «Сказках тысячи и одной ночи» нет такого нелепого чудотворения, как то, которое в течение целых двух столетий изволит совершать над собою громадное большинство астрономов,— то есть математиков,— по делу о Ньютоновой гипотезе.

Мы разберем, почему изволят они и каким способом удается им совершать над собою такое нелепое чудотворение, длящееся благополучно вот уж два века.

Но прежде, мои милые друзья, мы разберем вопрос,— ничтожный для науки, но важный для вас, детей моих: — вопрос о моих отношениях к делу, по которому я принужден был высказать — мое,— мое! — решение; — я,— я! — не знающий из математики ничего, кроме арифметики, принужден был решать, прав ли Ньютон.

Вы — мои дети. И расположены думать обо мне как можно лучше. Эта ваша склонность достойна величайшего уважения.

Это не мое мнение. Не мое. И не: мнение. Это — научное решение. Я не имею и не могу иметь ровно никакого «мнения» по данному делу,— ни «моего», ни чьего бы то ни было. Когда научное решение дано, я могу только «знать» его. И я его «знаю». Вот все.

Так, я не имею и не могу иметь ровно никакого мнения о таблице умножения. Я «знаю» ее; и тоже «знаю», что она верна. Только.

Эти два слова: «Знаю. Только»,— дают очень большую силу. Кто «полагает», «имеет мнение», тому трудно держаться на ногах. «Мнение» — нечто шаткое. Но стоять на почве науки, только на почве науки — это значит: не иметь возможности поколебаться.

Это сильное преимущество «знающего» перед «незнающим». Мы будем иметь примеры тому.

Итак, я не имею никакого мнения о вашей склонности думать обо мне хорошо. Я лишь «знаю», что она достойна величайшего уважения. И, разумеется, я не могу ж не понимать: я обязан, насколько могу, содействовать удовлетворению потребностей этого вашего расположения.

Одно из самых прямых и широких применений этой вашей склонности состоит, конечно, в том, что вам интересно знать, как думает ваш отец,— человек ученый,— о своей ученой деятельности. Вы, по вашей любви к нему, не можете не быть сильно расположены придавать, в ваших мыслях о его ученой деятельности, большую авторитетность — лишь, для вас, конечно,— его собственным мыслям о ней.

Но я полагаю, вам было, вообще, затруднительно разбирать, по моим беседам с вами, как же именно я думаю сам о своей ученой деятельности. Иногда я недоволен ею; и — я пишу саркастическое восхваление себе. Вам, детям, конечно, оскорбительно это. Но вы думаете, разумеется: «Как быть! Все мы — люди. И все мы, иной раз, думаем о себе с гневом на себя. Это неважно». Но вот что более может затруднять вас: сарказмы, положим, редкость; но если я не издеваюсь над собою с гневом, то — я весело

подсмеиваюсь над собою. Это идет, кроме тех перерывов сарказма,— почти сплошь у меня. И вам, людям молодым, неопытным, мудрено разглядывать мои серьезные мысли о себе сквозь шутливой оболочки их.

Я знаю: это значит, я не помогаю вам формировать справедливое мнение о моей ученой деятельности,— мнение людей любящих, но разумное, справедливое. Я затрудняю вас в этом моею шутливостью. Знаю. И воздерживаюсь от шуток над собою в письмах к вам. Но много воздерживаться не удается мне. Как быть! — такой характер. И правду говоря: это все-таки лучше, нежели противуположная слабость, склонность к чванству. Хорошо уж и то, что моя шутливость избавила меня от этого наиболее обыкновенного порока ученых. Чванство — такая дурная слабость, что ее надобно называть уж не просто слабостью, а пороком.

Но хоть и хорошо, что чванства у меня нет, все-таки не очень хорошо, что мне трудно говорить о себе без шуток в беседах с моими детьми. Это мешает мне исполнять мою обязанность относительно их любви ко мне: обязанность содействовать тому, чтоб их любовь ко мне была разумна,— и, что то же самое, справедлива.

И вот нам пришлось говорить о деле, по которому моя слабость подсмеиваться над собою остается молчаливою. Я должен воспользоваться этим случаем исполнить мою обязанность перед моими детьми: отец их обязан серьезно высказать им, какие мысли о его ученой деятельности справедливы по его серьезному мнению.

Этот случай: мой вывод о Ньютоновой гипотезе.

Предмет дела, Ньютонова гипотеза, имеет колоссальное научное значение. Это не предмет для шуток.

Те лица, о которых должна итти речь по этому делу,— во-первых, разумеется, сам Ньютон; а во-вторых,— Лаплас. Когда я говорю о таких людях, я имею настроение духа, не допускающее шутливости.

А мой вывод о Ньютоновой гипотезе — такое мое дело, за которое я уважаю себя.

И, мои милые дети, ваш отец говорит о себе серьезно. Он в данном случае не может говорить иначе. И он говорит так:

Вывод, который высказал я, безукоризненно хорош. И имеет колоссальную научную важность.

Разумеется, мой анализ содержания Ньютоновой гипотезы показывает во мне человека, никогда не занимав-

шегося ни астрономией, ни вообще естествознанием. В особенности ярко режет глаза мой способ изложения. По каждой строке, очевидно: я совершенно не умею говорить ни о чем в естествознании языком специалиста; и, в частности, мне совершенно чуждо уменье владеть математической терминологиею. Но в данном случае все это мелочь, не относящаяся к делу. Мой анализ совершенно полон и совершенно правилен. И если обращать внимание на ту мелочь, то это лишь возвышает достоинство моей работы: со средствами очень скудными я исполнил работу превосходно. Тем больше чести мне за мой вывод: «Ньютонова гипотеза — не гипотеза; она — безусловно достоверное знание».

Этот безусловно верный и колоссально важный вывод я сделал наперекор всему, что говорят астрономы. Сколько могу судить, полагаю: никто из астрономов не высказал такого вывода. Сколько мне известно, все они в один голос говорят: «Ньютонова гипотеза — лишь гипотеза».

Мое предположение об этом едва ли далеко от фактической основательности. Если бы кто-нибудь из авторитетов по астрономии высказался о Ньютоновой гипотезе, как теперь высказался я, это едва ли могло бы оставаться не известно мне. Но, для сущности факта обо мне, все равно, ошибочно ли думаю я: «мой вывод сделан наперекор всем астрономам». Я думаю так. И этого довольно, чтобы справедливо было обо мне: «Защитник научной истины в астрономии и защитник Ньютона против астрономов,— или почти всех, или, по его мнению, всех. Честь ему».

Я полагаю: мое серьезное мнение о достоинстве моего решения по делу о Ньютоновой гипотезе достаточно хорошо и для вашей сыновней любви ко мне.

Но, мои милые дети, оглянемся кругом, спрашивая себя: — «Да кто ж из людей, сколько-нибудь рассудительных и сколько-нибудь понимающих дело, думает о Ньютоновой гипотезе не то же самое, что сказал я?»

Такого человека нет ни одного на свете. Из миллионов людей, рассудительных и знающих все немногие, простые факты, от которых исключительно зависит высказанное мною решение,— все это множество, множество людей,— все, до одного человека, совершенно единодушно думает совершенно то же, что сказал я: «Ньютонова гипотеза — нисколько не гипотеза; она — безусловно достоверное знание».

Почему все они думают так? — Да потому, что человеку, сколько-нибудь понимающему дело, пока он в здравом рассудке, невозможно думать иначе.

А астрономы? — Тоже, все, кто в здравом рассудке: все до одного думают то же самое.

«Но говорят они иначе».— А это совсем иное дело. Говорить — всякий из людей, пока не отнялся у него язык от апоплексии, может говорить обо всем на свете все, что ему угодно.

Разбирать слова человека и знать его мысли — это две разные вещи. Вообще, разбирать слова людей полезно, чтобы узнавать их мысли. Но наука дает нам другое средство узнать мысли людей,— средство более верное и несравненно более могущественное. Это — анализ дел человека.

«Сущность мыслей человека не в словах его, а в делах его». Так говорит наука.

Чтобы не углубляться в даль времен, о которых я не мог бы, по недостатку моих знаний, говорить с достоверностью, перенесемся мыслью к началу нашего столетия.

За несколько лет перед началом первого года нашего столетия кончилось неимоверно трудное дело печатания великой работы Лапласа, «Небесной механики»[2]. Это было дело неимоверно трудное. Когда, лет через шестьдесят, понадобилось, по распродаже экземпляров того издания, которое, последнее, напечатано было при жизни Лапласа, сделать новое издание «Небесной механики», собрался целый комитет первоклассных математиков читать корректуры: всякая опечатка погубила бы много трудов великих астрономов нашего времени. И есть такие формулы, что опечатку в них не может поправить сам никто из живущих ныне математиков: формулою пользуются; она правильна, это видно по верности результата вычислений; но как она выведена,— этого никто еще не сумел понять.

Таков-то был дивный гений Лапласа: восемьдесят лет прошло; математика много усовершенствовалась. Но все еще нет человека, который понял бы все формулы, данные Лапласом. И он один до сих пор общий учитель всех астрономов.

Милые мои друзья, вы еще молодые люди. Быть может, вы доверчиво принимаете взаимные самохвальства чванных педантов, заткнувших, по их взаимным увериениям, за пояс Лапласа. Вздор эта похвальба. Из всех, живших после Лапласа и живущих ныне, только один человек сделал кое-какие улучшения в великой работе, завещанной Лапласом потомству на пользование ею и совершенствование ее. Это — Гаус. Его улучшения — крошечные. И немного их, этих мелочей. Но слава Гаусу и за них. На совершение этих мелочных улучшений была нужна сила такого раз-

мера, которую, в три поколения, имел один человек. Перед Лапласом Гаус пигмей. Но перед всеми другими, родившимися после Лапласа, он — гигант. И со времени смерти Лапласа прошло уже больше шестидесяти лет; третье поколение кончает свою деятельность; и — все лишь ученики Лапласа; — одного Лапласа.

О, феноменальная, истинно феноменальная сила гения! Лаплас далеко не равен Ньютону. Далеко нет. Но и он — человек все-таки совершенно феноменального размера силы гения. Мы еще поговорим о них, о том и о другом.

Когда перепечатка «Небесной механики» была таким долгим трудом, то, разумеется, первое издание, печатавшееся с рукописи, шло медленно. Но оно было обнародовано за несколько лет до начала нашего столетия. Положим года два на то, чтобы астрономы успели изучить свою новую настольную книгу. Все-таки вот уж восемьдесят лет все, что говорится о Ньютоновой гипотезе, говорится лишь одно и то же всеми астрономами: все они лишь повторяют Лапласа.

Я не читал «Небесной механики». Я не могу прочесть ни пяти строк в ней кряду. Она написана алфавитом формул, неведомым для меня. Но вот за что справедливо будет осудить меня. Я не читал и популярной переработки великого труда, сделанной и напечатанной самим же Лапласом[3]. Я не оправдываю себя. Но, вообще говоря: я не читал и десятой доли книг, которые — не прочесть только, а изучить было бы мне, по надобности моих ученых занятий, гораздо более необходимо, чем прочесть Лапласово «Изложение системы вселенной».

Итак, я не знаю, что и в каком тоне говорил Лаплас о Ньютоновой гипотезе. Реальной важности это никогда не могло иметь для меня. Это лишь вопрос о словах, а не о мыслях. Я и без слов Лапласа знаю, что думал он о Ньютоновой гипотезе. Я знаю это по делам его. Вся его деятельность: безусловное признание Ньютоновой гипотезы за совершенно несомненную истину.

Не знаю, можно ли было кому из понимающих дело думать иначе о Ньютоновой гипотезе сто, полтораста лет тому назад. Но знаю: со времени издания «Небесной механики» не существует ни для кого из понимающих дело возможности думать о Ньютоновой гипотезе иначе, нежели высказал я.

Дела и мысли людей — вот предметы моего внимания. На словах я не останавливаюсь. Слова интересны мне лишь как материал для понимания мыслей. Этот материал ненадежен. Когда нет более надежного, я анализирую его.

Но когда о мыслях людей достаточно свидетельствуют их дела, я предпочитаю этот вполне надежный материал для улучшения мыслей людей.

Это хорошо. Это дает моему ученому исследованию великое превосходство силы и верности сравнительно с исследованиями ученых, судящих о делах лишь по словам,— не понимающих своею собственною головою смысла фактов; да и о мыслях людей эти ученые судят лишь по материалу ненадежному. Мое превосходство над такими учеными очень велико.

Очень велико. Но, милые мои дети, оглянемся кругом: кто же из людей, сколько-нибудь поживших на свете, судит о житейских делах по словам? — Никто из людей, сколько-нибудь рассудительных, не делает так. В двадцать пять лет у рассудительного человека это бывает уж давнею привычкою. И десятилетние дети уж порядочно понимают разницу мысли от слов, разницу слов от дел.

Итак, опять то же: ваш отец в своих ученых исследованиях держится превосходного правила. Но все сколько-нибудь рассудительные люди делают то же самое.

И хотите иметь общую характеристику научной деятельности вашего отца? — Вот его мысли о его деятельности:

Он занимался некоторыми из наук о человеческой жизни. По всей совокупности этих наук, научная истина, в сущности, то самое, что думают, в сущности, все сколько-нибудь рассудительные люди, сколько-нибудь понимающие дело.

Таково огромное большинство людей в каждом из цивилизованных классов в каждой из цивилизованных стран.

Насколько успевал ваш отец понимать и высказывать по каждому предмету своей ученой деятельности то, что думают об этом предмете все рассудительные люди, это вопрос об успехе работы. И велик ли был успех,— это, по его мнению, все равно для его достоинства во мнении людей, лично любящих его. Довольно того, что у него всегда, во всей его научной деятельности, было неизменным рассудительное желание:

Быть неуклонно верным научной истине,— то есть по характеру наук, которыми он занимался, высказывать то, что думают все рассудительные люди; иными словами: то, что думает огромное большинство образованных людей; и огромное большинство всех других людей, сколько-нибудь понимающих дело.

Это правда. Это чистая правда. И правда очень хорошая.

Но оглянемся кругом — и увидим: в этой очень хорошей правде о вашем отце нет ровно ничего особенного. Таких людей, как он, то есть честных и старающихся быть рассудительными,— бесчисленное множество.

Дело о нас,— обо мне и о вас, мои милые дети, кончено.

Но сделаем из соображений, ничтожных для науки, важных лишь для вас, моих детей, вывод о семейной любви вообще, о предмете неизмеримо великого научного значения.

Вы, по всей справедливости, имеете полное право думать о вашем отце очень хорошо. По вашей личной любви к нему вам приятно думать о нем так.

Но — то же самое, что о нем, вы обязаны думать о множестве, неисчислимом множестве других людей. Вы обязаны. Законы мышления требуют того.

Правда, вы не будете иметь силы совершенно хорошо выполнить эту вашу обязанность. Как быть! — Мы, люди, пока еще очень слабые разумностью существа. Когда-нибудь мы будем сильны разумностью. Но теперь мы еще слабы. Мы все, и самые сильные между нами, слабы. Никто не может думать о миллионах, десятках, сотнях миллионов людей так хорошо, как следовало бы. И вы не в силах. Но все-таки часть разумных мыслей, внушенных вам любовью к вашему отцу, неизбежно расширяется и на множество, множество других людей. И хоть немножко переносятся эти мысли и на понятие «человек» — на всех, на всех людей.

И что ж мы имеем вообще о чувстве семейной любви? Да и вообще о всяком честном и добром чувстве личной привязанности?

Любя кого-нибудь честным чувством, мы больше, нежели было бы без того, любим и всех людей.

Такова-то научная истина о всех честных и добрых личных чувствах: это чувства, имеющие непреодолимое свойство расширяться с любимого нами человека на всех людей.

И теперь не засмеемся ли мы, если нам попадется в какой-нибудь ученой книге глупость такого сорта: «семейная любовь — чувство узкое». Это совершенно не научная мысль, при научном анализе оказывающаяся бессмысленным сочетанием слов.

О семейной любви, в особенности, нечего толковать, узкое ли она чувство, или широкое. Надобно ставить вопрос о «всех личных привязанностях». В той глупой мысли первая глупость: подстановка частного понятия в вопрос, логически возможный лишь о более общем понятии.

Это нечто подобное тому, как ставить вопрос: два ли глаза у голубя? — Вопрос может быть поставлен в таком виде лишь глупцом, невеждою или плутом, желающим завлечь простяка в какую-нибудь убыточную для простяка пошлость: или осмеять и одурачить его, или и обворовать в дополнение. Логически вопрос ставится так: «Два ли глаза у позвончатого существа?» — Не у «голубя», и даже не у птицы; даже и очень обширное понятие «птица» слишком тесно для такого вопроса. Для него необходимо понятие более обширное, чем не только «голубь», но и «птица».

Итак, вопрос, состоящий из двух терминов — «семейная любовь» и «узкое чувство»,— фальшив или глуп по постановке первого термина. Первый термин должен быть «Личная привязанность». Второй термин «узкое чувство» фальшив относительно всякого честного чувства. Никакое честное чувство не бывает ни узким, ни широким; всякое из честных чувств чувство всеобъемлющее.

Как скоро постановлен правильно первый термин,— второй термин вопроса исчезает. Вопроса нет. «Честное чувство — чувство всеобъемлющее», это мысль, где в сказуемом лишь повторяется часть содержания подлежащего. Таковы мысли: «Камень твердое тело; золото имеет желтый цвет; четвероногое животное имеет четыре ноги; млекопитающее имеет детей, кормящихся молоком во младенчестве». Это — «предложения тождественные». Вопросов о них нет. Это — аксиомы. Только не математические, а фактические аксиомы.

Чтобы мог существовать второй термин вопроса «узкое чувство», в первом термине должно стоять: «плутовская привязанность» или «подлость».

Подлость — чувство узкое. Человек, имеющий его, не может желать подличать перед всеми людьми.

Но мошенник может желать обворовывать всех.

Итак, о гадких чувствах вопрос логичен, правилен: некоторые из них всеобъемлющи; например, чувство мошенника; некоторые узки; например, чувство подлеца. И, в самом деле, видно: о каждом из них надобно разбирать особо, узкое оно или нет.

Например: тщеславие ученых невежд, болтающих чепуху, которой не понимают, для озадачивания простяков своею ученостью и гениальностью,— узкое это чувство или всеобъемлющее? То есть обо всем ли на свете желает болтать белиберду всякий такой ученый, или не обо всем? — Мудрено решить, так труден вопрос. Но стоит ли решать?

Нет. Ясно, что это чувство глупое и пошлое, и довольно знать то.

Милые мои дети,— вы знали хорошо, что такое «диалектика»? — Вы имели пример «диалектического анализа» в моем разборе вопроса: «Семейная любовь — узкое ли чувство».

Вы, если не знали, видите теперь:

Попадись в переделку — например, мне — например, Гаус,— я сотру в прах его мысли.

Он знал ли диалектику? — Нет. А я знаю[4].

И вся его математика не пособит ему.

Разумеется, он может попасться в переделку мне, лишь если вздумает философствовать.

Но я человек научного мировоззрения. Я уважаю естествознание и математику. Я лишь поправляю ошибку Гауса. А что будет, если натуралисты попадутся в переделку мыслителям, отрицающим самый предмет естествознания, вещество,— и отрицающим законы природы,— то есть отрицающим, между прочим, все формулы астрономии, физики,— отрицающим не только Ньютона,— всего Ньютона целиком,— не только Ньютона и Кеплера, но и Коперника,— каковы-то молодцы выйдут из этой переделки натуралисты?

Они выйдут из нее оплеванные и одураченные. И еще будут хвалиться: «Вот как умны мы стали! Даже сами дивимся своему уму».

И мудрено ли тогда им будет серьезно вообразить, что пустая рутинная фраза: «Ньютонова гипотеза — это гипотеза», не пустая рутинная фраза, а нечто глубокомысленное, и что в самом деле,— «прав ли Ньютон, еще неизвестно»,— мудрено ли будет вообразить это простякам, побывавшим в переделке у Бёркли, Гьюма и в особенности Канта, людей очень сильного ума, по обширности знаний далеко превосходящих наиболее образованного и энциклопедичного ученого между натуралистами, и, главное, людей, глубоко изучивших диалектику; — мудрено ли будет простякам-натуралистам, побывавшим в переделке у этих мыслителей, серьезно болтать: «Ньютонова гипотеза — лишь гипотеза»?

Вы увидите, что, побывавши в переделке у Канта, Гаус дошел до того, что сомневался в аксиомах элементарной геометрии и нагородил бессмысленную чепуху по элементарнейшему вопросу элементарной геометрии.— Я поправлю его. Он, математик, какого другого не было после него,— он оказался невеждою в математике сравнительно со мной; — да, со мной. Не мудрено: Кант встряхнул его

так, что у него помутились мысли. Он мог бы в таком расстройстве мыслей отречься и от таблицы умножения. Вы увидите: это смех и жалость.

Ты, Саша, знаешь схватку Гауса с Кантом? — Я надеюсь. А ты, Миша, знаешь? Я поговорю об этой трагикомической истории, которую умудрился произвести над собою Гаус.

И это — Гаус; и это — аксиомы элементарной геометрии.

То мудрено ли нынешним астрономам болтать непонятную для них бессмыслицу о Ньютоновой гипотезе? — Самые сильные умом из них — люди очень мелкие умом сравнительно с Гаусом, человеком истинно великой умственной силы. А Ньютонова гипотеза — хотя и чрезвычайно проста, все-таки несравненно менее проста, нежели аксиомы элементарной геометрии.

И мы побеседуем о судьбе большинства натуралистов и, в частности, астрономов, щеголяющих теперь перед публикою в шутовском наряде, которым наградили их за их невежество Бёркли, Гьюм и Кант — мыслители, отрицавшие естествознание[5].

И мы побеседуем о судьбе Ньютоновой гипотезы в головах этих жалких простяков, втоптанных в грязь, оплеванных Бёркли, Гьюмом и в особенности Кантом, одураченных, наряженных в арлекинский костюм и гордо щеголяющих в нем, с восторгом от своего ума, своей учености, своего «знакомства с научным мировоззрением».

Но мы побеседуем об этих жалких простяках и о судьбе Ньютоновой гипотезы в их избитых Бёркли, Гьюмом, и особенно Кантом, бедненьких, больных головах,— мы побеседуем об этом, милые мои друзья, в следующий раз.

Жму твою руку, мой милый Саша.
Жму твою руку, мой милый Миша.
Будьте здоровы, мои милые.
Ваш,— кроме того, что отец, друг *Н. Ч.*

8. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[8 марта 1878.]

Милые мои друзья Саша и Миша.

Продолжаем наши беседы о всеобщей истории,— мы просматривали астрономический отдел предисловия к ней. Мы говорили о Ньютоновой гипотезе, то есть о мысли Ньютона, что движение небесных тел по закону природы, открытому им и называемому нами Ньютоновой формулой,

производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества. И мы остановились на том, что я сказал: для разъяснения судьбы Ньютоновой гипотезы в наше время надобно рассмотреть, какой судьбе подвергло себя большинство всех вообще специалистов по естествознанию, в том числе и астрономов, то есть математиков, подчинившись плохо узнанным и еще меньше того понятым теориям идеалистической философии.

И я продолжаю:

Мои милые друзья, всякая отдельная группа людей имеет свою собственную амбицию. Мы поговорим об этом очень важном, разумеется, неразумном, потому вредном,— элементе человеческой жизни, когда по порядку предметов дойдет очередь до анализа влечений человека. Здесь довольно сказать, что по научному мировоззрению я держусь непоколебимо такой мысли: всякая иллюзия оказывает дурное действие на ход человеческих дел; и тем более, вредны такие иллюзии, которые, как превознесение своей группы во вред другим людям, имеют источником своим не какую-нибудь невинную ошибку, а побуждение дурное.

Ограничиваясь этим кратким замечанием о вредности всяких иллюзий, и особенно сильной вредности дурных иллюзий, взглянем повнимательнее лишь на один тот разряд дурных иллюзий, к которому относится дело, охватывающее собою историю Ньютоновой гипотезы в наше время, столь изобильное удивительными подвигами большинства натуралистов, воскипевшего непомерно горячим усердием совершать великие открытия и прославлять тем себя.

Во всяком ремесле или профессиональном занятии большинство мастеров своего технического дела невежды во всем, кроме того узенького дела, которым занимаются они по профессии. Так, например, большинство сапожников невежды во всем, кроме сапожничества. А гордиться чем-нибудь необходимость для невежд. Человек с широкими понятиями и чувствами находит достаточным для себя разумное чувство гордости тем, что он человек. Но невежда-сапожник очень мало интересуется тем, что он человек. Он умеет шить сапоги,— вот по размеру его понятий и чувств единственный понятный и нравящийся ему предмет гордости для него. И, давши ему хоть на полчаса простор самохвальствовать перед нами, мы услышим его поучающим нас и, в лице нашем, весь род человеческий, что сапожничество — самое важное на свете дело, а са-

пожники — первоклассне́йшие из всех благодетелей рода человеческого.

То же скажет нам о своем ремесле невежда-портной; то же невежда-парикмахер; то же невежда-каменщик; то же невежда-столяр; то же всякий другой ремесленник-невежда.

Но ремесленники этих и подобных этим профессий все вообще, подобно сапожникам, портным и т. д., очень редко могут находить терпеливых и почтительных, доверчивых и благодарных слушателей своему самохвальству. Чтоб услышать их дикие фантазии о том, что они первейшие благодетели наши, надобно нарочно устроить такой разговор без присутствия посторонних. Иначе нам не удастся услышать ничего истинно замечательного: по первому же слову слабого, еще колеблющегося приступа к своей назидательной речи самохвал будет прерван всеобщим хохотом и забит сарказмами неосторожно допущенной нами к присутствию при опыте посторонней публики.

Не такова доля тех профессиональных людей, которые занимаются по ремеслу специальностями более почетными, чем сапожничество, парикмахерство и столярство. Публика слушает этих почетных людей с почтением. И самохвальство их непрерывно поучает и услаждает на все лады их профессиональной интонации хвастовства преклоняющийся до земли, в признательности к этим своим благодетелям, род человеческий.

Почетных профессий очень много сортов. Например, архитектура, живопись, скульптура и т. д.; музыка, пение, танцы и т. д.; юриспруденция и т. д.; история и т. д.

Вы знаете, что знаменитый танцор Вестрис не на шутку считал себя благодетелем целой Франции и всего цивилизованного мира. Он был простодушный болтун. Только тем он и выдался по тщеславной болтовне из ряду обыкновенных специалистов. Сущность мыслей у всех невежд, специалистов по всем специальностям, одинакова с наивною болтовнею Вестриса.

Милые друзья мои, вы будете помнить: я равно говорю о всех самохвалах своим специальностям. Музыканты не обижены мною сравнительно с юристами; танцовщицы не обижены сравнительно с проповедниками морали: я сказал, что они поют о себе один и тот же гимн хвалы, лишь с подстановкою одной специальной терминологии вместо другой.

И если я буду говорить теперь о невеждах-натуралистах, и, в особенности о невеждах астрономах-математиках, то обиды им перед другими почетными специа-

листами-невеждами тут нет. Я нимало не нахожу, что их невежество более предосудительно для них, чем невежество живописцев или юристов, певиц и танцовщиц или проповедников для этих специалистов и специалисток. И самохвальство их не более нелепо, не более дурно и вредно. Я лишь должен говорить именно о них потому, что собственно они, а не танцовщицы или музыканты, занимаются наставлениями роду человеческому о том, что такое Ньютонова гипотеза. Если бы человечество спрашивало решения по этому делу у юристов, или у танцовщиц, а не у натуралистов, и, в частности, у астрономов-математиков, то я оставил бы на этих листках натуралистов вообще, и в частности астрономов-математиков, непотревоженными, даже вовсе неупоминаемыми, а порицал бы за невежество юристов и танцовщиц.

Но человечество не догадывается, что и от юристов и от танцовщиц оно услышало бы о Ньютоновой гипотезе решение не менее ученое и не менее основательное, чем слышит от господ астрономов-математиков с компаниею: «Ньютонова гипотеза — это гипотеза»; что может быть проще такого решения? И какая певица или танцовщица, или хоть прачка затруднилась бы дать его?

И я порицал бы за него даже прачку или поселянку-жницу, как порицаю астрономов-математиков: вопрос о Ньютоновой гипотезе так общепонятен, что не суметь понять его было бы предосудительно и для поселянки-жницы, если бы, давши ей часа два выслушать и обдумать факты, потребовали от нее правильного решения.

Но господа натуралисты и, в частности, господа астрономы-математики уверили доверчивую массу образованных людей, что в «вопросе»,— вопросе! — о Ньютоновой гипотезе есть нечто неудобопостижимое ни для кого, кроме специалистов по естествознанию, в особенности по математике,— в этом «вопросе», для решения которого не нужно ничего из математики, кроме таблицы умножения; в котором нетрудно добраться до решения даже и вовсе безграмотному человеку, не знающему цифр, считающему лишь при помощи слов, обозначающих числа на обыкновенном разговорном языке, заменяющему умножения сложением и производящему сложение перебиранием пальцев. Эти господа специалисты отняли решение дела у массы образованных людей, объявили себя единственными судьями «вопроса» о Ньютоновой гипотезе,— вопроса! — такого же вопроса, как «вопрос» о том, действительно ли дважды два составляет четыре. Им угодно было поставить дело так. И благоугодная им постановка дела

в зависимость исключительно от них принудила меня говорить о них.

Не моя воля на то. Их воля.

Милые дети мои, вашему отцу тяжело и больно говорить о большинстве натуралистов и в данном деле по преимуществу о большинстве математиков так, как говорит он.

Но как быть! — Эти господа вынуждают его к тому. Всему должна быть граница. Должна она быть и невежеству специалистов. И у всякого рассудительного человека есть граница уступчивости и снисходительности. И наперекор желанию вашего отца он принужден поставить вопрос: до какой степени понятны большинству господ великих математиков нашего времени простейшие, фундаментальнейшие из специальных научных истин по их специальной науке, математике?

Милые мои дети, мне тяжела эта необходимость. Я ценю заслуги тех ученых, о которых ставлю такой унизительный вопрос. Мне больно, что я должен поставить его. Но я должен.

И материалом для ответа на него я имею статью Гельмгольца «О происхождении и значении геометрических аксиом». Я знаю ее разумеется, лишь по русскому переводу. Он помещен в журнале «Знание» за 1876 год, № 8,— я буду цитировать перевод буквально.

Первые строки статьи:

«Задачею настоящей статьи является обсуждение философского значения новейших изысканий в области геометрических аксиом и обсуждение возможности создания аналитическим путем новых систем геометрии с иными аксиомами, чем у Эвклида».

Это говорит г. Гельмгольц, один из величайших — это я знаю — натуралистов и — читал я, охотно верю, сам по этой его статье отчасти вижу — один из самых лучших математиков нашего времени.

Все в этой статье я совершенно ясно понимаю.

И я говорю: он,— он, автор — он не понимает, о чем он говорит в ней и что он говорит в ней. Он перепутывает математические термины и в путанице их запутывает свои мысли так, что у него в голове сформировалась совершенно бессмысленная чепуха, которую он и излагает в этой статье.

Я буду поправлять его ошибки в употреблении терминов, и техническая часть его статьи получит при этих по-

правках правильный смысл. Без них в ней сплошная бессмыслица.

Заметим одно словечко в тех первых строках статьи. Гельмгольц хочет обсудить философское значение предмета статьи. «Философское».— А в «философии» он ничего не смыслит. В этом-то и причина падения его в бессмыслицу.

Он вычитал где-то что-то такое, чего не понял. Мы увидим, где и что он вычитал. Но это увидим мы. Сам он этого не знает. Углубляясь в те непонятные для него мысли, он вообразил, будто бы «возможно создать аналитическим путем новые системы геометрии» различные от геометрии «Эвклида».

Это — дикая фантазия невежды, не понимающего, что он думает и о чем он думает.

Дело, в сущности, так просто, что вполне понятно во всех своих технических подробностях даже мне, при всей скудости моих математических знаний. Оно состоит вот в чем:

У каждой геометрической кривой есть свои особенности. Эллипс имеет не те качества, как гипербола, или циклоида, или синусоида. Кому это неизвестно? — Я очень плохо знаю эллипс; гиперболу — и того меньше; но и я понимаю: это разные линии. А когда они различны, то и уравнение эллипса — понятно мне — различно от уравнения гиперболы. Я не знаю ни той, ни другой из этих формул. Но они различны, это понятно мне. Синусоиду я почти вовсе не знаю; но знаю: у нее есть свое особое уравнение. Что такое циклоида, я тоже почти вовсе не знаю. Но знаю: и у нее есть свое особое уравнение.

Итак? — Не все, что применимо к эллипсу, применяется к тем трем линиям. То же и о каждой из них. То же и о всякой другой геометрической линии.

Теперь, угодно ли нам будет употреблять такие выражения: «геометрия эллипса» — вместо: «Глава конических сечений, рассматривающая свойства эллипса»; «Геометрия гиперболы» — вместо: «другая глава конических сечений, рассматривающая свойства гиперболы»,— и так далее? — можем говорить так, если хотим; но тогда мы должны говорить: «геометрия равносторонних прямолинейных треугольников на плоскости»; — «геометрия равнобедренных и т. д. треугольников» и т. д.— И в конце концов у нас будет столько «геометрий», сколько разных формул в «геометрии» по обыкновенному выражению.

Но, «создавая» эти тысячи, пожалуй миллионы «геометрий», мы что такое «создаем»? — Новые словосочета-

ния, только. Мы должны помнить это. Дело у нас лишь в словах.

А Гельмгольц,— на этом,— на этом сбился, бедняжка.

Он и какие-то, не помню в эту минуту, но после найдем, какие именно,— он и какие-то другие «новейшие» мастера рисовать формулы успели нарисовать какие-то уравнения каких-то линий, о которых воображается им, что эти их «открытия» очень важны. Так ли? Открытия ли это? — Я полагаю: это мелочи, которых не вписали в свои трактаты и статьи Эйлер или Лагранж, собственно, лишь потому, что пожалели — бумаги и времени писать такие пустые и очевидные даже для меня решения пустяков. Вы лучше меня можете рассудить, так ли,— но так ли, не так ли, мои милые друзья,— для сущности дела все равно. Пусть эти «открытия» Гельмгольца с компанией действительно «открытия», и притом даже «великие»; какой же убыток от этих «открытий» аксиомам Эвклида? — Никакого, разумеется.

Всякая высшая геометрическая фигурочка — лишь особенная комбинация тех же самых элементарных комбинаций, о которых говорит «Эвклид». Например: будем растягивать круг,— получим эллипс; разрежем эллипс на половины большой полуоси, будем разгибать половину эллипса,— получим сначала параболу, после — гиперболу. Я выражаюсь, вероятно, неправильно. Но вы понимаете, что я хочу сказать: все формулы криволинейной геометрии — лишь видоизменения и комбинации элементарных решений «Эвклида». Пусть геометрия совершенствуется; это прекрасно; но ровно ничего несогласного с «Эвклидом» в ней не только теперь нет, но и никогда не будет.

Так, никакое развитие математики вообще не внесет в математику вообще ровно ничего несогласного с правилами сложения и вычитания, и — спустимся еще ниже по лестнице знаний — ничего несогласного даже с арифметикой дикарей, умеющих считать только до трех.

Неужели Гельмгольц не знает этого? — Сбился, зафилософствовавшись; вот и весь его грех; только.

Так. Он лишь сбился. Но каково же он сбился-то, это курьез.

Нашел он с компанией какие-то — по-моему, пустяки,— по его мнению, великие открытия. Пусть великие открытия. Нашел их и — вообразил: найдены «новые системы геометрии», не согласные с «Эвклидом». Вот до чего доводит «обсуждение философского значения», когда пустится философствовать человек, ни уха, ни рыла не смыслящий в философии.

И надобно отдать справедливость этим «новым системам геометрии»: в них такие новости, что читать приятно. Приведу примеры:

Страница 4, строка 9.— «Вообразим себе мыслящие существа только двух измерений». Эти существа «живут на поверхности», и вне этой «поверхности» нет «пространства» для них. Они сами «существа двух измерений», и «пространство» у них имеет лишь «два измерения».

Что это за глупая нескладица? — Этак позволительно болтать лишь маленькому ребенку, едва начавшему учиться элементарной геометрии и сбившемуся, по нетвердому знанию первого урока, в ответе на вопрос учителя: «Что такое геометрическое тело?» — Малютка перепутал слово «поверхность» со словом «тело» — и говорит по «новой системе геометрии» Гельмгольца. Но сам Гельмгольц говорит по «системе геометрии» этого малютки — от избытка «философских изысканий».

Дальше, на той же странице, Гельмгольц пресерьезно рассуждает о «пространстве четырех измерений»; — да, четырех измерений. Это что такое? — дело просто:

Напишем букву а; припишем с бока, вверху, маленькую цифру 4; будет что? Будет a^4. А это что? — Это: количество или величина а в четвертой степени. Переложим на геометрический язык. Степень на языке геометрии называется «измерение». Что же будет это a^4? — Будет «пространство четырех измерений». А если вместо 4 напишем, например, 999, то будет скольких измерений пространство? — Будет «пространство девятисот девяноста девяти измерений». А если вместо 999 запишем $^1/_{10}$, то будет? — «пространство одной десятой доли одного измерения».— А ведь оно точно: очень, очень недурны «новые системы геометрии».

Но Гельмгольцу воображается, что сочинившаяся у него в голове белиберда о «пространстве двух измерений» и о «пространстве четырех измерений» — нечто имеющее важный смысл. И он рассуждает о «возможности» таких «пространств» совершенно серьезно. Например, на той же 4-й странице:

«Так как никакое чувственное впечатление от такого неслыханного события, как появление четвертого измерения, нам неведомо, так же как неведомо и впечатление от образования нашего третьего измерения гипотетическим существам двух измерений, то представление четвертого измерения для нас столь же недоступно, как недоступно для слепорожденного представление о цветах».

Итак несуществование четвертого измерения для нас лишь следствие особенного устройства наших чувств! — Это не факт, что пространство имеет три измерения,— это лишь так кажется нам! Это не природа вещей иметь три измерения,— это лишь иллюзия, производимая плохим устройством наших чувств! Мы в этом отношении лишь «слепорожденные»!

Милые мои друзья, возможно ли человеку, находящемуся в здравом рассудке, иметь такую нелепую белиберду в голове? — Пока он не «философствует», невозможно. Но если он, не будучи подготовлен к пониманию и оценке философии Канта, пустится философствовать во вкусе — он полагает — Канта, то всякая бессмыслица может образоваться в его голове от возникновения в этой его бедненькой голове комбинации слов, смысл которых не ясен ему. И, не понимая, о чем и что думает он, может он воображать всякую такую бессмыслицу глубокомысленною премудростью.

Вообразим, что какая-нибудь русская деревенская женщина, не знающая по-французски, хочет щегольнуть в качестве великосветской дамы, прекрасно говорящей по-французски. Она ловит на лету кое-какие французские фразы; вслушаться в чуждую ей интонацию она не умеет; да и те звуки, которые удалось расслушать ей, она не умеет порядочно выговорить; — а конструкция фраз вовсе непонятна ей. И что выйдет из ее великосветского французского разговора? — Она окажется дурою, говорящею нечто совершенно идиотское. Но она, быть может, очень умна; лишь один порок в ее уме: глупое желание щегольнуть своею великосветскостью. Только. Но до чего может довести ее эта ее слабость? — Границ глупостям и бедам, которым она может подвергнуться через эту свою фанаберию, нет никаких; но обыкновенно дело не доходит до того, чтобы такие дуры теряли рассудок в медицинском смысле слова, хоть и до этого доходят многие из них. Обыкновенно бедствия таких дур ограничиваются тем, что они попадают в руки плутов и плутовок, бывают обобраны и, обобранные, осмеянные, оплеванные, возвращаются в свою деревенскую глушь.

Мы увидим, что с Гельмгольцем и подобными ему его товарищами по естествознанию, любящими щеголять в качестве философов, происходит то же лишь маленькое, сравнительно говоря,— лишь маленькое бедствие: они не утрачивают рассудка; они лишь попадаются в руки недобросовестных людей. Только.

Возвращаемся к статье этой мужского пола мужички, очень умной деревенской бабы в своей деревне, но — к сожалению — бабы, пустившейся в столицу дивить столичных жителей своей великосветскостью.— Математика.— Что, математика! — Кому она интересна, кроме математиков? Это глухая деревня, до которой никому нет дела, кроме ее жителей. Философия — вот это совсем иное. О философах идет говор по всему образованному обществу целого света. Это — столичные люди, вельможи в столице. И что будет, что, если та баба появится на бале столичных вельмож? — Она прославит себя на весь свет своим умом и великосветскими своими знаниями и талантами.

И вот мы видели, эта почтенная, не спорю, напротив, сам говорю: глубоко уважаемая мною за свою хорошую деревенскую деятельность — баба мужского пола, г. Гельмгольц,— предприняла экскурсию в столицу, и мы уже созерцали с восхищением первые подвиги ее на бале в вельможеском салоне Канта. Баба щегольнула в качестве «гипотетического существа двух измерений» и очень занимательно изобличила людей: они не знают пространства четырех измерений лишь потому, что у них недостает физиологического органа для восприятия впечатлений от четвертого измерения.

Почтенная персона приобрела апломб, торжествуя успешность этих своих подвигов. Дальше она очень грациозно объясняет нам, что «разумные существа двух измерений могут жить в разных, совершенно разнохарактерных «пространствах», имеющих по два измерения».

Друзья мои, ведь это буквально так в статье этой деревенской бабы, господина Гельмгольца. Это на 5-й странице его статьи.

Из разных пространств двух измерений — первое «пространство» есть «бесконечная плоскость» (страница 5, строка 8). В этом «пространстве» существуют, как и в нашем, «параллельные линии». Кто открыл, что «плоскости — то есть наша мысль о границе геометрической части пространства, о границе геометрического тела, есть сама уж «пространство»,— из статьи Гельмгольца не видно. Кто этот родоначальник «новых систем геометрии»? — Я не знаю. Я предположил, в нашей прошлой беседе, что это — Гаус. Верна ли моя догадка? — не знаю, разумеется. Но я желал бы, для чести математики, чтоб оказалось: я не ошибся в моей догадке. Потому что, иначе — позор распространяется на всех, на всех великих математиков, живших после Лагранжа и Лапласа. Все эти эпигоны, все окажутся виновниками позора, если не ви-

новен в нем лишь один из них, величайший из них, Гаус. Я поговорю о неизбежности этой «рогатой дилеммы»: если не один Гаус, то все авторитетные математики, жившие после Лапласа и живущие теперь. Я делал мою догадку о Гаусе лишь для того, чтобы сохранять для себя возможность не винить хоть других. А Гаус уж во всяком случае виноват. То — буду винить лишь его — рассудил я в прошлой нашей беседе. Вдумываясь в дело, я стал видеть после того: едва ли возможно оправдать и других его сотоварищей. Но мы поговорим об этом. А пока возвращаемся к просмотру белиберды Гельмгольца.

Итак, первый сорт «пространства двух измерений» — бесконечная плоскость. Кто сочинил это нелепое сочетание слов, не знаю.— Хочу думать: Гаус.— Так ли? — Для сущности дела все равно.

Второй сорт: «сферическая поверхность». В этом пространстве нет «параллельных линий».— И много у него других оригинальностей, не согласных с «геометриею Эвклида». Все эти оригинальности, впрочем, известны мне: я еще не забыл теорем «Эвклида» о поверхности шара. Они вовсе не те, какие относятся у «Эвклида» к фигурам на плоскости. Начать хоть с того, что, например, треугольник на плоскости вовсе не «сферическая поверхность». Это и все тому подобное не только изложено у «Эвклида», но и памятно до сих пор мне, хоть я забыл почти всего «Эвклида».

Есть еще «яйцеобразная поверхность». И это я знаю. Теорем о ней не знаю. Но все то, что толкует о ней Гельмгольц, вот уж лет сорок знаю,— лет с десяти знаю, с той поры, когда учился «Эвклиду». У «Эвклида» об этой поверхности не говорится. Но все те разницы ее от сферической поверхности, о которых толкует Гельмгольц, известны всякому, знающему теоремы «Эвклида» о поверхности шара.— Точно так же с десятилетнего возраста известно мне и все остальное, о чем толкует техническая, собственно геометрическая часть статьи Гельмгольца: вся эта новооткрытая премудрость известна со времени «Эвклида» всем, хоть немного учившимся «Эвклиду». Новость лишь то, что «новейшие» мудрецы, г. Гельмгольц с компаниею, избитые кулаками Канта, воображают, в расстройстве мыслей от головной боли, эти «поверхности», эти границы геометрических тел, «пространствами». Новость такого же рода, как то, что можно, например, возводить «пару сапогов» в квадрат или куб или извлекать из «пары сапогов» квадратный корень.

«Новейшие создатели» новых «систем» математики, разумеется, не затруднятся задачею возвести «пару сапогов», например, в квадрат. Стоит им написать формулу:

$$п^2\ а^2$$

и они тотчас сообразят: «пусть а будет «сапог»; пара сапогов будет 2а: и, возводя 2а в квадрат, они получат

$$4а^2$$

и прочтут это так: «пара сапогов, возведенная в квадрат, равняется четырем сапогам в квадрате». Но что ж это такое, четыре сапога в квадрате? — Для нас, говорящих по-русски, очевидно, что это такое: четыре сапога в квадрате,— это «сапоги всмятку».— Так легко разрешается по «новой системе математики» задача, совершенно несовместная с человеческим смыслом, по ошибочному мнению людей, держащихся старой, общеизвестной «системы математики».

Вот другая задача, которую так же легко разрешит Гельмгольц с компаниею: «Дано сборище из 64 педантов, одуревших от избытка тщеславия; требуется: извлечь квадратный корень».— Ответ будет: «8 квадратных корней таких педантов».— Так. А кубический корень? — Ответ: «4 кубические корня таких педантов».

Возвращаемся к статье бедняги, сбившегося с толку на щегольстве своим знакомством с философиею Канта.

Яйцеобразное пространство двух измерений неудобно для жизни разумных существ двух измерений: передвигаясь по нем, они растягивались бы и сжимались бы неравномерно, вроде того как мнется передвигаемый по скорлупе яйца кусочек плевы того яйца. Это правильно, я знаю. И точно: какой уж тут был бы «разум» у «существ двух измерений», когда их головы были бы постоянно размяты растягиванием и сжиманием. Но... но... но... если предположить, что эти «разумные существа двух измерений» — устрицы двух измерений? Тогда они сидят, приросши к месту, и неудобства им нет, да и голов-то у них нет. Какое же затруднение для них яйцеобразность их пространства? — Ах, да, впрочем! Устрицы не имеют рук; писать книг не могут поэтому. А для Гельмгольца вся сущность «разумной жизни» — писание книг и статей о математике. Понятно: о «яйцеобразном пространстве двух измерений» не стоит и толковать: разумным существам двух измерений не стоит жить в нем.

Но «сферическое пространство двух измерений» — очень хороший сорт пространства.

Третий прекрасный сорт — «псевдосферическое пространство двух измерений». Его вид? — Поверхность кольца, сделанного из проволоки, согнутой и спаянной концами. Изобретатель этого пространства — известный, по словам Гельмгольца,— известный! — Чем же именно? глупостью? Итальянский математик Бельтрами.— Я надеюсь, эта его глупость была и у него,— как, я надеюсь того же и о Гельмгольце,— лишь мимолетным расстройством мыслей, и известен он не этою своею глупостью, а какими-нибудь дельными работами.— В одном отношении, впрочем, очень прискорбна эта, хоть и мимолетная, глупость! Образумившись, Бельтрами должен был бы отступиться от нее. А он этого, по-видимому, не сделал. Итак: он еще не вполне исцелился. И она продолжает давить, как свинцовая дурацкая шапка, его голову. Да; впасть в глупость легко невежде, одолеваемому тщеславием. Исцелиться трудно. Потому-то и непростительна коренная глупость тщеславных невежд: глупость оставаться невеждами, когда им хочется философской славы. Поучились бы; — авось, и тщеславие исчезло бы вместе с невежеством. А то лишь стыдят себя и позорят свою специальность своими дикими фантазиями.

«Псевдосферическую поверхность», по словам Гельмгольца, имеют и некоторые другие фигуры, кроме фигуры проволоки, согнутой в кольцо. Он перечисляет эти разные формы псевдосферической поверхности. Все они формы очень элементарные. Были ль даны каждой из них особые формулы до Бельтрами? — Не знаю. Но даже для меня ясно: все эти формулы очень легкие видоизменения формул линий второй степени. Например: поверхность кольца из круглой проволоки имеет своими формулами очень легкие видоизменения формул цилиндрической поверхности прямого цилиндра; то есть формулы поверхности того кольца очень легко и просто выводятся из формул круга. И я полагаю: если у Бельтрами в той его глупости есть какие-нибудь формулы, не находящиеся в трактатах или статьях Эйлера и Лагранжа, то лишь потому не напечатали этих формул Эйлер и Лагранж, что находили незаслуживающими печати, очевидными для всякого порядочного математика корольлариями других формул.

Но так ли, или нет,— для сущности дела все равно. Пусть Бельтрами в той своей глупости дал какие-нибудь новые формулы, не совсем маловажные. Все-таки неизмеримо глуп общий характер обеих его работ, на которые

ссылается Гельмгольц. Это видно по самым заглавиям их.— «Опыт истолкования не-Эвклидовой геометрии»; и — «Основная теория пространств постоянной кривизны».— Я рад был бы свалить всю вину глупости на Гельмгольца, предположивши, что он вложил сам дикую фантазию свою в работы Бельтрами, имевшие лишь дельную, разумную цель найти формулы для тех поверхностей: кольцеобразной, двуседловидной и бокалообразной. Важны ли, не важны ли эти формулы, новы ли они, или не новы в науке,— было бы все равно: цель работ,— дельная; и если автор доискивался решений, уж данных другими, лишь неизвестных ему, это могло бы оказаться лишь случайным его незнанием, и я рад признавать все такие случаи извинительными. Но — нет! — Бельтрами сочинял «не-Эвклидову геометрию»,— он сам; не Гельмгольц вложил в его работы эту невежественную фантазию; он сам хвалится: он изобрел новую геометрию. И не Гельмгольц внес в его работы нелепое перепутывание понятий «линия» и «поверхность» с понятием «пространство»; нет, он сам говорит о «кривых пространствах»; — о, урод!

Гельмгольц нашел, впрочем, что Бельтрами имел предшественника. Этот предтеча сочинителя «кривых пространств», бывший профессором в Казани, некто Лобачевский[1]. Еще в 1829 г., говорит Гельмгольц, «была составлена Лобачевским система геометрии», которая «исключала аксиому параллельных линий; — и тогда еще было вполне доказано, что эта система столь же состоятельна, как и Эвклидова». И система Лобачевского «вполне согласуется» с новою геометриею Бельтрами...

Что такое «геометрия без аксиомы параллельных линий»? — Ребятишки забавляются тем, что прыгают на одной ноге. Быстро подвигаться вперед этим способом они, разумеется, не могут; и передвинуться далеко,— например, версты на две — не могут. Но при усердии все-таки не очень медленно передвигаются на расстояния, не вовсе ничтожные: иной, прыгая, не отстает от человека, идущего тихо; и провожает его целую четверть версты. Это очень трудный подвиг. И достойный всякой похвалы. Но лишь когда это — шалость ребенка. А если взрослый человек,— и не для шалости, а серьезно, по своим серьезным делам, пустится путешествовать, прыгая на одной ноге, это будет путешествие не вполне безуспешное,— нет! — только совершенно дурацкое.

Можно ли писать по-русски без глаголов? — Можно. Для шутки пишут так. И это бывает, иной раз, довольно забавною шалостью. Но вы знаете стихотворение:

Шелест, робкое дыханье,
Трели соловья [2],—

только и помнится мне из целой пьесы. Она вся составлена, как эти два стиха, без глаголов. Автор ее — некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. И есть у него пьесы, очень миленькие. Только все они такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если б выучилась писать стихи — везде речь идет лишь о впечатлениях и желаниях, существующих и у лошадей, как у человека. Я знавал Фета. Он положительно идиот: идиот, каких мало на свете. Но с поэтическим талантом. И ту пьеску без глаголов он написал, как вещь серьезную. Пока помнили Фета, все знали эту дивную пьесу, и когда кто начинал декламировать ее, все, хоть и знали ее наизусть сами, принимались хохотать до боли в боках: так умна она, что эффект ее вечно оставался, будто новость, поразителен.

Вы знаете, необходимейшая из согласных на французском, итальянском или испанском языках буква L; — она входит в состав «члена»,— того местоимения, без которого мудрено сказать десять слов кряду. И что ж? — во времена щегольства побеждением лингвистических законов были писаны во множестве на этих языках, стихотворные вещицы без буквы L. На испанском языке есть даже целая эпическая поэма, целая огромная книжища, без буквы L. Имя глупца, автора ее, уж забыл[3]. Можете, если хотите, справиться в каком-нибудь трактате об испанской поэзии «времен упадка вкуса» в XVII столетии.

Мало ли каких фокус-покусов может выделывать желающий выделывать фокус-покусы? Для шутки в часы отдыха это, пожалуй, не глупая забава. Но кто фокусничает не для забавы, а серьезно усердствует сочинять ребусы, шарады, каламбуры, воображая «пересоздавать» науку этими дурачествами, тот занимается дурацким трудом, и если не родился,— то добровольно становится глупцом.

Продолжать ли разбор глупости Гельмгольца? — «Довольно»,— давно думаете, вероятно, вы.— Нет, мои милые дети,— по-моему, следовало бы продолжать. Я люблю доводить все до прозрачнейшей ясности, и не знаю сам, не хочу замечать в других утомления длиннотою моих разъяснений. Но пора кончать, потому что через несколько часов будет пора отдавать письмо на почту; и я оставляю без разбора все дальнейшие подробности белиберды Гельмгольца. Перехожу к восстановлению математической истины, изуродованной этою белибердою.

В чем реальный смысл формул, дурацки примененных Гельмгольцем с компаниею к понятию «пространство»? — Это — формулы «о пути луча света».

В нашем непосредственном соседстве,— на расстоянии нескольких метров от наших глаз, путь луча света, при обыкновенных условиях прозрачности и температуры атмосферы — прямая линия. Если мы берем пук лучей, он, расходясь по прямым линиям, образует простой конус, прямой конус, конус — «Эвклида»,— единственный конус, формулу которого я знаю. Правильно ли я называю этот конус элементарной геометрии? — Все равно; дело не в том, знаток ли я математики; я не знаю и не хочу знать ее. Мне некогда узнавать ее. И никогда у меня не было досуга на то. Дело лишь о том, чтобы вам были понятны мои мысли. Я говорю о том конусе, который для удобства нашего анализа мы рассматриваем как геометрическое тело, производимое вращением прямолинейного, плоского прямоугольного треугольника около одного из катетов; этот катет будет «ось», другой катет даст базис конуса; гипотенуза даст поверхность конуса. Правильны ли мои выражения? — Плевать я хочу на то. У меня дело не о словах. Я хочу лишь, чтобы вы видели, о каком конусе я говорю.

Этот конус, конус Эвклида, конус пука лучей света в нашем непосредственном соседстве. Вот об этих-то прямолинейных лучах света верны формулы, глупейшим образом превращенные нелепостью фантазии — чьей? — не знаю; хочу думать: фантазии Гауса,— в формулы «гомалоидного пространства трех измерений»,— или «Эвклидова пространства». Кто сочинил термин «гомалоидное пространство»? — По-видимому, только уж сам Бельтрами, сочинитель «кривых пространств», а не Гаус. Но все равно во всех нелепостях ничтожного ученика виноват великий учитель. Все эти разные «пространства» повытасканы из исследования Гауса «о мере кривизны поверхностей». Я полагаю, что эта работа[4] Гауса — работа дельная и очень важная. Так ли, не знаю. Но думаю: так. И готов превозносить за него Гауса. Но, очевидно, что Гаус был сбит с толку философиею Канта и, когда пускался философствовать, завирался. И — в исследовании ли «о мере кривизны» или в каком другом своем труде он зафилософствовался, по Канту, о «формах нашего чувственного восприятия», о предмете вовсе чуждом его специальности. И, зафилософствовавшись, сбился; ему вообразилось, что Кант отчасти прав, отчасти неправ в своей «теории чувственного восприятия». И он принялся поправлять Канта,

оставаясь в сущности,— он, простодушная, невежественная деревенщина по этому «диалектическому», а вовсе не математическому вопросу,— по вопросу о достоверности наших чувственных восприятий,— одурачен Кантом. Ему ли, неотесанному мужику из глухой деревни, бороться с Кантом? — Он даже не понял Канта; и, опровергая его, повторил его мысли в изуродованном виде. Об этом после. Довольно пока того, что у Канта нет таких мужицких несуразностей невежественной деревенской нескладной речи, как «пространство двух измерений» или «четырех измерений».— Сам ли Гаус сочинил эти глупости? — Или только наболтал такой чепухи, что Гельмгольц, Бельтрами и компания нашли в этой чепухе материал для своих собственных глупостей,— это по отношению к сущности дела все равно.

Но для чести математики было бы лучше, если бы эти глупости оказались высказанными у самого Гауса. Тогда,— тогда,— я не винил бы других авторитетных математиков, что они или повторяют Гауса, или молчат, не хохочут, читая нелепости Гельмгольца, Бельтрами, Римана, Либмана и компании, цитируемых Гельмгольцем в качестве его сподвижников. Сила гения Гауса — сила гиганта, сравнительно со всеми, жившими после Лапласа и нынешними математиками. Пигмеи охвачены руками гиганта,— чего требовать от них, Гельмгольца с компаниею? — Как винить их? — Дрыгают ручонками и ножонками и пищат, как велит гигант. А остальные пигмеи,— масса «великих»,— великих! — Но пусть они «великие»,— масса остальных великих математиков,— эти посторонние, эти зрители, пигмеи — трепещут, и недоумевают, и дивятся, и молчат; — как винить и их?

Так судил бы о них я,— если виноват, собственно, Гаус: не презирал бы я их, а лишь сожалел бы о них. Они были бы, собственно говоря, невинные жертвы Гауса.

Но едва ли так. Вникая в тон статьи Гельмгольца, я нахожу себя принужденным полагать: правда, непосредственным образом, именно из Гауса почерпнули свою белиберду Гельмгольц, Бельтрами и компания. Но те дикие фантазии Гауса во вкусе Канта — это, по-видимому, общие фантазии всех авторитетных математиков нашего времени. Все они возводят сапоги в квадрат, извлекают кубические корни из голенищ и из ваксы, потому все совершенно благосклонны к пространствам и двух, и четырех, и миллион четырех измерений, к пространствам и треугольным, и яйцеобразным, и табакообразным, и шоколаднообразным, и чаеобразным, и дубообразным, и ду-

бинообразным, и болванообразным,— словом, ко всему дурацки-бессмысленному.

Это горько писать. Но тон статьи Гельмгольца ведет к такому предположению.

Отчего положение дел в математике таково, что приводит меня к такому предположению,— хочу надеяться, все-таки ошибочному? — Вы видите, я все еще только добираюсь до изложения первой причины тому, до зависимости естествознания вообще, и, в частности, математики, от доктрин идеалистической философии и главным образом от системы Канта. Мы доберемся до этого. Но прежде покончим со статьею жалкого бедняжки Гельмгольца, раскрывшею передо мною позор несчастной, осиротевшей по кончине великого старика Лапласа, бедной, преданной на поругание людям средневекового мрака,— несчастной, обесчещенной математики.

К чему писал простофиля-деревенщина, баба-мужичка мужского пола, великий — знаю — натуралист и великий — охотно верю — математик Гельмгольц свою злополучную статью?

Прежде чем цитировать идиотски-самохвальный финал ее, припомним реальную истину, искаженную философскою белибердою его диких фантазий.

Луч света идет в непосредственном соседстве наших глаз, положим на пространстве нескольких метров — при обыкновенном состоянии атмосферы, по прямой линии. Пук лучей света в этом случае — прямой конус. Те чудаки начинают свои фантазии, сознательно ли, или, по-видимому, вовсе бессознательно,— с мыслей, относящихся к этому факту; с мыслей правильных. Но Кант выбил из их бедных голов научную истину: «три измерения — это качество вещества, это сама природа вещей». Они хотят щеголять в качестве философов. Они забывают о конусе лучей света; раздумывают лишь о базисе этого конуса; базис этот — поверхность, произошедшая от вращения одного из катетов, то есть от вращения прямой линии; то есть это: плоскость. Они расширяют эту плоскость «до бесконечности» и — воображают, что они изобрели «гомалоидное пространство двух измерений». Как пойдут лучи света по этому «пространству»? — О конусе лучей они уж давно забыли. И решают: лучи пойдут параллельными линиями по этой плоскости. Но и о лучах они забывают; и — готовы «формулы аналитического исследования», создающего «геометрию гомалоидного пространства двух измерений».

Мило. Но и сам-то конус лучей света совершенно ли прямой? Луч света, доходящий до нас,— от солнца ли, от

свечи ли под носом у нас, безусловно ли прямая линия? Они забыли: нет; никогда; фактически это невозможный лучу путь. Падая от солнца через атмосферу, луч гнется. Идя от свечи,— переходя из горячего воздуха в прохладный, он гнется. Этот изгиб ничтожен при обыкновенных обстоятельствах. Но он неизбежен. А при мираже кривизна велика. Но мираж — это лишь очень высокая ступень того, что постоянный факт обо всех лучах, идущих под углом не далеким угла=0 с горизонтальной линиею: все нижние слои воздуха — путаница слоев и клочков воздуха различных температур. Потому; но кто ж не знает всего, что сказано мною, и всего, что следует из того?

И эти чудаки знают. Но в их избитых Кантом жалких, больных головенках все перепутывается, расплывается в туман, и из тумана вырастают дикие фантазии о сферическом и псевдо-сферическом пространствах.

А простой научный смысл дела в чем? — Путь луча света не совершенно прямая линия; на пространстве нескольких метров этот изгиб при обыкновенных обстоятельствах ничтожен; но иногда кривизна и велика.

Словом? — Эти чудаки перепутали «диоптрику», одну из глав оптики, с формулами абстрактной геометрии. Они перепутали свою деревенскую геодезию, совершаемую растопыриванием рук или пальцев рук,— «вот, три сажени»,— «вот, пять четвертей с вершком»,— они перепутали свою деревенскую геодезию с законами вселенной.

Только. Беды, в серьезном смысле слова, никому от того нет. Да? Так ли? Но пусть беды нет; пусть дело лишь в том, что сами они оказались дураками и предали свою науку, математику, на поругание людям средневекового мрака. Только. Беда не велика. Да. Что за беда была бы, если бы от времен первобытного дикарства счетом по пальцам, потом арифметикою и т. д. занимались только дураки? — Мы не имели б Архимеда, Гиппарха, Коперника и т. д. до Лапласа,— мы оставались бы полудикими номадами. Только.

Итак? — беда от ослиной премудрости Гельмгольца с компаниею невелика. Но нельзя ж сказать: «не особенно велика». Они, одуревши, проповедуют, вместо научной истины, одуряющую доктрину дикого, невежественного фантазерства. Только. Беда не велика? — Да, сравнительно с чумою или сильным неурожаем, не велика.

Довольно об этом. И перейдем к финалу статьи Гельмгольца, к дифирамбу победы, который воспевает он в честь себе и своим сподвижникам.

Перед удивленной вселенной раскрывается непостижимая умом цель бессмысленной статьи: автор торжествует, как оказывается, победу; и одержал он эту победу,— оказывается,— над Кантом, мысли которого, в изуродованном виде, составляли весь материал его изумительных мудрствований. Он провозглашает:

«Подвожу итоги:

«I. Геометрические аксиомы, взятые сами по себе, вне всякой связи с основами механики, не выражают отношений реальных вещей.

Душенька мужичок, заврался ты. Не смыслишь ты, ничего не смыслишь ни в механике, ни в геометрии.— Треугольник сам по себе неужели ж не треугольник? И неужели ж у него не три угла? А аксиомы — это элементы, известная комбинация которых дает треугольник. Как же они сами по себе не выражают «отношений реальных вещей»? — Неужели ж треугольник становится треугольником, лишь передвинувшись с одного места на другое? — Душенька мужичок, «механика» говорит о «равновесии» и о «движении». А «геометрия» о телах и элементах геометрических тел независимо от того, лежат ли они, или двигаются,— так, в элементарнейшей части геометрии; в «Теории функций» — иная точка зрения. Но ты, душенька, не умеешь различать «Эвклида» от «Теории функций».— Правда, и у «Эвклида» говорится: «проведем линию», «будем обращать линию около одного из ее концов» и т. д.; но это, душенька, лишь «учебные приемы»; это не «предмет» аксиом; это лишь «учебные приемы» для облегчения тебе, душенька; а ты, по своему невежеству, сбился на этом и перепутал «Эвклида» с механикою.— Продолжай, душенька мужичок.

«Если мы»,— продолжает деревенщина-простофиля,— «если мы, таким образом изолировав их» (аксиомы геометрии от механики) «будем смотреть на них вместе с Кантом».

О, берегись, мужичок! Прихлопнет тебя, простофилю, Кант! («вместе с Кантом будем смотреть на аксиомы») — «как на трансцендентально данные формы интуиции, то они явятся...»

Душенька, ни математику, ни вообще натуралисту, непозволительно «смотреть» ни на что «вместе с Кантом». Кант отрицает все естествознание, отрицает и реальность чистой математики. Душенька, Кант плюет на все, чем ты занимаешься, и на тебя. Не компаньон тебе Кант. И уж был ты прихлопнут им, прежде чем вспомнил о нем. Это он вбил в твою деревянную голову то, с чего ты начал свою

песнь победы,— он вбил в твою голову это отрицание самобытной научной истины в аксиомах геометрии. И тебе ли, простофиля, толковать о «трансцендентально данных формах интуиции»,— это идеи, непостижимые с твоей деревенской точки зрения. Эти «формы» придуманы Кантом для того, чтобы отстоять свободу воли, бессмертие души, существование бога, промысел божий о благе людей на земле и о вечном блаженстве их в будущей жизни,— чтобы отстоять эти дорогие сердцу его убеждения от — кого? — собственно, от Дидро и его друзей; вот о чем думал Кант. И для этого он изломал все, на чем опирался Дидро со своими друзьями. Дидро опирался на естествознание, на математику,— у Канта не дрогнула рука разбить вдребезги все естествознание, разбить в прах все формулы математики; не дрогнула у него рука на это, хоть сам он был натуралист получше тебя, милашка, и математик получше твоего Гауса. Таковы вельможи столицы: они добрее тебя, дурачок; дурачок с одеренелой душою; ты — дерево; они — люди; и для блага человечества не церемонятся разрушать приюты разбойников. Такой приют, твоя деревушка. Кант был родом из нее. Любил ее. Но — благо людей требует! — и он истребил эту деревушку, бывшую приютом разбойников. Таков-то был Кант; человек широких, горячих желаний блага людям. И тебе ли, дурачок, для которого твоя деревушка дороже всего на свете,— тебе ли дерзать хоть помыслить «буду компаньоном Канта»? — Он ведет людей во имя блага и вечного блаженства и земного счастья на истребление твоей деревушки.— Прав ли он? — Не тебе, простофиля, судить. Но ты беги от него, беги.

Но эти мизерно-головые людишки, для которых «благо людей» — пустяки, а важны лишь «резонаторы», да «аккорды верхних созвучий»,— эти мизерно-головые людишки не в состоянии понимать великих забот Канта. Они воображают, что Кант, как они сами, думал лишь об акустике или оптике.— Прав ли Кант? — Мои мысли об этом достаточно высказаны мною в первой из этих наших бесед. Но Кант понимал, что он говорил.

Продолжать ли переписывание финала глупенькой статьи? — Нет у меня времени. Пора отдать письмо на почту. Потому скажу лишь:

Весь этот финал — сплошь переложение мыслей Канта, отрицающих естествознание и математику, на нескладное деревенское наречие математики. Мысли выходят изуродованными. А дурачок, оплеванный своим руководителем Кантом, воображает, что опроверг его своею глупостью о «сферическом пространстве двух измере-

ний» — глупостью, подсказанною ему Кантом, разбивавшим в прах всю математику для спасения, на благо людей, исправленной доктрины Петра Ломбардского, Томаса Аквинатского и Дунса Скотта,— для спасения, на благо людям, исправленных практических стремлений Петра Дамиани и Бернара Клервосского.

Моя точка зрения на это? — Точка зрения Лаланда и Лапласа,— точка зрения Людвига Фейербаха.— И хотите — не только знать, что думаю я, но и то, что чувствую я? — то прочтите не «Фауста» Гете,— нет, это писано с точки зрения чрезмерно устарелой,— но «Коринфскую невесту» Гёте[5]:

Nach Korinthus von Athen gezogen
Kam ein Jungling dort noch unbekannt,—

только и помню наизусть. И стыжусь, что не знаю всей этой дивной маленькой поэмы наизусть. Читайте ее, мои милые дети.

И будьте здоровы.

Жму твою руку, мой милый Саша.

И твою, мой милый Миша.

В следующей беседе мы побольше поговорим о Ньютоне и о Лапласе, о естествознании, не выданном на оплевание Петру Ломбардскому, на истребление Бернару Клервосскому, о естествознании, просвещающем разум людей и дающем руке человека силу работать с успехом для устроения жизни безбедной, мирной и честной.

Жму ваши руки, милые мои дети.

Ваш — отец, но более важно, чем, что ваш отец,— тоже и друг ваш *Н. Ч.*

Я обрезал этот листок для того, чтобы все письмо поместилось в однолотовом конверте, а не то, что по недостатку бумаги писал на клочке. Не вообразите, мои милые, что у меня мало бумаги: у меня целые стопы бумаги. Да и конвертов груда. Мне не нужно ничего. У меня много всего. *Н. Ч.*

9. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

6 апреля 1878. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша,

Будем продолжать наши беседы о всеобщей истории.

Для ясности хода моих мыслей в этой беседе полезно будет нам припомнить содержание прежних.

Предисловие к истории человечества составляют:

Астрономическая история нашей планеты;

Геологическая история земного шара;

История развития того генеалогического ряда живых существ, к которому принадлежат люди.

Это научная истина, известная с давнего времени.

Большинство натуралистов благоволило признать ее за истину лишь недавно.

И я сказал: большинство натуралистов до недавнего времени интересовалось научною истиною меньше, нежели следовало. Мало знакомо с нею и теперь. Мне прийдется много спорить против них из-за этого.

Чтобы ясно было, какие именно понятия признаю я истинными, я сделал характеристику научного мировоззрения по отношению к предметам естествознания.

Существенные черты этой характеристики таковы:

То, что существует,— вещество.

Наши знания о качествах вещества — это знания о веществе, как веществе, существующем неизменно. Какое-нибудь качество, это: само же вещество, существующее неизменно, рассматриваемое с одной определенной точки зрения.

Сила, это: — качество, рассматриваемое со стороны своего действования. Итак: сила, это: — само же вещество.

Законы природы, это: — способы действования сил. Итак: законы природы, это: — само же вещество.

Я сказал: никто из натуралистов, сколько-нибудь уважающих себя и сколько-нибудь уважаемых другими натуралистами, не решится сказать, что он не находит этих понятий истинными; всякий скажет, что это его собственные понятия.

И я прибавил: да, все они скажут: «Это так»; но очень многие — почти все — скажут, сами не понимая, что прочли, у них знакомство с этими понятиями очень плохо; и образ мыслей очень во многом не соответствует этим понятиям.

Сделав эти общие заметки об отношениях большинства натуралистов к научной истине, я перешел к обзору содержания астрономического отдела предисловия к истории человечества.

История нашей солнечной системы и, в частности, нашей планеты, разъяснена Лапласом. Этот его труд — ряд очень простых, совершенно бесспорных, с научной точки зрения, выводов из Ньютоновой формулы, которая всеми астрономами принимается за истину, не подлежащую ни

малейшему сомнению, и из нескольких общеизвестных фактов, достоверность которых никем из астрономов не отрицается.

Как это теперь, совершенно так это было и в то время, когда Лаплас обнародовал свою работу; оставалось так и во все последующее время: никто из астрономов не подвергал и не считал возможным подвергать ни малейшему сомнению ни Ньютонову формулу, ни какой из общеизвестных фактов, на которые опираются выводы Лапласа.

Дело так просто и достоверность выводов Лапласа так ясна, что с самого обнародования их признавали их за несомненную истину все те, знакомые с ними, люди, которые имели серьезную любовь к истине и обладали знанием, что о делах, понятных всякому образованному человеку, всякий образованный человек может и должен судить сам.

Таких людей было очень много.

Но большинство образованного общества издавна приучено большинством астрономов полагать, что никто, кроме астрономов, не может иметь самостоятельного мнения ни о чем в астрономии.

Наиболее умные люди между астрономами всегда старались разъяснить обществу, что это не так. Для того чтобы находить правильные решения астрономических вопросов,— говорили они обществу,— действительно необходимо иметь специальные знания. Но когда решение найдено, то может оказаться, что оно основывается на общепонятных выводах из общеизвестных фактов. И выводы Лапласа об истории солнечной системы таковы.

Но большинство образованного общества подчиняло себя авторитету большинства астрономов. А большинство астрономов изволило находить, что «Гипотеза Лапласа»,— как назывался тот ряд выводов,— «лишь гипотеза».

Так это говорилось лет шестьдесят или больше.

И вот, наконец, был открыт способ видеть химический состав тел через наблюдение их спектров. Он был применен к спектрам небесных тел.

И всякий, специалист ли, нет ли, увидел: в составе планет и спутников планет нашей системы, в составе нашего солнца, других солнц, туманных пятен находятся некоторые из так называемых «химических простых тел», известных нам по нашей планете.

И большинство астрономов признало: Лаплас прав.

А между тем факты, открытые спектральным анализом относительно состава небесных сил, сами по себе вовсе не свидетельствуют о том, прав или неправ Лаплас. Из них видно только: химический состав небесных тел более или

менее подобен составу нашей планеты. Эта мысль несравненно более давняя, чем «Лапласова гипотеза», и сравнительно с нею очень неопределительная.

Но масса образованного общества, заинтересовавшись результатами наблюдений над спектрами небесных тел, вдумалась в спор меньшинства и большинства астрономов о гипотезе Лапласа, рассудила взять решение спора под власть своего здравого смысла, решила: меньшинство астрономов говорило правду: Лапласова гипотеза — гипотеза лишь по имени, а на самом деле она — бесспорно достоверный ряд совершенно правильных выводов из несомненных фактов.

И большинство астрономов покорилось решению массы образованного общества.

Такова-то история так называемой «Лапласовой гипотезы».

Милые мои друзья,

Почти все, что я пишу, я пишу лишь на основании того, что помнится мне.

Единственная справочная книга под руками у меня — словарь Брокгауза[1] Много ли найдешь в нем?

При таком характере моих бесед с вами неизбежно: всякое мое слово, как скоро оно относится к чему-нибудь не вполне достоверно известному вам, требует с вашей стороны труда навести справку: не обманывает ли меня моя память.

И рассмотрим, для примера, вопрос: правильно ли излагаю я историю Лапласовой гипотезы?

Сущность дела сводится к двум вещам:

Правильно ли я считаю, что от обнародования Лапласовой гипотезы до применения спектрального анализа к спектрам небесных тел прошло «лет шестьдесят или больше»; и

Правильно ли характеризую я отношение большинства астрономов к Лапласовой гипотезе в этот промежуток времени.

Все остальное — или неизбежный вывод из этих двух вещей, или мелочь, не имеющая силы изменить сущность моего изложения дела о Лапласовой гипотезе,— сущность, состоящую в том, что это дело постыдное для большинства астрономов того промежутка времени; а так как большинство нынешних авторитетных астрономов уж действовали в годы, предшествовавшие открытию спектрального анализа, то — для большинства и нынешних авторитетных астрономов. Справедливость моего суждения об этих гос-

подах знаменитых астрономах определяется лишь степенью верности моих тех двух положений: «до спектрального анализа эти люди и их предшественники называли Лапласову гипотезу мыслью недоказанною, или ошибочной, или могущею оказаться ошибочной»,— и: «это длилось лет шестьдесят или больше».

Вникнем, насколько могут быть неправильными эти две мои мысли.

В какой книге, или брошюре, или в каком периодическом издании обнародовал Лаплас свои выводы об истории солнечной системы?

— Не знаю. Полагаю: если не напечатал он их раньше, то, во всяком случае, они вошли в состав его «Небесной механики». Так ли?

Говорю: не знаю, лишь полагаю. Когда вышла «Небесная механика»? — Без справок я полагал: в самые первые годы нашего века; но у Брокгауза это есть; справившись, я увидел: я ошибся, это было раньше; это было в 1799 году. И увидел, кроме того: свою популярную переделку «Небесной механики», «Изложение системы вселенной», Лаплас успел издать еще раньше того, в 1796 году.

Итак, я считаю с 1799 или даже с 1796. Не ошибаюсь ли? — Быть может. Не знаю. Лишь полагаю. Однакож? — Однакож: едва ли тут есть ошибка.

Но положим, это ошибка. Положим, Лаплас напечатал свою «Гипотезу» лишь под самый конец своей жизни. Когда он умер? — Я думал: около 1825 года. Справлюсь. У Брокгауза есть это. Лаплас умер в 1827 году. Все-таки интервал до спектрального анализа порядочный-таки. Не «шестьдесят лет или больше», но все-таки «лет тридцать или больше». Все-таки более нежели достаточно, чтобы признать продолжительность упрямства большинства астрономов, далеко превзошедшую всякую меру снисходительного суждения о них.

Да, но: правильно ли я считаю конец интервала? Когда спектральный анализ был применен к изучению состава небесных тел? — Не знаю[2]. Полагаю: около 1860 года и едва ли не позже 1860 года. Так ли? Справиться об этом не могу. То издание словаря Брокгауза, которое у меня,— десятое издание; первый том его вышел в 1851, последний в 1855 году. Верно только то, что в этом издании нет ничего о спектральном анализе. Итак: предположим, что это вошло бы в первый том и что в следующих томах не было бы случая хоть мельком упомянуть об этом; и, предполагая, что статьи для первого тома, вышедшего в 1851 году,

писаны целым годом раньше, то есть в 1850 году, все-таки я имею интервал:

с 1827 года до 1850 года — больше двадцати лет.

Продолжительность упрямства против очевидной истины, все-таки с избытком достаточная для того, чтобы быть фактом, позорящим большинство астрономов,— если только факт то, что большинство астрономов действительно до самого спектрального анализа упрямилось против признания Лапласовой гипотезы за истину.

Так ли это? Действительно ли упрямилось оно?

Таково мое воспоминание. Верно ли оно? — Я не могу проверить его справками.

Итак, не обманывает ли меня память?

Я опять делаю всевозможные уступки. Я делаю их не на словах только и не теперь вот только. Я сделал их в мыслях моих, когда писал ту — первую мою беседу; я сделал их не только по обязанности ученого быть строгим к своему мнению, но и по влечению моего личного характера, который, каковы бы ни были дурны его качества, все-таки не злой. Оправдывать людей мне приятно; порицать их мне тяжело, как и всякому другому, не особенно злому человеку, то есть как огромному — если уметь анализировать истинные чувства людей, то, говорю я, кажется: как огромному большинству людей.

Так: я в этом случае сделал,— и во всяких делах обыкновенно бывал рад; надеюсь, и вперед буду обыкновенно бывать рад делать,— всевозможные уступки для отклонения надобности порицать.

Но вот обстоятельство, по которому часто приходилось мне видеть факты человеческой жизни не в таком свете, в каком представляются они людям, не занимавшимся научным анализом этих дел:

Я привык устранять при анализе фактов мои личные желания.

У многих людей это дар природы. Таких людей называют «проницательными».

У меня, быть может, нет врожденной проницательности. Но я люблю истину. И я очень много занимался научным анализом. Потому,— каков бы ни был я в обыденных моих суждениях о делах моей личной жизни,— и я полагаю, что в этих вещах я вовсе не проницателен,— но в научных делах я привык рассматривать факты не совсем-то плохо.

У массы людей, которая не очень проницательна от природы и не привыкла заниматься научным анализом фактов человеческой жизни, сильна склонность подста-

новлять на место фактов свои личные мысли, склонности, желания, или, как обыкновенно говорится об этом, смотреть на жизнь сквозь очки, окрашенные тем цветом, какой нравится.

Об этом мы будем говорить много.

Теперь заметим одну черту этой манеры.

Одно из наших желаний — то, чтобы другие думали одинаково с нами; и в особенности те люди, мнение которых важно для нас.

И вот очень многие, когда читают что-нибудь написанное каким-нибудь человеком, по их мнению авторитетным, влагают в его слова такой смысл, какой нравится им.

Я от этой слабости свободен.

Между прочим, уж и по одному тому, что редко она имеет случай касаться меня; и, непривычная мне, касается меня очень слабо. Между поэтами, учеными, вообще писателями, очень немногие авторитетны для меня; — стало быть, редко у меня, непривычно мне желание перетолковывать книги по-моему, наперекор правде; а оставаться свободным от непривычной слабости легко.

Например: я расположен подчинять мои мысли по предметам естествознания мыслям Лапласа. И если бы случилось, что я встретил бы у Лапласа какую-нибудь мысль о каком-нибудь интересующем меня, но не вполне понятном для меня предмете естествознания, то у меня могло бы явиться желание истолковать эту его мысль сообразно моему личному мнению о том вопросе. И тут понадобилось бы мне сделать некоторое усилие над собою, чтобы зорко разобрать, не влагаю ли я в слова Лапласа смысл, какой приятно было бы мне видеть в его словах; это могло бы случиться, по желанию, чтобы не поколебалось во мне от противоречия Лапласа нравящееся мне мое мнение.

Но это лишь один он, он один,— Лаплас,— из всех специалистов по естествознанию, живших после Ньютона, имеет такое значение для меня.

Обо всяком другом я совершенно индиферентно думаю: «согласен он со мною? — Это не прибавляет нисколько к моему суждению о том, как велика вероятность, что мнение, кажущееся мне правдоподобным, действительно верно; — противоречит он мне? — Это нимало не ослабляет правдоподобности моего мнения лично для меня».

И что ж мне за охота стараться понять его слова не в том смысле, какой действительно имеют они, а в таком, какой нравился бы мне?

Вы понимаете, мои милые друзья: речь тут у меня идет о «мнениях», а не о «знаниях»; — о теориях, догадках, а не фактах и правильных, необходимых выводах из фактов.

Пусть бы Лаплас отрекся от своей истории солнечной системы; это нимало не могло бы действовать на мои мысли о ее достоверности. Ее достоверность — это у меня «знание», а не «мнение».

В делах «знания» ничей авторитет не должен ровно ничего значить; и ровно ничего не значит для человека, умеющего различать достоверное знание, научную истину, от «мнений»,— теорий или догадок.

Таблица умножения — это нечто совершенно независимое ни от чьих «мнений». Ни над нею, ни наравне с нею нет никакого авторитета. Все авторитеты ничтожны перед нею. И авторитет может относиться лишь к тому, о чем не дает решения она. И при малейшем разногласии с нею авторитет раздробляется в прах.

Такова ж и всякая другая научная истина. Например: ни в чем из того, что опирается на Ньютонову форму, или на Дальтонов закон эквивалентов, или на факт, что существует солнце,— ни в чем из опирающегося на эти истины никакой авторитет не имеет никакого значения.

Мы поговорим об этом побольше, когда дойдет до того очередь.

А теперь я сделал заметку об этом лишь для разъяснения моих отношений к «мнениям» натуралистов. Для меня авторитетны «мнения» Ньютона; и, изживших после Ньютона, «мнения» Лапласа. Только их двух. Если я не «знаю» чего-нибудь, но имею об этом какое-нибудь «мнение», мое «мнение» поколебалось бы, когда бы мне случилось узнать, что «мнение» Ньютона или Лапласа не таково. И я — если бы предмет был достаточно важен и если б у меня нашлась возможность, произвел бы «научную проверку» моего «мнения», и оно перестало бы быть «мнением», стало бы «знанием» или оказалось бы противоречащим какому-нибудь «знанию», и, когда так, я отбросил бы это мое «мнение». Если ж предмет, по-моему, не стоит, лично для меня, хлопот трудного анализа или я, по недостатку специальных знаний, не в силах сделать этого анализа, то я рассудил бы так: «мое мнение кажется мне правдоподобным, вот почему и вот почему; а почему Ньютон (или Лаплас) думает иначе, я не знаю и не умею догадаться; но, вероятно, он понимал дело это лучше, нежели я; отбросить мои соображения не умею; но, вероятно, они ошибочны». И я, не имея возможности вовсе выбросить из

моих мыслей мое мнение, все-таки думал бы (и говорил бы, разумеется), что я, однакож, предпочитаю держаться противоположного этому мнению, мнения Ньютона (или Лапласа).

Вы видите, я беру крайний случай: личные мои соображения остаются нимало не опровергнуты; а соображения Ньютона (или Лапласа) остаются вовсе неизвестны мне. И, однакоже, я предпочитаю не мотивированные слова Ньютона (или Лапласа) моим соображениям.

Тем легче мне дать решительный перевес мнению Ньютона (или Лапласа) над моим, если я замечу малейшую ошибочность в моих соображениях или сумею узнать, на каких соображениях основывается догадка («мнение»,— это догадка) Ньютона (или Лапласа).

Вот это и называется: признавать кого-нибудь авторитетом для себя.

У меня лишь два авторитета по естествознанию: Ньютон и Лаплас. И, сколько мог судить я, нет в моих мыслях по естествознанию ничего не приведенного в согласие с их «мнениями». (Вы помните: «мнения» для меня существуют лишь относительно предметов, еще не разъясненных вполне, еще не подведенных под «научное решение».)

А во всяком случае естествознание не относится к предметам моих личных ученых занятий или интересов. И никакое «мнение» ни по какому из предметов естествознания не имеет ровно никакой важности ни лично для меня, как человека, имеющего личные интересы, ни для какого предмета моих личных ученых занятий.

Стало быть, легко мне смотреть, как это называют, «объективно» даже и на «мнения» Ньютона и Лапласа; легко читать их безо всякого желания заменять действительный смысл их слов какою-нибудь моею личною мыслью.

А слова всех других натуралистов совершенно индиферентны для меня: пусь они говорят, что хотят, мне все равно. (Прошу вас помнить, мои друзья: дело идет о «мнениях», о догадках, а не о научных решениях: что «научная истина», то — кем бы то ни было найдено или излагаемо, кем бы ни было сообщаемо мне, равно для меня: священная для меня истина.)

Милые мои друзья, вот именно эти черты хороши во мне:

Любовь к истине; желание пользоваться моими силами — велики ль они, или нет, все равно,— пользоваться моими силами для самостоятельного рассматривания, что правда, что неправда; понимание того, что отречение от

права пользоваться разумом своим — отречение, недостойное существа, одаренного разумом, недостойное человека[3].

Эти черты хороши во мне. Но они принадлежат бесчисленному множеству людей. Ровно ничего особенного нет в том, что они принадлежат и мне.

Мало ли что хорошо во мне? — Я умею читать и писать. Это прекрасно. Я довольно порядочно знаю грамматику моего родного языка. Это прекрасно.— И много, много такого, бесспорно прекрасного, могу я сказать о себе по чистой справедливости. Только во всем этом нет ровно ничего особенного.

Так. Мне хвалиться нечем.— Но о многих других я принужден думать нечто очень прискорбное мне.

Хоть и не особенное нечто мое прекрасное качество: «я умею читать и писать»,— это качество лишь меньшинства людей.— То же и обо всем остальном хорошем во мне.

Таких, как я, миллионы людей в образованном обществе цивилизованных стран.

Но людей, отрекающихся от права разумного существа пользоваться своим разумом, десятки миллионов в образованном обществе цивилизованных стран.

Огромное большинство образованного общества не хочет давать себе труд самостоятельно судить о научных делах, по сущности своей понятных всякому образованному человеку,— каковы или все, или почти все те научные дела, которые имеют важное научное значение. Огромное большинство образованного общества еще не отвыкло от умственной лености, бывшей некогда натуральным качеством варваров, погубивших цивилизацию Греции и Рима, остающейся теперь лишь нелепою привычкою их потомков, уж давно ставших людьми цивилизованными.

Это лишь дурная привычка, не соответствующая действительному состоянию умственных сил людей, держащихся ее. И всякий раз, когда эти люди захотят, они без малейшего усилия стряхивают с себя эту дурную привычку и оказываются людьми, умеющими судить о научных делах разумно.

Да: они умеют, когда хотят; но это бывало,— по крайней мере в нашем столетии,— лишь кратковременными эпизодами, возникавшими по поводу каких-нибудь особенных обстоятельств.

В истории астрономии таким эпизодом было заявление прав разума массою образованного общества по поводу результатов спектрального анализа. Масса образованного общества вдумалась в Лапласову гипотезу и нашла: Лап-

лас прав. И большинство астрономов немедленно открыло: «да, Лаплас прав».

Это был эпизод совершенно исключительного характера.

А постоянный характер хода дел был до той поры и после того опять стал совершенно иной:

Масса образованного общества полагает, что она не имеет права судить ни о чем в астрономии. Большинство астрономов находит это мнение массы публики очень удобным для своего чванства и вразумляет публику, что это и должно так быть: в астрономии все — такая премудрость, которой невозможно разобрать без знания теории функций. Все, все в астрономии лишь формулы, двухаршинные формулы, испещренные греческими сигмами громадного шрифта и миньятюрными штучками всяческих алфавитов в два, в три, в четыре этажа одни над другими; — формулы, от которых трещат головы и у них самих, записных специалистов по математике и притом необыкновенно умных людей. Они одни тут компетентны; публике остается лишь слушать, дивиться и принимать на веру дивные вещания их, гениальных мудрецов.

И большинство публики покорствует: слушает, дивится и принимает на веру их премудрые вещания.

А результат? — Не говоря уж об интересах разума массы образованного общества,— результат для самих мудрецов?

Кто выходит из-под контроля общества, выходит из-под контроля здравого смысла общества.

У некоторых людей личный здравый смысл так силен, что не нуждается в поддержке со стороны общества. Но такие люди — редкие, совершенно исключительные явления. Масса людей — люди, как все мы; люди неглупые от природы и от природы не безрассудные; но люди, довольно слабые во всех своих хороших качествах; во всем своем хорошем держащиеся недурно лишь при поддержке общественным мнением.

И что неизбежно следует из того?

Вот что следует вообще обо всякой группе людей, вышедшей или стремящейся выйти из-под контроля общественного мнения.

В огромном большинстве людей всякой такой группы постоянно развивается пренебрежение ко всему тому, что не составляет особенной принадлежности этой группы, ко всему, что не составляет отличия ее от остального общества.

И, между прочим, развивается пренебрежение к обыкновенному, общечеловеческому здравому смыслу; предпочтение своего особенного мудрствования, мудрствования особой группы людей, разуму.

До какой степени успевает в какое-нибудь данное время, в какой-нибудь данной группе взять верх над разумом эта особенная тенденция к пренебрежению разумом из-за чванства специальною премудростью, зависит от исторических обстоятельств; но тенденция эта постоянно действует во всякой такой группе и постоянно стремится совершенно подчинить себе всякую такую группу; и постоянно мила большинству людей всякой такой группы.

Длинны мои разъяснения? Да. Я сам знаю. Длинны. Но, мои милые друзья, сделаю еще одну заметку.

Сила человека — разум. Это общепризнанная истина.

К чему ж ведет, когда так, пренебрежение разумом? — К бессилию.

И если какие-нибудь специалисты,— например, специалисты ученого разряда специалистов, пренебрегают разумом из-за чванства своею специальною премудростью, то и сама их специальная премудрость будет поражена бессилием. Они станут, как это называется,

Великими людьми на малые дела.

Они будут, быть может, ловко играть техническими приемами своего ремесла. Но смысла в их мастерских штучках не будет.

Пока дело идет о формалистических мелочах, они будут ловко вести это пустое дело. Но, как представляется им серьезное, важное дело, они оказываются ничего не понимающими, ничего не умеющими, робеют, путаются, болтают и делают чепуху. Это потому, что для ведения серьезных дел нужен разум, или, попросту говоря, здравый смысл.

Длинны были мои разъяснения, мои милые друзья. Но, при всей своей длинноте, не слишком ли кратки они? — Не знаю.— Масса книг,— я говорю о книгах ученых,— читаемая вами, почти сплошь напичкана вздором...

И потому: достаточны ли были для вас, милые мои друзья, те мои длинные разъяснения? — Не знаю.

Или они были излишни для вас? — Не знаю. Но желаю думать так.

Применим теперь те мысли, изложение которых было, я желаю думать, излишним для вас, к разбору вопроса: насколько правдоподобно для меня, что я ошибся, сказавши: «большинство астрономов упрямилось признать Лап-

ласову гипотезу за истину, до самого того времени, как было вынуждено к тому спектральным анализом».

Дело это, лично для меня, индиферентно. Пусть кто угодно говорил как угодно о Лапласовой гипотезе, мне было все равно,— вот теперь уж тридцать лет,— было все равно.

Лапласова гипотеза была для меня с моей ранней молодости «знанием». Сам Лаплас никакими отречениями от этих своих выводов не мог бы нимало поколебать моего «знания», что эти его выводы — бесспорная, с научной точки зрения, научная истина.

Тем меньше мог я иметь охоты влагать какой-нибудь правящийся лично мне смысл в отзывы каких-нибудь живших после Лапласа или живущих ныне астрономов ли в частности, вообще ли натуралистов. Никто из них не авторитет для меня. И «мнения» их не имеют веса для меня и по таким вещам, о которых я сам имею лишь «мнение». А всякие их отзывы о научных истинах, по-моему, вовсе неуместны, кроме одного простого выражения: «это истина».

И вот этого-то единственного справедливого отзыва о Лапласовой гипотезе не попадалось мне, сколько я помню, ни в одной книге, ни в одной статье, писанной кем-нибудь из живших после Лапласа или живущих ныне астрономов ни в одной из всех, читанных мною до «недавнего времени», когда господа большинство астрономов прославили себя открытием, что Лаплас прав.

Все отзывы, помнящиеся мне, были только вариациями на тему: «Лапласова гипотеза — лишь гипотеза». Иной толковал, что это «гипотеза» неосновательная; иной, что это «гипотеза» правдоподобная или даже очень правдоподобная. Но никто, сколько я помню, не говорил: это истина.

Воспоминания других людей моих лет или старших меня летами о тех временах, предшествовавших «недавнему времени» великого открытия: «Лаплас прав», могут быть неодинаковы с моими. Многие могут «помнить», что «издавна» или и «всегда» Лапласова гипотеза была признаваема «большинством» астрономов, или даже «почти всеми», или и вовсе «всеми» астрономами за «истину».

Но я говорю: я полагаю, что подобные «воспоминания» не «воспоминания», а дело недоразумения или результат иллюзии.

«Очень правдоподобно» — это вовсе иное нечто, нежели простое «да».

«Я почти нисколько не сомневаюсь, что Лапласова гипотеза верна»,— это нечто совершенно иное, нежели простое: «Лапласова гипотеза верна».

Друзья мои, кто сказал бы: «очень правдоподобно, что таблица умножения верна», тот был бы трус, или лжец, или невежда. О научных истинах выражаться так — неприличная вещь, пошлая вещь, бессмысленная вещь.

Но кому, по недостатку специальных знаний, воображается, что он имеет лишь «мнение» о каком-нибудь специальном деле, и воображается, что лишь специалисты компетентны решать это дело,— тот, в своей личной беспомощности, жадно хватается за опору, какую могут, по его предположению, давать ему отзывы авторитетных для него специалистов, и влагает в их слова такой смысл, какого жаждет. Он читает: «Это вероятно»,— и он в восторге; и через пять минут ему уж воображается, будто он прочел: «Это просто несомненно»; еще пять минут, и он уж воображает, будто бы в прочтенном им отзыве было сказано: «это несомненно».

Я избавлен моими научными правилами от охоты к таким подкрашиваньям читаемых мною книг в колорит, нравящийся мне.

Лично для меня совершенно все равно, в каком вкусе кому из ученых угодно писать. Те немногие ученые, которые авторитетны для меня, авторитетны для меня лишь потому, что не выделывают фокус-покусов, не чванятся, не презирают разума, дорожат научною истиною.

И переделывать их слова по моему вкусу я не имею склонности, потому что не имею надобности: у них и у меня нет никакого особенного предпочтения к какому бы то ни было «вкусу»; им, как и мне, хороша лишь истина. В чем бы ни состояла истина, все равно: для меня, как и для всякого, любящего истину, она хороша.

Друзья мои, рассудим: с какой стати стала бы моя память обманывать меня по вопросу: как держало себя большинство астрономов относительно Лапласовой гипотезы, в тот — наверное же не меньше чем шестидесятилетний — период между обнародованием этой истины и открытием спектрального анализа.

Ровно никакое специальное решение по чему бы то ни было, специально относящемуся к естествознанию, не имеет ровно никакого влияния ни на мои личные ученые интересы или ученые желания, ни на предметы моих личных ученых занятий. И потому лично для меня, с ученой точки зрения, совершенно все равно, кто прав: Коперник или Птоломей, Кеплер или Кассини-отец, Ньютон или

Кассини-отец и Кассини-сын. Пусть было бы правда,— по Птоломею,— что Солнце и все планеты и все звезды обращаются вокруг земли; или, по Кассини-отцу, с сонмом вилявших перед ним хвостами астрономов,— было бы правда, что орбиты планет не эллипсы, а «линии четвертой степени», Кассиноиды,— как они были названы в честь его, победителя над Кеплером; или пусть было бы правда, что земной шар сплюснут не по оси суточного вращения, как утверждал «невежда и фантазер, вообще дурак», Ньютон, а по линии экватора, так что экваториальные диаметры меньше диаметра между полюсами, согласно гениальному Кассини-отцу и не менее гениальному Кассини-сыну; пусть все это было бы так; и пусть было бы хоть правда даже и то, что млекопитающие имеют каждое по две или по три головы и лишь по одной ноге,— для предметов моих личных занятий все это было бы индиферентно. Для них нужно от естествознания лишь одно: чтобы в естествознании владычествовала истина; а какова именно истина по какому бы то ни было вопросу естествознания, все равно. Прав Птоломей? Правы Кассини? У млекопитающих по три головы у каждого? — Это, лично для меня, индиферентно. Я требую лишь: пусть будет доказано, что это истина.

И противно мне все это почему? — лишь потому, что это ложь. Ясно ли говорю я? — Не специальное содержание лжи по естествознанию противно мне: оно чуждо мне; противно мне в этой лжи лишь то, что она ложь.— И, наоборот: не специальное содержание истины по естествознанию нужно или мило мне: оно не нужно ни для чего по предметам моих личных ученых интересов или занятий; в истине по естествознанию нужно и мило мне, собственно, лишь то, что она — истина.

Ясно ли это? — Не знаю, мои милые друзья, сумел ли я изложить мои отношения к естествознанию так, чтоб они были ясны для вас. Сами по себе, они легки для понимания. Но из нынешних ученых — натуралистов ли, историков ли, ученых ли по другим отделам знаний, лишь очень немногие понимают эти вещи так, как понимаю их я. Мои понятия об этом — понятия Лапласа.

Переписывать и — поправлять! — Лапласа все астрономы большие мастера. Но понимать, как смотрел Лаплас на отношения естествознания к другим отделам наук, это умеют очень немногие.

Почему? — Потому, что для понимания этих вещей ученому надобно быть мыслителем той единственной научной системы общих понятий,— мыслителем или учени-

ком мыслителей той системы понятий, которой держался Лаплас.

Само по себе, дело ясно. Но масса ученых затемняет его своими фантазиями.

Достаточно ли просто для вас изложил его я? Не знаю.

Но ясны ли, не ясны ли для вас эти мои разъяснения,— быть может, недостаточные для вас,— быть может,— и желаю думать: лишние для вас,— я прилагаю их, наконец, к делу:

Прав ли Коперник, или Ньютон, или Лаплас, это нимало не занимательно лично для меня. Лично для меня важно лишь то, что прав Левкипп, или — чтобы говорить о современной Лапласу науке, что прав Гольбах. А Левкипп одинаково прав, если б и неправ был Архимед. Истина, которую разъяснял Левкипп, шире и глубже хоть и великих, хоть и фундаментальных открытий Архимеда. И Гольбах прав, независимо от того, правы ли Коперник и Галилей, и Кеплер, и Ньютон, и Лаплас.

Употребить ли сравнение из математики? Пожалуй, для ясности:

Я подобен человеку, который хочет и имеет надобность держаться лишь первых четырех действий арифметики. Та истина, которой держится он, очень элементарна. Но она самая фундаментальная часть математической истины. И она независима ни от геометрии, ни от алгебры, ни от высшего анализа. Наоборот: все эти отделы математики основаны на той простенькой, вовсе простенькой истине. И все, что несообразно с нею, не математика, и вообще не наука, и еще более вообще: не правда.

Ясно ли?

И, отбрасывая сравнение, взятое лишь для ясности, я говорю:

Все, что несогласно с простенькою, вовсе простенькою истиною, первым из наиболее известных истолкователей которой был Левкипп,— то все не правда.

И я проверяю этою простенькою истиною всякую теорию в естествознании ли, в другом ли каком отделе наук; — «теорию» — то есть догадку; не «истину», а лишь «догадку».

А будет ли согласна с тою простенькою истиною всякая специальная научная истина по естествознанию ли, по другому ли какому отделу наук? — О, об этом у меня нет ни опасений, ни забот, ни «желаний»: я знаю, что это всегда, во всем, везде было и будет так. Таблица умножения была верна во все прошлое вечности, будет верна во все будущее вечности, повсюду: и на Сириусе, и на Аль-

ционе, и повсюду, как на Земле: она — верное формулирование самой «природы вещей», она — «закон бытия»; она — вечно и повсюду непреложна. Научная истина о таблице умножения и о всякой другой истине такова: всякая истина всегда согласна со всякою другою истиною. И хлопотать о примирении нечего.

Однако «невыносимо длинна эта скука»,— быть может, думаете вы, мои друзья. Да. И кончим ее; резюмируем дело, характер которого я разъяснял этою скукою:

Верны ли мои воспоминания о том, каковы были рассуждения по вопросу о Лапласовой гипотезе в книгах астрономов, какие читывал я раньше открытия спектрального анализа?

Это дело индиферентное для меня. Мои воспоминания о нем,— насколько они ясны и широки, характеризуют его верно,— я полагаю.

Но достаточно ли ясны и широки мои воспоминания? — Это иной вопрос. Моя начитанность по астрономии не была велика. Да и в тех книгах, какие читал я, что за охота была мне замечать, в каком тоне говорит автор о Лапласовой гипотезе? И если случалось заметить, что за охота была припоминать?

И, читавший мало, замечавший еще меньше того, я давным-давно позабыл почти все то немногое, что знал когда-то об истории Лапласовой гипотезы в мыслях большинства астрономов.

Мои воспоминания правильны, но не ясны и очень малочисленны.

Итак, быть может, я ошибаюсь, делая по ним вывод о большинстве астрономов?

Едва ли.— Почему так? — Я попрошу вас припомнить то, что говорил я о великом, истинно уважаемом мною, пересоздателе геологии, Лайелле; я говорил: он отвергал Лапласову гипотезу. Стоит вдуматься в этот факт, отчетливо помнящийся мне,— и отношение огромного большинства астрономов двух поколений к Лапласовой гипотезе оказывается достаточно характеризованным.

Лайелль знал из математики гораздо меньше, нежели я. Он обращался к астрономам с просьбами решать для него такие простенькие геометрические задачи, какие легки даже для меня; и писал в примечаниях горячие выражения своей признательности астрономам за эти их труды, совершенные ими для него. Это наивно до смешного. Но еще забавнее, когда он сам пускается в арифметические упражнения: перемножить два целые числа из трех цифр каждое для него уж многотрудная премудрость.—

Это, мимоходом замечу, нимало не вредит ему. Какая ж математика удобоприменима к геологии при нынешнем состоянии геологии! Не пригодна еще, вовсе не пригодна для математического разбора эта груда совершенно неопределенных данных. Даже и самые-то простенькие арифметические выкладки тут такая же напрасная работа, как считание, сколько мошек или комаров родится в данной области в данную весну, в данное лето.— «Много»— вот все, что можем мы, при данном материале, знать об этом, без арифметики ли, с арифметикою, все равно.

Человек, плохо знавший даже арифметику, Лайелль был человек чрезвычайно скромный и необыкновенно добросовестный. Пример тому: его отречение от теории неизменности видов, которую он обширно излагал тридцать лет в каждом новом издании своей «геологии». Это самоотречение семидесятилетнего старика, учителя всех геологов, от любимой своей мысли — факт, делающий великую честь ему. Мы поговорим о том после.

Человек, не знающий почти ничего из математики; человек, обо всем, относящемся к астрономии, советовавшийся с астрономами; человек чрезвычайно скромный,— тридцать лет твердил он в своей «геологии», что Лапласова гипотеза — вздор. Тридцать лет,— сказал я. Так ли? Не знаю. Знаю лишь вот что: я читал Лайелля в 1865 году. Я читал его в издании, новее которого не было тогда, когда оно вами было куплено для меня. Когда оно было куплено? Не знаю. Но полагаю: в том же году. И какого года было это издание? — Не знаю. И чем могу пособить этому моему забвению года того издания? — Лишь справкою у Брокгауза. Делаю справку. Нахожу: первый том первого издания «Оснований геологии» Лайелля вышел в 1830 году. (О Гипотезе Лапласа говорится в первом томе, это мне очевидно: я помню, это в первых главах трактата.) В 1853 году вышло девятое издание. Дальше этого года данные о Лайелле не идут у Брокгауза в издании, которое у меня. Тот том этого издания словаря напечатан в 1853 году.— Итак, возможно предположить: издание «Геологии» 1853 года было последним до 1865 года; и было у меня именно это, девятое, издание Лайелля. И если так, то мне можно ручаться лишь за двадцать три года борьбы Лайелля против Лапласа.

Но правдоподобно ли, что книга, имевшая девять изданий в двадцать три года, оставалась без нового издания целые двенадцать лет после того? Лайелль был жив, был еще крепок силами, усердно работал; все это я твердо знаю; его книга была настольною книгою всех геологов

всего цивилизованного света; как же могло пройти двенадцать лет без нового издания ее?

И я полагаю: издание, которое читал я в 1865 году,— издание, новее которого не было тогда, было не девятое, а уж одиннадцатое или двенадцатое; напечатанное не в 1853 году, а около 1860 года или, вероятнее, даже после этого, около 1863 года.— Это лишь моя догадка. Она, быть может, ошибочна. Но, друзья мои: вы видите, не вовсе уж без резона сказал я: «борьба длилась тридцать лет».— И пусть я ошибся. Изменится ли сущность дела? — Не тридцать лет, но никак не меньше чем двадцать три года Лайелль твердил, что Лапласова гипотеза — вздор.

Ну, и двадцать три года этого ошибочного спора Лайелля против Лапласа дают уж достаточно полный аттестат господам астрономам,— не «большинству» их, нет: почти всем им,— почти всем, так что выходит: меньшинство, говорившее о Лапласе правильно, было вовсе ничтожно по числу, не видно и не слышно было этого здравомыслящего меньшинства.

Иначе не умею понять факта:

Человек, очень скромный, всегда готовый отказаться от всякого своего мнения, ошибочность которого будет замечена кем-нибудь и объяснена ему; человек, не знающий астрономии, не имеющий ни малейшей претензии знать ее; советующийся обо всем астрономическом с астрономами; — он —

твердит — наверное, больше двадцати лет, а судя по всему, лет тридцать или больше, что Лапласова гипотеза — вздор;

а его книга, в которой напечатана и постоянно перепечатывается эта вещица,— одна из важнейших ученых книг для всего цивилизованного света; книга, хорошо известная всем натуралистам, в том числе и всем астрономам всего цивилизованного света;

и никто, стало быть, из господ астрономов не потрудился объяснить автору этой книги, что спорить против Лапласовой гипотезы нельзя, что она — не гипотеза, а достоверная истина;

или никто из астрономов не потрудился сказать ему это, или — хуже того: голос астронома, сказавшего правду, был заглушен шумом массы астрономов: «о, нет! Это лишь гипотеза; спорить против нее очень можно».

Я полагаю, что было именно второе.

Ошибаюсь ли я? Быть может.

Но я полагаю: ошибочность тут очень неправдоподобна.

Само собою: никогда догадка не может вполне совпадать с фактами.

Я пишу почти лишь по памяти о предметах, никогда не бывших интересными лично для меня. Мои знания о них,— обо всем в естествознании,— всегда были скудны; и почти все из того, что знал когда-то о них, я забыл. Чем пополнять мне пробелы этих чрезмерно скудных моих знаний? — Словарем Брокгауза. Разве эта книга для ученых? Много ли в ней могу найти я из того, что нужно мне для этих моих бесед с вами, друзья мои? — И невозможно ж мне не говорить иной раз лишь по соображению.

Память обманчива. Соображения — это лишь догадки.

И каждое мое слово, о котором не знаете вы твердо и ясно, что оно верно, требует проверки с вашей стороны. Но никакие мои ошибки не относятся, не могут относиться к сущности дела. Это как же? — Вот как, например:

Как бы там ни было, хорошо ли, не хорошо держало себя большинство астрономов в те шестьдесят лет от издания «Небесной механики» до спектрального анализа, по делу о Лапласовой гипотезе,—

но, вообще,— вообще,—

отношение массы астрономов к научной истине,— отношение, недостойное людей от природы не глупых и не бесчестных. Добровольно разыгрывать роль глупцов и лжецов дело нехорошее. Они делают это. С какой стати? — Да ни с какой, кроме того, что это им нравится.

Это факт такой крупный, что, к сожалению, ошибка относительно характера его невозможна.— Из десяти книг об астрономии, заключающих в себе хоть что-нибудь кроме формул и цифр, разве в одной нет противонаучной примеси.

Только в этом и сущность дела, которую стараюсь я выставить на первый план в моих беседах с вами, друзья мои.

Успеваю ли? — Не знаю. И полагаю: плохо успеваю; не умею.

Но стараюсь.

И довольно на этот раз утомлял я ваше внимание невыносимо скучными разъяснениями, составляющими все лишь постоянно возобновляющийся и бесконечно растягивающийся приступ к делу. Попробуем побыстрее пройти в нашем припоминании все остальное содержание наших прежних бесед.

Теперь всеми признано, что «Лаплас прав».

Верность его выводов об истории нашей — и всякой другой — солнечной системы зависит лишь от того, верна ли так называемая «Ньютонова формула»,— та формула, под которую Ньютон подвел Кеплеровы законы движения планет и спутников по их орбитам. Несомненная достоверность Ньютоновой формулы признана всеми.

Но эта формула — лишь алгебраическое изображение так называемой «Ньютоновой гипотезы», то есть мысли Ньютона, что движение небесных тел, алгебраически характеризуемое его формулою, производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества.

Алгебраический смысл его формула имеет и без его гипотезы. Но алгебраический смысл — нечто пригодное лишь для технической работы, а не для реального мышления о фактах. Для реального мышления о фактах удовлетворительны лишь мысли, имеющие реальный смысл, а не такие, которые имеют одно только техническое значение символов,— неизвестно, какой смысл представляющих собою и употребляемых лишь для облегчения технической стороны специальных работ.

Для здравого человеческого смысла Ньютонова формула требует себе реального истолкования. Ньютон дал его своею гипотезою.

Верна ли Ньютонова гипотеза, это все равно для достоверности выводов Лапласа, рассматриваемых с точки зрения технической, математической проверки. Но здравый человеческий смысл требует, чтобы решено было: верна ли Ньютонова гипотеза.

Я разбирал дело об этом.

Не хочу напоминать вам подробностей. Вы помните их.

Разбором дела о Ньютоновой гипотезе я приведен был к необходимости поставить вопрос: каково же, однако, состояние научной истины в головах тех господ специалистов по математике, которые не хотят ни говорить, ни понимать, что Ньютонова гипотеза — безусловно достоверное знание.

И я увидел нечто такое, подобного чему нет в «Сказках тысячи и одной ночи»; я увидел, что в математике совершается вот что:

«Пространства» разных сортов, имеющие лишь по два измерения; «разумные существа двух измерений» — и так далее в этом вкусе,— совершенно идиотские глупости, изобретаются некоторыми, одобряются и принимаются в математику другими господами знаменитыми специалистами по математике.

Воздав должную дань хвалы уму этих господ, я хотел разъяснить, как произошли в их головах сотрясения мозга, проявившиеся такими нелепыми подвигами на славу им и на посрамление математики. Для этого надобно было изложить систему Канта, которая сбила их с толку.

Но изложение системы Канта заняло бы много листов. А дело не стоит того. Система Канта — галиматья, давным-давно разбитая в прах. А невежественные переделки этой галиматьи, сочиняемые математиками и, вообще, натуралистами, не имеющими подготовки к пониманию какой бы то ни было философской системы идеалистического направления и тем менее способными понимать гениально напутанную Кантом софистику очень замысловатой идеалистической хитросплетенности,— невежественные продукты философствования этих господ, разумеется, и вовсе не заслуживают траты бумаги и чернил на разбор их.

И я сказал: буду без длинных рассуждений говорить об этих глупостях, что они глупы. Я полагаю, что имею полное право поступать с ними так бесцеремонно. Люди, изобретающие или одобряющие «новые системы геометрии» и компаньоны этих господ математиков и астрономов, господа большинство натуралистов, благоизволят болтать непонятную для них философскую чепуху; болтая этот вздор, они уж не математики или астрономы, они уж не натуралисты, а просто невежды, болтающие философскую чепуху. Я когда-то изучал историю философских систем. Они забрели в область, в которой я специалист, а они ровно ничего не смыслят. О том, что я много занимался философиею, вы, мои милые друзья, знаете. Следовательно, имеете право полагать, что мои отзывы о философствовании тех невежд в философии не вовсе ж лишены основания, хоть и не сопровождаются аргументациею. А когда так, то я имею право уволить себя от труда писать, а вас от скуки читать сухие рассуждения о философской белиберде тех господ. И уволю себя и вас от этого труда, от этой скуки.

В этом моем решении я, по всей вероятности, прав. Но я изложил мотивы его, по моей склонности к шуткам, шутливо. А по моему неуменью шутить шутки мои вышли неуклюжи. Это еще не важность бы. Но вот что уж серьезно огорчает меня: мои шутки вышли обидны для вас, мои милые друзья. [Это] разобрал я, припоминая содержание и тон моих шуток, но разобрал уж после того, как письмо было увезено почтою. Не догадался разобрать вовремя. И жалею, что не догадался вовремя.

Ну, как быть, когда так. Простите мне, мои милые друзья, эту мою вину перед вами.

И моя рекапитуляция содержания прежних наших бесед кончена, и я начинаю продолжение их.

Масса натуралистов говорит: «мы знаем не предметы, каковы они сами по себе, каковы они в действительности, а лишь наши ощущения от предметов, лишь наши отношения к предметам». Это чепуха. Это чепуха, не имеющая в естествознании ровно никаких поводов к своему существованию. Это чепуха, залетевшая в головы простофиль-натуралистов из идеалистических систем философии. По преимуществу из системы Платона и из системы Канта. У Платона она не бессмысленная чепуха; о, нет! — Она очень умный софизм. Цель этого очень ловкого софизма — ниспровержение всего истинного, что приходилось не по вкусу Платону и,— не знаю теперь, уж не помню ясно, но полагаю: — приходилось не по вкусу и превозносимому наставнику Платона Сократу. Сократ был человек, доказавший многими своими поступками благородство своего характера. Но он был враг научной истины. И, по вражде к ней, учил многому нелепому. И, друзья мои, припомните: он был учитель и друг Алкибиада, бессовестного интригана, врага своей родины. И был учитель и друг Крития, перед которым сам Алкибиад — честный сын своей родины. А Платон хотел вести дружбу с Дионисием Сиракузским.— Понятно: людям с такими тенденциями не всякая научная истина могла быть приятна. Это о системе Платона [4].

А Кант так-таки прямо и комментировал сам свою систему провозглашением: все, что нужно для незыблемости фантазий, казавшихся ему хорошими, надобно признавать действительно существующим [5].— То есть: наука — пустяки; эти пустяки надобно сочинять по нашим личным соображениям о том, что нравится мечтать тем людям, какие нравятся нам.

Это научная мысль? Это любовь к истине?

И у Канта та чепуха, без смысла болтаемая простофилями-натуралистами, имеет очень умный смысл; такой же умный, как у Платона; тот же самый, очень умный и совершенно противунаучный смысл: отрицание всякой научной истины, какая не по вкусу Канту или людям, нравящимся Канту.

Платон и Кант отрицают все то в естествознании, чем стесняются их фантазии или фантазии людей, нравящихся им.

А натуралисты разве хотят отрицать естествознание? Разве хотят, что[бы] наука была сборником комплиментов их приятелям?

Нет. С какой же стати болтают они ту чепуху? — По простофильству; они хотят щеголять в качестве философов — вот и все; мотив невинный; лишь глупый. И, не понимая сами, что и о чем болтают, оказываются, чванные невежды, отрицателями — дорогой для них — научной истины. Жалкие педанты, невежественные бедняки-щеголи.

Я сказал: обойдусь и без аргументаций. Но вот, для примера, маленькая аргументация:

Мы знаем предметы. Мы знаем их точно такими, каковы они на самом деле.

Берем для примера то чувство, о котором любят болтать натуралисты, что знания, получаемые через него, недостоверны или не вполне сообразны с действительными качествами предметов, берем чувство зрения.

Мы видим что-нибудь,— положим, дерево. Другой человек смотрит на этот же предмет. Взглянем в глаза ему. В глазах у него то дерево изображается совершенно таким, каким мы видим его. Итак? — Две картины совершенно одинаковые: одну мы видим прямо, другую — в зеркальцах глаз того человека. Эта другая картинка — верная копия первой картинки.

Итак? — глаз ровно ничего не прибавляет и не убавляет. Мы видим это: разницы между двумя картинками нет.

Но «внутреннее чувство», или «клеточки центров органа зрения», или «душа», или «деятельность нашей сознательной жизни», не переделывает ли чего-нибудь в той картинке? — Опять мы знаем: нет. Спросим у того человека, что такое он видит? — Пусть он описывает, что такое он видит, когда та картинка нарисовалась в его глазах. Оказывается: он видит именно эту картинку. О чем же тут толковать?

$$A = B;\ B = C;$$

Стало быть, $A = C$.

Подлинник и копия одинаковы; наше ощущение одинаково с копиею.

Наше знание о нашем ощущении — это одно и то же с нашим знанием о предмете. (Это популярное изложение; строго философское будет говорить о «картинке в одной паре» и в «двух парах зеркалец»; но смысл тот же, и вывод все тот же.)

Мы видим предметы такими, какими они действительно существуют.

«Но ночью мы плохо видим». Ну, да.

«Но в микроскоп мы видим такие подробности, которых не видим простыми глазами». Ну, да.

И надобно прибавить: «А вот слепые, то и вовсе не видят». И это правда.

И прибавим: «Пустые болтуны болтают пустяки». И это будет правда.

Но все эти совершенно справедливые мысли не имеют ни малейшего отношения к делу о том, верно ли мы видим то, что мы видим, когда у нас глаза здоровы.

Видим лишь то, что видим. Например, не видим атомов углерода, а видим лишь большие груды этих атомов. Или: ночью не видим разноцветности предметов.

Чего мы не видим, того мы не видим. Это так. Но вовсе не о том речь в той чепухе. В той чепухе говорится, будто мы видим не то, что мы видим, или будто нам кажется, что мы видим то, чего мы не видим. Это чистейший вздор, когда мы в добром умственном здоровье и когда глаза у нас здоровы. Здоровый умственно человек видит здоровыми глазами те самые предметы, какие видит; — так ли это? — Тем простым анализом доказывается, как $2 \times 2 = 4$, что это так. А простофили натуралисты болтают: «нет».

И пусть будет довольно этого, о глупости бессмысленной философской болтовни господ большинства натуралистов.

Воля ваша, милые друзья мои: обидно за естествознание, что вот я, которому нет ровно никакого дела ни до чего в естествознании, принужден защищать естествознание против огромного большинства людей, посвятивших свою жизнь усердному труду на пользу естествознания. Умны работнички! — Усердны, это так; но — умны.

Помните сказку об умном мужике, усердно рубившем сук, на котором уселся. Этот мужик, уму которого дивились проезжие и прохожие,— несомненно, «общий предок» всех тех философствующих по Платону и Канту натуралистов. Нетрудно найти прототип еще более первобытный: это — попугай, наученный смеющимися над ним шалунами кричать, что он дурак. Увы! — такова судьба всех попугаев, попадающихся в руки дурным шутникам: все, бедняжки, выучиваются кричать с восторгом, что они — дураки.

Невинные птички, сколь злосчастна их участь! — подумает иной.

Нет, нимало. Они счастливы: они так умны. Они совершенно довольны собой.

Но бросим же, бросим, наконец, их попугайскую философию.

И вернемся к Ньютоновой гипотезе. Мы можем теперь по достоинству оценить важность сомнения массы натуралистов, прав ли Ньютон.

Люди, сбитые Кантом с толку до того, что уж не знают, действительно ли существует Солнце, или только «кажется» им, будто бы оно существует,— такие люди, конечно, вполне способны не знать, прав ли Ньютон.

Следовало б изложить историю Ньютоновой гипотезы. Разумеется, не с нынешних астрономов началась эта постыдная для астрономии, для математики, для всего естествознания болтовня: «прав ли Ньютон, неизвестно».

Но так и быть. Обойдемся и без истории этой умной болтовни.

Это была, разумеется, и в старые времена до постыдности глупая болтовня. Но лишь пустая, глупая болтовня, не имевшая никакого реального значения, по крайней мере, с той поры, как измерен был градус меридиана под полярным кругом,— раньше половины прошлого века, она стала вовсе пустою. Педанты болтали: «Ньютонова гипотеза — лишь гипотеза»,— были счастливы, что выказали этою премудрою фразою свое непостижимое простым смертным глубокомыслие,— и этим невинноглупым самовосхищением кончалось у них все дело. Реальных замыслов воспользоваться своею болтовнею для переделок астрономии по своему вкусу, во славу себе, в погибель Ньютону, они не имели, добряки-простофили старого времени.

И если бы оставалось так, то, разумеется, не стал бы я ровно ничего говорить о Ньютоновой гипотезе. Что мне за надобность была бы защищать ее? — Никто не нападал на нее. Никто и не имел в мыслях ни малейшего сомнения о ее достоверности, неопровержимости. Лишь говорили пустой вздор и сами чувствовали, что говорят пустой вздор.

Но «в недавнее время» господа большинство натуралистов благоволило наделать столько великих — истинно изумительных — открытий, что не на шутку подверглось одурению.

Еще бы нет! — оно открыло, что «Лаплас прав»; оно открыло «единство сил»; оно открыло «молекулярное

движение»; оно открыло «механическую теорию природы».

Все это было известно давным-давно всякому, желавшему знать.

И, например, даже в русских журналах, уж больше тридцати лет тому назад, были подробные трактаты о «единстве сил» и обо всем остальном, перечисленном мною.

Но масса публики лишь недавно вздумала вынудить массу господ натуралистов высказаться без ужимок и оговорок, высказаться прямо, ясно, решительно, что эти истины — действительно бесспорные истины. И у массы натуралистов закружились головы.

На том, что вы прочли, я остановился, услышавши: «завтра отправляется почта»; стал писать вашей маменьке, мои друзья.

Отделались вы, я полагаю, от моих вступительных рассуждений; хочу удовольствоваться теми бесконечностями скук, которые уж навел на вас; а сам я рад, что успел окончить мой отзыв о Канте и философии господ Кантовых попугаев — от Джона Гершеля (Да! — милые друзья: и Джон Гершель попугайствовал по Канту или философам худшим, нежели Кант) и Тиндаля (Да! и Тиндаля) до Дюбуа-Ремона (да! и Дюбуа-Ремона) и Либиха (да! Либиха,— великого, истинно великого Либиха),— рад, что успел написать мой отзыв обо всем этом и обо всех них не на множестве листков, а на двух страницах.

Мало этого; чрезмерно мало. Но была бы скука вам, скука читать длинное изложение давно сданной в архив галиматьи Канта и еще худшей белиберды его попугаев.

И пусть будет довольно того чрезмерно сжатого, что написано мною об этом.

Если удержусь от возобновления вступительных рассуждений и от изложения философии господ попугаев, то, разумеется, мы быстро пройдем через все предисловие к истории: разумеется, быстро: очень. Мне важно разбирать то, что действительно принадлежит естествознанию! Не знаю я и не хочу знать естественных наук,— я принимаю все содержание естествознания, как принимаю «теорию функций»,— не зная, не разбирая, принимаю все, все,— но «естествознание», а не глупость, примешиваемую к нему попугаями; от этих попугаев, которыми изволят бывать по временам,— изволят, к позору для естествозна-

ния, на срам себе перед потомством,— изволят бывать — к прискорбию моему за науку и за них — многие великие специалисты по естествознанию, глубоко уважаемые мною за их скромные специальные работы,— от этих попугаев-философов противунаучного направления должен был я защищать естествознание.

И боязнь изнурить скукою вас помешала мне защитить его, как следовало бы.

Ну, пусть будет довольно того, что написал в защиту его.

А само, по своему специальному содержанию, естествознание очень мало мне известно и еще гораздо меньше того занимательно.

Я уважаю его больше, чем кто-нибудь из натуралистов, считающихся ныне лучшими его представителями. Но у каждого из ученых должно ж быть «самоограничение» в выборе предметов для своих ученых трудов. И я всегда считал себя не имеющим права тратить время на занятия естествознанием: я и без того не успел узнать десятой доли фактов и соображений, которые нравственно обязан был изучить по избранным мною предметам моих ученых занятий.

Потому, конечно, мы быстро пройдем все предисловие к истории человечества, если — если я не возобновлю моих вступительных рассуждений и не возвращусь к защищению естествознания от глупостей философствующей компании натуралистов.

Полагаю, воздержусь от обеих этих скук вам, мои милые друзья. Будьте здоровы. Жму ваши руки. Ваш *Н. Ч.*

[ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ В. КАРПЕНТЕРА «ЭНЕРГИЯ В ПРИРОДЕ»]

...произойти такое комическое приключение, что автору вздумалось искать в юриспруденции объяснения понятию «законы природы». Об этом расскажем после, а теперь взглянем, как объясняется это понятие не юриспруденциею, а естествознанием.

Мы видим горы, равнины; на горах и на равнинах видим камни, глину, песок; мы видим леса, поля; в лесах видим деревья, на деревьях — листья; на полях видим траву, цветы; в лесах, на полях видим млекопитающих, птиц; — все эти и подобные им предметы и живые существа — предметы и существа, изучаемые естествознанием. Оно подводит все эти предметы и существа под общее понятие существ материальных и на своем техническом языке выражается о них, что они — разнообразные комбинации материи.

Что́ непонятного говорит естествознание, говоря это? Ровно ничего непонятного тут нет. Естествознание говорит все это очень умно и просто. Есть в естествознании много таких трудных вопросов, что иной раз иному и мудрено понять разъяснения, какие дают им специалисты естествознания, и еще мудренее разобрать, верны ль эти объяснения. Но то вопросы совершенно иного рода. Например: простое или сложное тело железо или медь? Имеют ли какое-нибудь отношение периоды обращения планеты Юпитера вокруг солнца к периодам возрастания и уменьшения пятен на солнце? Эти вопросы более или менее мудрено разъяснить. Многие из подобных вопросов представляются даже вовсе неразъяснимыми при нынешнем состоянии естествознания. Для примера, спросим: сколько планет вращается около того очень далекого от нас солнца, которое мы называем Альционою? Астрономия отвечает: «при настоящем состоянии сведений об Альционе, нельзя сказать ничего о числе обращающихся около нее планет,

потому что мы ровно ничего не знаем даже и о том, есть или нет какие-нибудь планеты у Альционы».

Так много в естествознании вопросов трудных, много и вовсе неразъяснимых при нынешнем состоянии наших знаний. Но то вопросы, нимало не похожие на вопросы вроде того, материальный ли предмет алмаз или кремень, или какой другой камень, дуб или клен, или какое другое дерево и т. д., и т. д.; и в ответах естествознания на вопрос: материальный ли предмет липа, нет ровно ничего непонятного: липа — предмет материальный, говорит естествознание. Неужели этот ответ непонятен?

Далее, спрашивается: в чем же состоит одинаковость между материальными предметами? Естествознание отвечает: одинаковость между ними состоит в том, что они материальны.— Что непонятного в этом ответе естествознания? — Тоже ровно ничего непонятного в нем нет; он очень ясен.

Далее, спрашивается: как же называется то, в чем состоит одинаковость материальных предметов, состоящая в том, что они материальны? — Естествознание отвечает: это одинаковое в материальных предметах называется материею. Что непонятного в этом ответе? — Ровно ничего непонятного нет и в нем; он тоже очень ясен.

Точно таким же образом приходит естествознание к ответам о качествах, силах, законах, о которых предлагаются ему вопросы по поводу изучения его предметов.

Эти предметы имеют одинаковые качества; то одинаковое, из чего состоят предметы,— материя; следовательно, одинаковые качества их — качества того, что одинаково в них, качества материи.

Качества материи производят действия; а качества материи — это сама же материя; следовательно, действия качеств материи это действия материи. Неужели это не ясно?

Некоторые действия материи одинаковы, другие — неодинаковы. Например, дуб растет и липа растет; это два факта одинаковые. Вот еще два факта: дуб падает; липа падает; — опять одинаковые факты. Но — липа растет; липа падает — это факты неодинаковые. Дуб растет; и дуб падает — тоже факты неодинаковые.

Естествознание собирает одинаковые факты в одну группу и говорит, что эти факты одинаковы, а всякий факт — действие; то, что действует в одинаковых фактах, одинаково. Это одинаковое, действующее в одинаковых фактах,— какое название дать ему? «Будем называть его силою», уславливались между собою натуралисты

в прежнее время. И называли. Удачно или неудачно было выбрано слово, дело не изменялось от этого: удачным ли, или неудачным словом обозначались факты, но для всех, знающих факты, обозначаемые этим словом, и знающих, что эти факты принято обозначать этим словом, был ясен смысл этого слова на языке натуралистов: сила — то одинаковое, которое производит одинаковые действия. Так называлось это одинаковое по прежнему соглашению. Теперь натуралисты согласились употреблять вместо слова «сила» слово «энергия». Удачно ли выбрано новое слово? Лучше ль прежнего оно? Удачно ли, неудачно ли, лучше ли, иль не лучше, или хуже прежнего новое слово, это вопрос лишь о словах, не о деле: дело остается все то же, и смысл нового слова ясен: энергия — то одинаковое, которое производит одинаковые действия.

Но — когда растет липа, что такое это растет? — липа; когда растет дуб, что такое это растет? — дуб. Итак: когда предмет действует, что такое действует? — действующий предмет.

Когда мы говорим о качествах предмета, мы говорим о предмете; когда мы говорим о действиях предмета, мы говорим о предмете.

Действующая сила — это сам действующий предмет; и энергия предмета — это сам предмет.

Энергия — это то, что одинаково в одинаковых действиях; пока действия одинаковы, как же не быть одинаковым тому, что одинаково в этих одинаковых действиях?

Каким словом обозначить то, что действия одной и той же силы (или, по новому способу выражения, одной и той же энергии) одинаковы? — Натуралисты условились употреблять для этого термин «закон».

Итак, что такое законы природы? — одинаковость действий одной и той же силы (или одной и той же энергии).

Действия предметов — это действия самих предметов; одинаковости действий — это одинаковости самих предметов; и законы природы — это сами предметы природы, рассматриваемые нами со стороны одинаковости их действий[1].

Так говорит об этом естествознание.

Ясно ль то, что говорит оно? Совершенно ясно. Чему тут быть не ясному, когда это очень простой вывод из очень простого анализа совершенно ясного факта: «материальные предметы материальны». Неясными такие выводы не могут быть; их ясность равна ясности выражений «липа — это липа», «камень — это камень», и т. д., или

общего выражения, охватывающего все частности: «предметы естествознания — это предметы естествознания». В сказуемом повторяется подлежащее; весь анализ состоит исключительно из таких предложений: в каждом сказуемом повторяется подлежащее. Это ясно до такой степени, что скучно читать этот ряд предложений; скучно, потому что весь сплошь он все только повторение и повторение одной очевидной истины: «материальные предметы материальны». Скучно это, по совершенной ясности. Скучно. Да. Но зато совершенно ясно.

Нет, говорят некоторые натуралисты; это не ясно. Почему ж не ясно?

А вот почему: государственные законы, которым обязаны повиноваться люди, не всегда исполняются людьми; следовательно, и природа может не исполнять законов природы; а между тем исполняет; и надобно доискаться, почему она исполняет их. Доищемся этого, тогда будет ясно.

Но доискиваться тут ровно нечего. Законы природы — это сама природа, рассматриваемая со стороны своего действования. Каким же образом природа могла бы действовать не сообразно с своими законами, то есть не сообразно сама с собою? — Вода — соединение кислорода с водородом. Пока вода существует, она вода; то есть, пока она существует, она неизменно остается соединением водорода с кислородом. Иным ничем она быть не может. Что-нибудь иное, это что-нибудь иное, а не вода. Действие воды — это действие воды; и если при каких-нибудь обстоятельствах вода действует известным образом, то в случае повторения этих обстоятельств нельзя ей действовать иначе, как точно так же. Она — все та же самая; обстоятельства — те же самые; каким же образом результат мог бы быть не тот же самый? Факторы в обоих случаях одни и те же; возможно ли же, чтобы результат не был одинаковый в обоих случаях? $2+3=5$. Это ныне. А завтра $2+3$ может и не быть $=5$? И если завтра $2+3=5$, это будет фактом загадочным, удивительным, требующим объяснения?

Да, по мнению тех натуралистов. Прекрасно; пусть объясняют эту странность, что $2+3$ всегда $=5$. Послушаем, как они будут объяснять; это будет занимательное объяснение, в том нельзя сомневаться, невозможно, чтоб не наговорили занимательных вещей люди, принимающиеся доискиваться загадочной причины, которая производит удивительную странность, что $2+3$ всегда $=5$.

И вот они принимаются объяснять: законы природы должны иметь точно такие же качества, какие имеют законы государств. Наш автор англичанин, ученик англичан, потому и государство, которое на уме у него, разумеется, Англия. Хорошо, пусть речь идет об Англии. В Англии законы исполняются. Что ж, это хорошо. Но почему они исполняются? Потому что за исполнением их наблюдают административные чиновники, наблюдают судьи; и чуть кто нарушит закон, административные чиновники ведут его к судьям, судьи разбирают дело, находят виноватого в нарушении закона виноватым и наказывают его; видя, что ему пришлось плохо, другие англичане воздерживаются от нарушения законов. Вот почему в Англии законы исполняются. Точно то же следует думать и о том, что, например, вода исполняет законы природы.

«Так вот в чем дело,— думают с изумлением те, кому новость чтение рассуждений о воде, как о существе человекоподобном. Так вот чего добиваются натуралисты, говорящие, что сообразность действий неодушевленных предметов с законами природы нечто не ясное само по себе, нуждающееся в объяснении чем-то иным. Им угодно воображать, что вода существо человекоподобное». Да неужели же люди ученые, и в особенности, люди, ученость которых состоит специальным образом в сведениях о природе, могут серьезно думать о воде, как о существе человекоподобном? Неужели они в самом деле воображают ее человекоподобным существом?

— Да.

— То есть все те предметы, которые мы называем неодушевленными, по мнению этих натуралистов существа человекоподобные?

Разумеется, да. Припомним то, что мы находим в этой самой книжке, на первых страницах ее: «О так называемых силах природы справедливо выражаются: это «настроения» материи. Отношения человека к окружающим его предметам изменяются с настроением, в каком находится он; подобно тому и отношения предмета природы к непосредственно окружающим его предметам изменяются сообразно настроению этих предметов».

И начинаются вслед за этим рассуждения о бездейственном настроении свинцовой пули, разгоряченном настроении ее, разрушительном ее настроении.

Когда вы читали те страницы книги, быть может, вы не предполагали, какое серьезное значение имеют в мыслях автора эти рассуждения о «настроениях» свинцовой пули; быть может, вы полагали, что слово «настроение» имеет

и для него, как имело тогда для вас, лишь значение метафоры? Но теперь вы видите: для него это не метафора; применяя слово «настроение» о свинцовой пуле, он употребляет его в прямом его смысле, свинцовая пуля воображается автору предметом одушевленным.

— Да верен ли перевод? Действительно ли то английское слово, которое переведено русским словом «настроение», имеет в английском языке такой же говорящий о душевной жизни смысл, как слово «настроение» в русском языке?

Мы перевели словом «настроение» слово mood. Переводя его так, мы передали его значение недостаточно сильно. Мы не хотели отвлекать внимание читателей от мыслей автора к нашим мыслям о мыслях автора. А если бы перевести слово mood так, чтобы в переводе мысль автора была выражена с полною силою ее выражения в английском тексте, нам пришлось бы тогда же сделать замечание, которое делаем теперь. Русское слово «настроение» слишком неопределенно сравнительно с английским словом mood. На русском языке нет слова, которое могло бы передать с полною силою определительность психологического смысла слова mood. Чтобы по-русски было сказано так же сильно, как по-английски, надобно перевести слово mood не просто словом «настроение», а выражением: «душевное настроение». Автор говорит не то что о каком-то, неопределенно каком, настроении — нет, он положительно, определительно, совершенно ясно говорит о душевном настроении — какого существа? — свинцовой пули.

И потрудитесь справиться, если не доверяете вашей памяти: автор приписывает «душевное настроение» не то что только таким предметам, как свинцовая пуля, которая, какова бы ни была ее способность быть одушевленным существом, все-таки имеет хоть то сходство с одушевленными существами, что она особый, определенный предмет; нет, не только свинцовая пуля имеет душу, по мнению автора, душу имеет всякий предмет естествознания, хотя бы он вовсе и не был особым от окружающей его среды предметом, был лишь нераздельною от других частей частью расплывающейся, разносящейся по пространству, бесформенной среды; вода и водяной пар, водород и кислород и азот — все это одушевленные существа. Вы помните, перед рассуждениями о душевных настроениях свинцовой пули, автор сообщал вам, что всякое вещество имеет «душевные настроения»; всякое, то есть и водород, и азот и т. д.

И припомним, как рассуждает автор о покоящемся состоянии энергии; вот как:

«Энергия может существовать в двух состояниях: движения и покоя. Ясно, что всякий движущийся предмет имеет энергию, то есть может совершать работу; но не так ясно на первый взгляд, что может существовать энергия в покое; чтобы понять это, обратимся к аналогическому понятию: «энергический человек». Он может быть человеком очень спокойным и однакоже быть способен сделать много работы, когда примется работать».

На этом и конец объяснению: дальше, речь идет о покоящейся энергии как о состоянии, вполне разъясненном. Факт, охватывающий всяческие вещества: и груду мусора, и воду, и газы, истолкован в человекоподобном смысле, и задача разрешена: он стал ясен.

Камень и озеро, река и облако, водород и кислород — все это существа человекоподобные; факты их существования факты психологические.

Когда человек дойдет до такой ясности понятий, что перестанет помнить разницу между неодушевленными предметами и живыми существами, то, само собою разумеется, он уж теряет способность разобрать, понятно ли ему что-нибудь, или непонятно: он чувствует себя, как в чаду, как в бреду, и у него должны — то кстати, то некстати, как случится — вырываться стоны: «не понимаю» — «невозможно понять».

Автор при всяком удобном и неудобном случае твердит, что он не понимает, что наука не объясняет, что она и не берется объяснять — чего? — того, что ясно само собою для всякого, у кого голова не в чаду, и кто поэтому помнит те элементарные истины естествознания, которые тут же, на той же самой странице, пятью строками выше или пятью строками ниже скорби автора о бессилии науки объяснить головоломный вопрос, написаны его же собственною рукою. По мнению автора, ни ему, никому на свете неведомо, что такое, например, «энергия», и все ученые потеряли всякую надежду понять когда-нибудь, что это такое, так что «наука не берется решать этого». А между тем, сам же он написал, что такое «энергия». Энергия — это способность производить работу, написал сам автор. Так; но этого мало ему. Ему хотелось бы, чтобы термин «энергия» имел еще какой-нибудь иной смысл, кроме того, который дан этому слову в научном языке. Что ж, это желание очень удобоисполнимое; от воли каждого из нас зависит употреблять какое угодно слово в каком угодно

смысле; надобно только сделать оговорку: «этому слову будет дан моим произволом вот какой смысл».

Чего именно хочется автору, мы уж знаем: чтобы все на свете было человекоподобно. Что ж, когда человека обуревает это желание, он может сказать: я хочу понимать под словом энергия человеческий разум. Тогда — все на свете станет понятно ему. Одно тут неудобство: он станет смешным сам для себя.

Вот в этом-то и беда автора. Порывается он в самом начале книги сделать неодушевленные предметы живыми существами,— но не клеится это с содержанием книги; потому он, пока пишет книги, скорбит о бессилии науки объяснить, что такое энергия. Написал он книгу — теперь он снова свободен от надобности сохранять уважение к естествознанию и покорствовать здравому смыслу, вырывается опять на волю от естествознания и, отбросив стеснительные правила, налагаемые на игру мыслей здравым рассудком, устремляется в область юриспруденции, чтобы перевернуть все в природе по своему вкусу. И перевертывает, и счастлив.

«Но как же думать о нем: глупец он или сумасброд?»

О, вовсе нет: он, правда, не особенно даровитый человек, но не глупый; и пока толкует о деле, то не вкривь и вкось, а согласно с тем, чему учит единственный отдел науки, которым занимался он серьезно,— отдел, называемый естествознанием. Но — тесно его амбиции в этом отделе. Хочется ему щегольнуть в качестве человека, умеющего возноситься превыше преград, которыми отдел естествознания отмежеван от других отделов науки, и взбирается он в верхний этаж постройки, где обитают философы. Оттуда, сверху, можно обозреть всю совокупность человеческих знаний, и голос, идущий оттуда, сверху, слышен по всем окрестностям, не то что голос, идущий снизу, из физических кабинетов и химических лабораторий. Пофилософствовать — о, это заманчивое дело! Он и философствует.

Но — если человеку угодно философствовать, то надобно ему приобрести сведения по части философии. А приобрести их автор не потрудился. И вышло у него то, что обыкновенно выходит, когда человек принимается ораторствовать о том, в чем он круглый невежда: вышла бестолковщина.

Книга, перевод которой поставил переводчика в необходимость написать эти заметки, разумеется, не феноменальное ученое творение. А автор книги — не особенно великий авторитет в мире науки. Правду говоря, он, бед-

няжка, не виноват в том, что философия его нелепа; он лишь ученик, повторяющий, как умеет, те философские премудрости, которых наслушался от натуралистов, авторитетных для него.

И довольно об этой жалкой философии, о той путанице, которая называется антропоморфизмом.

Нам остается сказать несколько слов по поводу цитаты, приводимой автором из Бэльфора Стьюарта.

Учение о сохранении энергии послужило основанием для составления формулы, по которой оказывается, что с течением времени всякое движение во вселенной исчезнет, превратившись в теплоту, и вселенная станет навсегда мертвенною массою[3].

Если бы могло настать когда-нибудь такое состояние, оно было бы уж наставшим с бесконечно давнего прошлого. Это аксиома, против которой нет никаких возможных возражений.

Если какой-нибудь ряд фактов, не имеющий начала, имеет конец, то как бы ни был длинен этот ряд, конец его уж должен был настать в бесконечно далеком прошлом. Ряд фактов, не имеющий начала, может просуществовать до какого-нибудь определенного момента времени лишь в том случае, если он не может иметь конца; если б он мог иметь конец, он кончился бы раньше всякого данного момента времени.

Формула, предвещающая конец движению во вселенной, противоречит факту существования движения в наше время. Это формула фальшивая. При составлении ее сделан недосмотр.

Теперь движение превращается в теплоту. Формула предполагает, что это процесс, не имеющий никаких коррективов, что он всегда шел непрерывно и будет непрерывно итти до полного превращения всего движения в теплоту. Из того факта, что конец еще не настал, очевидно, что ход процесса прерывался бесчисленное множество раз действием процесса, имеющего обратное направление, превращающего теплоту в движение, так что существование вселенной — ряд бесчисленных периодов, из которых каждый имеет две половины: в одну половину уменьшается сумма движения, превращающегося в теплоту, и растет сумма теплоты; в другую половину уменьшается сумма теплоты, превращаясь в движение, и сумма движения растет. В целом, это безначальная смена колебаний, не могущая иметь конца.

ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Есть руки у человека, у которого обе руки целы? — Есть.

— Так ли? — Так.

По-вашему, так. И по-моему, так.

И продолжаем.

Сколько рук у того человека, у которого обе руки целы? — Две.

— Здравствуйте, господа.— Это вошел ученый, один из знакомых мне ученых.— О чем разговариваете?

— Да вот о том, что у человека, у которого обе руки целы, две руки.

— По-вашему, это так?

— По-нашему, это так.

— Вы ошибаетесь, господа. Это не так.

— Не так? То как же?

— Вот как: человеку, которому кажется, что обе руки у него целы, кажется, что у него две руки; и если б ему было известно, что у него есть руки, то у него было бы две руки; но есть у него руки или нет, это неизвестно ему и не может быть известно; ни ему, ни кому из людей. Мы знаем только наши представления о предметах, а самих предметов не знаем и не можем знать. Не зная предметов, мы не можем сличать с ними наши представления о них; потому не можем знать, походят ли наши представления о предметах на предметы. Быть может, походят; но, быть может, не походят. Если походят, то они — представления о действительно существующих предметах. Если не походят, то они — представления не о предметах, действительно существующих, а о предметах несуществующих. Которая из этих двух альтернатив соответствует факту, мы не знаем и не можем знать.— Мы имеем представление о руке. Следовательно, существует нечто, возбуждающее в нас представление о руке. Но мы не знаем и не можем знать, сходно ли наше представление о руке с этим нечто, возбуждающим его. Быть может, сходно; в таком случае то,

что́ мы представляем себе, как руку, действительно рука, и у нас действительно есть руки. Но быть может, наше представление о руке не сходно с действительно существующим нечто, к которому мы относим его; в таком случае то, что́ мы представляем себе, как руку, не существует, и у нас нет рук; вместо рук у нас есть какие-то группы чего-то, какие-то, не похожие на руки, группы чего-то неведомого нам, но рук у нас нет; и достоверно об этих группах чего-то лишь то, что их две. То, что их две, достоверно потому, что для каждого из двух наших представлений, каждое из которых — особое представление об особой руке, должно быть особое основание: следовательно, существование двух групп чего-то не подлежит сомнению.— Итак, есть у нас руки или нет, вопрос неразрешимый: мы знаем только, что если у нас есть руки, то у нас действительно две руки; а если у нас нет рук, то число групп чего-то, существующих у нас вместо рук, тоже не какое-нибудь иное число, а число два.— Таково учение об относительности человеческого знания. Оно — основная истина науки. Вы теперь видите, господа, что научная истина так же далека от невежественного предубеждения, которого держались вы, предполагая, будто бы нам может быть известно, что у нас есть руки, как и от фантазерства тех ученых, которые утверждают, что у нас нет и не может быть рук. Эти ученые также называют свое схоластическое пустословие учением об относительности человеческого знания. Но они философы, то есть фантазеры, а не натуралисты. Их учение — вздор, противоречащий естествознанию. Можем ли мы знать, что наши представления о предметах не сходны с предметами, когда мы знаем только наши представления о предметах, а самих предметов не знаем, то есть не можем и сличать наших представлений с предметами? — А то, что мы знаем лишь наши представления о предметах, самих же предметов не знаем и не можем знать,— это основная истина науки, то есть естествознания.

Мой знакомый, как видите, натуралист.

Один ли он натуралист такого образа мыслей, как он? — Вероятно. По крайней мере, было б очень странно, если бы нашелся, кроме него, хоть еще один натуралист, который признавал бы неразрешимым вопрос о том, действительно ли есть руки у человека.

Я не знаю, почему другие — если есть другие — такие натуралисты думают об этом вопросе одинаково с моим знакомцем; но мой знакомец думает так лишь потому, что сам не понимает, о чем он думает и что́ такое он думает. Он

любит пофилософствовать; но серьезно заниматься философией ему нет времени, и он философствует, как дилетант. Он не подозревает, что если философствовать с его точки зрения, то логика велит принять выводы тех философов, о которых отзывается он так сурово. Из его основной мысли, что мы знаем только наши представления о предметах, а предметов не знаем, следует, что наши представления о предметах не могут быть сходны с предметами[1]; она ведет к этому потому, что сама она — лишь вывод из отрицания реальности человеческого организма. Пока не принято за истину отрицание существования человеческого организма, логика не допускает и самой постановки вопроса о том, знаем ли мы предметы; только когда признано за истину, что мы — не люди, что мы ошибаемся, воображая себя людьми, является вопрос о том, можем ли знать предметы; и логический ответ будет: не можем.

Моему знакомому неведомо, что эти мысли находятся в логической связи между собою. Только потому и неведомо ему, что он — простяк, одураченный «фантазерами», о которых отзывается он так свысока.

Довольно посмеялись мы над моим — и вашим? — ученым знакомым, не знающим и не могущим знать, действительно ли есть руки у людей. Оставим его и поговорим о том, как произошло недоразумение, по которому довольно многие натуралисты воображают, будто согласна с естествознанием отрицающая существование предметов естествознания мысль, что человек не имеет знания о предметах, знает только свои представления о предметах.

Люди знают очень мало сравнительно с тем, сколько хотелось бы и полезно было бы им знать; в их скудном знании очень много неточности; к нему примешано много недостоверного и, по всей вероятности, к нему еще остается примешано очень много ошибочных мнений.— Отчего это? — Оттого, что восприимчивость наших чувств имеет свои пределы, да и сила нашего ума не безгранична; то есть оттого, что мы, люди, существа ограниченные.

Эту зависимость человеческих знаний от человеческой природы принято у натуралистов называть относительностью человеческого знания.

Но на языке той философии, которую мы будем называть иллюзионизмом[2], выражение «относительность человеческого знания» имеет совершенно иной смысл. Оно употребляется, как благовидный, не шокирующий профанов термин для замаскирования мысли, что все наши зна-

ния о внешних предметах — не в самом деле знания, а иллюзии.

Перепутывая эти два значения термина, иллюзионизм вовлекает неосторожного профана в привычку спутывать их. И издавна убежденный в истине одного из них, он кончает тем, что воображает, будто бы давно ему думалось — не так ясно, как стало думаться теперь, но уж издавна довольно ясно — думалось, что наши представления о внешних предметах — иллюзия.

Натуралисту, читающему иллюзионистский трактат с доверчивостью к добросовестности изложения, тем легче поддаться этому обольщению, что он по своим специальным занятиям знает: в наших чувственных восприятиях вообще довольно велика примесь соображений; софистическая аргументация ведет доверчивого все к бóльшему и бóльшему преувеличению роли субъективного элемента в чувственных восприятиях, все к бóльшему и бóльшему забвению того, что не все чувственные восприятия подходят под класс имеющих в себе примесь соображений; забывать ему о них тем легче, что в своих специальных занятиях он и не имел повода присматриваться, примешан ли к ним субъективный элемент.

А быть доверчивым к добросовестности изложения натуралисту тем легче, что в его специальной науке все авторы излагают свои мысли бесхитростно. Человеку, привыкшему иметь дело лишь с людьми добросовестными, очень можно, и не будучи простяком, стать жертвою обмана, когда ему придется иметь дело с хитрецом.

Что ж удивительного, если натуралист вовлечется в теорию, принадлежащую иллюзионизму? — Подвергнуться влиянию этой системы философии тем извинительнее для подвергающихся ему, натуралистов ли, или не-натуралистов, что большинство ученых, занимающихся по профессии философиею, последователи иллюзионизма. Масса образованных людей вообще расположена считать наиболее соответствующими научной истине те решения вопросов, какие приняты за истинные большинством специалистов по науке, в состав которой входит исследование этих вопросов. И натуралистам, как всем другим образованным людям, мудрено не поддаваться влиянию господствующих между специалистами по философии философских систем.

Винить ли большинство специалистов по философии за то, что оно держится иллюзионизма? — Разумеется, винить было бы несправедливо. Какой характер имеет философия, господствующая в данное время, это определя-

ется общим характером умственной и нравственной жизни передовых наций[3].

Итак, нельзя винить ни большинство философов нашего времени за то, что они иллюзионисты, ни тех натуралистов, которые подчиняются влиянию иллюзионизма, за то, что они подчиняются ему.

Но хоть и не виноваты философы-иллюзионисты в том, что они иллюзионисты, все-таки надобно сказать, что их философия — философия, противоречащая здравому смыслу; и о натуралистах, поддавшихся ее влиянию, надобно сказать, что мысли, заимствованные ими из нее, уместны только в ней, а в естествознании совершенно неуместны.

Знаем ли мы о себе, что мы люди? — Если знаем, то наше знание о существовании человеческого организма — прямое знание, такое знание, которое мы имеем и без всякой примеси каких бы то ни было соображений; оно — знание существа о самом себе. А если мы имеем знание о нашем организме, то имеем знание и об одежде, которую носим, и о пище, которую едим, и о воде, которую пьем, и о пшенице, из которой готовим себе хлеб, и о посуде, в которой готовим себе его; и о наших домах, и о нивах, на которых возделываем пшеницу, и о лесах, кирпичных заводах, каменоломнях, из которых берем материалы для постройки своих жилищ, и т. д., и т. д. Короче сказать: если мы люди, то мы имеем знание неисчислимого множества предметов, прямое, непосредственное знание их, их самих; оно дается нам нашею реальною жизнью. Не все наше знание таково. У нас есть сведения, добытые нами посредством наших соображений; есть сведения, полученные нами из рассказов других людей или из книг. Когда эти сведения достоверны, они также знание; но это знание не непосредственное, не прямое, а косвенное; не фактическое, а мысленное. О нем можно говорить, что оно — знание не самих предметов, а лишь представлений о предметах. Различие прямого, фактического знания от косвенного, мысленного параллельно различию между реальною нашею жизнью и нашею мысленною жизнью.

Говорить, что мы имеем лишь знание наших представлений о предметах, а прямого знания самих предметов у нас нет, значит отрицать нашу реальную жизнь, отрицать существование нашего организма. Так и делает иллюзионизм. Он доказывает, что у нас нет организма,— нет и не может быть.

Он доказывает это очень простым способом: применением к делу приемов средневековой схоластики. Реальная

жизнь отбрасывается; вместо исследования фактов, анализируются произвольно составленные определения абстрактных понятий; эти определения составлены фальшиво; в результате анализа оказывается, разумеется, что они фальшивы; и опровергнуто все, что́ нужно было опровергнуть. Произвольное истолкование смысла выводов естественных наук доставляет груды цитат, подтверждающих выводы анализа фальшивых определений.

Это — схоластика. Новая форма средневековой схоластики. Тоже фантастическая сказка. Но сказка, тоже связная и переполненная ученостью.

Рассказывается она так:

Существо, о котором нам неизвестно ничего, кроме того, что оно имеет представления, составляющие содержание нашей мысленной жизни, мы назовем нашим «я».

Вы видите: реальная жизнь человека отброшена. Понятие о человеке заменено понятием о существе, относительно которого нам неизвестно, имеет ли оно реальную жизнь.

Вы скажете: но если содержание мысленной жизни этого существа тожественно с содержанием мысленной жизни человека, то об этом существе не может не быть нам известно, что оно имеет и реальную жизнь, потому что это существо — человек.

И да, и нет; оно человек, и оно не человек. Оно человек, потому что его мысленная жизнь тожественна с человеческою мысленною жизнью; но оно не человек, потому что о нем неизвестно, имеет ли оно реальную жизнь. Разумеется, это двусмысленное определение употребляется лишь для того, чтобы не с первого же слова ясно было, к чему будет ведена аргументация. Сказать вдруг, без подготовки: «мы не имеем организма» — было бы нерасчетливо; слишком многие отшатнулись бы. Потому на первый раз надобно ограничиться двусмысленным определением, в котором лишь сквозь туман проглядывает возможность подвергнуть сомнению, действительно ли существует человеческий организм. И вперед все будет так: хитрости, подстановки разных понятий под один термин, всяческие уловки схоластической силлогистики. Но нам довольно теперь пока и одного образца этих диалектических фокусов[4]. Чтоб изложить учение иллюзионизма коротко, расскажем его просто.

Анализируя наши представления о предметах, кажущихся нам существующими вне нашей мысли, мы открываем, что в составе каждого из этих представлений находятся представления о пространстве, о времени, о материи.

Анализируя представление о пространстве, мы находим, что понятие о пространстве противоречит самому себе. То же самое показывает нам анализ представлений о времени и о материи: каждое из них противоречит самому себе. Ничего противоречащего самому себе не может существовать на самом деле. Потому не может существовать ничего подобного нашим представлениям о внешних предметах. То, что́ представляется нам как внешний мир,— галлюцинация нашей мысли; ничего подобного этому призраку не существует вне нашей мысли и не может существовать. Нам кажется, что мы имеем организм; мы ошибаемся, как теперь видим. Наше представление о существовании нашего организма — галлюцинация, ничего подобного которой нет на самом деле и не может быть.

Это, как видите, фантастическая сказка, не больше. Сказка о несообразной с действительностью умственной жизни небывалого существа. Мы хотели рассказать ее как можно покороче, думая, что длинные фантастические сказки не скучны лишь под тем условием, чтобы в них повествовались приключения красавиц и прекрасных юношей, преследуемых злыми волшебницами, покровительствуемых добрыми волшебницами, и тому подобные занимательные вещи. А это — сказка о существе, в котором нет ничего живого, и вся сплетена из абстрактных понятий. Такие сказки скучны, и чем короче пересказывать их, тем лучше. Потому нашли мы достаточным перечислить лишь важнейшие из понятий, анализируемых в ней. Но точно так же, как понятия о пространстве, времени и материи, анализируются в ней и другие абстрактные понятия — всякие, какие хотите, лишь бы очень широкого объема; например: движение, сила, причина. Приводим те, которые анализируются почти во всех иллюзионистских трактатах; ничто не мешает точно так же анализировать и другие, какие захотите, от понятия «перемена» до понятия «количество». Анализ по тому же способу даст тот же результат: «это понятие» — какое бы то ни было, лишь бы широкое понятие — «противоречит самому себе».

Мы попробуем, для курьеза, посмотреть, какой судьбе подвергает этот прием исследования истины таблицы умножения.

Вы помните, арифметика говорит: «дробь, помноженная сама на себя, дает в произведении дробь».

Извлекаем квадратный корень из числа 2. Получаем иррациональное число. Оно — дробь.

Арифметика говорит: квадратный корень числа, перемноженный сам на себя, дает в произведении число, корень которого он.

Итак, квадратный корень числа 2, перемноженный сам на себя, дает в произведении число 2, то есть: дробь, помноженная сама на себя, дает в произведении целое число.

Что из этого следует? — Понятие об умножении — понятие, противоречащее самому себе, то есть оно иллюзия, ничего сообразного с которой нет и быть не может. Никакого отношения между числами, сколько-нибудь сходного с понятием об умножении, нет и быть не может.

Заметьте, о чем идет речь. Уже не о том только, что ни в каком перчаточном магазине нет и не может быть двух пар перчаток. С этим вы уж примирились, убедившись, что нет на свете и не может быть ни перчаточных магазинов, ни перчаток. Но вы сохранили мнение, что когда вы имеете представление о двух парах перчаток, то вы имеете представление о четырех перчатках. Вы видите теперь, что вы ошибались. Ваша мысль, будто бы дважды два — четыре, мысль нелепая.

Хорош анализ? — Вы скажете: превосходен; и было бы жаль, если б надобно было прибавить к этому, что он противоречит математике, потому что в таком случае мы должны были бы признать его вздором.

Помилуйте, напрасное опасение. Неужели ж мы назовем его противоречащим математике? — В основание его мы взяли математические истины, и в выводе получили математическую истину. Мы разъяснили истинное значение умножения: умножение — иллюзия. Это математическая истина.

Таковы все анализы, даваемые схоластикою, называющеюся иллюзионизмом. И таково согласие результатов его анализов с математикою. У него свои особенные математические истины, потому он во всем согласен с математикою. Противоречить ей! — возможно ли? — никогда! Она подтверждает все в нем. Он опирается на нее.

Он получает свои математические истины тем же способом, каким удалось нам доказать, что таблица умножения — вздор, которому не могут соответствовать никакие отношения между числами. Каким способом устроили мы этот вывод, вполне согласный с математикою? — Очень просто: мы исказили понятие о квадратном корне, объявив, что та дробь — квадратный корень числа 2. Арифметика говорит, что мы не можем извлечь квадратного корня из числа 2; не можем получить числа, которое, будучи перемножено само на себя, давало бы в произведении

число 2; мы можем лишь формировать ряд чисел, каждое из которых, начиная со второго, будучи перемножено само на себя, дает в произведении число, более близкое к числу 2, чем давало, будучи перемножено само на себя, предшествовавшее число того ряда чисел. И если которое-нибудь из этого ряда чисел арифметика называет в каком-нибудь данном случае «квадратным корнем числа 2», то она объясняет, что употребляет это выражение лишь для краткости, вместо длинного точного выражения: «это число, будучи перемножено само на себя, дает в произведении дробь, настолько близкую к числу 2, что для данного случая эта степень приближения достаточна с практической точки зрения».— Мы отбросили это объяснение истинного смысла выражения «квадратный корень числа 2», дали выражению смысл, противоположный истинному его смыслу,— и этим способом приобрели «математическую истину», которая и дала нам вывод, что между числами не может быть никакого отношения, сколько-нибудь подобного понятию об умножении,— вывод, тоже составляющий математическую истину.

Отрицать математику! в наше время! Нет, в наше время это невозможно. Это могла делать средневековая схоластика. Но ни анализ понятия об умножении, сделанный нами по правилам анализов, какие дает иллюзионизм, никакой из этих анализов не отрицает математику. Напротив, иллюзионизм опирается на математические истины и его выводы согласны с математикою, подобно нашему анализу понятия об умножении выводу из этого анализа.

Математика — о! — это основная наука всех наук; иллюзионизм не может не опираться на нее. Он любит опираться на нее. Его анализы, подтверждаемые истинами и всех других наук, опираются основным образом на математику. Он пользуется множеством математических истин. И особенно любит две из них. Полезны ему и все другие его математические истины. Но особенно полезны эти две, особенно любимые им. На них основаны важнейшие его анализы,— анализы понятий о пространстве, о времени, о материи.

Первая из них: «Понятие о бесконечном делении — понятие, которого мы не можем мыслить».

Это математическая истина. Каким же образом в математике беспрестанно попадаются соображения, основанные на понятии о бесконечной делимости чисел? И, например, что же такое прогрессии с неизменным числителем и постоянно возрастающим знаменателем? Математика не только говорит о них, как о прогрессиях, которые

можно и надобно понимать, но и умеет суммировать многие разряды их.

Вторая из наиболее любимых иллюзионизмом математических истин: «Понимание бесконечного ряда превышает силы нашего мышления».

Но что же такое, например, те «сходящиеся» геометрические прогрессии, суммированию которых очень легко выучиться, как не бесконечные ряды? Если мы можем даже суммировать их, то, вероятно, можем же понимать? — Но и из тех бесконечных рядов, сумма которых превышает всякую определенную величину, очень многие совершенно понятны, не то что при больших, но и при очень скромных сведениях в математике. Например, бесконечный ряд

$$1, 2, 3, 4...$$

понятен всякому, выучившемуся нумерации. Еще проще понять бесконечный ряд

$$1+1+1+1+1...$$

Чтобы понять его, достаточно узнать значение цифры 1 и знака +; так что легко понимать его и человеку, не успевшему еще ознакомиться ни с какими цифрами, кроме единицы. А сумма того ли, другого ль из этих рядов превышает всякую данную величину.

И добро бы те ряды, понимание которых иллюзионизм провозглашает превышающим силы человеческого мышления, были из числа рядов, понимание которых невозможно без понимания каких-нибудь формул, не понятных людям, не изучавшим высшую математику. Нет, дело идет о рядах, понимаемых всеми грамотными людьми. Та математическая истина, что человеческий ум не в силах понимать бесконечную делимость, провозглашается по поводу вопроса, понятна ли человеку простейшая из сходящихся геометрических прогрессий, понимать и суммировать которые научает всех желающих арифметика; дело тут идет о прогрессии

$$1, {}^1/_2, {}^1/_4, {}^1/_8...$$

Этого ряда чисел не в силах мыслить человеческий ум. А вторая математическая истина, говорящая, что понимание бесконечных рядов превышает силы человеческого мышления, говорит это по поводу простейшего из рядов

чисел, формируемых чрез сложение, о ряде чисел, с непостижимостью которого мы уже ознакомились:

$$1+1+1+1+1...$$

Да, об этих двух рядах чисел,— об этих, именно об этих, математическая истина говорит, что понимание их превосходит силы человеческого мышления.

Какую ж надобность имеет математическая истина говорить это? — А извольте читать:

«Понятие о пространстве требует мыслить о пространстве, как о делимом до бесконечности и как о безграничном. Мыслить бесконечную делимость наш ум не может; это превышает силы человеческого мышления. А мыслить безграничность, значит мыслить бесконечный ряд, образуемый сложением конечных величин; это также превышает силы человеческого мышления. Итак, понятие о пространстве требует, чтобы нами было мыслимо то, чего мы не можем мыслить; всякая наша попытка мыслить понятие о пространстве — попытка мыслить немыслимое. Из этого ясно, что понятие о мышлении — понятие, противоречащее самому себе, то есть иллюзия нашего мышления, и что нет и не может быть ничего сообразного с этою иллюзиею»[2].

Анализ, как видите, очень хороший,— ничем не хуже нашего анализа понятия об умножении. Математическая истина очень любит такие анализы. Сильно нравится ей и этот. А если бы мы могли мыслить ряд дробей, о котором мы говорили, и мыслить ряд слагаемых единиц, то мы нашли бы этот прекрасный анализ понятия о пространстве — фальшивым пустословием, противоречащим арифметике. Потому-то математическая истина и говорит, что наш ум не может ни формировать какой бы то ни было бы геометрической прогрессии, ни мыслить сложения. Вы видите, она говорит это по надобности. А вы думали,— по капризу. Не хорошо вы думали, не хорошо.

Анализ понятия о времени иллюзионизм производит буквальным повторением своего анализа понятия о пространстве, лишь с подстановкою соответствующих терминов; поставьте слово «время» на место слова «пространство» и слово «вечность» вместо слова «безграничность» — и будет готово: понятие о времени — иллюзия; ничего сообразного с этою иллюзиею нет и не может быть.

Понятия о движении, о материи сами собою исчезают из нашего мышления, когда из него исчезли понятия о пространстве и времени, так что для их изгнания из на-

ших мыслей, пожалуй, и не нужно было б особых анализов. Но иллюзионизм щедр: он дает нам и особый анализ понятия о движении, и особый анализ понятия о материи, и анализы понятий о силе, о причине,— все это на основании математической истины, на основании тех же самых заявлений ее, которые разрушили наши понятия о пространстве и времени, или каких-нибудь других таких же заявлений,— всяких, каких угодно ему: математическая истина так любит его анализы, что с удовольствием говорит все надобное для составления их.

Математическая истина поступает похвально, делая так. Но откуда берется у нее сила на это? Отрицать арифметику — такое дело, на которое математическая истина, разумеется, не может иметь достаточных собственных талантов. Очевидно, что она почерпает ресурсы на это из какой-нибудь другой истины, глубже ее проникающей в тайны схоластической премудрости. И легко догадаться, из какой именно истины заимствует она силу говорить все, что́ нужно иллюзионизму. Математика — лишь применение законов мышления к понятиям о количестве, геометрическом теле и т. д. Она — лишь один из видов прикладной логики. Итак, ее суждения находятся под властью логической истины. А логическую истину иллюзионизм беспрепятственно изобретает сам, какую хочет. Схоластика — это по преимуществу диалектика. Иллюзионизм чувствует себя полным хозяином логики: «законы нашего мышления»— эти слова умеет он припутать ко всякой мысли, какую хочет он выдать за логическую истину. И этим он импонирует; в этом его сила,— в умении дробить и соединять абстрактные понятия, плести и плести силлогистические путаницы, в которых теряется человек, непривычный к распутыванию диалектических хитросплетений.

«Человеческое мышление — мышление существа ограниченного; потому оно не может вмещать в себе понятие о бесконечном. Так говорит логика. Из этого ясно, что понятие о бесконечном — понятие, превышающее силы нашего мышления».

Математическая истина не может противоречить логической.

И в эту ловушку, устроенную иллюзионизмом из перепутывания незнакомого математике понятия об онтологическом бесконечном с математическим понятием о бесконечном, попадаются люди, хорошо знающие математику, даже первоклассные специалисты по ней; и, попавшись в ловушку, стараются воображать, будто бы в самом деле есть какая-то истина в уверении иллюзионизма, что мате-

матическая истина одинаково с логическою,— говорящею вовсе не о том,— требует признания неспособности человеческого мышления охватывать математическое понятие о бесконечном.

Иллюзионизм любит математику. Но он любит и естествознание.

Его анализы основных понятий естествознания, превращающие в мираж все предметы естествознания, основываются на истинах логики и математики; но его выводы из его анализов подтверждаются истинами естествознания. Он очень уважает истины естествознания — точно так же, как истины логики и математики. Потому-то все естественные науки и подтверждают его выводы. Физика, химия, зоология, физиология, в признательность за его уважение к их истинам, свидетельствует ему о себе, что они не знают изучаемых ими предметов, знают лишь наши представления о действительности, не могущие быть похожими на действительность,— что они изучают не действительность, а совершенно несообразные с нею галлюцинации нашего мышления. Но что же такое эта система превращения наших знаний о природе в мираж посредством миражей схоластической силлогистики? Неужели же приверженцы иллюзионизма считают его системою серьезных мыслей? — Есть между ними и такие чудаки. Но огромное большинство сами говорят, что их система не имеет никакого серьезного значения. Не этими словами говорят, само собою разумеется, но очень ясными словами, приблизительно такими:

Философская истина — истина собственно философская, а не какая-нибудь другая. С житейской точки зрения, она не истина и с научной точки зрения — тоже не истина.

То есть: им нравится фантазировать. Но они помнят, что они фантазируют.

И расстанемся с ними.

Наши знания — человеческие знания. Познавательные силы человека ограниченны, как и все его силы. В этом смысле слова характер нашего знания обусловливается характером наших познавательных сил. Будь органы наших чувств более восприимчивы и наш разум более силен, мы знали бы больше, нежели знаем теперь; и, разумеется, некоторые из нынешних наших знаний видоизменились бы, если бы наши знания были обширнее нынешних. Расширение знаний вообще сопровождается видоизменением некоторых из прежнего запаса их. История наук говорит,

что очень многие из прежних знаний видоизменились благодаря тому, что теперь мы знаем больше, чем знали прежде.

Так. Но не остановимся же на заимствовании из истории наук неопределенного выражения: «расширение знаний сопровождается видоизменением их». Позаботимся ознакомиться с нею побольше; всмотримся, какие ж черты знаний видоизменяются от расширения знаний. Мы увидим, что существенный характер фактических знаний остается неизменным, каково бы ни было расширение их. Возьмем, для примера, историю расширения знаний о воде.

Термометр дал нам знания о том, при каком именно повышении температуры вода закипает, при каком именно понижении замерзает. Прежде мы не знали этого. В чем состоят видоизменения наших прежних знаний, произведенные этими новыми знаниями? — Прежде мы знали только, что когда вода закипает — она очень согрелась, а когда замерзает, то очень остыла. Неопределенные понятия, выражаемые словами «вода закипает, очень согревшись, а замерзает, очень охладившись», перестали ль быть верны? — Они остались правдою. Новые знания видоизменили ее лишь тем, что дали ей определенность, которой не имела она. Химия дала нам знание совершенно новое: вода — соединение кислорода с водородом. Об этом не было у нас вовсе никакого знания, хотя б и самого неопределенного. Но перестала ль вода быть водою оттого, что мы узнали ее происхождение, о котором прежде не знали совершенно ничего? — Вода и теперь все та же самая вода, какою была до этого открытия. И все те знания о воде, какие были у нас до него, остались верны и после него. Видоизменение их ограничилось тем, что к ним присоединилось определение состава воды.

Есть дикари, не знающие льда или снега. И быть может, еще остаются дикари, не умеющие кипятить воду; и, быть может, не догадывающиеся, что туман — водяной пар. Если так, то существуют люди, знающие лишь одно из трех состояний воды,— капельножидкое,— не имеющие знания, что она бывает и твердым телом, и телом газообразным. Но то, что знают они о воде в единственно известном им состоянии ее,— ошибочное ли знание? — Вода, пока она не лед или снег и не пар, а вода в тесном смысле слова,— та самая вода, которую знают они. И их знания о воде — знания верные; очень скудные, но верные.

И от какого расширения наших знаний о воде ли, или о чем бы то ни было ином, изменились бы те свойства во-

ды, которые мы знаем? Продолжала ль бы вода при обыкновенной температуре оставаться жидкостью, как теперь, каково бы ни было расширение наших знаний? Или расширение наших знаний переменит этот факт? Удельный вес воды при данной температуре изменяется ли от нашего знания о нем ли, о чем ли ином? Пока мы не умели определять, он был тот же самый; теперь мы умеем определять его с довольно большою точностью, но не вполне точно; что́ может дать нам относительно его какое бы то ни было расширение наших знаний? Оно может дать нам лишь более точное определение того же самого, что́ и теперь мы знаем с довольно большою точностью.

Мы — существа, способные ошибаться, и каждому из нас очень часто случается в житейских делах ошибаться. Потому каждый рассудительный человек знает, что в житейских делах надобно всматриваться и вдумываться, когда желаешь не наделать слишком много слишком грубых ошибок. То же самое и в научных делах. Потому в каждой специальной науке выработаны правила осторожности, какие нужны в частности для нее. Кроме того, есть особая наука, логика, говорящая о правилах осторожности, соблюдать которые надобно во всех научных делах. Но как бы хороши ни были правила и как бы усердно ни старались мы соблюдать их, все-таки мы остаемся существами, все способности которых ограниченны, ограниченна и способность избегать ошибок. Потому при всей возможной заботливости добросовестных исследователей истины различать достоверное от недостоверного всегда оставалась и теперь бесспорно остается в человеческих знаниях ускользнувшая от внимания исследователей примесь недостоверного и ошибочного.

Она остается. И чтоб уменьшать ее, ученые должны подвергать проверке все те знания, относительно которых есть хоть малейшая возможность разумного сомнения, вполне ли достоверны они.

Того требует разум. Присмотримся повнимательнее, как можно внимательнее, к этому его требованию.

Предположим, что взрослый человек, любознательный, но не имевший случая выучиться арифметике, находит, наконец, возможность начать учиться ей и понемножку добирается до таблицы умножения. Что́ надобно сказать о нем, если он решит, что не должен принимать ее за истину без проверки? — Его решение разумно. Вы, если подойдете к нему, когда он считает, действительно ли выходят по счету на камешках или горошинах те цифры, которые напечатаны в клеточках таблицы умножения, вы на-

зовете его за это человеком умным.— Но он проверил таблицу. Все цифры в ней верны. Что́ теперь посоветуете вы ему? — Снова приняться за проверку таблицы, проверенной им? — Он осмеял бы вас; и был бы прав.— Разум требует от учащегося арифметике, чтоб он проверил таблицу умножения. Но когда он раз проверил ее, разум говорит ему: «Для тебя она остается не подлежащею ни малейшему сомнению на всю твою жизнь».

И все ли клеточки таблицы умножения велит разум проверять тому, кто учится арифметике? — Если бы вы спросили у взрослого неглупого человека, которого застали за тою проверкою таблицы умножения, с первой ли клеточки начал он проверку, он отвечал бы вам: «В первой клеточке напечатано, что одиножды один — один; тут нечего проверять; и во всем том ряде клеточек, где поставлены цифры, соответствующие умножению на единицу, тоже нечего проверять. В следующих рядах — иное дело: в них проверка необходима. Но ту клеточку, в которой напечатано, что дважды два — четыре, я оставил без проверки: мне уж прошла надобность проверять ее; эту цифру я уж давно выучился знать, без книги; проверка этой цифры сделана мною давно, давно, и повторять проверку ее теперь — было бы глупо мне».— Если бы вы сказали: «Напрасно ты положился на свою память»,— правы были ль бы вы?

Осмотрительность необходима. Но и осмотрительности есть разумный предел. Так говорит разум о житейских делах. Разумность сомнения имеет свои пределы и в науке, как в жизни.

Вы пишете письмо, довольно длинное. Вы кончили его. Вы прочитываете его, всматриваясь, не сделали ль какие-нибудь описки; поправляете, какие заметите. Не перечитать ли еще раз? — Если оно длинно, то небесполезно.— Но, быть может, и после второго просмотра остались, и после третьего останутся какие-нибудь не замеченные вами описки? — очень может быть. И хотя бы перечитали двадцать, тридцать раз, все-таки могут остаться ускользнувшими какие-нибудь описки: письмо длинно. Но и не перечитывать же вам его хоть бы десять, не то что тридцать раз. Что ж вы делаете? — Письмо длинно. И, пожалуй, каждое слово в нем важно. Пусть, каждое. Но существенное значение имеют лишь несколько слов. Все остальные, как бы ни были важны, ничтожны перед важностью этих немногих.— И, просмотрев письмо раз, много два, вы всматриваетесь в эти немногие слова, только в эти немногие. Их немного. В них не очень трудно всмотреться

очень хорошо. И вы — если вы человек с обыкновенною,— лишь бы с обыкновенною, и того довольно — силою человеческой внимательности, спокойно можете сказать себе: «довольно», и вложить письмо в конверт; вы знаете, хорошо знаете, что в существенных словах нет описки; а если и осталось не замечено вами несколько описок в остальном, длинном, то сущность письма не в этом остальном, хоть оно и велико по количеству строк, и если что-нибудь в этом остальном длинном и ошибочно, нет большой беды в том. Так ли велит разум поступать в житейских делах? И так ли велит он думать о разных степенях сомнительности разных частей их состава? И не говорит ли он, что даже в житейских делах, в которых, по многосложности их состава, не можем мы ручаться за совершенную достоверность всех частей, бывают части совершенно достоверные?

А что, если все письмо состоит из нескольких слов? А что, если только из одного, коротенького? Например, если вы написали письмо, которое все состоит лишь в следующих словах: «Здоров ли ты?» — Трудно будет вам написанное вами рассмотреть так хорошо, что ваш разум решит: описки тут нет, отсутствие описок вполне достоверно? трудно сделать такую хорошую проверку такого короткого письма? — А если вы, сам получив письмо, состоящее из одного вопроса, здоровы ли вы, отвечаете на него письмом, состоящим из одного слова «да»,— то очень мудрено будет вам вполне изучить написанное вами до такой степени, что не останется для вас возможности сколько-нибудь разумного сомнения в отсутствии описок?

Это о житейских делах. В них разум велит нам быть осмотрительными, но и ставит нашей осмотрительности границы, переходя которые она из разумной осмотрительности превращается в глупость.

А в делах науки разум разве теряет права, принадлежащие ему в делах жизни?

Не будем говорить о том, допускает ли разум возможность сомнения в математических знаниях, какие мы приобрели. Это — абстрактные знания. Будем говорить лишь о конкретных знаниях, о которых исключительно и думают рассудительные ученые, когда говорят о том, достоверны ли наши знания.

Пока ученый, расположенный восхищаться силою человеческого разума подвергать своему суду все, или, наоборот, расположенный печалиться о слабости наших познавательных способностей, забывает о скромной истине в увлечении эффектными внушениями горячего чувства, ему легко писать безоговорочные тирады о том, что все

наши знания могут быть подвергаемы сомнению. Но это будет игра разгоряченной фантазии, а не что-нибудь рассудительное. Лишь начнем хладнокровно пересматривать содержание какой-нибудь области научного знания,— какой бы то ни было,— мы беспрестанно будем находить в ней такие знания, о которых разум образованного человека решает: «в совершенной достоверности этого сведения тебе нельзя сомневаться, не отрекаясь от имени разумного существа».

Возьмем для примера одну из тех наук, в которых примесь недостоверного наиболее велика,— историю.

«Афиняне победили персов при Марафоне» — достоверно это или сомнительно? — «Греки победили персов при Саламине»; «греки победили персов при Платее»[5] — и т. д., и т. д.,— возможно ли образованному человеку иметь хотя малейшее сомнение в достоверности этих его знаний, формулированных этими простыми, краткими словами? — Подробности наших сведений, например, о Марафонской битве, могут и должны быть предметом проверки, и многие из них, кажущиеся очень достоверными, могут оказаться или сомнительными, или неверными. Но сущность знания о Марафонской битве уже давно проверена каждым образованным человеком, проверена его чтением не то что лишь рассказов собственно об этой битве, а всем его чтением, всеми его разговорами, всеми его знаниями о жизни цивилизованного мира,— не прошлой только, но, главное, нынешней жизни цивилизованного мира,— той жизни, в которой фактически участвует он сам. Если б не было Марафонской битвы и если бы не победили в ней афиняне, весь ход истории Греции был бы иной, весь ход всей следующей истории цивилизованного мира был бы иной, и наша нынешняя жизнь была б иная: результат Марафонской битвы — один из очевидных для образованного человека факторов нашей цивилизации.

А к таким крупным фактам примыкают факты, достоверность которых непоколебимо опирается на их достоверность.

И что ж такое оказывается относительно наших исторических знаний? В составе их бесспорно находится много, очень много сведений недостоверных, очень много ошибочных суждений; но есть в их составе такие знания, достоверность которых для каждого образованного человека так непоколебима, что он не может подвергать их сомнению, не отрекаясь от разума.

Разумеется, то, что́ разум говорит об исторических знаниях, говорит он и о всяких других конкретных знаниях.

Проверены или нет для каждого образованного человека его жизнью в образованном обществе те его знания, что в Англии есть город Лондон, во Франции есть город Париж, в Соединенных Штатах Северной Америки есть город Нью-Йорк, и т. д., и т. д. о сотнях и сотнях городов? В некоторых из них бывал он сам и теперь живет или бывает в каком-нибудь из них. Во множестве других он никогда не бывал; но допускает ли его разум хоть малейшее сомнение в достоверности его знания, что действительно существуют и эти сотни городов, существование которых известно ему лишь по рисункам, книгам, разговорам?

И кончим вопросами: четыре ль ноги у лошади? существуют ли львы и тигры? орлы — птицы это или нет? умеет ли петь соловей? Маленький ребенок может не иметь достоверных ответов на эти вопросы; но в образованном обществе — лишь очень маленький ребенок; десятилетний ребенок, живущий в образованном обществе, не только давным-давно приобрел эти знания, но и давным-давно перерос возможность подвергнуть, не отрекаясь от разума, хоть малейшему сомнению достоверность их.

Разум подвергает проверке все. Но у каждого образованного человека есть множество знаний, которые уж проверены его разумом и оказались по проверке не могущими подлежать для него ни малейшему сомнению, пока он остается человеком здравого рассудка.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕОРИИ БЛАГОТВОРНОСТИ БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНЬ

(Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)

Вредно или полезно вредное? — вопрос, как видите, головоломный. Потому ошибиться в выборе между двумя решениями его очень легко.

Этим и объясняется то, что почтенные авторы трактатов, предисловие к которому пишу я, держатся теории благотворности так называемой борьбы за жизнь.

Своим основанием они имеют мысль, блистательную в логическом отношении: «вредное полезно».

В каком отношении к фактам неизбежно должна находиться теория, основанная на нелепости? Выводы из нелепости нелепы; их отношение к фактам — непримиримое противоречие.

Теория благотворности борьбы за жизнь противоречит всем фактам каждого отдела науки, к которому прилагается, и, в частности, с особенною резкостью противоречит всем фактам тех отделов ботаники и зоологии, для которых была придумана и из которых расползлась по наукам о человеческой жизни.

Она противоречит смыслу всех разумных житейских трудов человека и, в частности, с особенною резкостью противоречит смыслу всех фактов сельского хозяйства, начиная с первых забот дикарей об охранении прирученных ими животных от страданий голода и других бедствий и с первых усилий их разрыхлять заостренными палками почву для посева.

Из каких же материалов сплетена эта теория, противоречащая всем житейским и научным знаниям, и каким процессом мышления приплетена к науке? Сведения об этом добродушно сообщил публике составитель ее[1]; с идиллическою наивностью, редкою в наши времена и тем более умилительною, повторяют их многие из почтенных авторов, к трактатам которых пишу я предисловие. В невинности души своей они не подозревают, какую грустную историю жалких недоразумений пересказывают.

К повторяемым ими указаниям его на клочки мыслей, послуживших материалами для сплетения этой теории, я присоединю изложение оставшегося неизвестным или непонятным и для них, как для него, смысла той доктрины, из состава которой вырван лоскут, послуживший основой теории благотворности борьбы за жизнь.

Это учение имеет публицистический характер. Для правильного понимания произведений публицистики надобно знать исторические обстоятельства, при которых возникли они, и политические мотивы, которыми они порождены.

Сто лет тому назад Англией правила аристократия. Она делилась на две партии: консервативную — торийскую и либеральную — вигистскую. Соответственно переменам исторических обстоятельств, большинство в палате общин приобретала и брала власть в свои руки то одна, то другая. По окончании войны с восставшими американскими колониями и с Францией, партия вигов заявляла, что необходимо произвести большие реформы. Торийская партия не видела возможности говорить, что они не нужны; сам вождь ее, Питт, предлагал проекты важных преобразований; тактика ее ограничивалась тем, чтобы затягивать дело. Власть была в ее руках. Поэтому дело затягивалось. В этом прошло несколько лет. Началась французская революция. Резкие речи и кровавые сцены, которыми с самого начала сопровождалась она, привели большинство вигов к мысли, что опасно колебать существующий порядок на родине; оно перешло на сторону тори. В палате общин осталось мало приверженцев реформ; по своей малочисленности они были бессильны. Проекты реформ были отброшены. Но в массе английской публики множество людей сохранили либеральный образ мыслей. Утрата надежды на реформы раздражала их; негодование придавало все более и более радикальный оттенок их мнениям. Коалиция тори и большинства вигов стала опасаться, что они подымут народ на вооруженную борьбу. Чтобы предотвратить это, парламент в 1793 году остановил действие акта Habeas Corpus[2], то есть уполномочил правительство производить произвольные аресты. В таких делах уполномочение означает повеление. Министерство было бы сменено палатой общин, если бы не стало действовать беспощадно. Преследования развивали в либеральной части английского общества склонность к радикализму.

Таково-то было настроение очень значительной части английской публики в 1793 году.

В этом году человек очень сильного ума, великого литературного таланта и вполне радикального образа мыслей, Уильям Годуин, издал *Исследования о политической справедливости* (Inquiry concerning Political Justice), трактат о том, какие государственные учреждения соответствуют справедливости. Излагая их, Годуин доказывал, что они благотворны и что несообразные с справедливостью английские учреждения производят нищету массы народа, пороки и преступления. Это было ученое исследование; но благодаря таланту автора оно было написано увлекательно.

Впечатление, произведенное им, было громадно.

Публицисты господствующей партии не могли найти никаких дельных возражений против доводов Годуина. Она, по ходу исторических обстоятельств, продолжала господствовать в палате общин и править государством. Но ее дело казалось безвозвратно проигранным перед судом разума и совести.

Под этим гнетом умственного и нравственного поражения она оставалась пять лет.

И вот, наконец, в 1797 году явился на защиту ее владычества боец, сумевший найти аргументацию, которая отнимала всякое значение у всех доводов Годуина. Этот победоносный защитник политической системы, отвергавшей всякие реформы, даже самые легкие и очевидно полезные для государства, был Мальтус; свою сокрушающую все доводы Годуина аргументацию он изложил в *Трактате о принципе размножения населения* (An Essay on the Principle of Population).

Понятно, с каким восторгом господствующая партия приветствовала книгу, доставлявшую полное оправдание ее системе отказа во всяких реформах.

То, что теория Мальтуса составлена с целью опровергнуть доводы Годуина, оправдать систему отказа во всяких реформах, было забыто экономистами следующего поколения и редко припоминается нынешними. В обыкновенных изложениях ее передается только аргументация, служившая Мальтусу подготовкой вывода, а вывод, в котором вся сущность дела, оставляется без упоминания. Этот вывод тот, какой был надобен для отнятия силы у доводов Годуина. Защищать английские учреждения оказалось невозможно; Мальтус рассудил, что защиту отказа в реформах должно отделить от вопроса о том, хороши или дурны существующие английские учреждения, что единственная возможность оправдать политику господствующей партии дается безусловным отрицанием полезности

улучшений государственного устройства, независимо от того, хорошо или дурно оно. Он и приискивал аргументацию, дающую надобный вывод. Она известна всем. Потому было бы излишним подробно повторять ее здесь. Достаточно напомнить главные черты ее, чтобы видно было, как получается из нее безусловное оправдание безусловного отказа в реформах. Сама по себе она верна; отступление Мальтуса от истины состоит лишь в том, что он взял за основание своей силлогистики одну сторону дела, отрицая другие стороны его, и не повел аргументацию дальше того звена ее, к которому удобно было прицепить надобный ему вывод. Изложив этот вывод, мы возвратимся к тому звену аргументации, на котором прерывает ее Мальтус, доведем ее до конца и увидим, какой расчет заставил Мальтуса прервать ее на средине.

Органические существа имеют силу размножаться. Действием этой силы каждый вид органических существ достигает такой многочисленности, что количество пищи, какое могут добывать себе эти существа, становится недостаточным для удовлетворения пропитания всех их. Потому некоторые из них погибают или прямо от голода, или от болезней, производимых скудостью питания, или от других последствий недостатка пищи. Уцелевающие существа продолжают размножаться; потому продолжается и процесс погибели некоторых из них от недостаточности количества пищи для удовлетворения пропитания всех их. Действию этого закона природы подлежат все те живые существа, которые называются неразумными. Подлежат и люди, которые держат себя в деле размножения, как неразумные существа. Так держит себя масса народа в Англии и в некоторых других странах. В каждой из этих стран население давно размножилось до такой степени, что количество пищи, добываемое в ней сельскохозяйственным трудом и получаемое ею из других стран в обмен за другие продукты труда, стало недостаточным для удовлетворительного пропитания всех живущих в ней людей; потому ее население страдает от недостатка пищи и часть его непрерывно погибает от последствий недостатка пропитания, к числу которых принадлежат пороки и преступления; а уцелевающее население продолжает размножаться, потому постоянно вновь возникает излишек населения и продолжается процесс уничтожения этого излишка страданиями нищеты и последствиями их. Итак, причина нищеты и ее последствий, пороков и преступлений, в Англии и подобных ей странах — нерассудительность массы народа в деле размножения. Из этого следует, что в Анг-

лии и подобных ей странах нищета и последствия нищеты не могут быть прекращены ничем, кроме замены нерассудительности массы народа в деле размножения рассудительностью. Никакие перемены в политических учреждениях такой страны не могут иметь влияния на судьбу народа в ее экономическом отношении. Как бы дурны ни были учреждения такой страны, нищета и последствия нищеты в ней происходят не от них, а от нерассудительности ее народа в деле размножения, и замена дурных учреждений хорошими не может улучшить судьбу ее народа, пока он остается нерассудителен в деле размножения. Потому в такой стране политические реформы бесполезны. Требования их должны быть отвергаемы, как пустые иллюзии. Напрасного труда, бесполезной ломки не должны предпринимать рассудительные правители.

Ясно, в чем дело: Мальтус думал о тогдашних английских учреждениях одинаково с Годуином: они дурны. Разница лишь в том, что, по мнению Годуина, дурные учреждения должны быть заменены хорошими, а по мнению Мальтуса — должны быть сохранены.

Потому-то аргументация Мальтуса и обрывается на том звене, к которому удобно прицепить желанный вывод: «реформы бесполезны».

Это звено аргументации — мысль, что в странах, подобных Англии, нищета и ее последствия происходят от нерассудительности массы народа в деле размножения. Действительно, нерассудительность в этом деле очень вредна. Но в нем ли одном нерассудительны люди, нерассудительные в нем? Нет; все люди, нерассудительные в этом, нерассудительны и во многих других важных житейских делах. А вредна всякая нерассудительность; всякая ведет к расстройству здоровья или состояния и в важных случаях к погибели от нищеты или ее последствий: болезней, пороков, преступлений. Потому, при исследовании причин нищеты и ее последствий, следовало бы говорить не исключительно о нерассудительности в деле размножения, а вообще о нерассудительности, обо всех ее видах; но это было неудобно для Мальтуса, потому что некоторые виды нерассудительности, как, например, леность, тщеславие, властолюбие, находятся в очевидной зависимости от учреждений, развиваются при дурных, ослабевают при хороших.

Но пусть будет так, как нужно Мальтусу. Предположим, что нищета и ее последствия производятся исключительно нерассудительностью в деле размножения. То, как держит себя человек в данном деле, много зависит от

того, как привык он держать себя вообще в житейских делах. Человек, привыкший вообще действовать рассудительно, держит себя и в деле размножения рассудительнее, нежели человек, привыкший вообще действовать нерассудительно. Спрашивается: раздражает ли людей испытываемая ими несправедливость? Спрашивается: в каком настроении духа человек действует рассудительнее — в раздраженном или спокойном? Спрашивается: к чему приучает людей несправедливость — к рассудительности или нерассудительности? Итак: несправедливые учреждения, поддерживая или развивая в людях привычку вообще поступать нерассудительно, ведут их к нерассудительности и в деле размножения; потому, даже принимая этот вид нерассудительности за единственную причину нищеты и ее последствий, должно признать, что для устранения нищеты и ее последствий необходима замена несправедливых учреждений справедливыми.

Таким образом, аргументация Мальтуса, будучи доведена до конца, дает в выводе то самое, что́ говорил Годуин.

Мальтус хотел оправдать политическую систему, которой держалась, с одобрения большинства вигов, торийская партия, правившая Англиею. Для этого он выставил один из видов нерассудительности производящим всю ту сумму зла, которая производится суммой действия всех видов нерассудительности, и оборвал свою аргументацию на половине пути к правильному выводу, чтобы подменить его фальшивым. Но в основание этой слишком узкой и не доведенной до конца аргументации он взял верную мысль: когда люди не сдерживают силой разума силу размножения, они размножаются до такой степени, что количество пищи, какое могут добывать они, становится недостаточным для удовлетворительного пропитания всех их.

Исторические обстоятельства, заставлявшие большинство вигов поддерживать тори, длились много лет. Но, наконец, они миновали. Тогда большинство вигов возвратилось к прежним своим принципам, которым оставалось верно меньшинство. Один из вождей торийской партии, Кэннинг, понял, что она не может сохранить в своих руках власть иначе, как взявшись сама за исполнение реформ, которых требовала грозная своим числом оппозиция вигов, и в 1827 году оттолкнул от власти других вождей торийской партии, не принявших его программу. Через несколько месяцев он умер. Прогнанные им от власти вожди торийской партии, Уэллингтон и Роберт Пиль, снова получили ее; но уж и сами видели, что необходимо производить реформы, чтоб удержать ее за собой. С той поры,

с 1828 года, торийская партия постоянно хвалится своею преданностью делу улучшений; без этой похвальбы ей невозможно добиться власти, и, добившись власти, она часто видит себя в необходимости производить реформы. Та политическая система, в защиту которой составил свою теорию Мальтус, безвозвратно рушилась вот уж шестьдесят лет тому теперь.

Еще ранее, чем потеряла свой житейский, политический смысл, утратила теория Мальтуса свое научное значение. Мыслитель великой силы ума, Рикардо, издал в 1812 году свои *Основания политической экономии*,— труд, пересоздавший эту науку[3]. Своею теорией ренты и своею формулой распределения продукта он раскрыл тот закон экономической жизни, на который смутно, слабо и с примесью фальши указывала теория Мальтуса. С того времени экономистам следовало бы сдать теорию Мальтуса в исторический архив. Но она раньше того наделала такого шума, что у большинства экономистов и до сих пор звенит в ушах от него. Потому она до сих пор излагается в трактатах о политической экономии и благодаря этому известна всем.

Теперь мы можем перейти к рассказу о том, по какому случаю теория Мальтуса, составленная исключительно для решения одного из специальных вопросов политической экономии, была перенесена в ботанику и зоологию, и какой судьбе подверглась она при этом перенесении.

До половины нашего столетия силы исследователей, занимавшихся разработкой ботаники и зоологии, были поглощены трудами по описанию форм растений и животных, внутреннего устройства их, деятельности их органов, развития их из зародыша до полного роста. Это были задачи громадных размеров. Работа над ними не оставляла огромному большинству ботаников и зоологов досуга много заниматься вопросом о происхождении нынешних видов растений и животных. Исследуя настоящие формы организмов, они видели, что эти формы существовали с самого начала наших исторических сведений; по недосугу заниматься специальными исследованиями вопроса об этом постоянстве форм, они вообще приняли решение, представляющееся очевидным для поверхностного взгляда: нынешние виды растений и животных неизменны. В геологических наслоениях, образовавшихся в отдаленные времена, были находимы остатки растений и животных, не сходных с нынешними; естественным выводом из мнения о неизменности нынешних видов была мысль, что прежние, не сходные с ними виды погибли, не оставив потом-

ства в нынешних флоре и фауне. Это казалось тем более достоверным, что подтверждалось геологическою теорией, по которой поднятия материков из моря и погружения их в море считались совершавшимися с быстротой, производившею катастрофы колоссального размера; при таких переворотах неизбежно должны были погибать застигаемые ими флоры и фауны.

Это учение, дававшее неизменности видов геологическую основу, создал величайший из натуралистов первой трети нашего столетия, Кювье, основатель сравнительной анатомии, преобразователь зоологической классификации, творец палеонтологии. Он изложил его с гениальною силой мысли в *Трактате о переворотах поверхности земного шара и о переменах, произведенных ими в царстве животных*, составляющем вступление к его *Исследованиям об ископаемых костях* (Recherches sur les ossements fossiles),— труду, которым создана была палеонтология, изданному в 1812 году.

Учение Кювье, доказывающее неизменность видов теорией катастроф, уничтожавших флоры и фауны, не одинаковые с нынешними, очень быстро приобрело владычество в естествознании, отчасти благодаря гениальности своего изложения и громадному авторитету, какой заслужил себе Кювье техническими трудами по зоологии, сравнительной анатомии и палеонтологии, отчасти потому, что общий характер этой системы понятий соответствовал духу времени, стремившемуся восстановить предания и отвергавшему все не согласное с ними. Кювье был в естествознании представителем того направления мыслей, которому желал дать господство в умственной жизни Наполеон и которое получило владычество над нею при Реставрации[4]

Под влиянием учения Кювье были не только отвергнуты почти всеми натуралистами, но и забыты большинством их всякие мысли о происхождении нынешних видов растений и животных от прежних. Эти мысли существовали издавна. Пока физиология оставалась очень мало разработана, они были неопределенны и фантастичны. С развитием физиологических знаний они освобождались от этих недостатков и, наконец, получили научную обработку в гениальном труде Ламарка *Зоологическая философия* (Philosophie zoologique), изданном в 1809 году, за три года до трактата Кювье *Исследования об ископаемых костях*. Представитель идей, отвергаемых духом времени, Ламарк был в 1809 году 65-тилетний старик, и через два или три года ослеп. Кювье мог пренебречь им, когда гото-

вил к изданию свой *Трактат о переворотах поверхности земного шара,* и пренебрег, прошел совершенным молчанием теорию Ламарка, как вздор, не заслуживающий хотя бы самого краткого возражения. С точки зрения выгоды для своего учения, создатель теории катастроф, уничтожавших прежние флоры и фауны, поступил расчетливо; но с точки зрения научного интереса — несправедливо. Допустим, что теория Ламарка была вполне ошибочна. Но он выводил ее из бесспорных истин, которые уж были тогда непоколебимо установлены естествознанием: из понятия об органической жизни, как о химическом процессе; из закона зависимости организма от обстановки его жизни; из закона, что объем и состав органа видоизменяются под влиянием того, действует орган или бездействует. Пусть Ламарк не умел правильно понять эти законы органической жизни; пусть вывод, сделанный им из них, совершенно ложен. Надобно было показать, в чем же состоят его ошибки,— того требовал интерес науки. Но Кювье рассудил, что удобнее будет пройти теорию Ламарка молчанием, подавить ее презрением, чтобы она скорее была забыта. Расчет был верен и достиг полного успеха. Несообразная с духом времени, не понравившаяся огромному большинству натуралистов, теория ослепшего старика была подавлена презрением Кювье и скоро была забыта. Новое поколение натуралистов, воспитавшееся под владычеством идей Кювье, если знало о ней, знало только то, что она — пустое фантазерство, с которым не сто́ит знакомиться; большинство их, как должно думать по дальнейшему ходу дела, даже вовсе не знало и о ее существовании.

В геологии владычество понятий Кювье длилось лет двадцать или двадцать пять. Несообразность теории катастроф с геологическими фактами была раскрыта Лейеллем в трактате *Основания геологии* (Principles of Geology), первый том которого вышел в 1830, а последний — в 1833 году. Пересоздавая геологию, Лейелль доказал, что с того времени, как начали отлагаться древнейшие из наслоений, содержащих в себе отпечатки или остатки растений или животных, поверхность суши не подвергалась никаким катастрофам, которые превосходили бы размерами своего действия наводнения, землетрясения, извержения огнедышащих гор; что прежние катастрофы точно так же не могли уничтожать органическую жизнь на материках или больших островах, как не уничтожают ее нынешние, не уступающие им силой и размером; что никакой быстрой погибели прежних флор и фаун не было, что очень многие из прежних видов продолжали существовать,

когда некоторые другие заменялись новыми, что смены флор и фаун были, подобно великим геологическим изменениям, процессы медленные, тихие.

Если говорить с научною строгостью, то должно сказать, что этими выводами была уже опровергнута теория неизменности видов, что специалисты по ботанике и зоологии, принимавшие геологическую историю земли, раскрытую Лейеллем, теряли научное право сомневаться в происхождении новых видов от прежних. Но и в научных, как в житейских делах, последовательность образа мыслей приобретается большинством людей не скоро. Как большинство общества, усвоив себе правильные понятия по какому-нибудь житейскому вопросу, довольно долго сохраняет прежние, несообразные с ними мысли по другим житейским делам, вопросам, так и большинство специалистов, приняв правильное решение какого-нибудь научного вопроса, сохраняет на более или менее долгое время несообразные с ним привычные мнения по другим научным вопросам. В конце тридцатых годов большинство специалистов, занимавшихся науками об органических существах, уже усвоило себе понятия Лейелля о медленном и в общих своих чертах совершенно спокойном ходе геологических изменений со времени существования древнейших известных нам организмов; но лет двадцать после того или продолжало держаться идей Кювье о неизменности видов, или не высказывало своего несогласия с ними по опасению порицания за противоречие им, как за неприличное ученым людям фантазерство.

А между тем, в ботаническом и зоологическом знании накоплялись факты, свидетельствовавшие о генеалогическом родстве между видами. В таких фактах не было недостатка и гораздо раньше, еще во времена Линнея, лет за сто до половины нашего века. Но в последние годы прошлого и в первые десятилетия нынешнего века большинство специалистов отвернулось от них или давало им фальшивое объяснение, подчиняясь духу времени, стремившемуся восстановить предания. Во второй четверти нашего столетия это направление желаний большинства образованного общества стало ослабевать и мало-помалу сменилось противоположным, влияние которого на специалистов по ботанике и зоологии подготовляло соответствующую перемену в их понятиях об отношениях между видами.

И наконец, в 1859 году, через 26 лет после издания последнего тома *Оснований геологии* Лейелля, разрушивших теорию катастроф, которым приписывалось уничтожение

прежних флор и фаун, была напечатана книга Дарвина *О происхождении видов,* разрушившая соединенную с учением о катастрофах теорию неизменности видов, которой следовало бы рушиться лет за двадцать перед тем, если бы в мыслях специалистов держалось только то, что́ имеет какую-нибудь опору, кроме привычки.

То, что книга, которая произвела этот, собственно говоря, запоздавший переворот, была напечатана в 1859 году, а не позднее, было результатом особенного обстоятельства, принудившего ее автора поспешить обнародованием своей теории, которое без того замедлилось бы еще на некоторое время,— по мнению автора, «на два или на три года». Это целая история, заслуживающая большого внимания своею психологическою характерностью и важностью материалов, какие дает для разъяснения особенностей книги, получившей громадное влияние на ход науки. Расскажем ее на основании сведений, сообщаемых о ней самим Дарвином, пополняя их необходимыми биографическими данными.

В 1831 году Дарвин, в то время еще очень молодой человек, только что начинавший свою ученую деятельность, неизвестный никому, кроме своих личных знакомых, был назначен натуралистом ученой экспедиции, отправляемой английским правительством в кругосветное плавание на корабле *Beagle*. Экспедиция отплыла из Англии 27 декабря 1831 г. Дарвину было тогда несколько меньше 23 лет (он родился 12 февраля 1809 г.). Экспедиция делала остановки на восточном, потом на западном берегу Южной Америки, поплыла сделать остановку в пустынном, еще почти нисколько не исследованном натуралистами Галапагосском архипелаге, лежащем в 900 километрах от ближайшей части западного берега Америки. Изучая животных архипелага, Дарвин увидел, что они сходны, но не одинаковы с животными ближайшей части Америки. Он был, по его выражению, «очень удивлен» этим. Раздумье о неожиданном факте возбудило в нем мысль, что галапагосские животные — видоизменившиеся потомки прежних, другие потомки которых — нынешние сходны с галапагосскими животные ближайшей части Америки. Потом он видел такое же отношение других островных фаун и флор к фаунам и флорам ближайших частей материков. *Beagle* возвратился в Англию в начале октября 1836 года. Экспедиция длилась более четырех с половиной лет. Участие в ней молодого натуралиста, отправившегося в нее безвестным, прославило его. Сборник наблюдений, привезенный им, сразу поставил его в ряду первых натуралистов

того времени. Он сделал множество наблюдений чрезвычайно добросовестных: в числе их были сотни важных. В реестре авторов, цитируемых Лейеллем в новых изданиях *Оснований геологии*, выходивших между 1845 и 1858 годами, нет ни одного натуралиста, на которого было бы столько ссылок, сколько на Дарвина. Лет шесть по возвращении из экспедиции он занимался обработкой собранных в ней материалов, обогащая фактическую часть естествознания новыми сведениями. Он издал в эти годы *Дневник исследований по естественной истории и геологии* [5], сделанных им во время экспедиции, и несколько монографий, важнейшая из которых — *Зоология плавания корабля английского королевского флота Beagle* [6], последний том ее напечатан в 1843 году. После того он издал несколько других монографий; важнейшая из них — *Монография усоногих*, первый том которой вышел в 1851, а второй — в 1853 году; прибавлением к ней служит напечатанное вскоре после второго тома ее исследование *Об ископаемых усоногих*. Но задолго до издания исследований об этом отделе животных, главным предметом ученой работы Дарвина стал трактат, содержание которого было не монографическое, а широкое, охватывавшее все отделы ботаники, зоологии, палеонтологии и многие отделы других частей естествознания. Мысль о генеалогическом родстве между видами, возбужденная в Дарвине изучением животных Галапагосского архипелага и подтвержденная изучением других островных фаун и флор во время экспедиции, представляла такую громадную важность, что Дарвин не мог отказаться от работы над разъяснением ее даже и в первые годы по возвращении из экспедиции, когда необходимо было трудиться над обработкой фактических сведений, собранных во время путешествия. Он говорит, что с 1837 года занимался «терпеливым собиранием и обдумыванием всяких фактов, о которых можно было полагать, что они имеют какое-нибудь отношение» к вопросу о родстве нынешних видов с прежними. После «пятилетних занятий этим», то есть в 1842 году, когда он кончил безотлагательные работы по описанию фактических результатов наблюдений, сделанных во время экспедиции, и приготовил к печати последний том *Зоологии плавания корабля Beagle*, он «стал больше прежнего» заниматься исследованием о происхождении видов; когда вопрос этот показался ему разъяснившимся, он написал краткий очерк своих понятий о нем, а в 1844 году «придал дальнейшее развитие прежнему очерку и прибавил к нему выводы, оказавшиеся вероятными» [7]. «С того времени

я непрерывно занимался исследованием этого предмета»,— говорит он и продолжает: «Теперь — в ноябре 1859 года,— когда он писал предисловие к первому изданию книги *О происхождении видов*,— мой трактат почти кончен; но так как понадобится еще два или три года, чтобы пополнить его, а мое здоровье не прочно, то меня убедили издать это извлечение из него»— книгу *О происхождении видов;* он постоянно называет ее только извлечением из трактата, который надеется издать года через два или три. Я увидел тем более надобности в этом,— в составлении и обнародовании извлечения,— что г. Уоллес, изучая естественную историю Малайского архипелага, пришел к выводам о происхождении видов, почти совершенно одинаковым с моими. В 1858 году он прислал мне статью об этом предмете с просьбой передать ее сэру Чарльзу Лейеллю, который передал ее Линнеевскому обществу. Сэр Чарльз Лейелль и доктор Гукер,— Джозеф Гукер, сын Уильяма, и, подобно отцу, знаменитый ботаник,— знавшие мой труд (доктор Гукер даже читал очерк, написанный мною в 1844 году), нашли надобным, в интересах моего имени, чтобы одновременно с статьею г. Уоллеса было обнародовано извлечение из моего труда».

Уоллес был много моложе Дарвина, но размер его ученой силы был уже вполне выказан: он имел в 1858 году 36 лет. Он приобрел почтенную известность прекрасными исследованиями, но, при всей своей добросовестности, они свидетельствовали, что ему никогда не стать первоклассным ученым. Очень вероятно, что соображения об отношении сил и ученых заслуг Дарвина и Уоллеса много содействовали настойчивости, с какой Лейелль и Гукер требовали, чтобы Дарвин не отнял у себя дальнейшим промедлением славу преобразователя наук об органических существах; вероятно, им казалось несправедливостью допустить, чтоб она досталась второстепенному натуралисту, когда на нее имеет право великий натуралист. А во всяком случае несправедливостью было бы это по первенству Дарвина в составлении той теории, к которой пришел Уоллес, изучая животных Малайского архипелага. Он отправился туда в 1854 году; за десять лет перед тем Гукер уже читал изложение той же теории, написанное Дарвином.

Итак, по убеждениям Лейелля и Гукера, Дарвин составил извлечение из своего труда, и в собрании Линнеевского общества, 1 июля 1858 года, была вместе с статьею Уоллеса *О тенденциях разновидностей неопределенно далеко отклоняться от первоначального типа* (On the ten-

dencies of Varieties to depart indefinitely from the original type) прочтена статья Дарвина *О тенденции видов образовать разновидности и об упрочении видов и разновидностей посредством естественного отбора* (On the tendency of species to form varieties and on the perpetuation of species and varieties by means of Natural Selection); и обе статьи были вместе напечатаны в *Журнале Линнеевского Общества.* Статья Дарвина далеко превосходила статью Уоллеса силой развития основных мыслей и ученостью. За Уоллесом осталась та маленькая доля славы, которая по справедливости должна была принадлежать ему; превознося Дарвина, преобразователя наук об органических существах, упоминали с уважением об Уоллесе как человеке, самостоятельно пришедшем к теории, одинаковой с дарвинской, и применившем ее к разъяснению довольно многих фактов, о которых мало говорилось или вовсе не упоминалось в статье Дарвина. Свою статью, отданную для прочтения в Линнеевском обществе и напечатанную в его *Журнале,* Дарвин стал переработывать и расширять для издания отдельною книгой; объем ее очень увеличился при этой переработке, длившейся более года. Таким образом составилась знаменитая книга *О происхождении видов посредством естественного отбора* (On the Origin of species by means of Natural Selection), вышедшая в ноябре 1859 года.

Во введении к ней, рассказывая, по какому случаю сделал извлечение из своего трактата для прочтения в Линнеевском обществе, Дарвин говорит, как мы видели, что трактат, извлечение из которого стал делать он, был тогда уже почти кончен, оставалось только пополнить его, и что на это нужно было года два или три. Счет времени относится, очевидно, никак не позже, чем к концу июня 1858 года, потому что речь идет о мотиве, по которому автор решился сделать извлечение из своего труда, а 1 июля оно уже было прочтено в Линнеевском обществе. Но допустим, что это лишь кажется так по вкравшейся у Дарвина неточности конструкции и что, выражая надежду кончить работу через два — три года, он относил начало этого срока не к тому времени, на которое указывает конструкция слов, а к тому, в которое писал, не к весне 1858 года, когда им было принято решение составить извлечение, а к ноябрю 1859 года, когда кончалось печатание извлечения в новой, расширенной форме. В таком случае, конец трехлетнего срока не весна 1861, как выходит по формальному смыслу слов, а конец 1862 года, как, вероятно, хотел сказать Дарвин. Примем также в соображение,

что очень часто авторы рассчитывают кончить работу в срок, оказывающийся недостаточным для этого. Три года работы, чтобы приготовить к напечатанию трактат, который уже «почти кончен», который надобно только «пополнить»,— кажется, срок достаточный. Но допустим, что не представляло бы никакой странности, если бы, вместо «двух или трех» лет, понадобилось пять или шесть, и что промедление не заключало в себе никаких особенных поводов к соображениям о ходе работы Дарвина, если б она была кончена, например, лет в шесть и трактат явился бы в свет в 1865 году.

Но что мы видим? В 1868 году,— не через шесть, а через девять лет,— Дарвин печатает книгу *Об изменении форм животных и растений под хозяйством человека;* это разросшаяся в целую книгу первая из четырнадцати глав «извлечения», как продолжает Дарвин называть книгу *О происхождении видов* и в новых ее изданиях. Вместо трех лет работы на окончание всего труда, бывшего уже «почти конченным», ушло девять лет работы на отделку одной из четырнадцати глав, которая зато и разрослась в особую книгу, превышающую своим объемом все «извлечение», то есть все изложение теории в целом ее составе. Проходит еще три года, и Дарвин в 1871 году печатает книгу *О генеалогии человека и о половом отборе.* Что это такое? Опять одна глава трактата, разросшаяся в книгу, превышающую своим объемом все изложение целой теории? Нет, теперь Дарвину было уж менее легко, чем прежде, сдерживать разрастание труда в таких границах, чтобы можно было вести обработку целыми главами; трактат о половом отборе — один из десяти отделов 4-й главы первоначального трактата, разросшийся в полтора тома; а прибавленный к нему трактат о генеалогии человека — прибавка, вовсе не входившая в план первоначального трактата. Этим способом и продолжалась работа до самой смерти Дарвина: он обработывал маленькие кусочки первоначального трактата, разраставшиеся в особые большие статьи или целые книги, печатал прибавочные исследования, не входившие в план трактата, над обработкой которого трудился; и когда умер (в апреле 1882 г.), через двадцать два года после издания «извлечения» из своего трактата, все обработанные куски, взятые вместе, составляли разве одну десятую долю трактата, который был «уже почти кончен» весной 1858 года и который должен был, по расчету автора, сделанному в ноябре 1859 года, быть доведен весь до готовности к печатанию

через два или три года, явиться весь целиком в свет в 1862 году.

Но что ж это такое: трактат, работе над которым не было конца, хотя бы автор прожил еще двадцать или хоть и пятьдесят лет,— труд, начатый в 1837 году, молодым, только еще 28-милетним человеком, казавшийся «почти конченным», через 22 года после того, автору, имевшему тогда 50 лет, и получивший обработку лишь нескольких кусков, едва ли составляющих одну десятую долю его после работы, длившейся еще двадцать два года, до самой смерти труженика, умершего 73-летним стариком,— что это за труд, разраставшийся и разраставшийся без предела росту, и как мог он разрастаться до такой несообразности с размером продолжительности самой долгой вероятной человеческой жизни?

Факт до такой степени странен, до такой степени противоречит правилам рассудительной человеческой деятельности, что раз поставлен вопрос о нем, невозможно устранить ответа: способ работы, которого держался Дарвин в труде над трактатом о генеалогическом родстве между видами, был непригоден для успешности труда такого рода.

Есть ученые, которые останавливаются на каждом вопросе, представляющемся им при занятиях и затрогивающем их любопытство, не могут оторваться от него, пока не исследуют его. Когда основной предмет занятия маленький, узкий, то и число возбуждаемых им вопросов не очень велико, и труд исследования всех их удобоисполним. Ученые, любящие этот способ работы, пишут обыкновенно ряд монографий. И когда они пишут монографии, работа у них идет хорошо, основательно и вместе успешно. Дарвин любил такой способ работы, и прежде чем обратил все свои силы на труд над трактатом о родстве видов, написал много монографий. Благодаря его добросовестности, даровитости, трудолюбию и учености они были превосходны. При своей страсти всматриваться во все попадающееся на глаза, он сделал во время экспедиции корабля *Beagle* множество точных, прекрасных наблюдений. Дневник их доставил ему славу великого ученого. Он вполне заслужил ее: книга, изданная им, обогатила науку. Но что́ такое была эта книга? Сборник мелких монографий, ряд наблюдений над отдельными фактами, соединенных между собою только единством лица, делавшего их, и хронологическим порядком, в каком они были записываемы. Потом Дарвин занимался обработкой коллекций, привезенных им. Из этих его работ особенно знаменита *Зоология плавания ко-*

рабля Beagle. Она составляет пять томов. Но это не что-нибудь цельное, связное, полное,— это тоже ряд маленьких монографий. Хронологический порядок «дневника» заменен тут распределением по порядку зоологической классификации. Но это не цельный классификационный трактат, а сборник отрывков, каждый из которых — особая монография, и которые отделены одни от других множеством классификационных пробелов: тут описываются не все семейства животных, а только те виды тех родов тех семейств, какие попадались автору во время его путешествия. Отчасти до этого труда, отчасти после него, Дарвин написал много других монографий, напечатанных особыми книгами или статьями. Знаменитейшая из них — *Монография об имеющих стеблевидный стерженек и сидячих усоногих*, составляющая два тома. Прибавлением к ней служит исследование *Об ископаемых усоногих*, напечатанное особою статьей.

Все это было превосходно. Каждая монография исчерпывала, как это называется, предмет, сообщала о нем все сведения, какие могли быть приобретены добросовестнейшим исследованием, разъясняла, насколько могли быть при данном состоянии науки разъяснены все вопросы, порождаемые изучением предмета. Но это были предметы маленькие; вопросы, возбуждаемые их изучением, были немногочисленны по каждому из них и вообще не широки, в большинстве случаев очень узки. Потому-то и можно было с успехом вести работы о них исчерпывающим способом.

И вот, этот способ работы, удобоприменимый только в монографических трудах, Дарвин применил к трактату о генеалогических отношениях между нынешними и прежними флорами и фаунами, то есть к предмету, охватывающему всю ботанику, всю зоологию, всю палеонтологию и многие другие отрасли естествознания. Исследовать по всем этим наукам всякие вопросы, какие подвернутся под перо,— исследовать каждый из них монографическим, исчерпывающим способом работы — сообразно ли это с числом лет, какие может прожить на свете самый долговечный человек, разумно ли это, и того ли требуют правила научной работы, тождественные с законами рассудка?

Припомним цифры годов, которыми сам Дарвин отметил фазисы своей работы над трактатом о генеалогических отношениях между видами. Работа начата в 1837 году. В 1842 году теория готова, сделан эскиз ее, в 1844 году теория окончательно пополнена, сделаны выводы из основных ее положений[7] Итак, теоретическая часть работы за-

кончена; остается только подставить под теоретические положения тот фактический материал, из которого извлечены они. Этот материал уже был собран, изучен раньше; он готов. То есть что́ ж собственно остается сделать? Остается только переписать набело готовую на черновых листах работу. Идет работа переписывания готовой черновой рукописи набело,— идет четырнадцать лет; весной 1858 года настигает автора неожиданная надобность сообщить свою теорию ученому миру — и оказывается, что трактат «почти кончен», понадобится только еще «два или три» года работы, чтобы «пополнить» его. Но ни трех, ни двух лет, ни года, ни полгода отсрочки не дает статья Уоллеса; она требует безотлагательного обнародования теории, изложенной в трактате. А он в настоящем своем виде не может быть обнародован. Почему же не может? Он «почти кончен»; остается только «пополнить» его, то есть, по общепринятому смыслу этого выражения, прибавить разъяснения мелочей, может быть и любопытных, но не имеющих особенной важности; ученый мир охотно подождет их и два, и три года. Итак, надобно отправить трактат в типографию и при чтении корректур делать, где следует, оговорки: «предоставляю себе право отложить более подробное разъяснение этого вопроса до того времени, когда получу досуг заняться этим; он любопытен, но не имеет важного значения для трактата, издаваемого мною теперь». Ученый мир привык к таким оговоркам; ни один трактат о предмете широкого содержания не обходится без них. Ах, совсем не то! Трактат не может быть напечатан в настоящем своем виде потому, что еще не существует; автору только угодно воображать, будто он существует; трактата нет; на рабочем столе автора громоздится груда черновых бумаг. «Трактат почти кончен»,— это, как видим по дальнейшему ходу дела, значит: автор, сделав множество монографических исследований, полагает, что предмет почти исчерпан ими; он полагает это потому, что в настоящее время ему припоминается не очень много вопросов, кажущихся любопытными; он думает, что на исследование их понадобится не очень много времени; при этом он полагает, что ему не представится никаких других любопытных вопросов; до сих пор было не так: в продолжение четырнадцати лет у него непрерывно возникали из одних любопытных вопросов другие, не менее любопытные; но ему в настоящее время кажется, что вперед не будет этого. За фантазией, будто предмет почти исчерпан, следует фантазия, что работа будет кончена в два, много — в три года. Эти слова «два или три года» значат: «Груда

монографий, высящаяся на моем рабочем столе, состоит из десятков групп исследований; эти группы имеют теперь связь между собою только в моих мыслях; связи между ними на бумаге нет; я до сих пор не имел досуга изложить на бумаге соотношения между ними. Теперь займусь этим. Очень многие из монографий остались не закончены, потому что меня отвлекало от них желание исследовать другие любопытные вопросы; я закончу их; кроме того, напишу исследования о тех любопытных вопросах, которые еще не исследованы и которые уже последние, за которыми уже не явятся в моих мыслях никакие другие. Я надеюсь, что кончу все это в два или три года».

Итак, через два или три года трактат будет кончен. Но теперь он — груда черновых бумаг, бессвязных, незаконченных отрывков, непригодных для чтения никому, кроме автора. А статья Уоллеса принуждает автора безотлагательно обнародовать теорию, изложенную в трактате. Прежний очерк, сделанный в 1844 году, не годится теперь: четырнадцатилетняя работа превратила его в мелкие лоскутки, разделенные массами монографий, загроможденные ими. Пришлось сделать новый очерк, или, как автор называет эту свою статью, сделать «извлечение» из трактата. Сделав его и напечатав в *Журнале Линнеевского Общества,* Дарвин стал перерабатывать и расширять для издания отдельною книгой; объем его расширился так, что переработка сделалась книгой в несколько сот страниц. Эта расширенная переработка «извлечения» — та знаменитая книга, которая произвела переворот в науках об органических существах. Автор и в пятом издании ее, вышедшем в 1869 году, все еще называет ее «извлечением» из трактата, над обработкой которого продолжает трудиться и который за десять лет перед тем надеялся кончить в два или три года; он и теперь все еще надеется довести до конца работу над своим трактатом, продолжая ее прежним способом, все еще не видит, что при его способе работы это труд нескончаемый. За год перед тем, после девятилетней работы, он приготовил к печати, издал первую главу своего трактата: *Видоизменение животных и растений под хозяйством человека;* девять лет работы — и одна глава готова; остается обработать таким же способом только тринадцать глав; и работнику только еще 60 лет; согласитесь, как же ему не надеяться, что он, продолжая работу тем же способом, доведет ее до конца?

Правила научной работы говорят: если ты взял предметом труда что-нибудь очень широкое, многосложное, сосредоточивай все свои силы на разъяснении основны

вопросов, не отвлекайся от них ничем, иначе недостанет у тебя ни времени, ни сил заняться ими, как должно. Число вопросов, возбуждаемых работой над предметом широкого содержания, беспредельно велико; они возникают бесчисленными рядами, и каждому из их бесчисленных рядов нет конца. Хвататься за каждый из этих вопросов, который покажется тебе любопытен, значит превращать научный труд в забаву твоего любопытства, в пустую, праздную игру. Разбирай, необходимо ли тебе для решения основной задачи твоего труда исследовать вопрос, показавшийся тебе любопытным, подвергай исследованию только те вопросы, которые необходимо исследовать для этой твоей главной задачи, и исследуй их лишь настолько, насколько это необходимо для нее: все другие вопросы устраняй, как неуместные в твоем трактате; иначе ты растратишь на них свои силы, свое время, запутаешься в непрерывно и бесконечно расширяющемся лабиринте их, а основные вопросы останутся у тебя неисследованными; ты примешь за несомненные истины какие-нибудь случайно подвернувшиеся тебе суждения, которые вообразишь разрешающими их, и станешь подводить все под вообразившиеся тебе аксиомами фальшиво истолкованные твоим недоразумением чужие мысли, истинный смысл которых остался непонятен тебе по твоей неподготовленности понять их или не замечен тобою в торопливости, с какою ты схватился за них и вырвал их из связи системы, определяющей смысл их.

Были ли известны Дарвину эти условия успешности научного труда над предметами широкого содержания? Быть может. Но в «извлечении» из трактата, над которым работал он с 1844 до 1858 года, в знаменитой книге *О происхождении видов*, нет ни малейшего следа знакомства с этими требованиями науки; по этой книге видно, что его работа была непрерывным нарушением их.

Например, ему представляется вопрос: каким образом попали на острова животные и растения? Рассудительный ответ был бы: «Исследование этого вопроса не относится к предмету моего труда; замечу только, что дело ясно само собой: геология доказала, что все острова, населенные сухопутными растениями и животными, были частями материков. Если есть, кроме этого общего объяснения, другие, частные, тем лучше. Но мне недосуг теперь искать их; когда буду иметь досуг, может быть, поинтересуюсь приискать их. Но если я когда-нибудь займусь этим, то в другом труде; в настоящем подобные исследования были бы неуместны». Дарвин совершенно чужд мысли, что по пра-

вилам научного труда должен отвечать так. Ему воображается, что он обязан исчерпать вопрос, не разбирая, относится ли вопрос к делу. Он придумывает возражения против общеизвестного объяснения; они ничтожны; но он воображает, что они важны; находит общепринятое решение не относящегося к делу вопроса сомнительным, считает себя обязанным приискать другие объяснения. Не заносятся ли семена растений с материков на далекие острова морскими течениями? Зерна скоро тонут в морской воде, не могут заплыть далеко. Но сухое дерево тонет не так скоро. Дарвин опускает в морскую воду высушенные ветки растений с созревшими стручками и другими вместилищами зерен. Но бывает ли подобное этому в природе? Придумав возражение, очевидно пустое, Дарвин приискивает и опровержение: ветер сломит ветку с созревшими стручками или ягодами; она полежит и высохнет, а они еще не отвалились от нее; буря сбросит ее в море, она поплывет... Что́ это такое? *Натуральная история в занимательных рассказах для детей?* Нет, это книга *О происхождении видов,* пересоздающая науку, книга на пятую или десятую долю глубокомысленная, в остальных долях ребяческая, но неизменно добросовестная и переполненная ученостью. Продолжаем чтение. Дарвин держит ветки с созревшими ягодами или стручками в морской воде; через несколько времени вынимает некоторые, сажает зерна, ждет, дадут ли они ростки, еще через несколько времени вынимает другие ветки, и т. д., и т. д., считает: вот такие-то зерна дали ростки через столько-то дней, а такие-то через столько-то; собирает сведения о подобных наблюдениях; считает, сколько дней нужно, чтобы ветки были донесены морским течением к острову за столько-то миль. Этого объяснения мало; надобно искать других. Дарвин добывает морских птиц, моет их лапки, рассматривает грязь, смытую с лапок; находит в ней семена; считает: вот сколько видов растений могли вырасти на островах из семян, занесенных птицами вместе с грязью лапок. Придумывает возражение: морские птицы из Америки перелетают иногда, гонимые бурей, через океан в Англию; почему не выросли в Англии американские растения из семян, занесенных ими с грязью на лапках? Это потому... Но читайте сами опровержение этого возражения и дальнейшие исследования о не относящемся к делу вопросе, как могли попадать на острова растения и животные. Впрочем, разумеется, по мнению Дарвина, вопрос относится к делу; он даже показывает связь исследований о нем с основною задачей своего труда. Можно найти связь

чего угодно с чем угодно, была бы охота связывать. Нет ничего трудного доказать, что исследование о походе Александра Македонского в Бактрию должно входить в описание Лондона: Ньютон провел последние годы жизни в Лондоне; а одним из предшественников Ньютона был Эратосфен, а Эратосфен жил в Египте при Птолемеях[8], а Птолемеям Египет достался потому, что был завоеван Александром; а если б Александр был разбит в Бактрии, то египтяне при помощи греков выгнали бы македонян из своей земли; потому ясно, что исследование причин успеха похода Александра в Бактрию должно составлять необходимую часть описания Лондона. А сколько времени отняли у Дарвина исследования о ветках, плывущих по морю, и о грязи на лапках птиц?

Другой пример. Под перо Дарвину подвертывается слово «инстинкт». У него возникает вопрос: как развились инстинкты? Ответ, требуемый правилами научной работы, очевиден: «Это вопрос, праздный для человека, все силы которого должны быть сосредоточены на предмете его труда, на разъяснении происхождения видов; инстинкты не служат классификационными признаками; всякие вопросы о них должны быть устраняемы из труда, имеющего целью разъяснить видоизменения форм». Но вопрос о развитии инстинктов любопытен, и Дарвин пускается в исследование его; чем дальше, тем больше любопытного; и в этот вопрос, которым вовсе не имел права заниматься, когда занимался трудом над своим трактатом, Дарвин углубляется так, что исследование о развитии инстинктов разрастается до объема, далеко превосходящего объем его исследования о развитии органов, и образует целую главу в трактате, в котором совершенно неуместно; это седьмая глава трактата; а исследование о развитии органов, одном из важнейших вопросов основного предмета труда, составляет лишь третью долю пятой главы.

Таким-то образом, увлекаясь вопросами, посторонними основному предмету труда, или вдаваясь в мелочи, Дарвин тратил годы за годами в исследованиях, бесполезных для разъяснения коренной задачи, и, подавляемый массой этой ненужной работы, не имел досуга вникнуть с должным вниманием в существенные вопросы своего труда. Наконец он принужден был внешнею необходимостью — статьей Уоллеса — приостановить на время свои нескончаемые блуждания по сторонам, сделать «извлечение» из постоянно разраставшейся груды черновых бумаг, которую считал трактатом о генеалогическом родстве нынешних видов с прежними. Переработав это «извлечение», издав

его отдельною книгой, он снова углубился в исследование мелочей, бóльшею частью не относившихся к делу, и, перенося свою работу, по ходу случайных увлечений, с одной части трактата на другую, мало-помалу доводил некоторые второстепенные или совершенно посторонние основному предмету вопросы до такой широкой разработки, что считал их исчерпанными и печатал особыми книгами или статьями эти части своего трактата или прибавки к нему. Перечислим важнейшие из тех, которые были напечатаны в первые шестнадцать лет до издания книги *О происхождении видов*. Как монографии, они превосходны, подобно прежним его монографиям, и каждая из них много подвигала вперед изучение вопроса, который разрабатывался в ней. Но на общий ход понятий о генеалогических отношениях между видами они не имели ни малейшего влияния; переворот в науке был произведен исключительно «извлечением», напечатанным в *Журнале Линнеевского Общества,* и расширенною его редакцией, книгой *О происхождении видов*. Последующие труды, изданные Дарвином, нимало не содействовали замене прежних ошибочных мнений об истории органических существ новыми: кто из натуралистов, державшихся учения о неизменности видов, перешел от нее к учению о генеалогическом родстве их, тот перешел под влиянием книги *О происхождении видов;* и начинающие натуралисты учились по ней, а не по следующим книгам Дарвина. Потому мы коснемся этих его монографий лишь для разъяснения способа работы его над трактатом о родстве между видами.

После книги *О происхождении видов* он издал монографию *О разных приспособлениях цветка орхидей для их оплодотворения* [9] Это часть 5-го отдела 6-й главы трактата. Цветки орхидей устроены так, что пыль тычинок не может быть переносима на рыльца пестиков ветром; ее переносят на лапках, головках, спинках насекомые, залезающие в мужские цветки орхидей сосать сладкий сок, марающиеся в пыли тычинок, потом залезающие в женские цветки тоже сосать сок и марающие пылью тычинок рыльца пестиков. Что же из того для разъяснения вопроса о происхождении видов? Идет исследование. Оказывается, что яркость окраски и большой размер цветка помогает насекомым отыскивать его. Много ли помогает? В этом ли дело? Не гораздо ли заметнее для насекомых запах сладкого сока? Разве не прилетают насекомые сосать его из цветков, не имеющих яркой окраски и очень маленьких? Это крупный факт; Дарвин забывает о нем, увлекшись исследова-

нием мелкого частного случая. Но пусть собственно величина и яркость окраски цветка привлекают насекомых к орхидеям. Что̀ из того? Вот что: те растения семейства орхидей, у которых цветки были побольше и поярче, нежели у других того же вида или того же рода, или семейства, более привлекали к себе насекомых; потому размножение их шло сильнее; они вытесняли растения своего вида или рода, или семейства с меньшими и менее яркими цветками; таким образом, цветки орхидей становились все великолепнее. Это и оказывается, по мнению Дарвина, одним из наиболее ясных и сильных свидетельств в пользу основной мысли его, что развитие организации было производимо действием естественного отбора. Прекрасно; если, углубившись в исследование орхидей, забыть обо всех других растениях, то действительно выходит так. А если вспомнить, что существуют растения, у которых оплодотворение происходит способами более простыми, верными, чем перенесение пыли тычинок с мужских цветков на пестики женских насекомыми, то будет ясно, что развитие цветка орхидей не могло быть результатом естественного отбора: если бы ход дела зависел от него, то не могли бы существовать растения с таким устройством цветка, как орхидеи; они были бы вытеснены растениями, оплодотворение которых совершается способами более простыми и верными и у которых поэтому сила размножения несравненно могущественнее. Итак, если забывать крупные факты, то можно объяснять развитие цветков орхидей действием естественного отбора; а если вспомнить крупные факты, то ясно, что самое существование орхидей опровергает мысль о преобладании естественного отбора в процессе развития организации, что ее повышение производится действием каких-то других сил, преодолевающих его действие. Если бы преобладал он, то не могли бы существовать не только в частности орхидеи, но и вообще никакие растения, имеющие организацию выше тех, которые размножаются по способу мхов и грибов.

Мы не имеем под руками отметки, в каком году издана монография о вьющихся растениях[10], кажется, после исследования об оплодотворении орхидей и раньше исследования о видоизменении животных и растений под хозяйством человека; если наше воспоминание об этом ошибочно, то оно вводит нас в отступление от хронологического порядка, который желали бы мы соблюсти. Переходим к делу.

Движения и привычки (habits) вьющихся растений — часть 4-го отдела 6-й главы трактата. Свойство растения

быть вьющимся не служит классификационным признаком; потому исследование о свойстве некоторых растений быть вьющимися было напрасною тратой времени для человека, трудившегося над разъяснением генеалогических отношений между видами.

Монография об оплодотворении орхидей была напечатана в 1862 году; в 1868 году явилось исследование, превосходящее своим объемом книгу *О происхождении видов*. *Видоизменение животных и растений под хозяйством человека* (under domestication) — это первая глава трактата. Дарвин полагал, что эта книга даст его теории основание более прочное, чем какое могло быть дано кратким изложением первой главы трактата в книге *О происхождении видов*. Ему казалось, что важность дела в подробностях, которые сообщает он теперь, что они убедят в изменчивости видов значительную часть натуралистов, оставшихся при прежних понятиях после издания книги *О происхождении видов*. Ровно никакого действия в этом смысле не произвела книга о видоизменении домашних животных и культурных растений. И ожидание, что она убедит кого-нибудь из не убедившихся «извлечением», как называл Дарвин книгу *О происхождении видов*, было только наивностью человека, придававшего чрезмерную важность мелочам. Всё сколько-нибудь важное для людей, умеющих различать важное от мелочей, было уже сообщено в «извлечении» из этой части трактата. В полном ее изложении были прибавлены тысячи подробностей, драгоценных для разъяснения мелких вопросов; но эти прибавки имеют только техническую важность: никакого влияния на образ мыслей по вопросу об изменчивости или неизменности видов они не могли иметь. Кого карта Англии не убеждает в том, что Темза течет с запада на восток и впадает в Немецкое море, того не убедит в этом топографическая карта берегов Темзы; эта карта имеет очень большое значение, но только техническое; общие понятия о течении Темзы нимало не зависят от тех подробностей, которые прибавляет она к очерку Темзы, даваемому общею картой Англии. Дарвин, по своему пристрастию к монографическому исчерпыванию вопросов, постоянно забывал, что мелочи — это не более как мелочи, что крупные вопросы решаются на основании немногих, существенно важных фактов или широких идей, и никакие тысячи мелочей не могут иметь никакого заметного веса при взвешивании аргументов по крупным вопросам. Ошибочная надежда Дарвина, что подробная разработка первой главы его трактата убедит кого-нибудь из тех, кого не убедила первая глава «извлече-

ния»,— лишь наивность простодушного человека. Но он сделал громадную научную ошибку, взяв за основание своих соображений о характере действия естественного отбора те результаты, какие производит хозяйственный отбор, делаемый человеком[11] Хозяин стада, убивая худших животных, не подвергает сберегаемых им лучших тому процессу, которым убивает худших. Если, например, он бьет обухом по лбу тех коров, которых убивает, он не наносит таких же ударов обуха по лбу тем коровам, которых сохраняет. Естественный отбор подвергает каждое животное стада газелей тому процессу, результатом которого оказывается смерть некоторых из них. Самая обыкновенная форма естественного отбора — вымирание излишних существ от недостатка пищи; одни ли умирающие существа подвергаются в этом случае голоду? Нет, все. Так ли поступает хозяин с своим стадом? Улучшалось ли бы его стадо, если б он сдерживал размножение, подвергая всех животных голоду? Переживающие животные слабели бы, портились бы, стадо ухудшалось бы.

В 1871 году Дарвин издал соединенными в одной книге два исследования: о половом отборе и о генеалогии человека.

Исследование о половом отборе — это 2-й отдел 4-й главы трактата. Ставя главною причиною замены прежних видов новыми естественный отбор, Дарвин принимал, как одну из второстепенных видоизменяющих организмы сил, половой отбор. О действии этой силы ему не следовало бы говорить много, потому что сам он считал ее влияние второстепенным. А между тем, исследование о ней разрослось у него до такой степени, что превзошло объемом книгу *О происхождении видов,* в которой оно составляло лишь один и притом самый меньший по объему отдел из десяти отделов одной главы, с прибавлением некоторых замечаний в одном, тоже маленьком, из одиннадцати отделов другой главы (глава 5, отдел 9: *вторичные половые отличия изменчивы).* С какою целью исследовал Дарвин действие полового отбора? Хотел ли он сделать полное систематическое обозрение производимых этим отбором так называемых вторичных половых различий по всем классам, семействам, родам и видам животных? Это был бы громадный каталог, вроде так называемых Genera et species animalium[12]. Нет, ничего подобного он не хотел сделать, потому что знал: такая работа возможна только как свод частных каталогов отдельных классов животных; а каталогов этих еще не было тогда ни одного (кажется, и теперь еще нет). Предпринимая свое исследование,

Дарвин имел цель совершенно разумную, удободостижимую без такой работы, длиннота которой превышала бы сравнительную маловажность предмета в его системе понятий о причинах изменения форм. Он хотел только показать, что существует половой отбор и что в некоторых случаях действие этой силы производит довольно значительные результаты. Для этого было бы достаточно привести несколько примеров наиболее крупных и ясных. Он приписывает действию полового отбора, например, развитие рогов у самцов некоторых млекопитающих, развитие клыков у некоторых других, развитие яркой окраски и украшающих форм перьев у самцов некоторых птиц. И достаточно было бы для подтверждения этих мыслей напомнить о рогах оленей, клыках слонов, перьях хвоста павлина. Работа могла бы быть кончена в несколько дней, если не в несколько часов. Но — предмет любопытен, и Дарвин завлекся далеко-далеко за пределы того, чем должен был бы ограничиться по норме, даваемой собственными его понятиями о сравнительной маловажности предмета в системе разъяснений родства нынешних видов с прежними. Он анализирует половые (собственно так называемые вторичные, не относящиеся к органам размножения) разницы множества животных разных классов, начиная с довольно низких. Его привлекают особенно те случаи, в которых наиболее трудно разобрать способ действия полового отбора; это коллекция курьезов, подобная тем, какие собирают любители редкостей. Труда и времени потрачено в сто раз больше, чем было нужно; а полного, цельного обзора все-таки не вышло. Впоследствии кто-нибудь, начав составлять его, вероятно, найдет в исследовании Дарвина много материалов, полезных для своего труда; но с точки зрения надобностей теории самого Дарвина, масса работы над исследованием половых различий потрачена совершенно напрасно. И к каким половым особенностям относятся те лоскуты обзора, на которые Дарвин употребил наибо́льшее количество своего напрасного труда? К разницам окраски, то есть к тем, которые заслуживают наименьшего внимания в трактате, имеющем целью разъяснить происхождение видов, различий между органическими существами по формам устройства. Напомним один пример. Павлин отличается от павы разными украшениями, из которых самое эффектное — длинный хвост, развертывающийся вертикальным веером с великолепным ободом, образуемым яркою разноцветною окраской концов перьев. Ясно, что приобретение такого хвоста павлином имело главными своими причинами ка-

кое-то усиление деятельности желез, питающих перья хвоста, и какое-то физиологическое изменение питания опушки концов перьев; от этих причин перья удлинились и получили густоту опушки, яркость ее окраски. Очень большую важность имело также то изменение мускулов, управляющих движениями хвоста, которое дало павлину возможность развертывать хвост вертикальным веером: развернутый, он производит гораздо больше эффекта, чем не развернутый. На вопросы об этих изменениях желез, мускулов и питания концевой опушки перьев и следовало обратить наибольшее внимание. Но они не интересуют Дарвина; он бьется исключительно над вопросом, как из двух боковых пятен конца опушки образовалось одно центральное. Хорошо, пусть этот, сравнительно ничтожный, вопрос интереснее всех важных. Но прежде чем вдаваться в исследование о том, как произвел половой отбор слияние двух боковых пятен в одно, следовало рассмотреть предварительный вопрос: возможно ли считать это слияние результатом полового отбора? Разве те два пятна производили менее эффектное впечатление на паву, чем нынешнее одно? Разве от их слияния в него обод хвоста павлина стал великолепнее? Окраска их была, по мнению самого Дарвина, точно такая же яркая, и распределение ярких цветов в ней было точно такое же, как в нынешнем пятне; а сумма их площадей была больше площади нынешнего пятна: при слиянии их в него срезались очень большие сегменты тех сторон, которыми они были обращены к средней линии длины пера; потому обод веера при раздельности боковых пятен был великолепнее, чем стал по слиянии их; так выходит, если брать за достоверные факты те понятия об окраске и величине боковых пятен, на которых основывает свое исследование Дарвин; следовательно, с его собственной точки зрения должно было бы решить, что слияние двух боковых пятен в одно не могло быть произведено половым отбором, что его произвела какая-то другая сила, перемещавшая окраску по направлению к корням концевой опушки пера, какая-то перемена в питании опушки, действовавшая независимо от полового отбора и наперекор ему. В обе эти ошибки беспрестанно вводит Дарвина его увлечение исследованием мелочей: из-за мелочей он забывает факты более крупные и, углубляясь в придумывание, каким способом данная сила произвела данный результат, он постоянно забывает рассмотреть предварительный вопрос о том, возможно ли приписывать действию этой силы произведение этого результата, не противоположен ли характер этого результата характеру

ее, не следует ли поэтому решить, что он произведен действием какой-нибудь другой силы, отбросить приискивание объяснения, которое по необходимости будет фальшивым, и заняться исследованием, какая другая сила произвела данный результат?

Исследование о генеалогии человека, изданное вместе с исследованием о половом отборе,— прибавка к тому трактату, извлечение из которого составляет книга *О происхождении видов*. В ней нет ни малейшего упоминания о том, должно ли, по мнению автора, применять к человеку его понятия о родстве нынешних органических существ с прежними, или не должно. Простяк хотел поступить хитро. И схитрил, как умеют хитрить простяки. Все те, обмануть кого хотел он своим молчанием, подняли гвалт при появлении книги *О происхождении видов*, все в один голос закричали, что он производит человека от обезьяны. Он принялся горячо уверять, что не мог иметь такой мысли, что она по его мнению, нелепа. Никто из кричавших не поверил опечаленному добряку. Все оставили за ним мысль, от которой отрекался он, как от нелепости, никогда не приходившей в голову ему. В тысячу раз было бы ему легче, если б он прямо и вполне высказал в книге *О происхождении видов* свои понятия о генеалогии человека. Но говорить об этом не входило в план трактата, извлечением из которого была она. Увидев, что хитрость ввела его в беду, и ободрившись примером других натуралистов, высказавших свои понятия об отношениях человека к прежним существам подобной организации, он написал исследование о предмете, которого не хотел касаться, когда составлял план своего трактата. Человек менее наивный с самого начала знал бы, что неизбежно решиться на одно из двух: или, составляя план трактата о генеалогическом родстве некоторых органических существ с прежними, ввести в него исследование генеалогии человека, или отбросить самую мысль о таком трактате.

В 1872 году Дарвин напечатал исследование о выражении чувств у человека и животных, а в 1875 году исследование о насекомоядных растениях[13]. Оба они относятся ко второму отделу пятой главы трактата, говорящему об употреблении и неупотреблении органов. Но не только в первом издании «извлечения», даже и в пятом, вышедшем в 1869 году, нет еще ни одного слова, соответствующего им, то есть не только в 1859 году, но и в 1869 году Дарвин еще не предвидел, что найдет надобным «пополнить» свой трактат этими исследованиями. И действительно, мудрено было предусмотреть, что случится

так. Насекомоядность некоторых растений не принадлежит к числу классификационных признаков их. О переменах в выражении лица или в состоянии мускулов других частей тела при порывах чувства нечего и говорить, причисляются ли они к видовым отличиям. Потому исследования об этих предметах — работы совершенно неуместные в труде, имеющем целью разъяснить отношения между видами. И, в особенности, следовало ли тратить время на эти ненужные исследования человеку, трудящемуся над своим трактатом уже десятки лет, не успевшему подвинуться в обработке его дальше первой главы и уже имеющему больше шестидесяти лет от роду? Кажется, он имел бы надобность помнить, что ему должно дорожить временем, не терять месяцев за месяцами, годов за годами на блуждания по сторонам от основного предмета труда. Но подвернулись неуместные вопросы, показались любопытными и отвлекли труженика от предмета его работы; впрочем, нет, не отвлекли: он доказывает, что исследованиями о них разъясняется родство между видами. Что ж, разумеется, можно приплетать что угодно к чему угодно, было бы желание.

На 1875 году мы остановимся, потому что не имеем под руками хронологического списка частей трактата, изданных Дарвином в последующие годы. Это жаль. Но и обзор тех частей, которые были изданы им в первые шестнадцать лет по окончании книги *О происхождении видов,* достаточно показывает, как успешно и систематично шла у неутомимого труженика обработка основных его понятий о родстве между видами.

Он обработал первую главу трактата, служащую предисловием к изложению его теории. На этом и остановилась систематическая обработка трактата. После того, то есть с 1868 года до конца жизни, он уж только блуждал по лабиринту черновых бумаг, масса которых все разрасталась и становилась все хаотичнее; от времени до времени он останавливался над какою-нибудь группой этих бумаг и обработывал какой-нибудь кусок трактата, относившийся к вопросу или мелочному, или постороннему основной задаче, издавал этот кусок, не имеющий связи ни с теми, которые были изданы раньше, ни с тем, к обработке которого переходил он.

Теория должна была излагаться во второй, третьей и четвертой главах трактата. Глава вторая предназначена была для исследования перемен форм растений и животных в естественном их состоянии, независимо от человека; она должна была служить подготовкой к изложению

существеннейших частей теории, к разрешению вопроса о том, какая сила произвела развитие органических форм; решение этого вопроса должно было составлять содержание главы третьей (имевшей своим заглавием: *Борьба за жизнь*) и главы четвертой (заглавие которой было: *Естественный отбор,* результат борьбы за жизнь). Из двадцати двух отделов этих трех глав Дарвин успел до конца жизни обработать только один отдел, именно второй отдел четвертой главы, излагающий учение о половом отборе,— один отдел из двадцати двух, и притом отдел, посвященный изложению действий не борьбы за жизнь, а другой силы — силы соперничества между самцами за обладание самкой или между самками за обладание самцом. Из учения о борьбе за жизнь, действия которой составляют, по теории Дарвина, основной элемент истории развития органических форм, и о производимом ею естественном отборе, об этой существеннейшей черте его теории, бедный труженик не успел обработать ни одного кусочка до самой своей смерти. Он умер,— припомним цифры,— он умер в 1882 году, теория была готова у него в 1844 году. Работа, неутомимо веденная тридцать восемь лет, ушла на исследования или мелочные, или посторонние предмету труда, так что в продолжение тридцати восьми лет ни одно из коренных положений теории не могло быть подвергнуто автором внимательному разбору, по недостатку времени, и пришедшие на мысль ему при начале труда решения основных вопросов остались непроверенными.

Тридцать восемь лет напрасной траты сил на блуждания по сторонам от основного предмета труда — история науки едва ли представляет другой пример такого нарушения правил научной работы.

А между тем, принято превозносить похвалами способ работы Дарвина над его трактатом. Источник их — то, что эта нескончаемая, безрассудная работа имеет качество очень эффектное. Много содействуют горячности их и нравственные достоинства автора, отражающиеся в его работе: неутомимое трудолюбие, безусловная добросовестность, искреннейшая скромность, доброжелательнейшая готовность признавать чужие заслуги, отдавать полную справедливость трудам соперников, кротость незлобивой души, непоколебимая никакими нападениями врагов; эти прекрасные черты человека возбуждают во всяком честном человеке уважение к его труду. Но существенная причина похвал его способу работы все-таки не нравственные достоинства ее, а то, что результат ее очень эффектен: набирая и набирая подробности за подробностями

и анализируя всяческие мелочи, Дарвин подавляет массой учености мысль человека, не умеющего или забывающего рассматривать, к какому разряду знаний принадлежат материалы, из которых одних сложены все груды учености, производящие эффект своими размерами, по каким нормам производятся анализы и какими особенностями отличается ум, громоздящий эти груды, производящий эти анализы.

С качествами очень доброго, безусловно честного, чрезвычайно благородного человека в Дарвине соединялись некоторые из качеств великого ученого: сильный ум, громадный запас знаний и, при всей его громадности, не ослабевающее до конца жизни влечение увеличивать его, учиться и учиться. Но мы видели, что этот ум, хотя и сильный, имел склонности, несовместные с успешностью работы над разъяснением широких, многосложных вопросов: он с неудержимою страстью вдавался в исследования или мелочные, или посторонние основному предмету труда, нескончаемо тратил время на собирание длинных перечней, не прибавляющих ничего к разъяснению, даваемому немногими примерами, на разработку вопросов, не относящихся к делу; теряясь в массах мелочей и в далеких блужданиях от предмета, он упускал из вида крупные факты, не имел досуга исследовать существенные вопросы. Была в уме Дарвина и другая особенность, несовместная с успешностью труда над разъяснением законов жизни, многосложных и запутанных: ребяческая наивность. Нормы, по которым Дарвин производил анализы фактов жизни, были клочки оптимистической философии в популярной переделке, подводящей всякие факты без всякого исключения под простонародную поговорку: «все на свете к лучшему». Человек, руководящийся в своих суждениях подобными мыслями, не имеет научной подготовки к пониманию законов жизни, какова бы ни была обширность его специальных сведений. Но и в запасе специальных знаний были у Дарвина пробелы, о пополнении которых он не заботился, не догадываясь, по своей наивности, что, кроме сведений, надобных для монографических исследований, существует другой разряд специальных знаний, в которых нет необходимости монографисту, но без которых невозможно основательное исследование вопросов очень широких. Мы увидим эти пробелы, обратив внимание на некоторые черты его рассказа о том, как возникла у него мысль об изменчивости видов, и о том, как искал он разъяснения истории изменений форм организмов.

Натуралист, правда, еще очень молодой, конечно, еще не успевший приобрести такого количества специальных знаний, какое имеют первоклассные ученые в 35 или 40 лет, но все-таки натуралист и, притом, уже способный обогатить науку превосходными наблюдениями и очень основательными выводами из них,— следовательно, уже имеющий очень много специальных знаний, плывет из Англии к восточному берегу Южной Америки, посещает его в нескольких местах, делая наблюдения и, между прочим, изучая животных, делает потом такие же наблюдения по западному берегу Южной Америки, приплывает, наконец, к Галапагосскому архипелагу и «удивляется», даже не просто, а «очень удивляется», увидев, что животные этого архипелага похожи на животных ближайшего берега Южной Америки, но не одинаковы с ними. Как же возможно было, чтоб он удивился этому? Предположим наибольшую правдоподобную скудость запаса специальных знаний у него; все-таки странно, что в его знаниях мог быть пробел, оставивший место удивлению при виде того, что́ он увидел. Правда, зоологическая география была тогда разработана гораздо меньше, чем теперь; но все-таки общеизвестным фактом было уже и тогда то, что фауны островов, лежащих далеко от континентов, обыкновенно состоят из видов сходных, но не одинаковых с видами ближайших частей континентов. И мало того, что он «очень удивился» тогда; через двадцать пять лет он, уже давно ставший первоклассным натуралистом, рассказывая во «Введении» к книге *О происхождении видов* этот факт, не находит в нем ничего странного. То же самое неведение о его странности остается и еще через десять лет, в пятом издании книги. Как понять это неведение? Очевидно, что мысли Дарвина о том, какие знания нужны натуралисту, оставались односторонни и в 1859, и в 1869 году, как были односторонни его заботы о приобретении знаний до отплытия из Англии в конце 1831 года: он дорожил только сведениями, надобными монографисту; плохое знакомство с отделами сведений, относящимися к широким фактам, продолжало казаться ему не странным, потому что оставалось у него плохим, и он даже не замечал, что оно остается плохим, считая этот отдел знаний маловажным.

Неожиданный факт, удививший молодого натуралиста на Галапагосских островах, привел его к мысли, что животные этого архипелага — видоизмененные потомки предков, другие потомки которых, вероятно, тоже видоизменившиеся, живут в ближайшей части Южной Америки. Мысль правильная. Но опять странный пробел в знаниях:

молодому натуралисту не припомнилось, что были великие натуралисты, говорившие о генеалогическом родстве между видами[14]. Как мог он уехать из Англии, не зная этого? Хорошо; не знал. Допустим, что он, предполагавший быть монографистом, был прав, считая ненужным знакомиться с трудами натуралистов, устаревшими в своих мелочных подробностях, потому непригодными для монографиста, пособиями для которого должны служить новейшие книги. Но вот он возвратился в Англию и, хоть принужденный работать, главным образом, над приготовлением к печати фактических результатов своего путешествия, трудится и над разъяснением своей мысли о генеалогическом родстве между видами. Это уже не монографическая задача. Одно из основных правил научной работы говорит, что человеку, желающему сформировать себе правильные понятия по очень широкому вопросу, по которому современные специалисты имеют ошибочные мнения, необходимо навести справки о мнениях прежних великих специалистов; но это правило научной работы над разъяснением широких вопросов неизвестно молодому — теперь, впрочем, уже не очень молодому, двадцативосьмилетнему — натуралисту, задумавшему пересоздать науку об органических существах. Он не знает, что ему следует навести справки о мнениях прежних великих натуралистов, мысли которых о родстве между видами называли не заслуживающими внимания учители его, ученики Кювье. Он пришел к убеждению, что теория неизменности видов, изложенная Кювье, ошибочна; и он не догадывается, что для него, противника Кювье, не должны быть авторитетными отзывы учеников Кювье о мыслях натуралистов, противник которых был Кювье. Он продолжает верить своим учителям, что мысли этих натуралистов о родстве между видами не заслуживают внимания, и, год за год, работает над приискиванием объяснения изменений форм организмов, не догадываясь, что не мешало бы ему справиться о мнениях прежних трансформистов. Он не находит объяснения, бродит в потемках. И вдруг — о, радость — объяснение нашлось. Оно нашлось — о, чудо из чудес! — в трактате о политической экономии,— в трактате, написанном с целью оправдать торийское министерство, при поддержке большинства вигов отвергающее проекты политических реформ, предлагаемые меньшинством вигов. Как возможно было сделать в книге подобного содержания находку, надобную для пересоздания науки об отношениях между розой, сосной и мхом, между слоном, орлом и сельдью? Случай удивительный по своей несооб-

разности с правилами здравого смысла, но, помимо этого своего свойства, очень простой, совершенно натуральный. Если человек, желающий стать живописцем, не знает, что учиться живописи надобно у живописцев, то в своих поисках учителя он, зашедши к столяру, научится живописи у этого мастера: столяр не живописец, это правда; но умеет чертить карандашом фигуры стульев и столов; он научит этому; что ж, и то хорошо. Разве ж это не живопись?

Итак, пересоздавать естествознание надобно на основании политического памфлета. Прекрасно. Но если уж пришлось заимствовать у Мальтуса теорию, объясняющую изменения форм растений и животных, то следовало, по крайней мере, вникнуть в смысл учения Мальтуса. Дарвин не позаботился и об этом. Он не догадался разобрать, какой смысл имеет у Мальтуса мысль, озарившая его, утомленного блужданием в темноте. Если бы он правильно понял восхитившую его мысль учителя,— теория, построенная на ней, была бы ошибочна только тем, что приписывала бы преобладающее влияние на ход изменений органических форм действию силы, имеющей лишь второстепенное значение в этом отношении, оставляла бы без внимания другие силы, влияние которых на изменение форм организмов гораздо могущественнее; она давала бы слишком узкое объяснение фактам, но не искажала бы охватываемую ею маленькую долю истины прибавкой лжи, примешанной к ней по недоразумению. Вышло иначе. В восторге от внезапного озарения ума, Дарвин вырвал из аргументации Мальтуса очаровавшую его мысль, не потрудившись рассмотреть мыслей, с которыми она соединена у его учителя и которыми определяется ее смысл. Он предположил в ней смысл, соответствующий его привычным понятиям о вещах, не догадываясь, что этот смысл несообразен с понятиями его учителя, и построил на фальшиво понятом обрывке публицистической защиты торийского министерства, поддерживаемого большинством вигов, теорию развития органической природы. Таков источник теории благотворности борьбы за жизнь; он — грубое недоразумение.

Мальтус говорит, что каждый вид органических существ имеет силу размножаться; что по действию этой силы количество существ каждого вида становится и остается превышающим количество пищи, находимой этими существами; что потому некоторые из них подвергаются голоду и погибают или прямо от него, или от болезней и других бедствий, производимых им.

Все это правда. Но для чего Мальтус выставляет ее на вид? Он хочет показать, от чего происходят бедствия, которым подвергаются люди, когда чрезмерно размножаются, и показывает, что в этом случае причина их бедствий — чрезмерное размножение: они размножаются, как неразумные существа, и подвергаются бедствиям, каким подвергаются через свое размножение неразумные животные. О чем же говорит Мальтус? О бедствиях и причине бедствий. Что такое, по его понятиям, бедствия? Они, по его понятиям, бедствия, и только; зло, и только. Видит ли он что-нибудь хорошее в причине бедствий, о которой говорит, в чрезмерности размножения? Ничего хорошего в ней он не видит: она — причина бедствий, и только; причина зла, и только.

Так это по Мальтусу. И на самом деле так. Он не прав лишь тем, что производит все бедствия от одной причины — от чрезмерности размножения; есть и другие причины их, совершенно различные от нее; они есть не только у людей, но и у разумных животных и у растений. Например, когда молодые сухопутные млекопитающие, играя, забудут смотреть себе под ноги, забегут в болото и утонут, или когда буря ломает дерево: — это бедствия, происходящие от причин, не имеющих ничего общего ни с недостатком пищи, ни с чрезмерностью размножения. Но в том, что чрезмерное размножение производит только бедствия и что бедствия — это бедствия, и только бедствия, Мальтус прав, по свидетельству физиологии животных и растений и прикладных ее наук, патологии и терапии их.

Итак, по Мальтусу, бедствия, производимые чрезмерностью размножения,— бедствия, и только, зло, и только, и причина, производящая их, чрезмерность размножения — причина бедствий, и только, причина зла, и только. Но Дарвин не был подготовлен к пониманию такого взгляда на вещи; у него даже не было предположения, что такой взгляд на вещи возможен, потому что привычные ему понятия о вещах были совершенно иные и были привычным ему до такой степени, что казались единственно возможными. Эти понятия о вещах, казавшиеся ему единственно возможными, были те, по которым бедствия считаются не бедствиями, а благами, или, в случаях крайнего неудобства признавать их благами, считаются источниками благ. Такой способ понимать вещи называется оптимистическим. Держась этого образа мыслей и не предполагая возможности иного, Дарвин был убежден, что Мальтус думает о бедствиях подобно ему, считает их или благами, или источниками благ. Те бедствия, о которых

говорит Мальтус,— голод, болезни и производимые голодом драки из-за пищи, убийства, совершаемые для утоления голода, смерть от голода,— сами по себе, очевидно, не блага для подвергающихся им; а так как они, очевидно, не блага, то из этого, по понятиям Дарвина, следовало, что их должно считать источниками благ. Таким образом у него вышло, что бедствия, о которых говорит Мальтус, должны производить хорошие результаты, а коренная причина этих бедствий, чрезмерность размножения, должна считаться коренною причиною всего хорошего в истории органических существ, источником совершенствования организации, тою силой, которая произвела из одноклеточных организмов такие растения, как роза, липа и дуб, таких животных, как ласточка, лебедь и орел, лев, слон и горилла. На основании такой удачной догадки относительно смысла заимствованной у Мальтуса мысли построилась в фантазии Дарвина теория благотворности борьбы за жизнь. Существенные черты ее таковы.

История органических существ объясняется мыслью Мальтуса, что они, чрезмерно размножаясь, подвергаются недостатку пищи и часть их погибает или от голода, или от его последствий, из которых особенно важны в этом отношении два: борьба за пищу между существами, живущими одинаковою пищей, и борьба между двумя разрядами существ, пожираемыми и пожирающими; совокупность фактов, производимых голодом и его последствиями, мы будем называть борьбою за жизнь, а результат борьбы за жизнь, то есть погибель существ, не способных выдержать эту борьбу, и сохранение жизни только существами, способными выносить ее, будем называть естественным отбором; сравнивая прежние флоры и фауны между собою и с нынешними флорой и фауной, мы видим, что некогда существовали только растения и животные низкой организации, что растения и животные высокой организации возникли позднее и что совершенствование организации шло постепенно, а соображая данные сравнительной анатомии и эмбриологии, находим, что все растения и животные, имеющие организацию более высокую, чем одноклеточные организмы, произошли от одноклеточных организмов;

а так как коренная причина изменений органических форм — борьба за жизнь и естественный отбор, то: причина совершенствования организации, источник прогресса органической жизни — борьба за жизнь, то есть голод и другие производимые им бедствия, а способ, кото-

рым производит она совершенствование организации,— естественный отбор, то есть страдание и погибель.

И эту теорию, достойную Торквемады, сочинил добряк, покинувший изучение медицины по неспособности выносить вид операций в хирургической клинике, где приняты все меры для смягчения страданий оперируемого. Мальчики, растущие в обществе людей, загрубевших от бедности, то есть главным образом от недостатка пищи,— грубые, невежественные, злые мальчики, когда мучат мышонка, не думают, что действуют на пользу мышам; а Дарвин учит думать это. Изволите видеть: мыши бегают от этих мальчиков; благодаря тому в мышах развиваются быстрота и ловкость движений, развиваются мускулы, развивается энергия дыхания, совершенствуется вся организация. Да, злые мальчики, кошки, коршуны, совы — благодетели и благодетельницы мышей. Полно, так ли? Такое бегание полезно ли для развития мускулов и энергии дыхания? Не надрываются ли силы от такого бегания? Не ослабевают ли мускулы от чрезмерных усилий? Не портятся ли легкие? Не получается ли одышка? По физиологии, да: результат такого бегания — порча организма. И беганием ли ограничивается дело? Не сидят ли мыши, спрятавшись в норах? Полезно ли для мышей, млекопитающих животных, то есть существ с полною потребностью движения и очень сильною потребностью дыхания, неподвижное сидение в душных норах? По физиологии, не полезно, а вредно. Но стоит ли соображать, что́ говорит физиология? Есть книга Мальтуса; достаточно выхватить несколько строк из нее, и — готова теория, объясняющая историю органических существ.

Что постыдятся сказать в извинение своих злых шалостей невежественные мальчики, то придумал и возвестил миру человек умный, человек очень добрый и — натуралист, которому, кажется, следовало бы помнить основные истины физиологии; вот до какого помрачения памяти и рассудка может доводить ученое фантазерство, развивающее ошибочную догадку о значении непонятых чужих слов!

Много дурного говорил Мальтус; ему нельзя было обойтись без того; он хотел защищать политику коалиции тори и большинства вигов, вызванную историческими обстоятельствами, это правда, но, тем не менее, вредную для них и его родины политику, о которой сам он знал, что она несправедлива и вредна; дурную книгу написал он, недобросовестную, и заслуживает за то порицания. Но в том, что взвел на него благодарный ученик, он не виноват; та-

ких мерзостей он не внушал; напрасно Дарвин вообразил себя его учеником,— он исказитель Мальтуса; напрасно он называет свою теорию применением его теории к вопросу о происхождении видов — это не применение теории Мальтуса, а извращение смысла его слов,— извращение грубое, потому что истинный смысл его слов ясен. Он считает чрезмерность размножения причиною бедствий, и только; а бедствия он считает бедствиями, и только. В этом он верен истине, верен естествознанию. Дарвин называет совокупность результатов чрезмерного размножения борьбою за жизнь; хорошо; что́ же такое борьба за жизнь с точки зрения, на которую ставит своих читателей Мальтус? Совокупность бедствий, и только бедствий. Результат борьбы за жизнь Дарвин называет естественным отбором; хорошо; что́ же такое, сообразно понятиям Мальтуса, естественный отбор? Никак не благо, а непременно нечто дурное, потому что чрезмерность размножения не производит, по его понятиям, ничего хорошего, производит только дурное.

Так это по Мальтусу. Совершенно так, как по физиологии. Мальтус нам не мил и не авторитетен. Но пренебрегать физиологией не следует.

Припомним же, что́ такое, по физиологии растений и животных, бедствие в жизни индивидуального существа и какое влияние на детей имеют, по физиологии, бедствия родителей.

Физиология говорит: бедствие в жизни индивидуального органического существа — нарушение хорошего хода функций организма, и у организмов, имеющих способность ощущения,— нарушение, соединенное с ощущением боли, когда касается частей организма, в которых находится способность ощущения; если нарушение тяжело и продолжительно, оно имеет результатом в некоторых случаях смерть, во всех других — порчу здоровья, порчу организма; то же самое, если оно хотя и не тяжело и непродолжительно, но повторяется часто.

Какое влияние на организацию потомков имеет, по физиологии, порча здоровья, порча организации родителей? Организмы, имеющие испорченное здоровье, рождают организмы, имеющие прирожденную испорченность здоровья; существа, имеющие испорченную организацию, рождают существа, имеющие прирожденную испорченность организации. И если ход жизни идет в этом направлении через ряд поколений, то с каждым новым поколением размер результата увеличивается, потому что он — сумма порч прежних поколений, у каждого из которых

прирожденная испорченность увеличивалась порчею производимою бедствиями собственной жизни.

Как называется на языке физиологии порча организма, возрастающая по ряду поколений? Она называется вырождением. И как называется вырождение, состоящее не только в ухудшении здоровья организма, но и в изменении самой организации? Оно называется понижением организации, деградациею.

Вот что такое, по физиологии, результат борьбы за жизнь — понижение организации; вот что такое, по физиологии, естественный отбор — сила, понижающая организацию, сила деградирующая.

Но зачем помнить физиологические законы, когда есть Мальтус? Хорошо; Мальтус важнее физиологии, то пусть будет важнее. Но и мысль Мальтуса, рекомендуемая нам взамен физиологии, ведет к тому же понятию о естественном отборе. Ход вывода прост и ясен.

Чрезмерность размножения производит только бедствия; естественный отбор — результат чрезмерного размножения; спрашивается, что такое естественный отбор, благо или зло? Кажется, не очень мудрено сообразить: он — зло. Что́ такое зло в применении к понятию об организации? Понижение организации, деградация.

Насколько видоизменяются организмы действием естественного отбора, они деградируются. Если б он имел преобладающее влияние на историю органических существ, не могло бы быть никакого повышения организации. Если предками всех организмов были одноклеточные организмы, то при преобладании естественного отбора не могли бы никогда возникнуть никакие организмы хотя сколько-нибудь выше одноклеточных. А если одноклеточные организмы не первобытные формы органической жизни, если первым фазисом существования жизни, ставшей впоследствии органическою, было существование микроскопических кусочков органического, но еще не организовавшегося вещества, называемого теперь протоплазмой, то из этих неорганизованных кусочков протоплазмы не могли, в случае преобладания естественного отбора, возникнуть никакие организмы, ни даже самые низшие разряды одноклеточных существ; и мало сказать, что из них не могли возникнуть никакие организмы,— нет, не могли бы продолжать своего существования даже и эти кусочки протоплазмы: каждый из них в самый момент возникновения был бы уничтожаем действием естественного отбора, разлагался бы на неорганические комбинации химических элементов, более устойчивые в борьбе, чем

протоплазма. А если первобытными существами были не бесформенные кусочки протоплазмы, а одноклеточные организмы, то и о них следует сказать, что они под преобладанием естественного отбора не только не могли бы повышаться в организации, но не могли бы и продолжать свое существование: он отнимал бы у них организацию, превращал бы их в кусочки бесформенного органического вещества, а его превращал бы в неорганические соединения.

Но было не так. Из первобытных существ, имевших очень низкую организацию или даже не имевших никакой организации, бывших бесформенными кусочками протоплазмы, развились растения и животные очень высокой организации. Это значит: история тех кусочков протоплазмы или одноклеточных организмов, которые были первыми предками высокоорганизованных существ, и история следующего ряда предков этих существ шла в направлении, противоположном действию естественного отбора, под влиянием какой-то силы или комбинации сил, противоположной ему и перевешивавшей его.

Одна ли была эта сила или комбинация нескольких сил? Прежние трансформисты нашли, что повышение организации производилось действием не одной силы, а нескольких сил; и некоторые из этих сил были определены ими. Нынешние трансформисты пополняют открытия прежних. Должно думать, что ряд этих открытий далеко не закончен, что перечисление повышающих организацию сил еще остается неполным. Но по законам физиологии ясно определяется общий характер всех их: все силы, повышающие организацию,— те силы, которые имеют благоприятное влияние на жизнь индивидуального органического существа,— содействуют хорошему ходу функций его организма и, если это существо имеет способность ощущения, возбуждают в нем своим действием ощущения физического и нравственного благосостояния, довольства жизнью и радости.

Добрый читатель или добрая читательница, я утомил вас длиннотою моей статьи. Простите.

ОЧЕРК НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

1

О РАСАХ

Те различия, по которым человеческий род делится на расы, существуют с очень давних времен. Несколько десятилетий тому назад большинство специалистов по антропологии даже утверждало, что возникновение разниц между расами совпадает с самым возникновением людей, что каждая раса — особый вид, имеющий свое особое происхождение. В ученых трактатах это мнение облекалось в ученую форму, выставлялось выводом из научных фактов. На самом деле, оно происходило из мотива, не имеющего ничего общего с научной истиной. Плантаторы рабовладельческих штатов Североамериканского Союза стали опасаться, что законодательная власть Союза отменит невольничество на всем пространстве Союза, как оно уж было отменено законодательными властями северных штатов в этих штатах. Подобные эпохи опасений были переживаемы рабовладельцами английских колоний и некоторых других колоний и государств. Но всё то были дела очень мелкие по сравнению с отменой невольничества в рабовладельческих штатах Североамериканского Союза. Кому, кроме филантропов или малочисленных людей очень прогрессивного образа мыслей, был интересен вопрос о невольничестве в государствах или колониях, не имевших важности ни для кого из людей, посторонних этим малонаселенным странам или мелким островам? Споры приверженцев и противников рабства в государствах, образовавшихся из прежних испанских владений в Америке, обращали на себя мало внимания за границами этих слабых государств. И какими учеными силами располагали защитники рабства в них? Понятно, что они имели очень мало влияния на мысли большинства антропологов.— Были рабовладельческие колонии у Франции, но они не имели сильного влияния на политическую жизнь даже и самой Франции.— Притом, рабовладельцы их были уве-

рены, что пока будет существовать во Франции законное правительство, их интересы не будут подвергаться никакой опасности; им могло не нравиться, что есть во Франции люди, говорящие против рабства; они могли опровергать порицателей его; но знали, что эти хулители бессильны, и сами едва ли много интересовались своей полемикой с ними; вели ее больше для удовлетворения правилу, требующему не оставлять порицаний без ответа, чем по серьезной надобности возражать. Рабовладельцы английских колоний тоже не имели такого важного значения, чтобы хоть сама Англия внимательно вслушивалась в их голоса. Совершенно иной характер получил вопрос о невольничестве, когда аболиционисты в Североамериканском Союзе приобрели такое влияние на общественное мнение в свободных штатах, что плантаторы южных штатов стали опасаться отмены рабства законодательной властью Союза. Плантаторы южных штатов составляли могущественнейшую из политических партий в государстве, которое уж было одним из могущественнейших в целом свете и о котором предполагалось не одними его гражданами, но и большинством серьезных людей в Европе, что скоро оно станет могущественнейшим из всех государств. Рабовладельцы давно правили этим государством почти непрерывно; правили им совершенно непрерывно с той поры, когда противники невольничества стали приобретать влияние, опасное для них. Когда они серьезно встревожились за судьбу своих плантаций и увидели надобность защищаться от нападений аболиционистов, то нашлись у них на ораторскую, газетную, ученую борьбу громадные силы, как нашлись после на военную. Как при начале вооруженного столкновения большинство специалистов по военному делу стало на сторону рабовладельцев, так и в ученой борьбе плантаторы располагали трудом людей более авторитетных, чем антропологи аболиционистов. Достаточно припомнить, что в защиту рабства возвысил голос Агассиз.

Рабовладельцы были люди белой расы, невольники — негры; потому защита рабства в ученых трактатах приняла форму теории о коренном различии между разными расами людей. Белая раса вполне обладает теми качествами ума и характера, какие нужны для разумного управления государственными делами и обширными частными предприятиями вроде больших фабрик или сельского хозяйства в большом размере; негры по природе своей лишены не только способности к политической жизни, но и способности разумно, трудолюбиво вести хозяйственные дела,

потому не могут быть гражданами благоустроенного государства, а должны работать под распоряжением белых господ; их невольническое положение не только выгодно для их хозяев, но представляет и для них самих единственное избавление от нищеты; они так легкомысленны и ленивы, что без постороннего принуждения не могут добывать себе сытную пищу и хотя бы небольшие удобства жизни; это мы видим в Африке; там они бедствуют; у белых господ в Америке они пользуются изобилием. Невольничество — благодетельное для них учреждение.

Южные штаты Североамериканского Союза были не первые могущественные общества, устроенные на основании рабовладения. Теория, излагаемая учеными защитниками рабства в южных штатах, была не нова в своей сущности: уже греки оправдывали свою власть над рабами тем, что масса рабов — люди другой природы. Это говорит, например, Аристотель: он делит людей на разряды, из которых один самой природой предназначен владычествовать над другим, предназначенным природой для рабства[1]

Интересы рабовладения были не единственным источником господствовавшего у греков (и у римлян) мнения, что есть народы, которые предназначены природой к рабству, как они предназначены к свободе. Самолюбие бывает и бескорыстно; защитники рабства в древнем мире держались своего учения не только по расчету выгод, но и по тщеславию. Под влиянием уважения к общественному устройству и мыслям греков и римлян образованное общество новой Европы оставалось не чуждо склонности хвалить рабство и после того, как оно исчезло в ней. Специалисты по наукам о человеке разделяли эту склонность общества, к которому принадлежали. Но и само оно и его специалисты по наукам о человеке перестали чувствовать живой интерес к рассуждениям этого рода, когда стало очевидно, что рабство в Европе исчезло безвозвратно. Ученые защитники его повторяли привычные старые мысли, но не имели влечения много заниматься ими; вопрос оставался приблизительно на той степени разработки, какую дали ему Аристотель и другие греческие защитники рабства. Вялые повторения старины, которыми ограничивались похвалы рабству в XVIII веке, мало соответствовали тогдашнему состоянию знаний о физической природе человека, гораздо более высокому, чем во времена Аристотеля.

Но когда встревожились за свое рабовладение плантаторы южных штатов, ученые рассуждения в защиту рабства быстро получили такую разработку, какая была

нужна для опровержения мыслей партии, сделавшейся опасною для рабовладельцев южных штатов. Это было в первой половине нашего века. Учение об отношениях между группами живых существ было основано тогда на мысли, что существа, имеющие общее происхождение, имеют потомство, способное рождать детей, в свою очередь способных иметь детей таких же плодородных. Теория сообразности рабства негров с природой была сделана выводом из этого учения. Она приняла такой вид:

От сожительства белых мужчин с негритянками или негров с белыми женщинами дети родятся не в таком большом числе, как от сожительства белых мужчин с белыми женщинами или негров с негритянками. Дети, родившиеся от сожительства людей белой расы с людьми черной, гораздо менее способны иметь, в свою очередь, детей, чем люди белой расы или черной расы. Таким образом, средняя раса (мулатская) очень быстро вымирает, если число ее не поддерживается новыми рождениями от сожительства белых людей с черными. Мулаты и мулатки не способны поддерживать существование своей расы сожительством между собою. Что следует из того? — Вывод таков:

Сравнивая этот факт с результатами, производимыми сожительством самцов одного вида млекопитающих с самками другого, мы находим, что разница между белыми и черными людьми менее велика, нежели разница между лошадью и ослом, но более велика, чем разница между волком и собакой. Дети жеребца и ослицы или осла и кобылы совершенно бесплодны; дети волка и суки или кобеля и волчихи совершенно плодородны. Мулаты и мулатки не совершенно бесплодны, как мулы и лошаки, но несравненно менее плодородны, нежели ублюдки от сожительства волков с собаками.

Ясно, что как о волках мы имеем понятия иные, чем о собаках, и отношения наши к этим двум разным видам млекопитающих не одинаковы; и что как нельзя требовать или ожидать от осла тех качеств, которыми заслуживает наше сочувствие и уважение лошадь, так и о неграх мы не должны судить по тем понятиям, какие имеем о белых, и общественное положение негров должно быть совершенно иное, чем положение белых.

Вообразим себе, что нам необходимо, чтобы волк жил на нашем дворе; можем ли мы оставлять его на свободе, как оставляем собаку? Нет, этим мы только сделали бы вред себе и погубили бы волка. Быть может, он растерзал бы нас; еще скорее, он бросился бы резать домашний скот

на нашем и соседних дворах. В том и другом случае он был бы убит. Будем же держать его на цепи. Это будет счастье для него. Он будет сыт у нас, а у себя в лесу он постоянно мучился голодом.

Плантаторы были так могущественны, что ссориться с ними осторожные люди северных штатов считали делом очень опасным. Они заявляли, что если законодательная власть Союза нарушит их рабовладельческие права, их штаты отделятся от Союза и составят особую конфедерацию. Большинство населения свободных штатов пугалось этой угрозы, делало уступки плантаторам, предоставляло им управление Союзом. В книгах уступчивость отражалась тем, что ученые северных штатов переходили на сторону защитников плантаторской теории рас. Так, например, сам Агассиз, сильнейший боец за нее, был профессором в северных штатах, но совершенно подчинялся влиянию плантаторов. Само собою разумеется, что когда люди принимают чужие мнения по боязни ссоры, большинство этих сговорчивых прозелитов воображает себя действующим не по каким-нибудь предосудительным мотивам, не по робости или житейскому расчету, а по искреннему убеждению. В этом состоит извинение таким людям, как Агассиз. Вероятно, ему воображалось, что он говорит по совести, а не по раболепству.

Как ученые в северных штатах подчинялись авторитету южных защитников рабства, так большинство европейских ученых подчинилось по вопросу о расах авторитету североамериканских ученых. И действительно, как было не принять теорию о коренной разнице рас? Мулаты и мулатки бесплодней ублюдков волка и собаки; это говорили североамериканские ученые; они изучили факты на месте. Следовало верить им.

Но следовало бы также подумать о том, беспристрастны ли они, действительно ли они изучили факты, о которых говорят с такою уверенностью, добросовестно ли они передают хотя бы те факты, которые ясны и без особенного изучения сами бросаются в глаза. Европейские ученые не считали нужным этого; они были белые, плантаторское учение о расах льстило белой расе; какая же охота была им сомневаться в его основательности?

Северные штаты робели плантаторов. Европа слышала, что плантаторы грозят расторжением Союза; она знала, что результатом отпадения была бы междоусобная война; междоусобие помешало бы работе на хлопчатобумажных плантациях, Европа терпела бы недостаток в хлопке. И что было бы, если бы война кончилась победой северных шта-

тов? Рабство было б отменено; освобожденные негры не стали бы работать, потому что они ленивые животные, не желающие приобретать удобств жизни трудом, предпочитающие животную нищету работе. Белые люди не могут работать на хлопчатобумажных плантациях, к этому способны только негры — так говорили плантаторы, и Европа верила им. В случае победы северных штатов Европа останется без хлопка, подвергнется очень тяжелому экономическому бедствию; потому Европе надобно желать, чтобы северные штаты продолжали подчиняться южным и чтобы продолжало существовать в южных штатах невольничество. Так думало тогда большинство влиятельных людей в Европе.

Но бедствие, которого так опасались уступчивые люди в северных штатах, которое пугало и Европу, произошло. Плантаторы отложились от Союза, началась междоусобная война, она длилась почти четыре года; подвоз хлопка из южных штатов в Европу остановился; те части Европы, в которых была развита хлопчатобумажная промышленность, подверглись тяжким, продолжительным страданиям. Война кончилась отменою невольничества в южных штатах. Безрассудная часть плантаторской партии мечтала о его восстановлении. Большинство плантаторов скоро убедилось, что восстановить его нельзя. Вопрос о невольничестве перестал иметь политическое значение, сделался предметом исключительно научного исследования. Что же тогда оказалось? Факты свидетельствуют противное тому, что говорили о бесплодии мулатской расы ученые защитники невольничества,— относительно плодородия мулаты и мулатки нисколько не отличаются от белых и черных.

Предлогом говорить об их бесплодии служило то обстоятельство, что очень многие мулатки действительно или оставались бесплодными, хотя имели сожительство с мужчинами, или если рождали детей, то дети их умирали в громадной пропорции, не достигая взрослых лет. Но оказалось, что эти мулатки вели такой образ жизни, который производит те же самые результаты у женщин всякой расы, белой ли, желтой ли, или черной; а те мулатки, которые вели образ жизни, удовлетворяющий общим для всех рас условиям плодородия женщин и здорового роста их детей, имели столько же детей, как ариянки, монголянки или негритянки, ведущие такой же образ жизни, и дети у них вырастали такими же здоровыми, как у женщин этих рас.

Люди, не знающие, какое влияние имеет лживое общественное мнение на мысли ученых, дивились тому,

что можно было с такой беззаботностью о правде утверждать, будто бы мулатки мало способны иметь многочисленных здоровых детей. Был курьез еще более странный. На той степени плодородия ублюдков, при которой их потомство могло бы существовать неопределенное число поколений, не уменьшаясь или даже увеличиваясь в числе, очень часто был наблюдаем факт, что тип этого потомства неустойчив; дети не сохраняют типа своих родителей-ублюдков, а возвращаются к типу той или другой из рас, от которых произошли родители-ублюдки. Так, например, было замечаемо, что если от сожительства животных белой породы с животными черной породы произошли пестрые дети, то у этих пестрых детей лишь немногие дети будут пестрые, а большинство будут или белые, или черные. Едва ли наблюдения о цвете потомства млекопитающих разного цвета анализированы с достаточной точностью. Но предположим, что они совершенно достоверны. Ученые защитники невольничества переносили на мулатов и мулаток то наблюдение, которое считалось достоверным относительно пестрых детей, рождающихся от сожительства овец или собак разного цвета. Они говорили: мулатский тип не имеет устойчивости; дети мулата и мулатки не походят на своих родителей, уклоняются от них или к белому, или к негритянскому типу; дети тех, которые приблизились, например, к негритянскому типу, будут еще ближе к нему, чем их родители, и таким образом через небольшое число поколений потомки мулата и мулатки становятся совершенными неграми.

Чтоб определительно судить о плодородии или бесплодии людей какого-нибудь типа, нужно иметь статистические сведения. Понятно, что масса общества может быть обманываема в этом деле самоуверенностью тона специалистов; понятно и то, что специалисты, не имеющие под руками статистических цифр, могут быть вводимы в ошибку доверием к товарищам, говорящим самоуверенно. Но вопрос о сходстве детей с родителями решается без всяких ученых пособий прямым наглядным впечатлением. Каждому, живущему в рабовладельческой стране, было превосходно известно, что дети мулата и мулатки имеют точно такое же сходство с родителями, как дети белых людей или негров; что поэтому мулатский тип очень устойчив. Но обществу рабовладельческих земель угодно было пренебрегать этим своим знанием и повторять приятные для него слова ученых защитников рабства, что дети мулата и мулатки не сохраняют типа родителей.

Как объяснить возможность такого противоречия наглядной истине? Подлог был произведен способом очень бесцеремонным, но вполне пригодившимся для получения приятной лжи. Мулаты и мулатки в Соединенных Штатах не составляли отдельного общества, не жили вместе сплошными группами. Мулат или мулатка обыкновенно жили в доме или хижине белого или черного семейства. Мулатам чаще случалось быть любовниками или мужьями негритянок, чем мулаток; мулаткам чаще случалось быть любовницами белых или женами негров, чем любовницами или женами мулатов. Дети мулатки от негра в большинстве случаев, разумеется, имели тип средний между отцом и матерью, то есть более походили на негров или негритянок, чем их мать. Дочери этих дочерей, становясь женами негров, имели детей еще более близких к негритянскому типу. То же самое, только в обратном направлении, происходило при сожительстве мулатки с белым, их дочерей с белыми. Ступени генеалогии, приближающей потомство мулатки к белому типу, были определены с полной точностью, и по крайней мере на первых ступенях признаки были так ясны, что каждый в рабовладельческой стране по одному взгляду с достоверностью узнавал генеалогическую степень человека, имеющего тип средний между мулатским и белым. Дочь мулатки и белого была терцеронка: дочь терцеронки и белого была квартеронка; признаки терцеронки были так резки, что никто не мог принимать ее ни за мулатку, ни за квартеронку; каждый видел, что она терцеронка. Дочь квартеронки и белого уже трудно было отличить от белой человеку, не жившему в рабовладельческой земле; когда ее потомки еще два или три поколения имели детей от белых, то ее потомки становились трудно различимы от белых и для опытного наблюдателя. В десятом или двенадцатом поколении они уж становились неразличимы от белых и для опытного взгляда. Словом, дело шло по тем же законам, как при сожительстве всяких людей какого-нибудь типа с людьми какого-нибудь другого типа, как, например, при сожительстве потомства испанца и француженки с людьми французской национальности или потомства каталонца и андалузанки с людьми каталонского племени. А когда люди мулатского типа сожительствовали между собой, то их тип оставался прочен в их потомстве. Это было известно всем в рабовладельческих штатах; но приверженцам рабовладения угодно было повторять полезную для защиты невольничества ложь, будто бы мулатский тип неустойчив.

Теперь все рассуждения о бесплодии мулаток, или о неустойчивости мулатского типа, отброшены серьезными антропологами, как пустые выдумки ученых, бывших прислужниками рабовладельцев.

Классификация рас остается до сих пор очень шаткой в своих подробностях. Специалисты, справедливо признаваемые наиболее компетентными судьями по вопросам этого рода, не сходятся между собою в том, сколько коренных рас должно считать. И последователи известного способа классификации не сходятся между собою в мнениях, к той или другой из принимаемых ими рас причислить то или другое племя. Признаки, по которым следует делить людей на расы, тоже остаются предметом споров.

Наиболее популярный признак расы — цвет кожи. Но есть авторитетные специалисты, находящие, что он имеет очень мало научного значения. Некоторые из них думают, что гораздо важнее разница по форме волос на голове; они делят людей на три основные расы: у одной из них волоса имеют в поперечном разрезе круглую форму; эти волоса нисколько не вьются; у другой расы разрез волоса головы — эллипс не очень стиснутый; эти волоса слегка вьются; у третьей расы разрез волоса головы — эллипс очень сплюснутый, так что волос походит на ленту с закругленными коймами; такие волоса курчавы, как овечья шерсть. Вообще эта классификация довольно близко совпадает с делением людей на желтую, белую и черную расы. Она замечательна тем, что порядок рас в ней не тот, как в классификации по цвету кожи, в которой на одном конце порядка стоит белая раса, на другом черная,— желтая занимает средину между ними; в классификации по форме волос головы масса народов, составляющих белую расу, занимает средину между народами желтой и черной рас. Без сомнения, несравненно бóльшую важность имеют различия формы головы. Их можно подводить под две разные точки зрения; с одной — коренным принципом деления принимается собственно форма черепа, с другой — форма профиля. Но и по форме профиля, и по форме черепа выводы относительно деления людей на расы получаются приблизительно одинаковые; исключения есть, но вообще овальный череп соединен с так называемым кавказским (или греческим, европейским) профилем; угловатый череп — с плоским (китайским, монгольским) профилем; длинный и приплюснутый череп — с негритянским профилем. Форма черепа и профиля, как всеми признано, несравненно важнее цвета кожи и формы волос головы, но некоторые специалисты не считают удобным

ставить ее важнейшим основанием классификации рас, потому что она менее устойчива, чем цвет кожи и форма волос. Так, например, замечено, что дети американских негров, купленных в Африке, вообще имеют очертание профиля менее далекое от арийского, чем их отцы; с каждым поколением это изменение развивается. Правда, что и теперь негры Соединенных Штатов остаются все еще очень не похожи на арийцев чертами лица; но вообще они потомки африканских негров лишь в четвертом, много пятом поколении. В Африке встречается большая разница профиля между племенами одинакового цвета кожи и одинаковой формы волос головы. Некоторые из них имеют профиль очень похожий на арийский. Возможно, что причина этой разницы — неодинаковость истории племен. Те, которые имели очень долго жизнь менее бедственную, чем другие, и сделались людьми несколько более развитыми в умственном и нравственном отношении, приобрели формы головы, более подобные формам народов, давно вышедших из дикого состояния; потом их материальное и нравственное положение ухудшилось, но медленные перемены в чертах лица, производимые понижением быта, еще не успели развиться вполне, а понизившись до прежнего дикого состояния, эти племена еще сохранили черты прежнего более высокого развития. Впрочем, кажется, что это объяснение основано только на аналогии; едва ли найдены какие-нибудь факты, прямо подтверждающие его. Аналогия — аргумент, не заслуживающий серьезного доверия.

По нынешним понятиям вопрос о происхождении рас представляется в следующем виде:

Не только такие группы живых существ, как волк, собака и близкие к ним виды, или как лошадь и осел и очень сходные с ними виды, но и все млекопитающие, несомненно, имеют общее происхождение. Таким образом, бесплодие сожительства млекопитающих разных групп вовсе не относится к делу, когда речь идет о том, имеют ли они общее происхождение. Они все имеют его. Бесплодие свидетельствует вовсе не о разнице происхождения, а только о том, что разница в устройстве организма сожительствующих существ более велика, чем было бы совместно с возможностью для них иметь детей. Происхождение этой разницы чисто историческое. Если существа двух групп имеют от своего сожительства детей, но их дети бесплодны, это значит, что их организмы более различны, нежели было бы совместно с рождением плодородного потомства.

Разные расы людей производят на обыкновенного наблюдателя-неспециалиста очень неодинаковое впечатление по цвету кожи, характеру волос головы, формам черепа и профиля; но он видит, что все это существа одинаковые в той же степени, как одинаковы, например, разные породы обыкновенной домашней (европейской, то есть собственно египетской) кошки или европейского медведя. Это простое мнение массы людей вполне подтверждено теперь наукой.— Ни в какой породе млекопитающих нельзя найти два существа, которые были бы безусловно одинаковы; у тех млекопитающих, которые рождают несколько детей в одно время, дети, родившиеся одновременно, все-таки несколько отличаются одно от другого. Потому, когда речь идет о тожестве организации двух млекопитающих одной породы, научный смысл слов «их организация тожественна» состоит не в том, что между ними нет никаких разниц, а только в том, что разницы очень незначительны сравнительно с элементами тожества.

В этом смысле имеем ли мы право сказать, что все расы людей тожественны не только по своей организации, но и по своим умственным и нравственным качествам? В XVIII веке было сильно распространено между передовыми людьми мнение, что должно сказать так. Они говорили о единстве человеческой природы в выражениях очень широких и сильных. Некоторые из знаменитых мыслителей, воспитавшихся в конце того периода, сохранили это убеждение на всю жизнь. Например, Песталоцци и Гегель продолжали в двадцатых годах нашего века говорить о тожестве людей безоговорочным тоном Руссо: каждый человек, родящийся здоровым, родится с теми же склонностями, как всякий другой, природная разница умственных и нравственных сил людей, родящихся не больными, а здоровыми, очень невелика. Но лет через десять или двадцать оставалось уже очень мало ученых, которые не смеялись бы над этим мнением, как чрезмерно наивным. Пренебрежение к нему было одним из частных результатов ненависти к теориям XVIII века. Но время ненависти прошло, и новые поколения стали находить, что мыслители XVIII века были менее наивны, чем казалось поколениям, ненавидевшим его. Одним из результатов этой перемены было возникновение того направления, которое теперь стало господствующим в естествознании. По применению к частному вопросу о человеческих расах его можно характеризовать так: разницы между расами проникают всю организацию; не только форма черепа и профиля или ступни ноги у каждой расы своя особенная, но

и каждая кость, каждый мускул, каждая железа имеет у каждой расы свои особенности; не только передние полушария головного мозга имеют у каждой расы некоторые особенности, имеет их и каждый нерв желудка или ноги; но все эти разницы довольно незначительны сравнительно с элементами тожества в организации всех рас.

Естествознание приняло господствующее теперь направление очень недавно; натуралисты еще не очень пожилых лет учились по книгам противоположного направления. Дело только начинается, и, как далеко пойдет оно в своем развитии, нельзя сказать определительно. Но по крайней мере до сих пор быстро ослабевает в науке значение разниц между расами. Специалисты не какие-нибудь люди особой породы; огромное большинство их, подобно огромному большинству всяких других людей, подчиняется общественному мнению, которое вырабатывается под преобладающим влиянием событий. Потому дальнейший ход этого, как и всякого другого, ученого дела очень много зависит от хода событий. Говорят иногда, что мысли натуралистов имеют основу совершенно твердую, так что не могут поддаваться требованиям общественного мнения. Конечно, не только астрономия, но и физиология должны быть названы системами понятий очень прочных сравнительно с теориями политических и общественных наук. Но припомним факты из истории не то что физиологии, а самой астрономии. Пусть очень простительно было Тихо де Браге изобретать свою систему для того, чтоб уклоняться от научной надобности признать систему Коперника, держаться которой было бы для него если не так опасно, как для Галилея, то все-таки неудобно. Но какие серьезные неприятности могли угрожать французским астрономам конца XVII и начала XVIII века, если б они приняли теорию Ньютона? Неудобств от этого не было им никаких; но они были французы; они жили во французском обществе: оно предпочитало астрономическую систему своего соотечественника Декарта системе англичанина Ньютона; и несколько десятилетий большинство французских астрономов отвергало теорию Ньютона, защищало теорию Декарта.

Между специалистами по антропологии много споров о том, какие разницы должны быть принимаемы за основание классификации людей по расам, сколько коренных рас должно считать, к какой расе или к какой помеси рас должно относить то или другое племя. Но факты, которые совершенно достоверны, охватывают огромное большинство человеческого рода. Для людей, ищущих в антропо-

логии решения важных исторических вопросов, эти бесспорные факты достаточны.

На сколько именно рас делятся люди — вопрос, не имеющий очень большого значения для истории человечества. Важны только три расы: белая, желтая и черная, или раса с вьющимися волосами головы, прямыми волосами и волосами, подобными шерсти, или раса с овальным черепом, рельефным профилем, не выдающеюся вперед нижнею челюстью, раса с угловатым черепом, плоским лицом, нижнею челюстью, не выдающейся вперед, и раса с приплюснутым черепом, плоским лицом, нижнею челюстью, сильно выдающеюся вперед. Эти три расы составляют, вероятно, более девяти десятых частей общего населения земного шара. Если принимать какие-нибудь другие расы за коренные, то все вместе они и незначительны числом и сравнительно не важны историческим значением. И ни об одном из народов или племен, занимающих важное место в нынешнем составе рода человеческого, нет сомнений, к какой расе должно отнести его; точно так же нет этого сомнения почти ни об одном из народов, имевших важное значение в истории человечества, если до нас дошли сколько-нибудь точные известия о его наружности. Этого достаточно для исследователя или рассказчика всеобщей истории. Если о каком-нибудь народе, имевшем довольно важное значение в истории человечества, нам неизвестно с полною достоверностью, к какой расе принадлежал он, то неудовлетворительность наших сведений о нем заключается не собственно в недостатке известий о его наружности, а вообще в недостаточности известий о нем.

Все расы произошли от одних предков. Все особенности, которыми отличаются они одна от другой, имеют историческое происхождение. Но какую степень устойчивости имеют их особенности? — не все одинаковую. Цвет кожи негров очень устойчив. Едва ли можно полагать, что через двадцать поколений негры, живущие в стране русого народа, имеющего очень белую кожу, могут стать имеющими кожу значительно менее черную, чем имело первое поколение. Желтая кожа и белая кожа гораздо быстрее принимают оттенки, сближающие их по цвету. Собственно говоря, цвет кожи монгола, ставшего светлым, сохраняет свою особенность колорита, не одинаков с цветом кожи очень смуглого человека чистой арийской расы; многие люди монгольской расы имеют очень светлую кожу, но, всматриваясь, все-таки можно видеть, что это не белый цвет, а только посветлевший желтый и наоборот, у арий-

цев, очень смуглых, все-таки видно, что цвет их кожи — не желтый, а потемневший белый. Так по крайней мере говорят специалисты. И едва ли будет легковерием считать это правдой. Относительно формы черепа достоверно известно, что с развитием умственной жизни людей какого-нибудь племени лоб их становится выше; с этим соединено уменьшение длины нижней челюсти, так что изменяется профиль, происходит увеличение так называемого лицевого угла. С какой степенью быстроты может происходить эта перемена и какой величины может достигать она, еще не исследовано определительным образом. Но по личным отрывочным наблюдениям известно много случаев, что лоб правнуков имел гораздо более высоты, чем какой имели прадеды. У многих племен и народов замечено, что высшее сословие имеет более развитый лоб, нежели масса населения. В некоторых случаях это объясняется разностью происхождения. Но встречается много случаев, в которых достоверно известная одинаковость происхождения высшего и низшего сословий; тут очевидно, что разница профиля произведена различием материальной и умственной жизни.

Белые люди всегда считали свою расу лучше желтой расы и были расположены презирать черную. Люди этих рас думают о себе, кажется, очень неодинаково: есть много известий, что монголы считали черты лица своей расы более красивыми, чем профиль белой расы; но много известий и о том, что они признавали людей белой расы более красивыми, чем своих соплеменников. Между неграми некоторые также предпочитают свою расу белой, другие — белую своей. То, что многие из желтых и черных людей находят белую расу более красивою, чем свою, может служить подтверждением высокого мнения белых людей о красивости своей расы. Но если огромное большинство желтых и черных людей имеет лица некрасивые на взгляд белых, то следовало бы разобрать, насколько в этом впечатлении участвуют обстоятельства, посторонние сущности вопроса, как, например, то, что материальное положение желтых и черных людей хуже положения белых и умственная жизнь их менее развита. Могут ли желтые и черные люди при обстоятельствах, благоприятствующих приобретению красивости, делаться очень красивыми на взгляд белых людей? — Мы имеем множество свидетельств белых путешественников о том, что есть племена негритянской расы, имеющие очень красивые черты лица; эти племена встречаются вдали от моря, где жизнь менее тяжела для негров, нежели в приморских частях Африки.

Все белые люди, бывавшие в Японии, говорят, что многие японки очень красивы лицом. Цвет кожи, красивость лица — не такие особенности, которые имели бы прямую связь с умом и характером. Относительно цвета кожи понятно само собой, что он не имеет непосредственного отношения к деятельности головного мозга. Нельзя найти никаких физиологических причин, почему белый, или желтый, или черный цвет кожи мог бы считаться благоприятным или неблагоприятным для высокого развития умственной жизни или результатом какого-нибудь ее состояния. Но у нас есть сильное влечение предполагать хорошие умственные и нравственные качества в людях, красивых лицом; и можно думать, что эта связь до некоторой степени действительно существует: красивые черты лица — результат хорошей организации всего тела; хорошая организация тела не может не быть признана основой для хорошей деятельности головного мозга. Но хотя эти условия и должны считаться коренными, развитие нравственной и умственной жизни человека подвергается таким сильным посторонним влияниям, что результат чрезвычайно часто оказывается несоответствующим характеру личной организации. Людям красивым следовало бы быть умными и добрыми; никто не собирал данных о том, какова пропорция умных и добрых людей между ними,— более ли велика она между ними, нежели между некрасивыми людьми (того же общественного положения); но каждому из нас известно по личному житейскому опыту, что между красивыми людьми встречается очень много недалеких по уму и не заслуживающих симпатии по характеру. Люди очень некрасивые лицом должны были бы быть гораздо ниже красивых по уму и качествам характера. Но каждому из нас известно, что многие очень некрасивые люди очень добры и умны. Дело в том, что наружность человека может пострадать от влияний, которые не будут проникать в глубину организма; профиль испортится, а головной мозг не пострадает; наоборот, могут быть влияния, которые испортят головной мозг, не испортив профиля. Вообще, достоверные сведения об уме и характере человека мы до сих пор не можем приобретать никакими рассуждениями по каким-нибудь общим основаниям. Они приобретаются только изучением поступков этого человека.

Это говорено было собственно по вопросу о связи красивости лица с умственными и нравственными качествами. Иное дело придавленность передней части черепа; она, конечно, прямо показывает, что у человека мало развиты передние части головного мозга. Потому, те негритянские

племена, у которых передняя часть черепа очень придавлена, конечно, имеют передние части головного мозга мало развитыми. Но вопрос вовсе не в том, низко ли нынешнее состояние их умственной жизни, а в том, способны ль они к высокой цивилизации, может ли развиться передняя часть головного мозга их, подняться их лоб. Факты показывают, что может.

Пока существовало невольничество в Соединенных Штатах, полемика должна была идти о том, способны или неспособны негры быть гражданами благоустроенного государства. Теперь спор об этом сделался излишним. Они получили права граждан и пользуются ими точно так же, как те части белого населения Соединенных Штатов, которые по несчастным обстоятельствам своей истории находятся еще на низкой степени развития. Нет никакой разницы между тем, как вотирует большинство ирландцев, переселившихся в Америку уже немолодыми людьми, и большинство негров: те и другие одинаково поддаются происках интригантов. Как будут вотировать негры Соединенных Штатов через несколько десятков лет — мы не знаем, но беспристрастные люди говорят, что уже теперь, через двадцать лет по приобретении права голоса, они пользуются им гораздо рассудительнее, чем вначале.

Впрочем, вопрос о неграх утратил прежнее значение по их освобождении в Соединенных Штатах. Там, где освобождены, они по закону пользуются всеми или почти всеми правами свободных граждан и если подвергаются каким-нибудь стеснениям в общественной жизни от обычаев, усвоенных белыми в рабовладельческие времена, то эти стеснения заметно уменьшаются по мере того, как белые теряют рабовладельческие привычки. Отмена невольничества на Кубе и в Бразилии — дело близкого времени; в том не сомневаются сами рабовладельцы.— Очень вероятно, что через несколько времени возникнут в Африке отношения, при которых вопрос о людях негритянской расы получит очень большую важность: белые с юга и в особенности с запада надвигаются на ту часть Африки, которая населена неграми. Этими будущими отношениями можно и теперь сильно интересоваться, но мы еще не имеем достаточных данных для того, чтобы предугадывать, какова будет участь негров в Африке при распространении владычества или очень сильного влияния белых на их земли.

В настоящее время из вопросов о расах наиболее важны относящиеся к желтой расе. Она гораздо многочисленнее черной, притом никто не сомневается в способности

желтых людей иметь большие благоустроенные государства с нынешнею принадлежностью больших держав — многочисленным хорошо дисциплинированным войском. Часто встречаются рассуждения о том, не предстоит ли европейским государствам очень большая опасность от Китая, население которого так многочисленно. По пропорции числа войск во Франции, Германии, России, Китай может сформировать 15 или 20 миллионов войска, и если приобретет достаточные денежные средства, то может послать на Европу 7 или даже 10 миллионов воинов. При нынешних отношениях между европейскими государствами нет никакой вероятности, чтобы они соединились для общей обороны; напротив, они стали бы держаться так, как государства древней Греции при нашествиях македонян. Есть в Европе довольно много людей, предполагающих вероятность подавления Европы китайцами. Эти страхи фантастичны: когда китайцы усвоят себе европейские искусства настолько, чтобы войска их стали не то, что очень хороши, а хотя бы только не хуже нынешних турецких, Китай уже не будет одним государством. Теперь разные племена китайского народа остаются соединены в одно государство только потому, что еще не умеют защитить свою самостоятельность от иноземного ига.

Но не фантастический, а реальный интерес имеет вопрос о желтой расе с иной стороны: способна ль или неспособна приобрести очень высокое умственное и нравственное развитие раса, к которой принадлежит половина человеческого рода? До недавнего времени у европейских ученых владычествовали о желтой расе понятия презрительные. Негры были не люди, а животные; о расе, имевшей великих мыслителей, сделавшей великие технические открытия, нельзя было говорить таким тоном, как о неграх; китайцев нельзя было не признавать людьми. Но они были люди низшей породы. Умственная и нравственная организация их имела черты, существенно отличные от качеств, составляющих истинное человеческое достоинство белой расы. В те времена предполагалось, что фантазия — собственно человеческое качество; животные тогда не имели фантазии. Теперь имеют; мы знаем, что она — одна из неизбежных функций мышления, и что каждое существо, имеющее какие-нибудь представления, необходимо имеет в числе их и некоторые представления, соответствующие не действительным впечатлениям, а комбинациям их, то есть представления, принадлежащие области воображения. Но в те времена не хотели знать этого; ученые на одной странице трактата писали о собаках и кош-

ках, видящих сны, а на следующей преспокойно толковали, что животные не имеют воображения; впрочем, в те времена животные не имели способности мыслить. О китайцах нельзя было сказать, что они лишены способности мыслить, но воображение у них было чрезвычайно слабо. Они были способны только заботиться о материальных выгодах, в этом и состояло все их мышление. Когда думаешь исключительно о своих житейских делах, то, разумеется, для фантазии тут очень мало простора. Вот именно в таком состоянии находились китайцы: по свойству своей расы думать только о житейских делах, они не имели надобности в воображении, и природа не сделала им никакого огорчения, лишив их этой высшей человеческой способности. Правда, результаты такой скупости природы относительно наделения китайцев человеческими качествами были очень важны в материальном отношении; лишенные фантазии, китайцы не могли создавать никаких идеалов, тем менее могли стремиться к их осуществлению; лишенные идеалов, они не могли представить себе ничего лучше той обстановки, в какой жили, ничего лучше обычаев, каких держались; из этого происходил роковой закон их жизни: неподвижность. Китайская история вполне подтверждала это: если европеец писал хоть десять строк, имеющих какое-нибудь отношение к китайской истории, то в этих десяти строках непременно находилось место для замечания, что китайцы живут теперь точно так же, как жили за 2000 лет до нашей эры, что с той поры не произошло никакой перемены в китайских обычаях, никакого изменения в китайских понятиях о вещах. Вообще, очень странные люди были китайцы.

Это, впрочем, и было натурально, потому что желтая раса имела свое особое происхождение, различное от белой. Люди, имевшие совершенно различное происхождение, разумеется, должны были быть существенно различны между собой.

Но теперь — увы! — нам, белым, никак нельзя оставаться при мысли, что белая и желтая расы — две группы существ разного происхождения. Китайцы произошли от тех же самых предков, как и мы.— Они не особенная порода людей, а люди одной с нами породы; потому они должны подлежать тем же законам жизни и мышления, как и мы, должны, между прочим, иметь и фантазию. Говоря серьезно, трудно представить себе при нынешнем состоянии антропологии возможность тех странных мнений о китайцах, которые еще недавно казались большинству ученых рассудительными. При внимательном на-

блюдении невозможно не видеть, что желтые люди думают и чувствуют совершенно то же, что белые люди на подобной им степени развития. Те особенности, какие мы замечаем в китайцах,— не особенности китайцев, а общие качества людей данного исторического состояния и общественного положения. Говорят, например, что китайцы очень трудолюбивы и довольствуются очень малым. Это общие свойства людей, предки которых с давнего времени вели оседлую жизнь, жили своим трудом, а не грабежом, жили в угнетении, жили бедно. Те части каждого из европейских народов, которые подходят под эти условия, точно так же трудолюбивы, как китайцы, точно так же довольствуются скудным вознаграждением. Точно то же оказывается и относительно других так называемых особенностей китайца: это — не особенности китайца, а общие качества всех людей, всех рас, в том числе и белых людей соответствующего положения.

Остается сказать в частности об одной из мнимых китайских особенностей, о так называемой неподвижности китайского быта и китайских понятий. Китайская история имеет те же самые черты, как история всякого народа при таких же обстоятельствах. Теперь известно, что жизнь каждого цивилизованного народа подвергалась при некоторых сочетаниях обстоятельств упадку; самым обыкновенным из этих понижающих цивилизацию фактов было опустошение страны нашествием иноземцев. В крайней своей степени это бедствие получало устойчивый характер под формой иноземного владычества. В истории Западной Европы такими бедствиями были, например, нашествие гуннов, потом набеги венгров, наконец, нашествие турок. Развернем какой случится трактат об истории Западной Европы; в каждом мы найдем одно и то же совершенно справедливое замечание, что эти бедствия надолго роняли благосостояние и культуру народов, подвергавшихся им. Для ясности сравним китайскую историю с английской. Англия не подвергалась иноземному завоеванию со второй половины XI века. Население Англии имело время отдохнуть, оправиться и, поднявшись до прежнего уровня благосостояния и культуры, сделать новые успехи. Разверните историю Китая и сосчитайте, сколько раз в это время подвергался он завоеванию варварами. Китайская история не неподвижность, а ряд падений цивилизации под гнетом нашествий и завоеваний варваров. После каждого упадка китайцы оправлялись, успевали иногда подняться до прежнего уровня, иногда и выше его, но снова падали под ударами варваров. Почему варварам удавалось

одолевать народ цивилизованный и более многочисленный, чем они, вопрос, требующий особого разъяснения, но он относится не к одной китайской истории: бывали покоряемы сравнительно малочисленными варварскими племенами и другие цивилизованные народы; бывало это и в западной Азии, и в Европе.

Нет сомнения, что люди желтой расы имеют какие-нибудь природные различия от людей белой расы в своей умственной и нравственной организации, потому что всякому наружному различию должно соответствовать какое-нибудь различие и в устройстве головного мозга; но связь этих различий, или маловажных, или изменчивых, остается еще не исследованной и потому ставить ее принципом объяснения каких-нибудь определенных фактов умственной или нравственной жизни, значит придавать важность мелочам и говорить наудачу пустяки без всякого научного основания. Чтобы видеть, как шатки объяснения подобного рода, сделаем обзор родства тех млекопитающих, которые особенно хорошо знакомы всем нам.

Лошадь довольно послушная служительница человека, осел, близкий родственник ее, тоже служит нам; но есть несколько видов млекопитающих, еще более близких лошади, чем осел, и, однакоже, оказывающихся не покорными человеку.— Из близких родных быка некоторые более или менее подчинились человеку, как, например, буйвол и як, но американский бизон до сих пор остается неукрощенным.— Мы сделали домашним животным кошку, собака давно стала вернейшим другом человека; гепард, напоминающий своим видом отчасти кошку, отчасти собаку, тоже служит человеку. Но волк, гораздо более близкий родной собаке, чем гепард, остается не укрощен. Словом, какое бы из млекопитающих, сделавшихся нашими слугами, ни взяли мы, у него есть очень близкие родственники, не захотевшие служить нам или оказавшиеся по своему характеру непригодными для нашей службы. А ряд тех немногих млекопитающих, которые служат нам, состоит из представителей семейств, очень далеких одно от другого по своей организации; собака и кошка принадлежат к двум разным семействам отдела хищных животных, лошадь и осел — к отделу однокопытных, бык, овца и коза — к разным семействам отдела жвачных, слон и свинья — к разным семействам отдела толстокожих.

До какой степени еще остается неуловима для нас связь между умственными силами млекопитающего существа и наружностью его, мы увидим, припомнив, какие млекопитающие (кроме обезьян) считаются самыми ум-

ными. Это слон, лошадь и собака. Есть множество животных, занимающих в зоологической классификации очень близкие к нам места и, однакоже, не заслуживших репутацию особенно умных. Одно из двух: или мы несправедливы к этим животным, которых не считаем особенно умными, или классификация по наружным признакам не дает достаточных средств судить об умственных способностях. Во многих случаях, вероятно, мы несправедливы; так например, осел, по всей вероятности, заслуживал бы считаться животным очень умным. Но во многих случаях небольшие наружные разницы, вероятно, в самом деле соответствуют очень большим различиям в умственных способностях и, наоборот, очень большие разницы наружности не производят большой разницы в умственных силах.

При таком положении наших знаний о связи между наружными признаками и умственными силами научная осторожность не допускает ставить различие между белой и желтой расами принципом объяснения каких бы то ни было фактов их истории. До сих пор еще остается сильна старая привычка объяснять исторические разницы расовыми; но это метод объяснения устарелый и дающий два очень дурные результата: во-первых, объяснение, основанное на нем, обыкновенно бывает само по себе ошибочно; во-вторых, успокоиваясь на этом фальшивом, мы забываем искать истинного объяснения.

Во многих случаях истина была бы ясна сама собою, если бы не была закрыта от нас фантастическим объяснением факта посредством расовых отличий. Так, например, мнимая неподвижность быта и понятий китайцев была бы без всякого труда понята нами в истинном ее виде как ряд падений цивилизации под гнетом варваров, если бы наше внимание не было отвлечено от этих бедствий произвольной фразой о неспособности желтой расы подняться выше известного уровня цивилизации.

Остановимся пока на этом.

3

О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ НАРОДАМИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ХАРАКТЕРУ

Быт и события жизни людей определяются отчасти внешними фактами, независимыми от их качеств, отчасти собственными их качествами. Те группы людей, о которых рассказывает история,— народы, части народов, соединения народов или частей народов.

Из этих бесспорно справедливых мыслей само собою следует, что наши знания о качествах народов могут служить одним из источников разъяснения форм быта и событий жизни исторических групп людей.

Качества какой бы то ни было группы людей — совокупность качеств отдельных людей, из которых она состоит. Потому знания о качествах этой группы только совокупность знаний об индивидуальных качествах людей, составляющих ее. Таким образом, наши знания о качествах народа не могут быть ничем иным, как соединением наших знаний о качествах отдельных людей, составляющих этот народ[1].

Мы часто можем приобретать довольно хорошее знакомство с качествами отдельных лиц, не зная ни быта их и никаких важных фактов их жизни. У каждого бывающего в многолюдных обществах есть знакомые, о которых он ничего не знает, кроме впечатлений, производимых на него и его родных или друзей встречами в обществе с ними; эти встречи могут быть совершенно ничтожны по своему содержанию, ограничиваться обменом приветствий и разговорами о предметах, посторонних разговаривающим, и, однакоже, давать нам достаточные материалы для довольно верных суждений об некоторых из умственных и нравственных качеств нашего знакомого. Например, если мы разговаривали с ним о газетных известиях или городских анекдотах, то очень может быть, что мы хорошо узнали его мнение о всяческих общественных и нравственных вопросах; а по его мнениям мы можем разгадывать его нравственные качества.

Когда мы таким образом ознакомились с нравственными качествами человека, о котором не знаем ничего, кроме наружности, одежды и этих его качеств, мы можем делать выводы о том, какой образ жизни ведет он; и если услышим о каком-нибудь важном его поступке или событии его жизни, можем в некоторых случаях удовлетворительно объяснять этот факт нравственными качествами его. Предположим, например, что по его разговорам мы убедились, что он рассудителен и одарен твердой волей. Мы можем выводить из этого догадку, что он устроил свой быт по возможности хорошо, что, например, он каждый день имеет пищу, качество которой соответствует его денежным средствам, а не тратит на один обед столько денег, что после того несколько дней голодает. Предположим, мы услышали, что он подвергался какой-нибудь опасности, но вышел из нее цел; мы имеем право сделать догадку, что он держал себя в этой опасности рассудительно и мужест-

венно. Будут ли такие догадки достоверными знаниями? Разумеется, нет; но пока не получим сведений, которыми опровергались бы они, мы имеем разумное право считать их правдоподобными, а в некоторых случаях даже очень вероятными.

Итак, относительно отдельных лиц часто мы можем иметь гораздо больше знаний о их качествах, чем о их быте и важных фактах их жизни. В этих случаях наши знания о их качествах могут оказывать нам пользу для разъяснения немногих и неудовлетворительных сведений о их образе жизни и о крупных событиях ее.

Таковы ли отношения между нашими сведениями о качествах народов и сведениями о формах их быта, о крупных фактах их истории? Обыкновенно отношение между этими двумя разрядами сведений о народах совершенно обратное: формы их быта и крупные факты их истории известны нам гораздо больше и точнее, чем их качества, и наши понятия о их качествах обыкновенно лишь выводы из наших сведений о их быте и судьбе. Возьмем для примера наше знание об одном из качеств древнего греческого народа, о том, трусливый или храбрый народ были греки.

Мы все говорим: греки были народ храбрый. Спросим себя: почему знаем это? Нам припоминаются Марафон, Саламин, Платея, множество других сражений, в которых греки побеждали врагов более многочисленных, чем они. Правда мы знаем, что они превосходили этих врагов дисциплиной и были лучше вооружены; но никакое вооружение не даст победы малочисленному войску над многочисленным врагом, если оно не состоит из людей храбрых; а дисциплина может быть сохранена во время сражения только храбрыми людьми. То же самое относительно всех других оговорок о преимуществах греческих войск помимо храбрости. Сделав наибольшие допускаемые рассудком уступки по этим оговоркам, мы все-таки останемся в необходимости признавать победы греков свидетельствующими о храбрости их.

Что же такое наше знание об этом качестве греков? Оно вывод из наших сведений о их битвах. Подобно этому и вообще не события греческой истории разъясняются нашими знаниями о качествах греков, а, наоборот, качества греков известны нам по фактам их жизни. Храбрость их мы знаем по фактам их военной деятельности; другие их качества — по результатам их других деятельностей, например, умственные качества греков известны нам по произведениям их искусств, по их литературе.

Таким образом, все наши знания об умственных и нравственных качествах прежних народов и прежних поколений нынешних народов — не прямые знания, а выводы из наших знаний о крупных фактах их истории, о формах их быта, о произведениях физической, умственной и нравственной деятельности их.

Могут ли эти производные знания быть употребляемы для разъяснения сведений о фактах того разряда, который другими своими фактами дает основу для них? Без сомнения, могут. Предположим, например, что у греческих историков находится известие такого рода: когда греческое войско приблизилось к реке, персидское, стоявшее на другом берегу ее, ушло, не защищая перехода. Предположим, что этим и ограничиваются все наши сведения о деле, что мы не имеем никаких известий о числе греческого и персидского войск и не знаем, почему персидское войско ушло, не пытаясь остановить неприятеля. На основании нашего знания, что греки были храбры и персы признавали их превосходство в этом качестве если не над малочисленным отборным корпусом воинов собственно персидской национальности, то над массой своих разноплеменных милиций, мы можем с некоторой степенью вероятности объяснить отступление персидского войска боязнью его начальников, что милиционеры, составлявшие, по всей вероятности, массу его, не выдержат боя с греками. Но мы не должны забывать, что это будет лишь догадка. Персидские военачальники могли иметь совершенно иные мотивы отступления. Быть может, их войско, стоявшее на реке, было малочисленнее греческого; в таком случае мотивом отступления было не мнение о превосходстве греков по храбрости, а число их; или, быть может, отступление было военной хитростью, персы хотели заманить греков в такую местность, где удобно будет истребить всех их; а быть может, персидские военачальники ушли потому, что получили приказание спешить на защиту какой-нибудь другой области от другого врага; — мало ли какие мотивы могли быть у них помимо их мнения о храбрости греков. А впрочем, наша догадка правдоподобна, и нельзя осудить нас за то, что мы остановились на ней при недостатке данных для достоверного объяснения факта.

Но случаи, подобные предположенному нами, встречаются редко и, вообще говоря, маловажны. Обыкновенно, мы или имеем такие рассказы о фактах, что ход событий достаточно объясняется нашими достоверными знаниями об общих качествах человеческой природы и нашими сведениями о состоянии народа в данное время и подроб-

ностях дела, или наши сведения об особенных качествах народа так скудны и шатки, что ставить их объяснением фактов значит превращать историю в сказку, сочиняемую нами по нашему произволу.

Наши знания об умственных и нравственных качествах народов прошлых времен — знания не прямые, а производные из знаний о фактах их жизни; потому ясно, что они гораздо скуднее, гораздо менее точны и достоверны, чем знания о фактах, служащие основанием для вывода их. Относительно прежних народов и прежних поколений нынешних народов это не может быть изменено. Нам нельзя знать умственные и нравственные качества их иначе, как по фактам их исторической деятельности.

Но не можем ли мы приобрести об умственных и нравственных качествах современных нам народов прямые сведения такие обширные и точные, чтоб они служили прочным основанием для разъяснения исторических фактов?

Чтоб увидеть, удобоисполним ли такой труд, попробуем составить список тех людей, которые хорошо знакомы нам; и делать отметки о их качествах. Пусть в наш список будет внесено 100 человек. Скоро мы кончим работу, если захотим вести ее с точностью, удовлетворительной для ученых соображений?

Многие качества человека могут быть узнаваемы очень легко; таковы, например, его наружность и размер его физической силы. При обыкновенных условиях наших встреч с людьми достаточно взглянуть на человека, чтобы получить довольно точное представление о его наружности; а чтобы приобрести довольно точное понятие о размере его силы, достаточно увидеть его берущим в руки тяжелую вещь. Но и чисто физические качества не все можно узнавать легко. Например, есть болезни, влияние которых остается незаметно до очень высокой степени их развития. Человек может быть близок к смерти по действию такой болезни, а казаться здоровым. Припомним для примера некоторые виды тифа и оспу. Человек уже заразился, а продолжает быть по виду совершенно здоровым. Принадлежит ли физическое здоровье к качествам человека или нет? Должно ли оно входить в понятие о характере человека? — На первый вопрос, вероятно, все скажут да; на второй множество ученых, любящих объяснять историю народов качествами их, отвечают нет. Обыкновенно, однакоже, они говорят о темпераменте народов: «этот народ имеет веселый характер, а этот угрюм по характеру». Темперамент сильно видоизменяется от перемен в состоянии здоровья. Больной человек вообще имеет менее весе-

лое настроение духа, чем здоровый. Легкое хроническое расстройство здоровья от неудовлетворительных условий житейской обстановки не называется болезнью, но имеет значительное влияние на настроение духа.

Оставим разбор вопросов о физических качествах. Должно ли причислять к умственным качествам человека его знания, к нравственным качествам,— должно ли причислять его привычки? Если отвечать нет, то у нас не останется никакой возможности сделать характеристику человека в умственном и нравственном отношениях, а если вводить в понятие о характеристике человека его знания и привычки, то очень редко найдется человек, о котором можно было бы сказать, что, например, в 40 лет он сохранил тот характер, какой имел в 20.

Как бы ни был краток наш список умственных и нравственных качеств, в числе их найдутся принадлежащие к разряду качеств, трудно узнаваемых. Например, вероятно, мы не забыли внести в него рассудительность, твердость воли, честность. Если внесено хоть одно из этих качеств, нам во многих случаях будет мудрено решать, какую отметку об этом качестве ставить против имени нашего знакомого. Можно прожить годы с человеком и не узнать достоверным образом, рассудителен он или нет, сильна или слаба его воля и тверда ли его честность; и сам он может дожить до 30, до 50 лет, не зная, на какие поступки высокого благородства или низкой пошлости, отваги или трусости способен он. Кому из нас не случалось часто слышать от своих близких знакомых: «удивляюсь, как мог я это сделать», и вместе с ними дивиться их поступкам, совершенно противоречащим нашему понятию о характере их. Человек дожил до 50 лет, не делая ничего безрассудного, попал в затруднение, какого не случалось ему испытывать, и потерял голову, действует безрассудно: мало ли случаев подобного рода? — Но не будем стесняться недостаточностью наших знаний о тех умственных или нравственных качествах наших знакомых, которые трудно узнавать; будем приписывать характеризуемым нами людям рассудительность, безрассудство, твердую волю или слабую волю без заботы о проверке, основательно ли наше мнение. С этой заботой мы впутались бы в такой долгий и тяжелый труд, что, по всей вероятности, не довели бы его до конца. Без нее мы легко и быстро составим характеристики своих знакомых по нашему списку качеств. Разумеется, научная ценность такого списка будет очень мала. Верные знания будут перепутаны в нем с таким множеством ошибок, что лучше всего будет бросить

его в печь. Но сделаем это через минуту по его окончании, а эту минуту употребим на то, чтобы посмотреть, какую степень разнообразия имеют характеры, начерченные нами. Мы увидим, что разнообразие их очень велико.

Впрочем, это, по всей вероятности, известно каждому из нас и без напрасной работы записывать, какое мнение мы имеем о характере наших знакомых. Если так, то нам нет и надобности делать ту пробу, о которой мы говорили. Изложим те выводы, какие дала б она, если бы была сделана.

В кругу знакомых каждого из нас нет двух людей, характеры которых не имели бы очень важных различий между собой. Комбинации качеств очень разнообразны; например, с рассудительностию иногда соединяется большой ум, иногда такой размер умственной силы, который лишь немногим отличается от тупоумия. Множество людей, называемых в умственном отношении совершенно бездарными, очень рассудительны. Вот мы имеем уже четыре разряда людей: даровитые и благоразумные; даровитые и нерассудительные; бездарные и благоразумные; бездарные и безрассудные. Прибавим оценку по какому-нибудь третьему качеству, например, по честности, каждый разряд распадется на два разряда. Какое число разрядов мы получим, если произведем оценку по девяти качествам? Если не все 1024 разряда, даваемые формулой комбинаций, то наверное сотни из этого числа типов попадаются в действительности.

Та проба, которую предлагали мы сделать, дает результаты, лишенные научной серьезности, потому что довести ее до конца можно только под условием записывать наши мысли о качествах наших знакомых без заботы о проверке неосновательности наших мнений. Но сделана ли хотя бы такая же поверхностная попытка определить характеры людей, составляющих не круг наших личных знакомых, а целый народ? Кто когда пытался считать, какую пропорцию общего числа людей какого-нибудь народа составляют, например, люди рассудительные и какую — люди нерассудительные, какую — люди твердой воли, какую — люди слабой воли, и так далее, и какую пропорцию в общем числе составлют люди того или другого из умственных и нравственных типов, образуемых разными комбинациями качеств? — Ничего подобного не делалось относительно какого бы то ни было народа. И должно прибавить, что количество труда, нужное для хорошего прямого исследования нынешних умственных и нравственных качеств какого-нибудь из цивилизованных народов, далеко

превышает своей громадностью размер сил ученого сословия этого народа.

Потому мы принуждены довольствоваться нашими субъективными, случайными и очень ограниченными наблюдениями характеров людей и выводами о нравственных качествах из наших знаний форм быта и крупных событий жизни народов. Сумма знаний, доставляемых этими источниками, скудна и страдает примесью шатких догадок; но хорошо было бы, если бы мы заботились пользоваться хотя этими неудовлетворительными материалами с внимательностью и осторожностью. Мы не делаем и этого. Ходячие понятия о характерах народов составлены небрежно или под преобладающим влиянием наших симпатий или антипатий. В пример небрежности приведем общепринятое определение национального характера древних греков. Каждому из нас врезалась в память следующая характеристика качеств древнего греческого народа:

«Национальными качествами греков были любовь к искусству, тонкое эстетическое чувство, предпочтение изящного роскошному, воздержность в наслаждениях, умеренность в питье вина и тем более в еде. Пиры греков были веселы, но чужды пьянства и обжорства».

Ограничимся этими чертами национального характера, приписываемого грекам.

Берем тот период жизни греческого народа, который составил славу греков. Он начинается около эпохи марафонского сражения и кончается около времени херонейской битвы[2] В этот период важнейшими греческими государствами были спартанское, афинское, фиванское, сиракузское. Очень большую важность имели также коринфское и агригентское. Не должно забывать и того, что самой обширной областью коренной греческой страны была Фессалия.

По тем же самым историкам, которые определяют характер всего греческого народа перечисленными у нас чертами, спартанцы были народ, жертвовавший потребностям военной гимнастики и дисциплины всеми другими заботами или влечениями. С той поры, как начинаются точные известия о спартанцах, мы видим, что эти воины, принужденные жить у себя дома скудно и сурово, как в лагере, предаются оргиям, лишь вырвутся на свободу. Павзаний, победитель при Платее, первый спартанец, о жизни которого мы имеем точные сведения, уж был таков. Оставшись на воле в Византии, он стал жить, как персидский сатрап, и до того увлекся жаждой роскошного

разврата, что хотел отдать Грецию под господство персидского царя для получения сатрапского владычества над ней в должности персидского наместника. Менее знамениты, но достаточно известны нам гармосты Лизандра[3]. Они держали себя тоже, как персидские сатрапы. Каких художников, поэтов или ученых произвела Спарта? — никаких; если бывали в Спарте хорошие музыканты, то они были приезжие[4].

Фиванцы были обжоры и пьяницы, по уверению всех историков, и были лишены живости ума. Пьяные обжоры, они погрязали в тупой умственной и нравственной апатии. Фессалийцы были грубые пьяницы и развратники, презиравшие всякую умственную деятельность.

Сиракузанцы и агригентцы не знали воздержанности ни в чем; мудрая греческая умеренность в наслаждениях была неведома им; потому они подверглись участи сибаритов, так говорят историки; коринфян они называют развратниками, подобными азиатцам.

К кому ж из греков применяется характеристика всего греческого народа? Только к афинянам. Да и то лишь к афинянам двух поколений, которые жили между марафонской битвой и началом пелопоннесской войны[5]. В эту войну афиняне были уж испорченный народ, говорят нам историки, а до марафонской битвы они еще не проявляли тех качеств, какими прославились во времена Перикла. Мы видим, что вместо характеристики греческого народа нам дается характеристика афинян во времена Перикла.

Характеристика греческого народа, повторяемая большинством историков, составлена небрежно. Но она хороша, по крайней мере, тем, что не внушена дурными тенденциями.

Даже и этого достоинства лишены ходячие характеристики тех народов, которые еще существуют. Мы приведем лишь одну из них.

Итальянцы, как известно всем цивилизованным народам, кроме самих итальянцев, трусливы, коварны; и если не употребляется о них выражение «подлый народ», то лишь по свойственной нашему деликатному времени нелюбви к слишком грубым эпитетам, а смысл ходячей за Альпами характеристики итальянского народа тот самый, который на бесцеремонном языке выражается словом «подлость».

Мы выбрали для примера ходячую характеристику итальянского народа потому, что при разборе ее порицание за недобросовестность падает не на один какой-нибудь народ, а ложится общей виной на три нации: испанскую,

французскую и немецкую; да и англичане не участвовали в составлении этой характеристики только потому, что не случилось им предпринимать много экспедиций для покорения Италии. Их ученым досталась характеристика уж изготовленная; они приняли ее.

Каким образом составилась эта характеристика итальянского народа? Главным источником ее была досада завоевателей на желание итальянцев освободиться от их владычества. В Италию ходили немцы, плавали испанцы, ходили туда французы; все они побеждали, покоряли Италию или часть ее; при первой возможности покоренные разрывали обещания, данные покорителям, и пытались свергнуть с себя их иго. Какой покоренный народ не поступал точно также? В политических делах тяжелые обещания сохраняются, лишь пока не представляется надежды избавиться от их исполнения. Это мы видим в истории всех европейских народов или частей народов; примеров противного нет. Одно из двух: или историки каждого другого европейского народа должны называть свой народ коварным, или они не имеют права ругать итальянский народ за то, за что прославляют свой народ,— за любовь к независимости.

Но итальянцы не только коварны, они и трусы.Нам говорят: чем же, как не превосходством храбрости завоевателей, то есть недостатком мужества у итальянцев сравнительно с ними, объяснить завоевания иноземцев в Италии? — Будем припоминать обстоятельства, при которых итальянцы были побеждаемы, и увидим, что ход событий определялся такими отношениями сил, при которых итальянцы были бы побеждаемы, если б и превосходили своих иноземных врагов мужеством. В X веке все земли, составлявшие империю Карла Великого, раздробились на мелкие государства; шел процесс раздробления и в Германии, но медленнее, чем во французской и в итальянской землях. Немецкий король еще сохранял довольно большую власть над областными государями, когда французский король стал уже бессилен за границами своего непосредственного областного владения; то же самое что во Франции, было и в Италии. В этом отношении нельзя сказать об итальянцах ничего дурного, чего не следовало бы с такой же силой применить к французам, а потом и к немцам. Напротив, были обстоятельства, делавшие утрату национальной силы более извинительной для итальянцев: южная часть их земли оставалась под византийской властью; их берега были ближе французских для нападения африканских мусульман.— Италия была, подобно

Франции, раздроблена; но она была богаче Франции. Немецкие короли справедливо находили, что выгоднее грабить и порабощать Италию, чем Францию, потому ходили в Италию. Могут ли быть обвиняемы в недостатке храбрости мелкие государства за то, что король большого государства побеждает их? Говорят: но итальянцы сами облегчали иноземцам завоевание своей земли междоусобиями. Что́ в этом особенного? У какого народа, раздробленного на разные государства, не было междоусобий? — Когда восточная часть Испании объединилась в сильное государство, а французская королевская династия объединила под непосредственной властью короля бо́льшую часть Франции и сделала Прованс владением родственников короля, то стали нападать на Италию арагонцы и французы. Таким образом, итальянцы должны были отбиваться от трех сильных народов. Свидетельствует ли против храбрости их то, что они были побеждаемы? Такое положение дел оставалось до недавнего времени. Если мы всмотримся в подробности борьбы мелких итальянских государств против сильных иноземных войск, мы увидим множество примеров тому, что итальянцы сражались храбрее своих завоевателей.

Историки, называющие итальянцев трусами, вообще держатся той теории, что качества народа составляют неизменный потомственный характер его, наследуемый потомками от предков; о том, насколько сообразна с фактами эта теория, мы будем говорить после. Теперь заметим, что ученые, держащиеся ее, были бы, по-видимому, обязаны считать итальянцев очень храбрым народом. Действительно, кто предки итальянцев? римляне; или, если прибавлять и второстепенные элементы, то, кроме римлян, также греки, лангобарды, норманны, арабы. Все эти народы считаются очень храбрыми. Каким же образом потомки храбрецов могут получать название трусов от людей, постоянно твердящих о неизменной наследственности характера? Это делается по очень легкому способу: теория наследственности проповедуется на тех страницах, на которых автору надобно твердить ее, а на промежуточных страницах, для которых она неудобна, место ее занимает какая-нибудь другая теория, более удобная для автора в эти часы его соображений, чаще всего — теория вырождения. Если историк, проповедующий теорию неизменности национальных качеств, пишет подробный рассказ о средневековых нашествиях на Италию, итальянцы на страницах его рассказа вырождаются и возрождаются много раз. Подходит большое иноземное войско, например,

к Риму. В Риме перед тем временем было междоусобие; побежденная партия мешает ненавистным противникам в деле обороны или предательски отворяет ворота города иноземцам. В этом нет ровно ничего особенного римского или итальянского; так делалось во всех городах во времена междоусобий. Но так ли поступили древние римляне, когда подошел к Риму Ганнибал?[6] Нет, не так. Они не впустили Ганнибала в Рим. А теперь, в такой-то год XI или XII столетия, римляне сдались немецкому королю. Очевидно, за рассказом об этом очень удобно может быть помещена тирада в патетическом тоне с восклицательными знаками: «Да, римляне теперь не были достойными потомками тех римлян, которые назначили торг на аренду земель, занятых под стенами Рима войском Ганнибала, и давали за участки этих земель такую же высокую арендную плату, как в мирное время, непоколебимо убежденные, что скоро оттеснят грозного врага! Теперь в Риме уже не было истинных римлян! Жалкие люди, называвшие себя этим славным именем, были...»; идут всякие ругательные эпитеты, какие только дозволяет автору употребить его благовоспитанность.— Немецкий король вошел в Рим, папа коронует его. На коронационном празднике немецкое войско разбуянилось, жители Рима, выведенные из терпения, забыли, что шансы удачи для них малы, схватились за оружие; начался бой против немцев. Исход его, разумеется, зависел от того, успели ль к этому часу дня перепиться почти все немцы, или большинство их, хотя и пьяное, еще сохранило силу крепко держаться на ногах и рассудок смыкаться в боевой порядок. Если сохранило, то войско, хорошо дисциплинированное и превосходно вооруженное, одерживало победу над нестройными толпами людей, между которыми было мало опытных солдат. А если немцы были пьяны до неспособности сражаться, то народ выгонял их из Рима. В таком случае историк размышляет, вставить или не вставить в рассказ тираду о том, что римляне показали себя достойными потомками славных предков. Если он находит, что тирада о их трусости не отделена от страницы, которую пишет он, количеством страниц, достаточным для возрождения римлян, они останутся на этот раз невозродившимися. Но через пять или семь лет немецкий король — теперь уже римский император — снова идет к Риму. На этот раз у римлян не было междоусобия или победившая партия успела установить крепкую власть; побежденные в чувстве своего бессилия помирились с победителями; измены нет, правительство сделало большие запасы провианта; город вы-

держивает продолжительную осаду; немцы разбиты удачной вылазкой или большинство их погибло от битв и болезней; они отступают, римляне преследуют их. Тут историк чувствует сильное желание возродить римлян и не находит никаких препятствий к этому, потому что последняя тирада о их трусости помещена не ближе, как страниц за десять перед той, которую пишет он теперь; римляне возрождаются под его пером. Если вы одарены человеколюбивым образом мыслей, не спешите радоваться: через достаточное число страниц они снова выродятся; но знайте вперед, что вам не будет тогда надобно предаваться большому огорчению: они через несколько страниц возродятся в двадцатый или в двадцать первый раз.

Много геройских подвигов совершали итальянцы в долгие века своей раздробленности. Но с самого завоевания лангобардского королевства Карлом Великим до очень недавнего времени они не могли отбиться от многочисленных, могущественных врагов: каждый сосед, когда мог собрать большое войско, шел или плыл грабить богатую и раздробленную Италию; если итальянцы успевали отразить его, он, оправившись от неудачи, возобновлял нападение, а если он долго оставался ослабевшим, то вместо него шел грабить Италию другой сосед; потому при множестве удачных сражений итальянцы никогда не имели времени отдохнуть, и победы их оставались напрасны: отбившись от немцев, они подвергались нападениям испанцев или французов; даже венгры много раз ходили грабить Италию. Отразив одно нападение, изнуренные итальянцы делались жертвами если не второго, то третьего нападения и снова оказывались трусами, по мнению победителей, повторяемому до сих пор большинством историков других наций. Историки вообще расположены превозносить покорителей и ругаться над покоренными. Это не их профессиональная слабость, а только результат зависимости их суждений от общественного мнения наций, к которым принадлежат они.

Теперь можно полагать, что Италия сохранит свою независимость. Те народы, которые стремились грабить и порабощать ее, начинают, кажется, привыкать к мысли, что итальянский народ не поддастся иноземному владычеству без упорного сопротивления, что желание поработить его должно быть отброшено как неудобоисполнимое. Когда они привыкнут думать так, их историки будут справедливее судить о прошлом итальянского народа, будут признавать, что хотя раздробленность и отнимала у него силу успешно бороться против иноземных нашест-

вий, но разрозненные и потому слабые части его выказывали в первой борьбе не меньше мужества, чем их поработители.

Тогда исчезнет одна из тех пошлых выдумок, на которых держится теория вырождения народов во времена упадка их военного могущества.

Итальянцы — потомки того народа, который покорил и цивилизовал Пиренейский полуостров, Галлию, Англию и часть Германии, покорил все земли кругом Средиземного моря и много земель, далеких от него. Римское государство стало ослабевать; восточная половина, в которой преобладала греческая цивилизация, сделалась особым государством; западная половина, оставшаяся под властью римлян, продолжала ослабевать и вскоре была ограблена и порабощена варварами. Из этого выводят, что римляне выродились. Дело объясняется фактами, не оставляющими места для этого приговора. С какого времени началось мнимое вырождение римлян? Обыкновенно считают первым важным проявлением его поражения Вара в Тевтобургском лесу[7] Но более чем за сто лет до того кимбры и тевтоны истребили несколько римских войск, не менее многочисленных, чем войско Вара, и ворвались в Италию. За сто лет раньше того был факт еще более характеристичный: Ганнибал вошел в Италию, нанес несколько поражений римским войскам, превосходившим числительностью его войско, тринадцать лет держался в Италии и покинул ее, лишь повинуясь приказанию правительства своей родины. Не с этого ли времени следует считать римлян выродившимися? — Есть историки, у которых мелькает в мыслях такое предположение. С той точки зрения, на которой стоят ценители нравственных качеств народа по успешности битв, оно справедливо. Но война, долго шедшая постыдно для римлян, кончилась победой их; и после того они сделали громадные завоевания. Это мешает признать их выродившимися в эпоху нашествия Ганнибала. Напрасное затруднение: скажем, что они выродились перед второй пунической войной и возродились во время ее; этим будет объяснено все: и позор поражений на Требии, у Тразименского озера, при Каннах [8]; и еще постыднейшая трусость римлян, допускавшая ослабевшего Ганнибала оставаться в Италии целые тринадцать лет после битвы при Каннах, и победа римлян над ним и последующие их завоевания. Сделав огромные завоевания, римляне стали ослабевать и были, наконец, покорены варварами. Из этого выводится, что они выродились. Но у тех же самых историков рассказываются факты, доста-

точно объясняющие разрушение римской империи и без этого фантастического предположения. Припомним лишь одну ту сторону хода перемен в обстоятельствах, которая преобразовала состав римского войска, и падение римской империи уже будет понятно без помощи пустых выдумок. Когда римляне, покорив соседние итальянские земли, стали ходить за Альпы и отправлять войска за море, перестало быть возможным для их воинов прежнее соединение военного ремесла с домашним бытом. Народ разделился на два класса: большинство граждан покинуло военную службу по несовместности ее с сохранением домашнего хозяйства, меньшинство бросило домашний быт, стало профессиональным военным сословием, оторвавшись от общественных связей; римские солдаты сделались похожими по своим чувствам на средневековых наемников; им было все равно, с кем сражаться, лишь бы получать жалованье и обогащаться добычей; римские полководцы стали похожи на итальянских кондотьеров[9] Таков был Марий; много раньше того уже занял подобное положение Сципион Африканский, победитель Ганнибала: масса того войска, с которым он поплыл в Африку, составилась из людей, шедших служить не сенату или народному собранию, а лично полководцу, обещавшему добычу и дававшему жалованье на первое время из своих собственных денег. Мужественно ли или нет оставалось большинство римлян, отвыкшее от военного дела, все равно: оно не могло противиться своим войскам. Это было положение, подобное тому, какое существовало во всей Западной Европе с конца средних веков до недавнего времени. Французы или немцы, испанцы или англичане XVI века и следующих двух столетий были одинаково неспособны сопротивляться своим войскам. Скажем ли мы, что все эти народы были тогда трусливы? Они просто не знали военного дела. Припомним историю Англии во время войн Алой и Белой роз[10]; один из соперников собирает воинов по ремеслу, охраняющих уэльзскую границу, другой — воинов по ремеслу, охраняющих шотландскую границу; они идут один на другого; кто одержал победу, входит в Лондон и становится владыкой Англии. Нечто подобное этому представляют войны Суллы с Марием, Цезаря — с Помпеем[11]. В Риме возникает, наконец, наследственность сана верховного полководца в семействе Юлия Цезаря; все полководцы повинуются этому главнокомандующему войск римского государства. То же самое начинается и в Англии со времени, как овладел государством Генрих Тюдор. В XVII столетии масса немецкого народа — беззащитная

жертва армий Тилли, Валенштейна, Бернгарда Саксонского. От Бернгарда зависит основать себе государство в юго-западной Германии или отдать свои завоевания королю французскому. Франкония и Швабия принадлежат ему, как Италия Марию в отсутствии Суллы. Западная Европа выдержала это положение и мало-помалу вышла из него к началу нынешнего века, благодаря тому, что по границам Испании, Франции, Германии не было варваров, имевших главной своей мыслью грабить соседние цивилизованные земли и научившихся военному искусству на службе у народов этих земель. «Но существенный признак вырождения римлян в III и IV столетиях нашей эры состоит именно в том, что они брали массы иноземцев на свою службу», говорят нам. А что такое делали французы с конца XV до начала XVIII столетия? Держало тогда или не держало французское правительство на своей службе многочисленный корпус швейцарских наемников? И сколько иноземцев было в войсках Фридриха II? — Столько, сколько мог он набрать; чем больше, тем приятнее было ему.

С той поры, как историки считают надобным изучать политическую экономию и толковать о разделении труда, они в книгах о последних временах римской республики и о римской империи сами разъясняют, какими экономическими силами была произведена замена войска, состоящего из граждан домохозяев, войском солдат по ремеслу, и потом — замена итальянцев на военной службе уроженцами областей менее цивилизованных и иноземными варварами. Потому давно пора было бы бросить фантазию о вырождении римлян, следовало бы говорить лишь о том, что масса итальянского населения перестала образовать главную массу войска, непрерывно ведущего войны на отдаленных границах и живущего там в укрепленных лагерях. Таким образом, падение римской империи, завоевание Италии варварами достаточно объясняется уж одной той переменой, которую произвели в составе войска громадные завоевания римлян[12]. Но вместе с военной переменой действовали в том же разрушительном направлении другие перемены, произведенные завоеваниями; из них особенно важна была перемена в политическом устройстве государства; она была важнее военной. Соединяя действия этих перемен, мы найдем совершенно излишней выдумкой фантазию о вырождении римского народа.

Отложим спор против фантастических мнений, перейдем к изложению тех понятий о национальном характере, которые соответствуют нынешнему состоянию знаний

о жизни народов. Для упрощения дела будем говорить только о тех народах, которые принадлежат к романскому и германскому отделам арийского семейства. Едва ли найдется теперь историк, который не признавал бы, что все отделы арийского семейства имели первоначально одинаковые умственные и нравственные качества. Тем меньше возражений со стороны людей, знакомых с исследованиями о первобытных временах жизни арийцев, может встретить мысль, что первоначально не было никакой разницы в умственных и нравственных качествах между людьми соседних двух отделов арийского семейства, населяющих теперь Западную Европу, бóльшую часть Америки, некоторые части Австралии и южной Африки. Кто будет спорить против этого мнения, покажет только свое желание отрицать результаты филологических и археологических исследований.

Итак, предки романских и германских народов имели одинаковые умственные и нравственные качества. Теперь эти народы во многом отличаются один от другого по своим учреждениям и обычаям. Как произошла разница между ними? Есть мнение, приписывающее ее влиянию примеси людей не-арийского происхождения. Говорят, например, что иберийцы (предки басков), народ не-арийского семейства, составили очень значительную долю населения, говорившего римским (или романским) языком в вестготском государстве; говорят, что осталась в нынешних испанцах и португальцах значительная примесь арабской и берберской крови. Она гораздо менее велика, чем полагают ученые, говорящие о значительности ее. Но отложим спор. Пусть влияние иноплеменных элементов на сформирование нынешних испанской и португальской национальностей было велико. Но бесспорно то, что во французском народе очень мало примеси крови каких-нибудь людей, кроме кельтов, римлян и германцев. В Западной Германии почти все люди потомки германцев. В Англии и Шотландии почти все люди потомки кельтов, итальянцев и германцев или скандинавов. Кельты теперь признаны имевшими национальность, еще более близкую к латинской, чем первоначальная германская. Таким образом, основные элементы французского, английского и западногерманского населения должны быть признаны тожественными (по тожеству первобытных италийцев и германцев). Что же мы видим теперь? Не будем говорить о разнице между англичанами, французами и западными немцами, обратим внимание на каждый из этих народов отдельно. Берем Францию. Французский народ состоит из

нескольких племенных отделов. Когда мы сравниваем общеупотребительные характеристики их, то, кроме принадлежности к одной филологической народности, мы не найдем ни одной черты, которая была бы общей для всех их. По ходячим характеристикам нормандец человек, более различный своими умственными и нравственными качествами от гасконца, чем от англичанина.— Англия в четыре раза меньше Франции, но тоже делится на несколько областей, в каждой из которых, если судить по характеристикам, даваемым этнографами, живет племя, вовсе не похожее своими умственными и нравственными качествами на другие отделы английского народа. Приведем один пример. По общему мнению английских и шотландских этнографов, население южной Шотландии очень резко отличается от массы англичан своими нравственными качествами. Эти шотландцы далеко превосходят англичан, по английскому мнению, хитростью и жадностью (а по своему выражению, рассудительностью). Но жители северной части Англии говорят тем же наречием, имеют те же привычки, как эти шотландцы, и не отличаются от них ничем, кроме того, что называют себя англичанами, а не шотландцами.— Нечего говорить о том, что швабы по этнографическим характеристикам нимало не похожи на вестфальцев; этого достаточно относительно западной Германии, в населении которой нет никакой иноплеменной примеси.

Правда, ходячие характеристики французского, английского и немецкого народов фантастичны, так что французы дивятся и, смотря по настроению духа, хохочут или сердятся, читая нелепости, пользующиеся у иноземцев репутацией характеристики французского народа, и точно такие впечатления производит на немцев ходячая у иноземцев характеристика немецкой нации, на англичан — континентальная характеристика английской нации; но некоторые разницы в привычках этих народов действительно существуют. Нелепы и те ходячие характеристики, по которым каждый отдел населения Франции, Англии, западной Германии оказывается вовсе не похож на другие племена своей нации; но действительно есть и областные разницы привычек. Каким же образом возникли эти областные и национальные различия между людьми, происшедшими от предков, имевших одинаковые качества и привычки, от людей одного отдела, одного лингвистического семейства?

Народ — группа людей, качества народа — сумма индивидуальных качеств людей, составляющих эту группу; потому качества народа изменяются переменой качеств

отдельных людей, и причины перемен одни и те же в обоих случаях. Каким образом, например, народ, говоривший одним языком, начинает говорить другим? Отдельные лица находят надобным выучиваться чужому языку; если та же надобность одинакова для всех взрослых семейств, их дети уже в своем семействе привыкают говорить на языке, который прежде был чужим ему; когда эта перемена произойдет в большинстве семейств, прежний язык будет быстро забываться массой народа, новый — станет родным ей. Разница между переменой языка у отдельного человека и у народа состоит только в продолжительности времени, нужного для нее.

Точно то же происходит в деле приобретения или утраты всяких знаний и привычек. От перемены в знаниях и привычках изменяется так называемый характер людей.

По каким причинам человек приобретает какие-нибудь знания? — Отчасти по склонности всякого мыслящего существа изучать предметы и размышлять о них, отчасти по житейской надобности в тех или других знаниях. Любознательность, склонность к наблюдению и размышлению — природное качество не человека только, но всех существ, имеющих сознание. Едва ли найдется теперь натуралист, который не признавал бы, что все существа, имеющие нервную систему и глаза,— существа мыслящие, что они изучают обстановку своей жизни, заботятся улучшить ее. Потому теперь должно прямо называть не заслуживающим внимания тот предрассудок, по которому ученые в старину приписывали любознательность только некоторым народам, а у других отрицали ее. Никогда не было и не может быть ни одного здорового человека, который не имел бы некоторой любознательности и некоторого желания улучшить свою жизнь.

Итак, влечение к приобретению знаний и склонность к заботе об улучшении своей жизни — врожденные качества человека, подобно деятельности желудка. Но существование деятельности желудка и потребность в пище могут оставаться плохо удовлетворенными по неблагоприятности внешних обстоятельств, а в некоторых случаях аппетит вовсе пропадает. Когда внешние обстоятельства не благоприятны приобретению знаний и успеху забот об улучшении жизни, умственная деятельность будет итти слабее, чем при благоприятных обстоятельствах. В некоторых случаях она может замирать, как могут замирать другие влечения человеческой природы, без которых деятельность легких, желудка и другие так называемые функции растительной жизни человека продолжаются не

ослабевая. От слишком продолжительного голода человек умирает, от замирания любознательности или эстетического чувства он не умирает, а только становится отупевшим в этих отношениях. Что может происходить с отдельным человеком, то может происходить и с огромным большинством народа, если оно подвергается тем же давлениям, и с целым народом, если подвергаются им все люди, составляющие его. При благоприятных обстоятельствах врожденная склонность человека к приобретению сведений и к улучшению своей жизни развивается; то же самое несомненно и относительно народа, потому что все перемены в его физическом ли, умственном ли состоянии — суммы перемен, происходящих в состоянии отдельных людей.

В старину были споры о том, хороши или дурны врожденные нравственные склонности человека. Теперь следует назвать обветшалыми сомнения в том, что они хороши. Это опять частный случай гораздо более широкого закона жизни органических существ, одаренных сознанием. Есть такие роды или виды живых существ, которые предпочитают одинокую жизнь, чуждаются общества подобных себе. Между млекопитающими таков, как говорят, крот. Но громадное большинство видов млекопитающих находят приятным быть в дружеских отношениях с подобными себе. Это достоверно обо всех тех отделах млекопитающих, которые по своей организации менее далеки от человека, чем крот. Пока считалось возможным называть все другие живые существа, кроме человека, лишенными сознания, можно было ставить вопрос,— добр или зол он по природе. Теперь этот вопрос лишился смысла. Человек имеет природную склонность к доброжелательству относительно существ своего вида [13], как имеют ее все те живые существа, которые предпочитают одиночеству жизнь в обществе подобных себе.

Но и склонность к доброжелательству может ослабевать под влиянием неблагоприятных для нее обстоятельств. Существа самые кроткие ссорятся между собою, когда обстоятельства, возбуждающие к вражде, сильнее склонности к доброжелательству. Дерутся между собою и лани, и голуби. Едва ли были делаемы точные наблюдения для разъяснения вопроса, до какой степени может испортиться характер их под влиянием обстоятельств, развивающих злые привычки. Но о тех млекопитающих, которые давно сделались предметом постоянных внимательных наблюдений, как, например, лошади, всем из-

вестно, что при раздражающем ходе жизни характер их может сильно портиться.

Наоборот, мы знаем, что млекопитающие, по своей природе жестокие к существам других видов и расположенные драться между собою при самых маловажных столкновениях интересов, приобретают довольно кроткий характер, когда человек заботится о развитии доброжелательности в них. При соображениях об этом обыкновенно припоминается собака. Но еще замечательнее развитие кротости в кошке. По природным склонностям, кошка существо гораздо более жестокое, чем волк. Однакоже мы все знаем, что кошка легко привыкает держать себя мирно относительно домашней птицы. Есть множество рассказов о кошках, привыкших кротко выносить всякие обиды от маленьких детей, играющих с ними.

Одно из самых важных различий между млекопитающими по нравственным качествам обусловливается устройством их желудка, по которому некоторые семейства питаются исключительно растительной пищей, другие — исключительно животной. Все мы знаем, что собака, родственница волка и шакала, питающихся исключительно пожиранием животных, легко привыкает есть хлеб и все другие сорты той растительной пищи, которую едят люди. Она не может питаться только сеном, которым не способен питаться и человек. Едва ли были делаемы точные наблюдения о том, могут ли собаки совершенно отвыкать от мясной пищи. Но всем известно, что собаки некоторых охотничьих пород приучаются с омерзением отвращаться от еды тех животных, для охоты за которыми употребляются. Такая собака, мучимая голодом, не может есть так называемой дичи. Наоборот, лошадь и корова или вол легко привыкают есть мясной суп. Были наблюдаемы случаи, что серны или сайги, живущие в плену у человека, ели сало. Когда мы припоминаем такие резкие перемены качеств, непосредственно обусловленных устройством желудка, то должны утратить для нас всякий смысл сомнения в том, способны ли очень сильно видоизменяться под влиянием обстоятельств качества, менее устойчивые, чем особенности, зависящие от устройства желудка.

Умственные и нравственные качества менее устойчивы, чем физические; потому должно думать, что и наследственность их менее устойчива. Размер наследственности их еще не определен научными исследованиями с такой точностью, какая нужна для решения вопросов об умственных и нравственных сходствах и разницах между людьми одного физического типа. Мы должны составлять

себе понятие об этом лишь по случайным, отрывочным сведениям, какие приобретаем житейскими наблюдениями над сходством или несходством детей с родителями, братьев или сестер между собой.

Чтобы определить, каково в сущности мнение, приобретенное рассудительными людьми по житейским наблюдениям этих сходств и разниц, употребим способ решения точно определенных гипотез[14], употребляемый натуралистами для разъяснения понятий о вопросах, которые трудно решить анализом конкретных фактов.

Предложим себе следующую задачу. В глухом селении одной из земель Западной Европы живут жена и муж, люди одного физического типа, одинаковых характеров. Все мужчины в их селении землевладельцы, а женщины помогают мужчинам в сельских работах. Эти муж и жена ведут такой же образ жизни; они трудолюбивы, честны, добры. У них родился сын. Через год по его рождении они умирают. Ближайший родственник сироты — двоюродный брат его матери, человек женатый, но бездетный. О нем и о его жене нам известно только, что они люди честные, добрые, трудолюбивые и не бедные, что они живут в столице страны другого народа, что они родились и всю жизнь провели там, говорят на языке этой столицы, не знают никакого другого, и видывали нивы разве проездом по железной дороге. Больше ничего неизвестно нам о них. Мы не знаем, к какому сословию граждан столицы принадлежат они и какой образ жизни ведут; нам сказано только, что они честные. Будучи извещены о смерти своей родственницы и ее мужа и о том, что остается сиротка, они решают взять малютку на воспитание к себе и усыновляют его. Прошло 29 лет. Усыновленный сирота стал 30-летним мужчиной. Его приемные отец и мать еще живы; они любят его, как родного сына; он также любит их, как родных отца и мать. Подобно им, он трудолюбив. Со времени его усыновления, в жизни его не было никаких необыкновенных случаев. Больше ничего неизвестно нам о нем. Спрашивается, каковы, кроме трудолюбия, его привычки и качества и чем он занимается? На некоторые вопросы об этом можно дать ответы, имеющие очень большую степень вероятности. Так, например, очень вероятно, что этот мужчина стал человеком той национальности, к которой принадлежит масса жителей столицы. Этот ответ подсказан тем сведением, что усыновившее сироту семейство не знало языка его родины, говорило на языке столицы, в которой выросло. Очень вероятно также, что он горожанин, а не земледелец. Это мнение также основано на наших

знаниях об усыновивших его родных. Землевладелец ли он? Едва ли; зажиточные горожане в Западной Европе находят профессию землепашца невыгодной для себя и не готовят к ней своих младших. По всей вероятности, он горожанин. Какой городской профессией занимается он; ремесленник он или школьный учитель, или адвокат, или врач? Никакого сколько-нибудь рассудительного решения этого вопроса мы не можем сделать, потому что не знаем, какой городской профессией занимался приемный отец и каких мыслей об этой профессии держались он и его жена; находили ли они, что их приемному сыну лучше всего будет стать человеком этой же профессии, или предпочитали ей какую-нибудь другую.

Нам теперь легко узнать истинный характер наших мнений о том, влиянию ли происхождения или влиянию жизни мы приписываем преобладающую силу в деле образования нравственных качеств. Мы нашли вероятным, что сирота сделался честным человеком. Он рос в честном семействе; будучи огражден от нищеты благосостоянием и любовью своих приемных отца и матери, он без труда мог приобрести привычку гнушаться воровством и другими видами бесчестных поступков. Чтобы проверить, действительно ли влиянию жизни, а не влиянию происхождения мы приписываем развитие хороших качеств, переменим условия гипотезы,— предположим, что люди, усыновившие сироту, жили плутовскими проделками и считали глупостью быть честными относительно посторонних людей. Велика ли уверенность, что сирота, воспитанный ими, вырос честным человеком? Мы видим, что нравственные качества его родителей вовсе не принимаются нами в соображение, потому что он стал сиротой раньше, чем мог научиться от них чему-нибудь дурному или хорошему.

Перейдем к изложению тех понятий о развитии характера отдельных людей, которые соответствуют нынешнему состоянию наших теоретических знаний и выводам из житейских наблюдений. Для упрощения дела мы будем говорить исключительно о западно-европейском отделе арийского семейства. Когда люди передовых наций привыкнут справедливо судить друг о друге, они будут приготовлены справедливее нынешнего судить и о людях других лингвистических или расовых отделов.

Берем двухлетнего ребенка. Опаснейшее время физического развития уж перенесено им. Он остался здоровым, крепким. Устраним всякие предположения о каких-нибудь особенных бедствиях в следующие годы его физического развития и спросим себя, нужны ли какие-нибудь благо-

приятные условия жизни для того, чтоб он вырос здоровым. Мы знаем, что для этого нужны, между прочим, удовлетворительная пища и удовлетворительная обстановка домашней жизни. Из сотни здоровых двухлетних детей доживет 80 или 90 здоровыми до 20-летнего возраста, если эти условия существуют для них. А если их семейства обнищали около того времени, как они достигли двухлетнего возраста, и последующий рост их будет итти в сырых, душных помещениях, пища им будет дурна и недостаточна, то очень многие из них умрут, не достигнув совершеннолетия, а многие из уцелевших окажутся получившими какие-нибудь болезни, порождаемые дурным питанием и сыростью жилищ.

Физические качества двухлетнего ребенка несравненно устойчивее тех нравственных качеств или, точнее сказать, еще не качеств, а только наклонностей к качествам, какие имеет он. У двухлетнего ребенка уж обозначились все те физические особенности, какие будет он иметь в годы совершеннолетия, если останется здоров. Но о даровитости двухлетнего ребенка мы не можем составить себе основательных понятий; и если называем детей этого возраста даровитыми или бездарными, то лишь фантазируем на основании наших симпатий или антипатий. Не только о двухлетних, даже о восьмилетних детях трудно судить, даровитыми или тупыми людьми станут они. А нравственные качества менее устойчивы, чем умственные способности.

Теперь доказано, что дитя чахоточных родителей родится не имеющим чахотки; обыкновенно бывает только то, что чахоточные родители малокровны, имеют слабо развитую грудь и что эти качества организма наследуют их дети. Но если малокровный и слабогрудый малютка получит укрепляющее воспитание, то у него или уменьшится, или вовсе исчезнет расположение к болезням, производящим чахотку. Таким образом, дитя наследует от родителей только расположение сделаться чахоточным, а разовьется или уменьшится, или исчезнет оно, определяется его жизнью. Дети родителей, имеющих крепкое здоровье, родятся вообще крепкими, но это наследство очень легко отнимается у них неблагоприятными условиями жизни.

Относительно нравственных качеств должно предполагать, что от родителей наследуются те склонности, которые прямо обусловлены так называемым темпераментом (в тех случаях, когда наследуется темперамент). Но и эта, вероятно, справедливая мысль требует оговорок для того, чтобы можно было ей оставаться справедливой, если она

справедлива. Для простоты разделим все виды темперамента на два типа: сангвинический и флегматический. Предположим, что если отец и мать имеют одинаковый темперамент, то все дети имеют его. Из этого еще не следует ничего о наследовании хороших или дурных нравственных качеств. Темпераментом определяется только степень быстроты движений, и вероятно, перемен душевного настроения. Должно думать, что человек, имеющий быструю походку, расположен к более быстрой смене настроений, чем человек, движения которого медленны. Но этой разницей не определяется то, который из них более трудолюбив, и тем менее определяется степень честности или доброжелательности того или другого; не определяется даже и степень рассудительности. Торопливость или нерешительность — не качества темперамента, а результаты привычек или затруднительных обстоятельств. Суетливыми, опрометчивыми, безрассудными бывают и люди, имеющие тяжелую, медленную походку. Нерешительными бывают и люди с быстрой походкой. Это знает всякий хороший наблюдатель людей. Но особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что быстрота движений и речи, сильная жестикуляция и другие качества, считающиеся признаками природного расположения, так называемого сангвинического темперамента, а противоположные качества, считающиеся признаками флегматического темперамента, бывают у целых сословий и у целых народов результатом только обычая. Те люди, которым их старшие родные и знакомые внушают привычку держать себя с достоинством, почти все с очень ранних лет привыкают к плавности движений и речи; наоборот, в тех сословиях, где считается надобной резкость движений и речи, почти все с молодости привыкают к сильной и быстрой жестикуляции, к пронзительному и быстрому тону речи. У тех народов, где общество делится на резко обособленные классы, эти кажущиеся признаки темпераментов оказываются на самом деле только сословными привычками.

Те умственные и нравственные качества, которые не находятся в такой близкой связи с физическим типом, как темперамент, менее устойчивы в индивидуальном человеке, чем темперамент. Из этого ясно, что сила передачи их по наследству менее велика, чем сила передачи темперамента.

Понятие о народном характере очень многосложно; в состав его входят все те различия народа от других народов, которые не входят в состав понятия о физическом

типе. Всматриваясь в это собрание множества представлений, можно разложить их на несколько разрядов, очень неодинаковых по степени своей устойчивости. К одному разряду относятся те умственные и нравственные качества, которые прямо обусловливаются различиями физических типов; к другому — принадлежат разности по языку; далее, особые разряды образуют разницы по образу жизни, по обычаям, по степени образованности, по теоретическим убеждениям. Устойчивее всех те различия, которые прямо обусловлены разницами физических типов и называются темпераментами. Но если говорить о европейском отделе арийского семейства, то нельзя найти в нем ни одного большого народа, который состоял бы из людей одинакового темперамента. Притом, хотя физический тип отдельного человека остается неизменным во всю жизнь и обыкновенно передается от родителей детям, потому имеет прочную наследственную устойчивость, но умственные и нравственные качества, составляющие результаты его, видоизменяются обстоятельствами жизни до такой степени, что зависимость их от него сохраняет силу, только когда обстоятельства жизни действуют в том же направлении; а если ход жизни развивает другие качества, то темперамент поддается его влиянию, и та сторона действительного характера человека, которая подводится под название темперамента, оказывается совершенно неодинаковой с качествами, какие можно было бы предполагать в человеке по нашим понятиям об умственных и нравственных результатах физического типа. Каждый из больших европейских народов составляют, как мы говорили, люди разных физических типов, и счета пропорциям этих типов не сделано. Потому теперь еще нет основательных понятий о том, какой темперамент принадлежит большинству людей того или другого из этих народов. Но, быть может, имеет справедливость какое-нибудь из ходячих мнений о решительном преобладании того или другого физического типа у народов сравнительно малочисленных, каковы, например, голландцы, датчане, норвежцы, предположим, что какая-нибудь характеристика физического типа которого-нибудь из этих народов действительно охватывает собою огромное большинство людей, составляющих его, и будем изучать характеры людей этого народа посредством личного наблюдения или, при невозможности провести много времени в той стране, по чуждым предвзятых мыслей рассказам о частной жизни людей этого народа, о том, как работают, разговаривают, веселятся они; мы увидим, что очень значительная часть лю-

дей этого народа имеет не те умственные и нравственные качества, какие соответствуют понятиям о темпераменте, производимом особенностью его физического типа. Предположим, например, что по своему физическому типу люди этого народа соответствуют представлению о флегматическом темпераменте; потому господствующими качествами их должны быть медленность движений и речи; в действительности мы увидим, что очень многие из них имеют противоположные качества, считающиеся принадлежностью сангвинического темперамента. Какова пропорция людей того и другого разряда, никто не считал ни в этом, ни в каком другом народе. Но всматриваясь, мы увидим, что медленность или быстрота движений и речи у людей этого народа находится в тесной связи с обычаями сословий или профессий, к которым принадлежат они, с их понятиями о своей личной, фамильной важности или низкости своего общественного, семейного, личного положения, с их довольством или недовольством ходом своей жизни, с состоянием их здоровья и вообще с обстоятельствами, имеющими влияние на душевное настроение. Каково бы ни было от природы телосложение человека, но из людей, у которых здоровье расстроено болезнями, угнетающими душу, лишь очень немногие сохраняют живость движений и речи; наоборот, при болезнях, действующих раздражающим образом, лишь очень немногие люди могут производить движения и вести разговор спокойно, плавно. Подобно тому действуют всякие другие обстоятельства, угнетающие или раздражающие, печалящие или веселящие человека. В тех местностях, где масса земледельцев живет сносно и не имеет ни больших запасов хлеба от прошлых лет, ни больших денег,— земледельческое население при обыкновенных урожаях каждый год переходит два состояния, сангвиническое и флегматическое. Перед жатвой оно начинает быть расположенным к веселью и, при всем утомлении от полевых работ, держит себя в часы отдыха сангвинически. Это настроение усиливается до той поры, когда новый хлеб обмолочен и поступает в пищу; несколько времени длится веселье, движения быстры, разговоры бойки, шумны. Потом начинаются раздумья о том, достанет ли хлеба до осени; оказывается надобность стать экономнее в пище, веселье уменьшается, и через несколько времени люди становятся унылы. Это длится до той поры года, когда над мыслями об истощении запасов пищи берут верх мысли о близости новой жатвы. Природный темперамент вообще заслоняется влияниями жизни, так что различить его несравненно труднее, чем

обыкновенно предполагают; внимательно разбирая факты, мы должны притти к мнению, что врожденные склонности к быстроте или медленности движений и речи слабы и гибки, что главное дело не в них, а в том влиянии, какое оказывают на народы, племя или сословие народа обстоятельства жизни.

О том, велика ли природная разница между народами по живости и силе умственных способностей, существуют очень неодинаковые мнения. Если речь идет о народах разных рас или лингвистических семейств, решение определяется нашими понятиями о расах и лингвистических семействах. Это вопросы, по которым люди, держащиеся одного мнения, не имеют права оставлять без внимательного разбора противоположные мнения. Но когда речь идет, как теперь у нас, только о передовых народах, о западно-европейском отделе арийского семейства, то следует назвать неприменимыми к вопросу никакие теории об умственных разницах между людьми по происхождению их предков. Пусть на южной и северо-восточной окраинах Западной Европы есть примесь не-арийской крови, например, в Сицилии и южной половине Пиренейского полуострова примесь арабской и берберской, а на севере Скандинавского полуострова примесь финской; но даже в Сицилии и в Андалузии примесь не-арийской крови невелика: это мы видим по сходству преобладающих там физических типов с типами древних и нынешних греков. Еще меньше примесь финской крови в северных частях населения Норвегии и Швеции. Таким образом, вся масса населения Западной Европы происходит от людей одного отдела арийского семейства и должна быть признана имеющей одинаковые наследственные умственные качества. Разность в них между разными народами Западной Европы предположение фантастическое, опровергнутое филологическими исследованиями; потому, если в настоящее время находятся какие-нибудь неодинаковости между западными народами в умственном отношении, они получены ими не от природы их племени, а исключительно от исторической жизни, и будут сохранены или не сохранены ими, смотря по тому, как будет итти она.

Но когда говорят о различии народов по умственным качествам, то обыкновенно судят не собственно о силе ума, а только о степени образованности народа: только поэтому и возможны те определенные суждения, какие вошли в привычку. Рассмотреть, каковы умственные качества народа сами по себе, помимо того блеска или той тусклости, какая дается им высокой или низкой степенью об-

разованности, дело очень трудное, при нынешнем состоянии науки не могущее приводить ни к каким достоверным заключениям даже в тех случаях, если сравниваются народы желтой расы с народами белой, и служащее лишь предлогом для самохвальства и для клеветы, когда речь идет о сравнении разных народов одного отдела одной лингвистической семьи. Продолжать старые рассуждения о врожденных различиях между народами Западной Европы по умственным качествам значит не понимать результатов, к которым уже довольно давно пришла лингвистика, доказавшая, что все они потомки одного и того же народа.

Различия по языку имеют громадную важность в практической жизни. Люди, говорящие одним языком, имеют склонность считать себя одним национальным целым; когда они привыкают составлять одно целое в государственном отношении, у них развивается национальный патриотизм и внушает им более или менее неприязненные чувства к людям, говорящим другими языками. В этом реальном отношении язык составляет едва ли не самую существенную черту различий между народами. Но очень часто придают разнице по языку теоретическое значение, воображают, будто особенностями грамматики можно определять особенности умственных качеств народа. Это пустая фантазия. Этимологические формы в отдельности от правил синтаксиса не имеют никакой важности; а правила синтаксиса во всех языках удовлетворительно определяют логические отношения между словами, при помощи ли или без помощи этимологических форм. Существенную разницу между языками составляет только богатство или бедность лексикона, а состав лексикона соответствует знаниям народа, так что свидетельствует лишь о его знаниях, о степени его образованности, о его житейских занятиях и образе жизни и отчасти о его сношениях с другими народами.

По образу жизни есть очень важные различия между людьми; но в Западной Европе все существенные различия этого рода не национальные, а сословные или профессиональные. Землепашец ведет не такую жизнь, как ремесленник, работающий в комнате. Но в Западной Европе нет ни одного народа, в котором не было бы земледельцев или ремесленников. Образ жизни знатного сословия не тот, какой ведут земледельцы или ремесленники; но опять у всех европейских народов есть знатное сословие; даже и у тех, у которых, как у норвежцев, исчезли или почти

исчезли аристократические титулы, дело не в титулах, а в привычке занимать высокое общественное положение.

Привычки, имеющие важное реальное значение, различны у разных сословий или профессий по различию их образа жизни. Есть множество других привычек, имеющих не сословный, а национальный характер. Но это — мелочи, составляющие лишь забаву или щегольство, к которым рассудительные люди равнодушны и которые сохраняются лишь потому, что эти люди оставляют их без внимания, как нечто индиферентное, пустое. Для археолога эти мелочи могут иметь очень важное значение, как для нумизмата старые монеты, находимые в земле. Но в серьезном ходе народной жизни их значение ничтожно.

Каждый из народов Западной Европы имеет особый язык и особый национальный патриотизм. Эти две особенности — единственные особенности, которыми весь он отличается от всех других народов Западной Европы. Но он имеет сословные и профессиональные отделы; каждый из этих отделов во всех отношениях умственной и нравственной жизни, кроме языка и национального чувства, имеет свои особые черты быта; ими он походит на существующие сословные отделы других западных народов; эти сословные или профессиональные особенности так важны, что каждый данный сословный или профессиональный отдел данного западноевропейского народа, помимо своего языка и патриотизма, менее похож умственно и нравственно на другие отделы своего народа, чем на соответствующие отделы других западноевропейских народов. По образу жизни и по понятиям земледельческий класс всей Западной Европы представляет как будто одно целое; то же должно сказать о ремесленниках, о сословии богатых простолюдинов, о знатном сословии. Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации; португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земледельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта. В международных делах нация, имеющая государственное единство или стремящаяся приобрести его, действительно составляет одно целое, по крайней мере при обыкновенных обстоятельствах. Но по внутренним делам она состоит из сословных или профессиональных отделов, отношения между которыми приблизительно таковы же, как между разными народами. В истории всех западноевропейских народов бывали случаи, когда и по международным делам нация распадалась на части, враждебные одна другой, и слабей-

шая из них призывала иноземцев на помощь себе против внутренних врагов или радостно встречала иноземцев, без ее призыва пришедших покорить ее родину. Быть может, ныне уменьшилась эта готовность слабейшей части нации соединяться с иноземцами для вооруженной борьбы против своих соплеменников. Решиться на измену родине, вероятно, никогда не было легко ни для какой части какого бы то ни было европейского народа. Но в старые времена внутренняя борьба сопровождалась такими свирепостями, что одолеваемая сторона действовала по внушению отчаяния; чтобы спастись от смерти, люди решаются на очень тяжелые для них самих поступки. Если справедливо мнение, что в наши времена уже стали невозможны у цивилизованных народов при сословной или политической борьбе свирепости, способные доводить побежденных внутренних противников до отчаяния, то не будет и случаев, чтобы какая-нибудь часть какой-нибудь цивилизованной нации соединялась с иноземцами против соотечественников.

Некоторым публицистам эта надежда кажется не лишенной основательности. Но бесспорно то, что до недавнего времени было не так. Потому, рассказывая жизнь народа, историк постоянно должен помнить, что народ — соединение разных сословий, связи между которыми в прежние времена не имели такой прочности, чтобы выдерживать порывы взаимного ожесточения.

Впрочем, теперь все историки понимают важность сословных ссор и если часто говорят о народе, как об одном целом, в рассказе о делах, по которым разные сословия не были единодушны, эта ошибка их происходит не от незнания, а только от временного забвения или от каких-нибудь других причин. Но понятия о характере сословий еще остаются у большинства образованных людей, потому и у большинства историков, в значительной степени ошибочными. Главных причин этого две: масса публики, потому и большинство ученых, не имеют близкого знакомства с действительными обычаями и понятиями классов, по своему общественному положению и образу жизни далеких от них, и притом судят о них под влиянием политических и сословных пристрастий. Возьмем для примера господствующее понятие о земледельческом сословии. Вообще предполагается, что нравы земледельцев чище, чем нравы ремесленников. В некоторых случаях это, по всей вероятности, бывает справедливо. Например, если большинство земледельцев живет в довольстве, а большинство ремесленников терпит нищету, то, разумеется,

дурные качества, порождаемые бедностью, будут развиваться у ремесленников гораздо сильнее, чем у земледельцев. Ученые вообще живут в больших городах, потому часто видят неудобства жилищ ремесленников и другие материальные бедствия их. Как живут земледельцы, им известно гораздо меньше; и очень велики шансы того, что личные впечатления, случайно приобретаемые ими о быте земледельцев, будут неверны по отношению к большинству этого сословия. Другой источник ошибок — политическое пристрастие. Поселяне считаются консервативным сословием; потому ученые консервативного образа мыслей вообще превозносят рассудительность и чистоту нравов сельского сословия, ученые, желающие общественных перемен, думают и говорят о нем под влиянием политической вражды.

Кроме сословных и профессиональных делений, у каждого цивилизованного народа имеет очень большую важность деление по степеням образованности. В этом отношении принято делить нацию на три главные класса, которые характеризуются названиями: люди необразованные, люди поверхностного образования и люди основательного образования. Мы можем, как нам угодно, судить о вреде или пользе просвещения, можем хвалить невежество или считать его вредным для людей; но все согласны в том, что огромное большинство людей, не получивших образования и не имевших возможности приобрести его собственными усилиями, очень много отличается — в дурную ли, в хорошую ли сторону, не о том теперь речь, а лишь о том, что очень много отличается своими понятиями от огромного большинства образованных людей. А понятия людей — одна из сил, управляющих жизнью их.

Сделаем выводы из этого обзора действительного положения наших сведений о национальном характере.

Мы имеем очень мало прямых и точных сведений об умственных и нравственных качествах даже тех современных народов, которые наиболее известны нам, и ходячие понятия о характерах их составлены не только по материалам недостаточным, но пристрастно и небрежно. Самый обыкновенный случай небрежности тот, что случайно приобретенные сведения о качествах какой-нибудь малочисленной группы людей ставятся характеристикой целой нации. Заменить небрежные и пристрастные характеристики народов верными — дело очень хлопотливое, и у большинства ученых нет серьезного желания, чтоб оно было исполнено, потому что обыкновенная цель употреб-

ления характеристик народа состоит вовсе не в том, чтобы говорить беспристрастно, а в том, чтобы высказывать такие суждения, какие или кажутся выгодными для нас, или льстят нашему самолюбию. Люди, желающие говорить беспристрастно о других народах, воздерживаются от этого способа суждений слишком произвольного, довольствуются сведениями, которые приобретаются гораздо легче и представляют более достоверности: они изучают формы быта, крупные события жизни народа и ограничиваются теми суждениями о качествах народов, какие без труда выводятся из этих достоверных и точно определенных фактов. Объем таких суждений гораздо менее широк, чем содержание ходячих характеристик; существенное различие его от них то, что при каждой черте ставится оговорка о том, к какой части народа и к какому времени относится суждение. Так это должно быть по серьезным понятиям о характере многочисленных групп людей.

Мы знаем не качества народов, а только состояния этих качеств в данное время. Состояния умственных и нравственных качеств сильно видоизменяются влиянием обстоятельств. При перемене обстоятельств происходит соответствующая перемена и в состоянии этих качеств.

О каждом из нынешних цивилизованных народов мы знаем, что первоначально формы его быта были не те, как теперь. Формы быта имеют влияние на нравственные качества людей. С переменою форм быта эти качества изменяются. Уж по одному тому всякая характеристика цивилизованного народа, приписывающая ему какие-нибудь неизменные нравственные качества, должна быть признаваема ложной. Кроме египтян, обо всех других народах, достигавших цивилизованного состояния, мы имеем положительные сведения, относящиеся к временам очень грубого их невежества. Достаточно припомнить, что даже в «Илиаде» и «Одиссее» греки еще не умеют читать и писать. Разбирая предания, сохранившиеся у греков под формами мифов, мы видим черты быта совершенно дикого. Многие ученые находят в этих рассказах даже воспоминания о людоедстве. Так ли это или нет, были ль людоедами люди, уже говорившие греческим языком, или выводы об этом ошибочны, но достоверно то, что греческому народу были некогда чужды всякие цивилизованные понятия или привычки. Может ли сохраниться одинаковость нравственных качеств между предками-дикарями и потомками, достигшими высокой цивилизации? Сохраниться могут разве физический тип и те черты темперамента, которые прямо обусловливаются ими; но и это может быть

справедливым лишь по присоединении к термину «одинаковость» таких оговорок, которыми отнимается у него почти всякое значение. Например, цвет глаз остался прежний, но прежде выражение глаз было тупое, почти бессмысленное, а впоследствии оно сделалось соответствующим высокому умственному развитию; контуры профиля остались те же, но из грубых сделались миловидными; вспыльчивость осталась, но проявляется гораздо реже и формы ее проявления стали не те. Перемены обстоятельств, от которых видоизменялись формы быта, всегда ли одинаково касались всех сословий? Это могло бывать только в редких случаях. Видоизменяясь неодинаково, обычаи разных сословий становились менее сходными, чем были прежде. Народ приобретал знания, от этого изменялись его понятия; от перемены понятий изменялись нравы; этот ход перемен тоже был неодинаковым в разных сословиях, был неодинаковым и в разных частях страны, занятой народом. Таким образом, жизнь каждого из нынешних цивилизованных народов представляет ряд перемен в быте и понятиях, и ход этих перемен был неодинаков в разных частях народа. Потому точные характеристики могут относиться только к отдельным группам людей, составляющих народ, и только к отдельным периодам их истории.

Стремление объяснять историю народа особенными неизменными умственными и нравственными качествами его имеет своим последствием забвение о законах человеческой природы. Сосредоточивая свое внимание на действительных или мнимых разницах предметов, мы привыкаем не обращать внимание на качества, общие всем им. Если предметы принадлежат к разрядам очень различным, это забвение может оставаться безвредным для верности наших суждений; например, если мы говорим о растении и о камне, нам не всегда бывает надобно помнить, что оба эти предмета имеют некоторые общие качества; разница между ними велика, и обыкновенно речь идет о таких обстоятельствах, в которых камень выказал бы качества, неодинаковые с растением. В истории это не так. Все те существа, жизнь которых рассказывает она,— организмы одного вида; разницы между ними менее значительны, чем одинаковые качества их; те влияния, действием которых производятся перемены в жизни этих существ, обыкновенно таковы, что на каждом из них отражаются приблизительно одинаковыми последствиями. Берем для примера пищу. Она у разных народов и у разных сословий одного народа очень неодинакова. Есть раз-

ница и в том, какое количество одинаковой пищи нужно взрослым людям неодинакового образа жизни для того, чтобы чувствовать себя сытыми и оставаться здоровыми. Но каждый человек ослабевает при недостатке пищи, и у каждого настроение души бывает дурным, когда он мучится голодом.

Соображения о качествах деятельности желудка, общих всем взрослым здоровым людям, несравненно важнее тех различий, какие могут быть справедливо или фантастически выводимы из соображений о разницах привычек разных людей к тому или другому сорту пищи. Привычка делает выносимыми для людей такие положения, которые нестерпимы людям непривычным. Но как бы ни была сильна она, общие качества человеческой природы сохраняют свои требования. Человек никогда не может утратить влечения улучшать свою жизнь, и если у каких-нибудь людей мы не замечаем этого стремления, мы лишь не умеем разгадать мыслей, скрываемых ими от нас по каким-нибудь соображениям, чаще всего по мнению, что бесполезно говорить о том, чего нельзя сделать.

Когда человек привык к своему положению, его желание улучшить жизнь обыкновенно лишь немногим возвышается над уровнем его привычного положения. Так, например, землепашец вообще желает лишь того, чтоб его труд или несколько облегчился, или приносил бы ему вознаграждение несколько больше прежнего. Это не значит, что при удовлетворении нынешнего своего желания он не будет иметь нового. Он только хочет оставаться благоразумным в своих желаниях и думает, что желать слишком многого было бы нерассудительно. Если положение какого-нибудь народа долго было очень бедственным, то привычные его желания имеют очень небольшой размер. Из этого не следует, чтоб он не был способен желать гораздо большего, когда нынешние его желания будут удовлетворены. Если мы будем помнить это, у нас исчезнет фантастическое деление народов на способные и неспособные к достижению высокой цивилизации; оно заменится различением положений, благоприятных развитию стремления к прогрессу, и положений, принуждающих народ не думать о том, чего нельзя, по его мнению, достичь.

Если обстоятельства очень долго оставались такими, что народ не мог увеличить прежнего запаса своих знаний, он привыкает считать напрасным стремление увеличить их; но как только представляется возможность узнать что-нибудь новое, полезное для жизни, пробуждается в нем

врожденное всем людям стремление к увеличению знаний. То же самое относительно всех других благ, совокупность которых называется цивилизацией.

4

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ЭЛЕМЕНТОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОГРЕСС

Самые существенные различия между людьми те, которые состоят в разницах умственного и нравственного развития их и в степени их материального благосостояния. Говорят, что в племенах, находящихся на очень низкой степени развития, все люди данного племенного общества имеют одинаковые понятия, знания, нравственные привычки. Это мнение — реторическая утрировка того факта, что разницы между людьми по привычкам и понятиям в малочисленном и малоцивилизованном племени менее велики, чем в многочисленной высокоцивилизованной нации. Они в нем менее велики, чем в ней; но все-таки они в нем есть, и притом большие. Иначе и быть не может. Даже в стаде животных замечается большая разница между его членами по привычкам и занятиям. Так, например, не говоря уже о различии характера между самцами и самками, тот самец, который имеет авторитет вождя стада, выказывает гораздо больше сообразительности, находчивости, осторожности и смелости, чем остальные самцы, привыкшие руководиться его внушениями. Дикари на самой низкой ступени развития все-таки имеют ум более развитой, чем даже слоны или оранг-утанги; из этого должно заключать, что между людьми одного дикарского племени разницы по обширности знаний и характеру привычек должны быть гораздо больше, нежели различия между животными одного стада.

Но, отлагая этот спорный вопрос по его сравнительной маловажности для истории и обращая внимание только на те племена и народы, которые имеют сколько-нибудь важное историческое значение, мы видим, что в каждом из них некоторые люди значительно превосходят умственными или нравственными качествами средний уровень своего племени и народа, некоторые другие далеко не достигают его. Разницы так велики, что в самой цивилизованной нации находится довольно много людей, уступающих в умственном и нравственном отношениях наиболее развитым людям племени, мало возвысившегося в общем своем составе над дикарством. Возьмем для примера тот разряд знаний, относительно которого особенно легко ре-

шать, в каком размере обладает им тот или другой человек,— уменье считать. В Англии, Франции, Германии находится множество взрослых физически и умственно здоровых людей, не умеющих решать арифметические вопросы, без труда разрешаемые торговыми людьми или сборщиками налогов в негритянских государствах Центральной Африки. Сравнение людей по нравственному их достоинству гораздо сбивчивее, чем определение их умственного уровня; но и тут мы можем делать довольно прочные выводы, если будем сравнивать не всю сумму нравственных качеств, а какое-нибудь определенное качество, например, то, как обращается отец или мать с детьми. Взяв для сравнения именно этот элемент нравственного развития, мы должны будем признать, что в племенах, ведущих очень грубую жизнь, находится много родителей, обращающихся с детьми менее безжалостно, чем многие родители, принадлежащие по своей национальности к передовым народам.

Таким образом, каждый народ, имеющий историческое значение, представляет соединение людей, очень различных между собою по степеням умственного и нравственного развития. Часть его составляют люди, похожие своим невежеством и нравственной грубостью на самых невежественных и безжалостных дикарей; другие части занимают всяческие средние степени между этой низшей и наилучшими представителями своей нации.

Потому, когда говорят о какой-нибудь нации, что она достигла высокой степени образованности, это не значит, что все люди, составляющие ее, много выше дикарей по своим привычкам и умственному развитию; но тем самым, что этой нации дается название высокоцивилизованной, уже высказывается мнение, что большинство людей, составляющих ее, далеко превосходит дикарей своим умственным развитием и достоинством нравственных привычек.

Теперь все серьезные ученые согласны между собою в признавании той истины, что все особенности, которыми возвышаются над грубейшими и невежественнейшими из диких племен цивилизованные люди, составляют историческое приобретение.

Спрашивается, какими ж элементами произведено это улучшение понятий и привычек?

Чтобы ясно было, какова необходимо должна быть сущность ответа на этот вопрос, поставим вопрос более широкий: спросим себя не о том, какими элементами произведено повышение некоторых людей в умственном

и нравственном отношениях над некоторыми другими людьми, а вообще о том, чем произведено все повышение человеческой жизни над жизнью других живых существ, имеющих организацию тела, подобную человеческой. Ответ известен с незапамятных времен всем людям, достигшим такого умственного развития, чтоб сознавать разницу между человеком и так называемыми неразумными животными.

Все мы знаем, что все те преимущества, какие имеет человеческая жизнь над жизнью млекопитающих, не одаренных такой силою ума, как человек,— результаты умственного превосходства человека.

Это общеизвестное и общепризнанное решение общего вопроса о происхождении всех преимуществ человеческой жизни заключает в себе с очевидной ясностью ответ на частный вопрос о силе, производящей прогресс в жизни народов: основная сила, возвышавшая человеческий быт,— умственное развитие людей. Само собою разумеется, что и умственной силой, как всякой другой, человек может злоупотреблять так, что она будет производить не пользу, а вред или для других людей, или даже и для него самого. Так, например, интересы честолюбца обыкновенно бывают неодинаковы с благом его нации, и свое умственное превосходство над ее массой он употребляет во вред ей; в случае успеха он очень часто привыкает к такому необузданному удовлетворению своих страстей, что разрушает собственное умственное, а наконец, даже и физическое здоровье; что бывало с отдельными людьми, увлекавшимися честолюбием, бывало и с целыми народами. Так, афиняне губили других греков и погубили самих себя, злоупотребляя своим умственным превосходством над большинством других греков; так потом римляне погубили все цивилизованные народы и самих себя, злоупотребляя своим умственным превосходством над испанцами, галлами и другими малообразованными народами Европы и соседних с Европою частей Африки и Азии. Умственная сила может производить и часто производит вредные результаты; но производит их лишь под давлением сил или обстоятельств, искажающих природный характер ее. Под влиянием страстей человек очень умный и просвещенный может поступать гораздо хуже огромного большинства своих соотечественников, не имеющих ни такого сильного природного ума, ни такой высокой образованности; но теперь признано, что все такие поступки лишь результаты обстоятельств, помешавших нормальному развитию душевной жизни этого человека. Само по себе умственное

развитие имеет тенденцию улучшать понятия человека о его обязанностях относительно других людей, делать его более добрым, развивать в нем понятия о справедливости и честности.

Всякая перемена в народной жизни — сумма перемен в жизни отдельных людей, составляющих нацию; потому, когда мы хотим определить, какие обстоятельства благоприятны и какие неблагоприятны улучшению умственной и нравственной жизни нации, мы должны рассмотреть, от каких обстоятельств улучшается или портится в умственном или нравственном отношении отдельный человек.

В старые времена вопросы этого рода были очень затемнены грубыми понятиями, остававшимися у большинства ученых людей от варварской старины их наций. Теперь дело не представляет больших затруднений в теоретическом отношении. Основные истины ясны для большинства просвещенных людей передовых наций, и меньшинство, находящее эти истины несообразными с своей личной выгодою, уже стыдится отрицать их, принуждено вести борьбу против них казуистическим способом: оно говорит, что вообще разделяет честные убеждения большинства, оно только старается доказывать, что эти истины не вполне применяются к данному частному случаю, в котором они противоречат выгодам его. Таких оговорок всегда можно найти много, но фальшивость их обыкновенно бывает очевидна для всех, не имеющих личной выгоды называть их основательными.

В наиболее мрачные времена средних веков господствовало между учеными людьми мнение, что человек по своей природе расположен к дурному и делает хорошее только по принуждению. Применяя это к вопросу об умственном развитии, педагоги тех времен утверждали, что преподавание теоретических знаний бывает успешно, лишь когда ведется посредством жестоких наказаний. Ученые, писавшие о нравственной жизни общества, точно так же говорили, что масса людей расположена вести порочную жизнь, совершать всяческие преступления, и что единственным основанием общественного порядка должно быть угнетение, что только насилие делает людей трудолюбивыми и честными. Все мнения этого рода признаны теперь невежественными, противоречащими человеческой природе.

Из наук о законах общественной жизни первая выработала точные формулы условий прогресса политическая экономия. Она установила, как незыблемый принцип всякого учения о человеческом благосостоянии, ту истину, что

только добровольная деятельность человека производит хорошие результаты, что все делаемое человеком по внешнему принуждению выходит очень плохо, что успешно делает он только то, что сам желает. Политическая экономия применяет эту общую идею к разъяснению законов успешности материального человеческого труда, доказывая, что все формы не добровольной работы непроизводительны и что материальным благосостоянием может пользоваться только то общество, в котором люди пашут землю, изготовляют одежду, строят жилища каждый по собственному убеждению в полезности для него заниматься той работой, над которой он трудится.

Применяя тот же принцип к вопросу о приобретении и сохранении умственных и нравственных благ, другие отрасли общественной науки признали теперь, что просвещенными и нравственными становятся только те люди, которые сами желают сделаться такими, и что не только повышаться в этих отношениях, но и оставаться на достигнутой высоте человек может лишь в том случае, если он сам желает этого, добровольно заботится об этом. Действительно, все мы по житейским наблюдениям знаем, что если ученый человек утратил любовь к науке, он быстро теряет приобретенные знания и мало-помалу обращается в невежду. То же самое и о других сторонах цивилизации. Если, например, человек утратил любовь к честности, он быстро вовлечется в такое множество дурных поступков, что приобретет привычку к бесчестным правилам жизни. Никакое внешнее принуждение не может поддержать человека ни на умственной, ни на нравственной высоте, когда он сам не желает держаться на ней.

Во времена господства свирепых педагогических систем говорили, что люди — в данном случае люди еще не взрослых лет, дети — выучиваются чтению, письму, арифметике и так далее только по принуждению, по страху наказаний за леность. Теперь все знают, что это вовсе не так, что каждый здоровый ребенок имеет природную любознательность и если внешние обстоятельства, досадные для него, не заглушают ее, то учится охотно, находит наслаждение в приобретении знаний.

Люди, действующие в исторических событиях, не дети, а люди, ум и воля которых сильнее детских. Если жизнь ребенка шла сколько-нибудь удовлетворительно в материальном отношении и не чрезвычайно дурно в умственном, то, по достижении юношеских лет, он оказывается человеком, понимающим вещи рассудительнее, способным держать себя благоразумнее, чем лет за пять перед тем.

Вообще говоря, десятилетний ребенок знает больше, рассуждает умнее, имеет больше силы характера, чем пятилетний, а пятнадцатилетний подростающий юноша много превосходит всеми этими качествами десятилетнего ребенка, и если жизнь его в следующие годы пойдет не чрезвычайно дурно, то в 20 лет он станет человеком еще более знающим, умным, рассудительным, имеющим более твердую волю. Менее быстр становится прогресс человека в умственном и нравственном отношениях по достижении полного физического развития; но как физические силы человека продолжают возрастать довольно много лет после совершеннолетия, так, по всей вероятности, продолжают возрастать и умственные его силы и способность быть твердым в исполнении своих намерений. Можно полагать, что возрастание сил прекращается обыкновенно около 30-тилетнего возраста, а при благоприятном ходе жизни длится несколькими годами больше. Когда оно прекращается, физические, умственные и нравственные силы человека довольно долго держатся приблизительно на высшем достигнутом уровне и, по всей вероятности, не раньше, чем начинает хилеть организм человека в отношении физической силы, начинается у здорового человека упадок умственных и нравственных сил. Так теперь думают натуралисты, занимающиеся изучением человеческого организма.

С каких лет человек начинает считать себя равным по уму и нравственной силе с людьми, достигшими полного развития? Под влиянием самолюбия эта мысль обыкновенно овладевает человеком раньше того, чем было бы справедливо ему начать думать о себе так. Но громадное большинство людей, которых старшие называют несовершеннолетними, все-таки сохраняет расположение следовать примеру старших, и, например, пятнадцатилетние юноши вообще стараются подражать примеру своих старших родных или знакомых. Таким образом, о большинстве людей, даже уже довольно близких к совершеннолетию, все мы положительно знаем, что их развитие определяется качествами старшего поколения. Они, как имели с младенчества, так и по достижении уже высокого физического роста и приобретении довольно значительной физической силы сохраняют влечение сделаться такими, как их старшие; потому нет надобности ни в каком насилии для того, чтобы дети и подрастающие юноши или девушки развивались именно так, как желают старшие: у них самих есть очень сильное стремление к этому; для воспитания их нужно не принуждение, а только доброжелательное со-

действие тому, чего сами они желают; не мешайте детям становиться умными, честными людьми — таково основное требование нынешней педагогии; насколько умеете, помогайте их развитию, прибавляет она, но знайте, что меньше вреда им будет от недостатка содействия, чем от насилия; если вы не умеете действовать на них иначе, как принуждением, то лучше для них будет оставаться вовсе без вашего содействия, чем получать его в принудительной форме.

Мы напоминаем об основном принципе педагогии потому, что до сих пор остается в большом обыкновении сравнивать иноземные необразованные племена и низшие сословия своей нации с детьми и выводить из этого сравнения право образованных наций производить насильственные перемены в быте подвластных им нецивилизованных народов и право господствующих в государстве просвещенных сословий поступать таким же способом с бытом невежественной массы своей нации. Вывод фальшив уж и по одному тому, что сравнение совершеннолетних необразованных людей с детьми — пустая реторическая фигура, уподобляющая одно другому два совершенно различные разряда существ. Самые грубейшие из дикарей — вовсе не дети, а такие же взрослые люди, как и мы; тем меньше одинаковости с детьми у простолюдинов цивилизованных наций. Но примем на минуту, что фальшивое сравнение не фальшиво, а верно. Все-таки оно не дает ни малейшего полномочия каким бы то ни было, хотя бы самым просвещеннейшим и доброжелательнейшим, людям насильственно изменять те стороны быта простолюдинов или хотя бы дикарей, о которых идет речь, при оправдывании произвольных распоряжений относительно образа их жизни. Пусть они маленькие дети (вероятно, впрочем, уже не грудные младенцы, потому что сами своими руками берут пищу и своими зубами жуют ее, а не питаются молоком жен своих просвещенных попечителей). Пусть мы нежнейшие отцы этих — вероятно, уж не двухмесячных, а не меньше, как двухлетних — малюток; что ж из того? Дозволяет ли педагогия отцу стеснять двухлетнего ребенка больше, чем необходимо для сохранения целости рук и ног, лба и глаз малютки? Дозволяет ли она принуждать этого малютку не делать ничего такого, чего не делает отец, и делать все то, что он делает? Отец ест при помощи вилки, должен ли он сечь двухлетнего ребенка, хватающего куски кушанья рукой? «Но малютка обожжет себе пальчики о кусок жаркого». Пусть обожжет, беда не так велика, как сечение. Впрочем, любители сравнения дикарей или простолюдинов с детьми, вероятно, дают предме-

там своих нежных забот, пашущим землю, или пасущим скот, или хотя собирающим ягоды для своего пропитания, никак не меньше десятилетнего возраста. Хорошо; какие же права имеет не то что посторонний воспитатель, а родной отец над десятилетним ребенком? Имеет ли право хотя бы принуждать его учиться? Педагогия говорит: «Нет; если десятилетний мальчик не любит учиться, причина тому не он, а его воспитатель, заглушающий в нем любознательность дурными приемами преподавания или непригодным для воспитанника содержанием его. Надобность тут не в принуждении воспитанника, а в том, что воспитателю должно перевоспитать самого себя и переучиться: ему следует сделаться из скучного, бестолкового, сурового педанта добрым и рассудительным преподавателем, отбросить дикие понятия, которыми загроможден здравый смысл в его голове, приобрести взамен их разумные. Когда эти требования науки будут исполнены воспитателем, мальчик станет охотно учиться всему, что найдет тогда надобным преподавать ему учитель, сделавшийся человеком рассудительным и добрым. Принудительная власть взрослых людей над десятилетним мальчиком ограничивается тем, чтоб удерживать его от нанесения вреда самому себе и другим. Но вред вреду рознь. Когда речь идет о принудительных мерах для предотвращения вреда, то ясно само собою, что не годится предотвращать менее значительный вред нанесением более значительного. Принуждение по самой сущности своей вредно: оно приносит огорчения стесняемому и наказываемому, оно портит его характер, возбуждая в нем досаду на запрещающих и наказывающих, вводя его во враждебное столкновение с ними. Поэтому рассудительные родители, другие старшие родные, воспитатели считают дозволительным для себя употребление насильственных мер против десятилетнего мальчика лишь в немногих наиболее важных из тех случаев, в которых поступки его вредны ему по их мнению. Когда вред не очень важен, они действуют на мальчика только советами и доставлением ему удобств отвыкать от вредного: они справедливо полагают, что мелочные шалости, от которых не будет большой беды ни самому мальчику, ни другим, не должны быть предметами угроз и наказаний; пусть сама жизнь отвлечет его от этих шалостей, думают они, помогают делу советами, стараются доставить шалуну другие, лучшие развлечения и ограничиваются этим.— Впрочем, бесспорно, бывают случаи, в которых вред воспрещаемого более велик, чем вред воспрещения. В таких делах принудительные меры оправды-

ваются разумом и предписываются совестью; конечно с оговоркой, что они не будут более суровы или стеснительны, чем необходимо для пользы мальчиков, подвергаемых им. Предположим, например, что воспитатель получил в свое заведывание толпу мальчиков, имеющих привычку драться между собой камнями и палками. Он обязан воспретить им эти драки, в которых часто получаются увечья, иной раз даже бывающие смертельными.— О делах ли подобного рода ведется речь, когда принудительные меры против уподобляемых детям простолюдинов или дикарей оправдываются обязанностью воспитателя запрещать детям вредные для них поступки? Нет, к фактам этого разряда не могут относиться подобные рассуждения. Во-первых, если иметь в виду эти факты, то не о чем вести спор, нечего доказывать; право правительства воспрещать драки не отрицается никем; во-вторых, когда говорится о воспрещении драк, то нельзя говорить, в частности, о воспрещении их какому-нибудь особому разряду людей: речь должна относиться ко всем людям, дерущимся между собою; какова степень их образованности, все равно: они дерутся между собой, этого достаточно; кто бы ни были они, знатные или незнатные, ученые или невежды, одинаково надобно прекратить их драку. И правительству ли только принадлежит право прекратить ее? — Нет; всякому рассудительному человеку совесть велит прекратить — если он может — всякую драку, какую он видит, и законы всех цивилизованных земель одобряют каждого, исполнившего эту обязанность совести. Какая же надобность толковать, что и правительство имеет право прекращать драки? Во всех цивилизованных странах существует и одобряется всем населением их закон, не то что дающий правительству право,— нет, возлагающий на него обязанность прекращать драки. В каждой цивилизованной стране все население непрерывно требует от правительства исполнения этого закона. И во всякой цивилизованной земле он один и тот же для всего ее населения; никаких исключительных льгот или стеснений в деле драк нет ни для какого класса людей, знатного ль или низкого, просвещенного ль или невежественного; нет их, и не нужно. Ни в какой цивилизованной стране нет никаких споров ни о чем из этого. К чему ж было бы толковать, в частности, о простолюдинах и о том, что простолюдины подобны детям, а правительство подобно должно быть школьным учителям этих мнимых школьников, здоровенных мужчин и седых стариков, если бы рассуждающие о сходстве простолюдинов с детьми желали только доказывать, что правительство

имеет право прекращать драки простолюдинов? Ясно, что любители уподобления простолюдинов детям имеют в виду не воспрещение драк, а нечто совершенно иное; им хочется, чтобы простолюдины жили по их фантазиям, им хочется переделывать народные обычаи по своему произволу. Предположим, что все не нравящиеся им черты быта простолюдинов действительно дурны, что все правила быта, которыми желают они заменить эти черты, действительно были бы сами по себе хороши. Но они — любители насилия, хоть и умеют говорить языком цивилизованного общества, остаются в душе людьми варварских времен.

Во всех цивилизованных странах масса населения имеет много дурных привычек. Но искоренять их насилием значит приучить народ к правилам жизни еще более дурным, принуждать его к обману, лицемерию, бессовестности. Люди отвыкают от дурного только тогда, когда сами желают отвыкнуть; привыкают к хорошему, только когда сами понимают, что оно хорошо и находят возможность усвоить его себе. В этих двух условиях вся сущность дела: в том, чтобы человек узнал хорошее, и в том, чтобы нашел возможным усвоить его себе; в желании усвоить его себе никогда не может быть недостатка у человека. Не желать хорошего — не в натуре человека, потому что не в натуре какого бы то ни было живого существа. Нечего и говорить о том, желают ли хорошего себе существа, дышащие, подобно человеку, легкими, имеющие высокоразвитую нервную систему; всмотримся в движение червяка: даже и он ползет от того, что кажется ему дурным, к тому, что кажется ему хорошим. Влечение к тому, что кажется хорошим,— коренное качество природы всех живых существ.

Если мы, просвещенные люди какого-нибудь народа, желаем добра массе своих соплеменников, имеющей дурные, вредные для нее привычки, наша обязанность состоит в том, чтобы знакомить ее с хорошим и заботиться о доставлении ей возможности усвоить его. Прибегать к насилию — дело совершенно неуместное. Когда препятствие к замене дурного хорошим только незнание хорошего, нам легко достичь успеха в желании улучшить жизнь наших соплеменников; те истины, которые надобно узнать им, не какие-нибудь головоломные теоремы специальных наук, а правила житейского благоразумия, совершенно доступные пониманию всякого взрослого человека; хотя бы самого невежественного. Трудность дела не в том, чтобы растолковать простолюдинам вредность дурного, полезность хорошего; важнейшие истины этого рода хорошо известны огромному большинству простолюдинов каждого

народа нашей европейской цивилизации. Оно само желает заменить свои дурные привычки хорошими и не исполняет своего желания только потому, что не имеет средств вести такую жизнь, какую считает хорошей и желало бы вести. Оно нуждается не в назиданиях, а в приобретении средств для замены дурного хорошим. Меньшинство, желающее жить по правилам, которые справедливо кажутся дурными просвещенным людям, ничтожно по количеству в каждой из наций цивилизованного мира; оно состоит из людей, которых считает дурными и масса простолюдинов, как масса образованного общества. Кроме этих немногих, нравственно больных людей, все остальные простолюдины, как и все остальные просвещенные люди, желают поступать хорошо; и если поступают дурно, то лишь потому, что дурная обстановка их жизни принуждает их к дурным поступкам; все они тяготятся этим, все желают улучшить обстановку своей жизни так, чтобы не быть вводимыми ею в дурные поступки. Обязанность людей, желающих добра своему народу, состоит в том, чтобы помогать осуществлению этого желания огромного большинства людей всех сословий. Не насилие против простонародья или какого другого класса наций тут нужно, а содействие исполнению всеобщего желания.

Таковы должны быть отношения просвещенных людей к массе их соотечественников. И должно сказать, что уж с довольно давнего времени все правительства цивилизованных государств держатся этих разумных понятий; варварский способ производить перемены в народной жизни насильственными мерами давно отброшен правительствами всех европейских государств; всех без исключения; даже и турецкое правительство отказалось от попыток доставлять своему народу что-нибудь хорошее насилием над ним; даже и оно теперь знает, что насильственные меры не улучшают, а только портят жизнь того народа, к национальному составу которого принадлежит оно.

Те ученые, которые желают, чтобы правительство какой-нибудь цивилизованной страны принимало насильственные меры для преобразования жизни своего народа, люди менее просвещенных понятий, чем правители турецкого государства.

Французы ль мы или немцы, русские ль или испанцы, шведы ль или греки, мы имеем право думать о своем народе, что он менее невежествен, нежели турецкий; потому имеем право требовать от ученых нашей национальности,

чтоб они не отказывали своему народу в том уважении, какое оказывают своему народу турецкие паши.

Некоторые из ученых, стыдящихся требовать насилий над жизнью своего народа, не считают постыдным говорить, что правительство цивилизованной нации имеет обязанность принимать насильственные меры для улучшения обычаев подвластных ему нецивилизованных иноплеменников.

Власть над чужими землями приобретается и поддерживается военной силой. Таким образом, вопрос о правах правительств цивилизованных наций над нецивилизованными племенами сводится к вопросу о том, в каких случаях разум и совесть могут оправдывать завоевание. Все эти случаи подходят под понятие самообороны. Ни один оседлый народ не имеет таких обычаев, которые делали бы для какого-нибудь другого народа необходимой мерой самообороны завоевание его. Каждый оседлый народ ведет мирный образ жизни, добывает себе пропитание честным, спокойным трудом. Военные столкновения между оседлыми народами возникают не из основных правил их жизни, а только из недоразумений или порывов страстей. Если оседлый народ имеет такое превосходство силы над другим тоже оседлым народом, что может покорить его своему владычеству, то ясно само собою, что он имеет силу, более нежели достаточную для отражения нападений этого народа. Потому завоевание оседлого народа никогда не может быть признано необходимостью для самообороны народа, покоряющего себе его. Интересы каждого оседлого народа требуют спокойствия. Если народ более сильный заботится соблюдать справедливость относительно оседлого соседа менее сильного, то очень редко будет подвергаться нападениям от него. Нападение слабого должно кончиться неудачей, по превосходству силы обороняющегося. Если сильный, отразив нападение слабого, заключит с ним мир на справедливых условиях, не злоупотребит своей победой, то побежденный надолго утратит желание возобновить войну. Таким образом, более сильный народ всегда имеет возможность устроить свои отношения к менее сильному оседлому соседу так, что преобладающий характер их будет мирный. Завоевание оседлого народа всегда нарушение справедливости; а нарушение справедливости никогда не может быть полезным для подвергающихся ему, всегда наносит им вред.— Итак, покорение оседлого народа, никогда не бывая необходимостью самообороны покоряющего, никогда не может иметь оправдания себе.— Иное дело — отношения оседлых народов

к номадам: Они могут быть таковы, что покорение соседнего кочевого племени необходимая мера самообороны оседлого народа. Некоторые номады миролюбивы; покорение их никогда не может быть надобностью. Но многие номады имеют принципом своего быта грабеж соседов. Покорение таких номадов может бывать делом необходимости, и в таких случаях оправдывается разумом и совестью. Спрашивается: имеют ли цивилизованные завоеватели право принуждать завоеванных номадов к перемене их обычаев? — Имеют, насколько это необходимо для достижения той цели, которой оправдывается завоевание, то есть для прекращения разбойничества. Покоренные дикари разбойничали. Завоеватель не только имеет право, имеет обязанность запретить им это. Но когда он воспрещает им разбои, о чем тут идет дело? О том ли, чтоб улучшить нравы дикарей? — Нет; улучшение их нравов может быть (и часто бывает) результатом прекращения разбоев, но мотивом запрещения разбоев служит надобность цивилизованного народа, а не забота о благе разбойничавших дикарей. Потребность цивилизованных завоевателей в безопасности для своего мирного труда возлагает на их правительство обязанность прекратить разбойничество покоренных дикарей. Полезно ль это для дикарей или нет, все равно. Это может стать полезным для них; но не для их пользы делается это, а для пользы их завоевателей. Правительство цивилизованного народа ловит и наказывает в своей земле разбойников и воров, принадлежащих к одной с ним национальности; для чего оно делает это? Для пользы ль этих разбойников и воров? Нет, для пользы мирного, честного населения своей земли; нация находит надобным для себя, чтоб они были ловимы и наказываемы, и возлагает на правительство обязанность исполнять это. Поимкой и наказанием грабителей ограничивались до недавнего времени отношения правительства к ним и желания общества относительно их даже у передовых наций. Теперь просвещенное общество считает своей надобностью заботиться об улучшении правил жизни пойманных и наказанных грабителей и воров.Правительства цивилизованных наций стараются исполнить эту добрую и разумную мысль просвещенных классов, и когда дело ведется хорошо, то многие из наказанных грабителей и воров становятся людьми трудолюбивыми, честными. Но какими способами достигается этот результат? Тем, что администрация облегчает судьбу наказываемых, доставляет им средства трудиться с выгодой для них и хорошие, благородные развлечения во время их тюремной жизни,

сокращает срок их неволи в награду за исправление. Итак, чем же улучшаются эти люди? Мерами кротости и заботливости, смягчающими их наказания, возбуждением в них расположения к хорошим правилам жизни, а не насилием, не наказаниями. Лишение свободы само по себе раздражает людей, портит их, развивает в них низкие и злые склонности; тем еще хуже действуют наказания более суровые, чем простое заключение в темницу. Точно так же, отняв у разбойнического племени независимость для избавления своей земли от его грабежей, правительство цивилизованного народа может заботиться о доставлении покоренным дикарям сведений о хорошем и средств для его приобретения; это будет не насилие, а дело доброжелательства; при хорошем исполнении его нравы дикарей будут смягчаться, и по мере их улучшения завоеватели могут облегчать тяготу своей власти над побежденными; эта благородная политика будет сильно содействовать улучшению жизни покоренных. Таким образом, когда завоеванное племя получает что-нибудь хорошее от завоевания, то все хорошие результаты производятся не насилием, а кротостью и уменьшением насилия.

О людях нашего времени достоверно известно, что насилие ухудшает их, что кроткое, доброжелательное обращение с ними улучшает нравственные их качества. Так ли было и в прежние времена? — Естествознание отвечает, что так было всегда не только в жизни людей, но и раньше того, в жизни предков людей. Та часть зоологии, которая занимается исследованием умственной и нравственной жизни существ, имеющих теплую кровь, доказала, что все без исключения классы, семейства и виды их раздражаются, нравственно портятся от насилий над ними, улучшаются в своих нравственных качествах при доброжелательном, заботливом и кротком обращении с ними. Ставить вопрос шире, чем обо всех живых существах с теплой кровью, нет надобности при исследовании законов человеческой жизни; и, кажется, еще не собраны материалы для разъяснения форм и законов нравственной жизни некоторых из позвоночных, имеющих холодную кровь, и большинства беспозвоночных живых существ. Но относительно существ с теплой кровью естествознание вполне разъяснило, что общий закон нравственной жизни всех их состоит в ухудшении от всякой жестокости, всякого насилия над ними, в улучшении их нравственных качеств при добром обращении с ними.

Но как же думать о достоверности множества исторических свидетельств, говорящих, что насилие улучшало

нравы дикарей, покоренных цивилизованными нациями? — Точно так же, как о достоверности всяких других рассказов или рассуждений, противоречащих законам природы. Для историка, знакомого с законами человеческой природы, не может быть сомнения, что всякие рассказы подобного рода — вздорные сказки; задача его относительно их состоит в том, чтобы разъяснить, как возникли они, найти источники ошибок или мотивы преднамеренной лжи, которыми они порождены.

Теперь признано, что все живые существа, способные ощущать впечатления, производимые на них внешними предметами, и чувствовать боль или приятное состояние своего организма, стремятся приспособить обстановку своей жизни к своим потребностям, занять в ней наиболее приятное для себя положение и с этой целью стараются как можно лучше узнать ее. Относительно всех тех существ, у которых органы слуха и зрения устроены более или менее сходно с нашими, то есть, между прочим, относительно всех млекопитающих, известно теперь, что, кроме желания изучать обстановку своей жизни с практической целью, для лучшего удовлетворения своих потребностей, они имеют и теоретическую любознательность: им приятно смотреть на некоторые предметы, слушать некоторые звуки. Они имеют склонность смотреть и слушать собственно потому, что это приятно им, независимо ни от какой выгоды в материальном смысле слова. После того как зоология установила эти факты относительно всех млекопитающих, нет возможности отрицать в человеке врожденное стремление к улучшению своей жизни и врожденную любознательность. Эти качества, которых не может человек утратить, пока сохраняется здоровая деятельность его нервной системы, это первые две из основных сил, производящих прогресс.

Есть живые существа, враждебные к одинаковым с ними. Так говорят о науках. Но между теми существами, которые по зоологической классификации причисляются к высшим отделам класса млекопитающих, нет ни одного вида, подходящего под разряд существ, враждебных подобным себе. Все они, напротив того, имеют доброжелательное расположение к существам одного с ними вида. Некоторые из них ведут одинокую жизнь, как, например, волки; но это лишь необходимость, налагаемая на них трудностью добывать пищу; так охотники расходятся далеко один от другого в тех местностях, где мало добычи для них; всем известно, что волки при всякой возможности

соединяются в маленькие общества: им приятно быть вместе. Те существа, которые по форме зубов и устройству желудка менее далеки от человека, чем волк, и питаются или исключительно, или преимущественно растительными веществами, ведут общественную жизнь.

О половой привязанности нет надобности говорить много: все знают, что она в высших отделах млекопитающих очень сильна. А когда всем нам известно, что лев и львица нежно любят друг друга, что тигр ходит добывать пищу для своей подруги, кормящей дитя, то нелепо было бы сомневаться, что половое чувство у людей располагает мужчину и женщину к взаимному доброжелательству. У млекопитающих сильно развита материнская любовь к детям; без этого чувства не мог бы существовать ни один вид их, потому что дети каждого очень долго живут только благодаря заботливости матери, кормящей их грудью. У каждого вида млекопитающих мать очень сильно любит детей в продолжение всего того времени, пока они не могут обходиться без ее забот. Потому нет возможности сомневаться, что в человеческом роде мать имеет природную сильную любовь к своим детям и что ее любовь к дитяти сохраняет свою силу на все те годы жизни ребенка, в которые он не способен сам прокормить себя и сам защищаться от врагов. А этот период у человека очень продолжителен. Едва ли в какой бы то ни было местности, самой благоприятной для легкого добывания пищи человеком и наиболее безопасной для него, может не умереть с голода пятилетний ребенок, оставшийся совершенно без попечения старших. Вообще говоря, период забот матерей о детях в человеческом роде длится гораздо больше пяти лет. Но если мы возьмем этот срок времени, очевидно слишком короткий, то все-таки надобно будет признать, что он имеет продолжительность, более чем достаточную для возникновения привычки матери и ребенка жить вместе.

Теперь говорят, что семейный быт не первоначальная форма человеческой жизни, что некогда люди жили многолюдными нераздельными группами, в которых не существовало никаких прочных индивидуальных отношений между мужчинами и женщинами. Нам здесь нет надобности разбирать, следует ли считать достоверной эту теорию в том виде, в каком она обыкновенно излагается. Если и допустить, что первоначально женщины и мужчины, жившие вместе, не различали никаких отношений, кроме признаваемых в своем стаде антилопами, этим нисколько не изменяются изложенные нами понятия о том, какие силы следует признавать двигательницами прогресса

в человеческой жизни. Пусть та женщина, которая родила малютку, не была признаваема имеющей более близкие отношения к нему, чем другие женщины того же племенного общества; допустим даже такое предположение, хотя оно противоречит факту, существующему у всех млекопитающих. Корова знает своего теленка и любит кормить своим молоком этого теленка. То же самое у всех млекопитающих. Наперекор этому факту допустим, что было время, когда женщина не знала, какое из детей ее племенной группы рождено ею, или, по крайней мере, не считала себя обязанной и не имела влечения кормить грудью именно того ребенка, который рожден ею. Все-таки дети людей того времени не могли оставаться живы иначе, как будучи питаемы грудью, и если род человеческий не исчез, то, значит, малютки тех времен были кормимы грудью каких-нибудь женщин, своих ли матерей, или других женщин; и все-таки группа детей этого племенного общества была предметом заботливости группы женщин, имевших в груди молоко, вырастала только потому, что была предметом заботливости этой группы.

Мы делаем приверженцам теории, о которой говорим, все уступки, каких могут они желать; мы готовы даже признать существа, уже имевшие человеческую организацию, стоявшими в умственном и нравственном отношении ниже овец, лишь бы только были приведены факты, делающие вероятным такое предположение. Но должно сказать, что для этого понадобилось бы переделать физиологию нервной системы и доказать, что существо, имевшее очертания тела, сходные с нынешними человеческими, могло иметь головной мозг менее высоко организованный, чем у овцы. Пока этого не сделано, пока физиология будет говорить то, что ныне говорит о соотношениях между устройством человекоподобного головного мозга с человекоподобными формами тела, должно будет думать, как велит думать теперь физиология, что те существа, которые были людьми, превосходили овец умом; должно полагать также, что дети этих существ нуждались в материнских заботах гораздо долее, чем ягнята, и остается несомненной истиной, что существование человеческого рода обусловливалось и тогда, как теперь, любовью матерей к детям. Допустим, наперекор сравнительной анатомии, даже то, что существа, имевшие человеческую форму тела, находились когда-нибудь на такой ступени умственного и нравственного развития, которая должна быть названа более низкой, чем степень развития не только овец, но и всяких других существ, имеющих теплую кровь. Пусть люди тогда не

имели никаких добрых чувств, все-таки они жили какими-нибудь группами, хотя бы состоящими каждая только из одной женщины и ее детей того возраста, в котором они еще не умеют сами добывать себе пищу. Пусть эта мать нисколько не любила детей; пусть она давала новорожденному сосать ее грудь только по инстинктивному ее стремлению избавиться от стеснительного ощущения, производимого избытком накопившегося молока; и пусть, когда она переставала кормить ребенка своим молоком, она не делилась с ним своей пищей, пожирала сколько могла, отгоняя ребенка, и он питался только остатками, которых не могла она съесть сама; все-таки ее дети довольно долго жили вместе с нею; они видели, что́ она делает; пусть она не заботилась учить их, хоть об этом заботится не только собака или кошка, но и корова; они все-таки научались примером ее, если и не брала она на себя труда учить их.

Было, разумеется, не так. С той поры, как живут на свете существа человеческих форм тела, было у них некоторое влечение к взаимному доброжелательству. Это влечение, независимо ни от каких половых или родственных отношений, производило тот факт, что взрослые мужчины находили приятным разговаривать между собою; если их язык еще не был человеческим,то умели ж они выражать звуками голоса хоть те мысли и чувства, которые выражаются в беседах волков, лошадей или овец между собою, и умели ж они пояснять звуки своего голоса какими-нибудь движениями, как умеют все млекопитающие. Но пусть вовсе не умели они выражать своих ощущений и обмениваться мыслями, как умеют все существа, дышащие легкими, имеющие дыхательное горло с голосовыми связками; все-таки этим мужчинам было приятно сидеть вместе, смотреть друг на друга. Точно так же было приятно сидеть вместе женщинам. Половое влечение должно было производить в мужчине и женщине хоть такое же взаимное расположение, какое существует между тигром и тигрицей. Связь матери с ребенком была не менее нежна и более продолжительна, чем у тигрицы или овцы с их детьми, и не могло не быть того, чтобы мать не учила свое дитя, чтобы мужчины не были защитниками женщин и детей от опасностей. Добрые чувства, существовавшие между людьми с тех самых пор, как возникли существа, имеющие человеческую форму тела, помогали врожденному стремлению каждого из них улучшать свою жизнь и удовлетворять своей любознательности. Младшие по природному влечению следовали примеру старших; дети

учились, молодые люди приобретали опытность, наблюдая действия более опытных, стараясь усвоивать себе их житейские знания. Эти влечения существуют у всех млекопитающих, потому невозможно сомневаться, что они с самого начала существования людей принадлежали к основным свойствам человеческой природы.

Итак, мы имеем два разряда сил, производящих улучшение человеческой жизни; один из них образует стремление человека заботиться о хорошем удовлетворении потребностей своего организма и желание приобретать сведения независимо от практической полезности их, собственно потому, что приобретение их приятно; другой разряд составляют те отношения между людьми, которые возникают из взаимного их доброжелательства; это разные виды приятности и пользы, получаемой людьми от жизни в одной группе, и две более сильные формы взаимного доброжелательства, производимые не только потребностями нервной системы, как взаимное доброжелательство между посторонними друг другу мужчинами или посторонними одна другой женщинами, но принадлежащие к числу так называемых физиологических функций организма: одна из этих форм доброжелательства — половое влечение и возникающая из него любовь между мужчиной и женщиной, другая форма его — материнская любовь и влечение мужчины заботиться о женщине, с которой сожительствует он, и о своих детях от нее.

Эти силы действуют и в жизни других млекопитающих. Всматриваясь в характер их влияния, мы должны признать, что собственно ими было производимо улучшение тех организмов, которые в их нынешних формах мы называем млекопитающими существами.

У человека, благодаря каким-то особенностям истории его предков, головной мозг приобрел такое развитие, какого не достиг ни у одного из существ, подобных ему формами тела. В чем состояли эти особенности истории, которыми произведено более высокое развитие умственных сил у предков человека? Общий характер их ясно определяется нашими физиологическими знаниями. О потребностях мы можем составлять догадки очень правдоподобные; но едва ли найдены исторические факты, которые давали бы достоверным чертам ответа ясность более той, какая дается им физиологией; она показывает, что улучшение организмов производится благоприятными для их жизни обстоятельствами. На основании этого мы с достоверностью можем сказать, что если предки человека поднялись в умственном отношении выше других существ, с которыми сто-

яли некогда на одном уровне, то история их должна была иметь характер более благоприятный для их органического развития, чем история существ, не поднявшихся так высоко над прежним общим уровнем. Это физиологическая истина. Но в чем именно состояли обстоятельства, благоприятствовавшие физиологическому развитию предков людей, мы можем только догадываться. Очень правдоподобно, что предки людей по какому-нибудь счастливому обстоятельству приобрели больше безопасности от врагов, чем какую имели другие существа, сходные или одинаковые с ними. Это могло быть переселение в какую-нибудь местность более прежней удобную для спокойной жизни, имевшую много хороших приютов вроде пещер, куда не могли проникать ни ядовитые змеи, ни большие хищные животные; или переселение в обширный лес, свободный от этих врагов или имевший много таких деревьев, жить на которых было удобно и безопасно; или, быть может, преимущество местности состояло в том, что она была обильней хорошей пищей, чем те местности, в которых остались или куда принуждены были переселиться существа, начавшие после того отставать от предков людей в своем умственном развитии. Эти и тому подобные догадки сообразны с законами физиологического развития, потому правдоподобны; какие из них соответствуют действительно происходившим фактам, мы еще не имеем сведений.

Но каким бы то ни было путем предки людей, по влиянию каких-то благоприятных обстоятельств своей жизни, приобрели такое высокое умственное развитие, что сделались людьми. Только с этого времени начинается та история их жизни, относительно которой возникают вопросы не общего физиологического содержания, а специально относящегося к человеческой жизни.

Эти существа далеко превосходили умом все те виды млекопитающих, которые по своей физической силе были, подобно им, довольно безопасны от врагов. Собственно превосходством ума и объясняется весь дальнейший прогресс человеческой жизни. Само собою понятно, что существа несравненно более умные, чем буйвол или верблюд, несравненно легче преодолевали препятствия к улучшению своей жизни. Буйвол не умеет придумать, как ему устроить для своего сна полную безопасность от большого хищного зверя или от ядовитой змеи; дикари, находящиеся на самой низкой фактически известной нам ступени человеческого развития, знают эти средства обеспечить себе безопасность сна, и мы видим, что простейшие из этих средств без труда могли быть найдены людьми,

даже менее развитыми в умственном отношении, чем низшие из нынешних дикарей. Говорят, и по всей вероятности справедливо, что уменье взять в руку камень или толстую палку и бить этим оружием по врагу увеличило безопасность людей, дало им возможность улучшить свою материальную жизнь и, благодаря ее улучшению, получить большее развитие умственных способностей. Мы видим, что умнейшие из других млекопитающих не достигли искусства ловко пользоваться этим способом защиты от сильных врагов. Говорят, что оранг-утанг и горилла хорошо дерутся камнями или палками, но в этих оценках их искусства слово «хорошо» употребляется не по сравнению с человеческой ловкостью в подобной обороне, а лишь в смысле сравнения с очень плохим уменьем медведя бросать во врага глыбами земли. Если б оранг-утанг или горилла умели драться палками не то, что с таким же искусством, как дикари, а хотя бы не совсем плохо по сравнению с дикарями, они выгнали бы людей из тех земель, в климате которых могут жить, не было бы ни одного человека ни в той полосе Африки, где живет горилла, ни на Борнео. Изгнание людей неотвратимо произошло бы для завладения продуктами их земледельческого труда.

Какими именно путями люди, находившиеся на степени развития более низкой, чем грубейшие из нынешних дикарей, поднялись до их сравнительно высокого умственного развития, мы опять не имеем положительных сведений. Все серьезные ученые признали за основное правило научных объяснений тот закон логики, что когда факт, о происхождении которого нет у нас прямых сведений, объясняется действием сил, производящих одинаковые с ним факты на наших глазах, то мы не имеем права предполагать его произведенным какими-нибудь другими силами, должны считать его результатом действия тех сил, которыми теперь производятся одинаковые с ним факты. Мы положительно знаем, что улучшение организма людей производится благоприятными обстоятельствами жизни их, что с улучшением организации головного мозга улучшаются умственные силы человека, что нравственный и материальный прогресс — результат улучшения умственных и нравственных сил; эти достоверные знания о ходе прогресса в наше время и в прежние эпохи, хорошо известные нам, совершенно достаточны для объяснения прогресса человеческой жизни в те эпохи, об истории которых мы не имеем прямых сведений.

Берем для примера три громадные улучшения человеческой жизни: приобретение искусства пользоваться огнем

и поддерживать или зажигать его, приручение животных и открытие искусства возделывать землю для производства хлебных растений. Для того, чтобы можно было сделать эти житейские открытия, необходимы были какие-нибудь счастливые обстоятельства, давшие возможность сделать их.

Теперь предполагают, что люди, не знавшие употребления огня, жили не только в местностях, где целый год без перерыва длится достаточная для человека теплота атмосферы, но и в землях, имеющих холодное время года. Если было так, то племена или маленькие группы людей, жившие в климатах, имеющих холодные месяцы, более страдали от холода, чем жившие близко к экватору; но следует ли предполагать, что именно у людей, более страдавших от холода, было сделано открытие искусства охранять себя от стужи разведением огня? Нет, это соображение справедливо считается совершенно излишней гипотезой. Люди под экватором тоже нуждались в огне. Ночи более прохладные, чем приятно для людей, привыкших жить в очень теплом воздухе, бывают и под экватором. Надобность согревать себя была и у людей экваториального пояса так велика, что искусство разводить огонь не могло не казаться драгоценным улучшением жизни и для них; следовательно, дело объясняется не разностью степеней пользы от огня для жителей разных климатов, а только тем, в какой земле произошли факты, которыми воспользовались люди для открытия способов поддерживать и зажигать огонь. Человек, два дня не евший ничего, с радостью схватит и станет есть попавшуюся ему пищу; но и человек, не евший ничего только одни сутки, сделает при такой же находке то же самое; голод одного из них сильнее, но и у другого он настолько силен, что находка пищи будет большой радостью для него; потому нелепо было бы сказать: «людям, голодавшим в продолжение двух суток, приятна возможность поесть»; ограничение содержания мысли определением надобности в двухсуточном голоде — искажает физиологическую истину; мы выразимся правильно лишь в том случае, когда отбросим это излишнее определение и скажем вообще: «людям проголодавшимся приятна возможность поесть». Сколько именно времени не ел проголодавшийся человек, двенадцать ли часов, или целые сутки, или двое суток,— не относится к делу. Разницы этих сроков имеют значение по другим физиологическим вопросам, но не по вопросу о приятности еды для проголодавшегося. Если человек часто голодал по двое суток, то он стал физически слаб; этого вредного влияния не имеют на обыкновенных здо-

ровых людей интервалы между едой, длящиеся только по 12 часов. Правда, к концу такого интервала физическая сила человека значительно уменьшается, но никакого расстройства организма не происходит, и человек, проводящий без пищи в каждые сутки по 12 часов, остается через год такой жизни так же силен, как был вначале, а год, состоящий из двухсуточных интервалов между едой, расслабит самого крепкого человека; и если уж применять понятия о разнице этих двух видов голодания к вопросу о способности находить средства для удовлетворения голода, то следует сказать: чем продолжительнее периоды между удовлетворением голода, тем меньше имеет человек способности приобретать себе пищу; это ясно, потому что он слабее физически, меньше способен работать или если пища приобретается не работой, а хождением за добычей, собиранием каких-нибудь дикорастущих фруктов, ягод, корней, то не может столько ходить для ее приобретения, как сильный человек. Применим такое же соображение к вопросу об открытии употребления огня для защиты тела от холода. Предполагают, что обстоятельствами, которые повели к этому открытию, были какие-нибудь факты горения, производимые самой природой. Человек увидел, что от молнии вспыхнуло дерево; горение еще продолжалось, когда гроза миновала и когда человек успокоился; подошедши к горящему дереву, он почувствовал теплоту, приятную для него при понизившейся от грозы температуре; присматриваясь, он заметил, что соседние с понизившимся до земли огнем сухие ветки хвороста загораются, и т. д. В этом роде обыкновенно рассказывается история ряда наблюдений, кончающегося открытием способа долго сохранять раскаленные угли под пеплом и зажигать новый огонь при их помощи. Она не имеет положительной достоверности; дело могло происходить как-нибудь иначе; но следует назвать ее очень правдоподобной. Хорошо, сообразим же, в какой земле было больше шансов произвести этот ряд наблюдений. Под экватором дикарь проводит на открытом воздухе круглый год; в стране, где он сильно страдает от холода значительную часть года, он старается проводить ее в каком-нибудь закрытом от ветра приюте; эта часть года пропадает для наблюдений, предполагаемых правдоподобнейшим рассказом о вероятном способе открытия искусства зажигать огонь; соответственно пропорции непригодного для этих наблюдений числа дней в году шансы открытия искусства пользоваться огнем обращаются против предположения, что оно было сделано вдалеке от экватора, свидетельствуют в пользу мысли, что

искусство сохранения и зажигания огня было открыто людьми, жившими в поясе вечно высокой температуры.

Справедливо говорят, что приручение животных было очень важным улучшением человеческой жизни. Рассудим же относительно определенных частных фактов этого дела, при каких обстоятельствах могли произойти они. Начнем соображения с приручения того же животного, потомки которого называются теперь нашими европейскими домашними собаками. Кто были предки этих собак, вопрос, кажется, еще не разъясненный с полной достоверностью, но несомненно, что это был какой-нибудь вид животных, подобных нынешнему волку, шакалу или динго. Спрашивается теперь, какие качества характера должно предполагать в этой породе хищных животных, более враждебные человеку или менее враждебные, чем у наиболее неприязненных человеку пород волка. Каждый скажет, что чем менее враждебна была человеку эта порода, тем легче поддавалась прикармливанию и ласке, тем больше был шанс успеха в ее приручении. Таким образом, все мы согласны в том, что сравнительная мягкость характера животного, способного помогать человеку в ловле добычи, в защите от других хищных животных, в охранении приобретенного имущества от других людей, была обстоятельством, облегчившим этот важный шаг к улучшению человеческой жизни.

Переходим к земледелию. В какой местности началось оно: в такой ли, где находились растения, в диком состоянии дававшие зерно, пригодное человеку для еды, или в такой, где не было этих растений? И какую почву стали первые земледельцы возделывать для искусственного размножения этих растений,— ту, которая казалась им плодородна, или бесплодную? Все мы считаем вероятным, что земледелие началось в какой-нибудь стране, где в диком состоянии росло много тех злаков, которые теперь, улучшившись от возделывания, стали пшеницей, ячменем или рожью, что для первых опытов посева их были выбраны клоки земли, подобные тем, на которых они хорошо росли в диком состоянии; таким образом, удобства для делания первых попыток искусственного размножения хлебных растений были, по мнению всех нас, обстоятельствами, повысившими людей из кочевого быта в оседлый, земледельческий.

Соображения, изложенные нами, вероятно, не покажутся никому содержащими в себе что-нибудь новое; вероятно, каждый читатель скажет, что они давно известны ему и что он всегда держался их с той поры, как стал по

своим летам способен интересоваться бытовыми вопросами и читать серьезные книги. Эти общеизвестные и общепринятые решения вопросов о начале употребления огня, приручения животных и возделывания земли изложены нами именно для того, чтобы напомнить, как рассуждают все об обстоятельствах, производящих прогресс. Когда мы судим о них по правилам здравого смысла и по выводам из нашего житейского опыта, мы все находим, что успехи цивилизации производятся фактами, благоприятными для человеческой жизни.

Так велят думать рассудок и житейский опыт.

[ПО ПОВОДУ СМЕШЕНИЯ В НАУКЕ ТЕРМИНОВ «РАЗВИТИЕ» И «ПРОЦЕСС»]

Исследования о временах жизни человечества, предшествовавших древнейшим эпохам, от которых остались нам какие-нибудь письменные сведения, получили в последние десятилетия две черты, которые выставляются на первый план громадным большинством специалистов этой отрасли знаний, как новые и наиболее важные, имеющие такое преобладающее значение в деле понимания хода первобытной истории человечества, что все факты ее разъясняются ими и все ее построение в науке должно быть производимо сообразно с ними по даваемой ими норме, как и стараются производить его они.

Эти две преобладающие черты нынешнего направления исследований о первобытной истории человечества: изучение остатков человеческого быта тех времен и подведение всех фактов так называемого доисторического времени человеческой жизни, как и всех следующих исторических времен ее, как и всех фактов организации и жизни всех органических существ и даже геологической истории земного шара, даже астрономической истории солнечной системы и всей вселенной, под идею эволюции. Обе эти особенности нынешнего характера исследований о первобытной жизни человечества увлекают своею новизною тех специалистов, которым представляются новыми. Так бывает во всех и научных, и художественных, и житейских деятельностях с людьми, усваивающими себе что-нибудь, по их мнению, новое и (тоже по их мнению) важное. Те две особенности нового направления исследований о первобытных временах жизни человечества, которым большинство специалистов по этой отрасли знаний придает значение новизны и преобладающую важность, имеют в обоих этих отношениях достоинство очень неодинаковое.

Термин «эволюция» вошел в употребление на памяти людей, которые теперь уже старики, но еще не самые старые из стариков: лет пятьдесят тому назад он был неупот-

ребителен. Из этого учения пристрастившиеся к нему заключают, что понятие, обозначаемое им, имеет совершенную новизну и произвело переворот в науке своим применением к разъяснению фактов. На самом деле это не совсем так. То понятие, которое выражается ныне словом эволюция, было давно привычно мыслителям прежних поколений, и новизна состоит только в том, что прежний термин, выражавший это понятие, отброшен, заменен другим.

С очень давнего времени существовало философское мировоззрение, основная мысль которого выражается по нынешней терминологии естественных наук словами очень простыми, хорошо понятными каждому образованному человеку: «все существующее находится в процессе изменения»; еще короче и точнее, но несколько абстрактнее и потому менее ясно для людей, мало привычных к абстрактному языку, выражается эта мысль словами: «существование есть процесс». Первым из греческих мыслителей, поставивших эту мысль в основной принцип разъяснения фактов внешней природы и человеческой жизни, называют обыкновенно Гераклита Эфесского, жившего за 500 лет до нашей эры. В то время научный язык был выработан еще очень мало. Гераклит, сколько можно судить по малочисленным отрывкам его трактата, уцелевшим в цитатах следующих писателей, не нашел в греческом языке абстрактного слова, которым выражалось бы понятие «процесс», и взял для обозначения этого понятия слово, обозначающее один из конкретных видов процесса — горение; таким образом он выражал основную идею своего мировоззрения словами: «все существующее находится в горении». Если мы припомним, что нынешняя химия называет всякое окисление горением, то должны будем признать, что конкретный термин, взятый Гераклитом за недостатком абстрактного, выбран хорошо и даже в своем конкретном смысле, который один был понятен большинству, охватывает очень значительную часть перемен, происходящих в предметах. Менее определительно, но все-таки очень ясно ставили основной чертой своего мировоззрения понятие о процессе и предшествовавшие Гераклиту греческие мыслители, так называемые философы ионийской школы, начиная с первого же — Талеса, жившего за полтора столетия до Гераклита и обыкновенно называемого первым греческим философом. Все образованные люди помнят, что он считал все предметы произошедшими из воды. Понятно, что слово вода, имеющее конкретный смысл, употребляется у него лишь по недостатку в тог-

дашнем языке слова, которым выражалось бы абстрактное понятие «жидкое состояние», как у Гераклита слово горение употребляется для выражения абстрактного понятия «процесс». Таким образом, по мировоззрению Талеса, все предметы, имеющие более или менее определенную форму, находящиеся в более или менее твердом состоянии, произошли процессом сгущения из жидкого состояния. Известно и то, что через столетие после Талеса, за половину столетия до Гераклита, один из преемников Талеса в авторитете главы ионийской школы Анаксимен проник в ход производящего определенные предметы процесса перемен дальше Талеса и нашел, что капельножидкое состояние лишь второй фазис его, а в первом материя имеет газообразное состояние. Он говорил, что все определенные предметы произошли из воздуха, употребляя, подобно Талесу и Гераклиту, слово, имеющее конкретный смысл, за недостатком слова, которым обозначалось бы абстрактное понятие — газообразное состояние[1]

Вникнем в то, какие понятия об истории земного шара, в частности, и вообще всей солнечной системы необходимо развиваются из мысли, что все определенные предметы, следовательно, и земной шар, и солнце, и звезды произошли через сгущение вещества, находившегося в газообразном состоянии, и мы увидим, что мировоззрение Анаксимена совпадает существенным своим содержанием с теориею Лапласа о возникновении солнечной системы из туманного пятна. Присоединим к этому мысль Гераклита Эфесского, что не только прошедшее каждого предмета и всей совокупности предметов было процессом перемен, но и существование всего в настоящем тоже процесс и в будущем все существующее будет находиться в процессе изменений, и мы получим относительно будущности солнечной системы то представление, которое стало общепринятым у астрономов и других натуралистов нашего времени: возникнув из газообразного состояния, солнечная система непрерывно видоизменяется, и нынешнее ее состояние, при котором большая часть вещества, находящегося внутри ее пространства, составляет отдельные небесные тела, будет продолжаться не вечно, заменится другим состоянием, при котором не будет ни солнца, ни земли, ни других небесных тел ее. Все вещество их перейдет в другое состояние, снова газообразное, в каком находилось оно прежде.

Ныне принято говорить: системы греческих философов были метафизические, а метафизика — фантазерство, и Талес и Анаксимен, Гераклит были составителями ска-

зок. Так, но «Илиада», «Одиссея», народные эпосы немецких и славянских племен, «Гамлет» и «Отелло» Шекспира — все это сказки. Вопрос о научном достоинстве произведения еще не решается определением формы его. Бесспорно, «Илиада» — сказка, но если мы напишем ученый трактат о том, что рабство унижает человека, то мы едва ли будем правы в похвальбе, что открыли истину, бывшую неведомой до нашего трактата. Мы будем рассудительнее в восхищении своим трактатом, если припомним, что открытая нами истина уже была высказана в «Одиссее». Бесспорно, «Одиссея» — пустая, ничтожная сказка сравнительно с нашим мудрым трактатом, переполненным ученостью. Но, увы! безграмотные люди, из песней которых составлялась эта ничтожная сказка, знали 2500 лет до нас ту истину, которую открыли мы благодаря нашему гениальному глубокомыслию и нашей колоссальной учености.

Не лучше ли будет нам быть несколько поскромнее в похвалах себе за открытие неведомых до нас истин? Не лучше ли будет нам, прежде чем начнем восхвалять себя за наши открытия, навести справку, не потому ли только пришлось нам делать эти великие открытия, что мы при всей колоссальности нашей учености находились во время труда открывания великих истин в состоянии невежества, постыдного грамотным людям.

Со времен Гераклита Эфесского мысль о процессе, как форме всякого существования, оставалась основной идеей наиболее важных философских школ. С того времени, как стало заметно непрерывное улучшение умственной и материальной жизни человечества, к понятию о процессе в мыслях о жизни человечества присоединилось определение, что сущность процесса человеческой жизни состоит в непрерывном улучшении ее, что если некоторые стороны жизни того или другого из цивилизованных народов подвергаются, вследствие особенных неблагоприятных обстоятельств, временному ухудшению, то цивилизованная часть человечества, рассматриваемая как одно целое, все-таки непрерывно улучшает свою умственную и материальную жизнь, и что даже у того цивилизованного народа, у которого происходит временное ухудшение каких-нибудь сторон жизни, другие стороны ее непрерывно улучшаются. Это понятие о процессе жизни человечества, как о непрерывном улучшении, было обозначаемо термином «развитие», developpement — по-французски, по-английски — development, по-немецки — Entwickelung. Термин был выбран удачно; он действительно характеризовал со-

бой успех, улучшение, прогресс. Это его значение было давно привычно всем. Так, например, с незапамятных времен говорилось о ходе процесса, превращающем зерно в дерево, или почку в цветок, или яйцо птицы в птицу, что «зерно развивается в дерево, se developpe или est developpé по-французски, по-английски develops, по-немецки entwickelt sich, что почка развивается в цветок, яйцо птицы — в птицу. Чем были дурны эти выражения? Какая была надобность заменять термин «развитие» каким-нибудь другим? Ни малейшей надобности в том не было; но, разумеется, не было — для людей, знавших его. Совсем иное дело, когда человек, не знающий терминологии, приобретает понятие, для которого, правда, существует слово, соответствующее приобретаемому им понятию, но существует в книгах, неизвестных ему. Воображая новое для него понятие новым в науке, он по своему незнанию о существовании подобного ему термина должен собственными соображениями приискать термин для выражения своего понятия, кажущегося ему новым в науке. В латинском языке понятие «развитие» выражается словом evolutio. Это слово с соответствующими переменами письменной формы и произносимых звуков было с давнего времени употребительно в ученых книгах у французов, и у англичан, и у немцев: évolution по-французски, по-английски и по-немецки на письме то же самое, лишь с тою разницей, что над первой буквой нет ударения по неупотребительности этого знака в орфографии английского и немецкого языков — evolution. Замена привычного термина новым без всякой надобности должна быть названа делом лишним, потому дурным. Но вред от него невелик, когда он вносит в дело лишь то затруднение, что публике и специалистам надобно отвыкать от привычного слова, привыкать к новому. Так, например, не было бы важной беды в том, если бы какие-нибудь любители ненужных нововведений стали называть в ученых книгах собаку каном или канисом. Щеголяя знанием латинского, щеголяя знанием немецкого языка, лишь бы словом кан, или кант, или соединяли они то самое, что на русском...[2]

...процесс существования дерева. Когда оно достигло наилучшего состояния, какое возможно по его природе при данных обстоятельствах, оно существует несколько времени, не улучшаясь и не портясь в заметной для нас степени. А между тем с ним происходят непрерывные перемены: в каждый суточный период совершается колебание деятельности жизненного процесса в нем, увеличиваясь до известного часа дня, понижаясь потом до известного часа

ночи; но средняя величина этих суточных наибольших и наименьших величин жизненной энергии остается приблизительно одинаковой; есть другие более продолжительные периоды перемен: одни листья увядают и падают, другие вырастают; но если это дерево принадлежит к разряду долговечных, если оно, например, сосна, липа, дуб, то в продолжение большого числа лет состояние дерева в определенное время года, например в июле, почти таково же, каким было год тому назад. Таким образом, цифры перемен, происходящие в этот период, оставляют дерево не улучшившимся и не испортившимся. После того начинается заметный упадок жизненных сил дерева. С каждым годом листьев на нем становится меньше, ветви его обламываются, не заменяясь новыми. Само оно сохнет, все становится хрупким или разъедается гнилостью, и дело кончается тем, что оно сламывается ветром или в наиболее благоприятном случае, уцелевая от порывов ветра, умирает на корню. Это конец его органической жизни, но еще не конец его существования в безжизненном состоянии: ствол и уцелевшие на стволе или лежащие отломанными от него сучья мало-помалу истлевают, вещество их переходит из органических соединений в газы и минеральную пыль.

Какие фазисы существования дерева обозначались в старину термином «развитие»? Только та часть ряда их, которая шла до наиболее совершенного состояния дерева. Только улучшающие перемены подходят под понятие развития. Этот смысл прежнего термина был ясен для всех, и ни один писатель, ученый ли, не ученый ли, не употреблял этого слова ни в каком ином смысле, если был человек грамотный.

Но был другой термин, охватывавший весь ряд перемен от первого передвижения протоплазмы в зародышевой клеточке зерна до разрушения последней частички органического вещества в последней уцелевшей мертвой клеточке груды праха умершего дерева. Этим термином служило слово «процесс»; оно обнимало своим значением все разряды перемен: улучшающие, индифферентные и портящие перемены. Это понятие гораздо более широкого объема, чем понятие об улучшающих переменах, обозначавшееся термином «развитие».

Что выйдет, если мы будем употреблять один термин то для обозначения только улучшений, то в более широком смысле, охватывающем всякие перемены, как улучшающие, так и портящие предмет? Выйдет путаница мыслей, в которой дурное будет выставляться хорошим. Так по-

ступают школа, ученые, вообразившие, что термин «эволюция» обозначает понятие, неведомое их предшественникам, употреблявшим термин «развитие», и что это мнимо новое понятие разъясняет всю историю всех перемен в существовании всего на свете.

Слово эволюция для каждого грамотного француза или немца заключает в себе неизгонимую из головы никакими усилиями воли мысль об улучшении, усовершенствовании; оно на всех этих языках одинаково по смыслу со словом развитие — developpement, development, Entwickelung; а между тем оно употребляется этими учеными для обозначения всего ряда перемен в существовании предмета от возникновения до исчезновения его, то есть для обозначения не одних улучшений, но и ухудшений, не для обозначения, например, только того периода жизни дерева, который идет от начала прорастания зерна до достижения деревом наилучшего состояния, но обозначает и вторую, ухудшающуюся часть существования дерева, когда период ослабления жизненных сил дерева и заключает в себе все перемены, производящие смерть дерева, и все перемены с безжизненным веществом умершего дерева до окончательного разложения праха его на минеральную пыль и газы. К чему ведет такое спутывание двух совершенно различных понятий под одним термином? К тому же самому, что произошло бы в наших арифметических соображениях, если бы мы перепутали понятия о сложении и вычитании и всякую убыль стали считать прибылью.

Понятия о развитии и о существовании не одно и то же; в старину помнили это и, обозначая ряд улучшающих перемен термином «развитие», употребляли другой термин для обозначения всей суммы перемен, происходящих с предметом и состоящих кроме перемен улучшающих из перемен безразличных в смысле улучшения или ухудшения и перемен ухудшающих; это понятие о всей сумме перемен обозначалось термином «процесс» или равносильным ему выражением «история существования предмета».

Ученые в своем восхищении новоизобретенным термином «эволюция», забывающие о термине «процесс» и заменяющие его все тем же термином «эволюция», неудержимо вовлекаются в стремление подводить всякую перемену под мысль об улучшении, неотвратимо возбуждаемую термином «эволюция». Это в сущности исключение из науки понятия о процессе и замена его понятием прогресса. Зерно вырастает в дерево,— это «эволюция»; дерево сохнет, погибает,— это также «эволюция», то есть также развитие, также улучшение, также прогресс в существо-

вании дерева, и ученые, пишущие такую путаницу мыслей, воображают, что наука совершенствуется ею, что, собственно говоря, науки и не было до изобретения этой путаницы, что наука создана, собственно, ею. Прогресс науки действительно в совершенно новом вкусе.

Они и гордятся тем, что создают науку в совершенно новом вкусе. Счастливцы они, и нельзя было бы не радоваться на их счастье, если б оно не было пустой мечтой, возбуждающей сострадание к их фантастическому состоянию мыслей, как возбуждает жалость в доброжелательных людях всякое галлюцинационное состояние мыслей собратий их по человечеству, поющих, хлопающих в ладоши, пляшущих на воображаемых балах, на которых играют они первые роли в своем болезненном восхищении, между тем как на самом деле находятся в грязной, тесной, темной комнате, покрытые лохмотьями, полуголодные и запертые на ключ.

Подведение всяких перемен — и хороших, и безразличных, и дурных — под понятие улучшения дело очень не новое. Новоизобретенная эволюционная теория нова только тем, что заменяет понятие о процессе новым термином для обозначения понятия об улучшении. В старину точно такая же путаница производилась подведением всяких перемен под понятие о прогрессе; нова замена термина «процесс» термином «эволюция», но точно то же делалось прежде через замену термина «процесс» термином «прогресс».

Выросло прекрасное дерево; буря сломала его. Это отрадный факт; жил счастливо народ, трудолюбивый, честный и довольно просвещенный, стремившийся улучшить свое материальное благосостояние, придать более справедливый и гуманный характер своим семейным и общественным отношениям; пришли свирепые варвары, опустошили страну этого народа, истребили большую часть составлявших его людей, сделались владыками над малочисленным уцелевшим остатком его, стали приучать несчастных порабощенных к своим варварским обычаям — это отрадный факт, это перемена к лучшему в истории человечества, это — прогресс[3]. Кто из нас имеет теперь такие лета, что читывал ученые книги до появления новоизобретенной науки, подводящей все под новый термин «эволюция», тот помнит, что и до появления трактатов в новоизобретенном вкусе он читал книги, написанные в том же самом вкусе, различавшиеся от многих только тем, что в них употреблялся термин «прогресс» на тех строках, на которых пишется ныне термин «эволюция».

ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ

КАПИТАЛ И ТРУД

Впервые опубликована в журнале «Современник» (1860, № 1).

«Капитал и труд» является завершением цикла статей Чернышевского, посвященных проблемам политэкономии, выступающей, согласно мыслителю, фундаментом всей совокупности «общественных» и «нравственных» наук. Написанная (как и многие другие его работы) в форме рецензии на книгу И. Я. Горлова, статья имеет, однако, самостоятельное значение, поскольку в ней Чернышевский подвергает критике основной принцип частнопредпринимательской деятельности (невмешательство государственной власти в экономическую жизнь) и противопоставляет ему проект переустройства общества, предполагающий объединение собственников-производителей в промышленно-торговые и потребительские ассоциации при некоторой финансовой помощи со стороны государства.

[1] Чернышевский имеет в виду учение классиков буржуазной политэкономии А. Смита и Д. Рикардо в том его виде, который оно приобрело в середине XIX в. в «вульгарной» политэкономии, отстаивавшей принцип конкуренции и отвергавшей право государственной власти на регуляцию экономической деятельности. — *3*.

[2] Dictionnaire de l'économie politique contenant l'exposition des principes de la science, l'opinion des écrivains qui ont le plus contribué, à sa fondation et à ses progrès... Publ. sous la direction de mm. Ch. Coquelin et Guillaumin. Paris, 1852. T. 1—2 (Словарь политической экономии, содержащий изложение принципов науки, мнения писателей, которые в наибольшей степени способствовали ее основанию и прогрессу... Изд. под руководством гг. Ш. Коклена и Ж. У. Гийомена). — *4*.

[3] «Я ничего не навязываю, я даже ничего не предлагаю, я лишь излагаю» (фр.). — *5*.

[4] См. наст. изд., т. 1, прим. 1 к с. 572. — *5*.

[5] Прикрепление к земле (лат.). Горлов употребляет латинское выражение для обозначения крепостного права. — *5*.

[6] Опера В. Беллини. — *6*.

[7] *«Идеологи»* — группа французских философов, историков и экономистов конца XVIII—начала XIX в. Понятие «идеология» как учение об «идеях» (понимаемых в духе сенсуализма Локка и Кондильяка в качестве исходных фактов человеческого сознания) ввел в литературу А. Ц. В. Дестю де Траси. «Физиологическое» обоснование «идеологии» дано в работах П. Ж. Ж. Кабаниса. Этико-историческую проблематику в школе «идеологов» разрабатывал К. Ф. Вольней. — *6*.

[8] «Рабочие» (фр.). — *6*.

[9] Чернышевский в некоторых случаях использует оппозицию *естественное — искусственное* в целях критики самодержавно-крепостнического строя. В частности, на противопоставлении *естественной*, здоро-

вой и простой жизни крестьян и простолюдинов *искусственной* и извращенной жизни «высших сословий» строится его теория «прекрасного» («Эстетические отношения искусства к действительности»). Но в данном случае, когда понятие *естественный* оказалось в арсенале политико-экономической аргументации защитников буржуазного экономического строя и когда в разряд *искусственных* стали включаться социалистические и коммунистические проекты общественного преобразования, Чернышевский отказывается от этого противопоставления. — *7*.

[10] В 1833 г. Англия отменила рабство во всех своих колониях. — *7*.

[11] См. прим. 2 к с. 4. — *8*.

[12] Декрет об отмене рабства во французских колониях был прин 27 апреля 1848 г. — *8*.

[13] Крепостное право в Пруссии было отменено эдиктом от 9 октября 1807 г. — *9*.

[14] Перевод статьи из «Edinburgh Review» *(Эдинбургского обозрения)*, сделанный В. А. Обручевым, Чернышевский включил (с дополнениями) в свою статью «Леность грубого простонародья» (Современник. 1860. № 2). — *9*.

[15] *Меркантильная система,* или меркантилизм (от ит. mercante — торговец, купец), — раннебуржуазное политико-экономическое учение (XV—XVII вв.), согласно которому основным богатством страны являются деньги. С ранним меркантилизмом связана система абсолютного запрета вывоза денег за границу. Для позднего меркантилизма характерна идея активного торгового баланса и связанного с этим протекционизма. — *10*.

[16] См.: «Экономическая деятельность и законодательство» и «Критика философских предубеждений против общинного владения» (см. наст. изд., т. 1). — *11*.

[17] «Предоставьте действовать, предоставьте вещам идти своим чередом» (фр.) — формула, выражающая принцип экономической свободы и невмешательства государственной власти в частнопредпринимательскую деятельность; традиционно приписывается французскому экономисту Ж. К. М. В. де Гурне (1712—1759). — *11*.

[18] Во время войны римлян с этрусками (конец VI в. до н. э.) римлянин Гай *Муций* (получивший впоследствии прозвище *Сцевола,* т. е. Левша) был схвачен в лагере противника после неудачной попытки убить царя этрусков Порсену. Под угрозой пытки огнем от него потребовали рассказать подробности заговора. Тогда Гай Муций сам сжег в огне свою правую руку. Порсена, оценив мужество римлянина, отпустил его и услышал такой ответ: «Так как ты умеешь уважать мужество и в неприятеле, то я теперь открою тебе то, чего бы ты никогда не узнал от меня твоими угрозами и пытками: триста нас молодых людей лучших семейств в Риме сговорились какими бы то ни было средствами лишить тебя жизни. Мне первому досталось по жребию; он же укажет за мною других, из которых каждый в свое время будет искать удобного случая лишить тебя жизни» (*Тит Ливий.* История народа римского. М., 1858. Отделение I. Кн. I—VI. С. 96). Устрашенный этим рассказом, Порсена снял осаду и отступил от Рима. — *12*.

[19] *Битва на Косовом поле,* в которой войска турецкого султана Мурада нанесли тяжелое поражение сербам, произошла в 1389 г. — *12*.

[20] «Дайте возможность просвещать, да будет разумное существо» (фр.). — *17*.

[21] Плиний Старший. Естественная история. Кн. XVIII. Гл. 7. — *21*.

[22] Древнеримская земляная мера — 2942 м^2. — *22*.

[23] См.: *Niebuhr B. G.* Römische Geschiehte. Berlin, 1812. Bd 2. S. 394—397. — *22*.

[24] Экономические гармонии. Париж, 1850 (фр.). — *22*.

[25] *«Журнал землевладельцев»* издавался в Москве в 1858—1859 гг. — *25.*

[26] *Böckh A.* Die Staatshaushaltung der Athener. Berlin, 1817 (*Бёк А.* Государственное хозяйство афинян). — *27.*

[27] *Young A.* Travel in France during 1787, 1788 and 1789. London, 1792 (*Юнг А.* Путешествие по Франции в 1787, 1788 и 1789 гг.). — *28.*

[28] *Maltus T.* An Essay on the Principle of Population, as it affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculation of Mr. Godwin, M. Condorset and other Writers. London, 1792. — *28.*

[29] Имеется в виду книга: *Голиков И. И.* Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М., 1788—1797. Ч. 1—12 (включающая 18 томов дополнений). — *29.*

[30] *Bossuet J. B.* Discours sur l'histoire universelle. Pour expliquer la suite de la religion & les changement des empires, depuis le commencement du monde jusqu'à l'empire de Charlemagne. Paris, 1681. P. 1—3. — *29.*

[31] *Новиков Н.* Опыт исторического словаря о российских писателях: Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий. Собрал Николай Новиков. СПб., 1772. — *30.*

[32] *Полевой Н.* Очерки русской литературы. СПб., 1839. Ч. 1—2. — *30.*

[33] Histoire des français. Par J. Ch. L. Simonde de Sismondi. Paris, 1821—1823. T. 1—6.

[34] *Simonde de Sismondi J. Ch. L.* Nouveaux principes d'économie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population. Paris, 1801. T. 1—2.

[35] «Роберт Оуэн и его попытки общественных реформ» (1859. № 1) Н. А. Добролюбова за подписью Н. Т.-в. — *31.*

[36] *Евпатриды* (от греч. eupatridai — происходящие от благородных отцов) — представители одной из трех групп свободного населения в древних Афинах, крупная землевладельческая знать. *Демос* (от греч. demos — народ) — свободное население древнегреческих полисов. — *32.*

[37] *Амфитрион* — персонаж древнегреческой мифологии, сын тиринфского царя Алкея. В европейской культурной традиции употребляется как синоним гостеприимного хозяина. Гельвеций устраивал в своем салоне приемы для философов, писателей, ученых, художников и музыкантов просветительско-энциклопедического круга. — *41.*

[38] До 1846 г. в Англии действовали особые правила взимания пошлины с импортируемого хлеба. При низких ценах на хлеб на внутреннем рынке пошлина повышалась, при высоких — снижалась. Это обеспечивало постоянную высокую прибыль английским землевладельцам и предпринимателям. В 1846 г. в результате многолетней борьбы «Лиги против хлебных законов» (1839) эти правила были отменены. С 1 февраля 1849 г. вошли в силу новые таможенные правила, устанавливавшие постоянную пошлину на хлеб в размере 1 шиллинга на квартер зерна. — *41.*

[39] *Хартисты*, или чартисты (от англ. charter — грамота, устав, привилегия), — представители «чартизма» — движения английских рабочих, требовавших введения всеобщего избирательного права, тайного голосования и других гражданско-политических свобод. Программа этого движения была разработана возникшей в 1836 г. «Лондонской ассоциацией рабочих» и опубликована в 1838 г. под названием «Народная хартия» (Peoples Charter), по которому и получило наименование все движение. — *41.*

[40] *«Навигационный акт»* — закон, установленный О. Кромвелем в 1651 г., по которому английские суда в английских портах получали некоторые таможенные льготы в сравнении с иностранными; был постепенно отменен в период с 1849 по 1851 г. — *48.*

[41] См. русский перевод в издании: Краледворская рукопись, собрание древних чешских лирических и эпических поэм (Сост. и перевод Н. В. Берга). М., 1846. — *49*.

[42] В опубликованных в 1861 г. в «Современнике» «Очерках из политической экономии (по Миллю)» Чернышевский сохранил окончание этой статьи, заменив слово «прося» на «мы просим» (далее до конца ст.: Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1939 — 1953. Т. 9. С. 357—362. Далее ссылки на это Собрание сочинений даются цифрами: номер тома — курсивом, затем — страницы). Там же он указал, кому на деле принадлежит тот план социально-экономического преобразования, который здесь им изложен как свой. Этот план принадлежал французскому социалисту Луи Блану, которым Чернышевский увлекся еще в конце 40-х гг. О том, что социализм Л. Ж. Ж. Блана казался Чернышевскому вполне реальной альтернативой капиталистическому развитию, свидетельствует тот факт, что в подстрочных примечаниях к полному переводу «Оснований политической экономии» Дж. С. Милля, который подготавливался Чернышевским к изданию в 1862 г., он противопоставил плану социальных преобразований Милля, основанному на реформе закона о наследстве, проект Блана. Осуществление плана Милля «потребовало бы огромных усилий», писал Чернышевский, в то время как «с гораздо меньшими усилиями можно достичь гораздо большего результата, если обращать усилие не на обрезывание существующего принципа, прямо нарушающего интересы очень многих, а на спокойное и не нарушающее прямо ничьих интересов введение в общественный быт учреждений, основанных на другом принципе. При спокойствии возможна ровная постепенность, а мирные заботы о постепенном развитии ассоциаций сделают для смягчения крайних экономических неравенств несравненно больше, чем ограничение права наследования» (*9*, 836—837). Конкретный план организации ассоциаций (товариществ) в русских условиях Чернышевский изложил в романе «Что делать?». — *63*.

«ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» [Д. С. Милля]

Начиная с февральского номера и до конца 1860 г. Чернышевский публиковал в «Современнике» в своем переводе и со своими комментариями 1-ю книгу работы Дж. С. Милля «Основания политической экономии с их частичным приложением к социальной философии» (*Mill D. S.* Principles of Political Economy with Some of their Application to Social Philosophy. London, 1848) (первое издание; четвертое, с которого выполнен перевод, — 1857 г.).

Свое отношение к труду Милля Чернышевский охарактеризовал в «Предисловии переводчика»:

«Книга Милля признается всеми экономистами за лучшее, самое верное и глубокомысленное изложение теории, основанной Адамом Смитом. Переводя это произведение, мы хотим дать читателю доказательство, что большая часть понятий, против которых мы спорим, вовсе не принадлежит к строгой науке, а должна считаться только искажением ее, сочиненным нынешними французскими так называемыми экономистами по внушению трусости.

Милль пишет, как мыслитель, ищущий только истины, и читатель увидит, до какой степени различен дух науки, им излагаемой, от направления тех изделий, которые выдаются у нас за науку.

Но его система все-таки далеко не наша система. Мы переводим его книгу не потому, чтобы считали ее вполне удовлетворительною, а только потому, что в ней честно и верно изложена та сторона науки, которая раз-

вилась раньше других частей и служит основанием для дальнейших выводов» (*9*, 7).

[1] Утверждение Чернышевского о полной отмене пошлины импортный хлеб неточно. См. прим. 38 к с. 41. — *70*.

[2] Эту характеристику *гипотетического метода* в определенной степени дополняет его конспективное изложение, данное Чернышевским в «Программе чтений... из политической экономии» (*9*, 880—881). — *74*.

[3] Чернышевский дает в пересказе фразу из первой главы первой книги «Оснований политической экономии»: «...понятие труда необходимо должно обнимать не только самую деятельность, но и всякое физическое или умственное обременение или стеснение, вообще все неприятные ощущения, соединенные с употреблением мысли или мускулов на известное занятие» (*9*, 37). — *74*.

[4] К физиологическому обоснованию приятности труда Чернышевский прибегает и в «Антропологическом принципе в философии». См. с. 202 наст. тома. — *81*.

[5] *Godwin W.* Inquiry concerning political justice and its influence on general virtue and happiness. London, 1793 (Исследование политической справедливости и ее влияния на общую добродетель и счастье). — *82*.

[6] Имеются в виду Д. Дидро, К. А. Гельвеций, П. А. Гольбах и другие писатели просветительского направления, идейно подготовившие французскую революцию. — *83*.

[7] Свою концепцию «круговорота» общественной мысли Чернышевский иллюстрирует на материале политической истории Франции второй половины XVIII — первой половины XIX в., и особенно эпохи французской буржуазной революции 1789—1794 гг. — *85*.

«ОЧЕРКИ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ (по Миллю)»

Замысел поместить в «Современнике» полный перевод работы Милля со своими комментариями Чернышевскому реализовать не удалось. Подготовив полный перевод этой работы для отдельного издания (оно появилось в 1865 г.), Чернышевский опубликовал в «Современнике» за 1861 г. свой пересказ II—V книг «Оснований политической экономии», перемежающийся пространными выписками из первоисточника.

[1] Под *переворотом* Чернышевский подразумевает европейские революционные выступления 1848—1849 гг. — *87*.

[2] В 1848 г. *Ф. К. Ф. Геккер* и *Г. Струве* во главе вооруженного отряда овладели Баденом и удерживали его до прихода прусских войск. Геккеру удалось бежать, Струве был взят в плен и заключен в баденскую тюрьму. Баденская революция освободила его, и он, как ранее Геккер, эмигрировал в Америку. — *88*.

[3] Организатором *национальных мастерских*, которые должны были помочь парижским рабочим в осуществлении «права на труд», являлся член правительства П. Т. А. А. Мари. Неудовлетворенность рабочих этими мерами буржуазного временного правительства вылилась в июньское восстание 1848 г. — *88*.

[4] Подробную характеристику *П. Ж. Прудона* как типичного представителя сословия «простолюдинов» Чернышевский дал в «Антропологическом принципе в философии» (см. наст. том. С. 163—165). — *89*.

[5] *Друзы* — арабы-мусульмане, представители секты исмаилитов, живущие на территории Сирии, Ливана и Израиля. В середине XIX в. в Ливане происходили вооруженные столкновения друзов с христианами-маронитами. *Маронить* — члены христианской секты, возникшей в V—VII вв. в Сирии и получившей название по имени легендарного основа-

теля Мар Марона. В XIII—XVI вв. маронитская церковь признала верховную власть римского папы, сохранив свой ритуал и богослужение на арамейском (или арабском) языке. Большая часть маронитской общины (свыше 600 тыс. чел.) проживает в Ливане. — *90.*

[6] *Воскресные школы* были организованы на общественных началах в конце 50-х гг. XIX в. для взрослого городского и сельского населения. В 1862 г. они были закрыты правительственным распоряжением. По уставу о начальных училищах 1864 г. они были приравнены к начальным школам и вновь стали открываться уже в 70-х гг. — *91.*

[7] Ср. также: *1,* 61; 107; 109; 121; 186; 297. — *95.*

[8] Во 2-й книге «Оснований политической экономии» Милль разделяет противников «принципа личной собственности» на «коммунистов» и «социалистов». К коммунистам относятся те, кто требует полного равенства при «распределении материальных средств жизни и наслаждений». К социалистам — допускающие неравенство, но основывающие «его на каком-нибудь истинном или мнимом принципе справедливости или общей пользы». Родоначальником коммунизма как «экономической системы» Милль считает Р. Оуэна, а последователями — Э. Кабэ и Л. Ж. Ж. Блана с той оговоркой, что последний «предлагает равенство распределения только как переход к принципу еще высшей справедливости, требующему, чтобы каждый работал по своим способностям, а получал по своим потребностям» (*9,* 340). — *96.*

[9] План Луи Блана (см. 63—69 наст. тома). — *97.*

[10] Критику понятия *демократическая централизация* Чернышевский дал в статье «Непочтительность к авторитетам». — *97.*

[11] *Вторая империя* (1852—1870) — время правления во Франции императора Наполеона III. — *98.*

[12] *Стюарты* — шотландская королевская династия (с 1371 г.), представители которой занимали английский престол в 1603—1649 и 1660—1714 гг. *Ганноверская династия* — английская королевская династия (1714—1901). — *99.*

[13] Ср. наст. том. С. 154, 156. — *110.*

[14] Кашне (фр.) — шейный платок или шарф. — *116.*

[15] «О поземельной собственности» (1857), «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858), «Экономическая деятельность и законодательство» (1859), «Суеверие и правила логики» (1859). В пореформенный период отношение Чернышевского к этой теме резко меняется. В письме к своему сыну Александру от 24 апреля 1878 г. (из Вилюйска) в ответ на присылку книги И. А. Кейслера «Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitz in Russland» (1876—1887. Bd 1—4) (К истории и критике крестьянского общинного владения в России) Чернышевский писал: «Дружок мой, надоело мне все подобное. Тошнит меня от «крестьян» и от «крестьянского землевладения»». И вновь в конце письма: «...не тратьте денег на присылку мне книг о «землевладении» или о «крестьянах» — серьезно говорю: тошнит меня от них» (*15,* 282; 283). — *125.*

[16] Этот набросок комментария к заключительной книге «Оснований политической экономии» в окончательный текст «Очерков» не вошел. — *126.*

[17] В изд.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. Т. 9 на с. 822 после этих слов редакция восстановила зачеркнутую Чернышевским неоконченную фразу: «Этот договор, в котором одна сторона договаривающаяся». — *132.*

[18] На этом рукопись обрывается. — *138.*

ПОДСТРОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ МИЛЛЯ

Точная дата написания Чернышевским примечаний к полному переводу книги Милля не установлена. Наиболее вероятным считается 1862 год, когда Чернышевский собирался выпустить в свет отдельное издание этого перевода. Первые 23 и начало 24-го примечания не сохранились. Впервые опубликованы в Полном собрании сочинений (М., 1939—1953. Т. 1—16).

[1] Основная работа Ш. Фурье, в которой он изложил подробный план организации совершенного общества,— *Fourier Ch.* Traite de l'association domestique agricole, ou Attraction industriell. Paris, 1822. Т. 1—2 (Трактат о домоводческо-земледельческой ассоциации). — *139.*

[2] В изд. *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. (*9*, 830) после этих слов редакция восстановила зачеркнутую Чернышевским неоконченную фразу: «...мы предполагаем в читателе общие убеждения, но...» Аналогично в прим. 5—8 и 10. — *141.*

[3] Примечание (24) исключительно важно для адекватной трактовки отношения Чернышевского к социализму как теории и к истории самой идеи социализма. В частности, очевидно, что для Чернышевского не стоял вопрос выбора: Фурье или Блан? Концепция Фурье, по Чернышевскому, верна, но еще слишком широка («философична»). Луи Блан — узкий специалист, обращающийся исключительно к «сущности» социализма — экономике. — *141.*

[4] *Каперство* — практика осуществления военных действий на море с помощью частновладельческого флота, особенно распространенная в средние века. Согласно декларации, принятой на Парижском конгрессе 1856 г., каперство было запрещено. — *141.*

[5] Далее идет зачеркнутая Чернышевским фраза: который мы имеем относительно». — *142.*

[6] Далее идет зачеркнутая Чернышевским фраза: «Дело о парламентской реформе в Англии тянулось не то 40, не то 50 лет, — а и реформа-то вышла какая умеренная, неважная. А во Франции хорошо хоть то, что не понадобилось для нее англичанам делать революцию». — *143.*

[7] Далее идет зачеркнутая Чернышевским фраза: ...за такое неважное». — *144.*

[8] Далее идет зачеркнутая Чернышевским фраза: ...подняла страшную войну». — *144.*

[9] *Тридцатилетняя война* между германскими государствами, с одной стороны, Францией и Швецией — с другой, велась в 1618 — 1648 гг. — *144.*

[10] Далее идет зачеркнутая Чернышевским фраза: «Ведь убеждение в этом приобре». — *145.*

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ФИЛОСОФИИ

Эта работа была написана Чернышевским в 1860 г. Впервые опубликована (без подписи автора) в «Современнике» (1860. № 4, 5).

«Антропологический принцип в философии» — главное философское произведение Чернышевского. Написанное в традиционной для него форме рецензии на «Очерки вопросов практической философии» П. Л. Лаврова, оно превратилось в философский манифест революционно-демократического крыла русского просветительства 60-х гг. XIX в. Центральное положение статьи — принцип материалистического монизма, всеобщность которого обеспечивает фундаментальное единство естествен-

ных и «нравственных» наук. Учение о природе, подчеркивает Чернышевский, является введением в «философию человека». Наука о человеческом организме — антропология, рассматриваемая им как основание монистической теории человека, противостоит психофизическому дуализму христианской антропологии.

Важнейшим положением статьи является принцип социальной и партийной обусловленности политических и философских учений.

Статья имела широкий общественный резонанс и вызвала ряд полемических выступлений. Основным оппонентом Чернышевского выступал профессор Киевской духовной академии (впоследствии профессор Московского университета) П. Д. Юркевич. Ответ оппонентам Чернышевский поместил в первой и второй «коллекциях» своей статьи «Полемические красоты».

[1] «О свободе» (англ.). Вышла в Лондоне в 1859 г. — *152.*

[2] Автор книги — П. Ж. Прудон. Ее полное название — «О справедливости в революции и в церкви. Новые принципы практической философии, адресованные его высокопреосвященству монсеньору Матье, кардиналу-архиепископу Безансона» (*Proudhon P. J.* De la justice dans la revolution et dans l'eglise. Nouveaux Principes de philosophie pratique à son éminence Monseigneur Mathieu, cardinal-archevêque de Besanson. Paris, 1858. T. 1—3). — *154.*

[3] *Перемена,* которую имеет в виду Чернышевский, — это скорее всего осуществленная Робертом Пилем в 1846 г. отмена «хлебных законов». См. прим. 38 к с. 41. — *157.*

[4] На философскую эволюцию В. Г. Белинского в 30-х гг. большое влияние оказал хорошо знакомый с системами немецкой классической философии М. А. Бакунин. После эмиграции из России крупнейший идеолог русского народничества общался с П. Ж. Прудоном. — *163.*

[5] Чернышевский перечисляет места сражений, происшедших в ходе войны, которую вел французский император Наполеон III против Австрии в 1859 г. за обладание североитальянскими областями. — *168.*

[6] Этот метод *отрицательных заключений* чрезвычайно важен для Чернышевского, поскольку позволяет ему без специальной (и практически невозможной по цензурным условиям) полемики просто отбросить как ненаучные теистический и спиритуалистический подходы к психике человека и противопоставить им свой «антропологический принцип». — *179.*

[7] Такого рода представления о различных народах формировались в древнерусской культуре под влиянием переводной литературы. Напр. о *немых* народах древнерусский читатель мог узнать из «Сказания об Индийском царстве» (Изборник. М., 1969. С. 363). Сведения (в основном легендарного характера) о походах *Александра Македонского* он черпал из «Александрии» Псевдокаллисфена (там же. С. 265—271). В соответствии с библейской традицией страны света обозначались в Древней Руси именами трех сыновей Ноя, между которыми он разделил всю землю после потопа: Симу достался восток, Хаму — юг, Иафету — запад и север. Соответственно народы *предела Симова* — восточные народы.

Чернышевский нередко пользовался древнерусским языком в пародийных целях. Именно так он писал, напр., о расселении англичан в Австралии: «...а пойдут те горы Синие к полунощи, и на полунощи язык нем, заклепан в горах Александром Македоньскым, и секут гору, хотяще высечися...» (*7,* 946). — *188.*

[8] Это постулат этического рационализма Спинозы, на свою приверженность которому Чернышевский указал в одном из сибирских писем к сыновьям (см. с. 384 наст. тома). — *190.*

[9] Ирония этого утверждения в том, что сам Чернышевский был филологом по образованию. — *192.*

[10] Ради доказательства (лат.). — *203.*

[11] Согласно легенде, в 362 г. до н. э. в центре римского форума возникла бездонная пропасть, которая могла быть заполнена — по предсказанию прорицателя — только наивысшим благом Рима. Тогда Марк *Курций* в полном вооружении сел на коня и со словами: «Что может быть для Рима дороже оружия и военного мужества!» — бросился в пропасть, которая мгновенно сомкнулась. Существует несколько версий смерти *Эмпедокла.* Согласно одной из них, он бросился в кратер вулкана Этна, чтобы «укрепить молву, будто он сделался богом...» (*Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 351). *Дамон* и *Пифиас* — философы-пифагорейцы, которых античное предание ставило как пример образцовой самоотверженной дружбы. Когда один из друзей был обвинен в заговоре против сиракузского тирана Дионисия и приговорен к смертной казни, другой предложил казнить себя вместо друга. Пораженный таким поступком, Дионисий простил осужденного и попросил принять себя в дружеский союз. *Лукреция* — жена Тарквиния Коллатина, обесчещенная сыном последнего римского царя Тарквиния Гордого, которого предание рисует как жестокого тирана. Бесчинства Тарквиния и самоубийство Лукреции вызвали восстание в Риме, приведшее к падению царской власти. — *215.*

[12] *Сагунт* — древний город на территории современной Испании. Борьба за право владения Сагунтом привела к возникновению второй пунической войны между Римом и Карфагеном. В 219 г. до н. э. этот город осадил и взял приступом Ганнибал. В 218 г. до н. э. карфагенянам удалось выдержать длительную римскую осаду. Но в 210 г. до н. э. римляне захватили Сагунт и превратили его в свою колонию. — *216.*

[13] *Меровинги* — знатный род из союза салических франков, образовавший первую династию франкских королей (481—751). — *221.*

[14] Рассмотрение *добра как пользы* характерно для И. Бентама, которого Чернышевский считал одним «из ученейших и глубокомысленнейших мыслителей своего века...» (*4,* 495). — *221.*

[15] Это выражение взято Чернышевским из древнейшего русского летописного свода «Повести временных лет», в котором рассказывается об «обрах» (аварах), угнетавших придунайских славян-дулебов и, как бы в наказание за свою жестокость, полностью исчезнувших. — *222.*

[16] *Паисиевский сборник* — рукописный сборник древнерусских текстов XIV в., обнаруженный С. П. Шевыревым в библиотеке Кириллo-Белозерского монастыря. — *227.*

[17] Имеются в виду издатели журнала «Москвитянин» С. П. Шевырев и М. П. Погодин. — *227.*

[18] Чернышевский подразумевает аристотелевское учение о зависимости души от тела, развитое в сочинении «О душе», и систему этического рационализма Б. Спинозы, изложенную в его «Этике». — *228.*

[19] Ср.: «По моему глубокому личному убеждению все эти попытки общего объяснения всех явлений одним законом совершенно бесполезны... если мы и можем надеяться когда бы то ни было добиться этого успеха, то, по мнению моему, только связывая все явления с наиболее общим известным нам положительным законом, т. е. с законом тяготения, который сближает уже часть астрономических явлений с явлениями земной жизни» (*Конт О.* Курс положительной философии. СПб., 1899. Т. I. Отд. 1-й. С. 23). — *228.*

ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДРЕВНИХ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ЯЗЫЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ. Соч. Ор. Новицкого...

Рецензия на книгу профессора Киевской духовной академии Ор. Новицкого опубликована без подписи в «Современнике» (1860. № 6).

В этой рецензии Чернышевский продолжает полемику с представителями теистической философии в России, начатую еще в статье «Антропологический принцип в философии». Резкость тона в данной рецензии вызвана тем, что Ор. Новицкий показался Чернышевскому особенно опасным противником, поскольку свою мысль о будущем синтезе философии и религии киевский богослов обосновывал гегелевским диалектическим принципом «отрицания отрицания».

Для того чтобы получить полную свободу в полемике, Чернышевский становится на позицию воинствующего обскуранта, рассматривающего любое обращение христианина к философии как грех и ересь.

[1] Мысль о прямой зависимости степени образованности от уровня материальной обеспеченности людей является лейтмотивом всех работ Чернышевского (*9*, 441). — *231.*

[2] *Альбигойцы* — так в XII—XIII вв. назывались последователи ереси катаров и вальденсов, распространенной в Южной Франции. Традиционно считается, что они получили свое название от южнофранцузского города Альби. — *231.*

[3] *Мейстерзингеры* (от нем. Meistersinger — мастер-певец) — создатели средневековой немецкой песенной поэзии, возникшей в XIII в. — *231.*

[4] *Гуситы* — участники антикатолического и антинемецкого движения в Чехии в первой половине XV в., последователи учения идеолога чешской Реформации Яна Гуса (1371—1415). — *231.*

[5] *Анабаптизм* (от греч. anabaptizō — вновь погружаю) — одно из наиболее радикальных течений в западноевропейской Реформации, социальной базой которого являлись городские низы, крестьяне и радикальное бюргерство. Одно из основных условий вступления в общину анабаптистов — повторное крещение в зрелом возрасте. По этому обряду членов общины и называли анабаптистами или перекрещенцами. — *232.*

[6] Это утверждение Чернышевского было доведено до утрировки публицистами журнала «Русское слово» (издатель — товарищ Чернышевского по Саратовской семинарии Г. Е. Благосветлов), в частности, В. А. Зайцевым и Д. И. Писаревым. — *232.*

[7] Чернышевский неточно характеризует философию Х. Вольфа как схоластическую, поскольку именно его учебные руководства по всем философским дисциплинам вытеснили традиционные схоластические компендиумы и сделались основой университетского образования в Германии XVIII в. — *232.*

[8] Имеются в виду следующие работы Ж. Ж. Руссо: La nouvelle Héloise ou lettres de deux amans, habitans d'une petite ville au pied des Alpes. Paris; Neuchatel, 1764 (Новая Элоиза, или Письма двух влюбленных, обитателей деревушки у подножия Альп).

Du contract social ou Principes du droit politique. Amsterdam, 1762 (Общественный договор, или Принципы политического права). — *233.*

[9] Чернышевский имеет в виду философию Гегеля, оценка которой как устаревшей дает возможность однозначно определить его отношение к гегелевской системе в целом и «диалектике» в частности. — *235.*

[10] В первой публикации в «Современнике» опечатка: присущие. — *236.*

[11] Ни Шеллинг, ни Гегель не принимали кантовского трансценден-

тального априоризма. Очевидно, здесь Чернышевский (как и в других случаях) смешивает понятия «трансцендентный» и «трансцендентальный». — *240.*

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ ОТ ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Соч. *Гизо.* Редакция перевода К. К. Арсеньева. Издание Тиблена. С.-Петербург. 1860

В этой рецензии Чернышевский с просветительских позиций критикует крупнейшего представителя французской романтической историографии за его стремление обнаружить историческую значимость и внутреннюю необходимость эпохи европейского феодального средневековья. Одновременно он уже здесь намечает перечень «основных элементов, производящих прогресс» (коренящихся, разумеется, в природе человека), к которому специально вернется уже в 80-х гг. во время работы над переводом и комментированием «Всемирной истории» Г. Вебера.

[1] В том же номере «Современника» в отделе «Современное обозрение. Новые книги», где помещена рецензия на Ф. П. Г. Гизо, Чернышевский рецензировал «Курс политической экономии» (СПб., 1860. Ч. I) Г Молинари. — *243.*

[2] *Швейцарский Зондербунд* — союз семи кантонов Швейцарии с преимущественно католическим населением, который в 1843 — 1847 гг. вел безуспешную войну за отделение с остальными кантонами Швейцарии. — *247.*

[3] Чернышевский имеет в виду острую дискуссию по вопросу о расширении прав еврейского населения Российской империи, развернувшуюся в 1858 г. в русской периодической печати. — *248.*

О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ РИМА
(Подражание Монтескье)

Статья опубликована в «Современнике» (1861. № 5). Являясь по форме откликом на русский перевод «Истории цивилизации во Франции...» Гизо, на самом деле она направлена против идей А. И. Герцена, выраженных им еще в статье «Русский народ и социализм» (1852).

В этой статье Герцен постулировал самоотрицание европейской цивилизации в социализме и одновременно задавался «страшным вопросом»: «Достанет ли силы на возрождение старой Европе, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму? (*Герцен А. И.* Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 156). В поисках ответа на этот вопрос, писал он, «мы поневоле обращаемся за сравнением к временам падения Рима» (там же. С. 158).

Сопоставляя европейскую цивилизацию с русской крестьянской общиной («крестьянским коммунизмом»), Герцен заявлял: «...какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации...» (там же. С. 170). По всей вероятности, эти же идеи были высказаны Герценом Чернышевскому во время их личной встречи летом 1859 г. в Фулеме.

В статье Чернышевского особенно наглядно проявилась «вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 519). Неслучаен подзаголовок статьи — «Подражание Монтескье». Чернышевский избирает объектом подражания труд крупней-

шего представителя французской просветительской философской мысли «Рассуждения о величии и падении римлян».

[1] *Зундская пошлина* — пошлина, взимавшаяся Данией с начала XV в. со всех иностранных судов, проходивших по проливу Зунд (дат. — Эресунн), отделяющему Швецию от острова Зеландия. В 1857 г. эта пошлина была отменена, и Дания получила денежную компенсацию от ряда европейских стран и США в обмен на обязательство обеспечивать безопасность плавания судов в проливах Зунд и Бельт. — *250.*

[2] Чернышевский перечисляет названия некоторых германских племен. — *250.*

[3] Чернышевский значительно преувеличивает разницу между социальной организацией Римской империи и германских племен. Кроме того, как показал К. Маркс, германская община — марка представляет собой более высокую форму по сравнению с общиной античной, основанной на коллективном владении общественной землей. — *252.*

[4] Чернышевский имеет в виду восстание индийских солдат — сипаев — против английских колонизаторов в 1857 г. — *259.*

[5] Эту же мысль о благотворности британского колониального господства в Индии Чернышевский высказывал еще в 1857 г. (*4,* 487). — *260.*

[6] *Крепостного состояния* в Западной Римской империи не существовало. Единственным аналогом этого института может рассматриваться «колонат». Однако и в этом случае необходимо учитывать, что колоны в Риме — это свободные сельские и городские жители, бравшие в аренду у императорской власти или крупных землевладельцев мелкие участки земли. «Кроме натуральных и денежных взносов колоны обязаны были три раза в год обрабатывать по два дня на барской запашке...» (*Машкин Н. А.* История древнего Рима. М., 1950. С. 501). Прикрепленными к земле являлись лишь рабы, посаженные на участок земли (некулий) и называвшиеся quasi colini — «почти колоны» (там же. С. 502). — *262.*

[7] Ситуация конкретной полемики заставляет Чернышевского отказаться от своего собственного мнения, высказанного в 1857 г. Он писал тогда: «Сколько, бывало, набирали причин для объяснения падения Древней Греции и потом Рима! — и все-таки не могли понять, почему погибли Афины, погибла Римская империя. Но, едва вникли в гражданские отношения этих государств, все стало ясно. Главная причина в обоих государствах одна и та же — невольничество» (*4,* 481—482). — *265.*

[8] *Геркуланум и Помпея* — древнеримские города, погибшие при извержении вулкана Везувий в 79 г. н. э. *Зейдер-зе* — залив Северного моря у берегов Нидерландов, образовавшийся в 1282 г. в результате повышения уровня моря. — *265.*

[9] *Землетрясение,* почти полностью разрушившее Лиссабон, произошло в 1755 г. — *265.*

[10] Чернышевский пересказывает стихотворение И. В. Гёте «Die Zerschtörung Magdeburg» (Разрушение Магдебурга). Это реальное событие произошло в 1631 г. в ходе Тридцатилетней войны. — *265.*

[11] Неточная цитата из перевода В. А. Жуковского стихотворения И. Ф. Шиллера «Торжество победителей»: в первой строке стоит «бодрых», не «добрых». — *266.*

[12] Чернышевский рисует жизнь германских племен в духе гоббсовской войны всех против всех. Это описание догосударственного состояния «варварских» народов было принято за аксиому практически всеми историками XVIII — середины XIX в. (в том числе и Гизо, у которого Чернышевский специально выделил это описание. — *1,* 129). Однако дальнейшие исследования медиевистов опровергли это представление и показали, что жизнь «варварских» народов весьма строго регламентировалась нормами так называемого неписаного права, которые в ходе христианиза-

ции и распространения письменности были закреплены в текстах различных «варварских правд». — *267.*

[13] Поэма *«Шахнаме»*, представляющая собой национальный эпос персов и таджиков, была начата поэтом Дакики (умер в 977 г.), написавшим 988 двустиший, и закончена Абуль-Касимом Фирдоуси (940—1020 или 1030). — *268.*

[14] Такая трактовка феодализма, некорректная с точки зрения марксистско-ленинского учения об общественно-экономических формациях, вполне логична для Чернышевского, рассматривавшего всемирную историю в виде двух самостоятельных циклов: первого, завершающегося насильственной гибелью античной греко-римской цивилизации, и второго, начатого в эпоху европейского средневековья (см. Капитал и труд). — *269.*

[15] Этот абзац свидетельствует о том, что Чернышевский отчасти разделял взгляды Герцена на роль крестьянской общины в процессе перехода России к «социализму». Последний в статье «Русский народ и социализм» подчеркивал, что именно «общинный быт», «крестьянский коммунизм» наиболее глубоко характеризует Россию и предвещает ей «великую будущность» (Соч. Т. 2. С. 173). — *272.*

[16] В корректуре статья имела другое окончание (см. 7, 1067). — *277.*

АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО

Статья написана в 1860 г. и предназначалась для № 1 «Современника» за 1861 г., но была запрещена цензурой. Впервые опубликована в кн.: Николай Гаврилович Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928. С. 51—72.

Помещая в статье значительные выдержки из первого письма Чаадаева, а также почти полностью текст его неоконченной работы «Апология сумасшедшего», Чернышевский ставил перед собой цель не только информировать публику о скандальном эпизоде николаевского царствования, но также ознакомить читателей с одним из первых документов русского «западничества». Результатом этого ознакомления должна была явиться важная для Чернышевского мысль о том, что, несмотря на бескомпромиссную борьбу, «западники» и «славянофилы» по существу в равной степени исходили из общей идеи особого исторического призвания России.

Русскому «мессианизму» Чернышевский противопоставляет свой взгляд на исторический процесс, согласно которому в истории главной действующей силой являются не отдельные национальные организмы, а «сословия» — «высшее», «среднее» и «простолюдины» (которым лишь еще предстоит в будущем стать субъектом исторического действия). Эта схема применяется Чернышевским как к античному, так и к западноевропейскому историческому циклу, о которых он писал в работе «Капитал и труд».

[1] Свои бумаги Чаадаев завещал племяннику М. И. Жихареву, от которого Чернышевский и получил французский текст и русский перевод «Апологии сумасшедшего». — *278.*

[2] Русский перевод с французского оригинала 1-го «Философического письма» опубликовал в журнале «Телескоп» (1836. № 15) Н. И. Надеждин. Публикация вызвала запрещение журнала, ссылку редактора и высочайше санкционированное объявление автора сумасшедшим. — *278.*

[3] В 1820 г., когда А. С. Пушкину грозила ссылка в Сибирь или даже заточение в монастырскую тюрьму, П. Я. Чаадаев способствовал тому, чтобы наказание было ограничено высылкой поэта на юг, в Новороссийскую губернию. — *278.*

[4] В настоящее время установлено, что Чаадаев написал восемь «философических писем», первое из которых было адресовано Е. Д. Пановой. Первое, шестое и седьмое письма опубликованы в изд.: *Чаадаев П. Я.* Соч. и письма. М., 1913—1914. Т. 2. Письма 2—5; восьмое см. в кн.: Литературное наследство. М., 1935. Т. 22—24. С. 18—62. — *279.*

[5] Окончательное разделение христианской церкви на западную (католическую) и восточную (православную) произошло в 1054 г., когда константинопольский патриарх Михаил Керулларий и легат Гумберт подвергли друг друга взаимному проклятию и отлучению от церкви. Называя IX век, Чернышевский имеет в виду почти аналогичную ситуацию конфликта между константинопольским патриархом Фотием и римским папой Николаем I, которая, однако, еще не вылилась в церковный раскол. — *281.*

[6] Чернышевский имеет в виду восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге. Пушкин посвятил декабристам свое стихотворение «Арион». — *287.*

[7] Цитата из стихотворения С. Т. Колриджа «Fears in Solitude» (Страхи в одиночестве). — *289.*

[8] П. Я. Чаадаев имеет в виду, по всей вероятности, комедию Н. В. Гоголя «Ревизор», премьера которой состоялась в 1836 г. — *296.*

[9] Утверждение о том, что древнерусские *летописи совершенно бессвязны, чужды всякого соображения,* не соответствует современному научному взгляду. — *297.*

[10] «История русского народа» *Н. А. Полевого,* задуманная им как полемический ответ на «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина, вышла в 6 томах в 1829—1833 гг. Одним из ведущих представителей так называемой *скептической школы* в русской исторической науке, настаивавшей на критическом отношении к древнерусским письменным источникам, являлся профессор Московского университета М. Т. Каченовский (1775—1842). — *298.*

[11] В Древней Руси все говорившие на непонятном языке назывались *немцы* — т. е. «немые». — *298.*

[12] Сопоставляя жанрово-однотипные произведения «Панегирик императору Траяну» (благодарственную речь Плиния Младшего римскому императору Траяну, произнесенную им в сенате 1 сентября 100 г. н. э. по случаю назначения консулом) и «Слово похвальное Петру Великому» (произнесенное М. В. Ломоносовым на торжественном академическом собрании 26 апреля 1755 г. по случаю празднования очередной годовщины «венчания на Всероссийское государство» императрицы Елизаветы Петровны), Чернышевский достаточно корректен. Однако его утверждение о том, что Ломоносов просто перевел панегирик Плиния, не более чем полемическая гипербола, призванная подтвердить его мысль о полной неисследованности русской истории XVIII в. — *299.*

[13] *Эмфаза* (от древнегреч. emphasis — выразительность) — эмоционально окрашенное, подчеркнуто выразительное произнесение фразы. — *301.*

[14] Строго говоря, сходство между славянофильством и западничеством в этом пункте формально. Признаком славянофильства является не утопия об особом предназначении в истории русского народа, а мысль о спасающей роли православного христианства, единственным независимым хранителем которого является русский народ. Ни один из западников не связывал идею особой роли России в истории (в позитивном смысле) с православием. Это, кстати, ясно понимал и Герцен, т. е. тот «западник», с которым (как и в статье «О причинах падения Рима») фактически полемизирует Чернышевский. Так, в «Письмах к противнику» (Ю. Ф. Самарину) Герцен специально подчеркнул это различие: «Для вас русский народ преимущественно народ *православный,* т. е. наиболее христиан-

ский, наиближайший к *веси небесной*. Для нас русский народ преимущественно *социальный...*» (Соч. Т. 2. С. 415). — *304*.

[15] Тема господства произвола в самодержавно-бюрократизированной (т. е. обращенной только на «форму») структуре российской государственности специально акцентирована Чернышевским в также запрещенных цензурой «Письмах без адреса» (см. с. 358 наст. тома). — *305*.

[16] Эта оценка перспектив буржуазного развития, сделанная уже после того, как К. Марксом и Ф. Энгельсом была создана теория научного коммунизма и в качестве ближайшей цели поставлена социальная революция пролетариата, наглядно демонстрирует все различие между марксизмом и мировоззрением революционного демократа Чернышевского. — *307*.

НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ К АВТОРИТЕТАМ

Статья является рецензией на издание книги А. Токвиля «Демократия в Америке» (Киев, 1860, Т. I, II). Опубликована в «Современнике» (1861. № 6).

Целью статьи являлась дискредитация в глазах русской публики одного из крупнейших представителей европейского либерализма — А. Ш. А. М. Токвиля. Главной мишенью нападения Чернышевский избирает мнение Токвиля о том, что «демократия и централизация имеют необыкновенное дружеское влечение друг к другу, что они даже чуть ли не одно и то же» (*7*, 688).

В публикуемом фрагменте статьи Чернышевский подвергает критике тезис некоторых русских историков (С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин) о том, что ведущая роль в деле освобождения Руси от татаро-монгольского ига и создания русской самостоятельной государственности принадлежит центральной власти. В такой форме он критиковал современное ему российское самодержавие.

[1] В рукописи далее следовал текст (см. *7*, 1069). — *311*.

[2] В рукописи вместо этой фразы был текст (см. *7*, 1069—1070). — *311*.

[3] В рукописи далее был текст (см. *7*, 1070). — *311*.

[4] Под первым авторитетом имеется, вероятно, в виду сотрудник журнала «Отечественные записки» С. С. Дудышкин, который в полемике П. Д. Юркевича с Чернышевским выступил на стороне первого, хотя в целом журнал придерживался позитивистской тенденции и пропагандировал работы Г. Т. Бокля, Дж. Г. Льюиса и др. (*7*, 758 и далее). *Другим авторитетом* можно считать А. И. Герцена, который, критикуя славянофильство, одновременно указывал на «серьезный характер нравственной болезни Франции и Германии...» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 93); ср. также: «На своей больничной койке Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает как единый путь спасения именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат в народном характере, и притом не одной петровской России, а всей русской России» (там же. С. 45). Взгляды, напоминающие точку зрения *третьего авторитета*, в 60-х гг. высказывали «почвенники» (А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов). Напр., Н. Н. Страхов вспоминал впоследствии, что в программной статье журнала «Время» «Роковой вопрос» он развивал следующую концепцию: «Польский аристократизм... больше всего и погубил Польшу. Между тем этот аристократизм и был развит и поддерживается давним усвоением европейской образованности. Из этого следует, что зло может заключаться даже в столь хорошем деле, как просвещение, что иногда лучше отстать в культуре, но сохранить духовное здоровье...» (Биография, письма и

заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. Отд. I. С. 249). Очевидно, под *четвертым авторитетом* подразумевается В. И. Даль, который писал: «Грамота, сама по себе, ничему не вразумит крестьянина; она скорее собьет его с толку, не просветит» (Русская беседа. 1856. Кн. 3. Отд. Смесь. С. 3). Полемический ответ В. И. Далю Чернышевский опубликовал в «Современнике» (1857. № 12) (см. также: *7*, 983). — *312.*

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ КРАСОТЫ. Коллекция вторая

Статья, фрагмент из которой помещен в настоящем издании, была опубликована в «Современнике» (1861. № 7).

Статья представляет собой критический обзор журнала «Отечественные записки» за первое полугодие 1861 г., и особенно тех его статей, в которых содержатся прямые полемические выпады против «Современника». Помещаемые здесь главы VIII и IX второй коллекции «Полемических красот» являются ответом сотруднику «Отечественных записок» С. С. Дудышкину, поддерживавшему статью П. Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе» (Труды Киевской духовной академии. 1860. Кн. 4), направленную против «Антропологического принципа в философии» (ответ Чернышевского Юркевичу см. в статье «Полемические красоты. Коллекция первая». — *7*, 725—726).

[1] *Бокль Г. Т.* История цивилизации в Англии. СПб., 1863—1864. Т. I—II. — *314.*

[2] Чернышевский имеет в виду статью М. А. Антоновича «Два типа современных философов», опубликованную в «Современнике» (1861. № 4). — *316.*

[3] Упоминание в печати жившего в эмиграции А. И. Герцена — *автора «Писем об изучении природы»* — было запрещено. — *317.*

[4] В журнале *«Отечественные записки»* за 1853 г. Чернышевский опубликовал рецензии на книги «О сродстве языка славянского с санскритским» (сост. А. Ф. Гильфердинг) и «Dichterkanon» (сост. И. Я. Нейкирх) — обе в № 7. За 1854 г. были опубликованы еще 6 рецензий Чернышевского: «Известия императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности» (Т. II. № 1); «Федон, или о бессмертии души. Соч. М. Мендельсона» (№ 5); «Справочный энциклопедический словарь, издающийся под ред. А. Старчевского» (Т. 7. № 6); «Справочный энциклопедический словарь, издающийся под ред. А. Старчевского» (Т. 3. № 11); «О поэзии. Соч. Аристотеля» (№ 9); «Песни разных народов. Перевод И. Берга» (№ 12). За 1855 г. вышла рецензия Чернышевского «Отзыв г. Ордынского о самом себе...» (№ 4). — *317.*

[5] Отчеты (фр.) Национального института наук и искусств (Institut national des sciences et des arts, 1795), с 1806 г. — Institut de France. — *321.*

[6] *Льюис Г. Г.* Физиология обыденной жизни. М., 1861. — *321.*

[7] Имеется в виду Л. Фейербах (см. также с. 384 наст. тома). — *329.*

ЭТЮДЫ. ПОПУЛЯРНЫЕ ЧТЕНИЯ ШЛЕЙДЕНА. Перевод с немецкого профессора Московского университета *Калиновского*. Москва. 1861

Рецензия впервые опубликована в «Современнике» (1862. № 1) без подписи автора.

В этой небольшой работе Чернышевский подвергает критике известного немецкого натуралиста за непоследовательность в отвержении ненаучных гипотез о характере живой природы и «странную мистику».

[1] Апок. 13, 1—3. — *336.*

ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСА

Статья была написана Чернышевским в начале 1862 г. и предназначалась для № 2 «Современника» за 1862 г. Однако цензорское разрешение на публикацию не было получено.

Впервые была напечатана в журнале «Вперед!» (1874. № 2), издававшемся в Женеве П. Л. Лавровым.

Эта работа является ключевой для понимания характера революционности Чернышевского. Она показывает, что взгляд Чернышевского на возможность и реальный эффект массового крестьянского восстания в России стал более зрелым и глубоким. В 1862 г. Чернышевский отчетливо видит, что стихийные крестьянские бунты не принесут необходимого результата — уничтожения самодержавия: «...народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек... он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (с. 341 наст. тома). В этой ситуации глубочайшего отчуждения от народа «нас он не знает даже и по имени» — и в то же время ситуации, чреватой революционным взрывом, который своей стихийностью и неподготовленностью вверг бы Россию в период жесточайшей реакции, Чернышевский решается на дерзкий шаг. Он прямо обращается к Александру II, письма к которому не нуждались в выставлении адреса. Чернышевский делает это не без внутренней борьбы, он сознает, что, вступая в публичные объяснения с царем о народе, он изменяет «своему убеждению и своему народу». Однако, не надеясь на какой-либо позитивный результат, Чернышевский все-таки отправляет свои «Письма...» в цензуру, очевидно с тем расчетом, что, даже не будучи пропущенными, они так или иначе станут известны царю. И следовательно, станет известен тот факт, что крестьяне в результате реформы оказались просто-напросто ограбленными.

Взгляд на перспективы крестьянской революции в России, на взаимоотношения народа и власти, народа и «партии просвещенных людей», изложенный в «Письмах без адреса», оказался созвучным установкам идеолога народничества П. Л. Лаврова. Говоря о разрыве «интеллигенции» и народа, Чернышевский считал, что нужно «объяснить свою неудачу настоящею ее причиною — недостатком общности в понятиях между собою и людьми, для которых работаешь». Из этого прямо следовал вывод о необходимости для «интеллигенции» искать эту общность, т. е. идти «в народ». И пока эта общность не будет найдена, никакие крестьянские бунты (на что делали ставку народники-бакунисты), никакие заговоры против власти (тактика народников-бланкистов во главе с П. Н. Ткачевым) «не могут привести ни к чему полезному». Не случайно именно в журнале П. Л. Лаврова и появились впервые «Письма без адреса», оказавшиеся словно бы напутствием уже сосланного в Сибирь Чернышевского массовому «хождению в народ» интеллигентной молодежи.

[1] Имеются в виду события Смутного времени 1612—1613 гг. — *340.*

[2] Речь идет о борьбе украинского народа против польского порабощения, которая завершилась в 1654 г. воссоединением Украины с Россией; с конца XVII в. начался процесс закрепощения ранее свободного крестьянства, окончательно завершившийся в царствование Екатерины II. — *340.*

[3] Ср.: «Я смотрю на дело исключительно с точки зрения существенных интересов русского населения тогдашнего государства. Оно было бедно и невежественно. Ему было нужно облегчение лежавших на нем тяжестей. Петр увеличил их». И далее: «Россия была бедна; Петр разорил ее... Русский народ имел уже влечение учиться; Петр, насколько мог, внушил ему ненависть к просвещению» (*15,* 613, 614). — *340.*

[4] По Манифесту 19 февраля 1861 г. бывшие помещичьи крестьяне назывались временнообязанными. — *342.*

[5] *Парижский мир,* подведший итоги Крымской войны (1853—1856), был заключен 18 февраля 1856 г. — *346.*

[6] Намек на три выпуска нелегальной прокламации под названием «Великорус», которые появились в Петербурге летом и осенью 1861 г. — *352.*

[7] Имеются в виду события в Петербургском университете, связанные с протестом студентов против двух пунктов новых университетских «Правил» — платы за лекции и запрета сходок. Кульминацией этого протеста явилась студенческая демонстрация 25 сентября 1861 г. и последовавшие за ней аресты 26 студентов. — *353.*

[8] Для решения вопроса об отмене крепостного права по указанию Александра II был создан «Главный комитет по крестьянскому делу» (8 января 1858 — 14 января 1861 г.). Затем были сформированы редакционные комиссии, которые работали с 17 февраля 1859 г. по 10 октября 1860 г. под председательством генерал-адъютанта Я. И. Ростовцева (1803—1860). Результатом работы комиссий явилось «Первое издание материалов редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» (СПб., 1859—1860), а также «Приложения к трудам редакционных комиссий... Сведения о помещичьих имениях» (СПб., 1860). Итогом деятельности «Главного комитета» и «Редакционных комиссий» явились «Высочайше утвержденные его императорским величеством 19 февраля 1861 г. «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости»» (СПб., 1861). — *353.*

ИЗ ПЕРЕПИСКИ 1876—1878 ГГ.

Впервые полностью опубликованы в кн.: Чернышевский в Сибири. Переписка с родными. СПб., 1913. Т. III. В настоящем издании представлены 9 писем (с некоторыми сокращениями).

В 1876 г. сосланный на поселение в Вилюйск Чернышевский задумал ознакомить своих сыновей с той «системой общих научных понятий», которую он выработал еще в начале 50-х годов и которой остался верен до конца. Основанием этой системы служит материалистическая онтология, дополненная сенсуалистической гносеологией, трактующей познание как отражение объективного мира чувственностью человека. Считая себя специалистом по «нравственным и общественным наукам», Чернышевский особый интерес проявлял к всеобщей истории. Однако, прежде чем познакомить сыновей со своими воззрениями на историю, он решил прокомментировать им «предисловие» к человеческой истории: астрономическое учение П. С. Лапласа, геологическую концепцию Ч. Лайелла и трансформистскую теорию Ж. Б. А. П. Ламарка. Полностью этот замысел Чернышевскому реализовать не удалось. В своих письмах он сосредоточился в основном на учении Лапласа, безоговорочно признав окончательность и абсолютную истинность ньютонианской классической физики. Резкость отзывов Чернышевского о многих крупнейших ученых обусловлена тем, что они, по его мнению, отошли от «здравого смысла» под влиянием кантовского агностицизма и юмовского скептицизма, т. е. глубоко враждебных, на его взгляд, естествознанию философских учений. Несмотря на свой дидактический характер, письма Чернышевского к сыновьям представляют собой важнейший документ его собственно философского творчества. Вместе с тем они представляют собой один из наиболее ярких образцов материалистической философии в России.

1. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. 27 апреля 1876 г.

[1] Имеется в виду основной труд О. Конта «Cours de philosophie positive» (Paris, 1830—1842. Vol. 1—6). — *370.*

[2] О «трех великих эпохах» в развитии человечества, послуживших прообразом контовской периодизации, см.: *Сен-Симон А. де.* Собр. соч. М.; Пг., 1923. С. 520. — *370.*

[3] Чернышевский проводит аналогию между критической философией Канта и контовским позитивизмом на том основании, что оба учения строятся на фундаментальной посылке (по-разному обосновываемой) о непознаваемости сущности («вещей в себе», по Канту) явлений. — *370.*

[4] Эта трактовка отношения критицизма Канта к юмовскому скептицизму ошибочна. Уже начальный пункт кантовской «критики» — учение о субъективности форм чувственного созерцания, т. е. пространства и времени («трансцендентальная эстетика»), никак нельзя называть «перифразой» Юма. — *370.*

[5] Для Чернышевского эта социально-политическая версия возникновения кантовского агностицизма достаточно типична. Ср. с. 147 наст. тома. — *370.*

[6] *Истинность закона* Т. Р. Мальтуса, согласно которому население увеличивается в геометрической прогрессии, в то время как прирост продуктов питания — в арифметической, Чернышевский подчеркнул в статье «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» (1888). Он отметил там «верную мысль» Мальтуса о том, что, «когда люди не сдерживают силой разума силу размножения, они размножаются до такой степени, что количество пищи, какое могут добывать они, становится недостаточным для удовлетворительного пропитания всех их» (с. 508 наст. тома). Конкретную форму этого «закона» Чернышевский попытался опровергнуть с помощью статистических данных и математических расчетов еще в комментариях к переводу 1-й книги «Оснований политической экономии» Милля (1860). Однако, как это признавал сам Чернышевский в письме сыновьям от 21 апреля 1877 г., его расчет оказался ошибочным (*15,* 35). — *371.*

[7] Чернышевский имеет в виду следующую книгу: *Hellwald F. von.* Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart. Augsburg, 1876—1877, Bd 1—2. (История культуры в ее естественном развитии вплоть до настоящего времени). — *372.*

3. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. 15 сентября 1876 г.

[1] Ср. с. 255 наст. тома. — *379.*

[2] *Smith A.* An Inquiry in to the nature and causes of the Wealth of Nations. London, 1776 (Исследование о природе и причинах богатства народов). — *380.*

4. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. 11 апреля 1877 г.

Преемственная связь *Спинозы* и *Фейербаха,* идущая от Аристотеля (см. с. 228 наст. тома), образует, согласно Чернышевскому, линию прогрессивного развития мировой философии. — *384.*

[2] «Лекции о сущности религии» (нем.). Об индивидуальной воле как основном «мотиве» человеческой деятельности см.: *Фейербах Л.* Избр. филос. произв.: В 2 т. М., 1955. Т. II. С. 880—894. — *384.*

[3] Войны Рима с эпирским царем *Пирром* длились с 280 по 275 г. до н. э.; *Карфаген* и *Коринф* были разрушены в 146 г. до н. э. — *385.*

[4] Так в тексте. — *387.*

[5] См.: *Тацит Корнелий.* Соч.: В 2 т. Л., 1969. Т. 1. С. 220. — *387.*

[6] В 137 г. до н. э. римская армия осаждала город *Нуманцию* в провин-

ции Лузитания (на территории современной Испании). Несмотря на численное превосходство, римляне были окружены нумантинцами и вынуждены были капитулировать. Квестор Тиберий Семпроний Гракх сумел заключить с победителями договор, по которому римлянам было гарантировано свободное отступление, но они должны были оставить все лагерное имущество. — *388.*

[7] *Маверранегр*, точнее, Мавераннахр. Название территорий на правом берегу Амударьи, возникшее в VII—VIII вв., в эпоху арабского завоевания, и буквально означающее «то, что за рекой». В дальнейшем так назывались области между Амударьей и Сырдарьей с городами Самарканд, Бухара, Ходжент. — *388.*

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. 9 февраля 1878 г.

[1] Principles of Geology. London, 1830—1833. — *397.*

[2] См.: *Гоголь Н. В.* Записки сумасшедшего. — *401.*

[3] См.: *Гоголь Н. В.* Мертвые души. Т. I. Гл. 11. — *403.*

6. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. Около 1 марта 1878 г.

Отождествление *доброго, разумного* и полезного, намеченное Чернышевским еще в дневнике (ср. запись от 10 декабря 1848 г.: «...истина и добро решительно одно и то же, два выражения одного и того же, которые никогда не отрываются и не могут быть одно без другого...» — *1*, 192), последовательно проведено в «Антропологическом принципе в философии». — *408.*

[2] См. статью «Характер человеческого знания» в наст. томе, с. 484—502. — *409.*

[3] *Фихте* действительно исходил в своих построениях из философии *Канта* и даже полагал, что его система есть лишь завершение кантовской. Однако сам Кант отрицал это (*Кант И.* Трактаты и письма. М., 1980. С. 625). — *412.*

7. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. 1 марта 1878 г.

[1] Ср. с. 176 наст. тома. — *414.*

[2] *Laplace P. S.* Traité de mecanique céleste... Paris, 1798—1825. V. 1—5. — *420.*

[3] *Laplace P. S. de.* Exposition du systeme du monde. Paris, 1796. Т. 1—2 (Изложение системы мира). — *421.*

[4] Хотя в «Очерках гоголевского периода...» и экономических работах 50-х гг., а также в предисловии к 3-му изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» встречается упоминание гегелевской «диалектики», есть основания полагать, что во всех этих случаях, как и в письмах из Сибири, Чернышевский подразумевает под «диалектикой» аналитику смысла и искусство доказательства с помощью правильного построения силлогизмов. — *425.*

[5] Эта характеристика, верная в отношении Беркли и отчасти Юма, принципиально не верна в отношении Канта. Последний «естествознание» — математику и физику — чтил достаточно высоко, полагая, что именно они первыми встали «на столбовую дорогу науки» (*Кант И.* Соч. Т. 3. С. 84—85). Произведений самого Канта Чернышевский в молодости, по-видимому, не читал, ограничившись изложением кантовской философии К. Л. Мишле. Какую именно книгу Мишле читал Чернышевский, не совсем ясно. В дневнике от 13 октября 1848 г. есть запись: «Взял Michelet Geschichte der n. Systeme der Philosopie...» Однако книги с таким названием у Мишле нет, и Чернышевский, очевидно, подразумевает книгу «Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von

Kant bis Hegel» (Berlin, 1837—1838) (История новейших систем философии в Германии от Канта до Гегеля).

На восприятии Канта Чернышевским сказалось то, что понимание кантовского критицизма давалось ему с большим трудом. 15 октября он начинает читать «подробный разбор Канта» и записывает: «У Мишле многого не понимаю». На следующий день аналогичная запись: «У Мишле многое кажется непонятным». 20 октября: «...Мишле — все еще о Канте». И лишь 22-го: «дочитал Канта» — без всяких комментариев. Это последнее обстоятельство весьма характерно. Обычно Чернышевский записывал свои впечатления о прочитанном (*1*, 147; 149; 150; 152).— *426*.

8. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. 8 марта 1878 г.

Имеется в виду работа Н. И. Лобачевского «О началах геометрии» (Казанский вестник. 1829. Ч. 25, 27; 1830. Ч. 28). — *439*.

[2] Неточная цитата из стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...».— *440*.

[3] Источник не установлен.— *440*.

[4] «Общие изыскания о кривых поверхностях» (1827) см. в кн.: *Гаусс К. Ф.* Об основаниях геометрии. Казань, 1895. — *441*.

[5] Из Афин в Коринф многоколонный
Юный гость приходит, незнаком.
(Пер. А. К. Толстого). — *447*.

9. А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. 6 апреля 1878 г.

[1] В 1888 г. у Чернышевского возник замысел русского издания «Словаря» *Брокгауза*, который он оставил, узнав об аналогичном намерении А. С. Суворина.— *450*.

[2] В 1861 г. Г. Р. Кирхгоф установил с помощью *спектрального анализа* присутствие в хромосфере Солнца ряда элементов, положив тем самым начало астрофизике.— *451*.

[3] Ср.: «*Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия*, в котором он находится по собственной вине. *Несовершеннолетие* есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого... имей мужество пользоваться *собственным* умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» (*Кант И.* Соч. М., 1966. Т. 6. С. 27). — *456*.

[4] Гносеологию *Платона* Чернышевский излагает некорректно. Именно Платон в полемике с софистами отстаивал тезис об объективности человеческого познания, которое он трактовал как акт воспоминания, осуществляемый человеческой душой, некогда пребывавшей в мире вечных и неподвижных эйдосов — прообразов всех вещей (Менон 81—86; Федон 72 *е* — 76 с). Характеристика *Сократа* как врага афинской демократии и «врага научной истины» совершенно произвольна. Чернышевский просто не узнал в нем своего единомышленника, ибо именно Сократ одним из первых отождествил «благо» и «истину».— *469*.

[5] Ср.: «Я не могу, следовательно, даже *допустить* существование *бога*, *свободы* и *бессмертия* для целей необходимого практического применения разума, если не *отниму* у спекулятивного разума также его притязаний на трансцендентные знания... Поэтому мне пришлось ограничить (aufheben) *знание*, чтобы освободить место *вере*...» (*Кант И.* Соч. Т. 3. С. 95).— *469*.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ В. КАРПЕНТЕРА «ЭНЕРГИЯ В ПРИРОДЕ»

Над переводом книги У. В. Карпентера (*W. L. Carpenter.* Energy in nature. Six lectures in autumn 1881. London, 1883) Чернышевский рабо-

тал в феврале 1884 г. в Астрахани. По-видимому, тогда же им написаны предисловие и послесловие к ней (см. 15, 450). Издатель книги Л. Ф. Пантелеев не счел возможным включить предисловие и послесловие Чернышевского в текст книги, которая вышла в 1885 г. Впервые они напечатаны в кн.: Исторический сборник. Л., 1934. П. С. 192—198.

[1] Ср. с. 391—393 наст. тома.— *477.*

ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Впервые напечатана в газете «Русские ведомости» (1885. № 63, 64).

Статья представляет итог рассмотрения гносеологических проблем естествознания, которые содержатся в сибирской переписке Чернышевского с сыновьями. См. наст. том, с. 406—413.

[1] Выше Чернышевский более точно передает аргументацию «знакомого ученого», согласно которой «мы не знаем и не можем знать, сходно ли наше представление о руке с этим нечто, возбуждающим его».— *486.*

[2] Чернышевский применяет термин *иллюзионизм* для обобщающего обозначения всех философских систем, отрицающих способность человеческой чувственности давать точную копию объекта.

Любопытно, что через четверть века этот же термин использовал В. Ф. Эрн для обобщающей характеристики западноевропейской рационалистической философии, и неокантианства в особенности (*Эрн В.* Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М., 1911. С. 358).— *486.*

[3] Ср. с. 147 наст. тома.— *488.*

[4] См. прим. 4 к с. 425.— *489.*

[5] *Марафонское* сражение произошло в 490 г. до н. э.; морское сражение при *Саламине* — в 480 г. до н. э.; битва при *Платее* — в 479 г. до н. э.— *501.*

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕОРИИ БЛАГОТВОРНОСТИ БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНЬ

Впервые напечатана в журнале «Русская мысль» (1888. Кн. IX). Подпись под статьей: «Старый трансформист».

Чернышевский использует тему «Дарвин и дарвинизм» как удобный предлог для критики «оптимистической философии», не признающей зла в мире и по существу лишающей человека права борьбы за устранение зла и преобразование мира. Противопоставляя «добро» и «зло», Чернышевский не признает их диалектической взаимосвязи, поскольку опирается в их оценке на «натуру человека». Отсюда все недостатки статьи: гиперкритическое отношение к методу научной работы Дарвина; отрицание того факта, что регулятором внутривидовой эволюции является механизм естественного отбора, и в конце концов односторонний взгляд на эволюцию органического мира в целом, обусловленный приверженностью Чернышевского к трансформистской концепции Ламарка.

«Объясню мое презрительное отношение к дарвинизму,— писал Чернышевский редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву.— Я с довольно ранней юности знал теорию Ламарка и был трансформистом. Видеть, что в 1860 году масса натуралистов превозносит похвалами или осыпает проклятиями, как новую идею, учение, которое лет за пятнадцать перед тем было уже привычно мне, юноше, жившему в глухом русском провинциальном городе, в кругу священников и дьяконов,— это было в моих глазах позором для массы натуралистов. И это мнимо новое учение было обскурантским искажением той, разумеется неполной, но

верной духу естествознания, истинно-научной теории, которая была изложена Ламарком,— я не мог не презирать его, не гнушаться им. Я и теперь считаю эти чувства справедливыми; потому сохраняю их» (*15*, 687).

[1] Чарльз Дарвин.—*503.*

[2] Был принят в Англии в 1679 г. Согласно этому акту *Habeas Corpus*, каждый арестованный мог требовать немедленного судебного разбирательства или немедленного освобождения из тюрьмы под залог либо на поруки. Habeas Corpus — часть формулы-обращения к начальнику тюрьмы, по-латыни буквально означающей «доставь личность». — *504.*

[3] On the Principles of Political Economy and Taxation. London, 1817 (Об основаниях политической экономии и налогообложения).—*509.*

[4] Эпоха *Реставрации* во Франции — 1814—1830 гг. (за исключением 100 дней императорства Наполеона в 1815 г.), когда к власти вернулась свергнутая в годы революции 1789—1794 гг. династия Бурбонов. *Направление мыслей* этой эпохи определялось реакционной политикой так называемого Священного союза — коалиции европейских монархов, созданной для борьбы против революционных и национально-освободительных движений в 1815 г.— *510.*

[5] Journal of Researches into Natural History and Geology of the countries visited during the Voyage of H. M. S. «Beagle» round the World, under the command of capt. Fitz Roy. London, 1837 (Дневник исследований по естественной истории и геологии стран, которые посетил корабль его величества «Бигль» во время кругосветного путешествия под командой кап. Фитца Роя).— *514.*

[6] Zoologie of the Voyage of H. M. S. «Beagle». London, 1842—1843 (Зоология путешествия корабля его величества «Бигль»). — *514.*

[7] В 1844 г. у Дарвина уже имелась рукопись, в которой в общем виде была изложена теория происхождения видов, однако сам Дарвин не счел нужным опубликовать ее при своей жизни, и она была опубликована Кэмбриджским университетом в 1909 г. под названием «The foundation of the origin of species» (Основания происхождения видов). — *514.*

[8] Птолемеи — династия царей (IV—I вв. до н. э.), правившая в одном из крупных эллинистических государств, включавшем в себя территорию современного Египта. Основателем династии был один из сподвижников Александра Македонского — македонянин Птолемей (Сотер). Последней представительницей династии была Клеопатра VII.— *524.*

[9] The fertilisation of Orchids. London, 1862 (Оплодотворение орхидей).— *525.*

[10] The Movements and Habits of clambing Plants. London, 1864 (Движения и привычки вьющихся растений. Лондон, 1984).— *526.*

[11] Поскольку хозяйственный отбор (искусственный) — это лишь частный случай универсального механизма естественного отбора, Дарвин не сделал *громадной научной ошибки.— 528.*

[12] Роды и виды животных (лат.).— *528.*

[13] The expression of the Emotions in Man and Animals. London, 1872 (Выражение чувств у человека и животных). Insectivorous Plants. London, 1875. (Насекомоядные растения).— *531.*

[14] Очевидно, Чернышевский имеет в виду Ж. Ламарка и его последователей Э. Ж. Сент-Илера (1772—1844) и О. Ф. Ц. Сент-Илера (1790—1853).—*536.*

ОЧЕРК НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Эта работа Чернышевского связана с его деятельностью в качестве переводчика (под псевдонимом «Андреев») труда немецкого историка Г. Вебера «Allgemeine Weltgeschichte für die gebildeten Stände» (Leipzig, 1857—1882, Bd 1—16) (всеобщая история для образованных сословий), которая началась в конце марта 1885 г. и длилась вплоть до его смерти. Чернышевский успел полностью перевести 11 томов и написать несколько глав своего «Очерка научных понятий...», прилагавшихся к томам Вебера, начиная с 7-го. Замысел Чернышевского был широк, он решил воспользоваться Вебером для изложения тех взглядов на историю, которые он считал единственно верными и сущность которых он изложил в письме А. Н. и Ю. П. Пыпиным от 17 июня 1886 г.: «...мои понятия о ходе человеческой истории во многом неодинаковы с теми, которые господствуют в ученом мире. Например, разницы между расами, тем более между народами одной расы, между сословиями и проч. в их исторической жизни я объясняю исключительно историческими фактами, а не расовыми, народными или сословными особенностями, рассуждения о которых считаю пустыми фантазиями самохвальства вообще белой расы, в частности европейцев, господствующих народов Европы, ученого сословия (то есть среднего или низшего сословия) этих народов.— Далее, я считаю результаты насилия вредными, всегда для всех вредными» (*15*, 592).

С предельной откровенностью о своем замысле Чернышевский рассказал в письме к издателю перевода «Всеобщей истории» Г. Вебера — К. Т. Солдатенкову: «Имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которого был бы я. Зная размер своих ученых сил, я рассчитывал, что мой трактат будет переведен на немецкий, французский и английский языки и займет почетное место в каждой из литератур передовых наций (...)

Вместо того — вышло что?

Я перевожу книгу, положительно не правящуюся мне; я теряю время на переводческую работу, неприличную для человека моей учености и моих — скажу без ложной скромности — моих умственных сил; издание имеет размер, делающий его недоступным массе русской публики; груды этого издания лежат в Вашем складе; для публики пользы от этого издания очень мало, а Вам от него — громадный, по моему масштабу, убыток» (*15*, 769; 770).

В настоящем издании из пяти глав «Очерка», вошедших в первое издание русского перевода «Всеобщей истории» Г. Вебера, мы помещаем 1, 3 и 4-ю главы, непосредственно посвященные проблематике философии истории.

1. О РАСАХ

Глава написана для VII тома, который вышел в 1887 г.

[1] См.: «Очевидно, во всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие — рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо» (*Аристотель*. Политика 1255 а 1—3). — *546*.

3. О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ НАРОДАМИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ХАРАКТЕРУ

Глава подготовлена для IX тома, который вышел в 1888 г.

[1] Этот «социологический атомизм», согласно которому «общественная жизнь есть сумма индивидуальных жизней» (см. наст. изд. Т. I. С. 635), представляет собой прямое следствие общефилософского «антро-

пологического принципа», т. е. рассмотрения человека в качестве психофизической целостности, сущность которой («природа человека») конституируется эгоизмом, любознательностью, стремлением к улучшению жизни, доброжелательностью к себе подобным и трудолюбием (подробную характеристику этих «врожденных свойств» см. гл. 4 «Очерка»). «Природа человека» у Чернышевского — и исходная данность социального анализа, и абсолютный критерий оценки социально-исторических явлений.— *565.*

[2] *Марафонская битва* произошла в 490 г. до н. э. *Херонейская битва* между греками и македонянами под водительством царя Филиппа и его сына Александра — в 338 г. до н. э. — *571.*

[3] *Гармост* — спартанский правитель, или наместник, в городах и на островах, находящихся под гегемонией Лакедемона.—*572.*

[4] Это представление о культурной незначительности Спарты устарело. В настоящее время установлено, что Спарта дала известных поэтов, писателей, актеров, авторов конституций и философов (см.: *Давыдова Л. С.* Эллинистическая Спарта: Автореф. дис. М., 1983).— *572.*

[5] Т. е. в период с 490 по 432 г. до н. э.— *572.*

[6] Армия *Ганнибала* подошла к Риму в 216 г. до н. э. в ходе второй Пунической войны. — *575.*

[7] Сражение между германцами и римлянами в *Тевтобургском лесу* произошло в 6 г. н. э.— *577.*

[8] Победы в сражениях при *Требнии, у Тразименского озера* и *при Каннах* Ганнибал одержал соответственно в 218, 217 и 216 гг. до н. э.— *577.*

[9] *Кондотьеры* — предводители наемных военных отрядов в Италии XIV — XVI вв., служившие как светским государям, так и римским папам.— *578.*

[10] Война, длившаяся с 1455 по 1485 г. между двумя линиями английской королевской династии Плантагенетов. Ланкастеры имели в своем гербе алую розу, Йорки — белую.—*578.*

[11] Противоборство лидера демократической партии популяров *Мария* и сторонника диктаторских методов управления *Суллы*, вылившееся в гражданскую войну 88 г. до н. э., длилось вплоть до смерти Мария в 86 г. до н. э. Война между *Помпеем* и *Цезарем* началась в 50 г. до н. э. и закончилась разгромом войск Помпея при Фарсале. Помпей бежал в Египет, где и умер в 48 г. до н. э.—*578.*

[12] Это третья встречающаяся в работах Чернышевского версия падения Римской империи. Ранее он главной причиной падения Рима считал рабство (рецензия на русский перевод книги И. Бентама «Рассуждение о гражданском и уголовном законодательстве», 1857 г. (*4,* 481—482)) и нашествие варваров (О причинах падения Рима, 1861 г.— см. с. 264—265 наст. тома).— *579.*

[13] Ср. с. 193—194 наст. тома. — *583.*

[14] О гипотетическом методе см. с. 70—74 наст. тома.—*585.*

4. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ЭЛЕМЕНТОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОГРЕСС

Глава написана для X тома, который вышел в 1888 г.

[ПО ПОВОДУ СМЕШЕНИЯ В НАУКЕ ТЕРМИНОВ «РАЗВИТИЕ» И «ПРОЦЕСС»]

Эта небольшая работа (или фрагмент) написана Чернышевским в 80-х г. Впервые опубликована в издании: Полн собр. соч. Т. 10. С. 981—985.

[1] Эта интерпретация ионийской философской терминологии, строящаяся на данности смысла и отсутствии абстрактного понятия для его выражения, вполне естественна для Чернышевского, который полагал, что «истина заметна с первого взгляда человеку пытливого и логичного ума» (см. с. 176 наст. тома).—*626.*

[2] Так в рукописи.—*628.*

[3] Такой взгляд на исторический процесс Чернышевский критиковал еще в 1860 г. в рецензии на русский перевод книги Гизо «История цивилизации в Европе...» (см. с. 244 наст. тома).—*631.*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Август (63 до н. э.—14 н. э.), римский император — 263, 264
Агассиз (Агассис) Жан Луи (1807—1873), швейцарский естествоиспытатель, ученик и последователь Ж. Кювье — 545, 548
Александр Македонский (356—323 до н. э.), известный античный полководец — 188, 264, 400, 524
Алексей Михайлович (1629—1676), русский царь — 99, 302
Алексей Петрович (1690—1718), царевич, сын Петра I — 227
Алкибиад (Алкивиад) (ок. 450—404 до н. э.), афинский стратег — 469
Анаксимандр (ок. 610 — после 547 до н. э.), древнегреческий философ, представитель милетской школы — 626
Аннибал, см. Ганнибал
Антонович Максим Алексеевич (1835—1918), литературный критик, философ, публицист — 316
Аристид (540 — ок. 467 до н. э.), афинский стратег — 297, 299
Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый — 228, 230, 240, 326, 409, 546
Арно Антуан (1612—1694), французский философ-картезианец и теолог-янсенист — 375
Архимед (ок. 287—212 до н. э.), древнегреческий ученый, математик и механик — 372, 408, 409, 444, 462
Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879), русский публицист — 319
Аттила (? — 453), вождь гуннов, возглавлял опустошительные набеги на Галлию и Италию — 267
Ахмат, Ахмед (? — 1481), хан Большой Орды — 311

Барсов Николай Павлович (1839—1889), русский буржуазный историк — 243
Бастиа Фредерик (1801—1850), французский экономист — 7, 25, 43, 52
Батый, Бату, Саин-хан (1208—1255), монгольский хан, основатель Золотой Орды — 221, 305, 310
Бауэр Бруно (1809—1882), немецкий философ-младогегельянец — 329
Бейль Пьер (1647—1707), французский философ и публицист, представитель Просвещения, автор «Исторического и критического словаря» — 321
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), русский критик — 30, 32, 163, 279, 280, 317, 319, 320
Бельтрами Эудженио (1835—1900), итальянский математик — 438, 439, 441, 442
Бентам Иеремия (1748—1832), английский философ, социолог, родоначальник философии утилитаризма — 24, 26, 147
Беранже Пьер Жан (1780—1857), французский поэт — 149, 223
Берк (Бёрк) Эдмунд (1729—1797), английский философ и публицист, один из лидеров вигов — 82
Бернар Клервосский (Бернард Клервоский) (1090—1153), французский теолог-мистик — 447
Бернгард Саксонский (герцог Саксен-Веймарский) (1604—1639), полководец Тридцатилетней войны (1618—1648) — 579
Берцелиус Йёнс Якоб (1779—1848), шведский химик и минералог — 163
Бёк Август (1785—1867), немецкий историк и филолог — 27
Бёркли (Беркли) Джордж (1685—1753), английский философ, субъективный идеалист — 425, 426
Бичурин Никита Яковлевич (Иоакинф) (в монашестве Иакинф,

1777—1853), русский китаевед, член-корреспондент Петербургской АН (1828) — 236
Блан Луи (1811—1882), французский утопический социалист, историк, журналист, деятель революции 1848 г. — 88, 95, 96, 98, 100, 141
Бланк Григорий Борисович (1811—1889), русский публицист, защитник крепостного права — 25
Бокль Генри Томас (1821—1861), английский историк и социолог-позитивист — 144, 314, 315, 318, 322
Борис Годунов (ок. 1552—1605), русский царь — 297
Боссюэт (Боссюэ) Жак Бенинь (1627—1704), французский писатель, церковный деятель, епископ — 29
Браге Тихо де (1546—1601), датский астроном, реформатор практической астрономии — 336, 555
Брайт Джон (1811—1889), английский политический деятель — 159
Брамбеус, см. Сенковский
Брокгауз Фридрих Арнольд (1772—1823), основатель немецкой издательской фирмы в 1805 г. в Амстердаме — 450, 451, 464, 466
Брут Марк Юний (85—42 до н. э.), в Древнем Риме глава (вместе с Кассием) заговора 44-х против Цезаря — 299
Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886), химик, создатель теории химического строения, глава крупнейшей казанской школы русских химиков-органиков, общественный деятель — 374
Бэкон Френсис (1561—1626), английский философ, родоначальник английского материализма — 326
Бэль, см. Бейль
Бэр Карл Максимович (Карл Эрнст) (1792—1876), естествоиспытатель, основатель эмбриологии — 379—381
Бюхнер Людвиг Карл (1824—1899), немецкий врач, естествоиспытатель и философ (вульгарный материалист) — 329

Вагнер Егор Егорович (1849—1903), русский химик-органик — 374
Валленштейн Альберт Венцель Евсевий (1583—1634), полководец, во время Тридцатилетней войны (1618—1648) главнокомандующий «Священной Римской империи» — 332, 579
Вашингтон Джордж (1732—1799), первый президент США — 186
Веллингтон (Уэллингтон) Артур Уэлсли (1769—1852), герцог (1814), английский фельдмаршал (1813), премьер-министр кабинета тори (1828—1830), министр иностранных дел (1834—1845), министр без портфеля (1841—1846) — 508
Вестрис Гаэтано Аполлино Бальтазаре (1729—1808), итальянский артист балета, балетмейстер — 428
Воловский Луи Франсуа Мишель Раймон (1810—1876), французский политэконом и умеренно-либеральный политический деятель — 25
Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778), французский писатель и философ-просветитель — 40, 249, 321

Гакстгаузен Август Франц Людвиг (1792—1866), барон; немецкий литератор и экономист — 270
Галилей Галилео (1564—1642), итальянский ученый, один из основателей точного естествознания — 372, 408, 462, 555
Ганнибал (ок. 247—183 до н. э.), карфагенский полководец — 216, 575, 577, 578
Гартман Эдуард (1842—1906), немецкий философ-идеалист — 385, 386
Гассенди Пьер (1592—1655), французский философ-материалист — 326
Гаус (Гаусс) Карл Фридрих (1777—1855), немецкий ученый-математик, почетный член Петербургской Академии наук (1824) — 408, 420, 421, 425, 426, 435, 436, 441, 442, 446
Ге Дельфина (1804—1855), французская писательница — 149

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ-идеалист — 52, 147, 154, 163—165, 236, 240, 284, 327, 369, 554
Гейне Генрих (1797—1856), немецкий поэт — 321
Геккер Эрнст (1834—1919), немецкий биолог, ученый-материалист — 369, 372
Геккер (Хеккер) Фридрих (1811—1881), немецкий мелкобуржуазный демократ — 88
Гелльвальд (Гельвальд, Хельвальд) Фридрих Антон (1842—1892), реакционный австрийский социолог, этнограф и историк культуры — 372
Гельвеций Клод Адриан (1715—1771), французский философ-материалист — 41
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894), немецкий естествоиспытатель — 430—444
Гензерих (Гейзарих, Гейзерих) (?—477), король вандалов (восточных германцев) с 428 г. — 250
Генрих VII (1457—1509), английский король с 1485 г., первый из династии Тюдоров — 578
Генрих Тюдор, см. Генрих VII
Гераклит Эфесский (ок. 544—540 до н. э. — ?), древнегреческий философ-материалист — 625—627
Геродот (между 490 и 480 — между 430—424 до н. э.), древнегреческий историк — 26
Гершель Джон Фредерик Уильям (1792—1871), английский астроном — 473
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель — 265, 447
Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), французский историк и политический деятель, министр иностранных дел (1840—1847) и премьер-министр Франции (1847—1848) — 31, 85, 243, 244, 246—250, 257
Гильйомен (Гийомен) Жильбер Урбан (1801—1864), французский экономист, издатель, сыграл большую роль в развитии экономических исследований во Франции — 4
Гиппарх (ок. 180—190 — 125 до н. э.), древнегреческий астроном, один из основоположников астрономии — 444
Гоббз (Гоббс) Томас (1588—1679), английский философ, создатель первой законченной системы механистического материализма — 147, 411
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), русский писатель — 3, 154, 304, 319, 320, 401, 403, 410
Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813—1889), философ-идеалист, пытавшийся приспособить гегелевскую и другие философские системы к требованиям православной церкви — 317, 326
Годуин (Годвин) Уильям (1756—1836), английский утопист, публицист, писатель и историк — 83, 505, 507, 508
Голиков Иван Иванович (1735—1801), историк, автор обширного труда «Деяния Петра Великого» — 29
Гольбах Поль Анри (1723—1789), французский философ-материалист, идеолог французской революции — 384, 462
Гомер, легендарный греческий эпический поэт — 26, 230
Горлов Иван Яковлевич (1814—1890), профессор политической экономии и статистики Казанского и Петербургского университетов, вульгарный экономист — 3—11, 50
Готье Теофиль (1811—1872), французский писатель и критик — 149
Гракх Каий (Кай) (153—121 до н. э.), политический деятель Древнего Рима — 32, 387, 388
Гракх Тиберий (162—133 или 132 до н. э.), политический деятель Древнего Рима — 32, 387, 388
Гроций Гуго (1583—1645), голландский юрист, философ и государст-

венный деятель, основоположник буржуазной философии права — 336
Гукер (Хукер) Джозеф Долтон (1817—1911), иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1859), член (1847) и президент (1873—1878) Лондонского королевского общества — 515
Гукер Уильям Джэксон (1785—1865), иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1837) — 515
Густав Адольф (Густав II Адольф) (1594—1632), король Швеции, полководец — 297
Гьюм, см. Юм

Даламбер (Д' Аламбер) Жан Лерон (1717—1783), математик и философ французского Просвещения —40
Дальтон Джон (1766—1844), английский физик и химик —394
Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882), английский естествоиспытатель — 28, 369, 371, 379, 384, 385, 513—519, 521—535, 537—541
Декарт Рене (латинизиров. Картезий) (1596—1650), французский философ, математик и физиолог —327, 409, 555
Демокрит (ок. 460—370 до н. э.), древнегреческий философ-материалист —369, 400
Державин Гаврила Романович (1743—1816), русский поэт —234
Джефферсон Томас (1743—1826), американский философ-просветитель и государственный деятель —186
Джингис-Хан, см. Чингис-хан
Дидро Дени (1713—1784), французский философ-материалист —446
Диккенс Чарлз (1812—1870), английский писатель —28
Диоклетиан (243 — между 313 и 316), римский император (284—305) — 261
Дионисий Сиракузский (Младший), правитель Сиракуз (367—357 до н. э.) —469
Диофант (вероятно, III в.), древнегреческий математик —409
Дост (Досто) Могаммед (Мухаммед) (1790 (1793)—1863), афганский эмир —277
Дудышкин Степан Семенович (1820—1866), литературный критик —313, 318
Дунс Скотт (Скот) Иоанн (ок. 1266—1308), средневековый теолог и философ, представитель схоластики —411, 447
Дубуа-Ремон (Дюбуа-Реймон) Эмиль (1818—1896), немецкий физиолог и философ, сторонник механистического материализма и агностицизма — 473
Дюма-старший Александр (1802—1870), французский писатель —149
Дюма-младший Александр (1824—1895), французский писатель, сын А. Дюма —149
Дюнойэ К. (Дюнуайе) Бартелеми Шарль Пьер Жозеф (1786—1862), французский экономист —5
Дюпон Пьер Огюст (1796—1874), французский певец — 233

Елагин Иван Перфильевич (1725—1794), автор неоконченной книги «Опыты повествования о России» —227

Жирарден Эмиль де, г-жа, см. Ге
Жорж Занд (Санд) (наст. имя Аврора Дюдеван) (1803—1876), французская писательница —28, 149, 233, 319, 320
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), русский поэт —234

Зенон Элейский (ок. 490— ок. 430 до н. э.), древнегреческий философ, представитель элейской школы —409
Зотов Рафаил Михайлович (1796—1871), писатель, драматург, театральный деятель —330
Иннокентий III (1160—1216), римский папа с 1198 г.—246

Иоакинф, см. Бичурин
Иоанн III (Иван III Васильевич) (1440—1505), великий князь Московский —259

Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857), французский генерал, военный диктатор в июньские дни 1848 г., глава правительства (июнь — декабрь 1848 г.) —85
Кант Иммануил (1734—1804), немецкий философ-идеалист —147, 165, 232, 235, 236, 314, 369, 370, 384, 407, 410—412, 425, 426, 434—437, 441—447, 468, 469, 471—473
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), поэт, писатель и историк —297
Карл Великий (742—814), франкский король —260, 261, 573, 576
Карл V (1500—1558), император «Священной Римской империи» —221, 247
Карл XII (1682—1718), шведский король —329
Кассини Джованни Доменико (Жан Доминик) (1625—1712), французский астроном —460, 461
Кассини Жак (1677—1756), французский астроном, сын Ж. Д. Кассини —461
Катков Михаил Никифорович (1818—1887), русский философ, журналист —313
Катон Марк Порций (234—149 до н. э.), римский писатель, основоположник римской литературной прозы, государственный деятель —387, 388
Кеплер Иоганн (1571—1630), немецкий астроном, открыл законы движения планет —370, 372, 408, 425, 460, 461, 462
Кери, Кэри Генри Чарлз (1793—1879), американский экономист, представитель вульгарной политической экономии —25
Кир II Великий (?—530 до н. э.), царь древней Персии —297
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), русский религиозный философ, один из основателей славянофильства —317
Княжнин Яков Борисович (1742 или 1740—1791), русский писатель, член Российской Академии — 29
Кобден Ричард (1804—1865), английский общественный и политический деятель —47, 265
Коллатин, см. Тарквиний Коллатин
Кольридж (Колридж) Сэмюэл Тейлор (1772—1834), английский поэт и литературный критик —289
Констан Бенжамен (1767—1830), французский писатель —84, 85
Конт Огюст (1788—1857), французский философ-идеалист и социолог, родоначальник позитивизма —369—371, 384
Коперник Николай (1473—1543), польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира —180, 185, 372, 400, 408, 409, 425, 444, 460, 462, 555
Корнель Пьер (1606—1684), французский драматург —29, 233
Краевский Андрей Александрович (1810—1889), издатель и журналист —315
Критий (ок. 460—403 до н. э.), афинский политический деятель олигархического направления, ученик Сократа —469
Кромвель Оливер (1599—1658), деятель английской буржуазной революции — 34
Крукс Ульям (1832—1919), английский физик и химик — 374
Ксенофонт Афинский (ок. 430 — в 50-х гг. IV в. до н. э.), древнегреческий писатель, ученик Сократа — 26
Кузен Виктор (1792—1867), французский философ, эклектик — 163
Курций (Курциус) Марк (IV в. до н. э.), римский юноша, пожертвовавший собой для спасения Рима — 215

Кэвэндиш Генри (1731—1810), английский физик и химик —404—406
Кэннинг (Каннинг) Джордж (1770—1827), английский государственный деятель, министр иностранных дел в министерстве тори (1807—1809) — 508
Кювье Жорж (1769—1832), французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных — 165, 510—512, 536

Лавров Петр Лаврович (1823—1900), философ и социолог, идеолог народничества — 146, 147, 149—154, 158, 163, 165, 166, 180, 181, 315, 316, 329
Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794), французский химик — 154
Лагранж Жозеф Луи (1736—1813), французский математик и механик — 408, 432, 435, 438
Лазарь, Лазар Хребелянович (ок. 1329—1389), сербский князь (1371—1389) — 12
Лейелль, Лайелль (Лайель, Лайелл) Чарлз (1797—1875), английский естествоиспытатель — 397—399, 464, 465, 511, 512, 514, 515
Лайнес (Лаинез) Диего (1512—1565), один из основателей ордена иезуитов, с 1558 г.— генерал ордена — 411
Лаланд Жозеф Жером (1732—1807), французский астроном, иностранный почетный член Петербургской Академии наук — 447
Ламарк Жан Батист (1744—1829), французский естествоиспытатель, предшественник Ч. Дарвина — 397—399, 510, 511
Лаплас Пьер Симон (1749—1827), французский астроном, математик, физик — 393, 394, 397—403, 408, 415, 418, 420, 421, 435, 436, 442—444, 447—467, 472, 626
Лафайэт Мари Жозеф (1757—1834), маркиз; политический деятель — 84
Левкипп (V в. до н. э.), древнегреческий философ-материалист, один из создателей античной атомистики, учитель Демокрита — 369, 394, 400, 401, 462
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед — 218, 374, 375
Ле-Пле (Ле Пле) Пьер Гийом Фредерик (1808—1882), французский экономист, во второй половине XIX в. возглавлял консервативное направление в социологии — 6
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), русский поэт — 234
Либих Юстус (1803—1873), немецкий химик — 163, 165, 473
Либман Отто (1840—1912), немецкий философ, представитель неокантианства — 442
Линней Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель — 512
Лициний Столон (IV в. до н. э.), римский народный трибун — 22, 32
Лобачевский Николай Иванович (1792—1856), русский математик, создатель неевклидовой геометрии, мыслитель-материалист, деятель университетского образования и народного просвещения — 439
Лойола Игнатий (1491—1556), основатель ордена иезуитов — 411
Локк Джон (1632—1704), английский философ-материалист — 147, 326, 369, 370, 384
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765), русский ученый, поэт, историк, философ — 3, 234, 296, 299, 303
Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), русский историк литературы и административный деятель — 278
Луи-Блан, см. Блан
Луи-Филипп (1773—1850), король Франции (1830—1848) — 98
Лукреций (Тит Лукреций Кар) (I в. до н. э.), римский философ-материалист — 369

Льюис Джордж Генри (1817—1878), английский философ-позитивист и физиолог-дарвинист — 321, 322
Людовик XI (1423—1483), французский король с 1461 г. — 244, 246, 297
Людовик XIV Великий (1638—1715), французский король с 1643 г. —299, 302
Людовик XVI (1754—1793), французский король (1774—1792) — 299
Лютер Мартин (1483—1546), деятель немецкой Реформации — 232, 333

Магомет (Мухаммед), Мохаммед (ок. 570—632), основатель ислама — 333
Мак-Куллох Джон Рамсей (1789—1864), английский экономист — 4
Макиавелли Никколо (1469—1527), итальянский политический мыслитель, писатель — 411
Мальтус Томас Роберт (1766—1834), английский экономист — 24, 26, 28—31, 42, 82, 83, 85, 86, 100, 105, 110, 371, 379, 505—509, 537—542
Мамай (? — 1380), татарский темник, фактический правитель Золотой Орды — 310
Марий Гай (ок. 157—86 до н. э.), римский полководец — 32, 263, 264, 387, 388, 578, 579
Мегмет-Али (1769—1849), вице-король Египта с 1805 г.— 267
Месмер Франц Антон (1734—1815), австрийский врач, создатель медицинской системы, основанной на представлении о «животном магнетизме» — 403
Меттерних (Меттерних-Виннебург) Клеманс Венцель Лотар (1773—1859), князь, австрийский государственный деятель — 247, 248
Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ-позитивист и экономист — 4, 42, 70, 74, 75, 77, 80, 87, 89, 92, 94—97, 104, 105, 110, 111, 118, 119, 121, 123—126, 139, 142, 152, 154—160, 165, 180, 384
Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт и публицист — 51, 147
Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749—1791), деятель Великой французской революции — 84
Молешотт Якоб (1822—1893), немецкий физиолог и философ, один из родоначальников вульгарного материализма — 329
Молинари Гюстав де (1819—1911), бельгийский экономист и журналист —243
Монтескьё (Монтескье) Шарль Луи (1689—1755), французский просветитель, правовед, философ — 41, 84, 147, 249
Монтэнь (Монтень) Мишель де (1533—1592), французский философ-гуманист — 321

Надеждин Николай Иванович (1804—1856), критик, журналист — 280
Наполеон (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император — 6, 27, 84, 147, 221, 267, 305, 510
Нибур Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк античности — 22, 31
Новиков Николай Иванович (1744—1818), писатель и журналист — 30
Новицкий Орест Маркович (1806—1884), философ, представитель философии неортодоксального православия — 230, 235—242, 317
Нума Помпилий (по традиции 715—673/672 до н. э.), второй царь Древнего Рима — 375
Ньютон Исаак (1643—1727), английский математик, механик, астроном и физик, основатель классической физики — 186, 209, 218, 336, 393, 394, 403, 404, 407—409, 413, 416—419, 421, 425, 426, 447, 453—455, 460, 462, 467, 472, 524, 555

Овен (Оуэн) Роберт (1771—1858), английский социалист-утопист — 31, 41, 95, 271

Озеров Владислав Александрович (1769—1816), драматург, писатель — 29
Ольга (? — 969), княгиня, жена киевского князя Игоря — 227

Павзаний (Павсаний), древнегреческий писатель II в.— 571
Павлова Каролина Карловна (1807—1893), поэтесса — 150
Папп Александрийский, математик второй половины III в.— 409
Паскаль Блез (1623—1662), французский математик, физик и философ — 374
Перикл (ок. 490—429 до н. э.), афинский стратег — 572
Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827), швейцарский педагог, основоположник теории научного обучения — 554
Петр I Великий (1672—1725), русский царь с 1682 г., первый российский император с 1721 г.— 29, 99, 227, 259, 290, 292, 294, 296, 298—303, 329
Петр Дамиани (1007—1072), итальянский философ-схоласт, теолог, сформулировал положение о философии как служанке теологии — 447
Петр Ломбардский (нач. XII в.— 1160), философ и теолог, представитель схоластики — 411, 447
Петрарка Франческо (1304—1374), итальянский поэт — 26
Пиль Роберт (1788—1850), премьер-министр Великобритании (1834—1835 и 1841—1846) — 94, 157, 508
Пирр Эпирский (319—272 до н. э.), царь Эпира (307—302, 296—272 до н. э.), известный полководец древнего мира — 385
Писемский Александр Феофилактович (1821—1881), писатель — 154
Платон (428/7—348/7 до н. э.), древнегреческий философ-идеалист — 241, 409, 469, 471
Плиний Старший, Гай Плиний Секунд (23 или 24—79), римский писатель, ученый и государственный деятель — 21, 26, 299
Плиний Младший, Гай Плиний Цецилий Секунд (61 или 62 — ок. 114), римский писатель и государственный деятель — 21, 26, 299
Плутарх (ок. 46 — ок. 127), древнегреческий писатель, историк и философ-моралист —26
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), русский историк и публицист — 227
Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801—1867), писатель — 30, 32
Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), русский писатель, критик, журналист и историк — 30, 298
Полибий (ок. 201 — ок. 120 до н. э.), древнегреческий историк — 26
Помпей Гней (106—48 до н. э.), римский полководец и политический деятель — 578
Порсена, Порсенна (VI в. до н. э.), царь этрусского г. Клузий — 12
Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма — 42, 43, 89, 95, 163, 165, 180, 182
Птоломей (Птолемей) Клавдий (II в.), древнегреческий ученый, разработал геоцентрическую систему мира — 372, 460, 461
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), русский поэт — 232, 234, 278, 296

Расин Жан (1639—1699), французский драматург — 29, 233
Рау Карл Давид Генрих (1792—1870), немецкий экономист и статистик, профессор в Гейдельберге — 4, 25, 110
Регул Марк Атилий (ум. ок. 248 до н. э.), римский полководец и политический деятель — 22
Рехберг Иоганн Бернгард фон (1806—1899), австрийский дипломат — 167
Рикардо Давид (1772—1823), английский экономист, один из круп-

нейших представителей классической буржуазной политэкономии — 24, 26, 28—31, 42, 43, 61, 100, 110, 111, 509
Риман Георг Фридрих Бернхард (1826—1866), немецкий математик — 442
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585—1642), французский государственный деятель, с 1624 г.— первый министр Людовика XIII — 98, 299
Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758—1794), деятель Великой французской революции — 84
Ройе Колар (Ройе-Коллар, Руайе-Коллар) Пьер Поль (1763—1845), французский политический деятель и философ, публицист буржуазно-либерального направления — 85
Ромул (754/3—717/6 до н. э.), согласно римскому преданию, основатель и первый царь Рима — 297
Ротшильд (наст. фам. Бауэр) Мейер Ансельм Амшель (1743—1812), основатель банкирского дома — 212
Рошер Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894), немецкий экономист, основоположник исторической школы буржуазной политэкономии — 4, 6, 25, 26, 110
Руссо Жан Жак (1712—1778), французский философ-просветитель и писатель — 25, 40, 41, 84, 147, 233, 236, 554

С. Г., см. Гогоцкий
Сведенборг Эмануэль (1688—1772), шведский ученый и теософ-мистик — 332—337
Святополк I (ок. 980—1019), киевский князь, за жестокость и преступления прозванный Окаянным — 297
Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (псевд. Барон Брамбеус) (1800—1858), русский писатель, журналист, востоковед — 319, 320
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа де (1760—1825), французский мыслитель, социолог, социалист-утопист — 25, 369, 370
Сигеберт (525—575), король Австразии (северовосточной части Франкского государства) с 561 г.— 250
Сиес (Сийес, Сьейес) Эммануэль Жозеф (1748—1836), деятель Великой французской революции — 84
Симон Жюль (1814—1896), французский философ и государственный деятель — 146—151, 154
Сисмонди Жан Шарль Лонар (1773—1842), швейцарский экономист и историк, один из основоположников мелкобуржуазной политической экономии — 31
Смит Адам (1723—1790), шотландский экономист и философ, один из представителей буржуазной политэкономии — 11, 24, 26, 28, 31, 34, 40—44, 47, 61, 63, 75, 100, 110, 111, 154, 265, 380
Сократ (470/469—399 до н. э.), древнегреческий философ — 230, 241, 409, 469
Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.), афинский политический деятель — 230
Социн Фауст (1539—1604), деятель Реформации в Польше — 232
Спенсер Герберт (1820—1903), английский философ, один из родоначальников позитивизма — 384
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632—1677), нидерландский философ-материалист, пантеист и атеист — 228, 373, 384, 393, 394
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), русский общественный деятель, философ, поэт — 279
Стефенсон Джордж (1781—1848), английский изобретатель, положивший начало первому железнодорожному транспорту — 271
Струве (Штруве) Густав фон (1805—1870), немецкий демократ, республиканец — 88

Стьюарт (Стюарт) Бельфор (Бальфур, Бэльфор) (1828—1887), шотландский физик — 483
Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.), римский военный и политический деятель — 264, 387, 388, 578, 579
Сцевола Гай Муций (кон. VI — нач. V в. до н. э.), легендарный герой времени борьбы римлян против этрусков — 12
Сэ (Сэй, Сей) Жан Батист (1767—1832), французский экономист, один из первых представителей вульгарной политической экономии — 6, 25, 26, 42, 110
Сю Эжен (наст. имя Мари Жозеф) (1804—1857), французский писатель — 319

Талейран, Талейран-Перигор Шарль Морис (1754—1838), французский дипломат, государственный деятель — 84, 267
Талес (Фалес) из Милета (ок. 625—547 до н. э.), древнегреческий философ, основатель милетской школы — 400, 626
Тамерлан (Тимур) (1336—1405), среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир с 1370 г.— 267
Тарквиний Коллатин (VI в. до н. э.), римский гражданин; его жена, обесчещенная Сéкстом Тарквинием, лишила себя жизни, что послужило поводом к изгнанию Тарквиниев и основанию Римской республики — 217
Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — после 117), римский писатель-историк — 26, 221, 387
Тилли Иоганн Церклас (1559—1632), полководец времен Тридцатилетней войны 1618—1648 гг.
Тимаев Матвей Максимович (1796—1858), педагог, составитель учебных пособий, главным образом по истории и словесности — 257
Тиндаль Джон (1820—1893), ирландский физик — 473
Тит (38—81), римской император с 79 г.— 297, 299
Токвиль Алексис Шарль Анри Морис (1805—1859), французский историк, публицист, политический деятель — 311, 312
Томас (Фома) Аквинатский (Аквинский) (1225—1274), средневековый теолог и церковный деятель — 411, 447
Торвальдсен Бертель (1768 или 1770—1844), датский скульптор — 142
Торкемада (Торквемада) Томас (ок. 1420—1498), глава инквизиции в Испании; монах-доминиканец — 374, 540
Тохтамыш (? — 1406), золотоордынский хан — 310
Траян Марк Ульпий (53—117), римский император с 98 г.— 299
Тьер Луи Адольф (1797—1877), французский государственный деятель, историк — 248
Тьерри Огюстен (1795—1856), французский историк — 31

Уокер (Валькер) Уильям (Вильям) (1824—1860), американский авантюрист — 153
Уоллес (Уоллэс) Алфред Рассел (1823—1913), английский естествоиспытатель, один из основоположников зоогеографии — 374, 515
Уэллингтон, см. Веллингтон

Федор Алексеевич (1661—1682), русский царь с 1676 г.— 302
Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872), немецкий философ-материалист — 384, 386, 393, 447.
Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), русский поэт — 440
Филипп II (ок. 382—336 до н. э.), царь Македонии с 359 г.— 247, 267
Филипп II (1527—1598), испанский король с 1556 г.— 221, 247
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ, представитель немецкой классической философии — 147, 150, 384, 412

Фихте-сын (или Фихте Младший) Иммануил Герман (1796—1879), немецкий философ, сын Иоганна Готлиба Фихте — 150, 151
Фишер Куно (1824—1895), немецкий историк философии, последователь Гегеля — 313
Фохт Карл (1817—1895), немецкий философ и естествоиспытатель, представитель вульгарного материализма — 329
Фрауэнштет (Фрауэштедт) Юлиус (1813—1878), немецкий философ, последователь Шопенгауэра — 150
Фридрих II (Великий) (1712—1786), прусский король с 1740 г., полководец — 579
Фудрас Теодор Луи Огюст де (1780—1872), французский писатель — 149
Фукидид (ок. 460 — ок. 400 до н. э.), древнегреческий историк — 26
Фурье Мари Шарль (1772—1837), французский утопический социалист — 95, 139, 140
Фуше Жозеф (1759—1820), французский политический и государственный деятель, министр юстиции (1799—1802) — 337

Хлодвиг I (ок. 466—511), король салических франков с 481 г., из рода Меровингов — 267
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), русский мыслитель, поэт, публицист, идейный вождь славянофильства — 317

Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.), римский диктатор, полководец — 32, 578
Цинцинат (Цинциннат) Луций Квинкций (род. ок. 519 до н. э.), римский политический деятель и полководец — 22, 299
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель — 26, 283, 381, 382

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), русский философ и политический мыслитель — 278—282, 287, 288, 296—298, 303, 304
Чингис-хан, Чингисхан (наст. имя Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155 — 1227), полководец, основатель единого Монгольского государства — 220, 221, 267, 387, 388
Чулков Михаил Дмитриевич (1740—1793), писатель — 227

Шевалье Мишель (1806—1879), французский экономист и государственный деятель — 24, 25
Шевырев Степан Петрович (1806—1864), русский литературный критик, историк литературы, поэт, академик Петербургской Академии наук, профессор Московского университета — 227
Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 29, 232, 627
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854), немецкий философ, представитель немецкой классической философии — 147, 163, 236, 240, 385, 386
Шёльхер Виктор (1804—1893), французский политический деятель и писатель — 8
Шлейден Маттиас Якоб (1804—1881), немецкий ботаник, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1850) — 332—334, 336, 338
Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ-идеалист — 150, 329, 385
Штирнер Макс (наст. имя Каспар Шмидт) (1806—1856), немецкий философ-младогегельянец — 329

Эвклид (Евклид) (III в. до н. э.), древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике — 431, 432, 436, 441, 445

Эйлер Леонард (1707—1783), математик, механик, физик и астроном — 408, 432, 438
Эльвесиус, см. Гельвеций
Эмин Федор Александрович (1735—1770), автор «Российской истории» — 227
Эмпедокл из Агригента (ок. 490—430 до н. э.), древнегреческий философ, врач и политический деятель — 215
Эпикур (341—270 до н. э.), древнегреческий философ-материалист — 409
Эратосфен Киренский (ок. 276—194 до н. э.), древнегреческий ученый — 524

Юм (Гьюм) Давид (Дэвид) (1711—1776), английский философ, историк, экономист и публицист — 370, 384, 425, 426
Юнг Артур (1741—1820), английский публицист, писавший по вопросам сельского хозяйства — 28
Юркевич Памфил Данилович (1827—1874), профессор философии Киевской духовной академии — 313—315, 317—319, 321—327, 329—331

Ярослав Мудрый (ок. 978—1054), великий князь Киевский (1019) — 227

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аболиционисты 153, 545
Абсолютизм (монархия, роялисты) 27, 84, 85, 88, 147, 148, 247
Абсолютное (безусловное) и относительное 111—116
Азиатство 97, 99, 270, 271, 306, 309
Аксиома (постулят) 219, 377, 424—426, 430, 432, 439, 445, 446, 483, 522
Анархия 267, 268
Античность (древний мир, классический мир, Рим, римляне, древние Афины и т. п.) 21, 22, 26—28, 32, 33, 144, 230, 242—244, 249—252, 263—269, 273—276, 385, 387, 388, 501, 546, 560, 566, 571—579, 596, 601
— причины гибели древнего мира 257—266, 456
(см. также Империя Римская)
Антропологический принцип 146, 226—229, 313, 316
Астрология 231, 332, 372
Астрономия (астрономы) 180, 183, 396—406, 413—416, 419—421, 425—429, 448—451, 456—468, 472, 475, 555 (см. История)

Бесконечное (бесконечность) 114, 115, 492—496
Благо 446, 447, 539, 541
— свобода есть условие существования любого б. 17
— нравственное 151, 603
— общее 385
— общественное 99, 123, 151
— умственное 603
— народа (нации) 339, 601
— человека 13, 16
— человечества (общечеловеческое) 220, 249, 599
— и зло 538, 542 (см. также Нищета)
Благосостояние
— уровень 116
— общественное 19, 24, 36, 40, 44, 61, 72, 74, 129, 134, 137
— народа (массы) 36, 105, 562
— человека 18, 59, 60
(см. Материальный)
Бог (божественный) 237—241
Богатство 33, 37, 40, 71, 143, 202, 220, 225, 231, 267, 340
Буддизм 126, 241
Быт
— понижение 553
— формы 126, 136, 565—567, 571, 593, 596, 597
— коммунистический 143
— народный (передовых народов, российский, африканских племен и т. д.) 28, 117, 270
— нравственный 245
— общинный (патриархальный, поселян-собственников) 63, 101, 110, 111, 116, 118
— семейный (домашний) 578, 614
— старинный 102, 276
— французский 78—80
— частный 265, 272
— человеческий 197, 564, 565, 601
теории коренных улучшений 116
(см. Общественный, Политический, Экономический)
Бытие 325, 334, 463
Бюрократия (бюрократический) 220, 275, 347, 349, 350, 353—364
— форма централизованной бюрократии 269
Варварство (варвары, дикость, дикари) 159, 221, 230, 244, 249—252, 257—269, 270, 273—277, 309—311, 456, 562—564, 577—579, 596, 599, 600, 605, 607, 611—613, 618—621
Вера 92, 239—242, 281
Виды 506, 511, 547, 583, 584
— изменчивость (видоизменение, генеалогическое родство) 510—514, 518, 519, 524, 525, 528—531
и естественный отбор 516, 526, 528, 533, 539—543
и половой отбор 517, 528—533
и хозяйственный отбор 517, 526, 528
— неизменность (постоянство форм организмов) 464, 509—513, 525, 526, 536

— происхождение 509
(см. также Теория благотворности борьбы за жизнь)
Власть 149, 252, 302, 346, 347, 349—351, 504, 508, 509, 575, 577
— как средство к влиянию на судьбу других людей и на общество 226
— формы 126
— законодательная (правительственная) 39, 47, 48, 100, 126, 548
— общественная (общества) 88, 130, 134
и экономические явления 11, 17, 47, 48
— папская 249, 383
— светская 232
— предрассудков 198
— сильных людей (вождя) 266—268
Война (военный, войско, армия) 33—36, 71—74, 77—79, 85—88, 141, 201, 219, 257—260, 264, 267, 275, 277, 298—301, 344, 345, 349, 548, 549, 577—579
— как естественное дело в истории 7
— убыточность в. для общества 73, 251
Воля 77, 92, 189, 190, 226, 302, 343
— свобода 165
Воображение 208, 209, 560, 561
Впечатление 158, 159, 170, 189, 190, 195, 197, 210, 435, 560, 603
Вывод (заключение) 21, 62, 73, 74, 78, 134, 164, 182, 194, 204, 207, 218, 303, 321, 350, 397, 418, 419, 448, 477, 489, 505—508, 566, 567, 570, 571
— естественный 509
— логический 94, 177, 486
— общий 24, 81
— отрицательный 167, 168, 178—181, 189, 200—203
— практический 214
— фактический (в. из фактов) 395, 402, 404—406, 419, 449, 450, 454, 477, 503, 544 (см. также Факт существования, Формула)
— частный 23
Выгода (польза) 54, 58, 67, 68, 71, 73, 76, 101, 103, 106, 109, 116, 122, 125, 130, 134—137, 140, 214—229, 251, 252, 261, 266, 270—272, 308, 339—341, 347, 350, 384, 561
— капиталиста и трудящегося 55, 56
(см. также Прибыль, Расчет, см. Добро и зло)

Геология (геологический) 396—398, 463, 464, 510, 511, 522 (см. История)
Геометрия 200, 377, 389, 390, 392, 425, 441
— новые системы 407, 409, 410, 430—439, 443—445, 468
Гипотеза (гипотетический, догадка) 70—74, 168, 178, 179, 184, 202, 206, 211, 214, 215, 229, 257, 370, 375, 376, 394, 395, 399, 404—406, 585, 586
(см. Метод, Формула)
Государство (государственный) 32—34, 62—66, 98, 340, 342, 478, 479, 505, 506, 544—546, 559, 560, 573, 574, 577—579
(см. Деятельность)
Гражданин (гражданский) 22, 88, 149, 155, 216, 230, 262, 266, 309, 346, 546, 559
Группа (группы)
— исторические 564, 565
— племенная 614—616
— живых существ 547, 553
— людей 130, 131, 309, 427, 457, 458, 551, 581, 595—597, 617
— родства 20
— соседства 20
— трудящихся 62
— фактов 476

Действительность 334, 335, 490, 496
— и возможность 90—95, 116, 117
Демократический (демократы) 41, 82, 83, 87, 97, 147, 153, 311
Деспотизм 159, 267
Деятельность (действование, действие, ход дел и т. п.) 75, 80, 98, 119, 169, 189, 202, 341, 346, 388, 427, 476—479, 567
— принципы 123, 302
— цель и результат д. Петра 298—303
— способ 226, 302, 372, 375, 378, 393, 448 (см. Цель)
— характер (образ) 99, 339, 340, 343, 349, 356, 528
— государственная 302, 303
— историческое 40

— нервная 208
— нормальная и фиктивная 203
— органическая 76, 77, 226
— практическая 13
— промышленная и торговая 36, 37
— творческая д. человека 192
— трудовая 187
— человеческая (д. человека) 127, 140, 226, 239, 371, 384, 603
— экономическая 46, 126 (см. также Экономические дела)
— естественного закона 85
— известных элементов 70—74
— трудящихся 54
— и причина 50, 339
(см. Жизненные дела, Общественные дела, Сила, Умственная деятельность)
Диалектика (диалектический) 52, 425, 442, 489, 495
Добро и зло (польза и вред, хорошее и дурное) 189, 193—198, 218—221, 225, 226, 229, 387—389, 423, 424, 503, 506—508, 538—542, 601, 602, 608—612
— д. как польза 221—224
(см. Благо)
Дух (духовный мир) 165, 239, 240
— времени 510
— дела 300
— народов 244
— событий 244
— в религии (мистике) 281, 332, 333, 336
Душа (душевные явления, душевное настроение) 325, 480, 601
— бессмертие 165
— растений 332, 336

Единство (общность, одинаковость, сходство, тожество)
— бытия 325
— жизненного процесса 198—200
— законов природы 177, 256, 257
— материи 325, 476—478
— народной жизни 231—234
— природы человека 166, 168, 554 (см. Человека единство и дуализм)
— сил 472, 473
— и различие (разнообразность, разнообразие) 169, 170, 174—177, 198—200, 322, 324
(см. также Общее, частное, особенное, отдельное)
Ереси (еретики) 231, 232
Естественность (естественное) 308
— и искусственность 6, 7, 52
в экономических явлениях 9, 10, 47—51
— и сверхъестественное 237—239, 241
(см. Война, Закон)
Естествознание (естественные науки, теория естествоиспытателей) 76, 80, 81, 166, 168, 177, 194, 198, 200, 201, 207, 223, 228, 369, 372, 378—381, 391—394, 399, 400, 410, 411, 419, 425—427, 434, 440, 443—455, 458—467, 470—478, 481, 482, 485, 486, 489, 496, 510—516, 519, 521, 537, 555, 612
— предмет 375, 393
— как отдел специальных наук 393, 409, 416, 461
— важнейшие специальные вопросы 378
— и мистика 332—337
— и нравственные науки 183—188, 195, 197, 215, 224, 229, 378

Жизненный (житейский)
— дела 181, 391, 422, 507, 508
сомнение и проверка в ж. и научных делах 498—500, 512
— интерес (желание) 373
— опыт 214, 558
— отношения 209
— процесс 198—204, 228, 628
— силы (внутренние, свежие силы, упадок сил) 252, 262—266, 273—275, 304—307, 629
— факты 214, 343
— элементы 250, 265, 266
Жизнь 17, 27, 182, 257, 258, 265, 266, 273, 324, 370, 385, 437, 447, 582, 583, 592, 598, 601, 612—620
— обстоятельства (условия) 587, 589—591, 597, 598, 617
— события (факты) 564, 565, 568, 571, 596
— личная (индивидуальная) 129, 133, 371, 452
— наша (российская) 280, 282, 300, 301, 343
— новая 182, 305, 307

— органическая 511, 539, 541, 542
животная (царство животных) 178, 205
растительная (царство растений) 178, 205, 256 (см. Закон)
— реальная и мысленная (умственная) 488—490
— семейная (частная) 126, 306, 589
— человеческая (человека, человечества) 81, 139, 156, 166, 174, 202, 215, 218, 226, 414, 502, 592, 614—616, 622—624
сущность процесса 627 (см. Наука)
— народа (народная) 156, 234, 250, 272, 562, 580, 594, 597, 601, 609 (см. также Единство)
— цивилизованных стран (западноевропейского мира) 268, 270, 275, 276
(см. Исторический, Материальный, Общественный, Политический, Теория, Умственный, Экономический)
Закон (законы) 48, 177, 182, 210, 215, 218, 463, 551, 561, 603, 612, 613
— естественный (внутренний) 47, 85, 309, 310
— общий з. вещей 169, 179, 228
— реальный 380
— вселенной 444
— естественных наук 170, 172, 174, 176, 188, 190, 205, 379—381, 399
— истории 145
— мышления (ума) 314, 334, 423, 519
— общественной жизни (гражданские, уголовные и др.) 260, 261, 344, 351, 478, 479, 602
— органической жизни 379—381, 511, 542, 543
— причинности 189
— психологии (чувств, воли) 226, 314, 327, 328, 334
— экономической жизни (о земле, хлебные и др.) 19, 22, 123, 157, 159, 226, 274, 603
(см. также Закон природы, см. Формула)
Закон природы 379, 406, 413, 425, 426, 506
— есть одинаковость действия одной и той же силы [материи] 477
— как общее научное понятие 209, 372, 378, 393, 448, 476—478
(см. также Система общих научных понятий)
Западничество 270, 304
Заработная плата (рабочая плата, вознаграждение за труд) 22, 24, 36, 42, 46, 67, 68, 105, 111, 118
Земледелие (сельское хозяйство) 7, 65, 66, 79, 119, 126, 160, 196, 197, 244, 245, 275, 309, 310, 503, 506, 619—623
Земля 111, 196, 309
(см. Общинное владение землей)
Знание 239, 240, 243, 393, 398, 420, 448, 470, 476, 565, 569, 579, 582, 598, 617
— достоверность 179, 406, 409, 414, 500—502, 566
— область (отрасль) 183, 185, 186, 223, 382, 501
— обширность 320, 321, 534, 599
— относительность 485, 486
— проверка 498, 501
— развитие (прогресс) 244, 245, 251, 252
— разряды 392, 534
— характер 496, 497
— естественные 197
— научные (точные) 188, 198, 203, 431, 500, 503
— новые и прежние 497
— фактические (прямые, кретные) 395, 497
и мысленные (косвенные, абстрактные) 488, 489, 500, 567, 568
— и иллюзия (мираж) 487
— и мнение 395, 396, 454, 455, 459
— и незнание 317—321, 326—328, 370, 373—375, 396, 417, 432, 439, 448, 449, 452—460, 466—467, 485, 486, 496
— и представление 486, 488, 496
— о самом себе 488
(см. Исторический)

Идеал (идеализация, идеальность) 112, 114, 116, 139, 142, 143, 155, 158, 213, 247, 272, 303, 561

Иллюзионизм 486—496
Иллюзия 50, 220, 397, 427, 434, 487, 491, 494
(см. Знание)
Империя 84, 85, 98, 149, 164, 344
— Карла Великого 260, 261, 573
— Римская 144, 221, 230, 243, 244, 249—252, 260—269, 273—277, 578, 579
(см. также Античность, Абсолютизм)
Инквизиция 156, 246, 248
Инстинкт 210, 343, 524
Интерес (желание) 17, 18, 50, 53, 69, 106, 125, 127—130, 137, 138, 144, 145, 156, 219—222, 340, 341, 347, 351, 383—385, 455, 460, 461, 511, 545, 546, 601
— личный и. есть двигатель человеческой жизни 81
— общечеловеческий и. выше выгод отдельных наций и сословий 219
(см. также Расчет, см. Жизненный, Научный)
Истина (достоверность) 13, 15, 16, 80, 81, 87, 92, 156, 157, 164, 176, 182, 184, 190, 192, 194, 222, 229, 230, 233, 239—241, 302, 311, 323, 333—335, 370, 371, 373, 379, 393—399, 402, 403, 406—409, 414—416, 419—423, 440—455, 458—473, 478, 481, 485, 487—502, 511, 537, 564, 566, 613, 618—621
(см. Знание, Научный)
Исторический
— борьба 146
— деятельность (действование) 40, 275, 305, 306, 568
— жизнь 245, 273—276
— знания 501, 502
— значение 556, 599
— обстоятельства 458, 504, 505, 508, 540, 562
— польза 308
— прогресс (развитие) 157, 250, 251, 257
сущность 32
элементы (причины) 244—247, 599, 600
— факты (события, явления) 71, 72, 92, 96, 140, 199, 243—247, 250, 254—257, 275, 297, 298 564, 566, 568, 603, 617
— школа (система) 267
История (историки) 73, 143, 144, 185, 282, 307, 378, 379, 553, 564, 568, 571, 572, 575—577, 579, 580, 594, 599, 613
— законы 145
— периоды 597
— предисловие к и. человечества 395, 396, 398, 474
астрономическая и. (и. солнечной системы) 396—400, 413, 416, 448, 451, 467, 624, 626
геологическая и. (и. земного шара) 396, 397, 448, 624, 626
и. развития генеалогического ряда живых существ (генеалогия человека) 396, 397, 448, 525, 534, 539, 540, 618
— всеобщая (и. человечества) 199, 371, 390, 406, 413, 416, 447, 544, 556, 631
первобытная и. человечества 624
— европейская 244, 306, 562, 573, 593
— китайская 561—563
— русская 198, 199, 292, 296—298, 302—305, 308
— средневековая (средняя) 249, 257, 261, 269 (см. также Феодализм)
— древнего востока 27
— классического мира (греческая и римская) 26, 27, 32, 266, 297, 385, 501, 566, 567 (см. также Античность)
— народа 222, 257, 562, 597
— нового мира 230, 250
— существования предмета 630 (см. также Процесс)
— Франции 41, 78—80, 297
— цивилизованного мира 501
— и другие науки 78, 79, 183, 371, 391
(см. Наука, Общество, Политический, Экономический)

Капитал 3, 24, 37, 39, 40, 53, 64, 111, 118, 122
Католичество (католический) 99, 230—232, 281, 375
— монашеские ордена в к. (иезуиты и др.) 374, 383, 385, 387, 411
— янсенизм как направление в к. 374
Качество 193, 206, 349

— есть вещество, существующее неизменно, рассматриваемое с одной точки зрения 448
— как общее научное понятие 168, 209, 372, 378, 392, 476 (см. также Система общих научных понятий)
— разряды 589
— степень интенсивности 170, 171
— врожденные (наследственные) 582, 587, 591, 613
— национальные (народа) 229, 565—568, 574, 577, 580, 590—592, 595—597
— физические 377, 568, 569, 584, 587
— людей (сословия) 154, 187, 343, 383, 558, 562, 565, 567, 569—571, 581, 588, 599, 612
— предмета 107, 108, 155, 168, 190
— феноменов 228
— переход количества в к. 169—173, 225, 226, 244, 317, 318, 325, 326 (см. Нравственный, Умственный, Человек)
Коммунизм (коммунистический, коммунисты) 14, 25, 41—43, 87—90, 95—98, 142 (см. Социализм)
Конкуренция (соперничество) 36, 101—109
— отсутствие к. между трудящимися 54—57 (см. Общественное устройство)
Консерватизм (консервативный, консерваторы) 83, 85, 102, 147, 153, 155, 161, 164, 504, 595
Корпорация 383, 385
Крепостное право (крепостные отношения, поместная система и др.) 6, 7, 25, 58, 125, 220, 262, 311, 340, 343, 344, 347, 349, 363, 366 (см. также Эманципация)
Кризисы 36, 60, 61, 104

Либерализм (либеральный, либералы) 41, 62, 83—86, 147, 247, 248, 347, 349, 357, 504
Личность (личный) 244, 266, 333, 375, 395, 396, 414, 452—455
— освобождение 23
— теория 183
— человека (человек как отдельная л.) 131, 198, 249, 250, 326
Логика (логический) 40, 42, 58, 95, 104, 110, 149, 169, 176—182, 184, 241, 301, 303, 346, 393, 412, 423, 424, 486, 495, 496, 498
— индуктивная (научное наведение) 179, 619 (см. Вывод)
Любовь 341, 383, 408, 449, 455, 614—617
— семейная 414, 418, 419, 423—425 как предмет неизмеримо великого научного значения 423
— у сен-симонистов 140 (см. Чувство)
Любознательность 244, 245, 582, 583, 613, 616 (см. также Знание, Любовь)

Мальтусова теорема (закон, теория народонаселения) 82—86, 371, 379, 505—507, 537—543 (см. Экономическая теория)
Математика (математики, математический) 70, 73—75, 91, 111, 133, 155, 183—187, 200, 209, 226, 228, 251, 329, 332, 369, 395, 398, 399, 407—410, 415—420, 424—432, 435—447, 457, 462—464, 467, 468, 472, 491—496
Материальный
— явления (факты) м. порядка 168, 189
— быт (жизнь) 245, 557, 627
— выгода 561
— основания 223
— положение (благосостояние, нищета) 230, 231, 553, 557, 592, 595, 599, 603
— прогресс 619
— силы 224
— средства 195, 225, 231
— существо 213, 240, 475
— труд 603
Материя (вещество, субстанция)
— есть то, что существует 372—375, 378, 391, 448
— м. называется одинаковое в материальных предметах 476
— комбинации 475
— отношение духа к м. 165
— приложение труда к м. 37 (см. Единство, Закон природы, Качество, Сила)

Метафизика (метафизический) 147, 165, 183, 185, 192, 198, 201, 215, 313, 325, 326, 370, 626
Метод 324, 325
— гипотетический м. исследования (м. отрицательных заключений) 70—74, 180, 181 (см. Вывод)
— научный 215
— анализа нравственных понятий в духе естественных наук 224
— Гегеля 164
— объяснения 564
Мировоззрение (образ мыслей) 31, 148, 151, 159, 161—166, 180, 241, 247, 278, 296, 312, 327, 369, 372, 377, 378, 384, 397, 398, 401, 425, 427, 448, 504, 505, 512, 544, 625, 626
(см. Научный)
Мистика (спиритизм, каббалистика) 318, 335, 336, 374
(см. Дух)
Мотивы (побуждения) 215, 218, 326, 548, 613
(см. Политический)
Мусульманство 219
Мышление 72, 151, 193, 203, 226, 561
— сущность 209
— силы 493—495
— функции 560
— абстрактное (отвлеченное) 202, 209
— реальное 467
— систематическое 179
(см. Закон, Научный)

Народ (население, нация) 20, 33, 41, 44, 46, 49, 50, 71, 78, 96—98, 106, 108, 117, 125, 145, 186, 205, 220, 229—233, 250, 252, 272, 275—277, 379, 505—507, 556, 557, 564—582, 588—602, 610—613
— натура 244, 546 (см. Характер)
— силы 274 (см. также Жизненные силы)
— малоразвитые (племена) 257—267, 270, 271, 553, 556—559, 563, 605 (см. также Варварство)
— передовые (цивилизованные) 26, 257, 259, 264, 280, 309, 562, 563, 605, 609, 627
— русский 296, 301—311, 339—344
(см. Благо, Благосостояние, Быт, Единство, Жизнь, Качество, Независимость, Сословия)
Насилие (принуждение, угнетение) 33, 77, 245, 247, 267, 602—612
Наследственность 574, 589, 591
Натуралист (естествоиспытатель) 323, 324, 372—375, 378—381, 393—395, 410, 415, 430, 443, 445, 446, 448, 459, 471—478, 485—488, 510—515, 535, 536, 555
Наука (науки) 13, 29, 44, 50, 80, 112, 129, 180, 197, 200—203, 218, 226—228, 328, 370, 375—378, 481, 499, 500, 511, 518, 519, 523, 554, 630
— принципы 16, 17, 181, 182
— история 26, 40, 496, 497, 501, 533, 536
— отрасли (отделы) 18, 27, 177, 321, 371, 397, 398, 409, 462, 482, 503, 603, 626
— происхождение 231
— развитие (прогресс) 24—30, 154, 164, 177, 198, 209, 229, 232—235, 327, 328, 392, 393, 432, 513, 631
— состояние (положение) 179, 181
— требования 390
— формы 231
— характер 15
— отдельная (частная, специальная) 15, 18, 27, 140, 141, 164, 198, 199, 322, 430, 498, 536
— точные 183, 186—188, 198
— и религия 239, 240
— и факты 6, 26, 111, 169, 192, 193, 326, 518, 527, 530, 534, 535
— переворот в н. 525, 625
— строго научное направление в н. 369
— о человеческой жизни (нравственные и общественные) 16, 17, 371, 378, 414, 415, 422, 555, 603
— о человеке 199, 546
— об органических существах 512, 515, 516, 536
(см. также Естествознание, Натуралист)

Научный
— анализ 169, 170, 193, 197, 200, 203, 206, 209, 408, 414, 423, 452
— деятельность (дела) 417, 418, 422, 452, 456, 498, 500, 512
— достоинство (значение) 18, 178, 179, 416, 418, 423, 456, 509, 549, 552
— интерес 511
— истина (достоверность) 156, 157, 178, 179, 184, 394, 395, 407, 408, 414—416, 419, 422, 423, 430, 443—448, 454, 455, 459—462, 467, 469, 485, 487, 544, 621
— мышление 112, 423
— точка зрения (мировоззрение) 414, 425, 427, 448, 459, 496
— язык 52, 481, 625
(см. Система общих научных понятий, Человек)
Независимость (самостоятельность) 361
— личная 244, 266
— национальная 259—262, 573, 576
Необходимость (неизбежность) 91, 92, 101, 117, 118, 120, 229, 301
— и случайность 103, 104
Нервная система (нервы, нервный процесс) 204, 207—210, 317, 318, 380, 613, 617
Нищета (нужда, бедствие) 85, 86, 104, 136, 143, 505—508, 538—542, 562, 594, 595
Норма (критериум) 17, 107, 134, 135, 222
— анализа 534
— оценки 103
— расчета 105, 106, 109
— совершенства 114, 379—381
Нравственный
— человек как н. существо (личность) 198, 213, 326
— жизнь 558, 563, 593, 602, 612
— качества 153, 555, 558, 565—571, 577, 580, 581, 584—590, 595—600, 612
— отношение 23, 78, 213
— потребности 195
— развитие 23, 560, 600, 615
— реформы 141
— силы 224, 375, 554, 604
— тип 570
— факт (явления н. порядка) 168, 189
(см. Благо, Быт, Естествознание, Общественный, Потребности, Философия, Чувство)
Нравы 62, 98, 143, 159, 180, 196, 245, 267, 301

Общее (всеобщее), частное, особенное, отдельное 12—17, 126, 168—170, 208, 219, 220, 228, 344, 350, 351, 390, 422—424
— каждая отдельная наука рассматривает частные видоизменения общих законов природы в особенных условиях 322
Общественное устройство (порядок, экономический расчет) 48, 78, 116, 142, 143, 213, 244, 275, 546
— основание 602
— принципы 83, 84
— формы 111, 152, 253—256
высшая ф. экономического расчета (ф. товарищества) 57, 108, 109 (см. также Теория трудящихся)
невольничества 102 (см. также Рабство)
патриархального расчета 101, 102
соперничества 101—109 (см. также Конкуренция)
экономического расчета 101, 102, 105, 108
(см. также Общественный)
Общественный
— вмешательство (влияние) 130—134, 138
— выгода 135
— дела 34, 136, 137, 155, 157, 181, 347, 350
— жизнь (быт) 7, 17, 70, 77, 86, 111, 126, 129, 156, 159, 182, 251—255, 266, 272, 301, 302, 559, 602, 614 (см. Закон)
— контроль 128, 457
— мнение 83—85, 100, 153, 158, 164, 213, 219, 247, 262, 320, 344, 359, 457, 549, 554, 555, 576
— нравственность 90, 94
— отношения 20, 79, 80, 143, 151, 160, 213—214, 346
— перемены 595
— положение (состояние) 141, 547
— связи 578
— силы 253, 344
— слои 341, 344, 352

— учреждения 15, 17, 48, 68, 75, 86, 173, 266, 297
— элементы 347, 349
(см. Благо, Благосостояние, Наука)
Общество 20, 23, 33, 34, 38, 39, 47, 48, 51, 55, 82—86, 104—106, 125, 126, 147, 159, 196, 198, 213, 214, 218—220, 225, 252—256, 280—282, 297, 301—305, 345, 353, 362, 384, 550, 551, 583, 588, 615
— история 52, 84
— образованное 435, 449, 457, 546, 611
(см. Власть, Потребность, Свобода, Собственность)
Общинное владение землей (общественная земля, поземельная собственность и т. п.) 11, 12, 21, 23, 29, 32, 63, 125, 126, 270—272
Ощущение 158, 200, 204, 209—212, 317, 318, 469, 470, 541
— как явление, которое чувствуется 211
— приятные и неприятные 74—82, 158, 201, 202

Партия (партии)
— политические 41, 83, 88, 97, 147—149, 153, 158, 159, 180, 243, 304, 504, 505, 508, 545, 575
— плантаторская 153, 549
— «просвещенных людей» 347
(см. также Общество образованное)
Патриотизм (патриоты) 147, 153, 593
Педагогия (педагогический) 603, 605, 606
Политическая экономия 6, 14, 27, 29, 31, 34, 36, 42, 74, 78, 82, 87—89, 101, 102, 111, 127, 321, 579
— определение 11, 226
— основной принцип (идея) 11, 16—18, 23, 602, 603
— предмет 17, 18, 21, 28, 44, 70
— сущность 16
— цель 17
— великие люди 24—26, 128, 129
— норма правил 17
— основные понятия 18, 40, 122
— система и части 3, 18
— и естественные науки 380, 509, 536
— и общая теория науки 12, 15, 44, 141
— счет и мера в п. э. 18, 70
Политический (политика) 349, 540, 549
— борьба (вражда) 594, 595
— дела 141, 573
влияние сословий на п. дела 34
— деятели 141, 218
— жизнь 39, 153
— история 37
— качества людей 154
— мотивы 504
— опыт 153
— отношения 37, 41
— реформы 536
— система 53, 158, 505, 508
— тенденции 83
— теории и текущая п. (текущие события) 146—149, 153
— убеждения (ум) 148, 153, 247, 346
— устройство 262, 579
— учреждения 507
— формы 32, 126, 127, 152
смена 98, 99
— и экономика 32, 33
(см. Партия, Право, Политическая экономия, Привычки)
Понимание (узнавание) 192
— вещей у Спинозы и Фейербаха 384
— и непонимание 313, 321, 328—330, 421, 429—431, 475
Понятие (понятия, термины) 46, 51,53, 61, 81, 222, 223, 231, 233, 240, 297, 398, 529, 625
— как одна из сил, управляющих жизнью людей 595
— анализ 21, 40, 201, 202
— смешение 624—631
— соподчинение 21
— абстрактные (отвлеченные, общие) 16, 18, 21, 47, 104, 158, 159, 168, 234, 383, 390, 391, 423, 424, 461, 475, 490, 626
— научные 164, 165, 183, 226, 227, 381 (см. также Система общих научных понятий)
— ненаучные (фальшивые, противоречащие сами себе) 251, 257, 491, 494
— основные (коренные) 26, 40, 183, 184 (см. Политическая экономия)
— правильные (истинные) 371, 448

— и обычаи (нравы, привычки) 7, 98, 105, 117, 143, 225, 302, 305, 569, 600
— аналогия между понятиями (теориями) разных отделов науки 378—381, 391
(см. Пространство)
Потребление (потребитель) 18, 33, 35, 53, 59, 60, 67, 70, 109
— основа 21
(см. Предмет)
Потребности (надобность) 35, 39, 47, 61, 96, 125, 159, 207, 209, 224, 272, 280
— необходимые (первые, реальные) и прихотливые (фальшивые) 44—46, 114—116
— общества 44, 49, 345
— организма 203
— отдельного человека и общественные (собирательные, коллективные) 127, 128, 134
— простолюдинов (массы) 165, 181, 182, 232—234
— человека 44, 58, 59, 92, 107, 114, 140, 164, 195—197, 218, 582
(см. Нравственный)
Поэзия (поэтический) 150, 153, 223, 231—234, 244, 440
Правительство (администрация) 63, 66, 82, 88, 95, 247, 262, 300, 355—357, 362—364, 504, 609
— вмешательство (участие) п. в общественные и частные дела 47, 97—101, 610—612
— вмешательство (участие) п. в экономическую жизнь 119—127
(см. Власть, Право)
Право (права) 130—134, 262, 611
— государственные (правительства) 33, 120, 607
— политические 32, 155
— собственности (владельца) 18, 33
— в Древнем Риме и Афинах 21, 22, 32, 262
(см. Крепостное право, Собственность, Эманципация)
Практический (практика) 7, 20, 105, 122, 141, 173, 613
(см. Теория)
Предмет
— как вещь, тело 107, 167—171, 175, 176, 196, 202, 384, 393, 469—471, 475—479, 481, 485
— внешний 131—133, 202, 208, 212, 224, 225
— несуществующий 334, 335, 484
— науки (исследования, спора) 26, 28, 30, 140, 146, 164—166, 183, 184, 188, 198, 199, 336—338, 348, 378, 453
изменение 26, 27, 30
— потребления 18, 21, 38, 44, 45, 106, 107, 158
(см. также Продукт, см. Ценность, Качество)
Предрассудки 198, 321, 341
Представление 208—211, 226, 433, 484—490, 496, 560
Прибыль (доходы) 64, 68, 106, 111, 118, 136, 246, 268
Привычки (обычаи) 57, 84, 86, 100, 101, 117, 125, 143, 210, 225, 242, 245, 260, 272, 302, 305, 341, 456, 569, 581—583, 588, 593, 609
— и политические формы 98, 99
(см. Понятие)
Принцип
— абсолютный 13
— общий 17, 124, 243, 344, 357
— основной (коренной) 84, 119
— специальный 17
— и выводы 182
— и правило 17, 134
Природа 16, 17, 111, 166, 177, 205, 478, 482, 546, 621
— внешняя 195—197, 223, 240
— неорганическая и органическая 171—176, 178, 181, 206
(см. Единство, Закон природы, Человек)
Причина (причинность, причинный) 207, 266, 529, 538
— все на свете происходит по п. связи 50
— закон 189
— зла (бедствий) 538, 539, 542
— и дело (элемент и результат) 167—169, 177, 218, 244—247, 339, 345, 538, 539
— и явление (факт) 84, 189, 190, 215, 257
(см. Античность, Деятельность, Прогресс)
Приятность (наслаждение, удовольствие) 56, 77, 201, 215—226, 229, 414
(см. Ощущение, Труд)
Прогресс 82, 83, 101, 105, 114, 118, 123, 128, 136, 151, 159, 206, 207, 232, 249—251, 257, 304

— есть результат знания 252
— основные силы 252, 601, 613, 614, 617
— понятие (термин) 628, 630, 631
— причины (элементы) 244—247, 599, 600
— условия 602, 623
— способность к п. 256, 260, 266—269, 274
(см. также Развитие, см. Исторический, Сила)
Прогрессист 148, 149, 155, 156
Продукт (предмет) 21, 39, 62, 106—112, 118, 127, 128, 134—137, 171
— цена 55, 103, 105
— экономический 126
— первой необходимости и роскоши 46, 59, 60, 62
— труда 20, 22, 44, 53, 55, 59, 77, 116, 133, 516
(см. также Предмет потребления, см. Производство, Распределение, Ценность)
Производительные силы (искусства) 112, 127, 244
Производство 33—40, 53—61, 68, 79, 80, 102, 104
— общий принцип 21, 59
— издержки 11, 43, 67
— направление 59, 60
— развитие (усовершенствование) 34, 56
— способы 123
— условия 11, 18, 21
— успешность 58, 59
мерило 18, 53, 54, 60, 61
— фазисы 380
— формы 34, 57—59, 108
— цель 53
— элементы 36, 37, 111—118
— энергия 18, 23
— товарищества трудящихся и отдельного капиталиста 57—61
— и капитал 24
— и распределение ценностей (продуктов) 16, 19, 45, 46, 135
— отношение к п. 23, 37
(см. также Производительные силы)
Промышленность (промышленный) 104, 244, 265, 549
Просвещение (образованность, грамотность) 17, 117, 128, 145, 244, 252, 262, 274—276, 281, 311, 312, 341, 347, 595
— как субъективное развитие истины в индивидуумах 16
(см. Общество, Партия, Сила, Сословия, Человек)
Пространство
— как протяжение 377
— разных измерений 377, 412, 433—447, 467
— понятие о п. 439, 441, 490, 492
Процесс
— понятие (термин) 624—631
— результат и условия 324, 483
(см. также Развитие, см. Жизнь, Жизненный, Существование)
Психика (психический) 314, 315, 325
Психология (психологический) 140, 183, 188—198, 211, 216, 313, 314, 325—328

Рабство (невольничество, невольники, рабы) 9, 11, 46, 58, 59, 117, 126, 153, 201, 216, 220, 262, 544—551, 559, 627
— основные черты 22
— форма н. 102
— разница между н. и наемным работником 22, 23, 102
(см. также Эманципация, см. Труд)
Радикальный (радикализм, радикалы) 84—87, 159, 504
Развитие 207, 230—235, 244, 245, 251, 252, 298, 304
— понятие (термин) 627, 628, 630
только улучшающие перемены подходят под понятие р. 629
— как перемены к лучшему 90, 140, 143, 144, 155—160, 165, 180, 181, 307, 627, 631
— степени 205, 559, 615, 618, 619
— способность к р. 266, 268
Разум (разумный, рассудок, рассудительность) 311, 334, 335, 375, 385, 388, 389, 423, 427, 447, 458, 482, 496, 501, 502, 607, 623
— все благородное разумно 407, 408
— сомнение 498—500
— и нерассудительность 506—508, 570
(см. также Ум)
Раса (расы) 544—564, 592
Распределение
— доходов 96
— трехчленное р. продукта (де-

ление на доли) 110—112, 118, 509
— собственности 85
— ценностей 16—21, 23, 24, 37—39, 46, 47, 77
закон (принцип) наивыгоднейшего р. ц. 19, 21, 24, 53
мерило 20, 24
(см. Производство)
Расчет
— норма 105, 106, 109, 135
— основание 109
— формы (см. Общественное устройство)
— личный 215, 216, 218, 346
и сословный 347
— экономический 101, 130, 220
— выгоды (пользы) 81, 130, 135, 214, 218, 261
— сословия и нации 220
(см. также Выгода, Интерес)
Реакция (реакционный, реакционеры) 82—86, 88, 91, 147—149, 183, 247, 308
Реальность (реальный) 174, 373, 380, 443—445, 467, 486, 488
(см. также Существование, см. Закон)
Революция (революционный, революционеры) 27, 82—87, 147, 504
Религия (религиозный) 230—232, 236—242, 281, 282, 333, 384
— влияние р. на экономическую деятельность 126, 127
(см. Наука, Философия)
Рента 24, 25, 39, 111, 118, 509
Республика (республиканец) 32, 39, 88, 99, 147, 148, 153, 263
Реформа (реформаторы) 33, 61, 97, 116, 141, 142, 155—158, 182, 271, 274, 298, 301—303, 345, 351, 504—509
Свобода 17, 148, 159
— как общий предмет всех нравственных и общественных наук 16
— индивидуальная (личная) 62, 63, 138, 217, 266
— наибольшая возможная 14, 16
— воли 165
— слова 358
— совести 51
— соперничества 122, 123 (см. также Конкуренция)
— труда 57, 62
— человека 14, 97
— в обществе 15, 58, 59, 267
Сила (силы) 209
— есть качество веществ, рассматриваемое со стороны своего действования 393
— как энергия 477
— понятие 372, 378, 448, 476, 477
— действие 131, 526, 529, 537, 542, 543, 619
— характер 543
— внутренние 131, 263 (см. также Жизненные силы)
— познавательные 496 (см. также Умственные силы)
— всеобщего взаимного притяжения 377, 393, 403—406, 414 (см. также Формула Ньютонова)
— зла 387
— прогресса 252, 254, 613, 614
— просвещения 145
— и результат 530, 531, 542 (см. также Причина)
(см. Народ, Нравственный, Общественный, Человек, Экономический)
Система общих научных понятий 226, 372, 378, 390, 391, 396, 397, 461
— характеристика одной (относящейся к содержанию естествознания) стороны 392, 393
Славянофильство 269—272, 304, 311
Смысл
— здравый 333—336, 403
правило 408
— фактический 392
— и бессмыслица (галиматья) 434—447, 465—469, 472
— и слово (словосочетание, имя) 302, 322, 323, 372, 373, 431, 434, 436
и дело 421, 422, 432, 441
Собственность 17, 33, 89, 96, 125, 126, 132, 350
— право 18, 20
— движимая 39
— недвижимая (поземельная) 21 22, 29, 36—39
— частная 22, 83, 85
— общества 128
Совершенство 111, 112
— степень 113—116
Сознание (сознательное) 51, 143, 189
— и бессознательное 210—212

— и самосознание (самонаблюдение) 211, 315, 325
Сословия (классы) 51, 159, 180, 181, 340, 578, 588, 597, 609
— интересы 38, 106, 219—222, 340, 341, 347
— отношения (борьба, различия) 6, 32—42, 53—59, 104, 106—109 118, 121, 126, 144, 161, 164, 165, 202, 342—353, 557, 592—595
— высшее (аристократия, землевладельцы, плантаторы, лендлорды, дворянство и др.) 9, 35—39, 41, 49, 57, 79, 99, 144, 153, 220, 342, 344, 346, 347, 349—353, 366, 545, 548, 549
— низшее (трудящиеся, наемные работники, простолюдины, крестьяне и др.) 7, 18, 22, 23, 34—42, 53—68, 72, 76, 79, 90, 105—109, 121, 124, 160, 234, 342, 344, 347, 349—353, 366
— образованные 106, 232, 233, 422, 595, 605, 611
— среднее (буржуазия, капиталисты, хозяева промышленных заведений, банкиры, купцы, фермеры и др.) 23, 33—42, 55—58, 63—68, 103, 122, 144, 157, 234, 347, 351
— в Афинах и Риме 33
(см. Труд, Характер)
Социализм
— сущность и цель 139, 140
— отделы (фурьеризм, сен-симонизм и др.) 139—141, 369, 370
— нынешний и будущий 139—144
— и коммунизм 142, 143
Специалист (знаток своего дела, специализм, профессионализм) 193, 197, 232, 235, 313, 321—323, 332, 357, 378, 382, 400, 408, 409, 412, 414—416, 419, 427—430, 453, 460, 474, 487, 512, 546, 552, 555, 592—595, 624
Статистика (статистический) 70—73, 79, 550
Стоимость 103—105, 108, 109
Субъективный 50, 203, 487
Суеверие (волшебство) 51, 332—338, 571
Существо 209, 213, 489, 490, 543
— органическое (живое) 206, 475, 481, 482, 506, 525, 529, 531, 537, 539—542, 547, 553, 563, 583, 584, 601, 608, 611—613, 617
— неразумное 506, 538
— разумное с. двух измерений 407—409, 433—437, 467
— человекоподобное (одушевленное) 479—482
— человеческое 131, 198, 226, 240, 385, 486, 488, 561
(см. Материальный, Наука)
Существование (существующее) 167, 171, 202, 334, 335, 372—378, 391, 469, 471, 472, 483—490
— есть процесс 625—627, 630
— фазисы 629
(см. Материя, Факт существования)
Сущность 344
— дела (вещи, процесса) 46, 251, 390, 432, 450, 466, 505
и явление (случайная принадлежность, форма) 105—109, 121, 122, 210, 302, 349
— мыслей 420
Схоластика (схоластический) 232, 235, 240, 372, 485, 488—492, 495, 496

Тело (вещество) 169
— небесное 377, 401, 451
— неорганическое 175
— органическое 171, 172
— простое и сложное 170, 171, 376, 392, 401, 475
Темперамент 588—590, 596
Теология (богословие, вероучение) 164, 232, 239—242, 370
Теория (теоретический, теоретик) 6, 7, 11, 13, 15, 41—43, 47, 48, 83—89, 95, 102, 106, 140, 155, 162, 165, 175, 270, 318, 326, 390, 555, 574, 577, 589
— как догадка 454, 462
— развитие (преемственность) 53, 61, 62, 246
— справедливость 325, 328
— Дарвина (дарвинисты) 369, 371, 379, 385, 516, 521, 529, 532, 537, 541
благотворности борьбы за жизнь 503, 504, 533, 537, 539
(см. также Виды)
— катастроф Кювье 510—513, 536
— Ламарка 398, 511
— науки 12, 101, 233
— сообразности рабства с природой 546—548
— и практика (опыт) 12, 21, 32, 94, 103, 104, 111, 112, 194—197,

199, 201, 214, 219, 332, 360, 385, 586, 613
— и факты 132, 157, 158, 323—328, 503, 520, 548
(см. также Мальтусова теорема, Философия, Экономическая теория)
Теория трудящихся (форма товарищества, взаимный союз, теория, удовлетворяющая истинным условиям общественного благосостояния, новая теория) 40, 47, 53—55, 57, 64—69
— планы осуществления 62, 63, 97
Торговля 36, 60, 71, 74, 94, 107, 136, 157
— свободная 35, 47, 48, 144, 230
Трансформизм 379, 543
Трансцендентальный 229, 240, 445
(см. Философия)
Труд 37, 39, 56, 68, 106, 109, 111, 132, 133, 161, 603
— как единственный владелец производимых ценностей 40
— сущность 80
— приятность и неприятность 74—82, 201
— разделение 11, 24, 35, 40, 121, 141, 579
— свобода 57, 62
— успешность 59—61, 129
— энергия 18, 59, 69, 80, 136, 245
— производительный и непроизводительный 44—46, 53, 54, 59, 62
— физический и умственный 80, 160, 203
— невольника 22, 23, 46, 102, 549
— свободного наемного работника 22, 23, 102
— и собственность 20—23 (см. Деятельность, Продукт, Свобода, Умственный)
Трудолюбие 245, 246, 585
(см. также Человека стремления)

Ум 92, 106, 226, 239, 252, 334, 358, 360, 361, 493, 545, 558, 618
— сила 486, 591, 601
— логический 180
— животных 206—208, 380
(см. также Разум, см. Человек)
Умственный
— деятельность (труд) 161, 162, 176, 251, 572, 582
— жизнь 106, 231, 232, 234, 321, 510, 557—559, 563, 593, 602, 612, 627
— качества 148, 154, 555, 558, 565—569, 580, 581, 584, 586—592, 595—599
— организация 563
— отношение 553, 601—605
— развитие 23, 94, 134, 137, 164, 176, 185, 191, 207, 220, 230—234, 251, 271, 276
— силы 153, 251, 375, 563, 564, 604, 617, 619
— способности 563, 564, 587, 591, 619
— тип 570
Утопия (утопический) 63, 89, 116—117, 139—141, 144, 145, 304

Факт существования 372, 375, 377, 392, 454, 476, 481, 483
(см. также Аксиома, см. Вывод)
Фанатизм 144, 145, 218, 247, 248
Фантазия (фантастический) 116, 177, 179, 180, 183, 187—189. 208, 227, 311, 333—336, 376, 431, 438—444, 462, 469, 485, 490, 520, 560, 561
(см. также Иллюзия)
Феодализм (феодальный, феодал, средние века) 33, 34, 37, 41, 51, 61, 83, 144, 147, 153, 157, 231, 244—246, 249, 268, 269, 274, 307, 311, 602
Физиология (физиологический) 131, 166, 186—189, 198—200, 204, 253, 321—326, 332, 409, 510, 538, 540—543, 555, 558, 615—618, 620
Физический тип (качество) 568, 569, 584, 585, 588—591, 596
(см. также Темперамент)
Философия (философский, философ) 18, 20, 21, 146, 150, 151, 165, 177, 180, 181, 316
— как наука, которая является сводом или экстрактом всех частных наук 140, 141
— принцип 166 (см. также Антропологический принцип)
— история 326—328, 468
— развитие 230—241
— части 166
— системы (школы, направления, теории, взгляды) 147—149, 164, 235, 328, 384—386, 413, 487, 627

отношение ф. направлений 313, 314, 317—319, 322—331
— восточная 236, 238
— греческая 136, 238, 241, 369, 400, 409, 462, 625—627
— идеалистическая 317, 326, 327, 410, 412, 443, 468, 469
— немецкая 165, 235, 236 и французская 163, 164
— нравственная 15—17, 23, 173, 183, 191, 194, 198
— трансцендентальная 232—236, 240
— Гегеля 52, 164, 235, 236, 240, 369, 384
— Канта 232, 235, 236, 327, 369, 370, 384, 407, 410—412, 425, 434—437, 441—447, 468—473
— Конта (огюст-контизм) 369—371, 384
— Спинозы 373, 384, 393
— Фейербаха 384, 386, 393, 447
— Фихте 384, 412
— французских энциклопедистов 41, 249, 384, 446, 462
— Шеллинга 235, 236, 240, 386
— Юма 370
— и естествознание 378, 379, 409—411, 425, 430—477, 462, 468—474, 482—496
— и политические партии 147—149
— и религия 230, 242, 384 (см. также Диалектика, Метафизика, Схоластика)
Формула 218, 228, 372, 380, 392, 432, 483, 602
— закона природы 375
— Лапласова ф. (выводы, закон) 397—403, 415, 416, 420, 421, 448—467, 626
— Ньютонова ф. («гипотеза», закон) 209, 393, 401—406, 413—418, 421, 425—429, 448, 449, 472

Характер
— народа (нации) 571—574, 581, 588, 593, 595—597
— привычек 599
— сословий 593, 594
— человека (людей) 333, 558, 568—571, 574, 582, 585, 586, 589
Химия (химический, химики) 163, 166, 170—172, 180, 183, 192, 251, 376, 394, 400, 449, 542
— и физиология 198, 199, 321—326, 332
Христианство 158, 232, 238—240 (см. также Католичество, Протестантство)

Целое (система) и часть (элемент) 94, 111, 112, 198—200, 219, 365, 593, 627
Цель (задача) 140, 151, 207, 222, 224, 339, 342
— и способ действия 12—17, 62, 93, 99, 245
— и результат 300
Ценность 19, 36, 38—44, 47, 55, 59
— есть понятие более обширное, чем понятие производства 21
— как предмет потребления или предмет, нужный для материального благосостояния человека 18
— сбыт 53, 54
— меновая ц. продукта 11, 43 (см. Производство, Распределение)
Централизация (централизованный) 97
— как государственное единство 308—311, 593
— власти 244—246 (см. Бюрократия)
Цивилизация (цивилизованный) 30, 90, 117, 137, 159, 160, 186, 196, 202, 208, 221, 242—246, 249, 250, 257—277, 299, 300, 303—306, 309, 311, 456, 501, 559, 562—564, 570, 572, 577, 595, 599, 600, 601, 603, 605, 607, 609, 610—613, 623, 627

Чванство (амбиция, тщеславие) 407, 408, 418, 420, 424, 427, 438, 458, 470
Человек (люди, индивидуум, лицо) 12, 41, 50, 51, 56, 77, 101—103, 106, 115, 192, 195—198, 215—218, 239, 240, 251, 266—268, 355, 423, 427, 489, 506, 532, 533, 605
— единство и дуализм 166, 226—228
— качества 554, 561, 564—570, 581, 585—591, 598, 612, 613
— природа (натура) 13, 53, 67, 92, 131, 134, 139, 140, 164, 166, 168, 193, 194, 222, 226, 252, 333, 383—385, 486, 545, 546, 567, 582, 597, 598, 602, 608, 613, 617 (см. Единство)

— сила 131, 253, 604
и слабость 385, 387—389, 423
— стремления (влечения, склонности) 222, 224, 582, 583, 598, 599, 613, 616, 617
— гениальный (гений, великие деятели, люди великого ума, корифей науки и т. п.) 24, 28—32, 42, 150, 151, 163, 176, 177, 370, 374, 379, 388, 407, 411, 421, 424—426, 430, 436, 441—443, 446, 474, 505, 509, 510, 518, 534, 560
— образованный (просвещенный, рассудительный, масса образованных людей и т. п.) 52, 100, 148, 183—186, 252, 320, 321, 325, 326, 346, 347, 349, 414—416, 422, 429, 449, 456, 487, 501, 502, 594, 595, 601, 603, 609, 625
— отдельный (индивидуальный, частный, конкретное л.) 17, 20, 98, 121, 122, 127—138, 148, 162, 194, 227, 252, 565, 566, 585—590, 602
и другие (все) люди (народ) 214, 219, 222, 225, 395, 565, 566, 581—583, 600, 627
власть общества над о. 130, 131, 134
— ученый (мыслитель, ученый, авторитет, ч. очень обширных сведений и т. п.) 30, 31, 110, 146 149, 154, 165, 166, 174, 187, 193, 243, 278—280, 297, 298, 308, 332, 336, 337, 381, 389, 396—398, 401, 414—418, 452, 460, 500, 518, 552, 554, 595, 609, 625, 629—631
и невежда (ученость и невежество) 129, 307—318, 320—322, 326—329, 370—372, 378, 387, 398, 400, 408, 411—413, 424—432, 438—445, 468, 470, 479, 482, 485, 600, 603
и школа (направление, теория) 30, 148, 313—315, 317, 326—329, 369, 384
— и животные (генеалогия ч.) 207—214, 326, 517, 531, 551, 583, 584, 601, 617—619 (см. также Виды)
(см. также Личность, Человечество, см. Благо, Благосостояние, Быт, Власть, Группа, Деятельность, Жизнь, Наука, Организм, Группа, Свобода, Ум, Чувство, Характер)
Человечество (род человеческий, все люди) 44, 106, 230, 249, 251, 266, 304, 387, 395, 409, 416, 423, 427—429, 544, 555, 556, 560, 614, 615, 624, 627, 631
— европейское (западное) 152, 244, 305
Чувство (чувства) 158, 195, 209, 211, 212, 226, 281, 434, 531, 532
— восприимчивость ч. (чувственное восприятие) 441, 442, 470, 486, 487
— внешние 239
— возвышенные (бескорыстные, нравственные) 213—217
— вооруженные и невооруженные 113, 170
— всеобъемлющее и узкое 423—425
— добрые (доброжелательство) 414, 423, 583, 616
— личные (человеческие) 22, 160, 161, 423
— честное и гадкое 423—425
— эстетическое 223, 583
— любви (личной привязанности) 414, 423, 614
— неудовлетворенности (изнурения) 81
— и разум 334, 427

Эволюция 624, 625, 630, 631 (см. также Развитие, Прогресс, Процесс)
Эгоизм [теория разумного эгоизма] 140, 214—216, 326
Эклектизм 151
Экономическая теория (наука, школа, система, экономисты) 32, 33, 41, 43, 112, 118, 119, 141
— господствующая (т. капиталистов) 11, 31, 35—40, 46, 47, 53—56, 59, 111, 117, 118, 123
принципы 127—138
— меркантильная (меркантилизм) 10, 14, 33, 39
— новые 97
люди (истинные представители) 32, 95 (см. также Теория трудящихся)
— протекционная (протекционизм) 6, 25, 47, 144
— Милля 42, 43, 87, 154
— Смита, Мальтуса, Рикардо 11,

12, 24, 26, 28—31, 34, 40—44, 62, 110, 111, 154, 509 (см. также Мальтусова теорема)
— так называемых (отсталых) экономистов 3, 11—15, 18, 21—35, 39—43, 47, 62, 69, 97, 154 (см. также Политическая экономия)
Экономический
— быт (жизнь) 28, 29, 33, 38, 54, 78—80, 92, 116, 119, 123, 125, 128, 129, 135, 136, 139, 140—143, 509
будущая история 142
общая норма 134
— дела 32, 33, 106, 121, 124
— область (сфера) 23, 79
— отношения 23, 41, 72, 76, 94, 105, 121, 136, 507
сословий 28, 32—40
— развитие (прогресс) 33, 123, 128, 136
— силы 579
— система 33, 140
— устройство (порядок) 14, 36, 47, 55, 60, 62, 75, 79, 87, 108, 111, 140, 144
— учреждения 28, 33, 34, 47, 50, 52
— явления 9, 10, 12, 15, 32, 34, 41, 47, 105
(см. также Деятельность, см. Продукт)
Эманципация (освобождение крестьян, невольников, устранение крепостного права и т. п.) 6—10, 51, 125, 343, 345—347, 350—353, 363, 364, 544, 545, 548
(см. также Крепостное право)
Эпоха 95, 102, 146, 147, 148, 218, 221, 243, 266, 268, 275, 296, 297, 299, 544, 624

Юриспруденция (юридический) 15—17, 23, 300, 305, 475

Явление 168
Язык 393, 582, 585, 592, 593, 625 (см. Наука)
Язычество 241, 242, 274

СОДЕРЖАНИЕ

Капитал и труд 3
«Основания политической экономии» [Д. С. Милля] (кн. I) . . . 70
Замечания к трем первым главам первой книги . . . . . —
I. Гипотетический метод исследования . . . . . —
III. О неприятности труда 74
Замечания на последние четыре главы первой книги Милля 82
Разъяснение смысла Мальтусовой теории . . . . . —
I. История Мальтусовой теоремы . . . . . —
«Очерки политической экономии (по Миллю)» 87
(С.) Трехчленное распределение продукта (гл. XI—XVI) . . 110
[Подстрочные примечания к переводу Милля] 139
Антропологический принцип в философии 146
Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Соч. Ор. Новицкого. Часть I. Религия и философия древнего Востока. Киев. В университетской типографии 1860 г. 230
История цивилизации в Европе от падения Римской империи до французской революции. Соч. Гизо. Редакция перевода К. К. Арсеньева. Издание Николая Тиблена. С.-Петербург. 1860 243
О причинах падения Рима (Подражание Монтескье) 249
Апология сумасшедшего 278
Непочтительность к авторитетам 308
Полемические красоты 313
Коллекция вторая . . . . . —
Этюды. Популярные чтения Шлейдена. Перевод с немецкого профессора Московского университета Калиновского. Москва. 1861 332
Письма без адреса 339
[Из переписки 1876—1878 гг.] 369
[Послесловие к книге В. Карпентера «Энергия в природе»] 475
Характер человеческого знания 484
Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь 503
Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории 544
1. О расах . . . . . —
3. О различиях между народами по национальному характеру 564
4. Общий характер элементов, производящих прогресс 599
[По поводу смешения в науке терминов «развитие» и «процесс»] 624
Примечания 632
Указатель имен 658
Предметный указатель 670

Чернышевский Н. Г.

Ч-49 Сочинения в 2-х т. Т. 2 / АН СССР. Ин-т философии; Редкол.: М. Б. Митин (пред.); Ред. изд. И. К. Пантин; Сост. и авт. примеч. Л. В. Поляков.— М.: Мысль, 1987.— 687 с., 1 л. портр.— (Философское наследие).

В пер.: 3 р. 20 к.

Во второй том Сочинений входят работы 60—80-х годов, которые знакомят читателя с социалистическо-утопическими взглядами Чернышевского, его концепцией антропологического материализма и философско-исторической системой.

Ч $\frac{0302010000\text{-}090}{004(01)\text{-}87}$ подписное ББК 87.3(2)

Николай Гаврилович Чернышевский

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том 2

Заведующая редакцией *Л. В. Литвинова*
Редактор *В. Г. Сукач*
Младший редактор *К. К. Цатурова*
Оформление серии художника *В. В. Максина*
Художественный редактор *С. М. Полесицкая*
Технический редактор *В. Н. Корнилова*
Корректоры *Л. Ю. Ласькова, Г. В. Егорова*

ИБ № 2930

Сдано в набор 14.01.86. Подписано в печать 12.11.86. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Обыкн.-новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печатных листов 36,22 с вкл. Усл. кр.-отт. 36,22. Учетно-издательских листов 43,53 с вкл. Тираж 50 000 экз. Заказ № 226. Цена 3 р. 20 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, Ленинский проспект, 15.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.